



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

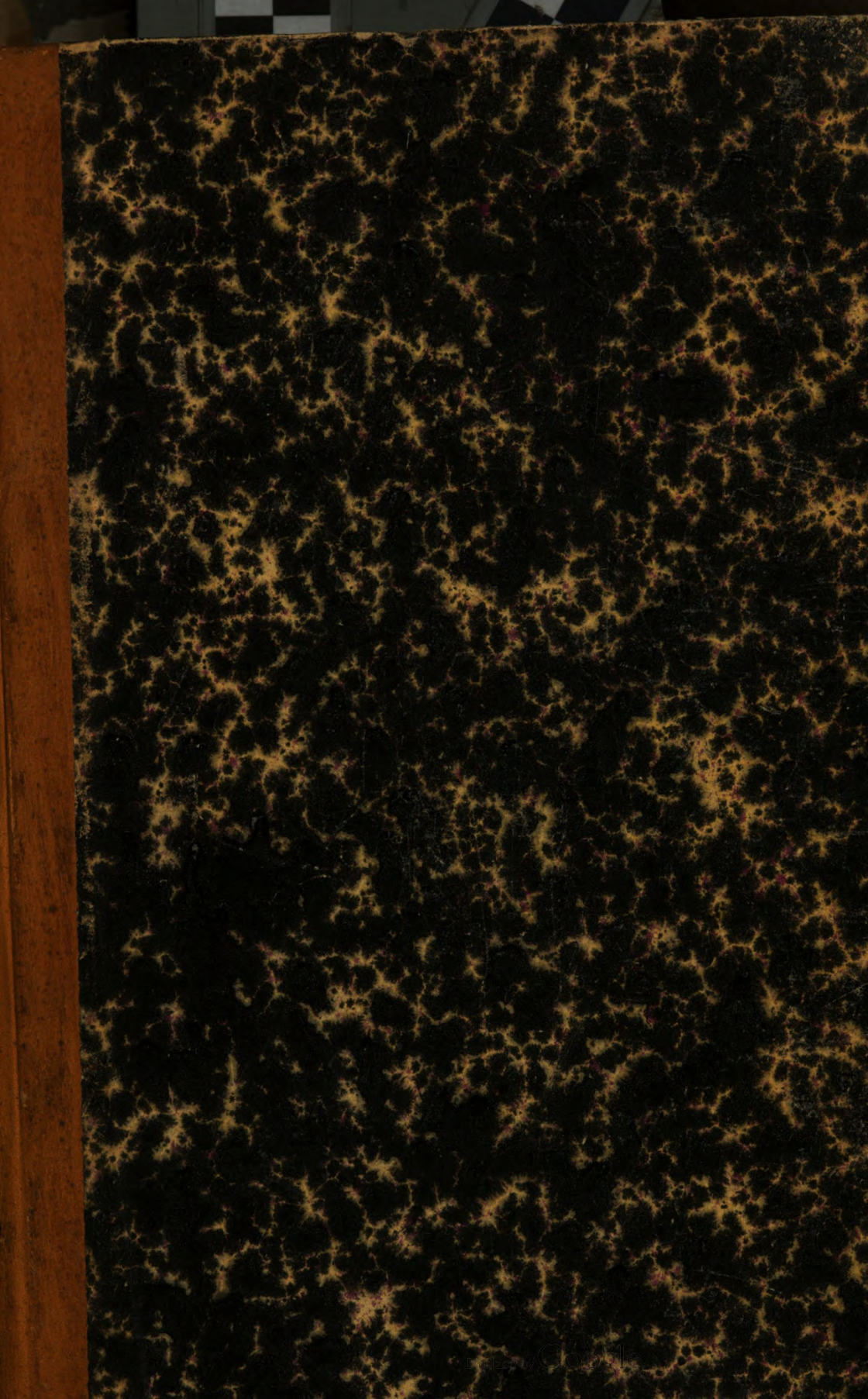
Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.



THE
UNIVERSITY
OF CHICAGO
LIBRARY

Russkoe bogatstvo
ДЕКАБРЬ.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II
1902.

РУССКОЕ БОГАТСТВО

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ,

Dec. 1902
№ 12.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клубукова, Пряжка, уг. Заводской. д. 1—3.

1902.

LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO
HARVARD

A P 50

R 94



Exchange

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 21-го декабря 1902 г.

СОДЕРЖАНІЕ:

СТРАН.

1. Изъ скитаній по Сиріи. Горе Халилия.—Ко-ко-ко.— Два минарета. <i>С. Кундурушкина.</i>	5 — 37
2. Заводская поэзія. <i>Г. Вълорѣцкаго.</i>	38— 50
3. Иностранецъ. <i>Леонида Андреева.</i>	51— 64
4. Литературная дѣятельность декабристовъ. III. А. А. Бестужевъ-Марлинскій. Окончаніе. <i>Н. А. Котля-</i> <i>ревскаго.</i>	65—103
5. Темныя ночи. Стихотворенія <i>Г. Галиной.</i>	103
6. Разсказы. <i>М. Прево.</i> Итальяночка. — Жоржъ. — Бюсть.—Два пастыря. Переводъ <i>Е. И. Саблиной.</i>	104—126
7. * * Стихотвореніе <i>А. Ольгинскаго.</i>	126
8. Въ одной клѣткѣ. <i>Ек. Лѣтковой.</i>	127—150
9. Театръ и зрители. <i>И. Н. Игнатовъ.</i>	151—180
10. Памяти <i>Г. И. Успенскаго.</i> Стихотвореніе <i>П. Я.</i>	180
11. Нерѣшенныя проблемы біологіи. Процессъ оплодо- творенія и происхожденіе половъ. <i>В. В. Лун-</i> <i>кевича.</i>	181—230
12. Въ памяти. Этюдъ. <i>Ал. Худекова.</i>	231—249
13. Стѣна. Стихотвореніе <i>А. Лукьянова.</i>	250
14. Старый профессоръ. Очеркъ. <i>И. Петрова.</i>	251—263
15. Въ саняхъ. <i>Н. Шрейтера.</i>	264
16. Муза мести и печали. Окончаніе. <i>П. Ф. Гриневича.</i>	1 — 37
17. Дѣтскій трудъ и народная школа въ Германіи. <i>Е. Ло-</i> <i>зинскаго.</i>	37 — 58
18. Новая книги: <i>Friedrich Fiedler. Gedichte von N. A. Nekrassow.</i> —А. Л. Миро- польскій. «Лѣствица».—В. В. Селивановъ. Сочиненія.—П. Н. По- левой. Историческіе разсказы и повѣсти.—Ю. Н. Карвинъ. Разсказы о пѣсняхъ и пѣвцахъ.—Ежегодникъ коллегіи Павла	

(См. на оборотѣ).

Галагана.—Н. Б. Русскія книжныя рѣдкости.—Кронштадтскій маякъ.—Т. Циглеръ. Отношеніе мозга къ душевной дѣятельности.—С. Н. Прокоповичъ. Кооперативное движеніе въ Россіи.—По Манчжуріи. Воспоминанія и рассказы Александра Верещагина.—По слѣдамъ голода. Василія Якова.—Новыя книги, поступившія въ редакцію.	58—89
19. По очередному вопросу. (О мелкой земской единицѣ). <i>Г. И. Шрейдера</i>	89—103
20. Взаимная борьба и взаимная помощь. (Письмо изъ Англіи). <i>Діонео</i>	103—127
21. Политика. Историческіе итоги 1902 года. <i>С. Н. Южакова</i>	128—145
22. Литература и жизнь. Объ «Исторіи русской живописи» г. Александра Бенуа и о современныхъ настрояхъ. <i>Н. К. Михайловскаго</i>	145—160
23. Хроника внутренней жизни: I. Свѣдѣнія объ урожаѣ 1902 года и извѣстія изъ неурожайныхъ мѣстностей.—Продовольственныя затрудненія и проектируемая переработка продовольственного устава.—Свѣдѣнія о безработицѣ.—II. Проекты объ измѣненіи положенія печати.—Административныя распоряженія по дѣламъ печати. III. Правительственныя распоряженія и сообщенія. <i>В. А. Мякотина</i>	160—188
24. Отчетъ конторы редакціи:	188
25. Объявленія	189—196

Открыта подписка на 1903 годъ

(XI-ый ГОДЪ ИЗД.)

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

РУССКОЕ БОГАТСТВО,

ИЗДАВАЕМЫЙ

Вл. Г. Короленко и Н. К. Михайловскимъ,

Подписная цѣна:

На годъ съ доставкой и пересылкой	9 р.
Безъ доставки въ Петербургъ и Москвѣ	8 р.
За границу	12 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербургѣ—въ конторѣ журнала—*уг. Спасской и Васковой ул., д. 1—9.*

Въ Москвѣ—въ отдѣленіи конторы—*Никитскія ворота, д. Гагарина.*

При непосредственномъ обращеніи въ контору или въ отдѣленіе, допускается разсрочка:

при подпискѣ. 5 р.	} или {	при подпискѣ 3 р.
и къ 1-му іюля 4 »		къ 1-му апрѣля. 3 »
		и къ 1-му іюля 3 »

Не приславшимъ доплатъ въ означенные сроки высылка журнала прекращается.

Книжные магазины, библіотеки, земскіе склады и потребительныя общества, доставляющіе подписку, могутъ удерживать за комиссію и пересылку денегъ только 40 коп. съ каждаго годового экземпляра.

Для городскихъ подписчиковъ въ Петербургѣ и Москвѣ безъ доставки (за исключеніемъ книжныхъ магазиновъ и библіотекъ) допускается разсрочка по 1 р. въ мѣсяцъ съ платежомъ впередъ: въ декабрѣ за январь, въ январѣ за февраль и т. д. по іюль включительно.

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ, библіотекъ, земскихъ складовъ и потребительныхъ обществъ не принимается.

Изданія журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“:

- СБОРНИКЪ «РУССКАГО БОГАТСТВА» (1899 г.) Ч. I. БЕЛ-
ЛЕТРИСТИКА. Ц. 2 р. Ч. II. ПУБЛИЦИСТИКА. Ц. 1 р.
- С. А. Ан—скій.** ОЧЕРКИ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Ц. 80 к.
- П. Булыгинъ.** РАЗСКАЗЫ. Ц. 1 р. 50 к.
- Н. Гаринъ.** ДѢТСТВО ТЕМЫ. Изд. *третье*. Ц. 1 р. 25 к.
— ГИМНАЗИСТЫ. Изд. *третье*. Ц. 1 р. 25 к.
— СТУДЕНТЫ. Ц. 1 р. 25 к.
- С. Я. Елплатьевскій.** ОЧЕРКИ СИБИРИ. Изд. *третье*. Ц. 1 р.
— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Ц. 1 р. 25 к.
- Вл. Короленко.** ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. 1-ая. Изданіе *девя-
тое*. Ц. 1 р. 50 к.
— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. 2-ая. Изд. *пятое*. Ц. 1 р. 50 к.
— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Кн. 3-ья. Ц. 1 р. 25 к.
— ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. Изданіе *четвертое*. Ц. 1 р.
— СЛѢПОЙ МУЗЫКАНТЪ. Изданіе *восьмое*. Ц. 75 к.
— БЕЗЪ ЯЗЫКА. Разсказъ. Ц. 75.
- Н. К. (Н. Е. Кудринъ).** ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ.
Ц. 2 руб.
- Л. Мельшинъ.** ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго
каторжника (*Изданіе второе*): Т. I. Шелаевскій рудникъ.—
Т. II. Съ товарищами. Цѣна каждаго тома 1 р. 50 к.
— ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Разказы. Ц. 1 руб.
- Н. К. Михайловскій.** СОЧИНЕНІЯ ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ. Уде-
шевленное изданіе большого формата, въ два столбца,
въ 30 печатныхъ листовъ каждый томъ, съ *портретомъ
автора*. Ц. 12 р.
— ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ и СОВРЕМЕННАЯ
СМУТА. Два тома, по 2 рубля каждый.
- А. О. Немировский.** НАПАСТЬ. Повѣсть изъ временъ холерной
эпидеміи 1892 г. Ц. 1 р.
- С. Н. Южаковъ.** ДВАЖДЫ ВОКРУГЪ АЗІИ. Путевыя впечат-
лѣнія. Ц. 1 р. 50 к.
- П. Я. СТИХОТВОРЕНІЯ.** Т. I. Изданіе *пятое*. Ц. 1 руб.
Томъ II. Изд. *второе*. Ц. 1 р.
- Подписчики „Русскаго Богатства“, выписывающіе эти книги, за
пересылку не платятъ.
- СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ: Въ С.-Петербургѣ — контора журнала, уг.
Спасской и Васковой ул., д. 1—9. Въ Москвѣ — отдѣленіе
конторы, Никитскія ворота, д. Гагарина.

Шесть томовъ Соч. Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО. Ц. 12 р.

СОДЕРЖАНИЕ I Т. 1) Предисловіе. 2) Что такое прогрессъ? 3) Теорія Дарвина и общественная наука. 4) Аналогическій методъ въ общественной наукѣ. 5) Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуальность. 7) Вольница и подвижники. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1872 и 1873 гг.

СОДЕРЖАНИЕ II Т. 1) Преступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. 3) Научныя письма. 4) Патологическая магія. 6) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ. 7) На вѣнской всемірной выставкѣ. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1874 г. 9) Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящаго.

СОДЕРЖАНИЕ III Т. 1) Философія исторіи Луи Блана. 2) Вико и его «новая наука». 3) Новый историкъ еврейскаго народа. 4) Что такое счастье? 5) Утопія Ренана и теорія автономіи личности Дюринга. 6) Критика утилитаризма. 7) Записки Профана.

СОДЕРЖАНИЕ IV Т. 1) Жертва старой русской исторіи. 2) Идеализмъ, идолопоклонство и реализмъ. 3) Суздальцы и суздальская критика. 4) О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго. 5) Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго. 6) Въ пережку. 7) Письма о правдѣ и неправдѣ. 8) Литературныя замѣтки 1878 г. 9) Письма къ ученымъ людямъ. 10) Житейскія и художественныя драмы. 11) Литературныя замѣтки 1879 г. 12) Литературныя замѣтки 1880 г.

СОДЕРЖАНИЕ V Т. 1) Жестокій талантъ. 2) Гл. И. Успенскій. 3) Щедринъ. 4) Герой безвременья. 5) Н. В. Шелгуновъ. 6) Записки современника: I. Независимія обстоятельства. II. О Писемскомъ и Достоевскомъ. III. Нѣчто о лицѣтрахъ. IV. О порнографіи. V. Мѣдныя лбы и вареныя души. VI. Послушаемъ умныхъ людей. VII. Три мизантропа. VIII. Пѣснь торжествующей любви и нѣсколько мелочей. IX. Журнальное обозрѣніе. X. Торжество г. Цюна реда образованности и проч. XI. О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ. XII. Все французъ гадить. XIII. Смерть Дарвина. XIV. О доносахъ. XV. Забытая азбука. XVI. Гамлетизированные поросята. 7) Письма посторонняго въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ».

СОДЕРЖАНИЕ VI Т. 1) Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель. 2) Графъ Бисмаркъ. 3) Предисловіе къ книгѣ объ Иванѣ Грозномъ. 4) Иванъ Грозный въ русской литературѣ. 5) Палка о двухъ концахъ. 6) Романическая исторія. 7) Политическая экономія и общественная наука. 8) Дневникъ читателя. 9) Случайныя замѣтки и письма о разныхъ разностяхъ.

Для подписчиковъ „Русскаго Богатства“, вмѣсто 12 р., цѣна 9 руб. безъ пересылки. Пересылка за ихъ счетъ *наложеннымъ платежомъ*—товаромъ большой скорости, посылкой или заказной бандеролью.

Н. К. МИХАЙЛОВСКІЙ. Литературныя воспоминанія и современная смута. Два тома, по 2 рубля каждый.

Подписчики «Русскаго Богатства», выписывающіе эти два тома, за пересылку ихъ не платятъ.

Къ свѣдѣнію гг. подписчиковъ.

1) Контора редакціи не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ станцій желѣзныхъ дорогъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ учреждений.

2) Подписавшіеся на журналъ черезъ книжные магазины—съ своими жалобами на неисправность доставки, а также съ заявленіями о перемѣнѣ адреса благоволятъ обращаться непосредственно въ контору редакціи—*Петербургъ, уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9.*

Книжные магазины только передаютъ подписныя деньги въ контору редакціи и не принимаютъ никакого участія въ экспедиціи журнала.

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, направляются въ контору редакціи не позже, какъ по полученіи слѣдующей книжки журнала.

4) При заявленіяхъ о неполученіи книжки журнала, о перемѣнѣ адреса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ подписной платы, необходимо прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №.

Не сообщающіе № своего печатнаго адреса затрудняютъ наведеніе нужныхъ справокъ и этимъ замедляютъ исполненіе своихъ просьбъ.

5) При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ адреса въ предѣлахъ провинціи слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

6) При перемѣнѣ городского адреса на иногородный уплачивается 1 р.; при перемѣнѣ же иногороднаго на городской—50 к.

7) Перемѣна адреса должна быть получена въ конторѣ не позже 10 числа каждаго мѣсяца, чтобы ближайшая книга журнала была направлена по новому адресу.

8) Лица, обращающіяся съ разными запросами въ контору редакціи или въ Московское отдѣленіе конторы, благоволятъ прилагать почтовые бланки или марки для отвѣтовъ.

Къ свѣдѣнію авторовъ статей.

1) На отвѣтъ редакціи по поводу присланной статьи, а также на случай возвращенія обратно рукописи должны быть приложены марки.

2) Непринятые рукописи, обратная пересылка которыхъ не была оплачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложеннымъ платежомъ стоимости пересылки.

3) Рукописи, доставленныя въ редакцію до 1901 г. и не востребованныя обратно до 1-го ноября 1902 г., уничтожены.

4) По поводу непринятыхъ стихотвореній редакція не ведетъ съ авторами никакой переписки, и такія стихотворенія уничтожаются.

ИЗЪ СКИТАНІЙ ПО СІРІИ.

VII.

Горе Халиля.

Халиль! Другого имени у него, кажется, никакого не было. Когда кавасъ *) привелъ его къ намъ въ первый разъ, то на вопросъ: „какъ тебя зовутъ?“ онъ отчетливо и торопливо произнесъ:

— Рабъ твой, Халиль!

Пришелъ онъ изъ одного села въ окрестностяхъ Дамаска такой дикій, оборванный. Это былъ высокій, здоровый парень, широкоплечій, мускулистый, совершенно смуглый, почти черныи. Только немного желтоватые бѣлки громадныхъ глазъ да бѣлые зубы сверкали на его угловатомъ съ виду суровомъ лицѣ, окаймленномъ бѣлымъ платкомъ и окалемъ **). Движенія его были порывисты, быстры, точно онъ всегда бросался на спасеніе утопающему. Когда его окликали, на лицѣ у него изображался какой-то испугъ: глаза его расширялись, громадный ротъ съ толстыми губами раскрывался, и онъ со всѣхъ ногъ бросался туда, откуда слышалъ голосъ, останавливался, точно вкопанный, таращилъ глаза и недоумѣвающе-вопросительно встряхивалъ головой. И такъ всегда.

— Халиль!

Халиль вырастаетъ точно изъ земли и стоитъ во весь ростъ, пяля глаза.

— Приказаніе, мой господинъ!

— Возьми это письмо, отдай и принеси отвѣтъ.

Получивъ письмо, онъ исчезалъ, какъ духъ, только его голыя пятки въ мягкихъ башмакахъ мелькали въ двери.

*) Кавасъ — вооруженный проводникъ, одѣтый въ есобое форменное платье.

**) Окаль — черный шерстяной витой обручъ, надѣваемый на голову поверхъ платка.

Такъ же быстро онъ возвращался обратно, передавалъ отвѣтъ и останавливался, точно лошадь, переминаясь съ одной ноги на другую, наблюдая за выраженіемъ лица, точно желалъ узнать, было письмо сегодня пріятно или нѣтъ.

— Хорошо, Халиль, иди!

Послѣ этого онъ уже медленно поворачивался, медленно выходилъ и такъ же медленно, сложивъ на груди руки, приваливался къ лимонному дереву, росшему на дворѣ противъ моей рабочей комнаты, въ ожиданіи дальнѣйшихъ приказаній.

По утрамъ Халиль всегда готовилъ ванну, приносилъ свѣжихъ булокъ, молока и варилъ кофе. Въ области этихъ основныхъ своихъ обязанностей онъ былъ весьма расторопенъ и догадливъ. Онъ хорошо соображалъ, когда и какихъ нужно купить булокъ, масла, молока, какъ все это приготовить, устроить на столѣ, даже зналъ, когда утромъ мнѣ будетъ нужна новая пачка сигаретъ.

— Халиль, принеси сигаретъ!

Онъ гордо поворачивался, медленно выходилъ изъ комнаты, медленно притворялъ за собой дверь, но черезъ нѣсколько секундъ возвращался и съ довольной улыбкой подавалъ свѣжую коробку.

— Такъ скоро, Халиль?

— Я зналъ, что господину нужны сигареты, потому и купилъ вмѣстѣ съ булками.

Но во всемъ новомъ, выходящемъ изъ ряда обыденныхъ дѣлъ, онъ сбивался съ толку, долго не понималъ, чего отъ него хотятъ, и растерянно таращилъ глаза.

Пріѣхалъ ко мнѣ мой лучшій другъ, пріѣхалъ больной. Халиль, понятно, началъ за нимъ ухаживать. Больной совсѣмъ не зналъ по-арабски и объясняться ему съ Халилемъ при сообразительности послѣдняго было истиннымъ мученіемъ. Халиль недоумѣваяще таращилъ на него глаза и дѣлалъ часто совсѣмъ не то, что нужно. Такъ однажды больной знакомъ просилъ Халиля пододвинуть къ нему поближе остывшую чашку чаю. Халиль долго не понималъ, что отъ него требуется; наконецъ, лицо его расплылось въ улыбку въ знакъ того, что онъ пришелъ къ опредѣленному заключенію: онъ взялъ чашку и опрокинулъ ее сразу въ свой широкій, точно у крокодила, ротъ. Больной послалъ ему со стономъ проклятіе. Но скоро они совершенно поняли другъ друга, и Халиль очень исправно оказывалъ больному ежедневныя услуги.

Халиль обладалъ счастливою способностью спать во всякую свободную минуту, лежа, сидя, даже стоя. При этомъ его можно было будить только издали: онъ такъ порывисто

вскакивалъ, вырывался изъ объятій сна, такъ быстро бросался на зовъ, что легко могъ свалить будившаго съ ногъ. Такъ онъ спалъ днемъ. Но за то ночью разбудить его было столь же трудно, какъ воскресить мертваго. Пробившись однажды надъ нимъ ночью цѣлыхъ полчаса, я навсегда оставилъ безплодныя попытки, и Халиль всегда спалъ, какъ убитый, съ вечера до утра. Правда, утромъ онъ вставалъ всегда во время и, приготовивъ все по обыкновенію, тихо стучался въ дверь спальни.

— Мой господинъ, все готово!

— Хорошо, Халиль! Войди, возьми и почишь мое платье.

Если у Халиля были грязныя ноги, то онъ, не желая пачкать циновки и ковры, а также и снимать своихъ башмаки, ложился въ дверяхъ животомъ на полъ и, извиваясь, какъ удавъ, поднявъ надъ спиной ноги, добирался въ передній уголъ спальни къ платью, что можно клалъ на шею, совалъ за пазуху, бралъ въ зубы и такимъ же способомъ выползалъ обратно изъ комнаты точно невѣдомое чудовище. За дверью онъ встряхивался, вставалъ на ноги и принимался за работу, изрѣдка переговариваясь съ кухаркой, молодой арабской дѣвушкой, къ которой отчасти былъ равнодушенъ. Онъ часто ее слушался, забывал даже свое мужское превосходство, и только изрѣдка позволялъ себѣ подсмѣиваться надъ ней, говоря:

— Что ты, Уарде, понимаешь!?

Въ особенности же началъ онъ чувствовать себя передъ ней обязаннымъ по слѣдующему ничтожному случаю. Халиль долженъ былъ отнести къ прачкѣ бѣлье. Сложивъ его въ кучу, онъ взялъ все въ охапку, какъ носятъ сѣно, и понесъ за дверь на улицу. Но еще по двору онъ началъ ронять платки, сорочки, манжеты. На улицѣ же за нимъ потянулись длинныя бѣлыя полосы полотенецъ, наволочекъ, простынь. Онъ нагибался, поднималъ, но ронялъ еще больше. Сначала онъ ругался, потомъ началъ уже озлобленно рычать и, наконецъ, возвратился къ двери, бросилъ остатки бѣлья, а самъ пошелъ подбирать растерянное. Уарде услышала, что Халиль бранится, вышла къ нему, взяла изъ кучи бѣлья одну простыню, положила въ нее все остальное, связала и сказала:

— Неси!

Халиль ничего не возразилъ, покосился, взялъ узелъ и унесъ. Съ тѣхъ поръ онъ и началъ оказывать Уарде явное вниманіе.

Въ одну изъ откровенныхъ минутъ онъ даже признался мнѣ, что когда заработаетъ десять лиръ (т. е. 75 руб.), то непременно женится на Уарде.

— А если она за тебя не пойдетъ замужъ,—пошутилъ я

Халиль раскрылъ удивленно глаза, величиною по столовой ложкѣ, и недоумѣвающе спросилъ:

— Отчего не пойдетъ, мой господинъ?

— Можетъ быть, она тебя не любитъ!

— О, Боже! Какъ не любить! Что же, она развѣ дочь паши. Чѣмъ я ей не женихъ?! Родители отдадутъ — пойдеть замужъ.

— Но если она сама-то тебя не любитъ!—продолжалъ я.

Халиль ничего не отвѣтилъ, только черезъ нѣкоторое время спросилъ:

— А у васъ, господинъ, развѣ бываетъ такъ, что дѣвица захочеть—пойдетъ замужъ, не захочеть — не пойдеть?

— Бываетъ, Халиль, бываетъ.

Онъ сосредоточенно отвернулся и долго о чемъ-то думалъ.

Такъ мирно текло у насъ время. Халиль исполнялъ свои обязанности съ великимъ усердіемъ, былъ веселъ, шутилъ съ Уарде и считался ея женихомъ. Ничего объ этомъ онъ ни ей, ни ея родителямъ, — бѣднымъ крестьянамъ сосѣдняго съ Дамаскомъ села, — не говорилъ, но это какъ то всѣми чувствовалось. Чувствовала это и Уарде, но виду не показывала. Все текло обычнымъ чередомъ. Халиль сладко спалъ, чувствуя подъ собою твердую жизненную почву, а впереди хорошую цѣль. Десять лиръ, десять маленькихъ золотыхъ монетокъ, — и онъ будетъ счастливъ, у него будетъ жена, которая должна его любить, рожать ему сыновей (непремѣнно сыновей). Онъ поѣдетъ въ деревню и будетъ тамъ жить своимъ домомъ. Хотя и трудно жить мужику, — податей много платить нужно, но онъ какъ нибудь проживетъ. Если будетъ тяжело — на Ливанъ уѣдетъ, а то и въ Америку торговать. Все въ будущемъ было у него такъ просто и понятно. А это самое важное въ жизни... Но случилось небольшое событіе, перевернувшее все вверхъ дномъ.

II.

Европейская колонія въ Дамаскѣ очень невелика, но крайне смѣшанна. Кромѣ консуловъ всѣхъ великихъ и малыхъ европейскихъ державъ, есть тамъ нѣсколько торговыхъ агентовъ, главнымъ образомъ нѣмцевъ. Одинъ изъ нихъ, представитель нѣсколькихъ богатыхъ германскихъ фирмъ, по фамилии Вейссъ, часто заѣзжалъ ко мнѣ выпить чашку кофе, выкурить сигарету, поговорить о дѣлахъ своего фатер-ланда, о послѣдней политической новости, даже помечтать. Иногда мы отправлялись съ нимъ гулять въ очень удобныхъ

дамасскихъ коляскахъ по безчисленнымъ дорогамъ между садами, окружающими Дамаскъ подобно безграничному морю. Тамъ онъ развивалъ мнѣ проектъ мирнаго завоеванія этой страны нѣмцами. Теперь Багдадская дорога и Малая Азія, а потомъ Сирія.

— О, мы здѣсь будемъ! Это несомнѣнно, какъ то, что у меня есть жена и дочь Амалія!..

Онъ ожидалъ скорого пріѣзда въ Дамаскъ своего семейства, т. е. несомнѣнно существующей жены и взрослой дочери Амаліи. Бѣдный нѣмецъ, въ сущности мягкосердечный, хотя съ виду немного чопорный, скучалъ въ одиночествѣ.

Однажды подъ вечеръ онъ явился ко мнѣ веселый и общилъ, что семья его пріѣхала. Въ такой глуши радъ каждому новому человѣку... Вейссъ повезъ меня запросто къ себѣ. Его фрау оказалась довольно обыкновенной, немного блѣдной и апатичной нѣмкой, но за то фрейлейнъ была очень живая и веселая дѣвушка. У нея были красивые голубые глазки и точно выточенные ручки; тяжелая свѣтлорусая коса ея свѣшивалась ниже таліи. Лицо свѣжее, оживленное, а главное молодое, милое лицо. О, эта молодость! Молодость, свѣжесть не можетъ быть уродливой. Уродливо все, что носить на себѣ печать старости. Даже сама старость красива только тѣмъ, что оставила ей въ наслѣдство, что подарила ей молодость... Фрейлейнъ Амалія безъ умолку говорила на неизбѣжномъ французскомъ языкѣ, немного пѣла, играла на роялѣ, всѣмъ интересовалась, на все обращала вниманіе. Еще бы, она пріѣхала въ городъ — „цвѣтокъ Востока“. Ея любопытство распространилось и на Халиля, который, сопровождая меня къ Вейссамъ, всегда сидѣлъ на дворѣ у бассейна съ водой и дико озирался по сторонамъ. Она съ перваго же раза подошла къ нему близко и потрогала пальчикомъ его окаль. Халиль вскочилъ и вытаращилъ изумленные глаза.

— Какъ его зовутъ?—спросила она, обращаясь ко мнѣ.

— Халиль,—отвѣчалъ я,

— *Comprenez vous, le français Khalil?*

Халиль умоляюще взглянулъ на меня и тряхнулъ вопросительно головой.

— *Und deutsh?*—продолжала спрашивать фрейлейнъ.

Халиль поводилъ во всѣ стороны глазами, умоляя взоромъ о помощи.

— Онъ знаетъ только по-арабски, фрейлейнъ, — сказалъ я.

Фрейлейнъ покачала съ комичной грустью головой и вразумительно посовѣтовала Халилю научиться говорить по-французски или по-нѣмецки.

— Тогда, Халиль, мы съ тобой будемъ разговаривать. Ты мнѣ расскажешь много, много...

Наконецъ, фрейлейнъ оставила Халиля, и онъ измученно опустилсѣ на свое мѣсто.

Вейссъ ласково ворчалъ на свою Амалію.

— Здѣсь не принято, Амалія, чтобы женщина разговаривала такъ съ мужчиной, хотя бы и слугой.

— Но онъ такой смѣшной, папа, такой дикій... Мнѣ какое дѣло, что здѣсь не принято!..

И Вейссъ не спорилъ со своей любимицей.

— О чемъ же, мой господинъ, она со мной говорила?— спросилъ меня дома Халиль.

Я ему рассказалъ. Халиль только глаза удивленно раскрылъ.

Съ тѣхъ поръ Халиль часто видѣлъ фрейлейнъ. Она постоянно подходила къ нему, спрашивала, — учить-ли онъ французскій языкъ, шутя дѣлала ему выговоры, посылала гостинцевъ, а иногда давала маленькія порученія. Халиль исполнялъ ихъ съ непостижимой быстротой и явнымъ удовольствіемъ. Онъ началъ чище одѣваться: свой деревенскій платокъ съ окалемъ замѣнилъ красной феской, чаще брилъ свои коричневыя скулы. А однажды я, къ великому моему удивленію, замѣтилъ у него учебникъ французскаго языка съ арабскимъ переводомъ. Объ этомъ я сообщилъ фрейлейнъ. Та захопала въ ладоши, подбѣжала къ Халилю и начала его расспрашивать, что онъ знаетъ по-французски. Халиль молчалъ, долго пыхтѣлъ, вращалъ глазами; лобъ его покрылся каплями крупнаго пота, онъ раскрылъ свой широкій ротъ и, цѣпенѣя, произнесъ:

— Уи, мадмуазель!..

Фрейлейнъ захопала въ ладоши, закричала: браво! похвалила Халиля за успѣхи и прислала ему гостинцевъ.

Съ тѣхъ поръ Халиля оставило спокойствіе. Онъ часто забывалъ свои обязанности, былъ очень разсѣянъ, угрюмъ и оживлялся только тогда, когда я бралъ его съ собой къ Вейссамъ, или когда онъ ѣхалъ сопровождать насъ на прогулку. Тогда онъ все время старался держаться около фрейлейнъ и слѣдилъ, какъ воръ, за каждымъ ея движеніемъ. Однажды мы ѣздили верхомъ кататься по дорогамъ между безконечными дамасскими садами. Фрау ѣхала въ коляскѣ, за нею фрейлейнъ верхомъ на лошади, а за фрейлейнъ торжественно возсѣдалъ на ослѣ Халиль. Мы съ Вейссомъ ѣхали сзади, увлекшись какимъ-то разговоромъ. Мало опытная фрейлейнъ заглядѣлась по сторонамъ и вдругъ покачнулася въ сѣдлѣ. Раздался крикъ... Халиль, какъ свинецъ, свалился съ осла на землю, точно духъ очутился окодо растерявшейся

барышни, и она почти безъ чувствъ свалилась въ разставленные имъ объятія...

Весь остальной день Халиль былъ точно безумный. Онъ какъ-то глупо вращалъ по сторонамъ глазами, видѣлъ только одну фрейлейнъ, слышалъ только ея голосъ и замѣчалъ только ея движенія. Вечеромъ, прощаясь со мной, фрейлейнъ еще разъ поблагодарила Халиля за то, что онъ спасъ ее отъ смерти.

— Ich danke, Халиль, danke,—сказала она и хотѣла было незамѣтно сунуть ему въ руку серебряную монету.

Точно змѣю выбросилъ Халиль изъ рукъ монету, зарычалъ, замоталъ головой, монету поднялъ и, возвращая фрейлейнъ, мрачно сказалъ, что отъ госпожи онъ денегъ не возьметъ. Фрейлейнъ сконфузилась и убѣжала въ комнату.

Идя домой, Халиль наткался на всѣ углы, толкалъ прохожихъ, спотыкался на собакъ, спящихъ на улицахъ, даже падалъ въ рытвины плохой дамасской мостовой... Съ Халилемъ творилось что-то неладное. Теперь объ Уарде онъ заговаривать уже пересталъ, денегъ на свадьбу, видимо, не копилъ, а расходовалъ ихъ на покупку нарядной одежды, старался быть „хауажей“—господиномъ. Фрейлейнъ изъ благодарности къ Халилю „за спасеніе ея отъ смерти“ всегда ласково съ нимъ разговаривала, а онъ, вытаращивъ глаза и не понимая ни слова, стоялъ передъ ней, какъ окаменѣлый. Даже самъ Вейссъ за такую услугу Халиля относился къ нему гораздо ласковѣе, чѣмъ раньше. Проходя мимо Халиля, онъ всегда считалъ своимъ долгомъ одобрительно промывать: „Guter Kerl, Халиль!“

Когда же фрейлейнъ пріѣзжала съ отцомъ въ мой домъ, Халиль и совсѣмъ глупѣлъ, и по уходѣ ея долго стоялъ около двери и что-то шепталъ себѣ подъ носъ. Это было обожаніе. Онъ, дикій Халиль, можетъ быть не считалъ ее даже за человѣка, а за какое-нибудь божество, или за гурію, слетѣвшую съ неба. Однажды, выбравъ удобный моментъ, онъ конфузливо подошелъ ко мнѣ и, запинаясь, спросилъ:

— Мой господинъ! Молодая госпожа дѣйствительно дочь того... толстаго нѣмца?

— Да, Халиль. Она его дочь.

— Не сердись, мой владыка, еще вопросъ. А молодая госпожа ѣсть тоже, что и отецъ съ матерью?

Я, насколько могъ, серьезно отвѣтилъ:

— Да, совершенно тоже, Халиль...

Халиль ушелъ недоумѣвая.

III.

Дамасскій климатъ повліялъ на фрейлейнъ нехорошо. Она схватила лихорадку и начала прихварывать. Отецъ лѣчилъ ее, возилъ на Ливанъ отдыхать въ прекрасномъ горномъ воздухѣ—ничто не помогало. Голубые глазки дѣвушки ввалились, лицо поблѣднѣло, голосокъ ослабѣлъ, пальчики и совсѣмъ сдѣлались прозрачными. Только большая роскошная коса попрежнему пышно вилась по спинѣ и точно давила ее своей тяжестью. Рѣшено было увезти дѣвушку на родину. Вейссъ съ грустью собралъ въ дорогу свою жену и дочь и назначилъ день отъѣзда.

Наканунѣ Вейссъ заѣхалъ съ дочерью ко мнѣ. Халиль по обыкновенію широко раскрылъ передъ ними дверь и свой огромный ротъ, поклонился гостямъ чуть не до земли и, какъ всегда, задыхаясь, доложилъ, что пріѣхала „нѣмецкая госпожа“. Онъ точно духъ носился по всему дому, варилъ кофе, дѣлалъ прохладительные напитки, вырывалъ изъ рукъ Уарде подносы и мчался съ ними въ гостиную. Тамъ, приложивъ руку къ груди, онъ кланяясь подавалъ угощеніе и былъ на верху довольства. Такъ же весело онъ побѣждалъ отворять гостямъ дверь и низко поклонился, прощаясь. Но фрейлейнъ въ дверяхъ остановилась и сказала:

— Прощай, Халиль. Я завтра уѣзжаю. Благодарю тебя за услуги. Будь хорошимъ...

Отецъ ея, знавшій немного по-арабски, перевелъ, что его дочь благодарить Халиля передъ отъѣздомъ и прощается съ нимъ.

Глаза Халиля при этой вѣсти расширились. Онъ поблѣднѣлъ такъ, что его коричневое лицо сдѣлалось совсѣмъ сѣрымъ; однако нашелъ въ себѣ силы сказать:

— Съ миромъ, моя госпожа, съ миромъ! Да дастъ тебѣ Богъ счастья. Да облегчитъ твой путь...

Къ вечеру Халиль отпросился куда-то на два часа. Возвратился онъ тихо, торопливо прошмыгнувъ въ свою комнату, спрятавъ за пазухой своего кунбаза *) какую-то коробку. Весь вечеръ онъ просидѣлъ тамъ совершенно тихо. Если его звали—онъ выбѣгалъ и снова возвращался, точно боялся, что у него могутъ украсть его драгоценность. Очевидно, онъ что-то замыслилъ, ибо смотрѣлъ совсѣмъ растерянно. А когда у Халиля въ головѣ была какая-нибудь опредѣленная, постоянная мысль,—онъ всегда чувствовалъ себя скверно: дико

*) Верхняя легкая одежда на подобіе длинной рубашки.

смотрѣлъ по сторонамъ и трясъ головой, точно чувствовалъ въ ней скорпіона.

Наступила теплая и тихая лѣтняя дамасская ночь. Я вышелъ на крышу. Кругомъ, какъ взволнованное море, во всѣ стороны простирался вѣчный городъ, сжавшійся тѣсною кучей между безконечными своими садами. Оттуда изрѣдка доносилась тонкая струйка свѣжаго воздуха съ запахомъ лимоновъ и розъ. Величественные кипарисы, какъ стражи, неподвижно высились надъ круглыми сводами базаровъ и безчисленныхъ мечетей своими острыми темными верхушками. Они смотрѣли въ безконечное бездонное небо, гдѣ играли всѣми цвѣтами крупныя южныя звѣзды. А въ сумракѣ ночи надъ крышами, неумолчно звеня, леталъ цѣлый рой невидимыхъ существъ... То души спящихъ людей покидаютъ свои тѣла и рѣзвятся, летаютъ надъ домами — расправляютъ свои крылышки, уставшія отъ долгаго бездѣйствія въ тѣлесной тюрьмѣ...

Вдругъ гдѣ-то вблизи раздалась гнусливая арабская пѣсня. Тихо звенѣлъ и переливался ея извилистый напѣвъ, журча, какъ горный ручей, какъ рой пчелъ около глинянаго улья въ тихій полдень. Я съ минуту прислушался и остолбенѣлъ отъ удивленія: это пѣлъ что-то Халиль въ своей комнатѣ, возвыпавшейся въ концѣ крыши, по которой я ходилъ. Ночь—и Халиль не спитъ непробуднымъ сномъ!.. Силы небесныя! Что съ нимъ? Я подошелъ поближе такъ, что началъ уже различать слова его пѣсни. Онъ пѣлъ:

«Я люблю тебя. Если бы ты любила такой же любовью меня,
«То у тебя помутился бы умъ и сердце перестало бы биться.
«Сердце мое цѣлый день въ союзѣ съ газелями рыщетъ въ пустынь,

«А ночью удѣлъ его—стонъ...

«О, мое сердце! Замкнись, не навязывай людямъ мученій!

«Что Всевышній судилъ, то должно непременно случиться»...

Изъ пѣсни, какъ говорится, слова не выкинешь. Конечно, Халиль днемъ съ газелями отъ тоски по пустынь не бѣгалъ, но ночью удѣломъ его сердца былъ, дѣйствительно, стонъ. Онъ пѣлъ, повторялъ слова по нѣсколько разъ, а иногда долго тянулъ одно какое-нибудь слово, будто хотѣлъ вдуматься въ его глубокій, тяжкій смыслъ. Онъ сидѣлъ на постели, покачивался изъ стороны въ сторону и тянулъ свою однообразную пѣсню. А рядомъ съ нимъ лежала таинственная бумажная коробка, принесенная имъ сегодня вечеромъ съ базара...

Утромъ Халиль рано былъ на ногахъ и по обыкновенію постукался въ мою комнату. Голосъ его звучалъ грустно.

— Мой господинъ, все готово!

Я собрался. У двери моего дома уже стояла каросса (коляска), которую я заказалъ Халилю еще съ вечера. Я ѣхалъ провожать „нѣмецкую госпожу“ на вокзалъ. Не взявъ съ собою Халиля у меня не хватило духу. Да онъ, навѣрное, меня и не послушался бы: пришелъ бы пѣшкомъ.

Утро было тихое, теплое. Солнечные лучи пробивались стрѣлами въ полусумракъ крытыхъ базаровъ. Дамаскъ потягивался, позѣвывалъ и лѣнливо принимался за свою работу. Оживленнѣе заговорила вода въ безчисленныхъ фонтанахъ; собаки начали свою возню изъ-за каждой грязной кости; громче загорланили торговцы съѣстными припасами... Все приняло свой обычный видъ.

Каросса наша мягко катилась по земляному полу „Длиннаго базара“. Звонко раздавалось подъ его сводами щелканье бича и фыркание лошадей. Халиль мрачно сидѣлъ рядомъ съ арбажи (кучеръ) и держалъ подъ мышкой длинную таинственную коробку темнаго цвѣта, перевязанную красной ленточкой. Онъ сидѣлъ неподвижно, по сторонамъ не оглядывался, а смотрѣлъ на мелькающій передъ его носомъ крупъ лошади и лишь изрѣдка поправлялъ подъ мышкой свою драгоценную ношу.

Вотъ мы проѣхали по широкому двору сарая (присутственное мѣсто), вотъ покатали по узкой длинной улицѣ мимо новой турецкой больницы, весьма догадливо построенной около обширнаго кладбища; вотъ громадныя казармы, а вотъ и вокзалъ. Передъ входомъ смирно столпились извозчичьи кароссы. Торопливо мелькаютъ красныя фески и голубые погоны желѣзнодорожныхъ служащихъ. Арабская рѣчь мѣшается съ звуками французскаго и турецкаго языка. Здѣсь нѣтъ такой суматохи, какая бываетъ обыкновенно въ Европѣ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ; всѣ движутся медленно, лѣнливо, развинченною походкой. Кромѣ того, всѣ постоянно думють о своемъ достоинствѣ; турки—о достоинствѣ господина, арабы—о достоинствѣ раба.

По другую сторону вокзала уже нетерпѣливо бѣгаль по разводамъ паровозъ, пыхтя и выбрасывая клубы дыма. Зеленъ орѣшниковъ и абрикосовъ почти спускалась на запыленные маленькіе вагоны. Желѣзо и каменный уголь не обезобразили еще здѣсь красоты природы: зелень подъ теплыми лучами южнаго солнца разрослась пышно; она будто старается закрыть отъ взоровъ печальную наготу желѣзнодорожнаго полотна.

На площадкѣ собралась толпа самыхъ разноцвѣтныхъ пассажировъ. Турокъ съ тремя закутанными въ черное женами; евнухъ, длинный и сухой, какъ палка; десятокъ си-

рійцевъ и нѣсколько оборванныхъ солдатъ. Въ этой толпѣ рѣзко выдѣлялась кучка опрятныхъ европейцевъ. Это и былъ Вейссъ со своей женой и дочерью. Апатичная и блѣдная фрау была сегодня еще блѣднѣе. Самъ Вейссъ, провожавшій семью до Байрута, былъ настроенъ тоже далеко не радостно. Фрейлейнъ, видимо, немнѣе волновалась, ибо на ея блѣдныхъ щечкахъ пробился легкій румянецъ. Всѣ готовились сѣсть въ вагонъ. Черезъ двѣ минулы поѣздъ долженъ былъ отойти.

— А мы уже думали, что вы не пріѣдете проводить насъ!— воскликнула фрейлейнъ, здороваясь со мной.— Не долго зажилась я въ противномъ вашемъ Дамаскѣ.

— Не браните Дамаскъ. Поправляйтесь и пріѣзжайте къ намъ снова,—сказалъ я, прощаясь.

Халиль стоялъ сзади меня. Онъ точно окаменѣлъ и во всѣ глаза смотрѣлъ на фрейлейнъ. Наконецъ, та его замѣтила.

— Здравствуй, Халиль! И прощай,—воскликнула она.

Халиль встрепенулся, точно ужаленный, выхватилъ изъ подмышки коробку и, что-то мыча, потянулся въ дверь вагона.

— Это тебѣ, тебѣ...—могъ я только разобрать изъ его отрывистыхъ фразъ.

Фрейлейнъ съ недоумѣніемъ взяла коробку и подъ удивленными взглядами родителей начала ее развязывать. Вотъ она отвязала шнурокъ, открыла крышку...

Бываютъ иногда такіе моменты въ жизни, когда въ человѣческомъ сердцѣ всколыхнется жгучее, но очень хорошее чувство, запрятанное туда самой матерью природой съ незапамятныхъ временъ. Чувство это побѣждаетъ всѣ условности бездушныхъ обычаевъ, людскую пошлость, гордость,—все, что отдаляетъ человѣка отъ человѣка. Чувство это какъ-то сразу, точно электрическій токъ, соединяетъ людей и даетъ имъ знать, что они—родные братья, какъ бы ни были различны по виду... Право, хорошее это чувство. Это тѣ „звуки небесъ“, которыхъ никогда не могутъ намъ замѣнить вполнѣ „скучныя гѣсни земли“.

Вотъ такое чувство овладѣло всѣми нами, когда коробка была раскрыта: тамъ лежала только кукла, обыкновенная фарфоровая кукла съ голубыми глазками и желтыми льняными волосами... Но на лицѣ Халиля выражалось въ эту минуту столько искренняго горя, столько страданія, что сердце у всѣхъ сжалось.

Фрейлейнъ какъ-то нервно хихикнула и умоляюще оглянулась кругомъ,—кровь залила ея блѣдныя щеки; Вейссъ пыхнулъ, но ничего не сказалъ и сѣлъ на скамейку; фрау слабо ахнула и проговорила:

— Was ist das?.. Warum?..

А Халиль, утирая со своего коричневаго лица крупныя слезы, твердилъ одно:

— Это тебѣ... тебѣ... Чтобы вспоминала Халиля...

Но вдругъ всѣ мы весело разсмѣялись. Даже самъ Халиль началъ улыбаться заплаканнымъ лицомъ и раскрылъ свой широкій ротъ. Фрейлейнъ звонко смѣялась и, вынувъ куклу, обдергивала ея батистовое платъице. Глядя на нее, даже фрау и та улыбнулась. А Вейссъ весь побагровѣлъ отъ хохота.

— Gut, gut, Amalie! Какая у тебя прелестная игрушка для дороги,—едва могъ онъ выговорить и снова залился смѣхомъ.

Дѣйствительно, кукла такъ уморительно растопырила свои руки и выпучила голубые глазки, лицо Халиля такъ трогательно сіяло, что онъ доставилъ всѣмъ удовольствіе, въ сердцѣ что-то такъ весело прыгало, толпа такъ оживленно двигалась по платформѣ и зеленъ садовъ такъ свѣжо и радостно сверкала подъ утренними лучами солнца, что не смѣяться было никакъ нельзя.

— Папа, да это кукла твоей доставки,—заливалась фрейлейнъ.—Смотри, марка магазина Гольденбергъ!..

— Да, да,—прохрипѣлъ Вейссъ и снова засмѣялся.

Но раздался послѣдній свистокъ. Кондукторъ пробѣжалъ вдоль поѣзда, захлопывая дверцы вагоновъ. Въ окна выглянули фрейлейнъ и Вейссъ.

— Danke, danke, милый ты мой Халиль. Всегда буду тебя помнить несусразнаго... Прощайте.

Поѣздъ тронулся. Они замахали намъ платками. Наконецъ, послѣдній вагонъ нырнулъ въ зеленъ абрикосовыхъ садовъ и скрылся за крутымъ поворотомъ.

Очарованіе, принесенное безтолковымъ подаркомъ Халиля, сразу прошло, точно улетѣло вмѣстѣ съ фрейлейнъ вслѣдъ за послѣднимъ вагономъ. Слышалось только легкое вздрагиваніе рельсъ вдаль, точно тамъ билось горячее человѣческое сердце. Но вотъ все замолкло. Халиль нахмурился. Ожесточенно раздвигая толпу, онъ привелъ меня къ кароссѣ и молча сѣлъ на козлы. Каросса покатила обратно.

Больше ничего съ Халилемъ пока не случилось. Послѣ этого дня онъ долго ходилъ хмурымъ и все молчалъ. Только однажды спросилъ онъ меня, гдѣ находится та страна, тотъ городъ, въ которомъ живетъ „нѣмецкая госпожа“. А на вопросъ мой, когда онъ намѣренъ жениться на Уарде, Халиль мрачно отвѣтилъ:

— Раздумалъ...

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

К о - к о - к о .

Недалеко отъ древняго Сидона, по склону Ливана, на полугорѣ, надъ синимъ Средиземнымъ моремъ стоитъ уніатскій монастырь, по имени Дайру-ль-мухаллысъ. Стоитъ онъ въ уединеніи, окруженный большимъ садомъ. Яркая зелень лимоновъ, апельсинъ и гранатъ блеститъ на солнцѣ, благоухаетъ и играетъ своими листьями и цвѣтами. Со всѣхъ сторонъ подползаетъ она къ сѣрымъ, каменнымъ стѣнамъ монастырскихъ зданій, — старается закрыть ихъ холодную, печальную наготу... А виноградныя лозы ласково, точно шаловливыя дѣти, взбираются по стѣнамъ, даже на плоскія крыши построекъ и разбрасываются тамъ по рѣшеткамъ отягченныя прозрачными гроздьями.

Изъ монастыря во всѣ сторонѣ виды—одинъ красивѣе другого. На западѣ, внизу раскинулось въ безмѣрную даль Средиземное море, постоянно окутанное туманомъ своего влажнаго, опьяняющаго дыханія. По морю то проплыветъ черное чудовище — морской пароходъ, то лодка забѣлѣетъ своимъ острымъ парусомъ, то, какъ привидѣніе, скользнетъ по водамъ легкое облачко и спрячется куда нибудь въ заросшія лѣсомъ морщины Ливана. Небо, какъ море, и море, какъ небо. Здѣсь царство лазури, простора, бездонной дали...

Когда море спокойно, оно лежитъ около берега, нѣжится на солнцѣ, блистаетъ и переливается разными цвѣтами, споря съ небомъ богатствомъ и множествомъ своихъ нарядовъ. Лежитъ оно и не шевелится въ сладкой истомѣ. Только влажные его вздохи доносятся въ горы и навѣваютъ на душу какой-то невыразимо сладостный покой. А вокругъ все въ это время спокойно и въ неподвижномъ очарованіи любитъ его красотой. Солнце плетъ съ неба свои горячіе, страстные поцѣлуи, старается заглянуть на самое дно въ его стеклянную глубь... Уйдетъ солнце—луна съ толпою звѣздъ крадется изъ-за горъ и цѣлую ночь не сводитъ глазъ съ его яснаго лица.

Но когда подуетъ вѣтеръ, позеленѣетъ, какъ стекло, Средиземное море, вспѣнится и начнетъ хлестать въ берега громадными валами, точно хочетъ пробить каменную грудь Ливана, точно хочетъ переброситься черезъ его высокую гордую голову. Какъ стадо львовъ съ рычаньемъ, развѣявъ гривы, одинъ за другимъ мчатся изъ таинственной глубины сѣдые валы, разбѣгаются по отмелямъ змѣями, блестятъ на

солнцѣ своими бѣлыми гребнями, — душно и тѣсно ему тогда въ каменномъ ложѣ, размететь оно на берега свои свѣтлыя кудри, вадуется и заволнуется его дрожащая грудь... А въ монастырь снизу доносится глухой ровный шумъ разбушевавшейся стихіи. Море стонетъ, шумитъ, море рассказываетъ берегамъ свои тайны, что лежатъ тамъ съ незапамятныхъ временъ подъ его прозрачными водами...

На востокъ отъ монастыря высится Ливанъ, загородившій полміра своею высокою спиною. По его склонамъ разбросаны виноградники, кедровыя рощи и села, села безъ конца: по долинамъ, по отрогамъ горъ, въ ущельяхъ, точно птичьи гнѣзда—всюду села пестрѣютъ на фонѣ зелени садовъ и виноградниковъ. По горамъ извиваются полосы шоссеванныхъ дорогъ. Онѣ забираются въ ущелья и извиваются по верхушкамъ предгорій. Зеленыя горы высятся одна надъ другой, а тамъ за ними, поднявшись до самаго неба, неподвижно и мрачно выдвигаются въ туманной дали обнаженныя холодныя вершины.

Пониже, у моря, надъ зеленью садовъ, пальмы задумчиво качаютъ своими головами. Громады горъ подползаютъ къ морю осторожно и ласково, ложатся почти вровень съ водами и моютъ свои голые камни и пески въ синемъ молокѣ Средиземнаго моря.

Къ монастырю, издалека, съ горъ, проведенъ ключъ чистой воды, который орошаетъ его сады, поить нивы. Протекая по самой срединѣ монастырскаго двора, онъ наполняетъ тамъ широкій, точно озеро, бассейнъ. Въ этотъ бассейнъ со всѣхъ сторонъ смотрятся многочисленныя окна двухэтажнаго монастырскаго зданія. При монастырѣ семинарія для молодыхъ сирійскихъ мальчиковъ. Внизу классы и прочія службы, а вверху спальни, комнаты настоятеля и учителей.

Ежегодно униатскіе митрополиты присылаютъ сюда изъ своихъ епархій сирійскихъ мальчиковъ—маленькихъ дикарей, больше сиротъ и бѣдняковъ, у которыхъ нѣтъ пристанища въ мірѣ. Здѣсь этихъ дѣтей воспитываютъ въ сознаніи страха и уваженія къ папѣ и его божественной непогрѣшимости въ дѣлахъ церкви. Главное вниманіе при воспитаніи и обученіи дѣтей обращается здѣсь на различіе христіанскихъ вѣроученій и на заблужденія православія. Здѣсь, надъ голубыми волнами Средиземнаго моря, подъ прекраснымъ южнымъ небомъ, обвѣяннымъ ароматами лимоновъ и апельсинъ, готовятся люди для религіозной борьбы. Подъ монашескую рясу съ раннихъ лѣтъ стараются запрягать нетерпимое и дикое сердце.

Всѣ учителя здѣсь, начиная съ настоятеля монастыря—ректора семинаріи,—сирійцы, монахи, люди большею частью

необразованные и грубые. Въ семинаріи находится до пятидесяти учениковъ. Кромѣ обычныхъ для духовнаго училища предметовъ, здѣсь полагалось изученіе французскаго языка изъ уваженія къ покровительствующей великой католической державѣ. Но съ тѣхъ поръ, какъ въ монастырѣ умеръ одинъ старичокъ монахъ, обучавшій мальчиковъ этому предмету, французскій языкъ не преподавался. Нестоятель неоднократно справлялся въ Байрутѣ во французскомъ консульствѣ, не имѣетъ-ли оно на примѣтъ какого-либо французскаго. Но до сихъ поръ никого не находилось.

Однажды тихимъ лѣтнимъ вечеромъ къ воротамъ монастыря подошелъ какой-то европеецъ въ широкой соломенной шляпѣ, въ порывѣломъ и помятомъ пальто, въ такихъ же панталонахъ и въ стоптанныхъ, запыленныхъ башмакахъ. Его смуглое, худое, нервное лицо окаймлялась черной бородой и густыми длинными кудрявыми волосами. Прямой, тонкій носъ, плотно сложенные губы съ нѣскольکو опущенными книзу углами, темные безпокойные глаза давали его лицу выраженіе какой-то болѣзненной усталости и свидѣтельствовали о разнообразной и нелегко прожитой жизни. Отмахнувшись отъ монастырской собаки суковатой масличной палкой, онъ взошелъ на дворъ, остановился и оглянулся. На дворѣ въ разныхъ позахъ сидѣло и стояло съ книжками въ рукахъ нѣсколько учениковъ. Темныя ряски ихъ рѣзко выдѣлялись на сѣроватомъ камнѣ стѣнъ, освѣщенныхъ блестящимъ заходящимъ за моремъ солнцемъ. Они съ удивленіемъ посмотрѣли на такого необычнаго посѣтителя. Одинъ изъ нихъ съ любопытствомъ подошелъ къ незнакомому челоуѣку и съ обычной сирійской общительностью спросилъ его по арабски, — кто онъ и кого хочетъ видѣть.

Незнакомецъ помоталъ головой, въ знакъ того, что по арабски онъ ничего не понимаетъ. Ученикъ припомнилъ старыя уроки французскаго языка и съ трудомъ выговорилъ нѣсколько словъ. Усталое лицо незнакомца оживилось.

— Вы говорите по французски, — сказалъ онъ почти чистымъ французскимъ языкомъ. — Вотъ прекрасно! Скажите же, милый мой, вашему настоятелю, что пришелъ учитель французскаго языка и желаетъ его видѣть.

Всѣ дѣти столпились вокругъ новаго учителя и съ любопытствомъ осматривали его со всѣхъ сторонъ. Скоро собрался весь дворъ, всѣ монахи, ученики, слуги.

— Франжъ? *) — спрашивали въ толпѣ.

— Ни слова по арабски не понимаетъ!

*) На Востокѣ всякій европеецъ именуется франжемъ, т. е. французомъ.

— Зачѣмъ онъ пришелъ сюда?

— Учитель французскаго языка.

— Какъ ты съ нимъ разговаривать будешь, Бутрусъ?—спрашивали ученики слугу.—На какомъ языкѣ?

— А о чемъ мнѣ съ нимъ разговаривать?—Пусть онъ со мной разговариваетъ, если хочетъ,—сказалъ слуга Бутрусъ.

— А смѣшные эти франжи! Придетъ,—какъ глухой на свадьбѣ: ни слова не слышитъ и не понимаетъ!

Наконецъ, кряхтя, сверху спустился настоятель. Онъ попросилъ гостя въ пріемную комнату. Толпа осталась на дворѣ разсуждать о новомъ учителѣ.

Разговоръ въ пріемной длился всего минутъ десять. Скоро настоятель крикнулъ слугу и велѣлъ приготовить новому учителю комнату,—значить, дѣло состоялось и въ монастырѣ будетъ жить новое лицо. Понятно, монастырь оживился. Бутруса, готовившаго комнату и постель, засыпали вопросами. Каковъ учитель, что дѣлаетъ, какъ съ Бутрусомъ говорить? Бутрусъ и самъ былъ радъ новому человеку, а потому отвѣчалъ на всѣ вопросы весьма охотно.

— Какъ только вошелъ въ комнату, началъ всѣ углы оглядывать и пальцемъ трогать. Заглянулъ подъ кровать, на потолокъ. Увидѣлъ кольцо на потолокъ—испугался, кричить: „scorpion, scorpion!“ Я и догадался, что онъ скорпіоновъ боится, принесъ трость, да ударилъ ею по кольцу. Ну, онъ и успокоился.

Дружный смѣхъ вторилъ словамъ Бутруса.

— А что же онъ, добрый или нѣтъ?—спрашивали ученики.

— Не знаю. Почему мнѣ знать...

На слѣдующій день настоятель съ новымъ учителемъ ѣздили во французское консульство въ Байрутъ, гдѣ написали условіе на цѣлый годъ. Учитель получалъ столъ и квартиру, а въ концѣ года, если не оставитъ раньше работу, еще сорокъ восемь французскихъ лиръ (360 руб.). Въ противномъ случаѣ лишается совершенно всякой платы. Учитель согласился съ этимъ совершенно безпрекословно: Онъ собралъ кое-какіе свои пожитки и возвратился съ настоятелемъ въ монастырь.

Учитель, по происхожденію итальянецъ, оказался французскимъ подданнымъ. Онъ хорошо владѣлъ французскимъ, латинскимъ и греческимъ языками, но роднымъ считалъ все же свой итальянскій. Какъ звали учителя, никто кромѣ настоятеля не зналъ. Но ему съ перваго же дня дали особое имя, и случилось это вотъ какъ.

На слѣдующее же, послѣ своего прихода въ монастырь, утро учитель позвалъ Бутруса. Долго онъ ему что-то объяс-

снять, показывать руками, щелкать языкомъ, говорить и по-французски, и по-итальянски, и по-латыни. Бутрусъ ничего не понималъ. Наконецъ, учитель догадался. Онъ присѣлъ на полъ, растопырилъ руки, точно крылья, и тоненькимъ, тоненькимъ голоскомъ вдругъ закудахталъ:

— Ко-ко-ко-ко-ко!..

Бутрусъ покатился со смѣху. Учитель поднялся съ полу и тоже весело улыбался. Бутрусъ тотчасъ-же ушелъ, сварилъ и принесъ учителю куриныхъ яицъ.

— Bien, bien,—твердилъ довольный учитель.—Très bien. C'est ça, Бутрусъ!

Бутрусъ рассказалъ объ этомъ всему монастырю. Съ этого дня учителя и стали называть „Ко-ко-ко“.

А Ко-ко-ко жилъ наверху тихо. День свой распредѣлялъ правильно. Вставалъ рано утромъ и долго молился передъ распятіемъ, привѣшеннымъ въ углу. Молился онъ вслухъ на звучномъ латинскомъ языкѣ. Молитва лилась ровно и внятно, какъ журчить по каменному руслу лѣсной ручей. О чемъ онъ молился? Бутрусъ неоднократно прислушивался къ непонятной рѣчи, всматривался въ его блѣдное, какое-то измученное, страдальческое лицо, смотрѣлъ, какъ оно мало-по-малу прояснялось, точно эти звучныя, непонятныя слова освѣщали все существо молящагося, и уходилъ въ недоумѣніи. Помолившись, учитель уже веселымъ голосомъ кричалъ своего Бутруса, растягивая слова:

— Бутру-усъ!

Потомъ шелъ на уроки.

Послѣ уроковъ онъ долго сидѣлъ въ своей комнатѣ—все читалъ и что-то писалъ. И только къ вечеру выходилъ на плоскую крышу дома полюбоваться безпредѣльнымъ моремъ, шумѣвшимъ внизу, и прекраснымъ солнечнымъ закатомъ. Онъ сидѣлъ, не шевелясь, точно каменный, и неподвижно устремлялъ свой взоръ на западъ. Онъ смотрѣлъ, какъ, причудливо мѣняя свои формы, торжественно опускается за воды покраснѣвшій громадный шаръ солнца.

Иногда Ко-ко-ко спускался на монастырскій дворъ къ ученикамъ, когда тѣ занимались уроками, садился съ ними рядомъ и что-то имъ говорилъ. Они понимали его очень мало и смотрѣли съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ. Никто изъ взрослыхъ не приходилъ къ нимъ и не пытался разговаривать подружески. Они даже подсмѣивались надъ нимъ, а настоятель и совсѣмъ посматривалъ на учителя косо. „Чего, дескать, хочеть отъ мальчиковъ этотъ учитель, что къ нимъ льнеть“?...

У Ко-ко-ко была слабость: онъ боялся скорпіоновъ и змѣй. Это доставляло не мало удовольствія всему монастырю. Ему

часто приносили въ комнату большихъ сѣрыхъ ужей, маленькихъ змѣй и потѣшались, какъ Ко-ко-ко вскакивалъ на кровать и на непонятномъ языкѣ съ ужасомъ въ глазахъ молилъ взять изъ комнаты животное. Одинъ изъ старшихъ учениковъ, по имени Насыфъ, однажды напугалъ Ко-ко-ко очень сильно. Онъ устроилъ изъ жести какое-то грубое подобіе змѣи, которое пряталъ въ рукавъ своего кумбаза. Когда нужно, онъ выпускалъ эту змѣю изъ рукава и, незамѣтно поворачивая ее пальцемъ, заставлялъ извиваться изъ стороны въ сторону. Вотъ съ этимъ изобрѣтеніемъ Насыфъ и отправился въ квартиру Ко-ко-ко подъ какимъ-то предлогомъ. Тамъ шаловливый мальчикъ незамѣтно выпустилъ изъ рукава свою змѣю и завертѣлъ ее чуть не у самого носа бѣднаго итальянца. Ко-ко-ко вскрикнулъ, поблѣднѣлъ, замалхалъ руками, умоляя унести *cette bête terrible*, но Насыфъ все наступалъ на Ко-ко-ко, вертя передъ нимъ своею игрушкою, пока не загналъ учителя въ самый уголокъ...

Былъ въ школѣ только одинъ болѣзненный и маленькій ученикъ, по имени Салимъ, который почему-то сразу почувствовалъ къ новому учителю большую любовь. Круглый сирота, грекъ по отцу и сиріецъ по матери, онъ присланъ былъ сюда епископомъ изъ Алеппо. Отецъ его былъ у этого епископа слугою, но померъ, а мать вышла вторично замужъ за сирійца и уѣхала въ Америку. Маленькій Салимъ остался на попеченіи старушки-бабушки, которая вскорѣ померла. Епископъ и послалъ одинокаго мальчика въ Дайру-ль-мухаллысъ. Мальчикъ и въ монастырѣ остался сиротой. Его какъ-то обѣгали, съ нимъ не играли, его дразнили. Монахи и учителя обращались съ нимъ грубо. Онъ постоянно сидѣлъ гдѣ-нибудь въ отдѣльномъ углу, стараясь затвердить положенный урокъ. На блѣдномъ и шелудивомъ лицѣ его рѣдко появлялась улыбка. Онъ начиналъ старѣть въ тринадцать лѣтъ. И вотъ этотъ мальчикъ сразу почувствовалъ въ новомъ учителѣ какъ бы родного человѣка. Отъ отца онъ научился греческому языку, а потому могъ разговаривать съ учителемъ и понимать его. Учитель приласкалъ болѣзненнаго мальчика и часто бралъ его наверхъ. Тамъ онъ показывалъ ему разныя книжки и картинки, спрашивалъ про отца и мать, а иногда и самъ рассказывалъ ему про себя. Сидя на крышѣ во время тихаго солнечнаго заката онъ говорилъ мальчику:

— Милый мой, Салимъ! Былъ я во многихъ странахъ, много городовъ видѣлъ, много людей встрѣчалъ, а лучше вотъ этого мѣста не находилъ. Хорошо здѣсь. Только люди вездѣ сумѣютъ зло сдѣлать. Зло и себѣ, и другимъ, и животнымъ, и людямъ...

— Зачѣмъ же ты ушелъ изъ своей земли?—спрашивалъ его несмѣло Салимъ.

— Былъ у меня, милый мой, Салимъ, и домъ свой, и семья; былъ такой же мальчикъ, какъ ты,—сынъ мой. Былъ я богатъ... Потомъ все пропало. Какъ пропало,—ты не поймешь, трудно тебѣ рассказать. И сынъ мой померъ. Люди стали надо мною насмѣхаться. Когда я былъ богатъ, то меня всѣ любили и почитали, а когда я обѣднѣлъ, то всѣ начали бранить и унижать. Злые люди, Салимъ! А какъ они злы, то и любятъ и уважаютъ только то, гдѣ больше всего заложено зла: деньги, власть, рабство... Я и пошелъ ходить по свѣту. Гдѣ мнѣ понравится — поживу. Не понравится—уйду. Здѣсь хорошо, очень хорошо. Горы, море, закатъ солнца!.. Тихо и спокойно. Только люди здѣсь, Салимъ, жестокие, безжалостные люди. Я вижу вѣдь, какъ тебя обижаютъ. Но ты на нихъ не сердись. Они сами не понимаютъ, что дѣлаютъ зло... Не сердись, Салимъ...

И Ко-ко-ко гладилъ мальчика по головѣ, долго сидѣлъ съ нимъ на плоской крышѣ и любовался морскою далью.

Однажды весною, подѣ вечеръ, послѣ занятій, съ разрѣшенія ректора всѣ ученики пошли на прогулку въ ближайшую горную долину. Тамъ они рѣзвились почти до самаго вечера. Пѣли пѣсни, прыгали, лазили по небольшимъ дубкамъ и кедрамъ, собирали кучи сухихъ прутьевъ, зажигали ихъ и прыгали черезъ пламя. Былъ съ ними и Ко-ко-ко. Онъ разсматривалъ растенія, вырывалъ съ корнемъ нѣкоторыя травы и объяснялъ своему Салиму, какъ онѣ живутъ и на что годны. Онъ принималъ иногда участіе и въ играхъ вмѣстѣ съ учениками, чѣмъ вызывалъ общій искренній смѣхъ. Всѣмъ имъ казалось страннымъ, что такой взрослый человѣкъ и учитель играетъ съ юношами въ чехарду.

Играя, дѣти загнали подѣ камень и поймали молодую лису. Общей радости не было предѣла... Всѣ прыгали, тѣснились къ звѣрьку, чтобы потрогать его за хвостъ, за ушки, за ноги. Лису связали и рѣшили взять въ монастырь. Только Ко-ко-ко противорѣчилъ. Онъ что-то горячо говорилъ всѣмъ по-французски и по итальянски, но его никто не послушалъ. Вечеромъ лису взяли съ собой. Дорогой взрослые ученики, Насыфъ и Ханна, долго шептались, очевидно, рѣшая участь бѣднаго звѣрька. Шопотомъ же они передали что-то другимъ ученикамъ. Только Салиму ничего не сказали. Всѣ обѣгали его, чтобы онъ не передалъ замысла непонятному и смѣшному Ко-ко-ко.

Послѣ ужина, часовъ въ восемь вечера, вскорѣ послѣ заката солнца, всѣ ученики побросали въ классахъ учебники и собрались на семинарскомъ дворѣ. Насыфъ принесъ

связанную лису. Звѣрёкъ дико озирался по сторонамъ, ворочалъ ушками и скалилъ зубы. Но Насыфъ крѣпко держалъ его за шею и не давалъ кусаться. Всѣ ученики выстроились длиннымъ рядомъ, оставивъ проходъ къ воротамъ въ горы. Служка Бутрусь принесъ бутылъ керосину. Мальчики облили имъ всю шерсть лисы, намочили ея хвостъ и ушки. Наступилъ самый торжественный моментъ. Ханна зажегъ спичку.

— Погоди, нужно сразу двѣ! Одной зажигай спереди, а другой сзади, иначе побѣжить она быстро, огонь угасить. Зажигай спереди!—командовалъ Насыфъ.

Зажгли сразу двѣ спички и поднесли къ головѣ и спинѣ бѣднаго звѣрька. Керосинъ вспыхнулъ. Въ этотъ же моментъ мальчикъ выпустилъ лису. Испуганное и обрадованное животное стрѣлой метнулось къ воротамъ, а изъ воротъ въ горы. Но съ каждымъ прыжкомъ шерсть разгоралась на немъ все сильнѣе и сильнѣе, и черезъ двѣ-три секунды лиса горѣла уже вся. Видно было лишь, какъ по скаламъ неся огненный шаръ, дѣлалъ громадные прыжки и какъ-то страшно лаялъ, будто взвизгивалъ ребенокъ. Всѣ выбѣжали за ворота, кричали, махали руками, хохотали, визжали отъ удовольствія, катались по землѣ. А бѣдный звѣрёкъ бѣжалъ все сильнѣе и сильнѣе, стараясь скрыться отъ смерти. Онъ прыгалъ точно мячикъ, наконецъ, взвился высоко, высоко, перевернулся въ воздухъ нѣсколько разъ и упалъ на землю. Всѣ бросились было туда посмотреть на мертвую лису, но въ это время сверху раздался какой-то страшный крикъ. Всѣ невольно остановились и подняли вверхъ головы. На плоской крышѣ стоялъ Ко-ко-ко, съ расширенными отъ ужаса глазами, махалъ руками, и что-то не то говорилъ, не то рычалъ. Его шляпа запрокинулась на затылокъ, черная грива волосъ беспорядочно разбросалась по лицу, только глаза свѣтились широкіе, ужасные, страдающіе. Какъ бѣшеный, онъ бросился внизъ и черезъ секунду стоялъ въ толпѣ мальчиковъ.

— Это вы сожгли звѣря!? O, Dio, che crudeli, brutti, bambini *)!

И бросился бѣжать туда, гдѣ лежало тѣло лисы. Онъ поднялъ черный обуглившійся трупъ, поцѣловалъ его, положилъ на землю, а самъ побѣжалъ дальше, погрозивъ ученикамъ кулакомъ и закричавъ что-то по своему.

На слѣдующее утро настоятель послалъ разыскивать итальянца. Искали его два дня. Наконецъ, нашли почти на вершинѣ Ливана подъ деревомъ. Пришелъ онъ въ семинарію желтый, больной, собралъ свои вещи и на другой же

*) O, Боже, какія злія, жестокія дѣти!

день уѣхалъ, не сказавъ никому ни слова и ни съ кѣмъ не простившись. О „франжѣ“ скоро позабыли. Только мальчикъ Салимъ долго плакалъ по ночамъ и съ грустью вспоминалъ учителя Ко-ко-ко.

IX.

Два минарета.

I.

Ахмадъ Карнъ считался лучшимъ строителемъ въ Дамаскѣ. Если кто не хотѣлъ скупиться на расходы и желалъ построить себѣ домъ удобный и красивый, тотъ долженъ былъ пригласить непременно Ахмада Карна. А ужъ Ахмадъ Карнъ не промахнется: построить, — какъ изъ желѣза выльетъ. Онъ и комнаты распредѣлитъ такъ, что лучше нельзя ихъ распредѣлить, хоть думай въ теченіе цѣлаго поста Рамазана; онъ и окна устроитъ тамъ, гдѣ они нужны; онъ и лунки для деревьевъ и цвѣтовъ сдѣлаетъ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ это выйдетъ наиболѣе красиво; онъ и гаремъ отъ мужской половины отдѣлитъ такъ, что будетъ удобно и мужу, и женамъ, и хозяевамъ, и гостямъ. А это много значить... Правда, или нѣтъ, но говорятъ, что въ домахъ, построенныхъ Ахмадомъ Карномъ, люди живутъ счастливѣе другихъ, даже быстрѣе, чѣмъ другіе, богатѣютъ.

Несомнѣнно,—Ахмадъ Карнъ пользовался славой недавно. Но гдѣ онъ былъ искусенъ въ особенности, такъ это въ постройкѣ минаретовъ. Тутъ съ Ахмадомъ Карномъ уже никто спорить и не пытался. Было извѣстно всѣмъ въ Дамаскѣ, даже малымъ дѣтямъ, что лучше Ахмада Карна не можетъ построить минаретъ никто въ цѣлой Сириі, а можетъ быть, и во всемъ правовѣрномъ мірѣ. Минаретъ, построенный Ахмадомъ, стоялъ прямой, какъ тополь, и стройный, какъ небесная гурія. Почему изъ-подъ его рукъ минаретъ выросъ такъ непостижимо красивъ и проченъ—никому не было извѣстно. Можетъ быть, Ахмадъ Карнъ зналъ какой-нибудь секретъ? Неизвѣстно. Минареты другихъ строителей какъ будто походили на его минареты. Но всмотришься,—не то, совсѣмъ не то. Тотъ, другой, минаретъ будто и тонокъ, и строенъ, да чего-то въ немъ не хватаетъ: и перила не на мѣстѣ, и крыша некрасиво наклонена, и полумѣсяцъ загнулся будто не въ ту сторону... А минаретъ Ахмада Карна стоитъ передъ глазами зрителя, точно выточенный изъ одного камня и все то въ немъ красиво: и крыша, и перила, и бока, и даже отверстіе въ круглой стѣнѣ сдѣлано умѣстно

и красиво. И чѣмъ больше всматриваться въ два минарета,—его и не его работы,—тѣмъ яснѣе становится, что Ахмадъ Карнъ владѣеть особымъ даромъ строительства. Работаетъ онъ, какъ и всѣ работаютъ: возьметъ линейку, отвѣсъ, скребокъ для извести и кладетъ камень за камень. Положить нѣсколько рядовъ, прочитаетъ главу изъ Корана, сойдетъ внизъ, взглянетъ на свою работу, и снова на верхъ. И такъ до самаго конца постройки. Положимъ, онъ каждый камень осмотритъ со всѣхъ сторонъ. Если камень ему не понравится, онъ отдаетъ своимъ рабочимъ обтесать его снова. Но кто же мѣшаетъ и другому строителю осматривать каждый камень, спускаться внизъ и читать Коранъ... Очевидно, дѣло не въ этомъ.

Ахмадъ Карнъ гордился своею славой и принималъ общій почетъ и уваженіе, какъ должное. Одно его сокрушало,— не было у него сына, которому онъ могъ бы передать свое дивное искусство. Поэтому, когда родные и знакомые спрашивали его, кого онъ приготовить себѣ въ преемники, Ахмадъ отвѣчалъ съ печалью:

— Прославленный и величайшій Богъ знаетъ, что дѣлаетъ. Были строители до меня, будутъ и послѣ меня. Богъ всемогущъ!..

Конечно, у Ахмада Карна всегда было нѣсколько чело-вѣкъ работниковъ. Всѣ они получали отъ него деньги, работали по его указаніямъ, но никого изъ нихъ Ахмадъ не хотѣлъ научить своему искусству въ совершенствѣ. Не хотѣлъ онъ, чтобы кто-либо впослѣдствіи могъ сказать: „Вотъ, я работаю, какъ Ахмадъ Карнъ!“ Тяжела была для него такая мысль. Будь это его сынъ,—другое дѣло. О, онъ вложилъ бы въ него все свое умѣнье, всю свою любовь къ важнѣйшему искусству жизни, — искусству строительства. Ахмадъ Карнъ говаривалъ, что чело-вѣку для полного его покоя и блаженства на землѣ, нужны три вещи: сознаніе Бога, здоровое тѣло и удобное жилище. Развивать въ людяхъ сознаніе Бога должны шейхи ислама; здоровое тѣло дать Богъ чело-вѣку праведному, а удобное жилище Аллахъ научилъ строить его, Ахмада Карна. Итакъ, сына онъ едѣлалъ бы своимъ преемникомъ, но кого-либо другого—нѣтъ, пусть лучше умереть вмѣстѣ съ нимъ его искусство.

Былъ у Ахмада Карна одинъ работникъ, по имени Рашидъ, круглый сирота. Работалъ онъ у него съ пятнадцати лѣтъ, а теперь ему уже цѣлыхъ тридцать. Работникъ онъ хорошій, смѣтливый, всегда исправный. Росту онъ высокаго, широко въ плечахъ, мускулистъ и строенъ, только шею отъ частаго нагибанія держитъ, какъ и Ахмадъ Карнъ, немного внизъ. Смотритъ онъ исподлобья, но черные глаза его

свѣтятся и, кажется, все видятъ. Ахмадъ Карнъ уважалъ его и цѣнилъ за смѣлливость, умѣнье и расторопность, но не любилъ. Почему не любилъ—этого онъ не могъ бы объяснить не только людямъ, даже себѣ. Такъ, не лежало сердце, да и только. Рашидъ честный работникъ, исполнительный, но на душѣ у него всегда есть нѣчто про запасъ, что онъ таитъ отъ всѣхъ людей, даже самыхъ близкихъ. Это „нѣчто“ Ахмаду Карну всегда казалось враждебнымъ. Ну, почему бы Рашиду не смотрѣть на него, Ахмада, довѣрчивымъ, открытымъ взглядомъ! Вѣдь онъ работаетъ у Ахмада Карна пятнадцать лѣтъ, живетъ въ его домѣ. Иной на его мѣстѣ сдѣлался бы Ахмаду Карну сыномъ и заставилъ себя полюбить, какъ родного. А онъ—нѣтъ. И привязанъ какъ будто, а все во взглядѣ у него есть что-то чужое.

Почему же Ахмадъ его до сихъ поръ не уволилъ, не отказалъ отъ дому? Да такъ, не за что было. Рашидъ всегда и во всемъ былъ исправенъ. А Ахмадъ Карнъ былъ справедливъ, какъ истинный мусульманинъ, и никогда бы не позволилъ себѣ обидѣть безъ вины своего единовѣрца. О, Аллахъ всевѣдущъ, Аллахъ всемогущъ! Аллахъ все знаетъ, даже наши тайныя помышленія, и никто не избѣжитъ его справедливаго гнѣва... При томъ Рашидъ былъ ему всегда весьма выгоднымъ помощникомъ.

II.

Есть въ Дамаскѣ старинная мечеть. Стоитъ она на самомъ краю вѣчнаго города и издали красуется круглыми крышами своихъ многочисленныхъ построекъ. Мечеть такъ обширна, что въ ней можетъ, на случай нужды, помѣститься нѣсколько тысячъ человѣкъ со своимъ имуществомъ и вьючными животными.

Мечети обыкновенно строятся ближе къ серединѣ города, чтобы всѣмъ правовѣрнымъ было удобно придти на молитву по первому звуку священнаго призыва. Но почему же эта мечеть стоитъ на краю Дамаска? Древнее преданіе гласитъ, что халифъ приказалъ правителю Дамаска построить на этомъ мѣстѣ не мечеть, а судилище. „Пусть мѣсто суда будетъ удалено отъ города, тогда жалобъ будетъ меньше, ибо всякій, кто задумаетъ судиться и пойдетъ на край города къ судѣ, по дорогѣ охладѣетъ, вернется обратно и безъ суда примирится со своимъ противникомъ“. А мечеть должна быть въ срединѣ города, чтобы каждый правовѣрный могъ по призыву придти туда и вознести свои моленія Величайшему Богу“... Такъ приказалъ мудрый халифъ, но

не такъ сдѣлать невѣрный правитель. Онъ построилъ какъ разъ наоборотъ: судилище въ срединѣ города, а мечеть на краю, въ отдаленіи, среди зелени кипарисовъ и абрикосовъ, надъ быстрыми струями рѣки Барады. У правителя былъ прямой расчетъ, чтобы жители страны судились больше, и тѣмъ доставляли правителю больше доходовъ... Когда халивъ узналъ о такомъ коварствѣ правителя Дамаска, то велѣлъ отрубить ему на дворѣ построенной мечети голову. Такъ была основана эта обширная мечеть. Все въ ней и доселѣ было прочно и красиво, только два минарета около главнаго зданія пришли въ ветхость и грозили паденіемъ.

Собрались старѣйшины города въ мечеть на совѣтъ, помолились, потолковали, собрали денегъ и рѣшили старые минареты разрушить и построить новые, которые могли бы снова украсить древнее зданіе.

Кому же поручить это дѣло?—Всѣ въ одинъ голосъ называли Ахмада Карнѣ.

— Конечно, Ахмадъ Карнѣ! Развѣ можетъ кто-нибудь построить лучше Ахмада Карна.

Позвали Ахмада Карна. Вошелъ онъ въ обширный дворъ мечети, какъ и всегда, гордый своимъ искусствомъ, сознающій свою силу. Онъ почтительно, но съ достоинствомъ привѣтствовалъ собраніе и освѣдомился, зачѣмъ его позвали, будто и не подозрѣвалъ ничего. Тогда одинъ изъ шейховъ откашлялся, погладилъ свою сѣдую бороду и съ разстановкой сказалъ:

— Мы собрались здѣсь и во славу величайшаго Бога и его пророка Мухаммада, да будетъ Господь благословенъ и да хранить его, порѣшили построить два новыхъ минарета надъ этой славной мечетью. Для сей цѣли положили мы пригласить строителя искуснаго, который могъ бы возстановить обветшавшую постройку въ прежнемъ, а если можно, и лучшемъ видѣ. Мы знаемъ, что ты можешь привести нашу мысль въ исполненіе и согласились передать это дѣло тебѣ...

Ахмадъ Карнѣ для особой торжественности счелъ долгомъ сначала отказаться.

— Благородные шейхи! Великую честь оказали вы мнѣ, но я становлюсь уже старъ и не надѣюсь на свои силы, какъ раньше. Найдите кого либо другого, который могъ бы своимъ искусствомъ продолжить славу старинныхъ строителей... А я полюбовался бы его работой...

И по губамъ его заиграла тонкая усмѣшка. Собраніе заволновалось. Всѣ начали упрашивать Ахмада не отказываться, взять работу и на цѣлые вѣка прославить свое имя. Понятно, Ахмадъ согласился. Сговорились о цѣнѣ, попили кофе, помолились и разошлись по домамъ.

Весь городъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ начала постройки. Каковы-то будутъ новые минареты, какъ отличится Ахмадъ Карнъ? Но долго еще на верблюдахъ, мулахъ и ослахъ возили къ мечети куски черного и бѣлаго камня; долго разламывали и расчищали мѣста двухъ старыхъ минаретовъ; рабочіе долго еще тесали камни и отдыхали на берегу рѣки Барады въ знойный дамаскій полдень... Наконецъ, приступилъ къ работѣ Ахмадъ Карнъ. Онъ озабоченно клалъ камень за камнемъ, примѣривалъ линейкою и отвѣсомъ, спускался на землю, закрывалъ то лѣвый, то правый глазъ, смотрѣлъ на стѣну изъ-подъ руки, даже изъ-подъ своей фески и снова лѣзъ на стѣну, и снова клалъ камни стройными рядами. Въ работѣ вездѣ ему помогалъ Рашидъ. Онъ то подавалъ своему учителю линейку, то отвѣсъ, то самъ клалъ по его указаніямъ камни рядъ за рядомъ. Но дѣлалъ онъ все это какъ то слишкомъ угрюмо и молчаливо. И прежде онъ былъ не разговорчивъ, а теперь въ день два слова не скажетъ. И прежде онъ рѣдко смотрѣлъ на кого ласково, а теперь въ его глазахъ бѣгали какіе-то злые огоньки. И онъ все думалъ. Думы эти занимали его такъ сильно, что иногда онъ не слышалъ даже окрика своего учителя.

Рабочіе тесали камни, Ахмадъ Карнъ съ Рашидомъ клали стѣны, а мечеть все росла и росла. Ахмадъ Карнъ съ Рашидомъ все уменьшались и уменьшались. Наконецъ, стало уже казаться, что по стѣнамъ новаго минарета ползаютъ два черныхъ муравья.

— Господинъ Ахмадъ должно быть до неба хочетъ построить минареть. Не довольно-ли, Ахмадъ!—говорили ему друзья и знакомые.

Ахмадъ Карнъ только улыбался.

Но вотъ Ахмадъ пристроилъ вокругъ минарета площадку для муэддина, къ площадкѣ—перила и началъ дѣлать крышу. Вотъ и крыша готова, и божественный полумѣсяцъ заблестѣлъ въ голубомъ южномъ небѣ... Минареть стоялъ надъ громадою старой постройки чистый и свѣтлый, точно невѣста. Прохожіе ахали, удивлялись и хвалили Ахмада Карна.

— О, Великій Боже! Какое искусство! Богъ свидѣтель—мы не видѣли такой красоты даже въ Меккѣ. Каковъ то будетъ второй минареть!?»

Наступила пятница, и съ высокаго новаго минарета въ первый разъ раздалась надъ городомъ призывная молитва. „Великъ Богъ, великъ Богъ, великъ Богъ! Нѣтъ божества, кромѣ единаго Бога, свидѣтельствую, что Мухаммадъ посланникъ Бога. Приидите на молитву, приидите на дорогу спасенія и удачи! Великъ Богъ, великъ Богъ!..“

Правовѣрные толпами двинулись къ мечети. Всѣмъ хо-

тѣлось посмотрѣть на новый минаретъ поближе и послушать, что будутъ говорить шейхи.

Послѣ молитвы весь народъ собрался на обширномъ дворѣ мечети. Солнце свѣтило ярко съ голубого неба и играло всѣми цвѣтами въ струяхъ громаднаго фонтана; зелень лимоновъ и гранатъ волнами облежала дворъ и сверкала на солнцѣ своей свѣжестью, молодостью. Море головъ въ красныхъ фескахъ и бѣлыхъ кидарахъ волновалось на дворѣ.

Всѣ цвѣта одежды перемѣшались точно краски на доскѣ у художника. Кидары откидывались назадъ, клинообразныя бороды поднимались кверху и всѣ носы направлялись на новый минаретъ, красовавшійся на голубомъ полотнѣ неба. Всѣ удивлялись искусству работы и хвалили Ахмада Карна. А Ахмадъ въ это время стоялъ около двери мечети вмѣстѣ съ шейхами города, стоялъ довольный и счастливый своимъ успѣхомъ. Это было видно по его блестящимъ глазамъ, по возбужденному лицу, хотя онъ и старался казаться равнодушнымъ и хмурился, глядя по сторонамъ. Одобрительный гулъ толпы пріятно щекоталъ ему сердце, туманилъ голову. Недалеко отъ него стоялъ Рашидъ. Но что съ нимъ дѣлалось?! Глаза его горѣли и метались изъ одной стороны въ другую, какъ два сирійскихъ леопарда въ клѣткѣ. Лицо было подобно небу во время бури. Онъ весь какъ бы съежился, страшными усилями воли сжалъ въ себѣ то, что кипѣло у него внутри и просилось наружу. Онъ ждалъ.

Вотъ одинъ изъ шейховъ взошелъ на небольшое возвышеніе и заговорилъ къ народу. Толпа замолкла.

— Во имя Бога милостиваго и милосерднаго! О вы, молящіеся Мухаммаду! Передъ вашими глазами новый минаретъ, воздвигнутый искусною рукою господина Ахмада Карна. Нравится ли вамъ постройка? Строить ли другой такой же?

— Великъ Богъ!—загудѣла толпа.—Великъ Богъ и его пророкъ Мухаммадъ, да будетъ Господь благословенъ и да хранить его. Минаретъ удивительный! Лучшаго не можетъ построить никто...

Но вдругъ Рашидъ всталъ на камень и голосомъ, рѣзкимъ, какъ крикъ ночной птицы въ пустынь, заговорилъ. Лицо его было блѣдно, точно посыпано мукой. Голосъ звенѣлъ и слышался ясно даже въ самыхъ отдаленныхъ углахъ обширнаго двора. Говоръ умолкъ, и всѣ съ удивленіемъ обернулись въ его сторону.

— Правовѣрные!—кричалъ Рашидъ, поднявъ къ небу судорожно сжатую руку.—Я, Рашидъ, рабъ Бога прославленнаго и величайшаго, построю вамъ минаретъ, достойный сей славы мечети... Я построю его выше, тоньше, прекраснѣе того, который стоитъ здѣсь передъ вашими глазами. Если я лгу—

всемогущій Богъ покараетъ меня. Отдаю вамъ тогда свою голову и жизнь...

Если бы на ясномъ и бездонномъ голубомъ небѣ въ эту минуту загрохоталъ громъ, толпа удивилась бы меньше, чѣмъ при словахъ Рашида. Нѣсколько мгновеній всѣ стояли безмолвно. Не пошевелился ни одинъ кидаръ, не дрогнулъ ни одинъ усъ. Всѣ точно окаменѣли, какъ высокія, старыя стѣны мечети. Только слышно было, какъ вода плескалась въ фонтанѣ, да городъ глухо стоналъ въ отдаленіи.

— Я сказалъ все,—уже прохрипѣлъ Рашидъ и сошелъ съ камня.

Толпа вдругъ зашумѣла, задвигалась. Бороды затряслись, руки замахали. Нѣсколько минутъ нельзя было ничего разобратъ. Всѣ точно одурѣли, всѣ кричали, сами не зная что и почему. Только Ахмадъ Карнъ стоялъ молча и неподвижно. Онъ былъ пораженъ неожиданностью... Такъ вотъ почему Рашидъ всегда смотрѣлъ на него, Ахмада, исподлобья, вотъ почему взгляды его были враждебны! Его грызла зависть; ему хотѣлось быть равнымъ, даже выше своего искуснаго учителя. О, скорпіонъ, котораго пригрѣлъ Ахмадъ въ своемъ домѣ!

Толпа понемногу начала успокаиваться. Мнѣнія раздѣлились. Одни, наиболѣе старыя и благоразумныя, хотѣли отстранить дерзкаго Рашида и предоставить Ахмаду докончить работу. Большинство, главнымъ образомъ, люди помоложе, болѣе любопытныя, настаивали отдать второй минаретъ Рашиду. Построить, какъ его учитель или лучше—получить деньги; построить хуже—не получить. „А если онъ совсѣмъ испортитъ“, возражали старики... Но Рашидъ разрѣшилъ и эти послѣднія сомнѣнія. Въ залогъ того, что минаретъ его будетъ не хуже минарета Ахмада, онъ предложилъ все свое многолѣтнее сбереженіе—цѣлыхъ сто золотыхъ монетъ по ста піастровъ каждая. Тогда всѣ начали соглашаться отдать постройку Рашиду. Ахмадъ Карнъ помогъ дѣлу закончиться: онъ всенародно отказался продолжать постройку для того, чтобы посмотреть на работу своего ученика и порадоваться, если онъ оправдаетъ свои обѣщанія... Толпа начала понемногу расходиться. Завтра Рашидъ начнетъ постройку второго минарета.

III.

Любопытство охватило весь городъ. Что выйдетъ изъ этого состязанія двухъ мастеровъ? На обширномъ дворѣ мечети всегда толпилось множество праздныхъ зрителей. Толки и предположенія были безконечны. Ставилось много закла-

довъ за Рашида и за Ахмада. Даже женщины и малыя дѣти приходили къ мечети и вели тамъ безконечные споры о томъ, кто побѣдитъ.

Рашидъ же работалъ. Онъ никогда не смотрѣлъ на толпу и не говорилъ почти ни съ кѣмъ, кромѣ каменщиковъ, ни слова. Онъ похудѣлъ, поблѣднѣлъ. Глаза его ввалились и блестѣли подъ костлявыми глазницами, точно два ночныхъ огня въ горной пещерѣ. Днемъ онъ не отдыхалъ, а въ пятницу нигдѣ въ городѣ не показывался. И день, и ночь, и будни, и праздники онъ проводилъ на своей постройкѣ, спалъ въ своемъ минаретѣ, и постель его поднималась все выше и выше къ голубому небу.

И Ахмадъ Карнъ сидѣлъ дома и никуда не выходилъ, даже въ мечеть. Заслышавъ звуки призывной молитвы, онъ разстилалъ у себя на дворѣ коврикъ и долго молился. Онъ ждалъ конца работы, чтобы посмотреть, какъ построить минаретъ его соперникъ. Онъ жилъ слабой надеждой, что минаретъ Рашида выйдетъ хуже его минарета. Неужели же слава Ахмада Карна померкла?!

Родные и знакомые приходили къ Ахмаду и утѣшали его, рассказывали, какъ движется у Рашида второй минаретъ. Сначала они надъ Рашидомъ подсмѣивались, называли его „новою звѣздой“, „новымъ голубемъ“. Но чѣмъ дальше, тѣмъ шутки ихъ становились принужденныя и рѣже. Ахмадъ чувствовалъ, что отъ него нѣчто скрываютъ, и безпокойство его возрастало все болѣе и болѣе. До сихъ поръ еще крѣпкій и бодрый, онъ въ нѣсколько мѣсяцевъ совершенно постарѣлъ, даже посѣдѣлъ.

Наконецъ, узнавъ онъ, что Рашидъ окончилъ свою постройку. Наступила пятница. Съ сильно бьющимся сердцемъ вышелъ Ахмадъ Карнъ изъ дому въ мечеть, куда валилъ толпами народъ. Шелъ онъ по узкимъ улицамъ съ опущеннымъ взоромъ, читая въ бороду стихи изъ Корана и перебирая дрожащими руками ятарныя четки. За домами не было видно новыхъ минаретовъ. Они откроются только за послѣднимъ поворотомъ улицы, совсѣмъ близко около мечети.

Около этого поворота у Ахмада подкосились ноги и сердце перестало биться. Онъ немного придержался за уголъ дома и взглянулъ на древнюю мечеть. Сначала минареты запрыгали, затанцовали у него въ глазахъ, точно два дервиша въ припадкѣ священнаго изступленія. Но черезъ минуту Ахмадъ пришелъ въ себя и разглядѣлъ новый минаретъ, какъ слѣдуетъ.

Передъ нимъ на голубомъ небѣ вырисовался воздушный станъ минарета Рашидовой работы, прямой, какъ солнечный

лучъ, тонкій, какъ тростникъ надъ водами Іордана. Онъ возносился выше его минарета. Онъ стоялъ, какъ юноша съ гордо-поднятой головой и стройно вытянутымъ станомъ. Его полумѣсяцъ ярко сверкалъ въ вышинѣ надъ всѣми постройками и, казалось, злобно улыбался надъ другимъ минаретомъ, своимъ сосѣдомъ. А минаретъ Ахмада Карна будто прини-зился, постарѣлъ, застыдился стоять съ такимъ молодцомъ и даже покачнулся немного въ сторону. Да, только теперь Ахмадъ Карнъ замѣтилъ, что его минаретъ былъ немного кривъ. Только теперь онъ рассмотрѣлъ несоразмѣрность его частей. Теперь увидѣлъ, какъ неуклюжь его станъ, какъ некрасиво висятъ на стѣнахъ перила... Все увидѣлъ Ахмадъ Карнъ и точно замеръ на мѣстѣ. Гдѣ, откуда научился такому искусству его Рашидъ, этотъ угрюмый работникъ? Гдѣ онъ видѣлъ образцы лучшіе построекъ Ахмада?..

Хорошо на закатѣ дней привѣтствовать новаго генія тому, кто при этомъ не теряетъ трудовъ и усилій всей своей жизни, у кого онъ однимъ своимъ движеніемъ не разрушаетъ всѣхъ идеаловъ, чьихъ ошибокъ онъ не выставляетъ на посмѣшище, ошибокъ, купленныхъ цѣною крови, цѣною долгихъ трудовыхъ годовъ... Но тоскливо и тяжело тому, кто въ концѣ своей жизни увидить, какъ уродливо то, что онъ считалъ совершенной красотой. Безучастной толпѣ этотъ страшный размахъ новаго генія любопытенъ, полезенъ и пріятенъ... Еще бы, она ничего при этомъ не теряетъ! Какъ величественно катятся съ ливанскихъ горъ дождевые потоки, какъ красиво, мощнымъ изгибомъ падаютъ они со скалы на скалу!.. Весело и пріятно любоваться! Но больно сжимается сердце хозяина того дома, на который обрушился могучій потокъ, ударилъ въ стѣну и снёсъ, смѣлъ все внизъ, въ долину. А тамъ этотъ потокъ начнетъ поить людей и животныхъ, орошать нивы... Да, великъ Богъ, но слабъ и немощенъ человѣкъ!

Вотъ какія чувства охватили Ахмада Карна, и тоска сжала его сердце. Но мимо него проходили люди. Они съ сожалѣніемъ, мелькомъ взглядывали на его сгорбленную фигуру и блестящіе больнымъ огнемъ глаза, устремленные на новый минаретъ. Онъ опомнился, оттолкнулся дрожащей рукой отъ угла дома, къ которому привалился, и пошелъ въ мечеть.

Мечеть была полна народомъ. Какъ спѣлые колосья подъ ударами вѣтра припадаютъ къ землѣ, такъ дружно склонялось въ мечети на ковры и циновки общество правовѣрныхъ. Ахмадъ Карнъ прошелъ на свое мѣсто у колонны и опустился на колѣни. Въ головѣ и сердцѣ у него была какая-то страшная пустота. Онъ напрягалъ все свое вниманіе, чтобы понять,

о чемъ говорить проповѣдникъ съ возвышенія, но слышаль только одни звуки. Слова метались въ мечети, звучали вверху и замирали по угламъ, не доходя до его сознанія. Ему казалось, что слова похожи на голубей, которые летали подъ толкомъ всѣ одинаковые, и бѣлыя крылья ихъ мелькали въ вышинѣ и неустанно звенѣли. Онъ даже забылъ о своемъ противникѣ Рашидѣ и въ теченіе всей молитвы ни разу не посмотрѣлъ, гдѣ онъ и какое у него лицо. Его сердце давила тяжесть, а въ глазахъ все вырисовывался новый минаретъ, прекрасный и стройный, какъ ангелъ, рядомъ съ его неуклюжимъ старикомъ. И Ахмаду казалось, что его минаретъ чувствуетъ съ нимъ одинаково: и у минарета, какъ и у него, сдѣлалось все такъ страшно пусто въ душѣ. Этотъ новый, молодой наглець задавилъ у нихъ обоихъ всю радость жизни, затмилъ ея свѣтъ, однимъ словомъ, истребилъ въ ней что-то самое главное, самое нужное.

Ахмадъ Карнъ даже не замѣтилъ, какъ всѣ вышли изъ мечети и собрались на дворѣ. Онъ очнулся только тогда, когда толпа, въ отвѣтъ на чьи-то слова, зашумѣла, загудѣла одобрительно, радостно.

— Должно быть, хвалятъ Рашида,—подумалъ Ахмадъ и тихо пошелъ на дворъ.

Завидѣвъ его, толпа сразу смолкла. Онъ растерянно оглянулся вокругъ. Всѣ молчали и какъ будто не обращали на него никакого вниманія. Онъ пошелъ къ выходу. Толпа молча разступилась и проводила его глазами до самыхъ воротъ. Когда Ахмадъ вышелъ изъ мечети, скрылся за ея громадною, желѣзною дверью, всѣ снова зашумѣли, заговорили.

IV.

Наступила тихая лѣтняя дамасская ночь. Легкія, прозрачныя тѣни упали съ неба на городъ, и тихо заснулъ онъ подъ ихъ покровомъ.

Тихо, торжественно тихо, такъ, какъ только бываетъ тихо ночью въ Дамаскѣ: листь не движется и безпомощно застываетъ на своей ножкѣ. Надъ городомъ поднимается высокое небо съ крупными мигающими звѣздами. Звѣзды то загораются разноцвѣтными огнями драгоценныхъ камней, то меркнутъ, совсѣмъ потухаютъ. Во всѣ стороны высятся безпорядочныя груды домовъ, окутанныя свѣтлымъ сумракомъ звѣздной южной ночи.

Городъ спитъ. На узкихъ улицахъ и крытыхъ базарахъ никого нѣтъ. Фонари слабо мерцаютъ въ темнотѣ. Ночныя тѣни о чемъ-то шепчутся по узкимъ переулкамъ и подъ

угрюмыми сводами тысячелѣтнихъ построекъ. Рѣдкій прохожій боязливо озирается по сторонамъ, прислушиваясь къ этому таинственному шопоту и движенію ночныхъ тѣней вѣчнаго города. Кто тамъ смотритъ изъ мрака внимательными очами? Кто слѣдитъ за каждымъ шагомъ? Кто дышитъ?.. Кто прислушивается къ біенію нашего сердца, къ полету грѣшной мысли?.. Нѣтъ никого... Проворчала собака. Слава Богу,—раздался знакомый звукъ. Примолкли на минуту тѣни; глубже во мракъ попрятались призраки...

Ужъ близко полночь—самый тихій часъ дамасской ночи. Но вотъ по улицѣ кто-то тихо-тихо идетъ. Онъ ежеминутно озирается по сторонамъ, какъ воръ, какъ женщина, идущая на свиданіе... Онъ пробирается въ тѣни, стараясь укрыться отъ свѣта керосиновыхъ фонарей. Но вотъ на углу лицо его освѣтилось. Это Ахмадъ Карнъ! Руки и ноги его дрожатъ, глаза горятъ, широкій хитонъ почти сползъ съ плечъ. Онъ идетъ, точно пьяный, качаясь изъ стороны въ сторону. Идетъ онъ прямо въ мечеть къ двумъ минаретамъ. Вотъ онъ вошелъ въ отворенную дверь и скрылся въ зелени акацій и лимоновъ.

Вдругъ далеко кто-то запѣлъ тонкимъ, высокимъ голосомъ. О, какую согласную съ торжественнымъ полумракомъ ноту взялъ этотъ звенящій, какъ серебро, далекій голосъ! То муэддинъ запѣлъ въ срединѣ города на минаретѣ Аль-Амуи **) призывную молитву. Со всѣхъ концовъ Дамаска, со ста пятидесяти мечетей ему откликнулись голоса, и скоро надъ городомъ въ прохладномъ ночномъ воздухѣ заметалась печальная пѣсня муэддиновъ.

Но вотъ и на новомъ высокомъ минаретѣ Рашида, торопясь попасть въ общій концертъ, муэддинъ запѣлъ обычную молитву: „Великъ Богъ, великъ Богъ! Нѣтъ божества, кромѣ единаго Бога; свидѣтельствую, что Мухаммадъ посланникъ Бога“.

При первомъ звукѣ муэддиновой пѣсни Ахмадъ Карнъ вздрогнулъ и взглянулъ вверхъ.

— А! поютъ на минаретѣ Рашида! Мой плохъ и кривъ.— И онъ въ какомъ-то безсиліи опустился на холодную каменную плиту двора и прислушался.

Только подъ горячимъ южнымъ небомъ, въ каменной, горной пустынѣ могъ зародиться такой отчаянно-печальный мотивъ. Въ звукахъ этого религіознаго призыва плачетъ вся природа: плачутъ въ благоговѣніи люди, плачутъ горы, плачутъ каменистыя пустыни; отъ избытка чувствъ плачетъ сердце, съ покорностью судьбѣ плачетъ умъ. Плачутъ и торжествуютъ! Да и самъ онъ, муэддинъ, неужели не плачетъ вмѣстѣ съ

*) Главная дамасская мечеть.

этими страдающимъ, какъ что-то живое, мотивомъ? Быть можетъ, только не видно, какъ съ высокаго минарета капають его слезы на холодные, покрытые ночью влагою камни? Да и что же онъ поетъ? Кажется, онъ оставилъ пѣть затверженную молитву. Да, онъ поетъ другое...

„Все пройдетъ на свѣтѣ,—пѣлъ муэддинъ.—Нѣтъ ничего вѣчнаго! Вѣченъ только великій Богъ! Измѣнять свои русла и изсякнуть рѣки; въ прахъ и пепелъ превратятся города, исчезнутъ народы, сравняются горы, потускнѣетъ самая яркая слава! Измѣнитъ міру память, померкнетъ сіяніе божественнаго полумѣсяца. Гибнетъ тотъ народъ, надъ которымъ онъ впервые возблестѣлъ, подобно яркому солнцу. Великъ Богъ! Бойтесь Бога, ибо онъ всевѣдущъ и великъ! Помнишь ли ты, Дамаскъ, свою прежнюю славу? Не забылъ-ли своихъ великихъ халифовъ? Видишь ли ты ихъ хоть во снѣ, подъ легкимъ покрываломъ прозрачныхъ тѣней? О, горе! Неужели ты забылъ свою славу, неужели поникъ головой отъ безсилія? Неужели не струится кровь безбожниковъ подъ твоимъ заржавѣвшимъ мечомъ? Въ твоихъ безчисленныхъ ручьяхъ нѣтъ ни капли крови. Они мирно лепечутъ и рассказываютъ дивныя повѣсти о былой славѣ. Слышишь-ли ты, какъ плачутъ на тонкихъ, точно станъ прекраснѣйшей изъ твоихъ женщинъ, высокихъ минаретахъ муэддины пѣвцы? Они смотрятъ въ туманную даль, окутанную прозрачными тѣнями. Смотрятъ они на западъ и востокъ, сѣверъ и югъ, смотрятъ на святой городъ... Весь міръ видятъ отсюда! Но нигдѣ не слышно звона оружія, не сіяетъ полумѣсяцъ надъ стройными рядами воиновъ... Все тихо... Сады и горы... Все спитъ спокойно и безмятежно. Молитва моя летитъ къ тебѣ, первое изъ твореній божіихъ и послѣдній изъ посланниковъ божіихъ. Миръ тебѣ и всѣмъ друзьямъ твоимъ, прославившимъ по всей землѣ имя твое. Нѣтъ ихъ больше—и приникла слава“.

И еще мучительнѣе, еще отчаяннѣе заметалась въ воздухѣ печальная пѣсня муэддина. Съ глухихъ грудныхъ звуковъ она поднялась на высокія, кричащія ноты, поднялась выше нѣмыхъ, неподвижныхъ горъ,—и въ безсиліи, точно подстрѣленная птица, кувыркаясь, снова упала внизъ.

„Къ твоимъ неугомонно-журчащимъ ручьямъ, о Дамаскъ, не сбѣгаются лучшія въ мірѣ красавицы. Серебряная холодная струя не брызжетъ на обнаженные плечи, и звону фонтановъ не вторитъ божественный смѣхъ затворницъ гаремовъ. Ночныя тѣни окутали городъ и на своихъ легкихъ крылахъ принесли мирныя грезы. Встаньте правовѣрные, приидите на молитву, приидите на путь спасенія и удачи! Великъ Богъ, великъ Богъ и нѣтъ божества, кромѣ единого Бога“...

Муэддинъ замолкъ и все стало снова тихо. Сторожъ вонкѣ

ударилъ въ сухую доску. Проворчала собака. Вода бойко плескалась въ бассейнѣ и рябила прекрасное отраженіе южнаго звѣзднаго неба. А звуки муэддиновой пѣсни точно поднимались къ небу, долго-долго звенѣли въ сверкающей выси, пока снова не заснули чуткія горы и не перестали давать свои глухіе, невнятные отвѣты.

Спускаясь съ минарета, муэддинъ замѣтилъ, что кто-то быстро прошмыгнулъ на другой минаретъ и побѣжалъ вверхъ по каменной лѣстницѣ. Опъ ускорилъ шагъ и испуганно прошепталъ:

— Молю Бога избавить отъ діавола искушителя.

И поторопился захлопнуть за собой дверь своей комнаты.

На утро весь городъ встревожился. Въ старой мечети на дворѣ около двери лежало мертвое тѣло Ахмада Карна. Онъ бросился внизъ съ построеннаго имъ минарета на каменные плиты двора. Всѣ шли въ мечеть, чтобы взглянуть на бывшего строителя и отдать ему послѣдній привѣтъ. Пришелъ сюда и Рашидъ. Увидѣвъ тѣло своего учителя, онъ поклонился ему до земли, поцѣловалъ его холодную, скорченную руку и ушелъ, не сказавъ никому ни слова. Съ тѣхъ поръ его въ Дамаскѣ больше не видѣлъ никто.

А два минарета стоятъ и теперь на краю Дамаска и видны нутнику издалека въ зелени абрикосовыхъ и тутовыхъ садовъ: одинъ пониже, постарѣе, немного покачнулся на бокъ, а другой высокій стройный и будто только-что вчера построенъ.

С. Кондурушкинъ.

Заводская поэзія.

Судя по отзывамъ „спеціалистовъ“, русская народная пѣсня переживаетъ въ настоящее время очень интересную фазу своей эволюціи: длинная староскладная пѣсня вытѣсняется изъ употребленія коротенькимъ, въ 4—6 строчекъ, продуктомъ современнаго народнаго творчества—такъ называемой „частушкой“. Не знаю, насколько такое утвержденіе приложимо ко всей массѣ поющей простонародной Руси, но въ заводскомъ населеніи Южнаго Урала, гдѣ я въ лѣтніе мѣсяцы 1901 и 1902 гг. занимался между дѣломъ изученіемъ мѣстной народной пѣсни, побѣду „частушки“ надъ „старинной“ пѣсней можно считать свершившимся фактомъ. „Старинную“ пѣсню въ уральскихъ заводахъ можно услышать развѣ только гдѣ-нибудь на свадьбѣ, когда дѣвки поютъ свадебныя пѣсни, входящія въ ритуаль извѣстныхъ обрядностей, или когда разгуляются старики и затянутъ какую-нибудь „Лучинушку“. Впрочемъ, свадебные обряды выходятъ изъ употребленія, а старики, помнящіе староскладныя пѣсни, вымираютъ, такъ что въ недалекомъ будущемъ „частушка“ одержитъ верхъ окончательно. Въ ея конкуренціи находятся лишь одни жестокіе „романцы“ вродѣ „Чуднаго мѣсяца“, „Безумной“ и т. д.

Если прибавить сюда наблюденія покойнаго Г. И. Успенскаго, который еще въ семидесятыхъ годахъ констатировалъ такой-же фактъ въ одной изъ центральныхъ губерній *), г. Зеленина—въ Вятской губ. **) и г. Штакельберга—въ Новгородской г. ***), то пожалуй—съ тѣмъ, что „частушка“ есть типичная представительница современной народной пѣсни, придется согласиться.

Я не хочу здѣсь вдаваться въ подробную оцѣнку этого явленія. Цѣль настоящей замѣтки—представить читателю образцы современной народной пѣсенки, этой „частушки“, которая, какъ выразительница современныхъ народныхъ чувствъ и настроеній

*) «Новые народные стишки», собр. соч. изд. Павленкова, т. 3, стр. 650.

**) «Новыя вѣянiя въ народной поэзіи», «Вѣстанкѣ Воспит.», 1901 г. октябрь.

***) «Новое время—новыя пѣсни», «Россія», 1901 г. № 916.

съ одной стороны и какъ представительница народной поэзіи нашего времени — съ другой, не можетъ не возбуждать интереса. Кромѣ того, такъ какъ въ „частушкахъ“ сохранилось драгоценное достоинство народнаго творчества—его непосредственность, близость къ жизни, онѣ въ своей совокупности представляютъ довольно полную и безусловно вѣрную картину народнаго жита-бытья. Что „частушки“, дѣйствительно, могутъ представлять цѣнный для уясненія бытовой и нравственной жизни народа матеріалъ, порукой тому—свидѣтельство такого глубокаго знатока этой жизни, какимъ былъ Гл. Ив. Успенскій. Въ статьѣ „Новые народные стишки“ онъ, между прочимъ, пишетъ: „Собравъ „частушки“ съ такою-же тщательностью, какъ собираются статистическія свѣдѣнія о всякихъ мелкихъ подробностяхъ хозяйства въ крестьянскомъ дворѣ, и разработавъ ихъ соотвѣтственно тѣмъ сторонамъ народной жизни, которыхъ онѣ касаются, мы имѣли бы точное представленіе о нравственной жизни народа“ *): Пятисотъ пѣсенокъ, собранныхъ мною, — не болѣе, какъ капля въ морѣ, сравнительно со всѣмъ числомъ обращающихся въ народѣ „частушекъ“, но и по нимъ можно составить очень вѣрное и—главное—*живое* представленіе о нѣкоторыхъ сторонахъ жизни заводскаго крестьянина. Я, конечно, далека отъ претензіи дать здѣсь „точное представленіе о нравственной жизни народа“,— для этого необходимо обладаніе неизмѣримо большимъ количествомъ „частушекъ“, но я надѣюсь, что тѣ немногія стороны заводской жизни, которыя я могу здѣсь представить на основаніи собраннаго мною матеріала, будутъ освѣщены довольно полно. Кстати: я долженъ оговориться, что все дальнѣйшее относится исключительно къ жизни заводскаго населенія Южнаго Урала. Общій *habitus* „частушки“, судя по изслѣдованіямъ названныхъ выше и другихъ авторовъ, остается одинаковымъ для всѣхъ мѣстностей Россіи, но о народныхъ настроеніяхъ и жизни, которыя отражаются въ „частушкахъ“ даже смежныхъ губерній, этого сказать нельзя.

Въ моемъ распоряженіи имѣется болѣе пятисотъ „частушекъ“, записанныхъ мною на трехъ заводахъ Южнаго Урала. Весь этотъ матеріалъ очень рѣзко распадается на два отдѣла: одинъ составляютъ частушки чисто фабричныя, другой—частушки, такъ сказать, бытовыя, содержаніе которыхъ никакого отношенія къ фабрикѣ не имѣетъ. Между тѣми и другими, помимо различія въ ихъ содержаніи, нельзя не замѣтить значительной разницы и въ формѣ изложенія мысли: бытовыя частушки въ отношеніи формы отличаются отъ произведеній старой народной поэзіи только нѣкоторыми намеками на рифму и новымъ, чуждымъ старой пѣснѣ, размѣромъ, между тѣмъ какъ въ фабричной частушкѣ рифма вы-

*) Собр. соч., т. 3, стр. 656.

ражена гораздо яснѣе, да и размѣръ соблюдается строже. Въ общемъ фабричныя частушки производятъ такое впечатлѣніе, что онѣ составлены грамотнымъ человѣкомъ, знакомымъ со стихотвореніями авторовъ „изъ господъ“. Бытовая частушка какъ будто не доросла еще до фабричной, которая, по своей формѣ, представляетъ какъ бы слѣдующую за бытовой частушкой „стадію развитія“ народной пѣсни, народного творчества, очевидно стремящагося принять формы искусственнаго стихосложенія со всѣми его атрибутами—рифмой, размѣромъ и т. д. Повидимому частушка вообще является въ развитіи народной поэзіи промежуточнымъ звеномъ между прежнимъ безыскусственнымъ и, пожалуй, бессознательнымъ творчествомъ и грядущимъ сочинительствомъ народныхъ пѣсень, т. е. переходомъ отъ пѣсни къ стихотворенію.

Сначала я рассмотрю фабричныя частушки, а затѣмъ — бытовыя.

І. Фабричная пѣсенка.

Частушки различныхъ заводовъ, хотя въ общемъ основной колоритъ ихъ одинаковъ, все же довольно рѣзко различаются между собой, и одинаковыхъ частушекъ въ разныхъ заводахъ мнѣ почти не приходилось записывать, а если таковыя и встрѣчались, то всегда въ болѣе или менѣе измѣненномъ видѣ, причѣмъ новыя варіаціи всегда отмѣчали какую-нибудь новую черточку въ складѣ заводской жизни, присущую только данному заводу *). Исключеніемъ изъ этого правила оказываются только фабричныя пѣсенки, трактующія по большей части о тяготахъ заводской работы. Мотивъ „жить тяжело“ звучитъ одинаково сильно въ фабричныхъ частушкахъ всѣхъ трехъ заводовъ, на которыхъ я успѣлъ побывать, и вездѣ выражается почти въ однѣхъ

*) Иногда дѣло доходило до очень забавныхъ контрастовъ. Такъ, въ одномъ заводѣ дѣвушки поютъ:

— Намъ не надо сальныхъ свѣчекъ:
У насъ лампочки горятъ.
Намъ не надо дальнихъ парней:
У насъ ближніе сидятъ.

а эти «ближніе» очень неделикатно отвѣчаютъ

На Уралѣ рыбы много,—
Глубоко—ловить нельзя.
Въ Бѣлорѣцкѣ дѣвокъ много,—
Морды все—любить нельзя.

Въ другомъ заводѣ роли мѣняются:

Они. Городскія дѣвки модны,
По три дня сидятъ голодомъ.
Заводскія дѣвушки—
Бѣлыя лебедушки.

Онѣ. Здѣшніе парни-то еопливы.
Я поѣду въ городокъ
Въ городского молодчика.
Влюблюся я разокъ.

и тѣхъ же формахъ. То же самое отношеніе къ „распроклятому заводу“, то же глубокое недовольство „распостылымъ трудомъ“, та же ненависть къ „нѣмцу-управителю“, тѣ же горькія жалобы на постигшія во время работы несчастія..

Картина жизни фабричныхъ, которую даютъ намъ ихъ пѣсни, нарисована однѣми темными красками,—свѣтлыхъ тоновъ въ ней нѣтъ. Жизнь рабочихъ сплошь состоитъ изъ цѣпи тяжелыхъ трудовъ и несчастій:

Распроклятый нашъ заводъ
Перепортилъ весь народъ:
Кому палецъ, кому два,
Кому по локоть рука...

Грудь расшибъ себѣ два раза,
У мартиновскихъ псечей
Я ослѣпъ на оба глаза,—
Хоть-бы голову съ плечей!..

Управитель нашъ подлецъ,
Всѣхъ замучилъ насъ въ конецъ:
Въ будни тяжело работаемъ,
Въ праздники отдыха не знаемъ.

Эхъ ты, маменька родима,
Ты зачѣмъ меня родила?
Все забота да работа
До тяжелаго до пота.
Она сушить молодца
Эхъ, до самого конца.

Замѣчательно, что въ фабричныхъ пѣсенкахъ уральскихъ заводовъ нѣтъ бодрыхъ настроеній,—въ нихъ сквозить тяжелое сознаніе безсилія измѣнить существующій невыносимый порядокъ вещей, въ нихъ нѣтъ ни малѣйшей надежды на освобожденіе отъ рабской зависимости отъ завода и воли управителя, въ нихъ звучатъ только жалобы и отчаяніе. Эти пѣсенки могли-бы служить хорошей иллюстраціей къ мысли, не помню ужъ кѣмъ высказанной, что положеніе рабочихъ на уральскихъ заводахъ мало чѣмъ отличается отъ крѣпостной зависимости. Въ этомъ отношеніи особенно демонстративны двѣ слѣдующія частушки:

Заперты мы на заводѣ
Тяжелой неволей:
Много долгу на народѣ,
Всеякъ себѣ не воленъ.

Никуда намъ нѣтъ пути
Ни уѣхать. ни уйти.
Управитель это знаетъ
Нами лихо помыкаетъ.

Иногда въ пѣснѣ рабочихъ звучитъ острая зависть къ мужику-пахарю, который

Лѣтомъ въ полѣ, на работѣ
Самъ себѣ хозяинъ.
Зимой дрыхнетъ безъ просыпу,
Ровно большой баринъ.

Для фабричныхъ частушекъ существуетъ и особый мотивъ; довольно бойкій, хотя и не всегда веселый, напѣвъ обычной частушки здѣсь замѣняется другимъ—тоскливымъ, почти рыдающимъ. Нельзя равнодушно слышать, какъ подгулявшіе фабричные поютъ нестройнымъ хоромъ эти частушки, сопровождая каждую руладами гармоники,—столько въ этомъ пѣніи пьяной тоски, отчаянія, даже слезъ... И никогда мнѣ не приходилось слышать въ немъ молодецкой удалы, хотя бы и пьяной...

Эти пѣсни звучатъ тѣмъ грустнѣе, что поетъ ихъ не молодость, а отцы семейства, — къ ихъ тоскѣ по своей загубленной жизни присоединяется еще жалость къ дѣтямъ, обреченнымъ на такой-же каторжный трудъ, на рабскую зависимость отъ завода:

Посмотрю на своо сына,
Сердце оборвется, —
Та же горькая судьбина
Ему достается...

И почти всегда это надрывающее пѣніе оканчивается болѣе веселымъ колѣнцемъ:

Тяжело, братцы-ребята,
Тяжело на свѣтѣ жить,
За то можно вѣдь, ребята,
Въ винѣ горе утопить...
Э-эхъ-ма!..
Въ утѣшенье намъ дано
Монопольское вино.

Въ менѣе серьезномъ настроеніи фабричный людъ пользуется другой половиной своего репертуара частушекъ,—пѣсенками, сочиненными невѣдомыми поэтами на ту или другую злобу дня и отличающимися по большей части сатирическимъ содержаниемъ, а иногда хоть и грубоватымъ, но очень мѣткимъ остроуміемъ. Запасъ такихъ пѣсенокъ очень великъ, такъ какъ ни одно болѣе или менѣе крупное событіе заводской жизни не остается не отмѣченнымъ новой частушкой. Къ сожалѣнію, я не могу привести здѣсь наиболѣе характерныхъ примѣровъ злободневныхъ пѣсенокъ (это потому, что онѣ обильно уснащены чересчуръ ужъ энергичными выраженіями), а вынужденъ ограничиться только двумя слѣдующими, одной—сочиненной по поводу назначенія въ Б. заводъ новаго управляющаго съ курьезной манерой всегда держать голову бокомъ, и другой—по поводу паденія съ лошади тучной супруги заводскаго инженера:

Бѣморѣцкій заводъ славный:
 На рѣкѣ Бѣлой стоитъ.
 Управитель у насъ главный
 Однимъ глазомъ вверхъ глядитъ.

—
 Затряслась земля сырая,
 Въ гору рѣки потекли:
 Стопудовую мадаму
 Черти съ лошади снесли.

Въ злободневныхъ пѣсенкахъ я не нашелъ ни одной, которая повѣствовала бы о какомъ-нибудь радостномъ для рабочихъ событіи. Должно быть такихъ событій совсѣмъ нѣтъ въ ихъ жизни... И, конечно, никакъ нельзя ставить заводскому рабочему въ вину то обстоятельство, что его злободневная пѣсенка проникнута непріятнымъ чувствомъ злобы ко всякому, имѣющему надъ нимъ власть, и что всякая непріятность, постигшая власть имѣющее лицо, вызываетъ въ средѣ рабочихъ злорадное стихотворное замѣчаніе по его адресу,—жалъ, молъ, что мало:

Инженеру (имя рекъ)
 Паромъ рыло обварило.
 Жалко намъ, братцы-ребята,
 Что всего не окатило.

2. Любoвная пѣсенка.

Такъ какъ всегда и вездѣ наиболѣе частымъ и сильнымъ импульсомъ сложить пѣсенку является извѣстное чувство, то большая часть обращающихся въ народѣ пѣсенокъ этому чувству и посвящена. Это понятно также и въ силу того обстоятельства, что пѣніе въ уральскихъ заводахъ, да, вѣроятно, и повсемѣстно на Руси, представляетъ какъ бы прерогативу молодости, такъ какъ заводскіе крестьяне „въ лѣтахъ“ поютъ рѣдко и при томъ пользуются уже своимъ опредѣленнымъ репертуаромъ—фабричной частушкой и немногими, устоявшимися подъ натискомъ современной пѣсенки, староскладными пѣснями. Частушекъ, не касающихся „ейныхъ“ или „евонныхъ“ чувствъ и взаимныхъ отношеній „его“ и „ея“, въ моемъ собраніи наберется не болѣе 40—50, если не считать фабричныхъ пѣсень.

Любовныя частушки очень рѣзко отличаются другъ отъ друга, смотря по тому, кто поетъ—онъ или она. Мужскія частушки грубѣе, мужиковатѣе, однообразнѣе женскихъ. Той нѣжности, которая очень часто звучитъ въ женской частушкѣ, въ мужской нѣтъ и слѣда. Иллюстрирую это различіе примѣрами.

Неужели ты завянешь,
 Аленькій цвѣточекъ?
 Неужели не вспомнешь,
 Миленькій дружочекъ? —

Частушка безусловно женская. *Та же частушка мужчиной поется уже иначе:

Неужели ты завянешь,
Травушка шелковая?
Неужели не вспоманешь,
Дарья бестолковая?

Въ то время, какъ „она“ трогательно жалобится на свою судьбу,—

Стало солнце закататься,
Стало красно примелькаться,
Сталъ мой милый зазнаваться,
Сталъ, *хорошій*, отставать... —

Или не менѣ трогательно и грустно покоряется своей участи—

Коротенькій дипломатъ,
Его не наставишь.
Не сталъ миленькій любить,
Его не заставишь. —

„онъ“ безъ излишней сентиментальности предупреждаетъ:

Моя милка важная!
Не влюбляйся въ каждого:
Будешь каждого любить,
Крѣпко въ морлу буду бить...

Впрочемъ, иногда не церемонится въ выраженіяхъ и женская частушка, особенно если дѣло идетъ о мести за поруганное чувство:

Если бъ знала негодяя,
Не любила бы его.
Песереди синёго моря
Утопила бы его.

Но во всякомъ случаѣ, грубыя женскія частушки всетаки, составляютъ немногочисленные исключенія изъ общаго правила, почти незамѣтныя въ громадной массѣ частушекъ совсѣмъ иного колорита. Что касается мужскихъ частушекъ, то среди нихъ нѣтъ ни одной пѣсенки, которая была бы лишена присущей имъ вообще грубости. Всѣ онѣ составлены въ духѣ и тонѣ двухъ слѣдующихъ типичныхъ мужскихъ пѣсенокъ:

Сколько разъ я зарекался
Этой улицей ходить!
Въ одну *подлую* влюбился,
Не могу ее забыть.

Что ты, мила, приуныла,
Не слышать твоихъ рѣчей?
Али брюхо заболѣло?
Не купить ли калачей?

Мужскихъ частушекъ гораздо меньше, чѣмъ женскихъ. Это вполне понятно: мужчина, всегда мастеровой, поетъ предпочтительно свои фабричныя пѣсни, и фабрика у него всегда на первомъ планѣ, тогда какъ дѣвушкѣ послѣ исполненія ея обычныхъ домашнихъ работъ почти всегда остается кое-какой досугъ—помечтать о „немѣ“, да и на всѣхъ вечеринкахъ поютъ преимущественно дѣвушки. Кромѣ того, заводская работа какъ-то сглаживаетъ индивидуальныя особенности въ характерѣ, въ проявленіяхъ чувствъ и т. д., въ силу чего мужская частушка очень однообразна и всегда рисуетъ одинъ и тотъ же типъ мужчины—грубаго, циничнаго, понимающаго любовь въ очень узкомъ смыслѣ, почти всегда „обманщика и надсмѣшника“. Женскія частушки, напротивъ, даютъ цѣлую серію различныхъ образовъ любящей дѣвушки. По большей части онѣ изображаютъ настоящую любовь „по тробѣ жизни“, и при томъ преимущественно любовь несчастную.

У заводской дѣвушки очень много „подружекъ“, но близкой подруги, съ которой можно было бы подѣлиться своими думами, мечтами, горемъ,—нѣтъ. Таковы ужъ у насъ нравы.

Никто травиньку не косить,
Никто серпикомъ не жнеть,—

сиротливо поетъ одинокая дѣвушка,—

Никто меня не разспросить,
Никому-то дѣла нѣтъ...
Кто бы, кто бы покосилъ,
Я-бъ тому пожала.
Кто бы, кто бы разспросилъ,
Все бы рассказала.

Но рассказать рѣшительно некому: отецъ съ матерью „не вѣрятъ, что на свѣтѣ любовь есть“, а если и вѣрятъ, то смотрятъ на нее, какъ на баловство; подруги... но если онѣ и способны понять ея горе, то во всякомъ случаѣ сочувствія отъ нихъ ждать нельзя,—онѣ вѣдь скорѣе соперницы, чѣмъ подруги. Гдѣ же больше излить свое горе, свою тоску, какъ не въ пѣсенкѣ?.. И въ частушкѣ мы находимъ отраженіе всѣхъ перипетій ея любовной драмы.

Дѣло начинается съ ея вздоховъ и довольно опредѣленно выраженныхъ желаній:

Поносила-бъ, поносила-бъ
Кашемиру алаго...
Полюбила-бъ, полюбила-бъ
Паренька удалаго...

—
Какъ охота, какъ охота
Пирога съ горошкомъ!

Какъ охота, какъ охота
Милаго съ гармошкой!..—

Но она еще не рѣшается „полюбить паренька удалого“: за ней слѣдитъ зоркій глазъ родимой мамыньки—

Елочка, сосеночка,
Боюсь, уколюся я.
Завела бы милочку,
Боюсь—провинюся я...—

Словомъ, и хочется и колется. Дѣйствительно, родимая мамынька зорко-зорко слѣдитъ за дочерью, не довѣряетъ ни одному ея подозрительному движенію:

Открой, мамынька, окошко:
Головушка болитъ.
Врешь, обманывашь, дѣвченка!
Ты завѣтнаго. *) глядишь!..

Но вотъ появляется на горизонтѣ „онъ“—непремѣнно въ вышитой рубашкѣ, „при калошахъ и часахъ“,—

Идетъ миленькій, хорошій,
Не сыскать такой красы:
На ногахъ его калоши,
На бѣлыхъ грудяхъ часы.—

Зазнобила меня
Черная фуражка.
Сердце рѣжетъ безъ ножа
Вышита рубашка!..

И она влюбляется до самозабвенія, любитъ по настоящему, по хорошему,—

Гдѣ я, гдѣ я ни хожу,
Гдѣ я ни гуляю,
Я свово-то миленькаго
Съ ума не спущаю.—

Полюбивъ, она не считаетъ нужнымъ скрывать отъ кого-либо свое чувство и не боится болѣе даже сердитой мамыньки.

—Чѣмъ мнѣ милаго прогнѣвать,
Лучше мамку прослезить,—

думаетъ она. Въ ней не узнать уже той робкой дѣвушки, что такъ хитрила съ матерью, такъ старательно и стыдливо скрывала отъ нея зарождающееся чувство. Нѣтъ, теперь она разговариваетъ съ ней о своемъ „предметѣ“ совершенно свободно, даже съ нѣкоторымъ отгѣнкомъ гордости:

*) «Завѣтный»—возлюбленный, «онъ».

Кака мамынька чудная!
Перестань меня бравить:
Знать судьба моя такая,
Я должна его любить.

Эхъ, мамынька, Папку люблю!
Кашемирову рубашку куплю.
Не ругай меня, мамаша, за него:
Все равно любить буду его.

Но, должно быть, недолго она наслаждается счастьемъ взаимнаго чувства,—въ репертуарѣ дѣвичьихъ пѣсенъ нѣтъ частушекъ говорящихъ о счастливой любви. Или, можетъ быть, счастливые не нуждаются въ пѣснѣ? Какъ-бы то ни было, частушки любящей дѣвушки, всѣ безъ исключеній, отличаются минорнымъ тономъ,—она не смѣется отъ счастья, не радуется ему, а „тяжелонько“ вздыхаетъ да горючи слезы льетъ“...

Либо „она“ томится въ разлукѣ съ милымъ,—

Я сидѣла подъ окошкомъ,
Пряла бѣленькій ленокъ,
Въ ту сторонку все смотрѣла,
Гдѣ мой миленькій живетъ.

Болитъ сердце цѣлый [годъ,
Оно не уймется:
Съ кѣмъ хотѣла постоять,
Съ тѣмъ не доведется.—

либо горько плачется на охлажденіе къ ней ея „мила дружка“,—

Меня солнышко не грѣетъ,
Надъ головушкой туманъ.
Меня милъ дружокъ не любитъ,
Только дѣлаетъ обманъ.

Не дождемъ дорогу мочить,
Не вѣтрами продувать...
Мой-отъ миленькій не ходить,
Вечерами забывать.—

либо „она“ совсѣмъ оставлена, брошена имъ:

Я надѣву черну юбку
И пухову сѣру шаль,
При подружкахъ сердце тѣшу,
Будто милаго не жаль...

Какъ видитъ читатель, и здѣсь нѣтъ счастливыхъ, веселыхъ настроеній—и здѣсь та-же „тоска-печаль, змѣя подколотная“, та-же безропотная подчиненность горькой судьбинѣ, какую мы видѣли въ фабричной пѣснѣ. Этотъ грустный тонъ дѣвичьихъ пѣсенъ вполне соответствуетъ заводской дѣйствительности; право выбора принадлежитъ тамъ только сильной половинѣ, а дѣвушка

должна удовлетвориться тѣмъ, кого ужъ пошлетъ ей судьба. И если измѣнить ей ея возлюбленный, ей остается только одно:

Я надѣну платье бѣло,
Чтобы сердце не болѣло.
Полушалокъ голубой—
Не полюбитъ-ли другой?

Слѣдствіемъ такого положенія вещей является пренебрежительное отношеніе представителей сильной половины къ представительницамъ слабой. Къ тому-же ухаживаніе первыхъ имѣетъ видъ какого-то молодечества: чѣмъ больше побѣдъ, тѣмъ больше славы, все равно, какими путями достигнуты эти побѣды. Для иллюстраціи привожу характерную и очень распространенную пѣсенку:

Западайте тѣ дороженьки,
По которымъ я ходилъ,
Забывайте меня дѣвушки,
Которыхъ я любилъ.
*Я любилъ, обманывалъ,
Замужъ уговаривалъ.*

Рядомъ съ этой пѣсенкой вполне понятна такая, напимѣръ, частушка, принадлежащая, очевидно, обжегшей свои крылья дѣвушкѣ:

Кофта моя, кофточка,
Кофточка съ оборочкой!
Надо любить милочку,
Только съ уговорочкой!...

Но ужъ какая тутъ „уговорочка“, если „милочка“, ухаживаніе котораго осмѣлились отвергнуть, объявить такую, примѣрно, угрозу:

Ужъ ты, милая моя,
Я тебя уважу:
Куплю дегти на пятакъ,
Ворота намажу...

Для заводской дѣвушки нѣтъ ничего позорнѣе пятна дегтя на отцовскихъ воротахъ:

—Дѣвичей головушкѣ
Тяжкая стыдобушка:
Ворота намазаны,
Всѣ пути заказаны.

Какъ пойду я на вечерку,
Добрымъ людямъ покажусь?
Мнѣ намазали ворота,
Пойду съ горя утоплюсь...

И въ силу этого обстоятельства угроза „милочки“ всегда ведетъ къ желанному результату:

Какъ его мнѣ не любить?
 Какъ къ нему мнѣ не ходить?
 Онъ грозитъ окна разбить,
 Ворота дегтемъ облить...

Почти всегда дѣвичій романъ кончается опредѣленнымъ образомъ: „онъ“ женится на другой, а „она“ остается одна-одиношенька, съ глазу на глазъ съ своимъ горемъ, съ своимъ позоромъ:

Съ горы камешекъ скатился
 Во Карляинскую рѣку,
 Мой-то миленькій женился,
 Взялъ подруженьку мою...

Пала, пала худа слава
 Что на нашъ широкій дворъ,
 Отцу съ матерью—безчестье,
 А мнѣ, дѣвушкѣ—покорь...

А вотъ и эпилогъ этого романа, еще болѣе печальный:

Меня мамынька будила,
 Я спала, не слышала.
 «Вставай, вставай, доченька,
 Я тебя просватала»...
 Всѣ подружки веселы,
 Я пошла—заплакала.

Какъ ни северно жилось „въ дѣвкахъ“, жизнь замужемъ оказывается еще болѣе непривлекательной:

— Не ходите, дѣвки, замужъ, —

совѣтуетъ умудренная собственнымъ горькимъ опытомъ „баба“, —

Во дѣвушкахъ лучше жить.
 Замужъ выйдешь—горе примешь,
 Вспомнишь дѣвичье житье.

Въ чемъ же заключается горе замужней женщины? О, у нея много горя, много заботъ:

Первая заботушка —
 Свекоръ да свекровушка.
 Другая заботушка —
 Деверь да золовушка.
 Третья заботушка —
 Мужъ удаля голова...

И неудивительно, что безвозвратно минувшая дѣвичья пора представляется теперь несравненно болѣе свѣтлой и счастливой, чѣмъ жизнь „въ бабахъ“.

Я у мамыньки была,
 Алой розанькой цвѣла.

А какъ въ бабыньки попала,
Сухой травянькой повяла.

—
У родимой матушки
Спала — усыпалася,
У лихой свекровушки
Слезамы уливалася.

Такъ и проходить вся непроглядная бабья жизнь безъ свѣту, безъ радости: въ молодости—въ неволѣ у „миленочка“, затѣмъ—въ неволѣ у мужа и „лихой свекровушки“. Что жизнь подъ началомъ мужа не красна, яркимъ доказательствомъ тому служить популярность въ уральскихъ заводахъ извѣстной пѣсни, слушать которую нельзя безъ ужаса:

Бей бабу, бей,
Дуру бабу бей,
Бей, обучай,
На свой обычай,
Переворочай...

Этими двумя серіями „частушекъ“ я ограничиваюсь, — пѣсенокъ, касающихся другихъ сторонъ заводской жизни, мнѣ удалось собрать очень немного, и при томъ онѣ мнѣ не кажутся характерными для нашихъ заводскихъ нравовъ. Но уже и изъ тѣхъ примѣровъ „частушки“, которые я здѣсь привелъ, можно видѣть, насколько она гибка и разнообразна. Если къ этимъ двумъ качествамъ прибавить еще ея полное соотвѣтствіе съ современнымъ складомъ народной жизни, будетъ вполне понятнымъ, почему она такъ быстро вытѣсняетъ изъ употребленія староскладную пѣсню.

Григ. Бѣлорѣцкій.

ИНОСТРАНЕЦЪ.

Съ одиннадцати часовъ утра вплоть до восьми вечера студентъ Чистяковъ ходилъ по урокамъ и только разъ въ недѣлю, по средамъ, когда занятія съ учениками начинались у него позже, заглядывалъ на минутку въ университетъ, чтобы отмѣтиться у педеля. На лекціи онъ никогда не заходилъ и не зналъ даже, гдѣ расположены аудиторіи для юристовъ второго курса, такъ какъ очень не любилъ профессоровъ и ближайшей весною собирался навсегда уѣхать за границу—жить и учиться тамъ. Для этой именно цѣли онъ набралъ столько работы и копилъ деньги, а по вечерамъ, возвратившись съ уроковъ, занимался нѣмецкимъ языкомъ. Поселиться онъ рѣшилъ въ Германіи, въ Берлинѣ; тамъ уже съ годъ жилъ его старый пріятель и писалъ оттуда длинныя и восторженные письма. И въ каждомъ письмѣ настойчиво звалъ его.

Но случалось по вечерамъ, что въ головѣ у Чистякова что-то шумѣло, какъ вода, падающая съ мельничнаго колеса; передъ утомленными глазами мелькали непріятныя лица учениковъ, и сильно болѣлъ лѣвый бокъ. Тогда заниматься нельзя было и онъ или ложился въ постель, считалъ накопленныя деньги и мечталъ о своей жизни въ Берлинѣ, или шелъ внизъ, въ шестьдесятъ четвертый номеръ, гдѣ вечерами собирались обыкновенно студенты со всего „Сѣвернаго Полуся“,—такъ назывались номера, въ которыхъ онъ жилъ. Онъ не любилъ собиравшихся тамъ студентовъ, какъ не любилъ всего, что его окружало: не любилъ улицъ, по которымъ ходилъ, не любилъ комнаты, въ которой жилъ, не любилъ всей неустроенной, хаотичной, варварски-грубой и бессмысленной жизни. Даже хуже варваровъ казались ему люди, которыхъ онъ видѣлъ всюду, на улицахъ и въ домахъ: варвары были смѣлы, а эти только не уважали ни себя, ни другихъ, и часто вырастали между ними страшный призракъ тупого насилія и бессмысленной жестокости. Но сознаніе, что скоро

онъ уйдетъ отъ нихъ навсегда, увидить другихъ, хорошихъ людей, заживетъ настоящею устроенною и доброю жизнью, примиряло его съ остающимися людьми и вызывало странную грусть и тихое сожалѣніе. И когда онъ приходилъ къ нимъ, высокій, съ узкою и больной грудью, съ безкровнымъ лицомъ постника и лихорадочно блестящими глазами, его тихое „здравствуйте!“ звучало, какъ печальное „прощайте!“

А внизу, въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ, всегда было весело, беззаботно и шумно. Отъ того, что въ номерѣ много пили водки и курили, много пѣли и кричали, спали на полу и на диванахъ, воздухъ въ немъ былъ сизый и тяжелый, сильно пахло спиртомъ и селедкой и всегда царилъ безпорядокъ, такой прочный и непобѣдимый, что Чистякову онъ иногда казался особеннымъ порядкомъ. И хозяева комнаты, Ванька Костюринъ и Пановъ, были похожи на свою комнату: безпорядочные и прочно утвердившіеся въ своемъ безпорядкѣ, по утрамъ вмѣсто чая они пили водку или пиво, ночью бодрствовали, а днемъ спали.

Имущества у нихъ было очень мало, но на окнахъ всегда стоялъ рядъ порожнихъ бутылокъ, по росту, начиная отъ четверти и кончая соткой, а на стѣнѣ висѣли бубенъ и треугольникъ и лежала хорошая гармонія. Съ тѣхъ поръ, какъ одинъ изъ товарищей по номерамъ, сербъ Райко Вукичъ, однажды ночью прошелся съ бубномъ по корридору и страшно напугалъ всѣхъ жильцовъ, подумавшихъ про пожаръ, каждый вечеръ въ одиннадцать часовъ приходилъ корридорный Сергѣй и отбиралъ бубенъ до утра. А утромъ приносилъ его вмѣстѣ съ парюю пива, и длинноусый Ванька Костюринъ, по утрамъ очень мрачный, исполнялъ на бубнѣ короткую пѣснь — тоже почему-то очень мрачную. А потомъ звонкой и веселой трелью разсыпалась гармонія — и начинался безтолковый и непонятный Чистякову день.

Когда вечеромъ въ шестьдесятъ четвертый номеръ приходилъ Чистяковъ, узкогрудый, болѣзненный, неся на себѣ слѣды трудового дня и строго опредѣленной жизненной цѣли, компанія встрѣчала его съ легкой насмѣшкой и недоброжелательствомъ.

— Иностранецъ ползеть! — возвѣщали Ванька Костюринъ. И студенты смѣялись, такъ какъ всѣмъ своимъ лицомъ, длинными волосами, синей рубашкой, выглядывавшей изъ-подъ тужурки, Чистяковъ менѣе всего походилъ на иностранца. Да и говоръ у него былъ самый великорусскій: мягкій, округлый и задумчивый.

Не любили его студенты за то, что онъ былъ совершенно равнодушенъ къ ихъ жизни, не понималъ ея радостей и оп-

кожъ былъ на человѣка, который сидитъ на вокзалѣ въ ожиданіи поѣзда, курить, разговариваетъ, иногда даже какъ будто увлекается, а самъ не сводитъ глазъ съ часовъ. О себѣ онъ ничего не рассказывалъ и никто не зналъ, почему въ двадцать девять лѣтъ онъ только на второмъ курсѣ, но зато много и подробно говорилъ онъ о за границѣ и тамошней жизни. И всѣмъ, кого видѣлъ въ первый разъ, сообщалъ съ тихимъ восторгомъ гдѣ-то и когда-то услышанную имъ новость: что въ Христіаніи, на самой лучшей площади, народъ воздвигъ два прекрасныхъ памятника: Бьернсоу и Ибсену, еще при жизни послѣднихъ, и когда Бьернсонъ и Ибсенъ проходятъ по площади, они видятъ свое изображеніе, отлитымъ изъ вѣчнаго чугуна и бронзы, и такъ радуются любви народа, что оба плачутъ. И рассказывая это, Чистяковъ глядѣлъ въ сторону и вѣки его наливались слезами и краснѣли.

Охотно рассказывалъ онъ и о томъ, сколько скоплено у него денегъ для за границы — двѣсти двадцать рублей, и однажды онъ даже надоѣлъ всѣмъ студентамъ съ жалобой на то, какъ гнусно поступили съ нимъ на одномъ урокѣ, обсчитавъ его на одиннадцать рублей. Такъ, взяли и спокойно обсчитали, а когда онъ сталъ требовать, то сперва посмѣялись, а потомъ выгнали.

— Вѣдь это кровныя деньги!—говорилъ онъ съ гнѣвомъ и тоскою.—Вѣдь можетъ они мнѣ двухъ лѣтъ жизни стоятъ!

— Ну не ной, надоѣлъ!—сказалъ ему тогда Ванька Костюринъ,—хочешь, мы тебѣ эти одиннадцать цѣлковыхъ соберемъ промежъ себя?

Онъ предложилъ это отъ чистаго сердца и былъ очень удивленъ и обиженъ, когда Чистяковъ съ негодованіемъ отклонилъ предложеніе.

— Не товарищъ ты!—сказалъ Костюринъ съ упрекомъ и всѣ согласились съ нимъ, что Чистяковъ не товарищъ. Это видно было и потому, съ какимъ презрительнымъ равнодушіемъ относился онъ ко всѣмъ студенческимъ интересамъ: что бы важное ни случилось, какъ бы ни горячился народъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ, онъ молчалъ, разсѣянно барабанилъ пальцами по столу, и если дебаты затягивались, начиналъ зѣвать и уходилъ заниматься нѣмецкимъ языкомъ.

— Я не здѣшній!—говорилъ онъ съ шутливымъ извиненіемъ, но въ шуткѣ его была странная и почему-то очень обидная правда. И было непріятно чувствовать, что они всѣмъ не знаютъ этого узкогрудаго человѣка, который такъ прямо идетъ къ своей цѣли и не хочетъ сказать, откуда возьдось въ его больной груди столько силы и рѣшимости.

И особенно не любилъ его Ванька Костюринъ: самъ онъ

носилъ высокіе сапоги, а лѣтомъ въ деревнѣ поддевку, уважалъ все русское, водку, квасъ, жирныя щи и мужиковъ, и старался говорить грубымъ голосомъ и по простонародному: вмѣсто „кажется“ говорилъ „кажись“ и часто употреблялъ слово „давеча“. И онъ не понималъ упорнаго стремленія Чистякова за границу и причислялъ его почему-то къ той же категоріи явленій, какъ бѣлыя перчатки, постоянная трезвость, визиты и модныя сапоги; и два другія названія, данныя имъ Чистякову, были такія: аристократъ и собачья старость. Остальные были равнодушны ко всему русскому, охотно бранили его и говорили Чистякову, что и сами поѣхали бы учиться и жить за границей, если бы деньги. А онъ уговаривалъ ихъ, доказывалъ, что денегъ всегда можно достать, волновался, но потомъ вглядывался въ ихъ добродушныя, полупьяныя рожи, вспоминалъ всю ихъ лѣнивую, распущенную жизнь—и равнодушно умолкалъ. Гдѣ нибудь въ углу на смятой постели онъ усаживался и смотрѣлъ оттуда блестящими и далекими глазами, такой блѣдный, узкогрудый и рѣшительный.

А остальные весело и беззаботно жили со всею безпечностью молодости и здоровья, какъ будто не было у нихъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, ни проклятыхъ вопросовъ, которые несетъ съ собою проклятая дѣйствительность. Широкоплечій, волосатый, толстошей Толкачевъ, съ маленькими и тупыми глазками, показывалъ силу своихъ мышцъ, подымалъ гири и заставлялъ всѣхъ смотрѣть на себя и восхищаться: онъ былъ членомъ гимнастическаго общества, признавалъ одну только силу и открыто презиралъ Университетъ, студентовъ, науку и всякіе вопросы. И многіе его ненавидѣли, но боялись его чудовищной силы, его грубости, которая ни передъ чѣмъ не останавливается, и даже за глаза не рѣшались говорить о немъ дурно. И когда кто-нибудь, выведенный изъ терпѣнія, начиналъ спорить съ нимъ, то всегда начиналъ споръ словами:

— Конечно, всякій свободенъ въ своихъ убѣжденіяхъ, но ты, Костя, едва-ли правъ...

А онъ не понималъ этой деликатности и спокойно обрывалъ споръ:

— Ну, стоитъ съ вами, съ дураками, разговаривать. Будь моя воля, я каждый бы день всѣхъ васъ на конюшнѣ дралъ.

И всѣ дѣлали видъ, что онъ шутитъ, и смѣялись. Хозяинъ Пановъ крошилъ лукъ для селедки и плакалъ; сербъ Райко Вукичъ, низенькій, сухой, жилистый, горбоносый, съ острымъ раздвоеннымъ подбородкомъ, по которому выступала колючая щетина, и обвисшими усами, глядѣлъ на водку, молчалъ и ждалъ, когда нальютъ. Этотъ Райко былъ чужакъ

Трезвый онъ молчалъ, а когда выпивалъ немного водки, то начиналъ смѣшнымъ и ломаннымъ языкомъ горячо и упорно рассказывать про Сербію—какія-то мелкія и неинтересныя вещи: о партіяхъ, о радикалахъ и туркахъ, о какомъ-то скверномъ и ужасномъ человѣкѣ Бодемличѣ и еще о чемъ то. И онъ такъ расхваливалъ маленькую и плохенькую Сербію, что всѣ умирали со смѣху и нарочно дразнили его.

— Господи!—удивлялся Ванька Костюринъ.—Говорить про Сербію, а она вся-то съ эту селедку. Возьметъ ее ту-рокъ, да и проглотить.

— Подавится!—возражалъ Райко, щетинясь усами, подбородкомъ, острыми глазками, всей своей колючей и жилистой фигуркой.

— И выплюнетъ: экая дрянь, скажетъ!

Райко вспыхивалъ, окидывалъ гнѣвнымъ взглядомъ собравшихся и свирѣпо бросалъ:

— Осли!

И уходилъ въ свой номеръ. Товарищи хохотали, а Чистяковъ, печально улыбаясь, думалъ, какая это дѣйствительно маленькая и грустная страна задѣрныхъ и слабенькихъ людей, постоянной неурядицы, чего-то мелкаго и жалкаго, какъ игра дѣтей въ солдаты. И ему было жаль маленькаго Райко и хотѣлось взять его съ собою за границу, чтобы онъ увидѣлъ тамъ настоящую, широкую и умную жизнь.

Когда бутылки на половину пустѣли, студенты начинали пѣть, играть на гармоніи и когонибудь посылали за Райко, который считался специалистомъ по бубну. Райко являлся и мрачно бубнилъ, а глаза его горѣли, словно у волка, и были остры, какъ жало осы. Если становилось очень весело и разгоряченная кровь ходуномъ начинала ходить по жиламъ, Ванька Костюринъ всакивалъ, подергивалъ плечами и плясалъ русскую. Громоздкій и неуклюжій, въ пляскѣ онъ былъ легокъ и перышкомъ носился по комнатѣ: выбивалъ каблуками частую дробь, взвизгивалъ, гикалъ, и вся комната точно вертѣлась и дрожала отъ стука, заливыстыхъ звуковъ гармоніи и захлебывающагося рычанія бубна. И у всѣхъ смотрѣвшихъ сверкали глаза, подергивались руки и ноги, и кто-нибудь отходилъ въ уголъ, съ безнадежнымъ восторгомъ махалъ рукою и откуда то изъ глубины выдыхалъ томительное и сладкое: э-э-хъ! И всѣ они казались Чистякову похожими на сумасшедшихъ.

Кончивъ пляску и тяжело отдуваясь, Ванька Костюринъ просилъ Райко:

— А ну, Райко, покажи, какъ у васъ пляшутъ. Не бойсь, такъ не умѣютъ.

— Такъ не умѣютъ, а лучше умѣютъ.

— Да ты покажи, не бойся! Я знаю, у васъ хорошо пляшуть.

Всѣ уговаривали, и Райко, пугливо и злобно озираясь, откладывалъ бубенъ. Потомъ лицо его становилось свирѣпымъ и кровожаднымъ, и онъ дѣлалъ нѣсколько странныхъ, порывистыхъ и колючихъ движеній—какъ будто не плясать онъ собирался, а душиить, царапать и убивать. Безъ музыки, серьезный, немного страшный, онъ такъ похожъ былъ на маленькаго дикаря, что всѣ раздражались хохотомъ, а Райко опять обиженно ругался и уходилъ.

„Какъ они грубы!“—думалъ Чистяковъ и ему было жаль маленькаго Райко, такъ сильно любившаго свою маленькую родину.

Бывалъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ студентъ Каруевъ, всегда ровный, всегда веселый, и слегка высокомерный. При немъ все нѣсколько мѣнялось: пѣлись только хорошія пѣсни, никто не дразнилъ Райко и силачъ Толкачевъ, не знавшій границъ ни въ наглости, ни въ раболовствѣ, услужливо помогалъ ему надѣвать пальто. А Каруевъ иногда умышленно забывалъ поздороваться съ нимъ и заставлялъ его дѣлать фокусы, какъ ученую собаку:

— Ну-ка ты, мясо, подними-ка столъ за ножку!

Толкачевъ самодовольно поднималъ.

— А ну-ка согни двугривенный.

Толкачевъ сгибалъ и стыдливо говорилъ:

— А папаша у меня могъ кочергу въ бантикъ завязать.

Но Каруевъ уже не слушалъ его и шелъ разговаривать къ одиноко сидѣвшему Чистякову. Съ нимъ онъ былъ всегда серьезенъ и жалѣюще внимателенъ, какъ докторъ, и когда разговаривалъ, то близко и ласково заглядывалъ ему въ глаза. А Чистяковъ тоже жалѣлъ его и постоянно звалъ съ собою за границу.

— Ну какъ, ѣдете?—спрашивалъ Каруевъ.

— Двѣсти двадцать собралъ. Еще сто восемьдесятъ не хватаетъ. А вы?—улыбался Чистяковъ.

— А я нѣтъ. Тяжело вамъ тамъ будетъ, голубчикъ. Здоровье то ваше...

— Тамъ климатъ хорошій.

— Такъ то оно такъ, а все же лучше бы въ Крымъ...

Блѣдное лицо Чистякова стало еще блѣднѣе и вѣки напряженно покраснѣли. Дрожь отъ боли и ужаса, точно у него отъ сердца отдирали его за границу, онъ съ тоскою и отчаяніемъ прошепталъ:

— Я умру здѣсь. Умру. Господи! тамъ люди, тамъ жизнь, а тутъ...—онъ безнадежно махнулъ рукою.

— Ну-ну!—успокаивалъ его Каруевъ.—И поѣзжайте съ Богомъ, если такъ хочется.

— Тамъ, вы знаете,—умилренно шепталъ Чистяковъ,—тамъ въ Христіаніи Бьернсону заживо памятникъ поставили. И Ибсену. И они каждый день... мимо ходятъ и видятъ это. Господи! Хоть бы только коснуться той земли, хоть бы только разъ вздохнуть тѣмъ воздухомъ!.. Грудь у меня слабая, чахотка, говорить, можетъ быть. Умереть бы тамъ.

Каруевъ ласково погладилъ его по колѣну.

— Не умрете. Насъ еще переживете! А должно быть жизнь то порядочно васъ поломала. Ишь, нервы.

— Нервы!—улыбнулся Чистяковъ.—Не нервы, а вотъ,—онъ ткнулъ себя въ грудь,—вотъ гдѣ сидитъ у меня ваша жизнь!

И началъ рассказывать, какъ дешево все за границей, а люди только дороги. Не такъ какъ у насъ: все дорого, а люди дешевы.

II.

На вторую половину года жить Чистякову стало труднѣе. Силы у него убавилось, чаще болѣлъ лѣвый бокъ, и на урокахъ онъ легко раздражался, а ученики были тупые, дерзкіе и лѣнныя. И среди студентовъ въ шестьдесятъ четвертомъ номерѣ стало хуже. Тамъ произошла исторія, которую всѣ скоро позабыли, а Чистяковъ забыть не могъ, такъ больно она поразила его. Это было еще въ ноябрѣ: силачъ Толкачевъ ударилъ Ваньку Костюрина по лицу, за что-то поссорившись съ нимъ. Былъ поздній вечеръ, они стояли толпою на дворѣ, всѣ были сильно пьяны и смутно понимали, что происходитъ.

— За что ты меня?—крикнулъ Костюринъ.

— А вотъ за что!—сказалъ Толкачевъ и еще разъ ударилъ, такъ что Костюринъ перегнулся на двое, едва устоялъ на ногахъ, и на зубахъ его показалась кровь. Всѣ хмурились, кричали, но никто не рѣшался вступить, и только Чистяковъ съ истерическимъ вскрикомъ бросился на огромнаго Толкачева и неловко ударилъ его, ушибивъ себѣ большой палецъ. Потомъ что-то тяжелое, какъ пудовая гиря, обрушилось на его голову, онъ упалъ, а когда поднялся, всѣ стояли кружкомъ и насакивали на Толкачева, но не били его, а только кричали. Но все же онъ немного струсилъ и оправдывался, сваливая всю вину на Костюрина; послѣдній выплевывалъ на снѣгъ черную слюну и говорилъ:

— Братцы, развѣ такъ можно!

И черезъ десять минутъ ихъ помирили. Они протянули

руки и поцѣловались, а Чистяковъ всплеснулъ руками и заплакалъ отъ боли, отъ скорби и гнѣва.

— Господи! Его бьютъ, а онъ цѣлуется. Вѣдь это подлость!

— А тебѣ что?—черезъ плечо спросилъ его Толкачевъ.— Хочешь черезъ крышу перекину?

— Иностранецъ!—презрительно сказалъ Костюринъ и всѣ, галдя и смѣясь, тронулись къ воротамъ, а Чистяковъ пошелъ въ свой номеръ, легъ и долго плакалъ въ темнотѣ. Насиліе, несправедливость, какъ туча, стояли надъ нимъ, и далекимъ, недоступнымъ раемъ казались ему чуждые и свѣтлые края. „Хоть бы умереть тамъ!“—думалъ онъ, смертельно тоскуя.

На другой день Костюрину стало совѣстно и онъ первый разъ за все время знакомства пришелъ въ номеръ къ Чистякову, долго и смущенно оглядывался и хвалилъ комнату.

— Какъ тутъ у тебя чудно! Словно у монашенки!—говорилъ онъ, а потомъ сразу заплакалъ и по длиннымъ перекосившимся усамъ его катились большія, свѣтлыя слезы и капали на красное сукно номерного грязнаго стола. А черезъ недѣлю все забылось, и Толкачевъ опять показывалъ силу своихъ мускуловъ и заставлялъ восхищаться ими, но теперь Чистяковъ не могъ безъ ужаса смотрѣть на его красную толстую шею и огромный кулакъ, и чувствовалъ себя въ его присутствіи такимъ беззащитнымъ и слабымъ, какъ цыпленокъ передъ ястребомъ. Грубая и тупая сила грозно стояла передъ нимъ и ни въ чемъ не было защиты. Все-таки онъ пересталъ подавать Толкачеву руку, но тотъ встрѣтилъ это презрительнымъ и искреннимъ хохотомъ и часто заговаривалъ съ нимъ:

— Ну, иностранецъ! Скоро тебя черти унесутъ за границу? Поскорѣе, а то соберусь какъ нибудь и ребра тебѣ пощупаю.

Чистякову было страшно; онъ молчалъ и думалъ: „не понимаетъ даже, что неприлично заговаривать съ человѣкомъ, который не подаетъ руки“. А Толкачевъ хохоталъ:

— Не бойся: я вѣдь шучу. На что ты мнѣ нуженъ, собачья старость!

И всѣ облегченно вздыхали, такъ какъ боялись, что Толкачевъ и вправду побьетъ его, и иногда уговаривали Чистякова помириться.

— Вѣдь онъ хорошій малый!—говорили они полуискренно, такъ какъ и за глаза не рѣшались говорить о Толкачевѣ правду и не рѣшались думать ее. И только одинъ Каруевъ одобрилъ Чистякова и почти пересталъ бывать въ шестидесять четвертомъ номерѣ.

Денегъ было скоплено двѣсти девяносто рублей, и была надежда, что къ веснѣ, къ апрѣлю мѣсяцу, Чистяковъ себе-

реть всѣ четыреста. У него было бы больше, но на одномъ урокъ у купца опять не додали десяти рублей, хотя обѣщали заплатить, а кромѣ того пятнадцать рублей онъ далъ Райко, который почти ничего не получалъ изъ дому и содержался на деньги товарищей: за его долю въ квартирѣ плату вносилъ Ванька Костюринъ. Съ деньгами въ карманѣ Чистяковъ сталъ спокойнѣе и увѣреннѣе. По цѣлымъ вечерамъ онъ просиживалъ у себя въ номерѣ, мечтая о томъ, какъ хорошо онъ будетъ жить за границей, и уже началъ укладывать нѣкоторыя мелкія вещи. И когда укладывалъ, сердце его наполняла тихая, прозрачная и чистая, какъ ключевая вода, печаль—о чемъ-то далекомъ, неизвѣданномъ и миломъ, и постоянно казалось, что онъ что-то забываетъ захватить съ собою, что-то очень важное и дорогое, безъ чего ему предстоитъ много непріятностей.

Къ товарищамъ онъ сталъ относиться мягче, не сердился на нихъ и только жалѣлъ. Жалѣлъ, что они остаются съ ужаснымъ Толкачевымъ; жалѣлъ, что они такъ пьютъ и вся ихъ жизнь будетъ тусклая, тоскливая, какъ у другихъ, и ничего не удастся имъ изъ того хорошаго, о чемъ они иногда мечтаютъ. Странная, неустроенная, кошмарная жизнь, похожая на дикій сонъ, пожретъ ихъ, какъ сожрала тысячи другихъ, и тщетны будутъ ихъ попытки устроить другую, лучшую жизнь. И особенно жаль ему было энергичнаго и смѣлаго Каруева, который бьется головой о стѣну и послѣднее время сдѣлался очень мраченъ и неровень.

— Поѣдемте!—уговаривалъ Чистяковъ.

— Куда?—не понималъ Каруевъ.

— Да за границу.

Каруевъ раздраженно отвѣтилъ:

— А я думалъ что!—но потомъ спохватился и вѣжливо добавилъ,—конечно, поѣзжайте. Чего-жъ вамъ тутъ сидѣть? Полѣчитесь тамъ, нервы подвинтите.

— Я лѣто хочу въ Швейцаріи прожить.

— Вотъ, вотъ! На что лучше,—похвалилъ Каруевъ и вѣжливо, какъ съ малознакомымъ, простился съ Чистяковымъ. Онъ тоже куда-то на время уѣзжалъ.

Въ серединѣ марта одинъ изъ хозяевъ шестьдесятъ четвертаго номера, Пановъ, праздновалъ свои именины и позвалъ Чистякова. Вѣдали уже на колесахъ и когда Чистяковъ вышелъ съ послѣдняго урока, на него пахнуло отрадной свѣжестью и первымъ весеннимъ тепломъ. „Скоро!“ подумалъ онъ, и сердце его трепыхнулось, какъ птица, и выросло въ душѣ что-то печальное и больное, какъ у всѣхъ уѣзжающихъ надолго, навсегда,—и потонуло въ волнѣ широкой радости и торжества. Ночное небо надъ городомъ было

черное и по небу таинственно неслись огромные, бѣлые хлопья облаковъ, какъ гигантскія бѣлыя птицы. Въ одну сторону неслись они, и былъ въ ихъ быстромъ и молчаливомъ полетѣ могучій призывъ къ такому же вольному и счастливому полету. „Скоро! Скоро!“—думалъ Чистяковъ.

Народъ уже давно собрался, когда онъ пришелъ въ номера; было уже выпито водки и чаю, и всѣ собирались пѣть. Чистяковъ устало усѣлся въ углу, на сложенныхъ кучею пальто и съ дружелюбной грустью смотрѣлъ на собравшихся: всего только черезъ мѣсяцъ онъ уѣзжалъ надолго—навсегда. Спѣли хоромъ двѣ студенческія пѣсни, а потомъ выдѣлились трое: консерваторка Михайлова, у которой было хорошее сопрано, самъ именинникъ, пѣвшій сильнымъ и красивымъ басомъ, и еще одинъ бѣлокурый студентъ, теноръ. Тишина наступила и басъ одиноко и медленно запѣлъ, и Чистяковъ вздрогнулъ: такъ неожиданно хороша была пѣсня:

Поко-койной но-о-чи всѣмъ уста-а-вшимъ...

Торжественнымъ покоемъ, великой грустью и любовью были проникнуты величавые, могуче сдержанные звуки: кто-то большой и темный, какъ сама ночь, кто-то всевидящій и оттого жалѣющій и безконечно печальный, тихо окутывалъ землю своимъ мягкимъ покровомъ, и до крайнихъ предѣловъ ея долженъ былъ дойти его мощный и сдержанный голосъ. „Боже мой, вѣдь это о насъ, о насъ!“ — подумалъ Чистяковъ и весь потянулся къ пѣвцамъ.

И когда замеръ послѣднй звукъ, вступилъ звонкій теноръ и повторилъ—какъ будто отозвалась земля на жалѣющія и ласковыя слова и мольбою дышала ея молитвенная рѣчь:

— Покойной но-о-чи всѣмъ уста-а-вшимъ...

И съ той же величавой грустью и покоемъ лился въ пространство темный, мужественный басъ:

— Весь день свой отдыха не зна-а-вшимъ...

Что-то сверкающее и драгоценное, какъ слезы, упало съ высокаго неба и пронизало тьму широкаго, густого баса и нѣжнымъ горячимъ стономъ смѣшалось съ воплями земли.

— Трудомъ купившимъ св-ой по-о-кой!..

„Боже мой, Боже мой! вѣдь это она поетъ!“—подумалъ Чистяковъ, вглядываясь въ поблѣднѣвшее лицо дѣвушки. — „О, милая, вѣдь это о насъ, о насъ!“

И всѣ трое, смѣшавъ голоса, пронизывая ими другъ друга, слившись въ одну величавую, скорбную гармонію, повторили:

— Покойной ночи всѣмъ уставшимъ,
Весь день свой отдыха не знавшимъ,
Трудомъ купившимъ свой по-о-кой!

Потомъ пѣлись другія грустныя пѣсни, но Чистяковъ не слышалъ ихъ, и все въ немъ трепетало отъ безконечной жалости къ себѣ, который весь день безъ устали трудился, къ кому-то безличному, большому, нуждавшемуся въ покоѣ, въ любви и тихомъ отдыхѣ.

Привелъ его въ себя веселый и шумный разговоръ вокругъ Райко Вукича. Его опять дразнили, а онъ сверхъ обыкновенія молчалъ и только острые, какъ жало осы, глазки перебѣгали съ одного на другого и двигался щетиный, раздвоенный подбородокъ.

— А что, Райко,—спрашивалъ Ванька Костюринъ,—у васъ у всѣхъ тамъ носы крючкомъ, какъ у тебя?

Райко медленно отвѣтилъ:

— На дняхъ серба одного, Боіовича, на границѣ зарѣзали. Турци зарѣзали.

И всѣмъ ясно представился зарѣзанный сербъ, какой-то Боіовичъ, у котораго мертвецки желтый и крючковатый носъ, какъ у Райко, и на горлѣ широкая черная рана. Было неприятно, и Костюринъ съ дѣланнымъ смѣхомъ сказалъ:

— Эка важность! Много еще осталось.

Райко оцетинился, поблѣднѣлъ и колючки на его раздвоенномъ подбородкѣ задрожали. И когда онъ заговорилъ, голосъ у него былъ металлическій и рѣзкій.

— Ты обманщикъ. Зачѣмъ ты пляшешь русскаго? У тебя нѣтъ родины, нѣтъ дома! Ты свинья.

Но отвѣтилъ Чистяковъ, точно упрекъ касался его. Глухо и спокойно онъ сказалъ:

— А ты, Райко, любишь Сербію?

— Ну да, люблю.

Всѣ молчали—и, схвативъ круглый столовый ножъ, потрясая имъ въ воздухѣ, Райко дико закричалъ.

— Убію! Ой, какой я злой! Какъ у меня болитъ сердце! Ой, какъ болитъ!..

Онъ съ силою пустилъ ножъ въ стѣну, и ножъ ударился плашмя и со звономъ отскочилъ. Райко, не глядя, вышелъ.

Черезъ полчаса за нимъ отправился Чистяковъ; ему было жаль маленькаго Райко, такъ сильно любившаго свою маленькую, смертельно обидѣвшую его родину. Когда онъ еще

шелъ по длинному, полутемному корридору, теряясь среди одинаковыхъ, похожихъ одна на другую, дверей, уха его коснулись какія-то странные звуки, похожіе на вой или крикъ о помощи. На одной двери была надпись мѣломъ „Райко Вукичъ“, и оттуда шли эти странные и теперь громкіе звуки. На стукъ Чистякова отвѣта не было, и онъ вошелъ, смутно различая на свѣтломъ фонѣ окна маленькую острую фигурку Райко: онъ сидѣлъ на подоконникѣ, въ темнотѣ, и пѣлъ необыкновенно высокимъ гортаннымъ голосомъ.

— Райко!—тихо окликнулъ его Чистяковъ.

Но Райко не слышалъ. Онъ не слышалъ, какъ хлопнула дверь, онъ не слышалъ шаговъ Чистякова и его голоса; онъ глядѣлъ на высокую кирпичную стѣну съ черной полосой дымной копоти, и пѣлъ. О далекой родинѣ онъ пѣлъ; о ея глухихъ страданіяхъ, о слезахъ осиротѣвшихъ матерей и женъ; онъ молилъ ее, далекую родину, взять его, маленькаго Райко, и схоронить у себя и дать ему счастье поцѣловать передъ смертью ту землю, на которой онъ родился; о жестокой мести врагамъ онъ пѣлъ; о любви и состраданіи къ побѣжденнымъ братьямъ, о сербѣ Боіовичѣ, у котораго на горлѣ широкая черная рана, о томъ, какъ болитъ сердце у него, маленькаго Райко, разлученнаго съ матерью родиною, несчастной, страдающей родиной.

Чистяковъ не понималъ словъ, но онъ слышалъ звуки, и дикіе, грубые, стихійные, какъ стонъ самой земли, похожіе скорѣе на вой заброшеннаго одинокаго пса, чѣмъ на человѣческую пѣсню—они дышали такой безысходной тоскою, и жгучею ненавистью, что не нужно было словъ, чтобы видѣть окровавленное сердце пѣвца.

На высокой, гнѣвно-пронзительной нотѣ замеръ голосъ Райко, и такъ долго сидѣли они и молчали. Потомъ Чистяковъ подошелъ ближе и увидѣлъ сухіе и злобные, горящіе, какъ у волка, глаза.

— Райко!—сказалъ онъ.—Ты давно не былъ на родинѣ, съѣзди туда, я дамъ тебѣ денегъ. У меня есть лишнія.

— Тамъ домъ есть,—залумчиво сказалъ Райко.

— Какой домъ?

— Такъ. Домъ такой стоитъ. Развѣ ты не знаешь, какой бываетъ домъ? Обыкновенный. И когда мимо него идетъ арба, она скрипитъ: уай, уай.

— Возьми денегъ, Райко.

— Не мѣшай мнѣ,—сказалъ Райко.—Не мѣшай, пожалуйста. Ступай къ своимъ, а я буду однимъ. У меня очень болитъ сердце.

Но Чистяковъ не пошелъ къ своимъ; онъ отправился въ свой номеръ, сѣлъ въ темнотѣ на подоконникъ, какъ Райко,

и сталъ смотрѣть на небо, на которомъ онъ прочелъ сегодня что-то хорошее. Все также таинственно и молчаливо неслись гигантскія бѣлыя птицы и между ними чернѣло провалами бездонное небо, но чуждъ и холоденъ былъ теперь этотъ счастливый полетъ и ничего не говорилъ онъ задумавшемуся человѣку.

— „Вотъ и я полечу!—думалъ Чистяковъ, стараясь припомнить недавнее ощущеніе свободы и легкости, но другое смутное и властное чувство выросло въ его груди и билось, и трепетало, какъ запертая птица. И онъ понялъ, что это: ему страстно хотѣлось лѣтъ, какъ Райку, и тоже лѣтъ о родинѣ. И онъ обрадовался, что понялъ, улыбнулся и совсѣмъ ясно ощутилъ запертые въ его груди звуки молебъ и горячія звучныя слезы. Онъ открылъ ротъ—но стало неловко, что кто-нибудь можетъ войти и застать его поющимъ, и онъ заперъ дверь двойнымъ поворотомъ ключа. И назадъ, къ окну, онъ шелъ почему-то на цыпочкахъ.

— Ну!—сказалъ онъ себѣ и заплѣлъ что-то безъ словъ—и такъ жидокъ, такъ подло нерѣшительнъ былъ пронесшійся и въ жалкихъ корчахъ умершій звукъ, что Чистякову стало страшно. „Нужно слова, безъ словъ нельзя“—торопливо оправдывался онъ и началъ искать слова; и множество словъ замелькало въ его мозгу, но среди нихъ не было ни одного, рожденнаго любовью къ родинѣ. Всю свою память, все свое воображеніе напрягалъ онъ, искалъ въ прошломъ, искалъ въ книгахъ, которыя прочелъ—и много было звучныхъ и красивыхъ словъ, но не было ни одного, съ какимъ страдающій сынъ могъ бы обратиться ко своей матери-родинѣ. Онъ чувствовалъ его близко, онъ почти видѣлъ это слово и зналъ, чѣмъ оно отличается отъ другихъ: всѣ другія слова плоски и бѣдны, какъ нищія на паперти, а это обито кровью и слезами, горячо, какъ раскаленный уголь, и свѣтло, какъ небесный огонь—и не могъ найти его. И такимъ пустымъ и бѣднымъ почувствовалъ онъ себя, какъ послѣдній нищій, самый послѣдній нищій, у котораго душа черства, какъ брошенное ему подаяніе.

— Боже мой! Боже мой!—шепталъ онъ въ ужасѣ,—да какъ же это? Вѣдь я хорошій человѣкъ! Я хорошій человѣкъ!

И онъ подумалъ, что скорѣе найдетъ то, что нужно, если станетъ писать. Ломая спички дрожащими руками, онъ зажегъ свѣчу, яростно сбросилъ со стола нѣмецкій учебникъ и задумался надъ листомъ бѣлой бумаги. И нерѣшительно, запинаясь, рука его вывела:

„Родина“.

И остановилась. И болѣе твердо повторила:

— Родина!

И быстро, большими буквами онъ закончилъ:

— Прости меня!

Чистяковъ взглянулъ на написанное и упалъ лицомъ внизъ на бумагу и заплакалъ отъ жалости къ родинѣ, къ себѣ, ко всѣмъ трудившимся и не знавшимъ отдыха. И ему страшно стало, что онъ могъ уѣхать надолго, навсегда, и умереть тамъ, въ чужихъ краяхъ, и угасающимъ слухомъ ловить чужую и чуждую рѣчь. И понялъ онъ, что не можетъ онъ жить безъ родины и не можетъ быть счастливъ, пока несчастна она, и въ этомъ новомъ чувствѣ была могучая радость и могучая, стихійная, тысячеголосая скорбь. Она разбила оковы, въ которыхъ томила его душа; она слила ее съ душой невѣдомаго многоликаго, страдающаго брата— и словно тысяча огненныхъ сердецъ колыхнулось въ его больной, измученной груди. И въ горячихъ слезахъ онъ сказалъ:

— Возьми меня, родина!

А внизу опять запѣлъ Райко, и дико свободны и смѣлы были гнѣвно тоскующіе звуки его пѣсни.

Леонидъ Андреевъ.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

Литературная дѣятельность декабристовъ.

III. Александръ Александровичъ Бестужевъ-Марлинскій.

(Окончаніе).

XV.

Александръ Александровичъ былъ довольно строгій обличитель того общественнаго круга, къ которому самъ принадлежалъ, т. е. круга свѣтскаго; и какъ почти всѣ наши моралисты того времени, онъ самъ былъ весьма неравнодушенъ къ его приманкамъ. Въ юные годы онъ блисталъ въ немъ своимъ умомъ и эполемами; и любилъ, чтобы этотъ блескъ отражался въ глазахъ прелестной собесѣдницы; онъ не прощалъ ей ни старомоднаго платья или неграціозной позы, ни мало обдуманной прически... но что онъ ей прощалъ навѣрное, такъ это—ея кокетство, въ поведеніи и въ рѣчахъ—единственное оружіе, какимъ она располагала въ неравной борьбѣ съ нимъ, который, быть можетъ, въ первый же день знакомства, принимался за осаду или готовился къ приступу.

Тѣмъ не менѣе въ своихъ повѣстяхъ Марлинскій порицалъ довольно откровенно всѣ приманки чисто внѣшней красоты, всю мишуру свѣтскихъ разговоровъ и не щадилъ кокетливыхъ душъ, съ которыми въ жизни любилъ заигрывать. Онъ въ данномъ случаѣ поступалъ какъ почти всѣ наши романтики, которые причисляли себя къ проповѣдникамъ непринужденности и естественности, вѣшали на стѣнку портреты Руссо, даже читали его сочиненія, и думали, что перепечатывать его мысли значитъ продолжать его дѣло.

Въ виду этого обличительная тенденція въ свѣтскихъ повѣстяхъ Марлинскаго едва ли можетъ быть признана большой общественной заслугой; она заслуга литературная,—хорошій образецъ довольно невиннаго, но игриваго юмора. Авторъ, впрочемъ, не злоупотреблялъ этимъ даромъ и рѣдко, лишь умѣстно вставлялъ въ свой

разсказъ такіа юмористическіа картинки изъ царства свѣтскихъ призраковъ. Онъ въ общемъ предпочиталъ элегическій минорный тонъ—разсказывалъ ли онъ о какой-нибудь несчастной Софѣ, которая въ 17 лѣтъ, глядя на часы, думала „какъ они отстаютъ“, и затѣмъ въ 23 года говорила „не вѣрьте имъ: они спѣшатъ“—несчастной Софѣ, съ золотыми цѣпами на рукахъ, углубленной, отъ скуки въ чтеніе „исторіи герцоговъ Бургундскихъ“, увядающей кокеткѣ, сначала равнодушной къ комплиментамъ, когда они казались ей должной данью, теперь ожидающей ихъ, когда они стали подаркомъ *)—или опубликовывалъ переписку какого-нибудь неистоваго ревнивца, который изъ ложнаго честолюбія, изъ свѣтскаго самовлюбленія, убилъ на дуэли благороднаго, великодушнаго Эраста за то, что онъ, не считаясь съ его раскаленными взорами—полюбилъ прелестную Адель, не совсѣмъ устойчивую въ своихъ симпатіяхъ **).

„Обаятельна атмосфера большого свѣта,—признавался Александръ Александровичъ,—лепетъ гостинныхъ игривъ какъ музыка Россини“, и, дѣйствительно, нѣкоторыя страницы въ повѣстяхъ Марлинскаго напоминаютъ легкіа и граціозныя мелодіи итальянскаго композитора.

Какой-нибудь салонный разговоръ на балу перелетаетъ на нашихъ глазахъ изъ одного угла залы въ другой, веселый и быстрый, со вспышками остроумія, касаясь разныхъ, серьезныхъ вопросовъ, ни одного не рѣшая и по всѣмъ скользая—разговоръ, который въ сущности есть словесный турниръ, испытаніе находчивости и остроумія, иногда злорѣчія двухъ лицъ, и почти всегда кокетства ***).

Случается, что такой салонный разговоръ бьетъ больно по самолюбію какого-нибудь мечтателя, который „ищетъ въ освѣщенныхъ гостинныхъ настоящаго свѣта и не замѣчаетъ, что скользкій паркетъ выложенъ причудливыми условіями и потолокъ расписанъ картинками модъ“, который не предчувствуетъ, что посѣщенія „отнимутъ у него его мирный уголокъ, что его любовь будетъ отравлена догадками, что насмѣшка отвѣетъ взаимность“... Безжалостенъ свѣтъ ко всѣмъ, кто дерзнетъ въ немъ заявить о правахъ своей личности. Сильная личность, которой иногда на словахъ расточаютъ похвалы, о которой говорятъ съ подобающими восклицаніями, когда хотятъ воскресить, оживить умолекующій и вялый разговоръ, она — мишень для клеветы и сплетенъ; ея сосѣдства не потерпятъ, если только она чѣмъ нибудь погрѣшитъ противъ свода условныхъ законовъ свѣтскаго приличія.

*) «Часы и зеркало». 1832.

**) «Романъ въ семи письмахъ». 1824.

***) Отрывокъ «Местъ» (1834—1837).

Трагическую судьбу такой сильной личности, борющейся съ условнымъ свѣтскимъ мнѣніемъ, разсказалъ Марлинскій въ одномъ изъ лучшихъ своихъ разсказовъ „Фрегатъ Надежда“ (1832).

„Я чувствую, что въ моей чернильницѣ было мое сердце—говорилъ про эту повѣсть авторъ въ одномъ частномъ письмѣ,—любовь и горе, двѣ мои любимыя стихіи, на сценѣ: я разгулялся“. Повѣсть, дѣйствительно, написана въ очень ускоренномъ темпѣ, и среди всѣхъ повѣстей Марлинскаго самая бурная. Сюжетъ ея простъ и даже для своего времени достаточно обыченъ. Это разсказъ о любви, бросившей перчатку свѣтскимъ приличіямъ,—тѣмъ самымъ, которыя умѣютъ подчасъ маскировать такъ искусно все свое неприличіе. „Безхарактерный, ледяной свѣтъ, въ которомъ подъ словомъ не дорожешься мысли, какъ подъ орденами—сердца, свѣтъ, это сборище пустыхъ и самовлюбленныхъ людей,—пещерь, съ отголоскомъ, повторяющимъ сто разъ слово „я“, это—сборище живописныхъ развалинъ, обломковъ китайской стѣны, готическихъ башенъ, изъ которыхъ предрасудки выглядываютъ какъ совы... свѣтъ, у котораго благодаря европейскому просвѣщенію и столичному удобству всѣ репутаціи такъ же круглы и бѣлы, какъ бильярдныя шары—по какому бы сукну онѣ ни катились“... этотъ свѣтъ служить въ повѣсти Марлинскаго сѣрымъ фономъ для двухъ яркихъ фигуръ, которыя на немъ отчетливо выдѣляются. Одна изъ нихъ мужская, другая — женская. Обѣ — выраженіе протеста противъ всякой условности. Капитанъ фрегата — Правинъ, на сторонѣ котораго всѣ симпатіи автора, — образецъ прямодушной смѣлости въ рѣчахъ и поступкахъ, остраго саркастическаго ума и необычайно пылкаго сердца. Онъ истинный сынъ свободной стихіи, которую онъ обуздываетъ своей смѣлостью и своей любовью. Онъ сродни ей: какъ буря бушуетъ въ немъ страсть, какъ вихрь порывистъ онъ въ мысляхъ, и затихаетъ онъ какъ штиль на морѣ передъ опасностью и передъ рѣшительнымъ шагомъ. Правинъ лвиной храбрости; въ страшный штормъ несетъ онъ на своей шлюпкѣ, самъ бросается въ море, чтобы спасти утопающаго матроса. По образу мыслей своихъ онъ большой демократъ: онъ желаетъ, чтобы каждому человѣку въ обществѣ было отпущено по заслугамъ, чтобы не было привилегій безъ соотвѣтствующаго оправданія: онъ рѣзкій обличитель посредственности и эгоизма, разглагольвающихъ по паркетнымъ поламъ — и непріятный собесѣдникъ, умѣющий и любящій наступать другимъ на мозоли—когда видитъ, что они эту мозоль считаютъ особымъ знакомъ отличія и преимущества. Правинъ къ тому же просвѣщенный патріотъ — „онъ не выносить тѣхъ гостиныхъ, гдѣ отъ собачки до хозяина дома все нерусское и въ нарѣчій и въ приемахъ, гдѣ наши баре разсуждаютъ, какъ была одѣта любовница Ротшильда на послѣднемъ раутѣ въ Лондонѣ, гдѣ они получаютъ телеграфическія депеши о привозѣ

свѣжихъ устрицъ, а, если ихъ спросятъ, чѣмъ живетъ Вологодская губернія, отвѣчаютъ: *Je ne saurais vous le dire au juste, у меня нѣтъ тамъ помѣстьевъ*“.

Капитанъ, не смотря на свою мѣшковатость и необтесанность, былъ страшенъ всѣмъ такимъ выхоленнымъ людямъ: сначала они глумились надъ нимъ, затѣмъ стали бояться; но нашлось среди нихъ сердце, которое его полюбило. Правда, княгиня Вѣра, кумиръ свѣтской молодежи и звѣзда многихъ гостинныхъ и залъ, не сразу увлеклась нашимъ героемъ. „Она противилась, — говоритъ нашъ авторъ, — какъ порохъ, смоченный небесною росой, противится искрамъ огнива: сотни ударовъ напрасны, но каждый ударъ сушитъ зерна пороха, и близокъ часъ, когда онъ вспыхнетъ“... Онъ и вспыхнулъ... и бурный капитанъ и нѣжная княгиня погибли отъ этой вспышки. Капитанъ загорѣлся любовью, какъ отъ молніи, предался ей, какъ дикарь... „Океанъ взлелѣялъ и сохранилъ его дѣвственное сердце, какъ многоцѣнный перлъ—и его то за милый взглядъ бросилъ онъ, подобно Клеопатрѣ, въ укусъ страсти. Оно должно было распуститься въ немъ все, все безъ остатка“. Случилось даже хуже: капитанъ измѣнилъ долгу службы и въ критическій моментъ, въ минуту опасности, покинулъ свой фрегатъ, чтобы ночью въ безстрашной шлюпкѣ уплыть на свиданіе съ княгиней. Они жестоко заплатили за эту ночь упоенья; предъ ними какъ призракъ выросъ обманутый мужъ и Правинъ даже не могъ продолжать на пистолетахъ прерваннаго любовнаго разговора, такъ какъ старый князь подавилъ его презрѣніемъ и вызова не принялъ. Старикъ какъ будто угадывалъ, что за него отомститъ другое существо, любящее и также оскорбленное—и море отомстило. Оно чуть не потопило невинный фрегатъ, и когда на разсвѣтъ, капитанъ, услыша печальные пушечные выстрѣлы, бросился спасать свой корабль, онъ потерялъ половину матросовъ, съ которыми уплылъ наканунѣ, и самъ былъ смертельно раненъ, когда его шлюпка разбилась въ дребезги о бортъ фрегата. Онъ умеръ, умерла и княгиня Вѣра послѣ долгихъ страданій, всѣми брошенная жертва свѣтскихъ разсказовъ и пересудовъ.

Разсказъ драматичный, какъ видимъ, но не этотъ драматизмъ составляетъ главное достоинство повѣсти. Она при всей романтичности замысла сильна своимъ реализмомъ. Сколько живыхъ и типичныхъ лицъ изъ общей сѣрой свѣтской массы заставилъ авторъ двигаться и болтать въ разныхъ гостинныхъ, залахъ, ресторанахъ, пока капитанъ ухаживалъ за своей Вѣрой. Большинство изъ нихъ—военные свѣтскаго покроя, начиная съ храбрыхъ, кончая трусами, съ интересныхъ, кончая скучными, начиная съ тѣхъ, при которыхъ дамы падаютъ въ обморокъ, кончая такими, которыхъ шелестъ дамскаго платья изъ живыхъ и говорливыхъ превращаетъ въ безсловесныхъ и неодушевленныхъ

отъ избытка души. „Фрегатъ Надежда“ одинъ изъ лучшихъ свѣтскихъ романовъ того времени, и вмѣстѣ съ тѣмъ родоначальникъ цѣлаго ряда рассказовъ и повѣстей изъ матросской жизни.

Корабль и море были издавна любимой темой нашихъ романтиковъ, которые позволяли себѣ, однако, надъ свободной стихіей большое насиліе и смотрѣли на волны, снасти, паруса и матросовъ какъ на фонъ и детали картины, на которой должна была рельефно выступить одна единственная центральная фигура — образъ самого рассказчика съ его мечтами о житейской пучинѣ, бурныхъ страстяхъ, вихрѣ порывовъ или, наоборотъ, съ мечтою объ отшельнѣ жизни, сердечномъ затишьи и безвѣтрін желаній. И Марлинскій нерѣдко садился на корабль или приходилъ на берегъ моря не столько затѣмъ, чтобы любоваться природой, сколько затѣмъ, чтобы она имъ полюбовалась. Но въ повѣсти „Фрегатъ Надежда“ онъ не злоупотребилъ этимъ правомъ романтика, и въ плаваніи отъ Кронштадта до береговъ Девоншира, гдѣ погибъ капитанъ Правинъ, велъ себя скромно, рассказывая печальную исторію своего начальника. И повѣсть эта уцѣлѣла при общемъ крушеніи цѣлой массы романтическихъ рассказовъ о морякахъ. Цѣлый рядъ разнообразныхъ колоритныхъ страницъ изъ жизни самого моря, которое на нашихъ глазахъ живетъ и дышетъ, спитъ, улыбается, рѣзвится, предостерегаетъ, сердится и бунтуетъ; страницы, полныя повседневныхъ замѣтокъ и рапортовъ о состояніи фрегата, съ удивительнымъ знаніемъ всей его анатоміи и фізіологіи, и съ рѣдкимъ умѣніемъ вложить въ неодушевленный предметъ очень сложную душу; наконецъ, цѣлый альбомъ типовъ и силуэтовъ, срисованныхъ съ офицеровъ и солдатъ, людей очень простодушныхъ, добрыхъ, смѣлыхъ и откровенныхъ, — все придаетъ „Фрегату Надеждѣ“ значеніе памятника, который можетъ пояснить намъ психическую жизнь цѣлаго круга людей а не не только душу самого наблюдателя.

Для своего времени эта повѣсть открывала новый литературный горизонтъ, оставаясь по своему замыслу сентиментально-дидактической, такъ какъ авторъ, изображая простоту и сердечность людей, плавающихъ по настоящему морю, имѣлъ всетаки въ виду кольнуть тѣхъ, которые лавируютъ по разнымъ мелкимъ водамъ жизни свѣтской.

Впрочемъ, Марлинскій былъ человѣкъ справедливый, и есть у него одна повѣсть, въ которой онъ сказалъ и много хорошаго о свѣтскомъ кругѣ. Эта повѣсть озаглавлена „Испытаніе“ (1830). Сюжетъ ея необычайно простъ. Одинъ бравый офицеръ, удержанный службой далеко отъ столицы, поручаетъ своему другу въ Петербургѣ испытать вѣрность дамы своего сердца. Эта дама — породы кошачей, хотя и не львица. Молодой человѣкъ, отправляясь въ такую опасную экспедицію, выговариваетъ однако, что если онъ, при этомъ испытаніи женской вѣрности, самъ

утратитъ свое сердце или нечаянно завоюетъ сердце прелестной Алины, то его другъ не будетъ имѣть права на него сердиться. Предосторожность эта была не лишней: Алина, дѣйствительно, не устояла, хотя на этотъ разъ ея искусителемъ и былъ человекъ съ довольно скромными потребностями и вкусами, большой любитель деревенской жизни и совсѣмъ не паркетный кавалеръ. Не выдержалъ своей роли и тотъ другъ, который разрѣшилъ нашему счастливцу свободный набѣгъ на свои—обезпеченныя, какъ онъ думалъ—владѣнья; онъ воспылалъ ревностью и счелъ себя обиженнымъ. Онъ прилетѣлъ въ столицу чинить судъ и расправу надъ невѣрной и надъ измѣнникомъ-другомъ, велъ себя буйно, вызвалъ товарища на дуэль и чуть-чуть не закончилъ этой веселой исторіи трагично. Но на самомъ мѣстѣ поединка онъ стоялъ уже самъ на смерть раненый сестрой своего противника. Онъ покинулъ эту сестру ребенкомъ, а теперь встрѣтилъ взрослой дѣвицей институткой, невиннымъ ангеломъ, который наивно сирашивалъ „развѣ пѣтухъ не братъ курицы?“, но тѣмъ не менѣе читалъ Шиллера и надъ нимъ плакалъ. Когда на мѣсто поединка невзначай пріѣхала эта дѣвица, чтобы стать между своимъ братомъ и его другомъ—къ которому и она питала не одни лишь христіанскія чувства—спорить было уже не о чемъ. Разсерженный другъ былъ вполнѣ вознагражденъ за свою утрату, а Алина вышла замужъ за своего скромнаго ухаживателя, который и увезъ ее въ деревню, чтобы тамъ работать на благо и пользу своихъ крестьянъ.

Пустой анекдотъ, но онъ рассказанъ Марлинскимъ очень живо. Много тонкихъ психологическихъ наблюдений надъ душой свѣтскаго человѣка, который никакъ не можетъ помирить условностей въ своихъ взглядахъ съ живымъ чувствомъ; яркій типъ крѣпостного слуги; по праву любви ставшаго членомъ семьи; очень живой и вѣрный типъ институтки; тайники души свѣтской дамы, которая рѣшается покинуть мишурный блескъ свѣта ради скромнаго дѣла—таковы достоинства повѣсти, которая, кромѣ того, очень нравственна по тенденціи, по своему стремленію показать, какъ истинное чувство можетъ исправить всякую уродливость, которую въ силу традиціи принимаютъ иногда за требованія чести или за образъ „приличной“ жизни.

Во всѣхъ этихъ свѣтскихъ повѣстяхъ Марлинскій, какъ видимъ, не свободенъ отъ моральной тенденціи, но она не навязывается читателю и позволяетъ перелистать эти странички безъ скуки.

У нашего автора есть, впрочемъ, одна повѣсть, которая не нуждается ни въ какихъ оговоркахъ—лучшая изъ его повѣстей въ смыслѣ выполненія. Къ сожалѣнію, она не была имъ окончена, но и въ тѣхъ клочкахъ, которые отъ нея остались, видна рука мастера. Она носитъ заглавіе очень романтическое—„Поволжскіе раз-

бойники (1834)“ хотя въ сущности она картинка современныхъ нравовъ.

Дѣйствіе происходитъ въ 1821 году и съ участниками его, русскими дворянами помѣщиками, мы знакомимся на короткий мигъ — въ веселый день ихъ псовой охоты. Старинный одноярусный барскій домъ съ неопрятными службами — жилищемъ безчисленной дворни, съ разбитыми стеклами, залѣпленными писаной бумагой, въ другомъ мѣстѣ заткнутыми рубашкой, у которой рукава развѣваются по вѣтру.... голубятня, около которой прогуливаются стада чистыхъ и плюмажныхъ, мохнатыхъ и египетскихъ „символовъ вѣрности“, потому что между уѣзднымъ дворянствомъ искусство гонять голубей неперемѣнно входитъ въ составъ воспитанія недорослей; на шеѣ флага съ гербомъ въ знакъ присутствія хозяина; на дворѣ большое движеніе; толпа слугъ, псарей, доѣзжачихъ и кучеровъ... гончія и борзые собаки,— это крайнее звѣно дворянской челяди... босонogie мальчишки въ однѣхъ рубашкахъ и въ отцовскихъ шапкахъ, падающихъ имъ на плечи... Совсѣмъ реальная жанровая картинка, до деталей списанная съ натуры. И самъ хозяинъ — живой портретъ изъ старинной фамильной галлерей. Настоящій русскій помѣщикъ стараго вѣка, человѣкъ, понятія котораго заключались его уѣздомъ, а честолюбіе борзыми собаками, онъ, отслуживъ сержантомъ, заблагоразсудилъ, что ему довольно и капитанскаго чина для пуганія зайцевъ. Каждый день тучное его туловище прокатывалось четверней въ дрожкахъ по работамъ, о которыхъ онъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія и каждую порошу садился онъ на лошадь, чтобы отхлопывать звѣрьковъ отъ своихъ удалыхъ собакъ. Въ остальное время зимы онъ, вмѣсто музыки, слушая ворчанье дражайшей своей половины, пускалъ табачный дымъ колечками или игралъ въ шашки съ ловчимъ на воду, заставляя бѣднягу тянуть эту невинную влагу стаканами не только за каждымъ проигрышемъ, но за каждымъ фукомъ. Зѣвалъ онъ по-утру отъ того, что недавно проснулся, а ввечеру отъ того, что пора спать...

Но осенью это царство дворянской сонливости просыпалось. Хозяинъ отправлялся въ походъ: сѣти, силки, стрѣлы и зубы вездѣ сторожили несчастныхъ гостей водъ и лѣсовъ. Къ помѣщику съѣзжались сосѣди, составляли наступательные союзы и, соединивъ свои войска, отправлялись въ походъ, въ отѣзжее поле — походъ, правду сказать, гораздо опаснѣйшій для крестьянскихъ красавицъ, для изгородь и лѣсовъ, чѣмъ для самого пушистаго племени.

Съ приготовленіями къ такому походу и знакомить насъ Марлинскій въ своей повѣсти. Двумя тремя штрихами набрасываетъ онъ нѣсколько портретовъ этихъ старинныхъ воинственныхъ обывателей усадьбы, воюющихъ со скукой... Онъ срисовыв-

васть ихъ разгоряченныя и живыя лица, какъ они рисуются вокругъ стола, на которомъ сверкаетъ серебряный тазъ, и въ немъ сахарная голова въ волнахъ зажженного рома. Всѣмъ имъ тѣсно на собственной землѣ и очень бы хотѣлось поохотиться на островахъ ихъ сосѣда. Но этотъ сосѣдъ не подошелъ подъ ихъ масть. Охоту считалъ онъ пустой забавой и для нея не хотѣлъ топтать крестьянскую озимь, не хотѣлъ травить овецъ собаками и палить лѣсъ отъ ночлеговъ... На описаніи сенсаціи, которую производитъ этотъ чудакъ „вольнодумецъ“ среди дворянской братии и на умыслѣ проучить его какой-нибудь кляузой—обрывается рассказъ нашего автора, къ большой досадѣ читателя.

Какъ бы ни былъ кратокъ отрывокъ этой повѣсти, онъ дополняетъ другіе очерки Марлинскаго и показываетъ, что нашъ писатель былъ у себя дома и въ гостинныхъ столичныхъ, и въ помѣщичьей усадьбѣ. Вообще въ своихъ повѣстяхъ изъ свѣтской и дворянской жизни нашъ авторъ обнаружилъ большую справку письма, которая его, романтика, приближала къ настоящимъ бытописателямъ. Свѣтскій кругъ, съ его блестящей мишурной стороной и съ его безспорной культурностью, общество столичное и деревенское, статское и военное, мужское и, въ особенности, женское, было изображено Марлинскимъ безъ прикрасъ, хотя и безъ особенной глубины пониманія тѣхъ социальныхъ условій, при которыхъ оно выросло и слагалось. Но для тридцатыхъ годовъ, когда въ литературѣ, любившей говорить объ этихъ свѣтскихъ кругахъ, торжествовали въ большинствѣ случаевъ общіе условные типы благородныхъ резонеровъ, скучающихъ дэнди, сварливыхъ старухъ, молодыхъ кокетокъ и вѣтренницъ—такіе съ натуры писанные, хотя бы недорисованные портреты, какіе давалъ Марлинскій, были находкой. Въ данномъ смыслѣ онъ былъ предшественникомъ Лермонтова, котораго онъ опередилъ и какъ жанристъ, странствующій по Кавказу.

Вообще повѣсти Марлинскаго предвѣщали разсвѣтъ реальнаго романа въ нашей литературѣ.

Когда въ сочиненіяхъ его встрѣчаешь страницы, съ которыхъ на насъ смотрятъ какіе-нибудь оригиналы и чудаки *), напоминающіе намъ, однако, нашихъ знакомыхъ, или когда видишь, какъ этотъ романтикъ умѣетъ совершенно естественно говорить и пьяной уличной рѣчью, и столь же типичной рѣчью охранителя порядка **), или когда вмѣстѣ съ нимъ попадаешь на какой-нибудь Кавказскій почтовый трактъ и лицомъ къ лицу встрѣчаешься съ урядникомъ, который и до сего времени не измѣнилъ своей фізіономіи ***),—то жалѣешь, что писатель мало имѣлъ

*) «Военный Антикварій» 1829 г.

**) «Будочникъ-ораторъ» 1832 г.

***) «Путь до города Кубы».

времени развить въ себѣ это умѣнье интересоваться сѣрой и будничной стороной жизни. Есть у Марлинскаго, впрочемъ, двѣ повѣсти, въ которыхъ его талантъ бытописателя достигъ большой зрѣлости.

Повѣсть „Мореходъ Никитинъ“ (1834) пользовалась въ свое время широкой извѣстностью, и вполне заслуженно.

Это—разсказъ, кажется не вымышленный, о подвигѣ одного русскаго купца Савелія Никитина, который въ 1811 году, выѣхавъ на простомъ корбасѣ по своимъ торговымъ дѣламъ, захватилъ въ Бѣломъ морѣ англійскій катеръ и привелъ его въ Архангельскъ, за что и былъ награжденъ военнымъ орденомъ—и рукой Екатерины Петровны, добавляетъ авторъ, ради которой собственно онъ и предпринялъ свое плаваніе, такъ какъ хотѣлъ поправить свое финансовое положеніе, которое его будущему тестю не особенно нравилось.

На морѣ Никитинъ попалъ сначала подъ ударъ раббушевавшейся стихіи, которая чуть не разбила въ щепки его карбасъ, а затѣмъ подъ удары непріятельскихъ англійскихъ пушекъ, которыя, дѣйствительно, карбасъ и потопили. Никитинъ и его товарищи были взяты на каперъ и здѣсь, когда однажды ночью весь экипажъ ушелъ на покой, они перебили дежурныхъ и заклепали спускъ въ трапъ, такъ что англичане очутились ихъ плѣнниками. Съ этой неожиданной добычей они и вернулись на родину.

Достоинство разсказа не въ изложеніи самой фабулы, а въ передачѣ настроенія и тѣхъ сложныхъ чувствъ, которыя волновали участниковъ этого приключенія: веселаго, смѣтливаго, простодушнаго и рѣшительнаго купца и его товарищей:—старога моряка, который любилъ шутить съ ураганами, не просоленнаго новобранца, котораго они съ собой взяли, и еще одного коренастаго морехода съ физіономіей, „какія отликаетъ природа тысячами для всѣдневнаго расхода“. Вся эта простецкая компанія переживаетъ очень сложную душевную драму сначала во-время бури, потомъ въ моментъ плѣна и, наконецъ, въ минуту торжества. Обычное нашимъ сентименталистамъ стремленіе преувеличивать русскую удалъ или особенно восторженно отнѣяться вѣру русскаго чело-вѣка въ Бога въ минуту опасности—не внесла никакой фальши въ разсказъ Марлинскаго. Неизвѣстно откуда явилась у него способность говорить естественной простонародной рѣчью, не щеголяя на этотъ разъ своимъ краснорѣчіемъ, и въ этихъ пѣсняхъ, разсказахъ и разговорахъ мужиковъ о святыхъ угодникахъ соловецкихъ, и о чудесахъ и ужасахъ той стихіи, которая охраняетъ ихъ обитель—возстаетъ передъ нами, дѣйствительно, міросозерцаніе русскихъ простыхъ людей неподдѣльно благочестивыхъ, суевѣрныхъ и готовыхъ бороться съ любой опасностью, встречающей ихъ на порогѣ жизни и провожающей ихъ въ могилу. Марлинскій въ этой повѣсти рѣшилъ для того времени очень

трудную задачу: онъ набросалъ вполнѣ реальный жанровый этюдъ съ четырьмя простонародными фizioноміями, другъ отъ друга отличными, которыя къ тому же ни малѣйшаго сходства съ его собственной не имѣли.

Большую технику какъ реалистъ обнаружилъ нашъ авторъ и въ разсказѣ „Лейтенантъ Бѣлозоръ“ (1831), единственной повѣсти изъ нерусскаго быта, которая поднялась выше общаго литературнаго ординара того времени. Наши старые романисты не страшились избирать героями своихъ разсказовъ иностранцевъ, съ жизнью которыхъ они были знакомы только по наслышкѣ; но по рѣчамъ и по поведенію всѣхъ этихъ нѣмецкихъ буршевъ и чиновниковъ, французскихъ вивѣровъ и ихъ подругъ, англійскихъ степенныхъ банкировъ и итальянскихъ художниковъ, которые появлялись въ русскихъ повѣстяхъ, видно было, что они родились гдѣ-нибудь на Москвѣ-рѣкѣ или на Фонтанкѣ. Марлинскій также не имѣлъ случая изучать иностранцевъ на мѣстахъ ихъ жительства, но талантъ его выручилъ.

„Лейтенантъ Бѣлозоръ“ — историческій разсказъ изъ нашей войны съ Наполеономъ. Русскій офицеръ, блокировавшій на своемъ кораблѣ „Не тронь меня“ французскій флотъ при Флессингенѣ, сталъ героемъ очень любопытныхъ походовъ. Желая во время сильной бури оказать помощь экипажу одного утопавшаго корабля—безстрашный лейтенантъ съ маленькой командой исчезъ на своей шлюпкѣ въ брызгахъ и пѣнѣ: утопавшихъ онъ не спасъ, самъ чуть не погибъ, и вмѣстѣ съ товарищами былъ выброшенъ на голландскій берегъ, который былъ занятъ тогда французами. Здѣсь въ первую же ночь, отыскивая ночлегъ и убѣжище отъ непріятеля, онъ попалъ на мельницу, которую грабили французскіе мародеры. Съ истинно русской отвагой прогналъ онъ этихъ негодяевъ и спасъ хозяина мельницы — богатѣйшаго голландскаго купца Саарвайерзена и его милѣйшую дочку Жанни. Въ благодарность за освобожденіе хозяинъ увезъ офицера на свою виллу, гдѣ была чудесная оранжерея и въ ней чудесные цвѣты, къ которымъ Жанни питала большую страсть; офицеръ не особенно интересовался ботаникой, но заходилъ въ оранжерею часто и однажды и онъ и Жанни, выйдя оттуда, заявили родителямъ, что разставаться не желаютъ. Старикъ, который очень полюбилъ своего гостя, какъ практичный человѣкъ, сообразилъ, что жениху всетаки прежде всего нужно перейти на легальное положеніе. Онъ предложилъ ему вернуться на свой корабль тѣмъ болѣе, что до французскаго правительства уже дошли слухи о томъ, что онъ—почтенный коммерсантъ—прикрываетъ у себя на дому непріятеля. Слухи эти пустилъ одинъ французскій пьяный капитанъ, который самохвальствомъ и враньемъ хотѣлъ плѣнить сердце Жанни, но былъ довольно неучтиво высаженъ изъ дому. Лейтенанту пришлось

прискивать способъ, чтобы поскорѣй вернуться на корабль, такъ какъ приказъ объ арестѣ его хозяина былъ уже подписанъ. Послѣ разныхъ приключеній весьма романтическаго свойства, ему и удалось, наконецъ, отчалить ночью на французской лодкѣ, экипажъ которой онъ вмѣстѣ съ своими матросиками перевязалъ и положилъ на дно лодки въ видѣ балласта. Такъ какъ въ эту же ночь и прелестная Жанни очутилась на берегу одна, преслѣдуемая французскими солдатами, то пришлось взять и ее въ лодку, и нашъ лейтенантъ долженъ былъ, совсѣмъ для себя неожиданно, предстать передъ очи начальства со спутникомъ, присутствіе котораго закономъ военнаго времени не вполне оправдывалось. Плыя съ невѣстой по морю, нашъ лейтенантъ мимоходомъ успѣлъ совершить и еще одинъ геройскій подвигъ. Онъ хитростью захватилъ непріятельскую французскую брандвахту, заперъ ея экипажъ въ трюмѣ и, какъ мореходъ Никитинъ, вернулся къ своимъ съ этой добычей, хотя самъ чуть чуть не былъ разстрѣлянъ, такъ какъ брандвахту, на которой онъ ѣхалъ, приняли за непріятельскій брандеръ. Все, впрочемъ, окончилось къ общему благополучію; капитанъ корабля „Не тронь меня“, прочиталъ подобающую нотацію лейтенанту, но въ эту же ночь поставилъ его и Жанни къ брачному аналогу. Черезъ нѣсколько дней ихъ на англійскомъ берегу встрѣтилъ Сварвайерзенъ, и съ удовольствіемъ повторяя свою излюбленную поговорку „два аршина съ четвертью“, развязалъ свой кошелекъ. Спустя нѣсколько лѣтъ ихъ встрѣтилъ и Марлинскій уже въ Кронштадтѣ: Жанни была полная дама, съ ней былъ ея сынишка, она встрѣчала фрегатъ „Амфи-триду“, на которомъ возвращался домой ея мужъ, уже не лейтенантъ, а капитанъ 2-го ранга.

Рѣдкая повѣсть тѣхъ лѣтъ читается съ такимъ интересомъ, какъ эта, и въ свое время она была встрѣчена всеобщими похвалами. Русскіе типы въ ней хороши, въ особенности типы солдатъ, на этотъ разъ очень разговорчивыхъ; но еще лучше—типы голландскіе. Всѣ страницы разсказа, на которыхъ авторъ описываетъ внутреннюю домашнюю жизнь богатой купеческой голландской семьи, жизнь въ городѣ, на заводѣ, въ деревнѣ, жизнь самихъ господъ и ихъ дворни—рядъ картинъ настоящей фламандской или голландской школы, и гдѣ Марлинскій могъ научиться подражать ей—неизвѣстно. Указываютъ на разсказы его брата Николая Бестужева [который долго жилъ въ Голландіи и писалъ о ней], какъ на источникъ, откуда Марлинскій заимствовалъ свой сюжетъ, но, вѣроятно, все заимствованіе и заключалось только въ самой фабулѣ—которая, однако, только потому такъ занимательна, что очень хорошо развита и отдѣлана.

XVI.

Таковы были сюжеты, которые Марлинскій разрабатывалъ въ своихъ разсказахъ. Значеніе ихъ въ исторіи развитія русской повѣсти и романа опредѣлить не трудно. Ни романтическій стиль письма, ни реальный не доведенъ въ нихъ до совершенства; и все-таки, если скинуть со счетовъ повѣсти Пушкина—немногочисленные, и при его жизни частью не опубликованные и частью мало оцѣненные,—то придется признать, что до Гоголя—Марлинскій былъ самымъ талантливымъ нашимъ нувеллистомъ, писателемъ съ наиболѣе колоритнымъ воображеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ первымъ по силѣ изъ реалистовъ своего времени.

Марлинскій, какъ непосредственный наслѣдникъ Жуковскаго, упредилъ нашихъ извѣстныхъ романтиковъ, и въ романахъ и повѣстяхъ Полевого, Загоскина и Лажечникова и др. нѣтъ ничего, чего не было-бы уже въ зародышѣ въ повѣстяхъ нашего автора. Занимательность сюжета, романтичность въ его развитіи, драматизмъ страстей, пафосъ рѣчи, всѣмъ этимъ очень искусно владѣлъ Марлинскій прежде чѣмъ этимъ завладѣли и широко воспользовались другіе. Упредилъ онъ, какъ романтикъ, и Гоголя, въ первыхъ повѣстяхъ котораго романтизмъ, какъ литературная школа, достигъ своего самаго полного и художественнаго расцвѣта.

Какъ реалистъ, Марлинскій, былъ также прямымъ предшественникомъ Гоголя и Лермонтова. Многія области нашей повседневной жизни были впервые съ подобающей яркостью и правдивостью освѣщены именно имъ; картины другихъ были подновлены и дополнены новыми деталями. Къ новому, что читатель находилъ въ его разсказахъ, должно отнести, напр., этнографическіе очерки изъ сибирской и кавказской жизни, очерки военной жизни, морской и строевой, столичной и походной,—въ частности очерки жизни солдатской. Какъ на дополненіе къ тому, что читателю было уже извѣстно, можно указать на его разсказы изъ жизни свѣтской. Много было недочетовъ въ этихъ реальныхъ картинахъ, но никто изъ его современниковъ не обладалъ въ ихъ выполненіи такой правдивой, смѣлой кистью, какъ Марлинскій, въ которомъ, кромѣ того, была очень сильна юмористическая и саркастическая жилка, ни въ комъ до Гоголя не проступавшая такъ игриво...

Марлинскій могъ и долженъ былъ нравиться, и мы знаемъ, какъ были встрѣчены его повѣсти.

Исторія приѣма разсказовъ Марлинскаго у публики и въ критикѣ весьма характерна. На долю нашего писателя выпалъ сначала необычайный успѣхъ, быть можетъ, превышавшій истинную

стоимость его произведеній. Публика средняя отнеслась къ нимъ восторженно, и мы располагаемъ весьма многими указаніями современниковъ, которыя всѣ сходятся въ признаніи того оглушительнаго успѣха, какимъ сопровождалось появленіе въ свѣтъ чуть ли не каждаго разсказа нашего автора. Но не только средняя публика, но и очень строгіе судьи признавали за Марлинскимъ выдающееся дарованіе и возлагали на него очень большія надежды. Пушкинъ, критикуя довольно сурово романтическую сторону въ повѣстяхъ своего товарища, готовъ былъ обѣщать ему европейскую славу, если онъ примется за настоящій романъ и не будетъ тратиться по мелочамъ. Соревнованіе съ Вальтеръ-Скоттомъ предлагалъ Марлинскому и Вяземскій, вообще очень осторожный въ раздачѣ похвальныхъ отзывовъ.

Среди этихъ хвалебныхъ голосовъ лишь изрѣдка, совсѣмъ какъ исключеніе, раздавался какой-нибудь голосъ осужденія.

И это осужденіе стало почти поголовнымъ послѣ извѣстныхъ статей Бѣлинскаго. Еще въ „Литературныхъ мечтаніяхъ“ (1834) Бѣлинскій признался, что ему подозрителенъ пламень чувства Марлинскаго; въ его созданіяхъ критикъ не находилъ ни глубины, ни философіи, ни драматизма: онъ говорилъ, что у Марлинскаго больше фразъ, чѣмъ мыслей; что у него есть талантъ, но обезсиленный вѣчнымъ принужденіемъ. Спустя годъ Бѣлинскій повторилъ свое осужденіе въ статьѣ „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ (1835). Онъ говорилъ, что поэзія Марлинскаго не можетъ назваться ни реальной поэзіей, такъ какъ въ ней нѣтъ истины жизни, ни поэзіей идеальной, такъ какъ въ ней нѣтъ глубины мысли и пламени чувства; не желая однако доводить такую строгую оцѣнку до крайности, критикъ признавалъ за писателемъ умъ, образованность, соглашался, что у него встрѣчаются отдѣльныя прекрасныя мысли, поражающія новостью и истинною, что, наконецъ, слогъ его оригиналенъ и блестящъ въ самыхъ нѣтъ-на-тяжкахъ.

Наконецъ, въ 1840 году Бѣлинскій обрушился на Марлинскаго цѣлой статьей по поводу выхода въ свѣтъ полнаго собранія его сочиненій. Это были годы, когда нашъ критикъ, со страстью относясь къ нѣмецкой философіи, возненавидѣлъ всякую страсть въ поэзіи и потому былъ безпощаденъ ко всѣмъ художникамъ съ болѣе или менѣе неуравновѣшеннымъ темпераментомъ. Марлинскій оказался важнымъ „отрицательнымъ“ дѣятелемъ въ нашемъ литературномъ развитіи: какъ критикъ онъ—величина незаслуженно забытая и пока совсѣмъ неопѣненная; какъ романистъ онъ—сила, раздутая непониманіемъ и малымъ эстетическимъ чутьемъ читателя. Истинное вдохновеніе всегда спокойно созерцательно, говорилъ критикъ. Поэтъ, изображая страсть, не долженъ быть въ страсти, иначе онъ возбуждаетъ отвращеніе вмѣсто того, чтобы восхищать и трогать. Но и тѣ ху-

дожники, которые впадаютъ въ такую ошибку, какъ напр. Марлинскій, имѣють свою роль въ литературѣ: они таланты внѣшніе, и главная заслуга ихъ состоитъ въ томъ, что они „отрицательнымъ“ образомъ воспитываютъ и очищаютъ эстетическій вкусъ публики: пресытись ихъ произведеніями, многіе обращаются къ истиннымъ памятникамъ искусства и научаются цѣнить ихъ.

Судъ былъ непомѣрно строгій, да и несправедливый, но онъ былъ какъ-то навязанъ читателю сначала жаромъ и стремительностью рѣчи Бѣлинскаго, а затѣмъ его авторитетомъ.

Со времени этого суда вошло въ обыкновеніе сводить всю оцѣнку литературной дѣятельности Марлинскаго къ нѣсколькимъ стереотипнымъ словамъ: „фальшивая напыщенность“, „искусственная аффектація“, „приподнятый тонъ“, „фейерверкъ фразъ“ и т. п. Слова эти повторялись и тѣми, кто перелистывалъ Марлинскаго, и тѣми, кто даже не заглядывалъ въ его сочиненія. Только въ самое недавнее время С. А. Венгеровъ—сколько намъ извѣстно первый—рѣшился исправить „одностороннія и лишенные исторической перспективы слова“ Бѣлинскаго *)—и теперь, послѣ болѣе или менѣе подробнаго знакомства съ личностью, жизнью и сочиненіями Марлинскаго, мы согласимся, что эти слова, дѣйствительно, нуждались въ поправкѣ и въ смягченіи.

Писатель съ такимъ нервнымъ темпераментомъ, съ такой бурной душой, съ умомъ, торопливо перелетающимъ отъ одной мысли къ другой, человекъ, условіями жизни поставленный въ необходимость мечтой заполнять скуку жизни, и къ тому же писатель, стоящій на перепутьи двухъ литературныхъ теченій—не имѣлъ ни способности, ни возможности создать нѣчто художественно законченное; онъ общалъ больше, чѣмъ выполнялъ. И все-таки, болѣе правы были его поклонники, чѣмъ его хулители.

Можно спросить, однако, что же этимъ поклонникамъ больше всего нравилось, и что придавало въ ихъ глазахъ особую прелесть сочиненіямъ Марлинскаго? Могъ нравиться сюжетъ, который всегда былъ и красивъ и драматиченъ; нравился, конечно, слогъ, всегда цвѣтистый и блестящій метафорами; нравился темпъ элегически-минорный и стремительно бравурный, но больше всего должна была нравиться сама личность писателя, его міросозерцаніе, темпераментъ и настроеніе, которыхъ онъ не смогъ прикрыть и замаскировать никакимъ вымысломъ.

Если мы съ этой личностью познакомимся поближе и вспомнимъ о тѣхъ временахъ, когда ей пришлось дѣйствовать—то, быть можетъ, для объясненія восторженной любви поклонни-

*) С. А. Венгеровъ «Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ» СПб. 1892. III, 147—177.

ковъ писателя, мы найдемъ и инныя причины, чѣмъ ихъ малая требовательность, ихъ мало развитой эстетическій вкусъ.

XVII.

На всемъ, что писалъ этотъ нервный, возбужденный и впечатлительный человекъ, остался отпечатокъ его собственной личности и она-то, среди всѣхъ нарисованныхъ имъ портретовъ и типовъ, и была той центральной фигурой, которая привлекала къ себѣ общее вниманіе и пользовалась общей симпатіей. Нашъ романикъ никогда не могъ себя пересилить и исчезнуть совсѣмъ изъ поля зрѣнія читателя. Почти во всѣхъ повѣстяхъ появлялся онъ, уступая на время свои чувства и мысли герою или героинѣ, давая совѣты и поясненія то имъ, то читателю или, наконецъ, прерывая нить разсказа своими личными воспоминаніями. Случалось Марлинскому иногда и прямо говорить отъ своего лица, разсказывать о себѣ самомъ *)—и никогда рѣчь его не была такъ стремительна, такъ горяча и богата всевозможными украшеніями, какъ въ эти минуты личныхъ признаній. Воспользуемся же этими откровенными бесѣдами и всѣми автобіографическими намеками, разсѣянными въ его повѣстяхъ, чтобы возсоздать образъ самого писателя, вдвойнѣ интересный какъ матерьялъ для исторіи человѣческаго сердца и ума вообще, и какъ историческій портретъ эпохи александровскаго царствованія.

А Марлинскій былъ, дѣйствительно, типичный представитель этого царствованія,—одинъ изъ лучшихъ выразителей его идеаловъ, писатель, которому суждено было проводить и защищать эти идеалы въ эпоху для нихъ очень враждебную. Не о своей лишь разбитой жизни говорилъ съ грустью нашъ авторъ, не одну лишь память о себѣ хотѣлъ онъ въ своихъ повѣстяхъ спасти отъ забвенія: онъ боялся, какъ бы не изгладились изъ памяти современниковъ тѣ порывы чувствъ и тѣ смѣлыя мысли, которыми жили онъ и многіе другіе не такъ давно, въ годы ихъ юности. И каждый, кто бралъ повѣсти Марлинскаго въ руки, не могъ не чувствовать обаянія этой недавней старины: сквозь всѣ покровы, при всѣхъ умолчаніяхъ, сквозь всѣ намеки проглядывала недавняя жизнь, которая при новомъ режимѣ не могла разсчитывать на оправданіе. Марлинскій напоминалъ о ней, и въ этомъ скромномъ и глухомъ напоминаніи была заключена вся прогрессивная сила его кудравыхъ словъ. И, дѣйствительно, въ тридцатыхъ годахъ его личность съ ея міросозерцаніемъ, настроеніемъ и рѣчью

*) Какъ, напр., въ повѣстяхъ «Вечера на бивуакѣ», «Листки изъ дневника гвардейскаго офицера», «Выстрѣлъ», «Журналь Вадимова», «Местъ», «Онъ былъ убитъ», «Прощаніе съ Каспіемъ», «Путь до города Кубы», «Свиданье».

должна была приковать къ себѣ вниманіе: такъ непохожа была она на всѣхъ лицъ, съ которыми встрѣчалась и говорила. Въ эпоху, когда страстность, энергія, восторженность чувства и смѣлость мысли были признаны нежелательными общественными добродѣтелями, во времена очень неблагоприятныя для всякаго возбужденія, Марлинскій былъ однимъ изъ весьма немногихъ авторовъ, которые повышали въ читателѣ на нѣсколько градусовъ теплоту чувства и мысли.

Страстность и порывистая восторженность были главными основными качествами натуры Марлинскаго, и каждое чувство, настроеніе, каждая мысль, попадая въ эту горячую струю симпатіи или антипатіи, проявлялась весьма своеобразно.

Марлинскій любилъ и цѣнилъ въ себѣ эту горячку ума и сердца. Въ трудныя тоскливыя минуты, столь частыя въ его жизни, онъ щупалъ свой пульсъ и былъ очень доволенъ, когда могъ сказать себѣ: „сердце мое шевелится еще, и слишкомъ“ или: „душа моя всетаки растетъ“.

„Терпѣнье—добродѣтель верблюдовъ, не людей“—говаривалъ нашъ писатель еще въ счастливые годы своей свободы, и терпѣливо, какъ вьючное животное, перенося свою участь, онъ въ мечтахъ и въ мысляхъ всегда протестовалъ противъ этой добродѣтели. „Что-жъ добраго дѣлалось бы на свѣтѣ съ ледь-головами!“—думалъ онъ, когда иногда упрекалъ себя за излишній жаръ своей головы... но смирить этотъ жаръ онъ не старался. Его самого тѣшила невыразимость его чувствъ, быстрота его мыслей, которыя, сверкнувъ, исчезали, какъ „исчезаетъ въ долину мгновенная тѣнь поднебеснаго сокола“... Казалось, пусть молнія увьетъ его перо, пусть свѣтъ его вспыхнетъ огненными чертами—то и тогда выраженіе будетъ лишь однимъ призракомъ его невыразимаго чувства. „Исполнскія думы и бурныя чувства роются въ груди моей,—говорилъ онъ.—Гнѣвъ, воспоминанія, надежды, мечты вливаются, тѣсняются, рвутся въ душу мою вмѣстѣ и порознь, то услаждая, то терзая ее. Гдѣ найду я ноты сердечныя, чтобы изобразить всѣ оттѣнки, всѣ измѣненія, всѣ звуки ощущеній моихъ?“

Онъ, впрочемъ, находилъ такіе звуки: они были нѣсколько рѣзкіе, вычурные звуки, но они передавали то настроеніе, въ какомъ находился нашъ писатель почти всегда, когда бралъ перо въ руки. Не въ примѣръ своимъ современникамъ, томнымъ молодымъ мечтателямъ, рыцарямъ луны и при томъ туманной, — онъ любилъ больше дневной яркой свѣтъ, и, глядя на романтическую луну, иногда кошунствовалъ. „Тихая сторона мечтаній! — говорилъ онъ. Для чего такъ мило сердцу твое мерцаніе? Какъ дружескій привѣтъ или ласка матери? Прелестна ты, звѣзда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнѣе и потому не вѣрю я мысли поэтовъ, что

туда суждено умчаться тѣнямъ нашимъ. Нѣтъ! Ты могла быть колыбелью, отчиною нашего духа; тамъ, можетъ быть, расцвѣло его младенчество; но не тебѣ, тихая сторона, быть пріютомъ буйной молодости души человѣческой! Въ полетѣ къ усовершенствованію, ея доля—еще прекраснѣйшіе міры и еще тягчайшія испытанія“.

Бури просила его душа, и онъ любилъ бурю во всѣхъ ея видахъ: въ снѣжной степи, въ горахъ и ущельяхъ, и въ особенности на морѣ. У Марлинскаго нѣтъ почти ни одной повѣсти, въ которой бы природа не бурлила въ унисонъ съ человѣческимъ сердцемъ, или по контрасту съ нимъ; и надо отдать справедливость нашему писателю, онъ умѣлъ рисовать гнѣвный ликъ разбушевавшейся стихіи. Крутые частые валы, съ ихъ пѣнистымъ гребнемъ катились очень красиво на его страницахъ, вѣтеръ свистѣлъ пронзительно, гналъ ихъ, рылъ ихъ, рвалъ, молнія блистала, правда, слишкомъ часто, но за то ярко; иногда къ довершенію этой ужасно-прекрасной картины показывались смерчи или тромбы, вздымались они бѣлые изъ валовъ, какъ духъ бурь, описанный Камоэнсомъ, голова ихъ касалась тучъ, ребра увивались непрерывными молніями... море съ глухихъ гуломъ кипѣло и дымилось котломъ около — они вились, вытягивались и распадались съ громомъ, осыпая валы фосфорическими огнями. „Люблю встрѣтить бурю лицомъ къ лицу,—говорилъ Марлинскій,—любуюсь ея гнѣвомъ, какъ гнѣвомъ красавицы, и радостно крещусь, привѣтствуя первый громъ. Привольно, весело мнѣ, свѣжо на сердцѣ, съ наслажденіемъ глотаю капли дождя—эти ягоды полей воздушныхъ. Полною грудью вдыхаю вихорь... о! въ бурѣ есть что-то родственное человѣку! Дремлетъ чайка въ затишьи, но чуть выиграло море, она встрепенется, раскинетъ крылья на высь, съ радостнымъ крикомъ взрѣжетъ вѣтеръ, смѣло поцѣлуется съ бурунами. Таковъ и духъ мой! Съ самаго младенчества я любилъ грозы: громъ для меня всегда былъ милѣе пѣсни, молнія краше радуги“.

И особый таинственный смыслъ прочиталъ Марлинскій въ этомъ гнѣвѣ природы. „Львиной страстью,—говорилъ онъ,—любить небо нашу землю: поцѣлуй его—всепронзающая молнія, его ласки развѣваютъ въ прахъ утесы, плаваютъ металлы какъ воскъ. Но развѣ не такова любовь всего великаго, всего сильнаго на землѣ? Кто дерзкій осмѣлится сказать, что гроза бесполезна, что природа разрушаетъ не для того, чтобы творить? Отвѣтствуй за нее разливъ Нила и пожаръ Москвы! Если бъ грозы и не очищали воздуха, не приносили никакой вещественной пользы для земли, то уже одно нравственное впечатлѣніе на умы людей ставить ихъ въ число величайшихъ явленій природы. Сѣмена Божьяго страха глубоко западаютъ въ сердца, размягченныя перуномъ, и если хоть одно раскаяніе зазеленѣетъ на нихъ

добрымъ намѣреніемъ, заколосится добрымъ дѣломъ—человѣчество больше выиграло, чѣмъ напоеніемъ цѣлой нивы“...

Да! буря спасительна,—думалъ нашъ романтикъ, и вотъ почему всякій разъ, когда ему приходилось описывать, какъ она замираетъ, какъ утихаетъ, какая-то затаенная грусть слышалась въ его элегической рѣчи. „Синева бездѣйствія подернула лицо моря, писалъ онъ однажды,—оно дышало уже тяжело, подобно умирающему и, наконецъ, душа его излетѣла туманомъ, какъ будто проображая тѣмъ, что все великое на землѣ дышетъ только бурями, и что кончина всего великаго повита въ саванъ тумана, непроницаемый равно для дѣятеля, какъ для зрителя“...

Человѣку съ такимъ темпераментомъ должно было дышаться трудно и не при такихъ тяжелыхъ условіяхъ, при какихъ замиралъ и утихалъ самъ Марлинскій. Чувя грозу въ собственномъ сердцѣ и думая надъ тѣмъ, что онъ подъ этой грозой успѣлъ сказать и сдѣлать, онъ впадалъ въ грустное раздумье. *Mon âme est de granite, la foudre même n'y mordra pas*—повторялъ онъ знаменитую фразу Наполеона; но если, дѣйствительно, ударъ 1825 года не сокрушилъ этой гранитной души,—она давала подчасъ трещины, когда въ продолженіе долгихъ лѣтъ на нее капали слезы.

Перебирая въ памяти все, что имъ было сказано, писатель съ грустью замѣчалъ „что въ его словахъ сохраненъ лишь слабый отблескъ и слабый отзвукъ тѣхъ грозъ, которыя проносились въ его умѣ и сердцѣ“. „Полвѣка бы не стало на высказъ того, что крутится вихрями въ моемъ воображеніи, на перепись думъ, насыпанныхъ въ сокровищницу ума, на разработку рудниковъ, таящихся въ лонѣ души,—говорилъ онъ устами Вадимова, которому довѣрилъ всѣ свои самыя интимныя думы.—„Какъ выразить то, что не поддается выраженію? Великое дѣло мысль, великое дѣло чувство, но это два океана—ихъ не вычерпать черепомъ человѣческимъ, и это тѣмъ безнадежнѣе, что зачерпнутое должно храниться въ рѣшетѣ выраженія: нѣтъ у насъ другого сосуда, другого орудія передачи“...

Изреченное слово—ложь, сказалъ бы Марлинскій, если бы онъ могъ прочесть стихи Тютчева, и въ самомъ дѣлѣ всѣ его слова въ этомъ смыслѣ ложь, т. е. ни одно изъ нихъ не передаетъ вѣрно и полно того пафоса, восторга, того „пиеического“ чувства, съ какимъ этотъ возбужденный человѣкъ относился къ страстямъ, создающимъ всю поэзію людской жизни. Развѣ въ какой-нибудь дремотѣ могъ онъ приблизиться къ этой тайнѣ, осилить эту трудность и полужсными словами дать намъ понять, что ему знакомы какія-то чувства почти безформенныя. „Какой-то новый міръ, вовсе незнакомый, осязательный, но безвидный обнималъ меня,—признавался онъ однажды,—какія-то чудныя существа тѣснились къ душѣ... мнѣ казалось, я слышу лепетъ ихъ

крыльевъ, шумъ стопъ, жаръ дыханья, невнятный ихъ говоръ... порой передо мной вились, сверкали, огнились символическія ихъ письма, которыя вмѣстѣ были и буквами и живыми образами; самые звуки принимали на себя какую-то неопредѣленную форму. Я трепеталъ какъ струна, издающая божественный голосъ; томный и вмѣстѣ сладостный ужасъ пробѣгалъ по моимъ жиламъ: я хотѣлъ постичь его, и болѣзненно сознавался, что природа не дала самой душѣ органовъ для вкушенія этого безымяннаго чувства; на меня находила тогда тоска; я походилъ на человѣка, который страстно любитъ музыку и страдаетъ случайной глухотой". Какъ должны были удивлять такія рѣчи читателя тѣхъ годовъ и какъ они знакомы намъ, пережившимъ такъ называемое „декадентское“ настроеніе души человѣческой. Для Марлинскаго они были полны таинственнаго смысла: именно только такими необычными словами и сравненіями могъ онъ передать тотъ восторгъ, ту бурю, которая охватывала его, когда онъ чувствовалъ себя поэтомъ. А такое ощущеніе онъ испытывалъ часто и, писалъ-ли онъ повѣсть или частное письмо, онъ не могъ уберечь себя отъ подъема въ настроеніи и въ мысли, который сейчасъ же отражался и на его стилѣ.

Марлинскій обоготворялъ поэта, и это обожествленіе нѣсколько ласкало его самолюбіе, но когда приходилось довѣрять свой восторгъ бумагѣ и потомъ спокойно взглянуть на то, что написано, — художникъ унывалъ, понимая всю разницу, какая существуетъ между мечтой, издали манящей, и мечтой, скованной словами.

Въ своихъ повѣстяхъ нашъ авторъ часто говорилъ о поэтѣ и о поэтическомъ настроеніи тѣхъ, кто осужденъ страдать отъ окружающей насъ прозы. Эту банальную тему, весьма популярную въ его время, онъ дополнилъ одной дѣйствительно глубоко трагической деталью... Никто изъ его современниковъ не умѣлъ такъ дать почувствовать всю муку, которую испытываетъ поэтъ не отъ сосѣдства толпы, а отъ сосѣдства своей музы, своей богини; какъ бы ни были жгучи ея ласки, она всегда остается ему чуждой и далекой, и свиданье съ ней не есть осуществленіе того блаженства, о которомъ мечтаетъ поэтъ, когда чувствуетъ ея приближеніе.

„Воображеніе поэта всеильно—говорилъ Марлинскій.—Оно претворяетъ свѣчку въ звѣзду утреннюю, кроитъ радужныя крылья ангела изъ пестраго плаща. Не разрушайте хрустальнаго міра поэта, но и не завидуйте ему. Какъ Мидасъ, онъ превращаетъ въ золото все, къ чему ни коснется: за то и гибнетъ какъ Мидасъ, ломая съ голоду зубы на слиткѣ“.

„Грустно, — записалъ однажды въ своемъ дневникѣ нашъ авторъ.—Листопадъ не въ одной душѣ моей, но повсюду. Блѣкые листья роятся по воздуху и съ порохомъ падаютъ... Мутная волна уноситъ ихъ далеко; замѣчательно, что листья осенью переходятъ

по всѣмъ цвѣтамъ радуги: изъ зеленого въ голубоватый, потомъ въ желтый, въ оранжевый, въ красный, и облетаютъ. Не таково-ль и воображеніе? Мало ему луча небеснаго: надобно, чтобы онъ отражался подъ извѣстнымъ угломъ“.

Отраженіе небеснаго луча подъ извѣстнымъ угломъ жизни еще удавалось нашему писателю. Но ему этого было мало: ему хотѣлось уловить этотъ безцвѣтный небесный лучъ—ему хотѣлось, чтобы общая совокупность всего, что онъ думалъ и чувствовалъ, озарилась бы этимъ лучемъ, въ которомъ тонуть всѣ отѣнки жизни, который одинъ и проникаетъ собою всю вселенную.

Такое желаніе—а оно сквозитъ во всѣхъ жалобахъ Марлинскаго на „неизяснимость“, „невъразимость“, „безымянность“ его поэтическаго восторга—заставляло нашего писателя повышать и въ себѣ самомъ, и въ своихъ герояхъ всѣ чувства, изображать ихъ почти всегда въ неспокойномъ состояніи духа.

— Когда ему, уже въ предчувствіи смерти, пришло желаніе записать въ дневникъ всѣ свои заветныя мысли о Богѣ, природѣ, людяхъ и о себѣ самомъ, онъ придумалъ для этого оригинальную форму. Онъ набросалъ „Журналъ Вадимова“. Это былъ дневникъ—зачумленнаго.

Въ Ахалцыхѣ, въ самый разгаръ чумы, прощается больной Вадимовъ съ жизнью... Онъ чувствуетъ порой, какъ раскаляются его легкія, какъ расторгаются они и стрѣляютъ молніями въ жилы... онъ чувствуетъ, какъ кипитъ, клокочетъ кровь его будто растопленная мѣдь: то прорываясь въ жилахъ потокомъ, то, капля по каплѣ, цѣдясь сквозь суставы“. И чудится ему, что онъ самъ растягивается огромной рѣкой, онъ дышитъ тихой зыбью, онъ пьетъ свѣтъ, онъ весь—тишина и ясность... И въ эти минуты отчаяннаго, предсмертнаго, болѣзненнаго подъема³ силъ—пытается онъ отвѣтить самому себѣ, что есть жизнь и какъ онъ ее прожилъ. Отвѣчаетъ онъ, конечно, иносказательно, туманно; для всѣхъ непосвященныхъ въ его тайну онъ — риторъ, но въ сущности онъ несчастный поэтъ, который не въ силахъ обуздать свою мысль и фантазію, и совладать со своимъ бѣшеннымъ вдохновеніемъ, непокоряющимся никакому слову.

„Гомеръ, Данте, Мильтонъ, Шекспиръ, Байронъ, Гете, яркое созвѣздіе, вѣнчающее человѣчество!—воскликаетъ нашъ умирающій поэтъ.—Великаны, которымъ не вѣрить свѣтъ! чувствую, что мои думы могли бы быть ровесниками вашимъ; но если я скажу это своему лѣкарю, одному существу, которое посѣщаетъ меня, онъ не засмѣется только изъ жалости... онъ покачаетъ головой, онъ подумаетъ „болѣзнь переходитъ у него въ бредъ“, онъ назоветъ меня бѣдняжкой, меня, раздавленнаго сокровищами, меня, какъ Мидаса, умирающаго съ голоду на горахъ золота!.. Это мучительно, это невообразимо мучительно!“

„Да! огромную, необъятную поэму замышлялъ начертить я:

„Человѣчество“ было бы имя ея, человѣчество во всѣхъ его возрастахъ, во всѣхъ кризисахъ. Я бы сплавилъ въ этой поэмѣ небо съ землей, поднялъ бы изъ праха вѣка, допытался бы отъ судьбы неразгаданныхъ доселѣ приговоровъ ея; зажегъ бы надъ мертвецомъ минувшаго погасшіе лучи жизни, озарилъ бы молніями будущее, и въ облака, въ океанъ, въ землю полными руками посѣялъ бы сѣмена неиспытанныхъ, неизъяснимыхъ звуковъ, мыслей, ощущеній,—зерна столь же сладостныя, какъ райская роса, какъ улыбка неба!.. Засѣялъ бы полными руками землю звѣздами неба, засѣялъ бы небо мыслями земли и сплавилъ бы радугой въ одно: небо съ землей... Я, все, что было, что свершилось на дѣлѣ, на письмѣ, въ душѣ и въ волѣ, въ мѣди и въ мраморѣ, въ звукахъ и взорахъ, исторію и басню, романъ, драму, ученость и заблужденіе, вѣру, суевѣріе—все это стопилъ бы я въ необъятномъ горнилѣ труда, все поглотилъ, всосалъ бы какъ море, и послалъ къ небу въ чистыхъ испареніяхъ или, переработанное, очищенное, сокрылъ бы въ лонѣ своемъ яркими кристалами“.

Конечно, весь этотъ безсвязный бредъ никакъ нельзя считать точнымъ выраженіемъ думъ и намѣреній самого Марлинскаго, но если въ этомъ потокѣ словъ и образовъ искать не смысла, а настроенія, то таковое окажется. Это именно настроеніе чловѣка, чувствующаго страшную тайну жизни, невыразимую ея поэзію, при одномъ представленіи о которой мысль начинаетъ путаться и терять всякое самообладаніе. Припоминая тѣ странички изъ поэмы „Человѣчество“, которыя ему удалось кое-какъ написать, авторъ говорилъ: „какъ онѣ ничтожны“! Онѣ искренно скорбѣли о томъ, какъ мало онѣ для чловѣчества сдѣлали, онѣ признавались, что въ сочиненіяхъ его много не прочувствованнаго, и, наконецъ, какъ бы боясь того, что люди сочтутъ его сочиненія за полное отраженіе его личности—онѣ громогласно заявляли, что литература только „ничтожная страничка его существованія“.

При такой тревогѣ духа, какое было мыслимо успокоеніе и довольство въ трудѣ? На слишкомъ отвѣтственный постъ ставилъ себя этотъ чловѣкъ, и онѣ долженъ былъ быть геніемъ, чтобы, стоя на такомъ посту, хоть на мгновеніе могъ самъ на себя полюбоваться.

Заставить наше сердце „пропитаться той энергіей, которая движетъ всѣмъ Космосомъ“, наполнить его той поэзіей, которая разлита во всемъ мірѣ одушевленномъ и неодушевленномъ; дать намъ „высочайшее счастье въ сознаніи всего высокаго и прекраснаго“—вотъ какой побѣдой удовлетворилась бы артистически честолюбивая душа нашего писателя,—которому былъ данъ талантъ безспорный, но не крупный, умъ тревожный и пытливый, но не геніальный, и фантазія игривая, но не творческая.

Но и этихъ даровъ было достаточно, чтобы разъяснить чита-

телю смыслъ и передать ему красоту нѣкоторыхъ вѣчныхъ идей, и настроеній, какими жило и живетъ человѣчество.

XVIII.

Какъ многіе сыны своего времени, Марлинскій былъ человѣкъ религіозный, хотя, насколько можно судить по его сочиненіямъ, онъ не связывалъ своей вѣры тѣсно съ догмами какого-нибудь опредѣленною вѣроисповѣданія.

Съ религіознымъ смиреніемъ покорялся онъ Высшей Волѣ, но эта покорность не всегда могла осилить въ немъ его печаль и раздраженіе. Его душу,—какъ онъ говорилъ,—всегда сжимала рука несчастія только въ тишинѣ покоя могла она развернуться съ оиміамомъ мольбы. Онъ считалъ робостью въ минуту опасности вымаливать у Всевышняго пощадy и не хотѣлъ позднимъ раскаяніемъ или безвременной молитвой оскорбить вѣчную справедливость. „Но когда Богъ отгонялъ своимъ дыханіемъ волны моря и онъ, расхлынувъ, стѣной стояли вдали, алчныя, но безсильныя пожрать его, когда Богъ дарилъ ему минуты радости“—онъ молился безкорыстной благодатной молитвой.

Ни въ письмахъ его, ни въ его сочиненіяхъ не сохранилось этихъ молитвъ, и потому трудно судить о глубинѣ и искренности его вѣры, но всякій разъ, когда Марлинскому приходилось говорить о Богѣ, его слова были восторженны и красивы, и въ нихъ проглядывалъ скорѣе пѣвецъ Божьей славы и поклонникъ красоты божьяго міра, чѣмъ смиренно молящійся. Даже въ слова о загробной жизни, въ которую Марлинскій вѣрилъ, онъ вкладывалъ ту тревогу воображенія, ту страстность, съ какой онъ говорилъ обо всемъ поэтическомъ въ жизни людей и природы. Въ присутствіи Бога въ немъ просыпался прежде всего поэтъ.

„Путь жизни моей,—говорилъ онъ,—провела судьба по тернамъ и камнямъ, сквозь ночь и облака; но и мнѣ порой свѣтили звѣзды, и я умѣлъ благословлять каждый лучъ, до меня достигавшій; и чаще всего и чище слетали на меня искры благодати, когда я скитался по вершинамъ горъ; я душой постигъ тогда хвалебный гимнъ: „Слава Богу въ вышнихъ и на земли миръ“... „Вотъ и ночь; она щедро осыпала звѣздами сводъ неба, и ярко, но таинственно, сверкаютъ очи подъ голубымъ черепомъ: это вѣдь мысли вселенной, вѣчно свѣтлыя, вѣчно неизмѣнныя; это буквы, изъ коихъ мы едва угадываемъ одно цѣлое слово—и это слово „Богъ“!“

И мечта увлекала художника, сравненіе громоздилось на сравненіе, символъ и получалась картина, въ которой не было святости, но за то были необычайно смѣлые колоритные мазки. Богъ становился для поэта одушевленной природой, весь міръ воплощеніемъ любви, и любовь была Богомъ. „Цвѣтокъ увя-

даетъ отъ нѣги зачатія,—говорилъ онъ — соловей отдастъ свои поэмы дебрямъ, кровожадный тигръ ластится, металлъ плавится съ металломъ ударомъ электричества, магнитная стрѣлка сохраняетъ неизмѣнное постоянство и пути сферъ сгибаются въ обручальное кольцо около перста „Предвѣчнаго“... У читателя начинается кружиться голова отъ этихъ блестящихъ сравненій, нанизанныхъ на одну нить пантеистической, повидимому, мысли, и онъ готовъ спросить мечтателя, есть-ли у него какой-нибудь катехизисъ вѣры, кромѣ его катехизиса поэта? Но этотъ вопросъ становится излишнимъ, когда художникъ продолжаетъ и говорить: „Да, созерцая сводъ неба, мнѣ кажется, грудь моя расширяется, растетъ и обнимаетъ пространства. Солнцы согрѣваютъ кровь мою, мириады кометъ и планетъ движутся во мнѣ; въ сердцѣ кипитъ жизнь безпредѣльности, въ умѣ совершается вѣчность. Не умѣю высказать этого необъятнаго чувства, но оно просыпается во мнѣ каждый разъ, когда я топлюсь въ небѣ... оно залогъ безсмертія, оно искра Бога! О! я не доискиваюсь тогда, лучше-ли называть Его Іегова, или Dios или Алла? Не спрашиваю съ нѣмецкими философами: онъ-ли *das immerwährende Nichts*—или *das immerwährende Alles*: но я его чувствую вездѣ, во всемъ, и тутъ—въ самомъ себѣ“!

Въ этихъ словахъ художникъ обнаружилъ всю тайну своей религіозной мысли. Она, дѣйствительно, религіозна, но она мысль свободнаго мыслителя, философа-поэта. Въ сущности она—религіозный гимнъ въ честь природы, въ честь ея тайнъ и красоты.

Красота Божьяго міра наводитъ поэта на разсужденія, съ виду какъ будто глубокомысленныя,—но на дѣлѣ представляющія видоизмѣненія лишь одного единственнаго восторженнаго поклоненія природѣ. Судя по ссылкамъ на Велланскаго, которые попадаютъ въ его сочиненія, можно думать, что и Марлинскій въ своей юности успѣлъ перелистать одну-другую страницу изъ натуръ-философій, и тогда понятна та увѣренность, съ какой онъ излагалъ передъ читателемъ свои собственныя фантазіи на тему объ одушевленности природы. Онъ понималъ, что не только разгадать эти тайны, но и передать всю внѣшнюю красоту ихъ человѣкъ безсиленъ, что смѣшонъ человѣкъ, когда онъ строитъ Вавилонскій столпъ, чтобы убѣжать отъ природы: и вдвое смѣшонъ, когда хочетъ поймать ее на палитру или умѣстить въ чернильницу; но уберечься отъ искушенія произвести надъ ней это насиліе онъ не могъ, въ особенности онъ, для котораго она была единственною собесѣдницей, не вызывавшей никакихъ печальныхъ думъ и воспоминаній.

Мы бы никогда не кончили если бы стали выписывать всѣ тѣ нѣжныя и восторженныя слова, которыми Марлинскій благодарилъ эту собесѣдницу за умиротвореніе его тревожной души. Мы уже знакомы съ его образными, иногда очень вычурными пейзажами. Онъ въ нихъ почти всегда—психологъ, который овои

собственные чувства, настроенія и мысли стремится пояснить картинами природы,—почему и небеса, синія или сѣрыя, облака прозрачныя или свинцовыя, туманы и дымки, хребты горъ, покрытые снѣгомъ или черные своими скалами, ущелья и потоки, лѣса суровые или ласковые, долины и холмы, и, наконецъ, море съ его симфоніей въ мажорномъ или минорномъ ключѣ, съ его грустнымъ лепетомъ и свирѣпой угрозой — все было одновременно видоизмѣненіемъ и лика Божія, и души самого писателя. Поэтъ надѣлялъ природу своимъ голосомъ, своимъ настроеніемъ и потомъ удивлялся, что она такъ умѣло разговариваетъ съ нимъ отъ души или всегда такъ одѣта по его вкусу.

Засматриваясь на нее, онъ чувствовалъ себя, какъ самъ говорилъ, и добрѣе, и чище, и любовнѣе. „Душа его горѣла, не заплывая страстью, разумъ расправлялъ крылья, пытался взлетѣть за облака, проглянуть бездны земли и моря“. „Это была не радость и не тоска,—говорилъ онъ,—не покой и не тревоженіе, это была зыбь (души), которая хранитъ въ себѣ слѣды бури и начатки тишины“... И онъ слышалъ гармонію, которая сливалась въ одинъ ладъ, въ одинъ блескъ и земное, и небесное. Передъ нимъ возносились радуга прекраснаго, возникающая, какъ мостъ между міромъ и Богомъ. „Прекрасное,—разсуждалъ онъ,—есть заря истиннаго, а истинное—лучъ Божества, переломленный о вѣчность... И самъ я вѣченъ! кажется, колыбель моя качалась волнами вонъ того водопада, а вѣтры горъ убаюкивали меня въ сонѣ; кажется, я бродилъ по этимъ хребтамъ во дни моего ребячества, когда Божій міръ былъ моимъ ровесникомъ. Развѣ пылинки, составляющія мое тѣло, не современные ему? Развѣ душа моя не жила довѣчно въ лонѣ Провидѣнія?“

И, вспоминая старые разговоры, которые ему въ юности приходилось, вѣроятно, вести съ кѣмъ-нибудь изъ его друзей, молодыхъ адептовъ натуръ-философіи, Марлинскій смѣло начиналъ философствовать: „неслышимо природа своею бальзамической рукой стираетъ съ сердца глубокіе, ноющіе рубцы огорченій—говорилъ онъ,—сердце яснѣетъ, хрусталѣетъ. Вы начинаете тогда разгадывать вѣроятность мнѣнія, что вещество есть свѣтъ, поглощенный тяжестью, а мысль нравственное солнце, духовное око человѣка, вещество, стремящееся обратиться опять въ свѣтъ, посредствомъ слова. Тогда душа пьетъ вино полной чашей неба, купается въ раздольѣ океана, и человѣкъ превращается весь въ чистое, безмятежное, святое чувство самозабвенія и міроневѣдѣнія, какъ младенецъ, сейчасъ вынутый изъ купели и дремлющій на зыби материнской груди, согрѣтый ея дыханіемъ, улетѣнный ея пѣснью...“

Могъ-ли не благодарить природу за такіе окрыленные чувства и мысли, поэтъ, который думая о людяхъ, о ихъ дѣйствительной жизни, долженъ былъ не расправлять крылья своей фантазіи, а, наоборотъ, ихъ складывать?

И грустные мысли приходили иногда Марлинскому въ голову, когда онъ, любуясь на дѣвственную красоту природы, вспоминалъ о человѣкѣ. „Придетъ время,—говорилъ онъ,—люди найдутъ на тебя и ты упьешься ихъ потомъ, какъ теперь росой небесъ, и они заселятъ твои завѣтные ущелья и тѣснины, затмятъ тебя вывѣсками общественной жизни, загрязнятъ, притопчутъ до самой маковки; источать твое сердце рудниками и каменоломнями, извлекутъ наружу твои внутренности; научатъ вѣтры горъ свистать свои жалкія пѣсни, принудятъ водопады твои молоть кофе, и въ дѣвственныхъ свѣгахъ твоихъ станутъ холодить мороженое. Мелочные люди выживутъ даже шакаловъ изъ пещеръ, отнимутъ гнѣзда у орловъ и подложатъ въ нихъ жукушкины пестрыя яйца“...

Слова печальныя, которыя могли бы закончиться довольно ходкой въ то время тирадой противъ цивилизаціи, но не закончились...

Споръ между природой и человѣкомъ Марлинскій разрѣшилъ въ пользу послѣдняго. „Человѣчество, — говорилъ онъ, — живая волна океана: вѣтеръ свиваетъ и чеканитъ ее въ причудливые кристаллы по произволу; природа—гора исландскаго хрусталя. Въ обоихъ сверкаетъ Божество, но въ первомъ видны лишь бѣгучія, перелетныя искры, въ другой—постоянныя тучи. Со всѣмъ тѣмъ волны морскія величественнѣе скалъ прибрежныхъ; и величіе, дредность ихъ, заключены въ жизни, въ движеніи, въ разнообразіи. Вотъ почему the proper study of mankind—is man. „Приличнѣйшая наука для человѣчества—есть человѣкъ.“

Этой наукой Марлинскій очень интересовался, и въ сочиненіяхъ его, и, въ особенности, въ письмахъ разсыпано много сентенцій, въ которыхъ ясно проглядываютъ его, въ общемъ, очень оптимистическіе взгляды на человѣка и его судьбу въ мірѣ.

Александръ Александровичъ больше, чѣмъ кто-либо, имѣлъ право смотрѣть грустно на жизнь, и онъ купилъ это право цѣной очень тяжелой. Если въ молодые годы своей свободы, онъ, повинувшись романтической модѣ, говорилъ, что „въ немъ душевная веселость цвѣтетъ столь же рѣдко, какъ цвѣтъ на алоэ“, тогда какъ на самомъ дѣлѣ она цвѣла, какъ свѣжая роза,—то въ зрѣлыя годы, годы неволи, онъ былъ, какъ мы знаемъ, дѣйствительно, очень мрачно настроенъ. Что въ эти минуты тоски и печали ему могли приходиться въ голову самыя мрачныя мысли, это вполне естественно. Жизнь безъ настоящаго и будущаго, съ однимъ лишь свѣтлымъ прошлымъ, была полужизнью. Вращаясь со своими мечтами все время въ этомъ заколдованномъ кругѣ грустныхъ воспоминаній о счастливомъ прошломъ, сожалѣній о настоящемъ и страховъ о будущемъ—можно было придти къ полному безочарованію и начать повторять нѣкоторые тогда очень ходкіе пессимистическіе афоризмы. Можно было пожалѣть, что человѣку не дано способности, какъ сурку, засыпать на всю зиму настоящаго

горя, чтобы хоть во снѣ дышать вѣшнимъ воздухомъ юности; можно было „пить отраву воспоминанія и чувствовать, какъ оно кровью капаетъ изъ сердца, какъ мутенъ и слабъ источникъ порождаемаго имъ воображенія, которое творить не изъ настоящаго, а течетъ сквозь могилу...“ Что такое воспоминаніе и что такое надежда?—можно было спросить и отвѣтить: — хвастовство минувшаго и будущаго! То и другое надувають... „Да и вообще, что жизнь?“—Высоко ширяется въ поднебесѣхъ орелъ, купаетъ крылья въ радугѣ, хочетъ закрыть ими солнце, и на землѣ уже все мое, думаетъ онъ,—и вдругъ, откуда ни возмись, зашипѣла стрѣла—вѣтка только что оперившаяся, на которой онъ отдыхалъ не дѣлѣ, какъ вчера,—и властитель воздуха, пробитый ею, издыхаетъ въ грязи, игрушкой ребятишекъ! „Что имя, что слава?“ — Павшій листъ между осенними листьями, волна между волнами океана, флагъ тонущаго корабля, который на минуту вѣтается надъ бездною: мелькнулъ и нѣтъ его! Забвеніе пожираетъ память—безымянная могила, свинцовый гробъ, ничего не отдающій стіхіямъ... „Что, наконецъ, вся земля?“—кладбище, бездна ничѣмъ не наполняемая и вѣчно насытая... Лучше и не думать обо всемъ этомъ: мысль вообще тяжелое бремя; съ чувствомъ живется легче. „Мысль—братъ; чувство—любовница; чувство сладостиѣ, горячѣе, нѣжнѣе мысли“... А еще лучше забыться и уснуть... „А что, если грусть начнетъ проникать и въ сонъ?“

Такія мысли обступали иногда Александра Александровича. Въ нихъ мало характернаго, но есть въ нихъ два достоинства, во-первыхъ, ихъ искренность, во-вторыхъ, полное отсутствіе въ нихъ злобы. Личныя страданія поэта не отзывались на томъ снисходительномъ, любовномъ чувствѣ, съ какимъ онъ вообще относился къ людямъ, и собственное несчастье его не озлобило.

Въ письмахъ и сочиненіяхъ Марлинскаго найдутся, конечно, мѣста, въ которыхъ онъ всею силою своего неистоваго краснорѣчія обрушивается на людей за многіе ихъ пороки и слабости—но за такими рѣзкими выходками слѣдуютъ у него почти всегда слова примиренія и прощенья. Трогательно читать въ его частныхъ письмахъ, напр., такія слова: „Странная вещь! Никогда менѣе не было мнѣ причинъ любить людей, какъ теперь (1831—тяжелый годъ жизни въ Дербентѣ) и никогда любовь къ нимъ не была во мнѣ теплѣе; я прежде любилъ ихъ или негодовалъ на нихъ какъ на братій; теперь я ихъ жалѣю какъ дѣтей“. „Знаете ли, что я простилъ всѣхъ враговъ своихъ въ сердцѣ, что отнынѣ мнѣ люди могутъ быть и врагами, и злодѣями, но я имъ нисколько, я, который столько испыталъ несправедливостей!“ „Одно только во мнѣ постоянно, — писалъ онъ, — это любовь къ человечеству, по крайней мѣрѣ зерно ея, потому что стебельъ носилъ цвѣты разнородные, начиная отъ чертополоха до лиліи“. Да и за что въ сущности ненавидѣть людей? спрашивалъ онъ. Все ихъ

несчастіе отъ недостатка ума; все злое, порочное, истительное—глупость въ разныхъ видахъ. Люди не злы, а глупы, они не злодѣи, а дураки. Пусть они бываютъ ослами съ тигровыми лапами или хищными орлами съ поросячьимъ рыльцемъ—нельзя принимать близко къ сердцу ихъ коварства. „Одно отрадное чувство, мирительное чувство нашелъ я въ себѣ, — писалъ онъ своимъ братьямъ, рассказывая имъ, какъ онъ пережилъ страшную минуту болѣзни, когда былъ близокъ къ смерти—одно чувство, это—совершенное отсутствіе ненависти или вражды: я искалъ ихъ для исповѣди и не нашелъ; я не постигалъ, какъ можно быть врагомъ кому-нибудь, я, который былъ столько разъ жертвою незнакомыхъ мнѣ непріятелей“.

Приходится удивляться такому добродушію въ человѣкѣ столь много страдавшемъ. Онъ отъ природы былъ добръ и добродушенъ, онъ—забѣлка, драчунъ, вспыльчивый человѣкъ и насмѣшникъ. Но помимо природы, надъ этими добрыми чувствами его сердца поработали и люди. Кругъ, въ которомъ онъ выросъ, заставилъ его такъ высоко думать о человѣкѣ, и у насъ есть прямое тому доказательство въ одномъ изъ самыхъ интимныхъ его писемъ.

Полевому, котораго онъ любилъ и съ которымъ былъ очень откровененъ, онъ писалъ однажды: „Несчастливы вы, что судьбой брошены въ такой огромный кругъ мерзавцевъ. Я былъ счастливѣе васъ, живучи въ свѣтѣ; я зналъ многихъ, у которыхъ самый большой порокъ былъ лишь то, что они считали себя героями. Я счастливѣе васъ и въ этомъ преддверіи ада, въ которомъ маюсь, ибо знаю людей, для коихъ паденіе стало вознесеніемъ. О, какія высокія души, какое ангельское терпѣніе, какая чистота мыслей и поступковъ! Самая злая, низкая клевета не могла бы въ шесть лѣтъ искушенья найти ни въ одномъ пятнышка, и въ какое бы болото ни бывали они брошены, приказное презрѣніе превращалось въ невольное уваженіе. Безупречное поведеніе творить около нихъ очарованную атмосферу, въ которую не смѣетъ вползти никакая гадина. Сколько познаній! дарованій! погребено живыхъ. Вы помирились бы съ человѣчествомъ, если бы познакомились съ моимъ братомъ Николаемъ! Такія души искупаютъ тысячи навітовъ на человѣка!“

Рѣдко кому удавалось сказать о декабристахъ столь теплое и правдивое слово.

При такомъ взглядѣ на человѣка, взглядѣ, насквозь проникнутомъ прощеніемъ и идеализмомъ самой высшей пробы, можно было быть оптимистомъ, какимъ и былъ Александръ Александровичъ въ своихъ к нечнымъ мысляхъ о судьбахъ человѣчества.

Еще въ самые юные годы задумалъ онъ въ драматической формѣ высказать свое сужденіе о міропорядкѣ, и въ неоконченной комедіи „Оптимистъ“ онъ писалъ тогда:

Не множь собой, мой другъ, худителей число;
 Небесной мудрости познай законъ священный
 И вѣрь, что создано все къ лучшему въ вселенной.

Были-ли эти слова тогда сказаны въ шутку или въ серьезъ—но только Марлинскій не отступилъ отъ нихъ во всю свою жизнь. Конечно, говоря объ оптимистическомъ міросозерцаніи Марлинскаго, нужно помнить, что это былъ оптимизмъ вовсе не наивный, что это была вѣра въ конечное торжество своихъ идеаловъ, не исключавшая страшнаго негодованія на тѣ испытанія, которымъ эти идеалы подвергались, и печали о такихъ испытаніяхъ. „Не повѣрите, — говорилъ нашъ оптимистъ, — какъ глубоко трогаетъ меня всякая низость—не за себя, за человѣчество: тогда плачу и досажую; я краснѣю, что ношу Адамовъ мундиръ“. Но рядомъ съ этимъ признаніемъ онъ сейчасъ же дѣлалъ другое. „Гнѣвъ, — говорилъ онъ, — досада, негодованіе на мигъ пролетаютъ сквозь мое сердце, какъ молвія сквозь трубу, и безъ слѣда. Я болѣе всего не понимаю мщенія“.

На проявленіе зла въ мірѣ смотрѣлъ нашъ писатель особеннымъ философскимъ и очень успокоительнымъ взглядомъ. „Существуетъ ли въ мірѣ хоть одна вещь, — спрашивалъ онъ, — не говоря о словѣ, о мысляхъ, о чувствахъ, въ которой бы зло не было смѣшано съ добромъ? Пчела высасываетъ медъ изъ беладонны, а человѣкъ высасываетъ изъ нея ядъ. Вино оживляетъ тѣло трезваго, и убиваетъ даже душу пьяницы. Бросимъ же смѣшную идею исправлять словами людей: это забота Провидѣнія. Приморскій житель ужасается вечеромъ, видя гибель корабля, а на утро собираетъ остатки кораблекрушенія, строитъ изъ нихъ утлую ладью, сколачиваетъ ее костями братій, и, припѣваючи, пускается въ бурное море...“

Такія рѣчи можно принять иногда и за иронию, но авторъ необычайно послѣдователенъ въ развитіи ихъ основной мысли. Онъ готовъ былъ назвать близорукими тѣхъ, которые жалуются на землетрясенія, которые негодуютъ на то, что у Петра провалился домъ, а у Ивана жена. „Пускай себѣ проваливаются, — говорилъ онъ. Отъ этого тысячамъ гдѣ-нибудь и когда-нибудь будетъ лучше. Ржавчина разрушенія и пепелъ вулкановъ нужны для сѣмянъ новаго бытія, безъ чего они не принялись бы на граненомъ камнѣ... Впрочемъ, — заканчиваетъ онъ эту странную мысль — я надѣюсь, что вы не прострете моего сравненія за границы шутки...“ Но пусть это и была шутка, что въ данномъ случаѣ весьма вѣроятно; но и въ самыхъ серьезныхъ размышленіяхъ нашего писателя смыслъ этой шутки повторялся, только въ формѣ патетическихъ возгласовъ.

Анализируя однажды очень подробно и тонко врожденное человѣку желаніе прославиться, ступшевая все эгоистическое,

что присуще такой жадѣ славы, нашъ оптимистъ хотѣлъ видѣть въ ней лишь „потребность любви за гробомъ“. Потребность славы онъ признавалъ безкорыстной и справедливой, и думалъ, что живая электрическая связь, соединяющая міръ прошлаго съ міромъ предыдущаго скуется до самаго неба. „Каждый разъ,—говорилъ онъ,—когда Провидѣніе допускаетъ дальнихъ потомковъ прибавить нѣсколько колецъ достойныхъ подвиговъ или высокихъ мыслей къ этой цѣпи воспоминанія прежнихъ достойныхъ подвиговъ и прежнихъ свѣтлыхъ открытій — можетъ быть эфирная часть умершихъ виновниковъ, зачателей всего этого, гдѣ бы ни витала она, чувствуетъ сладостное потрясеніе, вѣнчающее и на землѣ райскій мигъ творенья“. „Лестная мечта!“ восклицалъ онъ, самъ себя ободряя. И, въ самомъ дѣлѣ, какъ счастливъ тотъ, кто вѣритъ, что ни одна крупица добра въ мірѣ не пропадаетъ и нанизывается на одну вѣчную цѣпь совершенствованія, которая „скуется до неба“. Конечно, все это мечты, какъ раньше были шутки, но любопытно, что и въ мечтахъ и въ шуткахъ одно и тоже направленіе мысли.

Въ одномъ частномъ письмѣ, уже совсѣмъ серьезно, Марлинскій писалъ своему другу Полевому: „Человѣчество есть великая мысль, принадлежащая собственно нашему вѣку (т. е. мысль о прогрессѣ, развитіе которой, дѣйствительно, одна изъ заслугъ XIX столѣтія). Она утѣшительна: быть убѣжденну, что если одинъ народъ коснѣетъ въ варварствѣ, если другой отброшенъ въ невѣжество, за то десять другихъ идутъ впередъ по пути просвѣщенія, и что масса благоденствія растетъ съ каждымъ днемъ — это льетъ бальзамъ въ растерзанную душу частнаго человѣка, утѣшаетъ гражданина обиженнаго обществомъ. Но все это лишь въ отношеніи къ будущему, которое не должно и не можетъ уничтожать настоящихъ обязанностей“... Эти слова мы и можемъ принять, какъ конечный итогъ всѣхъ мыслей Марлинскаго о судьбахъ человѣчества.

Таковы основныя положенія оптимистическаго міросозерпанія нашего автора, насколько о нихъ можно судить по его отрывочнымъ признаніямъ.

Но мысль не была главнымъ агентомъ его психической дѣятельности. Самъ онъ признавался, что „ему казалось и кажется, что онъ рожденъ лучше чувствовать, нежели говорить и болѣе дѣйствовать, чѣмъ думать“, и характеристика его какъ человѣка была бы не полна, если бы мы обошли молчаніемъ тѣ бурныя романтическія чувства, которыя помогли нашему узнику справиться съ одной изъ труднѣйшихъ задачъ — съ сохраненіемъ воли къ жизни при условіяхъ самыхъ враждебныхъ и гибельныхъ для этой воли.

XIX.

Съ однимъ изъ такихъ чувствъ—съ развитымъ чувствомъ эстетическимъ, находящимъ относительное удовлетвореніе въ собственномъ творчествѣ, мы уже достаточно знакомы. Мечта была для Марлинскаго всегда желанной гостею. Съ прямымъ намекомъ на себя писалъ онъ въ началѣ своей неволи:

«Успокойся, путникъ юный,
Ты разбитъ и утомленъ;
На тебя златыя струны
Назвенятъ глубокой сонъ.
И прикинувъ къ изголовью,¹
Сновидѣній красота
Обойметъ тебя съ любовью
Тахокрылая мечта.

Чаровница за собою
Уманить и увести:
Ступишь легкою стопою
На коверъ на самолетъ
И завѣтною долиной
Вдаль за тридевять земель
Съ быстротою соколиной
Упорхнеть душа отсель».

(«Андрей Перемышлянский», 1829 г.).

Мечту Марлинскаго нельзя, конечно, назвать „тихокрыдой“: наоборотъ, она своими крыльями производила шумъ очень рѣзкій; но она своего достигала, она помогала его душѣ упорхнуть отъ скучной жизни.

Въ эту монотонную жизнь вносило большое разнообразіе и другое чувство, сильно развившееся въ нашемъ писателѣ въ годы его кочевой, походной жизни. Это былъ — его военный пылъ. „Послѣ восторга любви,—говорилъ онъ,—я не знаю высшаго восторга для тѣлеснаго человѣка, какъ побѣда, потому что къ чувству силы примѣшано тутъ чувство славы“.

„Раскинь же на вѣтеръ коршуновы крылья твои, духъ войны—писалъ Марлинскій въ одномъ изъ своихъ походныхъ дневниковъ,—повеселись сердце богатырское; разгуляйся конь! Весело удалому топтать подковой ледяной вѣнецъ горъ, давать имъ новую денницу пожаромъ, крушить скалы своею молніей. Творить божественно, но и разрушать тоже божественно. Разрушеніе — тукъ для новой, лучшей жизни“.

Читая такіа строки, можно подумать, что передъ нами—какой то рыцарь разрушенія, въ особенности, когда онъ, увлекаемый своей мечтой, начинаетъ увѣрять насъ, что онъ закалилъ до жестокости свое сердце, что ребячески радовался, когда отъ его пули падалъ въ прахъ какой-нибудь наѣздникъ, что съ восхищеніемъ онъ вонзалъ шашку ближнему въ сердце и вытиралъ кровавую полосу о гриву коня.

На самомъ дѣлѣ этотъ военный пылъ увлекалъ Марлинскаго до самозабвенія лишь на первыхъ порахъ, когда онъ послѣ томительной якутской скуки попалъ сразу на поле сраженія подъ Байбуртомъ. За всѣ годы своей кавказской жизни онъ разотрѣ-

лять, конечно, не мало зарядовъ и рубилъ направо и налѣво; но за этимъ воодушевленіемъ военнымъ—по пятамъ всегда плелась грустная элегическая мысль о томъ, „къ чему все это?“, и нѣтъ сомнѣнія, что его отвага,—какъ онъ самъ неоднократно признавался,—была отвагой отчаянія. Онъ былъ искрененъ, когда говорилъ, что искалъ смерти, а тотъ, кто ищетъ ее для себя, тотъ не испытываетъ восторга, нанося ее ближнему.

Иначе и быть не могло; нашъ гуманистъ и филантропъ, сожигающій сабли свободныхъ горцевъ и уводящій въ плѣнъ ихъ семьи, становился въ непріятное противорѣчіе съ самимъ собой. Не онъ ли, блуждая по горамъ Кавказа и пользуясь гостепріимствомъ горцевъ, со словами укоризны обращался къ людямъ, которые любятъ свои оковы и уютные раззолоченные гробы; „печалныя души! пресыщенные чувственностью и окостившія въ безчувствіи, что могли бы вы принести сюда, въ это царство свободы, кромѣ своей лицемѣрной скуки?“ спрашиваетъ онъ ихъ. Это „царство свободы“ Марлинскій понималъ, впрочемъ, преимущественно какъ царство свободной величественной природы, и мы знаемъ, что насчетъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ ея дикихъ обитателей онъ не заблуждался: но не могъ же онъ, все-таки, хладнокровно ихъ рѣзать, не пожалѣвъ объ ихъ судьбѣ и о своей собственной? Онъ и жалѣлъ часто. Сколько величаваго паёса и уваженія къ врагу звучитъ, напримѣръ, въ той предсмертной пѣснѣ, которую онъ вложилъ въ уста затравленнымъ въ ущельяхъ и на смерть осужденнымъ горцамъ:

Слава намъ! Смерть врагу!
Алла-га! Алла-гу!
Плачьте красавицы въ горномъ аулѣ,
Правьте поминки по насъ:
Всѣмъ за послѣднюю мѣтку пулей,
Мы покидаемъ Кавказъ!
Здѣсь, не цѣвница къ ночному покою,
—Насъ убаюкаетъ громъ;
Очи, не милая черной косою—
Воронъ закроетъ крыломъ!
Дѣти! забудьте отцовскій обычай:
Онъ не потѣшитъ васъ русской добычей!

.....
Не плачь, о мати! твоей любовью
Мнѣ билось сердце высоко,
И въ немъ кипѣло львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной волѣ
Удалый сынъ не измѣнялъ:
Онъ въ грозной битвѣ, въ чуждомъ полѣ,
Постигнуть Азраиломъ, палъ;
Но кровь моя, на радость краю,
Негнѣннымъ цвѣтомъ будетъ цвѣсть;

Я дѣтямъ славу завѣщаю,
 А братьямъ гибельную мѣсть!
 О братья! творите молитву;
 Съ кинжалами ринемся въ битву!
 Ломай ихъ о русскую грудь...
 По трупамъ безстрашнаго пути!
 Слава намъ, смерть врагу!
 Алла-га, Алла-гу!

Отчего на этихъ мѣстахъ истребленія и запустѣнія не могла бы процвѣтать мирная культура?—спрашивалъ иногда нашъ воинъ... Вѣдь русскіе такъ великодушны, добродушны и справедливы; только изувѣрство заставляетъ горцевъ смотрѣть на русскихъ, какъ на вѣчныхъ враговъ; и горцы — они честны и по своему добры; зачѣмъ имъ вздыхать о старинѣ, которая для нихъ была такъ кровава и полна притѣсненій! Отчего имъ не покинуть свои предразсудки и не стать нашими братьями по просвѣщенію?

„Опять набѣги, опять убійство!—Когда-то перестанетъ литься кровь на угорьяхъ?“ „Когда горные потоки потекутъ молокомъ и сахарный тростникъ заколышется на снѣжныхъ вершинахъ“—отвѣчаетъ мрачный горецъ въ одной повѣсти Марлинскаго, — но авторъ ему не повѣрилъ. „Много, но не долго литься на Кавказѣ дождю кровавому,—увѣрялъ онъ,—гроза расцвѣтетъ тишью, желѣзо бранное будетъ поражать только грудь земли—и цѣпные мосты повиснутъ черезъ пропасти, подъ которыми страшно было видѣть и радугу... Дайте Кавказу миръ, и не ищите земного рая на Евфратѣ“.

Такими пожеланіями и пророчествами спѣшилъ Марлинскій выпутаться изъ затрудненія, въ какое попадалъ, когда хотѣлъ самъ для себя осмыслить свою роль на Кавказѣ.

Ему помогало, впрочемъ, въ данномъ случаѣ и его очень горячее патріотическое чувство. Онъ любилъ родину и какъ офицеръ дорожилъ ея военной славой. Увлеченіе этой славой ожесточало его противъ ея враговъ и заставляло любить того, кому охрана этой славы была довѣрена; и, дѣйствительно, Александръ Александровичъ, какъ многіе изъ его сотоварищей по несчастію, примирился съ императоромъ на другой же день катастрофы, тѣмъ болѣе, что въ немъ никогда особенно и не былъ силенъ духъ политическаго протеста...

Когда мы въ его частныхъ письмахъ читаемъ, какъ онъ въ Якутскѣ идетъ „молиться за своего благодѣтеля и пожелать сердечно, чтобы русскіе солдаты въ свѣтлый день рожденія государя сдѣлали ему достойный подарокъ въ видѣ турецкой крѣпости“, или когда изъ одного письма, писаннаго изъ Дербента, мы узнаемъ его взгляды на польское возстаніе, которое его разогорчило и раздосадовало на столько, что у него самого явилась мысль „про-

мѣнять пули съ панами добродѣями, которые не забыли своихъ своевольныхъ вольностей и хотятъ быть скорѣ несчастными по своей прихоти, чѣмъ счастливыми по русскому разуму“ — когда мы читаемъ такія строки, то прежде всего у насъ является подозрѣніе, не писаны ли онѣ для тайныхъ читателей. Но объясняются онѣ гораздо проще: въ нихъ сказался тотъ самый патріотъ, который и въ своихъ раннихъ повѣстяхъ любилъ говорить о военной славѣ императора Александра I, противъ котораго ораторствовалъ въ тайномъ обществѣ. Что въ данномъ случаѣ говорилъ не столько раскаявшійся политиканъ, сколько именно патріотъ, это доказывается, напримѣръ, тѣмъ, что въ томъ же самомъ письмѣ, въ которомъ онъ порицалъ польское возстаніе, онъ, конечно, весьма осторожно, привѣтствовалъ іюльскую революцію во Франціи, той Франціи, „которая, какъ исполинское знамя, какъ боевая пушка, даетъ знакъ переворотовъ“.

Во всякомъ случаѣ, если Марлинскій — насколько можно судить по опубликованнымъ документамъ — сталъ болѣе чѣмъ хладнокровно относиться къ тѣмъ политическимъ идеямъ, за которыя онъ пострадалъ, то сущность его общественной мысли — осталась неизмѣнной за всю его жизнь. Писатель могъ, передумавъ свои политическія мысли, придти къ выводу, что онѣ слишкомъ опередили русскую жизнь, и онъ могъ отъ нихъ отказаться, какъ отказался, напр., и его ближайшій другъ Рылѣевъ наканунѣ своей казни. Но едва-ли могъ онъ отступиться отъ тѣхъ взглядовъ, которые въ немъ укрѣпились, главнымъ образомъ, въ силу его возмущеннаго нравственнаго чувства.

Отъ этихъ взглядовъ Марлинскій и не отступилъ; и во всѣхъ своихъ повѣстяхъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, твердилъ онъ о томъ, что такое общественная порядочность человѣка и что такое социальная справедливость. Касаясь этой темы, онъ, конечно, былъ вынужденъ повторять многое всѣмъ извѣстное и тривиальное — что еще въ его время стало общимъ мѣстомъ разныхъ сентиментальныхъ и нравоописательныхъ повѣстей. Не будемъ его судить строго за такія повторенія общихъ мыслей и не забудемъ, что въ его положеніи было невозможно выдти изъ такихъ общихъ фразъ въ обличеніи общественныхъ пороковъ, такъ какъ всякое такое обличеніе, болѣе или менѣ смѣлое, могло быть истолковано какъ дерзость и непокорность.

И не смотря на свое исключительное положеніе, Марлинскій не только остался вѣренъ идеаламъ своей юности, но нашелъ даже средства и смѣлость объ одномъ изъ такихъ убѣжденій постоянно напоминать своимъ читателямъ. Это была мысль о крестьянинѣ, о которомъ декабристы вообще такъ много думали.

Марлинскій, никогда не занимавшійся специально общественными и политическими науками, не вникалъ подробно въ вопросъ о крестьянствѣ, проектовъ никакихъ не строилъ, но не упускалъ

случая въ самыхъ же первыхъ своихъ повѣстяхъ—отъ дѣйствительной жизни очень далекихъ—направлять на этотъ вопросъ вниманіе читателя. Въ своей „Поѣздкѣ въ Ревель“ (1821) онъ говорилъ о состояніи ливонскихъ крестьянъ и отмѣчалъ, какъ владѣльцы, содѣйствуя цѣли мудраго правительства, улучшаютъ крестьянскій бытъ въ нравственномъ и физическомъ отношеніи, какъ народъ отвыкаетъ отъ пьянства, лѣни и всѣхъ пороковъ, невѣжество сопровождающихъ. Эти свѣдѣнія онъ почерпалъ не изъ книгъ, а слѣдуя своему правилу: „Слушать богатыхъ людей и заставлятъ говорить бѣдныхъ“. Впрочемъ, онъ перелистывалъ и исторію того края, по которому путешествовалъ, и отмѣчалъ тяготу налоговъ и работъ, падавшихъ нѣкогда на бѣдныхъ обитателей, которыхъ владѣльцы мучили изъ чистой прихоти. Рассказы о такихъ мученіяхъ вставлялъ онъ въ свои повѣсти, когда говорилъ, напр., о грозномъ владыкѣ „Замка Вендена“ (1821), жестокомъ баронѣ, который вытѣпывалъ конями крестьянскій хлѣбъ и немилосердно дралъ поселянъ нагайками, или о властителѣ „Замка Эйзена“ (1825), духовномъ рыцарѣ, который изъ каприза рубилъ головы крестьянамъ—и разрѣшалъ ихъ грѣхи, заставлялъ ихъ вымѣнивать ихъ лошадей на его собакъ и также дралъ ихъ нещадно.

Въ повѣстяхъ изъ русской жизни, написанныхъ уже въ годы неволи, Марлинскій не могъ такъ сгущать краски, но продолжалъ подчеркивать свою гуманную идею. Если ему случалось говорить теперь о разныхъ насиліяхъ помѣщиковъ надъ крестьянами, то виновными оказывались не русскіе, а польскіе паны. Они грабятъ холопа и топчутъ его въ грязь, они отдають щенковъ выкармливать кормилицамъ, отнимая у нихъ грудныхъ младенцевъ [„Наѣзды“ 1831 и „Латники“ (1830)]... Русскому мужику, утверждалъ Марлинскій, живется легче, чѣмъ польскому крестьянину, у русскаго есть хоть Юрьевъ день, въ который онъ можетъ сбѣжать отъ злого барина. Объ этихъ злыхъ русскихъ барахъ нашъ авторъ какъ видимъ, хранилъ невольное молчаніе, позволяя себѣ иногда лишь поговорить неодобрительно о барской спеси и вообще о нерадѣніи дворянъ къ хозяйству. Онъ предпочиталъ говорить о добрыхъ барахъ и обличать пороки, прославляя добродѣтель. Мы видѣли какъ онъ хвалилъ помѣщика, не разрѣшившаго своимъ сосѣдямъ для пустой охотничьей забавы топтать крестьянскія озимы, травить овецъ собаками и палить лѣсъ отъ ночлеговъ [„Поволжскіе разбойники“ (1834—36)]. Въ повѣсти „Испытаніе“ (1830) онъ не могъ налюбоваться гвардейскимъ офицеромъ, который втайнѣ дѣлалъ пожертвованія для улучшенія участи своихъ крестьянъ, перешедшихъ къ нему, какъ большая часть господскихъ крестьянъ, полуразоренными и полуиспорченными въ нравственности. Этотъ свѣтскій человѣкъ понималъ, что нельзя „чужими руками и наемной головой устроить, просвѣтить, обогатить крестьянъ своихъ, и

рѣшился уѣхать въ деревню, чтобы упрочить благосостояніе нѣсколькихъ тысячъ себѣ подобныхъ, разоренныхъ барскимъ не-ра-дѣніемъ, хищностью управителей и собственнымъ невѣжествомъ*.

Такіе гуманные взгляды вмѣстѣ съ желаніемъ сказать всегда хорошее о своей родинѣ, должны были производить впечатлѣніе на читателя того времени, который въ большинствѣ случаевъ былъ тогда очень щепетильнымъ и сентиментальнымъ патриотомъ.

И только слѣпой патриотъ могъ о Марлинскомъ сказать такъ, какъ однажды, осыпая своего соперника несправедливой руганью*), выразился Загоскинъ: „Марлинскій — этотъ безусловный обожатель Запада и всѣхъ его мерзостей“. Мы видѣли, какихъ душевныхъ тревогъ стоила нашему писателю его любовь къ родинѣ. Какая западная мерзость въ ней гнѣздилась—неизвѣстно, но что Марлинскій заставилъ читателя полюбить своего меньшого брата—крестьянина и солдата,—это вѣтъ сомнѣнія.

Наконецъ, должно упомянуть и еще объ одномъ порядкѣ чувствъ и ощущеній, которыя, быть можетъ, больше чѣмъ какія-либо иныя были выдвинуты на первый планъ во всѣхъ повѣстяхъ нашего автора. Они, конечно, всего больше способствовали его успѣху у средней публики. Это—любовная горячка во всѣхъ ея видахъ, начиная отъ томной теплоты чувства, кончая все испепеляющимъ пожаромъ.

На характеристикѣ этой стороны темперамента нашего писателя можно было бы и не останавливаться, тѣмъ болѣе, что изъ разсказа объ его жизни, а также изъ разбора его сочиненій видно съ достаточной ясностью, какую роль играло это чувство въ его міросозерцаніи и настроеніи. Если мы заговоримъ о немъ, то только затѣмъ, чтобы оградить писателя отъ нѣкоторыхъ нападковъ на его искренность.

Критики, осуждавшіе его за неискреннюю декламацію и за пристрастіе къ фразѣ, указывали всего чаще на тѣ страницы его сочиненій, на которыхъ онъ старался читателю передать силу охватившей его любовной страсти. Въ погонѣ за „огненнымъ нарѣчіемъ страсти“ Марлинскій, дѣйствительно, повышалъ иногда свою рѣчь до комической вычурности. Тутъ была и „голубица, утомленная полетомъ въ небо“, и „кровь, которая лилась въ жилахъ, какъ густое вино Токая“, тутъ и „молнія плавила страсти любовниковъ въ одно недѣлимое“ и „мысль какъ ласточка закрадывалась въ домъ кролика чувства“; „очарованный кругъ прелести горѣлъ вѣнчикомъ святыни“, „лава прожигала снѣгъ“, „падучія звѣзды крестили въ глазахъ“ и „громко бились всѣ пульсы“, и вообще было много словесной мишуры,

*) Въ письмѣ, напечатанномъ въ журналѣ «Маякъ» за 1840 г.

которая любому критику представляла очень удобную мишень для ударовъ. Писатель нерѣдко заговаривался, готовъ былъ „потонуть въ пламени любви и землекрушенія“, лепеталъ безсвязныя рѣчи изъ однихъ подлежащихъ безъ сказуемыхъ или наоборотъ, пускался въ дебри чисто словесной метафизики, выводилъ формулы для всемірной любви, и вообще смѣшилъ или сердилъ читателя, оставаясь самъ необычайно серьезнымъ.

Но если бы читатель постарался усвоить себѣ ту серьезность, которую не хотѣлъ замѣтить въ авторѣ, то онъ могъ бы найти иной разъ и довольно любопытное содержаніе въ этихъ кудрявыхъ словахъ, хотя бы напр. въ такомъ разсужденіи: „пусть кто хочетъ говорить, что любовь есть безуміе,—философствовалъ нашъ авторъ,—по моему въ ней таится искра высокой премудрости. Въ ней мы испытываемъ по чувству то, къ чему приводитъ насъ въ послѣдствіи философія по убѣжденію. Какимъ благороднымъ довѣріемъ, какою чистою добротою бываемъ мы тогда переполнены! Разница только въ томъ, что философія исторгаетъ человѣка изъ общей жизни и, какъ побѣдителя, возвышаетъ надъ природою, а любовь, побѣждая его частную свободу, сливается его съ природою, которую онъ, одушевляя, возвышаетъ до себя. Сладостны созерцанія и мудреца и любовника, хотя ощущенія послѣдняго живѣе, а понятія перваго явственнѣе. Любовникъ, кажется, внемлетъ сердцемъ бытію жизни во всемъ твореніи, гармоніи блага во всемъ творимомъ. Передъ умственными взорами другого разсвѣтаютъ мрачныя бездны, развивается свитокъ судьбы міровъ и народовъ. Только это двойное созерцаніе даетъ человѣку вполне насладиться своимъ совершенствомъ, то въ самозабвеніи, то въ забвеніи всѣхъ золъ его окружающихъ“.

Кто имѣлъ случай читать Жуффруа, Дежерандо [или Кузена, того не удивитъ такая попытка „оправданія“ любви.

Марлинскій вообще много думалъ надъ этимъ чувствомъ, которое, какъ съ перваго взгляда кажется, владѣло имъ безсознательно, и потому его неистовая рѣчь прерывалась нерѣдко очень тонкими психологическими наблюденіями и замѣтками. Онъ хорошо зналъ психологію любви и могъ сказать, что любовь была для него не „одно сердце, не одна душа, но самъ онъ весь: его мысль, его свѣтъ, его жизнь“.

Въ одномъ частномъ письмѣ онъ признавался „что съ девятнадцатилѣтняго возраста любовь была маятникомъ всѣхъ его занятій, что она подстрекала и удерживала его на пути познаній“. „Сколько времени бросилъ я на кормъ своему несчастному сердцу,—говорилъ онъ,—болѣе пылкій чѣмъ постоянный, и можетъ быть, болѣе сладострастный чѣмъ нѣжный, я губилъ годы въ волокитствѣ, почти всегда счастливомъ, но рѣдко дававшемъ мнѣ счастье. Моя безумная, бѣшенная страсть палила женщинъ какъ соломѣ и нерѣдко также быстро прогорала. ...Я стыдился моихъ идоловъ. На бѣду

мою изъ всѣхъ тѣхъ, которыя владѣли моими мыслями, не было ни одной, которая бы могла оцѣнить мои дарованія и потребовать отъ меня цѣльнаго, создать или, такъ сказать, вылѣпить изъ меня что-нибудь гениальное; любила-ли хоть одна изъ нихъ мой умъ болѣе моей особы, мою славу болѣе своего наслажденія?“ *).

Для читателя эта интимная грустная и очень любопытная деталь сердечной жизни Марлинскаго оставалась, конечно, тайной. Всѣ, кто слушалъ его говорящимъ о любви, были увлечены стремительнымъ потокомъ его „огненной рѣчи“ и не улыбались, какъ улыбаемся теперь мы; и они были правы, потому что, какъ бы ни была въ данномъ случаѣ вычурна рѣчь Марлинскаго, она была не наборомъ пустыхъ словъ, а лишь несдержаннымъ отзвукомъ дѣйствительно сильнаго чувства.

И сколько было въ свое время молодыхъ людей, которые въ минуту душевнаго подъема очеркивали на поляхъ сочиненій Марлинскаго всѣ неистовыя его тирады, или въ минуту грусти перечитывали такія, мало кому теперь извѣстныя, строки:

Скажите мнѣ, зачѣмъ пылаютъ розы
Эфирною душою, по веснѣ,
И мотылька на утреннія слезы
Манятъ, зовутъ привѣтливо онѣ?

Скажите мнѣ!

Скажите мнѣ, не звуки-ль поцѣлуд
Даютъ свою гармонію волнѣ?
И соловей, плѣнительно тоскуя,
О чемъ поетъ во мглѣ и тишинѣ?

Скажите мнѣ!

Скажите мнѣ, зачѣмъ такъ сердце бьется,
И чудное мнѣ видится во снѣ:
То грусть по мнѣ холодная прольется,
То я горю въ томительномъ огнѣ?

Скажите мнѣ!

ИЛИ—

Я за моремъ синимъ, за синею далью
Сердце свое скоронилъ,
Я тоской о быломъ ледовитой печалью,
Словно двойной нерушимою сталью,
Грудь отъ людей заградилъ.
И крѣпокъ мой сонъ. Не разбить, не расколоть
Щитъ мой. Но во мракѣ ночей
Мнится порой, растопился мой холодъ—
И снова я ожилъ, и снова я молодъ
Взглядомъ прелестныхъ очей.

*) «Письма Бестужева къ Н. и К. Полевымъ» «Русское Обозрѣніе». 1894. X, 821.

XX.

Много смѣлыхъ мыслей, молодыхъ, сильныхъ и добрыхъ чувствъ будилъ въ своихъ читателяхъ Марлинскій—и только этимъ и можно объяснить его успѣхъ, не вполне оправданный художественной стоимостью его сочиненій.

Отводя этимъ сочиненіямъ скромное мѣсто въ исторіи нашей словесности, мы не будемъ забывать объ условіяхъ, въ которыхъ они были созданы. Они въ своемъ развитіи были такъ же не-свободны, какъ несвободенъ былъ ихъ авторъ, который къ тому же умеръ въ самый расцвѣтъ своихъ духовныхъ силъ. Сказать-ли онъ все, что могъ сказать, и пришла-ли смерть къ нему вовремя? Если вѣрить ему, то—да. Но можно-ли безусловно довѣрять словамъ человѣка, который уставалъ стоять подъ пулей, ожидая своей очереди?

Въ общемъ разочарованный взглядъ на свое творчество, котораго придерживался Марлинскій, и неоднократно высказанное имъ желаніе смерти находятъ свою поправку въ иныхъ словахъ, сказанныхъ имъ быть можетъ въ самыя печальныя, но болѣе спокойныя минуты. Онъ понималъ, какъ мы теперь, что все, что имъ создано, есть лишь обѣщаніе и намекъ, по которымъ нельзя судить о затаенныхъ въ немъ силахъ.

Онъ понималъ это, но только становилось ли ему легче отъ такого сознанія?

„Печальны всѣ эти образы, повиты крепомъ и кипарисомъ. Для меня вчера и завтра—два тяжкіе жернова, дробящіе мое сердце. И скоро, скоро это бѣдное сердце распадется прахомъ: я это предчувствую. Заснуть навѣкъ, умереть? такъ что же! Сейчасъ приди за мной смерть, и я подамъ ей руку съ привѣтомъ... Обнаженная жизнь моя такой же остовъ, какъ она сама; живой я свылся уже съ ночью и съ сыростью могилы“ [„Онъ былъ убитъ“].

„Итакъ, я долженъ умереть,—умереть неизбежно... въ цвѣтѣ лѣтъ, въ расцвѣтѣ надеждъ моихъ! Ужасно! И эта рука, для которой тяжелая сабля была легка какъ перо—черезъ день не въ силахъ будетъ сбросить могильнаго червяка; о, мое сердце! неужели и оно распадется прахомъ? Неужели пламень, его оживлявшій, погаснетъ въ тлѣніи? Неужели гробовой гвоздь можетъ прибить къ гробу духъ мой, а всемогущая могила заклепать навѣки мои мысли? Ужели голова моя, это поле-океанъ, на которомъ носились онѣ, станетъ имъ гробомъ и свѣтъ не услышитъ высокихъ пѣсень, звучавшихъ только для моего слуха, и люди не наследуютъ торжественныхъ глаголовъ, которые такъ долго хранилъ

я въ себѣ, и лепѣялъ и растилъ невысказанные?.. Никто, ничто не угадаетъ мыслей моихъ, не повторитъ ихъ! На землѣ нѣтъ эха моей душѣ, нѣтъ слѣда! Я умру, весь умру, я поглощенъ буду смертію, я, который могъ мечту воображенія, грезу своего сна облечь жизнію!..“ [„Журналъ Вадимова“].

Н. Котляревскій.

НВ. Значеніе Марлинскаго, какъ критика и публициста, будетъ выяснено въ особой статьѣ.

ТЕМНЫЯ НОЧИ.

I.

Темныя, грустныя ночи настали!
Вѣтеръ сквозь слезы поетъ заунывно,
Будто кто плачетъ всю ночь непрерывно
Въ пѣсняхъ осенней печали.
Будто стучить кто-то въ стекла тревожно,
Бродить по старому дому...
Все невозможное сердцу больному
Кажется снова возможно!
Тянется сумракъ тяжелый, угрюмый,
Утро далѣко-далѣко...
Какъ-то удастся душѣ одинокой
Справиться съ темною думой?

II.

Тоска сдавила душу мнѣ—
И смотреть: гдѣ бы ей
Сильнѣе, глубже и больнѣй
Ужалить въ тишинѣ?..

И въ сердцѣ свѣтлый уголокъ
Нетронутый нашла
И ядомъ смерти облила
Мечты моей цвѣтокъ!

Г. Галина.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

Разсказы М. Прево.

Переводъ съ французскаго Е. И. Саблиной.

I.

Итальяночка.

Въ дѣтствѣ я былъ очень благочестивъ. Я просто констатирую фактъ, а вовсе не хочу сказать, что сталъ въ зрѣлыхъ годахъ невѣрующимъ. Но дѣло не въ томъ. Большіе праздники, и теперь навѣвающіе на меня умиленіе, въ раннихъ годахъ дѣйствовали на меня возбуждающимъ образомъ, манили на какой-нибудь подвигъ, внушали желаніе принести какую-нибудь жертву, сдѣлать что-нибудь угодное Богу. Къ празднику я всегда старался искренно очистить свою совѣсть отъ грѣховъ, приблизиться къ совершенству. Теперь—говоря церковнымъ языкомъ—я полонъ сознаніемъ своей грѣховности и порочности, но уже не стараюсь приближаться къ совершенству и чувствую, что полный миръ со своей совѣстью недостижимъ.

До десятилѣтняго возраста я жилъ съ родителями въ улицѣ Понтье, въ Елисейскихъ поляхъ. Домъ уцѣлѣлъ до сихъ поръ. Иногда я дѣлаю крюкъ, чтобы пройти мимо него, бросить взглядъ на знакомый фасадъ и старое крыльцо, съ котораго я, бывало, сходилъ, держа за руку мать или няньку; съ самаго дѣтства женская рука водить насъ, такъ, вѣрно, законъ.

Мы жили въ первомъ этажѣ. Квартира наша была хорошенькая; съ одной стороны окна выходили на улицу, съ другой въ садикъ, гдѣ росли довольно густыя деревья, но, къ сожалѣнію, окруженныя высокой оградой. Внутрь дома и сада я никогда больше не войду; боюсь спугнуть милыя тѣни, которыя обитаютъ тамъ: моихъ родителей, меня ребенкомъ и Долоресы, моей маленькой пріятельницы...

Ей шель двѣнадцатый годъ (а мнѣ было девять),—когда она, съ матерью и двумя служанками, переѣхала въ улицу Понтъе и заняла квартиру во второмъ этажѣ, какъ разъ надъ нами. Кажется, мать ея была красива собой. У меня осталось въ воспоминаніи, что отъ нея сильно пахло мускусомъ, а волосы изъ-подъ шляпы виднѣлись золотые; масса черныхъ кружевъ и желтыхъ лентъ. Поражали меня въ особенности ея волосы, такого страннаго, яркаго цвѣта; познакомившись съ Долоресой, я не преминулъ освѣдомиться:

— Волосы у твоей мамы настоящіе?

Долореса была премиленькая смуглянка, съ вьющимися отъ природы локонами и черными, какъ сливы, глазами. Ея бронзовая кожа вспыхнула.

— Дуракъ!—сказала она, — конечно, настоящіе! Какіе-же еще? И они у нея длиннѣе колѣнъ, вотъ какіе! Только она ихъ обезцвѣчиваетъ такой водой... очень дорогой водой... Твоя мама не употребляетъ эту воду, потому что это слишкомъ дорого.

Мнѣ показалось немножко обиднымъ, что сосѣдка намекнула на нашу бѣдность, сравнительно съ ними; но я подумалъ также про себя, что было бы ужасно жалко, если бы моя мама вздумала обезцвѣчивать свои каштановые волосы какой-то дорогой водой.

Все эти разговоры и послѣдующіе между мной и Долоресой происходили въ Елисейскихъ поляхъ, гдѣ моя няня познакомилась съ мулаткой, ходившей за Долоресой. Дома я подробно рассказывалъ, какъ мы съ итальянчочкой гуляли, о чемъ съ ней говорили, какъ играли. Кончилось тѣмъ, что я сообщилъ родителямъ, что мы рѣшили пожениться съ Долоресой, когда вырастемъ; правда, невѣста была на два года старше меня, но она мнѣ объяснила, что это пустяки, что между „большими“ два года разницы ровно ничего не значать.

Я долженъ сознаться, что мои родные не придали значенія нашей помолвкѣ. Отецъ сказалъ только:

— Мнѣ не особенно пріятно это знакомство дѣтей.

Но мама снисходительно замѣтила:

— Дѣвочка еще такъ мала... Марья говоритъ, что она очень миленькая.

Марья,—моя няня,—пятидесятилѣтняя гасконка, пользовалась полнымъ довѣріемъ моей матери.

Съ этой минуты я сталъ прислушиваться къ отзывамъ „большихъ“ о дамѣ съ желтыми волосами и узналъ, такимъ образомъ, что (не взирая на богатство, о которомъ упоминала Долореса) за квартиру она платила не слишкомъ аккуратно, такъ же какъ и поставщикамъ; затѣмъ, что многіе

жильцы были недовольны и выражали претензію (почему, мнѣ не объяснили),—но что привратникъ, получавшій постоянныя подачки, горой стоялъ за итальянку и выгораживалъ ее передъ домовладѣльцемъ. Кромѣ того, я сдѣлалъ кое-какія и личныя наблюденія. Окно нашей столовой выходило во дворъ; я частенько, приплюснувъ носъ къ стеклу, слѣдить за приходившими и уходившими и замѣтилъ трехъ мужчинъ. Одинъ, съ почтенной сѣдой бородой, пріѣзжалъ въ своемъ экипажѣ ежедневно въ пять часовъ. Другой—лѣтъ его я не понималъ,—являлся послѣ полудня: онъ отличался высокимъ ростомъ, бритымъ лицомъ и казался мнѣ рѣзкимъ и энергичнымъ. Третій, вѣроятно, итальянецъ, цвѣтомъ лица напоминалъ незрѣлый лимонъ, а волосами—ваксу; кромѣ того, они круто вились, коротенькими кольцами. Вѣроятно, благодаря чистѣйшей случайности, господа эти никогда не встрѣчались у матери Долоресы: уйдетъ одинъ, пріѣдетъ другой и исчезнетъ до появленія третьяго.

Я, конечно, спросилъ Долоресу, друзья-ли ея матери эти три господина. Дѣвочка пристально взглянула мнѣ въ глаза своими черными углями и отвѣтила, стараясь говорить увѣренно:

— Да. Старикъ — это мой крестный отецъ. Онъ очень добрый. Я его люблю. Бритый—это американецъ. Очень хороший. Мы познакомились съ нимъ въ прошломъ году, въ Кобургѣ.

— А черномазый, кудрявый?

— Это маминъ кузень.

— Твоя мама съ дамами не знакома?

И въ этотъ разъ смуглыя щеки Долоресы вспыхнули.

— Нѣтъ. Мама говоритъ, что женщины злы. И потомъ, знаешь что?—ты мнѣ надоѣлъ...

Съ тѣхъ поръ я избѣгалъ говорить о знакомыхъ матери Долоресы. Съ дѣвочкой мы были дружны, не смотря на ея взбалмошный характеръ.

Наступилъ декабрь. Грязный столичный снѣгъ покрывалъ улицы и сады. Разъ утромъ отецъ мой встрѣтилъ во дворѣ Долоресу съ мулаткой. Дѣвочка привѣтливо улыбнулась; отецъ мой заговорилъ съ нею, поцѣловалъ ее въ смуглую щечку и вечеромъ, за обѣдомъ, сказалъ при мнѣ:

— Марья права. Маленькая Долореса прелестна и держитъ себя прилично. Какая жалость, что нельзя вырвать ее изъ этой среды!

— Да,—согласилась мама,—ужасно жаль... Подумать, что ее ожидаетъ!.. Лѣтъ черезъ пять будетъ взрослой дѣвушкой!..

Послѣ нѣкотораго молчанія, отецъ заключилъ такъ:

— Хорошо бы учредить „Общество“ для спасенія такихъ малютокъ. Достойная была бы цѣль, истинно христіанская...

Больше при мнѣ ничего не сказали. Конечно, я не многое понялъ изъ этого. Но дѣтскій умъ объясняетъ вещи по своему, понимая отвѣты на свои вопросы буквально. Я спросилъ Марью, няньку, почему хорошо бы было вырвать Долоресу изъ ея среды? Марья вздохнула и отвѣчала:

— Потому что мать ея не порядочная женщина... Безпорядокъ у нея. Принимаетъ всякихъ...

Я вполне удовлетворился подобнымъ объясненіемъ и съ этой минуты цѣлый планъ родился и созрѣлъ въ моей дѣтской головѣ.

Надвигавшійся праздникъ, какъ и всегда, пробуждалъ во мнѣ страстное желаніе отъ чего-то исправиться, исполнить какой-нибудь долгъ, принести жертву. Не сказалъ-ли самъ отецъ, что спасти Долоресу было бы истинно-христіанскимъ подвигомъ?.. Вѣрно само провидѣніе предназначило меня исполнить этотъ подвигъ!

Мы ежегодно ѣздили на праздники Рождества въ имѣніе бабушки.

Вопросъ о томъ, согласна-ли будетъ бабушка принять Долоресу, ни разу не пришелъ мнѣ въ голову; бабушка любила и баловала меня сверхъ мѣры; странно было бы не принять мою пріятельницу!

Пусть Долореса живетъ себѣ въ Lot-et-Garonne до самаго того дня, когда я женюсь на ней, чего проще?! Ни ея желтоволосой матери, ни друзьямъ ея не придетъ въ умъ искать ее тамъ! Проектъ этотъ, — не доказывающій моего знанія обычаевъ и законовъ, — казался мнѣ заманчивымъ не потому только, что „вырывалъ Долоресу изъ среды ея“, но и потому еще, что требовалъ отъ меня жертвы. Я лишился общества моей пріятельницы, за исключеніемъ большихъ праздниковъ; сердце мое заранѣе сжималось отъ боли и еще отъ какого-то чувства, не лишеннаго прелести. На лицѣ у меня было написано геройское самоотреченіе, и я съ сожалѣніемъ смотрѣлъ на людей, которые не знаютъ и не понимаютъ радостей этого чувства. Но и этого показалось мнѣ мало: духъ великодушія обуялъ меня. Личное состояніе мое равнялось сорока семи франкамъ, которые я долго копилъ, намѣреваясь купить ружье, когда мнѣ разрѣшатъ стрѣлять въ воробьевъ у бабушки. Я рѣшилъ отдать эту сумму Долоресѣ на путевыя издержки: вѣдь она должна уѣхать потихоньку отъ матери!

Съ этой минуты я вообразилъ себя близкимъ къ совершенству, тѣмъ юношей въ притчѣ, который могъ бы послѣдовать совѣту Христа и раздать свое имущество.

Со временемъ я пришелъ къ заключенію, что не одни дѣти грѣшатъ самомнѣніемъ и свои хорошія побужденія раздуваютъ въ христіанскія добродѣтели... Не то-ли же самое бываетъ съ иными филантропами?..

За нѣсколько дней до праздниковъ я рѣшилъ сообщить мой планъ Долоресѣ. Зима въ тотъ годъ стояла суровая. Няни повели насъ въ Булонекій лѣсъ, гдѣ устраивались катки на льду. На берегу верхняго озера произошло объясненіе.

Долореса выслушала мое предложеніе съ видомъ задумчивой, хорошенькой мартышки.

— Такъ твоя бабушка приглашаетъ меня къ себѣ?—спросила она.

— То есть не она, а я приглашаю тебя къ ней!—поправилъ я внушительно.—Это все равно. А на дорогу возьми себѣ сорокъ семь франковъ. Это мои собственныя деньги. Я копилъ на покупку ружья. Хотѣлъ стрѣлять тамъ воробьевъ и другихъ птицъ...

Она поспѣшно схватила двѣ золотыхъ монеты и мелочь, поглядѣла на нихъ, спрятала въ карманъ.

— Благодарю!

Она поцѣловала меня и освѣдомилась:

— И я буду гостить тамъ столько же, сколько и ты?

— Ты жить тамъ будешь, всегда... До того дня, какъ мы женимся.

— Ты сума сошелъ! Мама не позволитъ.

Не смѣя глядѣть ей прямо въ глаза, я пробормоталъ:

— Мама твоя ничего не должна знать... Ты ей не говори... Уѣзжай вечеромъ, послѣ насъ... пока она занимается съ сѣдымъ старикомъ... Ты ее никогда больше не увидишь.

Мы шли одни по аллеякъ къ озеру. Мерзлая земля, усыпанная инеемъ съ сосѣднихъ кустовъ, пробивающіеся наружу корни какого-то дерева—все это я какъ сейчасъ вижу,—такъ же какъ и маленькіе ботинки Долоресы, на которые я устремилъ глаза въ смущеніи. Не получая долго отвѣта, я рѣшился, наконецъ, поднять глаза на мою пріятельницу.

Я увидалъ злобное лицо взбѣшеннаго дикаго звѣрька... Она стиснула зубы, сжала кулаки, готовая кусаться, царапаться.

— Долореса!—вымолвилъ я.

— Если когда-нибудь...—начала она, обрываясь и захлебываясь,—если когда-нибудь... ты посмѣешь повторить... то, что ты сказалъ... я тебя... я тебя...

Она не могла закончить и разразилась горячими сле-

зами,—при чемъ довѣрчиво, дружески спрятала лицо свое на моемъ плечѣ.

Черезъ два дня я съ родителями уѣхалъ въ имѣніе бабушки.

Между мной и Долоресой не было больше разговору о прежнихъ планахъ. Только на другой день она просто сказала мнѣ:

— На твои сорокъ семь франковъ я куплю себѣ большой брилліантъ. Я видѣла въ магазинѣ. Конечно, поддѣльный,—настоящій слишкомъ дорогъ.

Разстались мы съ обѣщаніемъ писать другъ другу. Я написалъ ей,—но отвѣта не получилъ. Праздники я провелъ не совсѣмъ весело; думалъ о моей пріятельницѣ и просилъ Бога спасти ее отъ смутныхъ опасностей... Когда мы вернулись въ Парижъ, въ концѣ января,—квартира во второмъ этажѣ надъ нами была пуста; Долореса съ матерью и двумя служанками уѣхала. Вѣроятно, привратникъ, недовольный подачками, пересталъ оказывать имъ протекцію у домовладѣльца, и имъ отказали отъ квартиры.

Я горько плакалъ. Мама старалась утѣшить меня.

Въ волненіи я выдалъ ей тайну моихъ проектовъ касательно бѣгства Долоресы отъ матери... Она немножко посмѣялась, но съ нѣжностью поцѣловала меня, словно одобряя.

— А гдѣ-же твой капиталъ?—спросила она.

— Долореса хотѣла купить на эти деньги большой брилліантъ. Поддѣльный, конечно...

Мама задумалась, вздохнула и сказала:

— Бѣдная дѣвочка!

II.

Ж о р ж ъ.

— Да, вы правы!—сказалъ докторъ Ноль, извѣстный специалистъ по нервнымъ болѣзнямъ,—вы правы. Мнѣ сегодня не весело. Я присутствовалъ при развязкѣ одного парижскаго приключенія, интимной драмы съ тремя дѣйствующими лицами, одно изъ которыхъ попало, какъ курица во щи... Развязка была такъ неожиданна и ужасна, что испортила все мое настроеніе. Что подѣлаешь, другъ мой! Полжизни возиться съ психопатами и сумасшедшими, а въ сердцѣ все остается уголокъ чувствительный, который нѣтъ—нѣтъ да и взбудоражить весь внутренній міръ! Выслушайте, я расскажу вамъ эту исторію... Ощущаю потребность высказаться.

Не думаю, чтобы вы часто посѣщали кокотокъ,—гори-

зонталокъ, какъ говорятъ теперь, если еще не придумано новаго прозвища; но, конечно, знаете, хоть по наслышкѣ, Лауру Гардингъ, „маленькую“ Лауру, рыжую куколку, словно вылитую изъ саксонскаго фарфора, съ дѣтскимъ личикомъ, съ жестами нервными, нетерпѣливыми, капризными. Ее всегда можно видѣть въ Лѣсу, въ театрѣ на первыхъ представленіяхъ, на скачкахъ. Вы, вѣроятно, слышали также, что среди толпы мужчинъ, продефилировавшихъ черезъ ея спальню, особенно указываютъ на двоихъ: одного извѣстнаго живописца и русскаго князя. Послѣдній играетъ роль въ разыгравшейся драмѣ.

Между посѣтителями Лауры, одинъ оставилъ ей вещественное воспоминаніе иного сорта чѣмъ цвѣты, деньги, брилліанты,—сына.

Это было давно. Мало кто зналъ объ этомъ, а кто и зналъ, такъ забылъ. Лаура Гардингъ была матерью, лѣтъ въ двадцать или раньше того. Избавившись отъ беременности и выздоровѣвъ послѣ родовъ, она поручила ребенка мнѣ. Я отдалъ мальчика въ нормандскую деревню, кормилицѣ, женщинѣ добросовѣстной и зажиточной. Семья кормилицы полюбила маленькаго Жоржа. Время отъ времени, такъ сказать съ налету, подъ влияніемъ прочитаннаго романа или видѣнной драмы, легкомысленная Лаура проникалась материнскою любовью, срывалась съ мѣста, ѣхала въ Нормандію, падала, словно аэролитъ, въ мирную семью, гдѣ росъ ея сынъ, безумно цѣловала его, осыпала золотомъ... и уѣзжала. Роль матери скоро надоедала ей и по цѣлымъ мѣсяцамъ она не вспоминала о существованіи Жоржа.

Когда мальчику исполнилось девять лѣтъ, я счелъ долгомъ напомнить Лаурѣ, что пора бы научить Жоржа чему-нибудь побольше, чѣмъ читать, писать и играть въ кегли. Я предложилъ помѣстить его въ гимназію, въ Парижѣ. Здѣсь, думалъ я, онъ узнаетъ, чей онъ сынъ, свыкнется съ этой мыслью и самъ проложитъ себѣ дорогу... Не тутъ-то было! Лаура и слышать не хотѣла объ гимназіи. Это слишкомъ демократическое заведеніе...

— Въ гимназію, докторъ? Да что вы? Онъ учился бы тамъ вмѣстѣ съ дѣтьми моего сапожника и швейцара!.. Вышелъ бы, не умѣя поклониться женщинѣ и держать себя за обѣдомъ. Нѣтъ, нѣтъ! Жоржъ будетъ учиться у іезуитовъ. Святые отцы одни, повѣрьте мнѣ, умѣютъ вылѣпить изъ мальчика джентльмэна!

И отправили Жоржа на Джерсей, гдѣ святые отцы основали школу, послѣ того какъ ихъ выгнали изъ Франціи. Приняли его не безъ труда и съ непремѣннымъ условіемъ

ни разу не брать его въ Парижъ, до полнаго окончанія курса.

Мать съѣздила на островъ одинъ разъ, ужасно страдала отъ морской болѣзни и повторить путешествіе не рѣшилась.

Въ теченіе пяти лѣтъ Жоржъ учился и былъ на лучшемъ счету въ школѣ. Еженедѣльно писалъ матери длинныя, нѣжныя письма. Она отвѣчала разъ въ два мѣсяца, коротенькой записочкой, гдѣ-нибудь ночью, въ кабинетѣ ресторана, подъ вліяніемъ кризиса чувствительности, вызваннаго лишней выпивкой или новымъ счастливымъ мгновеніемъ.

Но вотъ полгода тому назадъ, Лаура получила отъ ректора слѣдующее письмо:

„Милостивая Государыня!

Вашъ Жоржъ блестяще кончилъ полный курсъ наукъ. Онъ долженъ выбрать себѣ карьеру. Ему хочется поступить въ военную службу. Если вамъ угодно, мы примемъ его въ военное училище, въ улицѣ Ломонъ. Вамъ надлежитъ рѣшить его судьбу. Наша роль пока кончена, и мы просимъ васъ принять милаго юношу, покидающаго насъ черезъ недѣлю.

Имѣю честь быть Вашимъ покорнымъ слугой

Клементъ. Ректоръ“.

Письмо, разумѣется, застало Лауру врасплохъ. Гдѣ ей было думать о сынѣ и о его карьерѣ! Въ письмѣ ректора она не поняла цѣли іезуитовъ: чтобы Жоржъ, котораго они, дѣйствительно, очень полюбили, самъ узналъ социальное положеніе своей матери и, сообразуясь съ этимъ, выбралъ бы себѣ карьеру. Мысли Лауры, какъ и всегда, скользили поверхностно, ни на чемъ не останавливаясь подолгу. Въ данномъ случаѣ, она ухватилась за приготовленіе комнаты для пріѣзда сына, выбрала самую удобную и веселенькую, меблировала и отдѣлала ее, какъ уютное гнѣздышко,—и порѣшила, что въ этомъ вся суть. Нѣсколько дней спустя Жоржъ пріѣхалъ. О, какой это былъ милый, сердечный, хорошій юноша! И странное дѣло: мать свою, которая почти бросила его на произволъ судьбы,—онъ просто боготворилъ. Онъ выказывалъ столько нѣжности, уваженія и восхищенія, что даже она, эта куколка съ птичьими мозгами, казалась тронутой до глубины души. Въ теченіе двухъ недѣль она буквально была безъ ума отъ сына, всюду брала его съ собой, въ ложу театра, въ коляску на прогулку, на скачки. Главный содержатель, князь, отошелъ на задній планъ; его строго попросили не являться нѣкоторое время иначе, какъ съ дневнымъ визитомъ. Лаура, потихоньку отъ сына, ѣздила иногда на свиданіе съ любовникомъ. Вотъ до чего дѣло доходило! Жоржъ-же, наивная душа, не находилъ

въ окружающемъ ничего страннаго и буквально ни о чемъ не догадывался. О реальностяхъ любви онъ ничего не зналъ и былъ абсолютно чистъ и душой, и тѣломъ!

Однако, Лаура, натѣшившись своей новой ролью мамы, скоро соскучилась. Она понемногу начала сбрасывать съ себя стѣснительныя цѣпи, которыя въ началѣ съ такимъ азартомъ сама же на себя наложила ради сына. Днемъ стали появляться любовники и держали себя смѣлѣе; по вечерамъ поѣздки за городъ, ужины въ кабакахъ, кутежи... Жоржъ грустилъ, что мать все чаще и чаще уѣзжаетъ безъ него, но всетаки ни о чемъ не догадывался. Глаза его защищены были непроницаемой завѣсой невинности, которую сдвинуть было не такъ-то легко.

И вотъ третьяго дня, Лаура, напившись шампанскаго и, по всей вѣроятности, позабывъ совершенно о пребываніи въ ея домѣ бѣднаго Жоржа, вернулась къ себѣ въ сопровожденіи князя, который, должно-быть, не прочь былъ прекратить комедію сдержанности. Тѣмъ не менѣе, входя въ спальню, Лаура вспомнила о сынѣ и приказала любовнику не шумѣть. Комната юноши находилась какъ разъ надъ ея спальней.

Но между Лаурой и сожителемъ произошла какая-то ссора; оба были пьяны, а князь, къ тому же, необузданъ до бѣшенства; въ ярости онъ не помнилъ себя и имѣлъ обыкновеніе хватать первое, что попадалось подъ руку, швырять объ полъ, бить, колотъ, орать не своимъ голосомъ. Изругавъ свою возлюбленную на чемъ свѣтъ стоитъ, онъ схватилъ фарфоровую вазу съ цвѣткомъ и запустилъ ее въ простѣночное зеркало. Громъ и трескъ невообразимые. Но прислуга была привычная къ нравамъ и обычаямъ барина, и на мѣсто побоища никто не отважился явиться... никто, кромѣ перепуганнаго Жоржа. Онъ отворилъ дверь материнской спальни и остановился на порогѣ, какъ окаменѣлый, не вѣря своимъ глазамъ. Полураздѣтые, князь и Лаура, инстинктивно бросились на кровать. Произошла страшная нѣмая сцена: всѣ трое глядѣли другъ на друга испуганными, недоумѣвающими глазами... Наконецъ, Лаура, съ которой отъ страха соскочилъ хмель, ласково начала журить сына:

— Ступай, Жоржъ... Не надо въ такой часъ приходить ко мнѣ... Это неприлично, дитя мое... Иди, ложись, мила моя... Иди, иди скорѣй!..

Но юноша, указавъ пальцемъ на князя, сказалъ:

— А онъ что здѣсь дѣлаетъ въ такой часъ?

Лаура легонько подтолкнула его за дверь.

— Я ему позволила, онъ и пришелъ... Не обращай на

это вниманія, дитя мое... Ступай, ложись и больше не приходи.

Юноша опустил голову и повиновался. Онъ ушелъ къ себѣ.

Что пережила за эту ночь чистая душа мальчика? Путемъ-ли откровенія или разсудкомъ постигъ онъ, что такое его-мать и что предстоитъ ея сыну? Никто этого никогда не узнаетъ: секретъ этотъ Жоржъ унесъ съ собой въ могилу.

На другое утро, не видя его за завтракомъ, Лаура пошла къ нему въ комнату: онъ висѣлъ на одной изъ колоннъ монументальной старинной кровати; шнурокъ отъ гардины послужилъ ему веревкой. Лицо было ужъ совсѣмъ черно...

Ударъ былъ слишкомъ силенъ для сердца Лауры Гардингъ. Она долго пролежала безъ чувствъ; сознаніе вернулось, но разсудокъ покинулъ ее навсегда. Я сегодня отпавилъ ее въ Сальпетріеръ...

Вотъ моя исторія... — заключилъ докторъ. — Какъ видите, и веселая, такова, впрочемъ, и жизнь.

III.

Б ю с т ь.

Жеръ долго оставался вѣрнымъ бонапартизму; до послѣдняго времени во многихъ округахъ этого департамента имперьялисты неизмѣнно выдвигали своего депутата, огромнымъ большинствомъ голосовъ устраняя кандидата республиканцевъ. Во многихъ коммунахъ и до сихъ поръ муниципальный совѣтъ состоитъ изъ приверженцевъ Наполеона.

Во время послѣднихъ выборовъ въ Пелугатъ, — Кондомскій округъ, — „реакція“ была подавлена, какъ говорятъ газеты. Переворотъ этотъ случился, благодаря нѣкому Делатушу, мѣстному богачу-промышленнику, имѣвшему связи въ Парижѣ, въ правительственныхъ сферахъ. Его стараніями выхлопотано было пособие для реставраціи церкви, приходившей въ ветхость; министерство народнаго просвѣщенія прислало географическія карты въ Пелугатскую женскую школу; министерство земледѣлія ассигновало сумму въ 500,000 франковъ на мѣстности въ округѣ, пострадавшія отъ града. Все это устроилъ и выхлопоталъ Делатушъ. Пелугатцы придумались. Блескъ наполеоновской звѣзды началъ мало-помалу меркнуть въ ихъ пылкомъ воображеніи. Они мечтали о вѣтви желѣзной дороги на Бордо и Парижъ для выгоднаго сбыта яицъ, цыплятъ, фруктовъ и винъ мѣстнаго производства. Делатушъ и въ этомъ обнадежилъ ихъ, — пусть только выберутъ его мѣромъ.

Его выбрали; а съ нимъ и другихъ приверженцевъ рес-

публики. Въ помощники ему опредѣлили Буржо, каменщика, и трактирщика Никасса,

Мѣстные правительственные органы съ достоинствомъ возвѣстили объ обращеніи Пелугата. Отдавъ отчетъ о выборахъ, листки прибавляли: „Хорошій былъ день для интересовъ республики.“ Реакціонныя газеты выразили сомнѣніе насчетъ искренности обращенія, предполагая, что хитрые пелугатцы, прежде всего и главнымъ образомъ, заботятся о проведеніи завѣтной желѣзнодорожной вѣтви; увѣряя, что первый поѣздъ, вмѣстѣ съ живностью и фруктами, умчитъ ихъ политическія убѣжденія.

Говоря по правдѣ, за исключеніемъ мэра, члены новаго муниципальнаго совѣта не были рьяными приверженцами республиканскаго образа правленія; не любили громко заявлять о своихъ политическихъ мнѣніяхъ; не особенно охотно признавали себя обращенными. Все это довольно ярко обозначилось на первомъ-же собраніи совѣта.

На каминѣ, въ залѣ собранія, красовался бѣлый бюстъ... трудно повѣрить!—Наполеона III... Да, именно его бюстъ.

Онъ какъ-то уцѣлѣлъ четвертаго сентября,—видно, не шокировалъ тайныхъ симпатій обывателей. Затѣмъ, при дѣйствующихъ выборахъ, бюстъ продолжалъ украшать каминъ, подчеркивая политическія мнѣнія пелугатскихъ избирателей. Пелугатъ—скромная деревня въ захолустномъ уголкѣ; туда никогда не заглядывали правительственные чиновники; Наполеонъ продолжалъ незаконнымъ образомъ занимать свое мѣсто,—никто не находилъ этого страннымъ. Двадцать пять лѣтъ послѣ паденія имперіи, лицо съ горбатымъ носомъ, выдающимися скулами, усами въ струнку и эспаньолкой—безмятежно предсѣдательствовало въ собраніи одной изъ общинъ республиканской Франціи.

— Любезные сограждане!—сказалъ Делатушъ, открывъ засѣданіе,—прежде всего необходимо убрать этотъ бюстъ. Это насмѣшка надъ нашими самыми завѣтными убѣжденіями

Кое-гдѣ послышались сдержанныя одобренія... Изгнаніе бюста и ссылка его на чердакъ предались голосованію. Но когда мэръ предложилъ ассигновать нужную сумму для покупки бюста „Республики“,—то наткнулся на неожиданное сопротивленіе.

— Господи! Сто франковъ ухлопать на статую!—воскликнулъ Никассъ,—община наша не богата, сударь!.. Припомните-ка градобитіе...

— Если правительство желаетъ, чтобы на каминѣ у насъ стояла голова „ихъ“ республики, пусть подаритъ ее намъ, да-съ!—связзиль Буржо.

Разсерженный такимъ упрямствомъ и видя, что ихъ не уломать, мэръ кончилъ тѣмъ, что принялъ расходы на себя. Немедленно все засѣданіе возликовало и согласилось. Мэра принялись благодарить и поздравлять; кондомскому супрефекту послали телеграмму, приглашая его на второе воскресенье почтить своимъ присутствіемъ открытіе бюста... Пятнадцать франковъ опредѣлили на иллюминацію площади „Свободы“ и на оркестръ музыки... Немедленно заказанъ былъ бюстъ „Республики“ одной изъ извѣстѣйшихъ мастерскихъ въ Парижѣ.

Засѣданіе окончилось среди общихъ восторговъ и возбужденія. Супрефектъ отвѣтилъ въ тотъ-же день мэру:

„Съ радостью принимаю приглашеніе. Сердечно доволенъ, что, наконецъ-то, добрые жители Пелугата вырваны изъ когтей реакціи“.

Дней пять спустя, мэръ получилъ извѣстіе, что на станцію Габаретъ пришелъ ящикъ съ драгоценной посылкой изъ Парижа. Отъ Пелугата до Габарета тринадцать километровъ. Въ ожиданіи завѣтной линіи,—это ближайшая станція.

Мэръ предложилъ помощникамъ ѣхать съ нимъ, въ его экипажѣ. Они согласились.

На станціи получили длинной формы ящикъ съ надписью „осторожно“ на крышкѣ; совсѣмъ было ужъ собрались положить его въ экипажъ, когда сердобольный начальникъ станціи посоветовалъ мэру вскрыть и провѣрить посылку, такъ какъ нотомъ желѣзная дорога не отвѣчаетъ за содержимое. Можетъ быть, его побудило простое любопытство,—самому хотѣлось взглянуть на бюстъ... Или зналъ онъ, что носильщики не слишкомъ-то нѣжно обращаются съ товаромъ. Какъ бы то ни было, но совѣтъ его былъ принятъ: ящикъ вскрыли.

Глазамъ представился ворохъ стружекъ, мягкой бумаги и мелкихъ гипсовыхъ осколковъ. Бюстъ былъ разбитъ въдребезги. Остался лишь цоколь съ традиціонными буквами „R. F.“ въ лавровыхъ вѣткахъ.

Никассъ ужасно огорчился. Буржо посмѣивался себѣ поднось, нѣсколько утѣшенный неудачей мэра: онъ завидовалъ ему.

Делатушъ остался невозмутимымъ и сказалъ:

— Это ничего не значитъ. Компанія желѣзной дороги отвѣтственна. Господинъ начальникъ, прошу васъ составить протоколъ и принять мое заявленіе.

Съ недѣлю послѣ этого въ Пелугатѣ шли жаркіе споры и разговоры. Бонапартисты радовались. Священникъ, съ кафедры, заявилъ, что это перстъ Божій. Буржо втайнѣ питалъ надежду, что правленіе желѣзной дороги запротестуетъ

и другого бюста не вышлетъ. Но надежды его не осуществились. Изъ Габарета извѣстили, что новая посылка получена.

Снова составъ муниципальных главарей ѣдетъ на станцію; опять вскрываютъ длинный ящикъ, осторожно выгребають стружки, сѣно и бумагу; самъ начальникъ станціи не можетъ удержаться отъ восторженнаго крика. Бѣлый бюстъ величественной фигуры цѣль и невредимъ; смѣлое и гордое лицо „Республики“ обращено къ небу; ноздри ея раздуты, выраженіе высокомерія и энергіи на губахъ; на головѣ фригійскій колпакъ; пеплумъ полураскрытъ на высокой, мощной груди.

— Ишь красавица какая! — восклицаетъ начальникъ станціи.

Делатушъ скромно торжествуетъ. Бюстъ снова тщательно укладываютъ въ ящикъ, везутъ въ Пелугать и водворяютъ въ залъ совѣта.

Но когда мэръ, въ присутствіи всѣхъ членовъ, освободилъ бюстъ отъ сѣна и бумаги,—случилось опять нѣчто непривидѣнное: изъ ящика вынули три куска. Статуя раскололась или во время перевоза со станціи, или была незамѣтна для глаза надтреснута еще раньше. Теперь лицо ея оказалось разломаннымъ на двѣ части и отвалилось отъ шеи.

Неподвижно, молча смотрѣлъ Делатушъ на куски своей „Республики“; она похожа была на слѣпокъ съ жертвы какого-нибудь неслыханнаго преступленія. Что дѣлать? Не возьметъ же на себя вторично убытки желѣзнодорожная компанія! Да и будетъ-ли толкъ отъ третьей посылки? Не лучше-ли отмѣнить торжество и не воздвигать никакихъ эмблемъ? Написать супрефекту... рассказать весь инцидентъ...

Буржо смотрѣлъ тоже и чесалъ затылокъ.

— Коли поручите мнѣ,—сказалъ онъ вдругъ,—я ее, пожалуйста, поправлю...

— Буржо! Неужели? Другъ сердечный!—схватилъ его за руки мэръ.

— Пожалуй! Куски всѣ цѣлы... Я слѣплю ихъ... Залю изнутри мастикой... Приткну палочками... Еще крѣпче прежняго будетъ.

Буржо отдалъ бюстъ. Онъ унесъ его къ себѣ и на другой день принесъ реставрированный. Трещинъ не было замѣтно.

Всѣ члены общины приходили любоваться „Республикой“. Восхищались Делатушемъ, купившимъ ее, и Буржо,—починившимъ на славу. Въ числѣ другихъ приходили и реакціонеры. Свѣжая мастика, налитая внутрь, сильно воняла сѣрой.

— Нехорошо пахнетъ ваша „Республика“!—заявилъ презрительно священникъ.

На слѣдующій день, впрочемъ, запахъ выдохся. Но къ

вечеру обнаружился необычайный феноменъ: лицо и шея статуи покрылись какими-то зеленоватыми подтеками, пятнами и прыщами. Секретарь мэрии, первый увидавшій это побѣждалъ къ каменщику Буржо.

— Ничего,—объяснилъ тотъ,—это внутренняя мастика выпотѣла наружу и пошла пузырями. Подсохнетъ, ничего. А потомъ я затру пузыри.

Слухъ о новомъ несчастіи мигомъ облетѣлъ общину. Бонапартисты потирали руки и смѣялись.

— Ихъ „Республика“ треснула по всѣмъ швамъ!—ехидничали они.—Нельзя будетъ праздновать открытіе такого урода!

Вышли ссоры между партіями; у Никасса даже подрались.

Однако Буржо принялся за дѣло, потеръ, подмазалъ, подкрасилъ. Кожа у „Республики“ вышла хоть и не совсѣмъ гладкая, но сносная. Бюстъ накрыли коленкорovýmъ чехломъ, который плотно завязали у подножія цоколя.

Супрефекту надлежало самому снять чехолъ.

Наканунъ торжества, озабоченный Буржо зашелъ къ мэру.

— Не взглянуть-ли намъ разокъ на „Республику“, сударь?—предложилъ онъ,—все-ли въ порядкѣ?..

Оба отправились въ залъ засѣданій. Чехолъ съ статуи сняли.

Что же представилось глазамъ ихъ? О, ужасъ,—лицо, шея, фригійскій колпакъ „Республики“ покрыты были зеленоватыми разводами, черными прыщами и пятнами! Ни дать, ни взять—анатомическое воспроизведеніе какой-нибудь чумы или въ этомъ родѣ.

Мэръ и его помощникъ въ ужасѣ переглянулись.

— Исправить можно?—спросилъ Делатушъ.

— Нельзя!—безнадежно сознался Буржо.—Это плесень выступаетъ. Какъ на сырой стѣнѣ! Тутъ ужъ ничего не подѣлаешь. Замазывай ее какъ хочешь,—она пошла узоры писать!

— Ахъ, чортъ побери! Вотъ такъ исторія! Нельзя же устраивать празднество въ честь такого урода! Курамъ на смѣхъ! А все вы, Буржо: выдумали тоже какой-то мерзкой замазкой залить бюстъ!.. И времени теперь нѣтъ заказать другой...

Буржо понурилъ голову. Вдругъ его осѣнила мысль.

— Что ужъ и говорить, господинъ мэръ,—этотъ бюстъ пропащій... Стоитъ его истолочь на штукатурку... Но не принесли-ли тотъ, съ чердака? Портретъ покойнаго императора?.. Тотъ вѣдь цѣлъ и невредимъ!

— Бюстъ императора?.. Въ умѣ-ли вы, Буржо? Праздно-

вать открытіе наполеоновскаго бюста, во времена республики?

— Да нѣтъ же! Дайте слово сказать! Можно приукрасить императора... приспособить... Усы и эспаньолку долой... На голову фригійскій колпакъ, какъ у этой... Я все это устрою мигомъ!..

Мэръ выразилъ сомнѣніе въ успѣхѣ. Онъ пересталъ вѣрить въ талантъ Буржо.

— Даже съ колпакомъ на головѣ и безъ признаковъ мужского пола на лицѣ,—неужели вы думаете, что бюстъ будетъ похожъ на „Республику“?

— О, Господи!—съ укоризной покачалъ головой Буржо,—да кто ее видѣлъ глазами—то, вашу „Республику“? Вы, что-ль,—или я, или супрефектъ? Приставъ ей любую голову,—все одно!

Доведенный до отчаянія, Делатушъ махнулъ рукой и согласился. Только между мэромъ и его помощникомъ рѣшено было, что попытка эта останется тайной, на случай неудачи.

Буржо притащилъ въ залъ гипсу, алебастру и необходимыя орудія; цѣлый день работалъ онъ, приспособляя бюстъ Наполеона къ изображенію эмблемы республики. Къ вечеру дѣло было кончено. Онъ привелъ мэра похвастать передъ нимъ работой.

Разумѣется, странная вышла „Республика“—съ вдавленнымъ лбомъ, горбатымъ носомъ, скуластая; по счастью фригійскій колпакъ многое скрадывалъ.

Мэръ не могъ скрыть своего удивленія.

— Недурно, право недурно,—похвалилъ онъ,—у васъ талантъ, Буржо, ей Богу, талантъ!

Каменщикъ скромно улыбнулся.

— Стараюсь потрафить, господинъ мэръ! Ужъ какъ стараюсь!

При этихъ словахъ онъ сунулъ въ руку мэра какой-то сверточекъ въ бумажкѣ.

— А это припрятъте, господинъ мэръ. Можетъ еще понадобится.

— Что это такое?—въ изумленіи спросилъ Делатушъ.

Буржо, сверкая лукавыми глазенками, пояснилъ:

— А это усы и бороденка Наполеона. Я ихъ чистенько срѣзалъ, все равно какъ сбрилъ... Если... въ случаѣ... республика того... понимаете? если ее сплавятъ... и вернутся Бонапарты... у насъ дѣло-то и въ шляпѣ! Фригійскій колпакъ снимемъ, а усы съ бородкой приклеимъ. Наполеонъ-то тутъ какъ тутъ... и расходовать общинѣ никакихъ.

IV.

Два пастыря.

Въ тѣхъ департаментахъ, гдѣ въ особенности свирѣпство вали въ XVI вѣкѣ религіозныя войны, гдѣ Монлюкъ безъ милосердія перевѣшалъ столько гугенотовъ, — католики, въ наше время, живутъ въ мирѣ и согласіи съ протестантами. Церковь и кирка дружелюбно стоятъ по сосѣдству, въ центрѣ деревень; разница религій не мѣшаетъ семьямъ родниться между собою; кюрэ и пасторъ, расходящіеся во взглядѣ на догматы, сходятся на почвѣ милосердія и помощи бѣднымъ прихожанамъ.

Однако, въ мѣстечкѣ Канделсу, между Неракомъ и Вianной, столкновение между католическимъ и протестантскимъ пастырями надѣлало недавно не мало тревоги и чуть не послужило поводомъ къ возобновленію давно забытыхъ религіозныхъ неурядицъ между прихожанами. Кюрэ, старикъ шестидесяти лѣтъ, сталъ косо посматривать на недавно вступившаго въ должность молодого пастора, любившаго произносить пылкія и краснорѣчивыя проповѣди своему стаду. Лагаригъ, — такъ звали рьянаго пастора, — совратилъ даже двухъ католиковъ, и они перешли въ протестантство! Аббатъ Куломэ тщетно повторялъ, что оба перебѣжчика самые негодные изъ его прихожанъ и перешли-то въ протестантство только ради корысти (чтобы выманить денежную награду отъ вліятельныхъ главарей послѣдователей Лютера) — но частенько ночью его мучили кошмары. Онъ видѣлъ всю обстановку Страшнаго Суда; верховный Судья спрашивалъ его:

— Кюрэ изъ Канделсу, что сдѣлалъ ты съ душами Каскета и Дюпена, порученными тебѣ?

Бѣдный аббатъ пытался оправдываться:

— Господи, Каскетъ и Дюпенъ были никуда негодными прихожанами. Вина не моя, если...

— Отойди, невѣрный пастырь! — перебивалъ Господь, — ты плохо пасъ овецъ моихъ. Стадо уменьшилось на двѣ головы. Дурной слуга, скройся отъ лица Моего!..

Аббатъ Куломэ просыпался въ холодномъ поту, и его била лихорадка.

Тогда онъ проникался усердіемъ, рылся въ пыльных шкафахъ старой церковной библіотеки, по воскресеньямъ громилъ съ кафедръ, какъ умѣлъ, ересь; въ то время какъ молодой Лагаригъ, со своей стороны, подстрекаемый юнымъ пыломъ, лѣзъ изъ кожи вонъ, чтобы не ударить лицомъ въ грязь, потрясалъ сердца слушателей проповѣдями, умножалъ дѣла милосердія, открывалъ воскресныя и вечернія школы.

Такъ какъ, по счастью, Монлюкъ уже умеръ триста лѣтъ тому назадъ, то эта маленькая религіозная война долго не имѣла серьезныхъ послѣдствій; развѣ что прихожане той и другой церкви дѣлались усерднѣе къ молитвѣ. Мэръ названнаго мѣстечка, Лебизъ, по профессіи докторъ, не слишкомъ религіозный по убѣжденіямъ, хотъ и католикъ, силился своимъ поведеніемъ и миролюбивыми рѣчами поддерживать миръ и согласіе въ общинѣ. Его уважали, онъ имѣлъ вліяніе и почти достигалъ цѣли.

Но вотъ случилось неожиданное происшествіе, обострившее отношенія между враждующими сторонами. Недѣли за двѣ до Пасхи, пасторъ Лагаригъ, возвращаясь домой вечеромъ, замѣтилъ какой-то странный свертокъ лохмотьевъ на паперти католической церкви въ Канделсу. Ночь надвигалась; церковь была заперта; кругомъ ни души.

Пасторъ взошелъ на ступеньки и поднималъ подозрительный свертокъ; въ тряпкахъ оказался младенецъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Должно быть, ребенокъ привыкъ ко всякаго рода перемѣщеніямъ и чужимъ лицамъ; онъ не казался чрезмѣрно удивленнымъ или возмущеннымъ, а спокойно смотрѣлъ большими черными глазами на пастора и даже улыбнулся. Лагаригъ ни минуты не колебался, взялъ младенца къ себѣ и поручилъ его своей женѣ, которой не вновѣ было ухаживать за дѣтьми: Господь уже наградилъ ее полдюжиной своихъ, не смотря на ея тридцать лѣтъ.

На слѣдующій день тетка аббата, старая дѣва, завѣдывавшая его хозяйствомъ, съ волненіемъ сказала племяннику:

— Ты знаешь, аббатъ, что пасторъ укралъ у тебя изъ церкви дѣвочку?

— Укралъ дѣвочку?..— Не смотря на враждебность къ пастору, аббатъ не могъ повѣрить такому факту.

Тетка объяснила подробно.

Гуманный поступокъ Лагарига страшно смутилъ аббата. Если брошенная дѣвочка получить воспитаніе въ семьѣ пастора, то несомнѣнно будетъ протестанткой. Между тѣмъ, особа, подкинувшая ребенка на паперть, очевидно, руководилась желаніемъ сдѣлать изъ него вѣрную овцу католическаго стада. Еще одной овцой меньше у почтеннаго аббата Куломэ! Третья душа отторгнута отъ церкви... Ну, положимъ, души Каскета и Дюпена черныя, негодныя; а эта чистая, дѣтская!

Сердце аббата Куломэ было незлобивое; но такое положеніе вещей переходило всякія границы. Онъ надѣлъ рясу, взялъ треуголку, молитвенникъ и отправился къ Лагаригу.

Пасторъ жилъ въ концѣ мѣстечка, въ хорошенькомъ домикѣ, у дороги въ Неракъ.

На улицѣ аббату встрѣчались прихожане; иные подходили къ нему, заговаривали о найденной дѣвочкѣ; тонъ ихъ рѣчей былъ положительно негодующій. Воображеніе гасконцевъ разукрасило исторію по своему. Теперь ужъ рассказывали, что пасторъ утащилъ дѣвочку потихоньку, пока мать ея, испанка, молилась передъ статуей Богоматери. Аббатъ сообщилъ имъ, какъ было дѣло, и пообщалъ исправить его, по мѣрѣ силъ.

— Дойду до самого президента республики,—горячился сторикъ,—а вырву ребенка у протестантовъ!

Идя далѣе, аббату почудилось, что встрѣчные протестанты бросаютъ на него насмѣшливые взоры...

У двери пастора онъ позвонилъ.

Отворила сама пасторша, и аббату сразу стало неловко; хозяйка, бѣлокурая, полная дама, кормила грудью ребенка.

— Извините, сударыня... Прошу прощенія за беспокойство...—забормоталъ аббатъ, не зная куда дѣвать глаза,—дома-ли господинъ пасторъ?

Хозяйка сама казалась сконфуженной.

— Пастора дома нѣтъ... Онъ вышелъ... То есть поѣхалъ въ Неракъ... собрать свѣдѣнія... о дѣвочкѣ.

Она глазами указала на черномазаго, хорошенькаго ребенка, котораго кормила.

Аббатъ мало-по-малу оправлялся отъ смущенія, вошелъ въ домъ и закрылъ за собой дверь. Г-жа Лагаригъ попросила его въ гостиную.

— Я пришелъ къ пастору переговорить именно объ этой дѣвочкѣ...

Убѣждаясь, что слушательница кротка и противорѣчить въ помыслахъ не имѣетъ, аббатъ становился все смѣлѣе и строже; онъ категорически заявилъ, что ребенка не безъ намѣренія подкинули къ католической церкви; что, будь она отперта—дѣвочку положили бы внутри церкви, какъ бы поручая душу ребенка католическому священнику. И онъ своихъ правъ уступать не намѣренъ. Онъ надѣется, что г. Лагаригъ вникнетъ въ его доводы и пойметъ, что они основательны,—прежде чѣмъ дѣло дойдетъ до „высшихъ инстанцій“.

По правдѣ говоря, добрѣйшій аббатъ самъ не зналъ о какихъ „высшихъ инстанціяхъ“ упомянулъ. Но эффектомъ своей рѣчи остался доволенъ. Пасторша, красная какъ піонъ, не нашлась что отвѣтить, только бормотала безсвязно: „Я передамъ мужу... Онъ увидитъ... рѣшить...“ Чтобы скрыть свое замѣшательство, она потихоньку заставляла прыгать насы-

тившуюся дѣвочку, которая радостно взвизгивала и взмахивала рученками.

Съ видомъ холоднаго достоинства всталъ и простился аббатъ.

Дома онъ передалъ весь разговоръ своей теткѣ, которая восхитилась его энергіей. Оставалось ждать результатовъ.

И ждать пришлось не долго. Въ тотъ же день, вечеромъ, старшій сыннишка пастора, мальчикъ лѣтъ десяти, принесъ въ пресвитерскій домъ письмо слѣдующаго содержанія:

„Господинъ аббатъ,

Жена передала мнѣ ваши слова. Къ величайшему моему сожалѣнію, я не могу исполнить Вашего желанія. Я тоже нахожу, что Богъ поручилъ мнѣ душу и, съ моей стороны, было бы преступленіемъ не подчиниться его очевидной волѣ.

Жанъ Лагаригъ,

пасторъ реформатской церкви“.

Какъ только въ общинѣ происшествія эти стали извѣстны,—прихожане обѣихъ церквей заволновались. Мэру предложено было рѣшить споръ; но онъ ничего не могъ сдѣлать: пасторъ официально объявилъ въ свое время о находкѣ и о намѣреніи оставить подкидыша у себя. Тогда католики вскинулись и рвались вооруженной силой отнять „украденную“ дѣвочку. Протестанты тоже не дремали, а учредили сильный караулъ около пасторскаго дома и своей кирки. Ночью кто-то бросалъ каменья въ окна католической церкви. На стѣнахъ заборовъ появились надписи: „Лагаригъ воръ! Крадетъ дѣтей!“ Школьники противныхъ лагерей учиняли уличные драки. Къ Канделсу присланы были два здоровенныхъ жандарма.

Тѣмъ не менѣе пасторъ не отдавалъ яблока раздора; только его собственныя дѣти не смѣли носу показать на улицѣ: католики грозили украсть одного изъ нихъ, въ качествѣ заложника.

Не на шутку начинавшіе тревожиться такимъ оборотомъ дѣла,—аббатъ написалъ донесеніе епископу, пасторъ Лагаригъ—префекту. Но обѣ инстанціи, застигнутыя врасплохъ такимъ небывалымъ случаемъ, медлили отвѣтомъ... Вѣроятно, разгоряченные умы сторонниковъ, подливая масла въ огонь, довели бы округъ до форменной религіозной войны, если бы на страстной недѣлѣ неожиданная новость не положила предѣла конфликту: мать дѣвочки явилась въ Канделсу съ цѣлью взять свою дѣвочку.

Слухъ былъ вѣренъ... Наканунъ вечеромъ, молодая женщина, почти ребенокъ сама, очень хорошенькая собой, по типу и одеждѣ цыганка, явилась къ мэру. Она заявила, что дѣвочка ея, безъ ея вѣдома и противъ ея воли подкинута

была людьми ея табора; но что она не въ силахъ перенести разлуки и вернулась за своимъ ребенкомъ, узнавъ, гдѣ именно его подкинули.

Мэръ помѣстилъ цыганку у себя въ ригѣ; на слѣдующее утро призвалъ аббата и пастора, прося послѣдняго принести дѣвочку. Спорную душу отдали матери, которая жадно принялась цѣловать ее, лопоча на такомъ языкѣ, который никто изъ окружающихъ понять не могъ.

Мэръ обратился къ обоимъ пастырямъ и выразилъ надежду, что всѣ распри падутъ сами собой отнынѣ, такъ какъ спорный предметъ нашелъ своего законнаго владѣльца.

— Вы, душечка, протестантка или католичка?—спросилъ Лебизъ въ заключеніе.

Въ отвѣтъ она только захохотала, сверкнувъ ослѣпительными зубами.

— Ни то, ни другое!

— Какой же вы вѣры?—строго спросилъ пасторъ.

Она сдѣлала гримаску, задумалась...

— Вѣдь молитесь же вы Богу, дитя мое?—спросилъ въ свою очередь аббатъ Куломэ.

— Мы поемъ иногда...—былъ отвѣтъ, — старики учатъ насъ разнымъ пѣснямъ...

Пылъ проповѣдничества съ одинаковой силой тутъ-же охватилъ обоихъ пастырей. Оба настойчиво предложили заняться духовнымъ воспитаніемъ дикарки, изъять ее изъ безпутнаго кочевья, выкупить изъ табора, усыновить, такъ сказать, всей общиной.

Нилка (такъ звали цыганку) ничего не говорила, только улыбалась загадочной улыбкой.

Между тѣмъ, препирательство между пастырями разгоралось. Мэръ примирилъ ихъ еще разъ.

— Жить Нилка будетъ у меня въ ригѣ или въ амбарѣ, — рѣшилъ онъ, — а вы, наставники, будете поочередно учить ее. Сегодня аббатъ, завтра пасторъ. До Пасхи объясните ей правила христіанской вѣры, каждый по своему разумѣнію. Ей предоставлено будетъ свободно выбрать вѣроисповѣданіе. Въ свѣтлое Христова Воскресенье она приметъ крещеніе, сообразно со своимъ желаніемъ.

Этотъ приговоръ, напоминавшій судъ Соломона, не слишкомъ-то пришелся по вкусу сторонамъ, ни ихъ послѣдователямъ; однако пришлось смириться и признать его мудрость.

Спокойствіе водворилось въ Канделсу. Оставалось прихотамъ съ интересомъ слѣдить за ходомъ обращенія хорошенькой дикарки на тотъ или другой путь истины...

Каждый день Нилку принялись учить катехизису, — то аббатъ, то пасторъ. Оба хвалили кротость ученицы; но оба

приходили въ отчаяніе отъ полного отсутствія въ ней какой-либо вѣры и даже нравственнаго чувства. Родилась она подъ открытымъ небомъ и всю молодость кочевала; даже возраста своего не знала. Отецъ ея ребенка былъ какой то прохожій, понравившійся ей, онъ остановился погрѣться у караульнаго костра въ ту ночь, когда ея очередь была дежурить у спавшаго табора. Она рассказывала объ этомъ съ ясной простотой, ставившей священниковъ втупикъ; жалѣла только, что ребенокъ отъ „чужого“ отца и нелюбимъ за это въ таборѣ... Все, чему ее учили, какъ-то скользило по ея уму, разсѣянному, если не легкомысленному. Она была вѣстѣ и неряшлива, и кокетлива; у корсажа ея обыкновенно недоставало пуговицъ, юбка сваливалась и была разорвана, — но въ черныхъ волосахъ непремѣнно красовались яркія розы. Оказалось, что она крадетъ ихъ во всѣхъ садахъ; но это мелкое воровство не ставилось ей пока въ вину. Иногда она упорно молчала, устремивъ черные глаза куда-то въ пространство, очевидно, не видя и не слыша, что дѣлается кругомъ. Въ другое время бывала весела, какъ птичка, пѣла, рѣзвилась, обезоруживала своимъ ребячествомъ, какъ обоихъ наставниковъ, такъ и строгую тетку аббата.

Разъ вечеромъ пасторша повела ее въ кирку. Нилка съ восторгомъ пѣла въ хорѣ; голосомъ обладала сильнымъ и вѣрнымъ. Тетка аббата, со своей стороны, утверждала, что цыганка ужасно заинтересована приготовленіями къ украшенію храма на Пасху.

Обѣ партіи полны были надеждъ и радовались.

Праздникъ Пасхи приближался; въ обѣихъ церквахъ надѣялись пополнить торжествотайнствомъ крещенія. На просьбы выбрать, наконецъ, вѣроисповѣданіе, Нилка отвѣтила, что рѣшитъ въ первый день Пасхи. На слишкомъ настойчивыя просьбы отвѣчала смѣхомъ и ссылалась на авторитетъ мэра.

Въ ночь подъ Свѣтлое Воскресенье оба пастыря почти не смыкали глазъ. И тотъ, и другой отгоняли отъ себя мысль о пораженіи... Однако, предстояло-же оно одному изъ нихъ неизбежно!

Но оба утѣшали себя такимъ аргументомъ:

— Она такъ добра и кротка... Не захочетъ огорчить меня, своего наставника!

На зарѣ, аббатъ, утомленный бессонницей, всталъ, пошелъ въ церковь и долго молился. Наконецъ, ударили въ колоколъ; въ отвѣтъ послышался жидкій перезвонъ кирки. Куломъ всталъ съ колѣнъ, немного успокоенный, и прошелъ къ себѣ въ садъ. День обѣщалъ быть теплымъ.

Аббатъ мысленно попросилъ еще разъ Бога увѣнчать его старанія успѣхомъ, къ вящшей славѣ святой церкви.

Въ эту минуту онъ замѣтилъ спѣшившаго къ нему дьячка.

— Господинъ аббатъ! Посмотрите, что я нашелъ около церковной двери!—сказалъ дьячекъ, подавая ему букетъ яркихъ розъ.

Аббатъ узналъ любимые цвѣты Нилки.

Букетъ былъ связанъ чѣмъ-то въ родѣ грубой тесьмы; приглядѣвшись поближе, онъ увидалъ, что тесьма сплетена была изъ волосъ...

Сердце его сжалось отъ предчувствія. Оставивъ дьячка, аббатъ побѣжалъ къ мѣру. Тамъ былъ переполохъ: цыганка исчезла! Никто не зналъ когда и куда. Лебизъ и его люди искали и звали ее,—напрасно!..

Вслѣдъ за аббатомъ явился Лагаригъ съ букетомъ яркихъ розъ въ рукахъ. Вздволнованные пастыри заговорили другъ съ другомъ.

— И вы тоже?.. Букетъ связанъ тесьмой изъ волосъ?..

— Да... На подоконникѣ, снаружи... Утромъ сегодня...

— Вамъ извѣстно, что Нилка ушла съ ребенкомъ?

— Ушла?.. Совсѣмъ?..

— Конечно! Она спала въ амбарѣ... Постель пуста... Ушла, вѣроятно, ночью.

— О! Не дождавшись крещенія!..

— Ни она, ни дѣвочка!..

— Что касается до дѣвочки, — вмѣшалась тетка аббата, подоспѣвшая съ другими любопытными кумушками,—то успокойтесь! Я ее окрестила, въ то время какъ аббатъ училъ ея мать... Я дальновидна!

— Окрестили?—съ оттѣнкомъ радости спросилъ пасторъ.

Какъ католики, такъ и протестанты одобрили дальновидность старушки. По крайней мѣрѣ, малютка крещена, и то хорошо! Въ общей суматохѣ, враждебныя партіи, пострадавшія одинаково, забыли ссору и увлеклись другими соображеніями.

— Не было бы между нами такого раздѣленія, — произнесъ кто-то въ публикѣ,—давно бы окрестили и цыганку!

Послышались громкія одобренія. Молчавшій до сихъ поръ мѣръ Лебизъ сказалъ съ лукавой улыбкой:

— Послушайте, господа, — вы, аббатъ, и вы, уважаемый пасторъ. Неужели, по вашему мнѣнію, душа цыганки пойдеть въ адъ, потому что ее не окрестили на землѣ?

Наступило молчаніе.

— Христосъ пришелъ для всѣхъ! — изрекъ, наконецъ, Лагаригъ.—Апостоль Павелъ не дѣлаетъ различія между людьми...

— Конечно,—подтвердилъ аббатъ,—милосердіе Божіе безгранично. Сердце этой дикой дѣвушки не злое. Она внезапно и потихоньку убѣжала, чтобы не огорчить ни одного изъ своихъ наставниковъ!

— Значить, обоимъ вамъ слѣдуетъ молиться за нее!—заключилъ мэръ.—Пасха наступила какъ для католиковъ, такъ и для протестантовъ... а равно, повѣрьте мнѣ, и для бѣдной цыганки, у которой не хватило силы воли отказаться отъ степеней и полей ея обширной родины! Молитесь-же за нее, пастыри! И больше не ссорьтесь...

Толпа тихо разошлась. Аббатъ и пасторъ шли рядомъ, вѣжливо разговаривая между собой.

Вчерашніе враги здоровались другъ съ другомъ... Точно Нилка унесла съ собой сѣмя раздора... Въ чистомъ утренемъ воздухѣ заливались дружно колокола обѣихъ церквей, встрѣчая веселый праздникъ...

* * *

Въ сумеркахъ духа и въ сумеркахъ мысли
Буднично-сѣрое время ползетъ;
Словно свинцовыя тучи нависли,
Словно проклятіе чье-то гнететъ!

Скорби глухой отпечатокъ тоскливый
Тѣнью мертвящей ложится на всемъ...
Солнце, взойди надъ заплаканной нивой!
Тучи, раздайтесь подъ яркимъ лучемъ!

А. Ольгинскій.

ВЪ ОДНОЙ КЛѢТКѢ.

У вагона перваго класса курьерскаго поѣзда Николаевской дороги стоялъ плотный, высокій господинъ и двѣ барышни. Онъ провожалъ жену, а барышни мать, и теперь они ждали, когда она устроится въ купѣ и выйдетъ къ нимъ проститься. Скоро показалась и она: полная, блѣдная, съ озабоченнымъ лицомъ.

— Хорошо устроилась?—спросилъ мужъ, точно думая о другомъ.

— Пока одна... Ничего... А багажная квитанція у тебя?

— Нѣтъ, еще Осипъ не приносилъ...

— Куда же онъ пропалъ?—раздраженно проговорила барыня.

— Да ты не волнуйся, все поспѣетъ во время...

— Вѣчный припѣвъ! хорошо тебѣ не волноваться...

Она была уже готова дать волю привычнымъ упрекамъ, но старшая дочь авторитетнымъ тономъ прервала ее.

— Знаешь, мама, ты должна войти въ вагонъ и сидѣть спокойно... Я принесу тебѣ квитанцію, когда человѣкъ сдастъ багажъ, и посижу съ тобой до третьяго звонка... А папа съ Бибочкой уѣдутъ...

— Мы тоже хотимъ проводить маму,—капризно замѣтила Бибочка, дѣвушка лѣтъ шестнадцати.

— Вы надоѣли мамѣ... Она всегда нервничаетъ, когда уѣзжаетъ, а вы съ папой не считаетесь съ этимъ.

— Ты помолчала бы лучше, Ольга,—сказалъ отецъ добродушно. Ну вотъ и Осипъ!.. Видишь, какъ все хорошо устривается.

— Куда же вы пропали, Осипъ?—стараясь быть сдержанной, проговорила барыня.

— Пассажировъ масса непролазная, ваше превосходительство,—отвѣтилъ лакей, снимая котелокъ.

Барыня хотѣла еще сказать ему что-то, но увидѣла, какъ переглянулись ея дочери, и посмотрѣла въ ту сторону, куда были устремлены ихъ глаза.

Къ вагону подходила красавица дѣвушка въ громадной черной шляпѣ и серебристо-сѣромъ шелковомъ пальто, волочившемся за ней шлейфомъ. вмѣстѣ съ нею шли трое мужчинъ: двое статскихъ и одинъ военный. Они шумно подошли къ вагону. Носильщикъ внесъ вещи, а барышня въ черной шляпѣ продолжала слушать веселую болтовню ея спутниковъ.

— Неужели въ моемъ купѣ? Вотъ ужасъ-то!—замѣтила барыня мужу, стараясь, чтобы дочери не услышали ее.

— Пусти меня вмѣсто себя, я не боюсь,—отвѣтилъ онъ громко, не стѣсняясь присутствіемъ дочерей.

Но тѣ не слышали его словъ. Младшая, Бибочка, смотрѣла въ упоръ на одного изъ провожавшихъ красавицу-дѣвушку, вспоминая, что она нѣсколько разъ уже встрѣчала его на Морской и онъ всегда какъ-то особенно смотрѣлъ на нее. Старшая оглядывала высокую и гибкую фигуру красавицы въ черной шляпѣ и восхищалась фасономъ ея воротника, который дѣлалъ ей шею необыкновенно длинной и тонкой.

— Оля!—окликнула ее мать.—Изволь писать мнѣ каждый день.

— Я уже обѣщала тебѣ...

— И пожалуйста не огорчай меня...

Она сказала это съ особенной интонаціей. Дочь недовольно дернула плечомъ и опять обернулась въ сторону красавицы въ черной шляпѣ. До нея доносились отдѣльные слова, и она ясно разбирала какъ одинъ изъ провожавшихъ сказалъ, смотря на Бибочку:

— Une flirteuse enragée!..

Мать говорила еще что-то, но Ольга не слышала. Ее возмущало, что Бибочка переглядывается съ незнакомымъ человекомъ и очень, повидимому, довольна, что ею заняты. Кто-то ей наговорилъ, что она хорошенькая, и она уже въ шестнадцать лѣтъ ведетъ себя, какъ Богъ знаетъ кто. И теперь, провожая мать, она была вся не здѣсь, въ семьѣ, а тамъ около этой „дѣвицы“ съ ея свитой.

— Какіе духи?—шопотомъ спросила Бибочка сестру, съ наслажденіемъ втягивая въ себя воздухъ.

— Это ты специалистка,—раздраженно отвѣтила Ольга.

— По моему *Idéal, Peau d'Espagne* и еще что-то! Но что?.. Удивительно вкусно. Такъ хочется спросить: что?

— Съ тебя станеть!

— Ну, прощайте, дѣти! Я надѣюсь дней черезъ десять вернуться непременно...

— Слышали, мама... Прощай! Не засиживайся въ Панферьевъ... Пріѣзжай.

Мать нѣжно поцѣловала дочерей, перекрестила каждую

изъ нихъ, опять поцѣловала и приложилась щекой къ губамъ мужа. Раздался второй звонокъ. Она неторопливо взошла на площадку вагона, еще разъ благословила дочерей и хотѣла что-то сказать, но въ это время красавица въ черной шляпѣ подошла къ двери, и барыня поторопилась крикнуть:

— Ну, прощайте... Я войду въ купэ... Уѣзжайте домой..

И она, продолжая дѣлать въ воздухъ рукой неопредѣленные движенія вродѣ креста, скрылась за большой черной шляпой своей спутницы.

Барышни съ отцомъ остались на платформѣ до отхода поѣзда. Бибочка замѣтила, что красавица улыбается однимъ ртомъ, а въ глазахъ все время остается грусть. Это придавало ей странное, почти не живое выраженіе, и Бибочка шепнула отцу:

— Точно картина!

Въ это время молодой человѣкъ, переглядывавшійся съ Бибочкой, громко сказалъ:

— Не смѣй плакать, Рыбка! Глазки испортить...

Она засмѣялась, но глаза продолжали грустно смотрѣть на провожавшихъ ее. Одинъ изъ нихъ подошелъ къ ней близко и шепнулъ ей что-то, она хлопнула его по лицу снятой перчаткой.

Поѣздъ тронулся, шляпа нѣсколько разъ колыхнулась изъ открытой двери вагона и скрылась.

Въ купэ было жарко и пахло раскаленнымъ чугуномъ отъ нагрѣтой топки. Барыня сняла пальто, повѣсила его въ уголъ, достала книгу и, когда ея спутница вошла въ дверь, она уже сидѣла въ углу дивана и читала. Здѣсь она казалась моложе и худѣе. Одѣта она была въ сѣрое платье съ кофточкой, крахмаленнымъ воротникомъ и галстукомъ, въ шляпу полумужского фасона и коричневые толстыя лайковые перчатки. Она сидѣла, вытянувшись, и не спускала глазъ съ раскрытой страницы. Читать ей не хотѣлось, но она взяла книжку, чтобы сосредоточиться на своихъ мысляхъ. Это всегда помогало ей, когда она слишкомъ разсѣявалась окружающимъ; а теперь, кромѣ того, ей хотѣлось оградить себя отъ всякаго поползновенія нежданной спутницы заговорить съ нею. Она, не поднимая на нее глазъ, видѣла, какъ та, придя въ купэ, бросилась, какъ подкошенная, на свой диванъ и такъ и замерла на немъ. Это успокоило барыню и она побѣжала глазами по строкамъ раскрытой книги, а мысли, ея собственныя мысли, плыли рядомъ. Она собралась ѣхать внезапно и не успѣла обдумать, что собственно она предприметъ тамъ, у себя въ имѣніи, куда она теперь ѣхала.

Наканунъ была получена повѣстка изъ банка, что оно назначено къ продажѣ и необходимо было сейчасъ же рѣшить что-нибудь. Въ Петербургѣ рѣшать трудно, сколько она ни думала—ничего не придумала и рѣшила ѣхать дѣйствовать на мѣстѣ. Сосѣдъ по имѣнію—богатый мужикъ, скупщикъ лѣсовъ—давно торговалъ у нея лѣсъ на срубъ, но этотъ лѣсъ лежитъ передъ самымъ балкономъ за рѣкой и если его свести, то усадьба потеряетъ всю красоту.

— Это все равно, что у красиваго человѣка вырвать все передніе зубы,—отвѣтила она, тогда, на предложеніе мужика.

Теперь уже нельзя было такъ разсуждать; деньги необходимы немедленно и надо продать лѣсъ. Когда она сказала объ этомъ дома, старшая дочь возмутилась:

— Ты обезцѣнишь этимъ усадьбу... Кто же купить ее въ такомъ ободранномъ видѣ? Только красивая декорація и саетъ ее.

— Но вѣдь иначе сейчасъ же все пойдетъ съ молотъ

— Надо все продать сразу, — сказала Ольга, — все развѣ къ этому придемъ.

— Мы все когда-нибудь къ смерти придемъ, а всета лѣчимся при малѣйшемъ намекѣ на нее,—замѣтилъ отецъ.

Младшая дочь, Бибочка, придумала исходъ, который сразу разсмѣшилъ всѣхъ.

— Надо продать лѣсъ, кромѣ узкой полоски на берегу, чтобы съ балкона казалось, что тамъ большой густой боръ...

— Оборочка!—замѣтилъ со смѣхомъ мужъ.—Чисто дамское рѣшеніе.

Тѣмъ и кончился домашній совѣтъ. Всѣмъ было ясно одно: необходимо ѣхать и *тамъ*, на мѣстѣ, видно будетъ что нужно предпринять. И она поѣхала, хотя именно теперь ей необходимо было остаться дома. Два дня тому назадъ на нее совершенно нежданно обрушилось страшное горе...

Барыня хотѣла продолжать свои мысли, упорно смотря въ книгу, какъ въ купѣ постучались и вошелъ кондукторъ за билетами.

— У меня бесплатный,—заявила барыня.

— Надо взглянуть-съ!—учтиво отвѣтилъ кондукторъ.

Дама неохотно открыла маленькій дорожный мѣшечекъ, вынула розовую бумажку и подала ее.

— Госпожѣ Барановой?—прочелъ кондукторъ съ отъѣнкомъ вопроса.

— Генеральшѣ Бараевой,—громко и вѣско сказала дама.

— Прикажете разбудить въ Клину, ваше превосходительство?

— Нѣтъ, не надо.

Кондукторъ простригъ розовый билетикъ у барышни—

спутницы, госпожи Бараевой, приложился пальцемъ къ шапкѣ и ушелъ, крѣпко заперевъ двери.

Въ купѣ стало невыносимо жарко и пахло духами и грѣтымъ воздухомъ. Барышня, не торопясь, сняла пальто и шляпу. Думы Бараевой были уже перерваны и она невольно стала слѣдить за своей спутницей. Длинная, тонкая, очень гибкая она точно была не одѣта, а обвернута въ серебристую, мягкую ткань. Все платье была сдѣлано какъ бы изъ одного куска и падало на полъ, вокругъ ногъ, густыми мелкими складками.

„Рыбка“!—вдругъ вспомнилось Бараевой восклицаніе одного изъ провожавшихъ на платформѣ.— Не смѣй плакать... Глазки испортишь“...

И Бараева только сейчасъ замѣтила, что эта „Рыбка“ каждую минуту подносила тонкую тряпочку, обшитую кружевомъ, къ глазамъ, но не вытирала ихъ, а осторожно прикладывала, удаляя непрошенныя слезы.

Глаза были громадные, синевато-сѣрые, въ черныхъ густо намазанныхъ ободкахъ. Пепельные, свѣтлые волосы раздѣлялись посрединѣ головы тонкимъ пробормомъ и широкими волнами падали на уши. Сзади они были схвачены узломъ и заколоты широкимъ гребнемъ, усыпаннымъ разноцвѣтными камнями. Длинная цѣпь съ мелкими брилліантами горѣла и переливалась на серебристой ткани платья. Въ ушахъ сіяло по одному громадному брилліанту.

„Что за генге,—подумала госпожа Бараева,—въ дорогу на дѣвать такъ много камней! И, конечно, все фальшивое“.

Ее охватило брезгливое чувство при мысли, что она должна будетъ цѣлыхъ двѣнадцать часовъ провести рядомъ съ одной изъ тѣхъ женщинъ, на которыхъ она всю жизнь считала для себя неприличнымъ даже смотрѣть. Чувство злобной обиды на судьбу, которая вообще такъ несправедлива къ ней—наполнило ее, и она опять уткнулась въ книгу и хотѣла вернуться къ дѣловымъ мыслямъ, т. е. обдумать, какъ наладить дѣла. Надо же ихъ устроить, наконецъ; продолжать жить попрежнему—невозможно; жизнь стала непосильной ношей, и изъ-за чего? Изъ-за желанія жить выше средствъ, чтобы кому-то угодить, или кого-то удивить... На видъ—они богатые люди, но въ сущности—это та же полоска деревьевъ, оставленная на краю, чтобы закрыть вырубленный лѣсъ... И изъ-за этого мучиться? Мало развѣ въ жизни настоящей, не выдуманной муки? Муки не изъ-за условныхъ лишеній и никому ненужныхъ пустяковъ, а такой, что и словами не скажешь, и слезами не выплачешь. „Вотъ теперь эта исторія съ Олей“,—проговорила про себя Бараева и вдругъ на нее

разомъ налетѣло что-то тяжелое и черное, отъ чего она только что успѣла уйти и забыться въ дѣловыхъ мысляхъ.

„Ахъ Оля, Оля!—почти вслухъ, проговорила она, и тупая боль сжала ей сердце.—Зачѣмъ это? зачѣмъ?“

И она опять начала читать, но рядомъ съ чтеніемъ шли свои мысли назойливыя и мучительныя.

„Вѣдь она же дала мнѣ слово не видѣться съ нимъ до моего приѣзда“, успокаивала себя Бараева, но тревога была сильнѣе всякихъ доводовъ и давала прямо физическое страданіе. Сердце билось мучительно сильно и затрудняло дыханіе. Она перемѣнила позу и закрыла рукой глаза, чтобы не видѣть ничего на свѣтѣ, чтобы забыть...

Надо прежде всего устроить денежные дѣла,—рѣшила она. Вѣдь только это и заставило ее уѣхать изъ дому теперь, въ мартовское бездорожье, въ отвратительную погоду. Но такіе пустяки не пугали ее. Для семьи, для поддержанія ея чести, или—хотя бы порядка въ хозяйствѣ, она была готова на истинное самопожертвованіе. На ней всегда держался весь домъ. Мужъ, легкомысленный, избалованный ею же, не любилъ никакихъ хозяйственныхъ разговоровъ и не выносилъ мрачныхъ впечатлѣній. Это портило ему пищевареніе, а она видѣла его только за обѣдомъ, или за утреннимъ кофе, передъ службой. Приходилось—ради его здоровья и спокойствія—молчать и она молчала и рѣшала все сама. Дочери выросли и жили беззаботно, точно имъ все валилось съ неба, точно онѣ и не видѣли, чего стоило матери поддерживать барскій характеръ ихъ train, гдѣ тратилось чуть не втрое больше того, что они имѣли. А если она отвѣчала отказомъ на ихъ требованія, онѣ ласково-шутливо говорили ей:

— Ну, ты какъ-нибудь извернешься!

И она, дѣйствительно, изворачивалась, потому что сознавала необходимость продержаться такъ еще нѣсколько лѣтъ, пока не будутъ пристроены дочери. Это только и поддерживало ее въ ежедневной, ежеминутной борьбѣ. И вдругъ опять что-то кольнуло въ сердце Бараевой. Дочери! Сколько заботъ, сколько любви и слезъ пролито на нихъ. Ольга! Именно Ольга!.. Съ дѣтства некрасивая, никѣмъ особенно не любимая—она была всегда до боли дорога матери, которая точно постоянно чувствовала угрызеніе совѣсти за ея земляной цвѣтъ лица, толстый носъ и маленькіе глазки... Точно она была виновата въ этомъ! И она всѣми силами старалась не дать испытать дочери уколовъ самолюбія, и, можетъ быть, этимъ развила въ ней ту самоувѣренность, отъ которой теперь страдала сама же. Ольгѣ уже двадцать три года и до сихъ поръ никто не ухаживалъ за ней. Она влюблялась часто и была убѣждена, что и ею всѣ увлекаются. Мать не разочаровывала ее, хотя

вѣчно болѣла за нее душой. Въ началѣ этой зимы Ольга объявила, что ей скучно жить безъ занятій, и что она рѣшила поступить въ частные классы рисованія. Мать обрадовалась этому, потому что ее давно мучило тоскливое слоняніе Ольги. Рисованіе по атласу и фарфору, выжиганіе и тисненіе по кожѣ—самое подходящее занятіе для барышни. И Ольга какъ-то ожила. Она приходила изъ классовъ веселая и возбужденная, и ея капризные выходки, прежде такъ мучившія мать, становились все рѣже и рѣже. Она перестала выѣзжать и почти всѣ вечера проводила на курсахъ. Такъ прошла вся зима и часть Великаго поста. Жизнь текла тихо и спокойно. Бибочка ходила въ гимназію, мужъ, попрежнему, жилъ четыре пятыхъ дня внѣ дома, всѣ были довольны и добродушны. Вдругъ на прошлой недѣлѣ все это точно сразу рухнуло.

Бѣда подкралась совсѣмъ неожиданно и унесла съ собой весь покой. Какъ это глупо случилось! Одна изъ знакомыхъ Бараевыхъ прислала вечеромъ свой абонементъ на два кресла въ оперу. Госпожа Бараева была дома одна и рѣшила поѣхать въ театръ, а по дорогѣ захватить Ольгу, захавъ за ней въ классы рисованія.

— У насъ вечернихъ занятій не бываетъ,—спокойно заявилъ ей швейцаръ.

Эти слова точно кипяткомъ обварили Бараеву. Она сразу не могла понять: во снѣ она или на яву, ошиблась адресомъ или ослышалась.

— Давно ли?—спросила она.

— Никогда не бывало...

Она сама не помнитъ, какъ вернулась домой и стала ждать. Дочь явилась, какъ всегда, сейчасъ же послѣ десяти часовъ, веселая и ласковая. Она привыкла, что мать ее спроситъ: что она рисовала? Удачно-ли? Не устала-ли? И, не слыша привычныхъ разспросовъ, стала сама говорить ей:

— Устала я сегодня... Два часа, не вставая, выжигала какой-то противный столъ! Надоѣло!

И она лѣниво потянулась. Мать смотрѣла на нее и молчала. Въ горлѣ сжалось, она не могла произнести ни одного слова. Ольга ничего не замѣчала и продолжала говорить то, что она привыкла говорить всегда по возвращеніи домой.

— Анна Дмитріевна опять расхвалила меня... Она непременно хочетъ послать всѣ мои вещи на выставку... Даже ширмы... Я ихъ нарисовала въ два вечера...

Мать все молчала. Ольга посмотрѣла на нее, тоже умолкла, встала и ушла къ себѣ въ комнату.

Черезъ полчаса мать вошла къ ней. Ольга писала на маленькомъ сѣренькомъ листкѣ.

— Гдѣ ты была?—мягко спросила ее мать.

— Какъ гдѣ?! Въ классахъ...

— Ты лжешь!...

— Не вѣришь—какъ хочешь!..

— Ты лжешь, Ольга! Я была тамъ...

— Шпіонишь!? Милое занятіе!..

— Гдѣ ты была? Скажи мнѣ сейчасъ: гдѣ ты была?

— Я же говорю, что въ классахъ рисованія... Если не вѣришь, то мнѣ нечего тебя и увѣрять...

— Да вѣдь я же ѣздила туда... Швейцаръ сказалъ, что не бываетъ занятій по вечерамъ...

— Если ты вѣришь больше первому попавшемуся швейцару, чѣмъ мнѣ...—начала дочь.

— Ольга! Ольга!—закричала мать съ такимъ отчаяніемъ, что та умолкла.

Она долго ходила по комнатѣ рѣшительной и быстрой походкой. Мать сидѣла и молчала.

— Прочти,—сказала Ольга, подавая письмо, взятое ею изъ ящика стола.

„Радость моя! Я сейчасъ изъ комнаты моей благовѣрной. Она, наконецъ, согласилась на разводъ, только, знаешь, какой цѣной? Чтобы мы съ тобой сейчасъ же, послѣ свадьбы, уѣхали изъ Петербурга: она не хочетъ, чтобы ее смѣшивали съ тобой!!! Я пока на все согласился, а тамъ видно будетъ. Спѣшу тебя обрадовать, чтобы ты не плакала и жду тебя завтра въ восемь часовъ, непременно“.

Подписи не было. Мать вопросительно посмотрѣла на дочь.

— Ладошинъ,—коротко отвѣтила дочь.—Ты его видала у Репчуговыхъ.

Больше онѣ ничего не сказали другъ другу. Мать сразу ничего не могла понять, а когда хотѣла что-то сказать, Ольга быстро вышла изъ комнаты. Балъ у Репчуговыхъ, гдѣ красивый полковникъ танцевалъ котильонъ съ Ольгой, запомнился Бараевой только потому, что это былъ единственный балъ въ сезонѣ. Она знала, что фамилія полковника Ладошинъ, что у него красивая и очень богатая жена и взрослый сынъ. Они переѣхали изъ Москвы недавно и потому мало кто былъ знакомъ съ ними. У Бараевыхъ они не бывали, и Ольга никогда не упоминала о немъ. И вообще весь онъ такъ былъ далекъ имъ, что въ головѣ Бараевой совсѣмъ не укладывалось, что Ольга и Ладошинъ могутъ быть знакомы... И вдругъ это письмо на „ты“, „жду тебя завтра“... Бараевой казалось, что она сошла съ ума, въ го-

ловѣ что-то билось и крутилось безъ выхода. Она бросилась разспрашивать Ольгу. Въ квартирѣ ея не было; никто изъ прислугъ не видалъ ее. Швейцаръ сказалъ, что барышня куда-то уѣхала на извозчикѣ. И вотъ эти два часа, пока Ольга не вернулась домой, были самыми страшными во всей жизни Бараевой. Она плакала, молилась, чтобы Богъ вернулъ ей ея дочь, клялась простить ей, лишь бы увидѣть ее здѣсь, живую... Ольга явилась блѣдная, заплаканная, кроткая. Она сказала, что пошла на воздухъ собрать свои мысли и успокоиться, но мать не сомнѣвалась, что она гдѣ-то видѣлась съ „нимъ“ и просила его скорѣе все покончить.

— Ты только скажи: почему ты плакала?

Дочь не сказала, но дала честное слово, что на этой же недѣлѣ все устроится такъ, какъ желала бы мама: „онъ“ придетъ говорить о свадьбѣ... А пока—вопросъ исчерпанъ.

Всю ночь Бараева билась и металась какъ въ бреду. И надо всѣмъ плавало чувство нѣжной жалости къ дочери. На другой день Ольга была прежняя, только еще сдержаннѣе и суше обыкновеннаго. Она пошла и утромъ и вечеромъ въ „классы“, точно ничего ни случилось въ ея жизни. А мать мѣста себѣ не находила. Затѣмъ явилось извѣстіе о назначеніи имѣнія въ продажу. Тутъ уже вся семья заволновалась: скандалъ былъ бы слишкомъ громкій и рѣшили, что „мама“ должна все устроить... Пришлось ѣхать съ смертельной тревогой въ сердцѣ... Хотя бы на минутку забыться, хоть бы заснуть. А тутъ еще эта „Рыбка“ возится и суетится все время.

„Рыбка“ сидѣла у раскрытаго дорожнаго сака, наполненнаго принадлежностями туалета. Флаконы въ серебряной оправѣ всѣхъ величинъ, щетки, ножницы, коробочки и зеркало. Она сначала близко разсматривала свое лицо въ зеркало, затѣмъ взяла маленькую серебряную трубочку и раскрыла ее. Тамъ оказался темный карандашъ, которымъ она стала подправлять рѣсницы. Въ наружныхъ углахъ глазъ она поставила по точкѣ, опять близко наклонилась къ зеркалу, стала стирать то, что намазала, и вдругъ—точно что-то вспомнила, бросила все, вскочила и достала изъ кармана пальто, брошеннаго въ уголъ дивана, телеграмму. Она развернула ее, прочитала и стала креститься мелко и быстро по срединѣ груди. Слезы опять заволокли ея глаза и выступили на только что подправленныхъ рѣсницахъ. Но она уже не помнила о нихъ. Она читала и перечитывала телеграмму и то крестилась, то устанавливалась въ нее затуманеннымъ слезами взглядомъ. Бараевой казалось, что она кривляется и рисуется красивой, застывшей позой. Вдругъ хриплый

сдавленный стонъ ворвался въ купэ, за нимъ второй еще сдавленнѣе и тяжелѣе, отрывистыя рыданія посыпались одно за другимъ.

Дѣвушка скрыла лицо руками и уткнулась въ спинку дивана, поджавъ подъ себя обѣ ноги. Отъ рѣзкаго движенія ея туалетный мѣшокъ сползъ, наклонился, одинъ изъ флаконовъ упалъ и разлился.

„Истеричка какая-то,—подумала Бараева.—„Онѣ“ всѣ, вѣроятно, такія. Того недоставало: еще разлила что-то, и безъ того задыхаешься отъ запаха всевозможныхъ духовъ“...

А „Рыбка“, точно прячась отъ кого-то, продолжала рыдать сдержанно и тяжело, уткнувшись въ спинку дивана. Ея узкія плечики, окутанныя мягкой серебристой тканью, судорожно поднимались кверху, головка вздрагивала и, при каждомъ движеніи, гребень блестялъ и сіялъ всѣми цвѣтами радуги. Госпожа Бараева не знала, что ей дѣлать. Сильный запахъ пролитыхъ духовъ злилъ ее, эти громкія рыданія—когда ей и своего горя было достаточно—раздражали своей назойливостью, брилліанты и камни съ ихъ нахальнымъ блескомъ, весь этотъ роскошный, безтактный туалетъ—казались насмѣшкой надъ нею, которая изъ-за какихъ-то грошей ѣдетъ продавать по кускамъ родное гнѣздо. Первымъ движеніемъ Бараевой было—уйти. Но изъ зажатого рта „Рыбки“ вдругъ вылетѣлъ такой дѣтской вопль, что она невольно сказала ей, стараясь быть сдержанною:

— Не приказать-ли дать вамъ воды?

— Н-нѣтъ, н-не надо, ни чего н-не н-надо!—сквозь рыданія проговорила „Рыбка“.

Госпожа Бараева плотно сѣла въ уголь, считая свою совѣсть успокоенной. Если эта истеричка не желаетъ ея участія—и Богъ съ нею. Лишь бы плакала не на весь вагонъ, а то могутъ сбѣжаться пассажиры и выйдетъ скандалъ. А этого Бараева боялась больше всего на свѣтѣ. И она, съ чувствомъ особеннаго успокоенія, слѣдила какъ узкія плечи ея опутницы вздрагивали все рѣже и рѣже и какъ, наконецъ, она вся, собранная въ комочекъ, затихла и застыла. Бараева достала подушку въ шелковой малиновой наволочкѣ и прилегла на нее, не раздѣваясь и не снимая перчатокъ. Спать еще не хотѣлось, да она и не умѣла спать въ дорогѣ, но она сейчасъ же закрыла глаза, чтобы уйти отъ всей этой возни съ флаконами и рыданіями. И опять что-то тяжелое, черное придавило ее. Письмо Ольгѣ на „ты“, ея отсутствіе по вечерамъ, якобы въ классы рисованія, какой-то неизвѣстный ей полковникъ—все это въ сотый разъ представало передъ нею съ мучительной ясностью. Единственно возможный исходъ изъ всего этого—конечно, замужество Ольги, и надо

было, во чтобы то ни стало, устроить его, а дальше — будь, что будетъ. Но она именно и боялась, что Ольга не сумѣетъ добиться того, чтобы онъ бросилъ богатую жену, взрослого сына, досталъ разводъ и женился. Другія барышни очень ловко устраиваютъ это и выходятъ за чужихъ мужей, но ея Ольга не изъ такихъ: она влюбляется безъ памяти и можетъ надѣлать непоправимыхъ глупостей. Бараева гнала отъ себя эти мысли, но онѣ назойливо крутились въ ея мозгу и не давали ей покоя.

„Лишь бы устроить пока дѣло съ продажей имѣнья,—говорила она себѣ въ двадцатый разъ,—а тамъ ужъ я добьюсь, что Ладошинъ женится на Ольгѣ. Безъ меня они не будутъ видѣться, Ольга дала слово“...

Но она не вѣрила тому, что повторяла себѣ. Она уже давно знала, что дочери обманываютъ ее на каждомъ шагѣ, особенно Бибочка. И она принимала это почти какъ должное, говоря, что безъ этого не проживешь. И Бибочка не заботила ее: она была увѣрена, что эта дѣвочка не пропадетъ, скоро выйдетъ замужъ, непременно за богатаго, и заживетъ легкой, беззаботной жизнью. Но Ольга!..

И опять сердце матери мучительно сжалось отъ страха, отъ нѣжности, отъ безсильной обиды и сознанія своей безпомощности. И это чувство мучительной боли было точь въ точь такое же, какъ и тогда, когда она въ первый разъ увидала свою Олю въ видѣ темнаго, безформеннаго комочка, барахтавшагося рядомъ, на кровати мужа, въ то время какъ и докторъ и акушерка возились около матери. Та же боль мучила сердце и при каждомъ зубкѣ дочери и при малѣйшемъ повышеніи температуры, при видѣ невеселыхъ глазъ дѣвочки или ея слезъ. Когда Оля стала расти и мать замѣтила, что она становится очень некрасивой, эта боль въ сердцѣ являлась, чаще и чаще. Каждая новая шляпа, каждый выѣздъ, каждая перемѣна прически только подчеркивали ея некрасивость и давали мученія матери. Бибочка явилась значительно позже и стала общей любимицей. Хорошенькая, бойкая, смѣлая и находчивая—она была общимъ кумиромъ; но то мучительное въ чувствѣ, которое было относительно старшей дочери—дѣлало Ольгу особенно дорогой для матери. И теперь, въ вагонѣ, эта мучительная нѣжность вдругъ всплыла надо всѣмъ; Бараева не видѣла уже ни полковника, ни свиданій, ни письма на „ты“—ей только хотѣлось одного: чтобы ея Оля была счастлива, хоть день, хоть мигъ, но счастлива по настоящему. И вдругъ она почувствовала, что изъ-подъ ея зажмуренныхъ вѣкъ просочились слезы и поплыли по рыхлымъ щекамъ.

Она открыла глаза. „Рыбка“ уже успокоилась и сидѣла

на диванѣ, а на колѣняхъ у нея стояла большая коробка съ засахаренными фруктами. Она ѣла ихъ одинъ за другимъ, внимательно выбирая любимые. Бараева смотрѣла на ея узкія руки съ изумительными ногтями: длинными, выпуклыми и отполированными до поразительнаго блеска. „Рыбка“, увидя этотъ взглядъ, не поняла его и по-дѣтски сказала, указывая на конфеты:

— Хотите?

И голосъ у нея былъ какой-то дѣтскій.

— Нѣтъ... благодарю...

— Да ну, кушайте... Я безумно люблю кievское варенье!

Она такъ близко протянула коробку къ Бараевой, что та невольно взяла одну конфету.

— Ну вотъ,—облегченно сказала „Рыбка“.—А то ѣдемъ запертыя въ одной клѣткѣ, и точно не одной породы... Тяжело какъ-то...

Она сказала это такъ просто, что Бараевой стало необходимо отвѣтить ей что-нибудь. И она сказала первую попавшуюся дорожную фразу:

— А вы не спите въ дорогѣ?

— Обыкновенно—да, а сегодня мнѣ не заснуть, ни за что не заснуть... У меня ужасное горе...

И она опять была готова разрыдаться, но Бараева поторопилась сказать ей:

— Какъ здѣсь натоплено!

— Можно вентиляторъ открыть,—живо отозвалась „Рыбка“ и уже вскочила на диванъ открывать его, но Бараева остановила ее:

— Боже сохрани! Это—вѣрная простуда.

— Вы боитесь? А какъ же мы-то? Иногда—вечеромъ два три градуса, а поешь на открытой сценѣ съ голыми плечами и руками.

Артистка!—подумала Бараева. И это слово сразу успокоило ее: съ артисткой—познакомиться не стыдно, напротив... А кому же дѣло до ея нравственности? Да къ артисткамъ и особая мѣрка на этотъ счетъ,—имъ все прощается. И она сейчасъ же совсѣмъ иначе стала смотрѣть на спутницу: прямо и внимательно. Лицо, обмытое слезами, сдѣлалось какъ-то моложе и точно худѣ и она сразу стала похожа на одну знакомую гимназистку, приходившую иногда къ Бибочкѣ,—тѣ же тонкія черты лица, тотъ же красивый носикъ и острый подбородокъ; только эта была настоящая красавица: линія лба, цвѣтъ и мягкость волосъ и глаза, лишенные теперь своей искусственной черной рамки—были изумительно хороши. Бараева не могла оторвать взгляда отъ нея.

Вотъ бы Олѣ такіе глаза! подумала она, вспоминая маленькіе, въ красныхъ золотушныхъ вѣкахъ, глазки дочери.

„Рыбка“ тоже смотрѣла на свою спутницу и думала:

„Отчего у такихъ генеральшъ непремѣнно сѣрый цвѣтъ лица и коричневыя губы?“

— Неужели вы не надѣваете ничего теплаго?—спросила Бараева.

— Когда?—не понявъ вопроса, сказала „Рыбка“.

— На сценѣ... Когда холодно...

— Нѣкоторые надѣваютъ—фуфайки тѣлеснаго цвѣта, я—никогда! Гадость какая! Сажу за кулисами въ шубѣ и послѣ номера моя Альвина сейчасъ же накидываетъ мнѣ ее на плечи... Бррр! Вспомнить страшно! Иногда мучительно холодно, зубы такъ и щелкаютъ...

— А поете?

— Пою!—весело сказала „Рыбка“ и расхохоталась, но какимъ-то грустнымъ хохотомъ, и опять быстро встала и схватила зеркало.

Всѣ движенія ея были нервныя и торопливыя: взяла зеркало, точно по привычкѣ поднесла его близко къ глазамъ, положила назадъ, посовала кое-какъ флаконы въ мѣшокъ, захлопнула его и опять, вся съезжившись, сѣла съ ногами на диванъ.

— Все это пустяки!—сказала она.—Глупости, о которыхъ и говорить не стоитъ... А вотъ у меня то что случилось... Мама мнѣ телеграфируетъ... Гдѣ тутъ?

И она опять стала суетливо искать телеграмму.

— Господи! Куда же она запропастилась? Вотъ! Подумайте: у пятилѣтней дѣвочки и воспаленіе мозга!

Она сказала это такимъ тономъ, какъ будто нельзя было допустить и мысли объ этомъ.

— Meningite!—равнодушно опредѣлила Бараева.

— Мама пипетъ: положеніе почти безнадежно! Господи, неужели...

Она точно боялась выговорить слово.

— Тогда и я жить не хочу, не могу, не буду...

— Это у вашей сестры?

— Нѣтъ.

Она сжала губы, но видно было, что не могла молчать.

— Это у моей дочки... У моей собственной... Мама всѣмъ говорить, что это ея племянница... Это вздоръ! Она моя! И если бы вы видѣли, какая красавица! А умна, какъ день!.. И какая милая, всѣ кругомъ обожаютъ ее, да и нельзя не обожать! Это совсѣмъ необыкновенное созданіе!.. Да вотъ посмотрите!

Она быстро растегнула лифъ и вытянула изъ подъ него

тонкую золотую цѣпочку, на которой висѣли два дешевенькихъ финифтяныхъ образка, дѣтскій крестикъ съ черной эмалью и золотой плоскій медальонъ съ громаднымъ брилліантомъ посрединѣ. Въ медальонѣ съ одной стороны лежалъ подѣ стекломъ сухой, коричневатый лепестокъ розы, а съ другой—портретъ дѣвочки лѣтъ трехъ, съ широко открытыми глазами и свѣтлыми волосами, завязанными надъ ушами торчащими вверхъ бантами. Это давало ей смѣшное, почти жалкое выраженіе. Тоненькая шейка выглядывала изъ густой волны кружевъ.

— Посмотрите только что за прелесть, — горячо воскликнула „Рыбка“ и поцѣловала портретъ. — И знаете: все вынесу, все, а этого не вынести ни за что!

— Зачѣмъ же вы оставили ее? — сухо спросила Бараева.

— Ей лучше такъ, — грустно сказала „Рыбка“ и на нѣсколько секундъ умолкла.

— А вы думаете легко это? — горячо заговорила она. — Я день и ночь ревѣла, когда рѣшила отдать мою Зойку мамѣ. Думала: съ ума сойду... Да что дѣлать-то? Сами посудите: меня почти никогда нѣтъ дома: сплю до трехъ часовъ дня, потомъ уѣзжаю и раньше трехъ—четырехъ ночи не возвращаюсь... Зойка первые три года у меня жила, оказалось, что иногда кричала по цѣлымъ часамъ: нянька оставитъ ее одну въ дѣтской, а сама уйдетъ въ кухню... А я въ это время за нѣсколько верстъ пѣсни распѣваю, публику забавляю... Когда я узнала, что дѣвчушка моя чуть не цѣлыя ночи кричить — я не знаю, что со мной слѣбалось... Хотѣла все бросить, жить только ею и съ нею... Да на что жить то?!

Она сказала послѣднюю фразу такъ горько и злобно, что Бараева вся встрепелулась.

— Прямо скажу вамъ: голода испугалась! А здѣсь, конечно, о голодѣ и не думаешь...

— Вы много получаете?

— Вещей у меня множество, — уклончиво отвѣтила она, — а денегъ никогда нѣтъ... Да на Зойку хватаетъ, и мамѣ помогаю, и сестренку въ гимназіи воспитываю... Вотъ зачѣмъ и отдала мою дѣвчушку милую... А вы спрашиваете...

Она на минутку задумалась и потомъ опять заговорила:

— Мама не хотѣла брать: срамъ, говорить, младшая сестренка узнаетъ... Разныя глупости говорила... Я едва умолила ее... Рѣшили, что будетъ жить у нея подѣ видомъ дочери ея двоюроднаго брата... Такъ моя Зойка и живетъ безъ меня... Да ей-то хорошо... Дурочка, не понимаетъ еще... А на меня иногда такая тоска находить, что смерть!.. Знаете, мнѣ кажется, что кто испыталъ радость *чувствовать* своего ребенка — тому нѣтъ жизни безъ него!.. Т. е. будешь жить, и

смѣяться, и минутами веселиться, но все это какъ-то въ потемкахъ, безъ солнца, безъ свѣтлой дали... Я не знаю, какъ вамъ это выразить словами... Да у васъ есть дѣти?

— Есть... Двѣ дочери...

— Значить вамъ и объяснять нечего, вы поймете, всякая мать пойметъ... Мужчина не пойметъ... Вонъ сегодня одинъ мой пріятель... Вы видѣли его на платформѣ? Онъ на вашу барышню все смотрѣлъ.

— Я не видѣла,—сдержанно отвѣтила Бараева.

„Рыбка“ быстро достала изъ внѣшняго отдѣленія дорожнаго мѣшка складную рамку и протянула ее Бараевой.

— Какъ хорошъ!—сказала она.—Посмотрите: какіе глаза, точно египтянинъ! Очень онъ мнѣ нравится, или кажется, что нравится... Я даже думала, что это любовь! А сегодня онъ вдругъ сталъ мнѣ непріятенъ... И не отъ того, что онъ переглядывался съ вашей барышней, право нѣтъ, а потому что говорилъ гадости...

Бараеву покорило отъ упоминанія объ ея дочеряхъ, она хотѣла остановить спутницу, но та быстро и горячо говорила дальше.

— Уже за обѣдомъ онъ разозлилъ меня. Знаете, у него любимое слово: предразсудокъ! Мы съ дѣтства знаемъ, что бояться трехъ свѣчей—предразсудокъ, плевать при встрѣчѣ со священникомъ—предразсудокъ, а у него не такъ... Я говорю: „мнѣ стыдно“! А онъ: „это предразсудокъ“! Я боюсь смерти, страшно боюсь. Предразсудокъ! Все, что принято называть добродѣтелью, нравственностью — на его языкѣ предразсудокъ... Это очень удобно, а иногда просто страшно: онъ говорить, напримѣръ, что убить человѣка не страшно, а наказаніе непріятно!.. Я думала, что онъ шутить... Нѣтъ! Онъ необыкновенно послѣдователенъ... Онъ какъ-то выше всего... У него нѣтъ ни страха, ни привязанностей, ничего!

— За что же вы его любите?—спросила Бараева.

— Онъ особенный какой-то! Весь особенный!.. И красивый, и изящный... Вы бы посмотрѣли, какіе у него галстуки: съ ума сойти! А цилиндръ! Всегда à huit reflets! Иначе онъ не въ духъ... И на рукѣ, немного ниже локтя, вытатуированъ тигръ, изумительно!

— Зачѣмъ-же?

— Это послѣдній крикъ моды! Ему въ Парижѣ сдѣлали. Тамъ знаменитый tatoueur какого-то короля, дагомейскаго что-ли? И всѣ снобы татуируются... И меня убѣждали, когда я была въ Парижѣ, да я боюсь... больно!

Помолчавъ немного, она сказала:

— Вы только не думайте, что онъ, кромѣ своихъ галстуховъ, ничего знать не хочетъ... Напротивъ! Онъ ужасно уче-

ный. Окончилъ университетъ въ Москвѣ, потомъ учился за-границей... Напечаталъ цѣлую книгу по-французски, историческую... Очень умный... И ненавидитъ общество, нигдѣ не бываетъ... Театръ не для него, а для толпы, балы — для пошляковъ, служба—pour les arrivistes, семья для тупоумныхъ людей... Такой странный, а вѣдь милый какой!.. Ходитъ ко мнѣ чуть не каждый день, сидитъ, читаетъ, учить меня французскому языку... Я окончила гимназію и знаю языкъ, какъ всѣ гимназистки. А онъ жилъ долго въ Парижѣ и говоритъ какъ то особенно и меня учить... И цѣлыми часами мы съ нимъ сидимъ вдвоемъ. Онъ не любитъ если еще кто-нибудь придетъ, онъ только признаетъ des intimités chuchotantes...

И она передразнила кого-то, какъ это дѣлаютъ дѣти.

— Такъ вотъ, я сегодня разсердилась на него... Собрались меня провожать въ Москву и устроили обѣдъ у Кюба... Какъ всегда: шутки, смѣхъ, питье всякое... Я вдругъ вспомнила, что моя Зочка теперь тамъ, гдѣ-то далеко, лежитъ больная, такъ ужасно больная — и, конечно, заплакала. Онъ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

„Это мѣщанство!“

Я знаю, что у него бѣльшей брани нѣтъ.

„Если-бы у тебя былъ ребенокъ — ты понялъ-бы какво мнѣ!..“

„Я, къ счастью, ушелъ отъ зоологическаго типа“...

И пошелъ: Это самовнушеніе... Не можетъ быть чувства къ *своему* ребенку... Тупоуміе какое-то!..

Я ужасно вспылила, наговорила ему чортъ знаетъ что... Онъ только головой качалъ и говорилъ:

„Какъ не эстетично!..“

Я и сама чувствовала, что была некрасива въ эту минуту, но что же дѣлать-то? Телеграмма, вотъ эта телеграмма, пришла сегодня утромъ и была у меня въ карманѣ, когда я обѣдала съ ними... Одинъ офицеръ — онъ тоже былъ на вокзалѣ, видѣли? — хотѣлъ успокоить меня, примирить насъ и сказалъ:

„Ребенокъ отъ любимаго человѣка всегда дорогъ...“

„Ребенокъ дорогъ, — сказала я, — всегда дорогъ!.. Отъ любимаго или нелюбимаго... Вонъ моя Зойка... Я отца ее никогда не любила, а теперь и вспомнить о немъ не могу, а ее обожаю, какъ сумасшедшая!..“

Вдругъ она разсмѣялась:

— Вы такъ серьезно смотрите на меня и навѣрное думаете: зачѣмъ она говоритъ мнѣ все это?

— Нѣтъ, напротивъ, — искренно сказала Бараева, которой вдругъ сдѣлалось жалко свою случайную собесѣдницу.

И эта искренность сразу прошла въ самое сердце „Рыбки“, она опять заговорила тепло и ласково.

— Вамъ, можетъ быть, не все понятно, что я говорю, а вы только вникните, снизойдите и поймите... Вѣдь мнѣ не было и восемнадцати лѣтъ, когда родилась Зойка... Я только что кончила гимназію и поступила въ классы пѣнія...

Эти „классы“ заставили Бараеву встрепенуться; она сѣла на диванъ, спустила ноги и стала слушать, внимательно глядя въ глаза говорившей.

— Ходила я одна, иногда мама провожала меня... рѣдко!.. Разъ на улицѣ какой-то немолодой, очень элегантный чело-вѣкъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ: вы Любовь Дмитриевна? Я отвѣтила: нѣтъ. Онъ извинился и рассказалъ цѣлую длинную исторію о какомъ-то сходствѣ, о томъ, какъ онъ уже цѣлую недѣлю ходитъ за мной... Конечно, мнѣ не надо было бы слушать его... Но мнѣ и въ голову не приходилъ обманъ съ его стороны... На другой день онъ встрѣтилъ меня уже какъ знакомый, сталъ говорить какая я красивая, какъ онъ ждалъ встрѣчи со мной... Онъ назвалъ мнѣ свою фамилію... Я стала считать его моимъ знакомымъ и черезъ нѣсколько времени пригласила къ намъ. Онъ точно обрадовался приглашенію, но сказалъ, что надо это сдѣлать прилично, найти кого-нибудь кто-бы ввелъ его въ нашъ домъ, представилъ бы мамѣ. И все медлилъ... День шелъ за днемъ... И я не очень настаивала на этомъ визитѣ. Отецъ умеръ уже года три до этого, мы жили въ крошечной квартирѣ, съ вонючей лѣстницей, и мама всегда была заплаканная и недовольная... Я не могла себѣ представить, что стали бы мы дѣлать съ такимъ наряднымъ гостемъ, а главное, я не видѣла ничего дурного въ томъ, что при встрѣчѣ онъ, т. е. вотъ этотъ... его Дмитріемъ Дмитріевичемъ звали... что этотъ Дмитрій Дмитріевичъ при встрѣчѣ выходилъ изъ кареты и почти-тельно провожалъ меня до дому. Потомъ онъ сталъ подво-зить меня... Потомъ... Онъ хотѣлъ послушать мой голосъ, такъ какъ имѣлъ возможность помѣстить меня въ оперу... Къ нему на домъ ѣхать нельзя было, у него была семья...

Бараева какъ-то засуетилась на своемъ мѣстѣ и „Рыбка“ остановилась.

— Говорите, милая, говорите...—сказала Бараева.

— Онъ повезъ меня къ какой-то дамѣ, знакомой его... Я пѣла, онъ восхищался, пророчилъ мнѣ блестящую карьеру... Я всему вѣрила...

— И ничего не сказали вашей матери?—горячо спросила Бараева.

— Ничего... Сама теперь не знаю, какъ объяснить... Боя-лась, что запретить мнѣ быть знакомой съ нимъ, или хотѣла

показать свою самостоятельность... Право не знаю... Меня какъ-то увлекала тайна, роскошь обстановки: карета, вкусная ѣда, иногда подарки... Я прятала ихъ отъ мамы и радовалась одна, втихомолку... Помню, онъ надѣлъ мнѣ на палецъ кольцо, очень дорогое должно быть... Я носила его только по ночамъ и радовалась чему-то... Но еще больше была рада, когда потеряла его и не должна была заботиться о томъ, чтобы его прятать... Что-то тутъ сложное и запутанное было. Я уставала лгать, а безъ лжи, дома, мнѣ было скучно,—все какъ-то просто, обыкновенно и извѣстно заранѣе. Ничего неожиданнаго и загадочнаго... А тамъ постоянныя волненія... Пошли поѣздки за городъ... Ну, однимъ словомъ все какъ слѣдуетъ...

— А мама ничего не знала?—упавшимъ шопотомъ спросила Бараева.

— Ничего... пока не понадобилась ея помощь... Зима вся прошла въ какой-то сплошной лжи, на лѣто онъ уѣхалъ куда-то, а осенью я уже не могла застегнуть ни одного платья, меня тошнило, я страдала втихомолку, дѣлала надъ собой всякія мученія, пока мама не узнала все и не спасла меня...

— А „онъ“, что-же?—шопотомъ спросила Бараева.

— Онъ?!.. Мнѣ сказали, что болѣзнь жены задержала его за границей на всю зиму...

— И мать простила васъ?

— Какъ-же не простить? Только очень я, бѣдную ее, намучила... Плакала она надо мной и день и ночь... Увезла въ Петербургъ, чтобы никто изъ знакомыхъ и родныхъ не зналъ ничего, спрятала меня здѣсь... Что мы съ ней испытывали, вспомнить страшно... Она все перетерпѣла ради меня, а я ради Зойки... Съ перваго дня я ее такъ полюбила, и даже рада, что у нея нѣтъ отца, по крайней мѣрѣ, она вся моя и ни съ кѣмъ ею дѣлиться я не должна... Моя, моя, моя!

Она радостно захлопала руками и этотъ звукъ странно прозвучалъ въ наполненномъ печалью безмолвіи вагона. Бараева смотрѣла на нее глазами, полными слезъ, и точно ничего не видѣла и не слышала больше.

Классы рисованія, вечернія прогулки дочери, свиданія гдѣ-то внѣ семьи,—все это вдругъ опять предстало передъ ней съ мучительнымъ смысломъ и рвало въ клочки ея сердце.

Весь вагонъ уже спалъ. Бараева откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. „Рыбка“ долго сидѣла молча, смотря въ одну точку и скорбно сдвинувъ брови.

— Ой-ой-ошеньки! — вдругъ вырвалось у нея вмѣстѣ съ тяжкимъ вздохомъ.

Бараева открыла глаза и увидѣла, что ея спутница стала раздѣваться на ночь. Все, что она снимала съ себя, было поразительнаго изящества. Бараева ничего подобнаго и не видала никогда. Безконечное количество мягкихъ оборокъ, кружевъ, лентъ красивыхъ оттѣнковъ и сочетаній. „Рыбка“ раздѣвалась, не торопясь, точно дѣлала очень серьезное дѣло. Когда почти все было снято, она накинула на себя тонкій шелковый балахонъ тѣлеснаго цвѣта съ желтоватыми кружевами и сѣла опять съ ногами на диванъ. Она, такъ же не торопясь, вынула гребень и шпильки изъ головы и, поставивъ передъ собой зеркало, стала причесывать свои богатые, золотые волосы.

Бараева откинулась на спинку дивана и прищурила глаза, чтобы не смущать свою молодую спутницу. Но та уже забыла ее; она вся ушла въ свои мысли и точно машинально возилась съ волосами: разобрала ихъ на пряди, закрутила на розовыя ленточки и завязала бантиками кругомъ головы. И ея маленькое, блѣдное личико стало будто еще меньше въ этой прическѣ и сдѣлалось похоже на портретъ дѣвочки въ медальонѣ; въ немъ было также что-то жалкое и безпомощное, и опять слезы поползли по ея блѣднымъ щекамъ. Но она не оставила волосъ пока не закончила свою ночную прическу. Затѣмъ она легла на спину и закинула руки за голову. Но ей не лежалось, она сейчасъ же вскочила и стала креститься, крѣпко надавливая на лобъ сложенные пальцы и шепча: „Господи! Спаси мою Зоечку ненаглядную! Господи! Господи!..“

Бараева опять сѣла на диванъ.

— Я вамъ мѣшаю спать?—сконфуженно сказала Рыбка.

— Я никогда въ дорогѣ не сплю,—отвѣтила Бараева.

— А мнѣ совѣстно, что я такъ много наболтала вамъ... Вы я думаю всетаки удивляетесь: сидитъ передъ вами чело-вѣкъ, совсѣмъ вамъ чужой, котораго вы, можетъ быть, никогда больше и не увидите, до котораго вамъ нѣтъ дѣла—и вдругъ всю свою душу вамъ открылъ... Но нельзя же всю жизнь по одному рецепту жить... Правда? Бываетъ такъ, что всѣ перегородки падаютъ... Правда?

И она опять сѣла прямо противъ Бараевой, спустила ноги и облокотилась о колѣни сложенными руками. И опять приливъ говорливости напалъ на нее, и она зашептала быстро и неудержимо.

— Знаете, мнѣ все кажется, что Зойка умреть... И вдругъ у меня все внутри мучительно заноеетъ, и я готова стонать и кричать на весь міръ... Вотъ, и является потребность дви-

гаться, говорить, заглушить боль... А я еще всегда говорю, что можно во всемъ увѣрить себя, все внушить себѣ... Вотъ мой... У меня есть одинъ знакомый, купецъ, т. е. не купецъ—онъ не любитъ этого слова—а фабрикантъ... Душою онъ чужой мнѣ, до ужаса чужой... И не знаетъ онъ меня совсѣмъ и не понимаетъ... Я плачу, а онъ мнѣ брошь въ тысячу рублей тащить... Или вотъ эти серьги... И я его не понимаю... Я слышу, что онъ говоритъ, а зачѣмъ онъ это говоритъ, никакъ не могу понять... А мы каждый день видимся, и я всегда встрѣчаю его ласково, смѣюсь... И не притворяюсь, а какъ-то могу убѣдить себя, что онъ дорогъ мнѣ... И сама вѣрю этому, и онъ вѣритъ... Также убѣдила себя въ томъ, что влюблена въ этого (она указала пальцемъ на стоящій передъ ней портретъ) и даже ревновала его и злилась, когда онъ говорилъ, что ревность такой же ненужный аксессуаръ любви, какъ клятвы, слезы и вѣрность... А я и клялась, и плакала, и думала, что никогда въ жизни не разлюблю... Онъ смѣялся и былъ правъ... Вотъ сейчасъ, сію минуту, я смотрю на него и точно его нѣтъ совсѣмъ... Нѣтъ!.. Не чувствую я его... А на дѣвочку мою взгляну—все внутри задрожитъ... И нельзя себя увѣрить въ этомъ, невозможно... Я вся *чувствую* ее... Даже когда не вижу, а только вспоминаю о ней, о какомъ-нибудь ея словечкѣ, о слезахъ ея—такъ вся душа и затрепещетъ... хочется плакать, хочется вынуть сердце и отдать ей... На! играй имъ!!.. Вы понимаете меня?... Да?..

Она сѣла на самый край дивана, такъ что ея колѣни почти касались колѣнъ Бараевой, и та ласково и внимательно смотрѣла на нее.

— И знаете: пока она здорова, мнѣ ничего въ жизни не страшно... Я все приму, лишь бы она была жива, а для этого всетаки надо и хорошій воздухъ, и ѣда здоровая, и весь уходъ... И все это я даю ей... Иногда начну себя бранить, унижать... Вспомню гимназію, наши разговоры, подругъ... Одна въ докторъ пошла, другая — въ Петербургъ замужемъ за какимъ-то важнымъ бариномъ... Я встрѣтила ее какъ-то и подойти не посмѣла... Или тамъ, у насъ... Каждый вечеръ я пою передъ полупьяной толпой... Чего не наслушаешься, чего не насмотришься!.. Громадная зала, клубы дыма, озвѣрѣлыя лица, пьяныя замѣчанія, пьяное чавканье... Чѣмъ гаже пѣсня, тѣмъ больше успѣхъ... А потомъ отдѣльный кабинетъ... Не имѣю права уѣхать домой раньше, не имѣю права отказываться отъ приглашеній въ кабинеты... Ну, простите! Не буду вамъ рассказывать про наши гадости... Только вы поймите: вѣдь это каждую ночь!.. Если бы не было ради кого это все выносить—вѣдь не вынести, нѣтъ... Другія пьютъ, тѣ выносятъ... А я не могу... За то у меня

Зойка!.. Здѣсь я какъ во снѣ, точно это не я... Точно это не на самомъ дѣлѣ... А на самомъ дѣлѣ только то, что тамъ въ Москвѣ, въ Спасскомъ переулкѣ... И все вдругъ сдѣлается легко, когда почувствуешь, что есть цѣль, а есть цѣль, значить есть и смыслъ, и оправданіе... Вотъ и Ладошинъ,—она опять показала на портретъ,—говорить постоянно: фактъ самъ по себѣ—ничто; важно: почему и зачѣмъ, мотивъ и слѣдствіе...

— Ладошинъ?—съ испугомъ спросила Бараева.

— Да... Вотъ этотъ...

— Это сынъ красиваго полковника?

— Да, сынъ... А вы знаете отца?

— Н... не много,—отвѣтила, едва выговаривая слова, Бараева.

— Онъ очень красивый, но скучный мнѣ показался... А я скучныхъ не люблю... Онъ едва двигается, едва говоритъ, точно боится расплескать свою красоту... А я люблю движеніе, шумъ, жизнь. Для меня страшнѣе всего отсутствіе жизни. Плакать, мучиться страдать—все лучше этого...

Бараева встала со своего мѣста и сдѣлала нѣсколько шаговъ, точно хотѣла уйти, потомъ опять вернулась и сѣла.

„Рыбка“ не замѣчала ея волненія и продолжала говорить точно сама съ собой.

— Вотъ еще что страшно: думать. Это ужъ страшнѣе всего... Я такъ боюсь этого, что когда мнѣ не съ кѣмъ говорить, то я съ моей Альвиной разговариваю, или по телефону... Вызову телефонную барышню и говорю съ нею. Впрочемъ, я рѣдко одна бываю...

— Вы и мать его знаете?—спросила Бараева, садясь рядомъ съ нею.

— Чью?—спросила она, не понявъ вопроса.

— Вотъ этого... Ладошина...—стараясь быть спокойной, сказала Бараева.

— Никогда не видала, а сынъ не любитъ говорить со мною о ней... Для него мать стоитъ отдѣльно ото всѣхъ людей, для нея у него особая мѣрка и особое чувство, что-то религіозное... Отца онъ почти презираетъ... Онъ—гадость!

— Почему?—упавшимъ голосомъ спросила Бараева.

— Гадость! Боится жены и живетъ на ея счетъ... Сына познакомилъ со своей любовницей и дрожитъ, что тотъ выдастъ его матери...

— Какой любовницей?—съ ужасомъ спросила Бараева.

— У него какая-то французенка есть... Не молодая уже... И онъ представилъ ей сына!! Каковъ?!

— Онъ, говорятъ, разводится,—едва переводя дыханіе, сказала Бараева.

— Никогда! Чѣмъ же онъ жить будетъ? Все состояніе жены... Онъ выпрашиваетъ у нея по сотнямъ рублей и обманываетъ на каждомъ шагу... Теперь у него новая есть... Сынъ говорилъ мнѣ...

— Кто же?.. Кто?

— Не могу вспомнить... Онъ говорилъ, что у отца есть тайная квартира, куда онъ бѣгаетъ каждый вечеръ, смѣялся надъ его разными уловками и хитростями, трусостью передъ женой и всякими изворотами...

— А не называлъ вамъ ее?..

— Н-не помню... Кажется, нѣтъ... Впрочемъ, я думаю, онъ и самъ имъ счетъ потерялъ... Да что съ вами?

Бараева поблѣднѣла какъ полотно и безпомощно опрокинулась на спинку дивана. „Рыбка“ съ испугомъ стала трясти ее за плечи, разстегнула ей воротъ, достала одинъ изъ своихъ флаконовъ и стала растирать ей виски и шею одеколономъ. Вдругъ какой-то стонъ прорвался изъ сдавленнаго горла, Бараева обхватила „Рыбку“ за плечи и—прильнувъ къ ней, стала плакать искренно и горячо. „Рыбка“ обняла ее и шептала ей слова утѣшенія.

— Оля! Бѣдная моя Оля! Бѣдная моя Оля!—твердила Бараева.

„Рыбка“ ничего не понимала, но чувствовала, что Оля—это дочь и что такъ плакать можетъ только мать. И она уже не утѣшала ее, а только ласково прижалась къ ней и плакала вмѣстѣ съ нею, но плакала надъ своимъ горемъ.

— Она всю зиму видѣлась съ нимъ,—шопотомъ говорила Бараева.—Любить его до безумія, вѣрить, что будетъ его женой... Ей не пережить этого, не пережить...

„Неужели Зоя не переживетъ? Неужели? Неужели?—твердила про себя „Рыбка“. Нѣтъ! Нѣтъ! Я съ ума сойду отъ горя“...

— Бѣдная моя Оля! Милая дѣвочка моя! За что тебѣ это? за что? И чѣмъ помочь? Чувствую, что сердце у меня живой вырываютъ, и не могу помочь ей... Не могу!..

Бараева, вся съеженная, прильнула къ своей молодой спутницѣ, и ея строгое сѣрое платье потонуло въ обильныхъ, мягкихъ складкахъ свѣтлаго балахона „Рыбки“. Та съ бережной лаской обняла ее сѣдѣющую голову и склонилась надъ нею своей золотой головкой, обрамленной розовыми бантиками.

И горькія, неудержимыя рыданія обѣихъ женщинъ слились въ одинъ сплошной вопль.

Было уже поздно, когда Бараева проснулась. Ей снилось, что умеръ одинъ знакомый, на высокій постъ котораго она давно прочила мужа. И во снѣ она волновалась, что этого не случится, спѣшила куда то „ходатайствовать“, бѣжала вверхъ по лѣстницѣ, оборвалась, полетѣла внизъ и проснулась, сильно вздрогнувъ.

— „Лѣстница! Это хорошо,—подумала она, еще не открывая глазъ.—А вотъ упасть—не хорошая примѣта...“

Она оглянулась. Ея спутницы въ купѣ не было, а на ней самой лежало ея сѣрое пальто. Ей вдругъ вспомнилось какъ вчера, послѣ долгихъ рыданій, она стала дрожать точно въ лихорадкѣ, и какъ эта „барышня“ бережно уложила ее и закрыла своимъ пальто. Бараева встала, быстро повѣсила его на крючекъ и стала приводить въ порядокъ свой туалетъ.

Въ дверь вошла „Рыбка“. Она была уже совсѣмъ одѣта и причесана по вчерашнему, съ блестящимъ гребнемъ въ косѣ. Глаза были опять густо обведены чернымъ карандашемъ и тонкія черныя брови удлинены на вискахъ. Легкій, искусственный румянецъ дѣлалъ ея щеки полнѣе и больше, и вообще вся она, завернутая въ сѣрую мягкую ткань, казалась точно крупнѣе ростомъ и старше.

— Проснулись?—привѣтливо сказала она Бараевой. — Я все смотрѣла на васъ и удивлялась: какъ вы можете спать въ перчаткахъ, а главное въ высокихъ кожаныхъ башмакахъ?! А мнѣ такъ совѣстно,—я васъ заговорила вчера... Это оттого, что я ничего не ѣла за обѣдомъ, а только пила по глоткамъ холодное шампанское... Вотъ и завела себя. Не могла остановиться, пока заводъ не кончился... Простите...

Она говорила это спокойно унылымъ тономъ, неподходящимъ ко всему ея виду.

— А вы не спали?—спросила Бараева.

— Ни минуты... Плакала, плакала, потомъ испугалась, что не успѣю во время одѣться и причесаться... Вѣдь на это часа два нужно, когда нѣтъ горничной... Такъ и провозилась... Вотъ и Москва скоро... Навѣрное, сестренка встрѣтитъ меня... Господи! Господи!—съ испугомъ проговорила она и опять стала мелко-мелко креститься по срединѣ груди.

Она замолчала, сѣла на диванъ и сидѣла неподвижно, пока не пришли отбирать билеты. Тутъ она вскочила, опять заторопилась, надѣла свою огромную шляпу, приколола ее по всѣмъ направленіямъ блестящими шпильками, повязала вуаль, накинула на себя сѣрое пальто со шлейфомъ и бросилась въ корридоръ къ окну.

Бараева сидѣла все время, точно застывшая, точно каменная.

Сѣрый мартовскій день заволокъ Москву тяжелымъ гу-

маномъ. Длинная деревянная платформа Николаевской дороги была покрыта скользкой сѣрой пеленой.

— Маня! — крикнула „Рыбка“, увидѣвъ дѣвочку лѣтъ двѣнадцати, пристально глядѣвшую на подѣзжавшіе вагоны.

— Что? что Зойка? — кричала ей черезъ двойное стекло „Рыбка“.

Бараева, не торопясь, собрала свои вещи, сдала ихъ по счету носильщику и осторожно вышла изъ вагона. На платформѣ она услышала за собой чьи-то быстрые шаги, кто-то взялъ ее за руку повыше локтя и бросился къ ней на шею.

— Жива! Жива! — радостно говорила „Рыбка“, цѣлуя рыхлыя щеки Бараевой. — Доктора говорятъ: спасена! Счастье-то какое!

И она опять бросилась цѣловать Бараеву.

Та сдержанно отстранилась отъ нея и испуганно оглянулась кругомъ.

Ек. Лѣткова.

Театръ и зрители.

У Бѣлинскаго въ одной статьѣ есть мѣсто, полное восторженныхъ признаній по отношенію къ театру. „Театръ, театр,— писалъ онъ въ петербургскій періодъ своей дѣятельности,—какимъ магическимъ словомъ былъ ты для меня во время оно! какимъ невыразимымъ очарованіемъ потрясалъ ты тогда всѣ струны души моей, и какіе дивные аккорды срывалъ ты съ нихъ! Въ тебѣ я видѣлъ весь міръ, всю вселенную, со всѣмъ ихъ разнообразіемъ и великолѣпіемъ, со всей ихъ заманчивой таинственностью. Такъ сильно было твое на меня вліяніе, что даже и теперь, когда ты такъ обманулъ, такъ жестоко разочаровалъ меня, даже и теперь этотъ, еще пустой, но уже ярко-освѣщенный амфитеатръ, и медленно собирающаяся въ него толпа, эти нескладные звуки настраиваемыхъ инструментовъ, даже и теперь все это заставляетъ трепетать мое сердце какъ бы отъ предчувствія какого-то великаго таинства, какъ бы отъ ожиданія какого-то великаго чуда, сейчасъ готоваго совершиться передъ моими глазами“... И теперь, изъ той публики, которая ежедневно наполняетъ наши театры, очень многіе подпишутся подъ словами Бѣлинскаго; для многихъ театръ замѣняетъ природу, и „вѣчно-голубой куполъ неба“, „свѣтозарное солнце“, „блѣдноликая луна“ теряются передъ „тряпичными облаками“, „холстинными деревьями“ и „деревянными морями“ театра. Любовь къ театру со временъ Бѣлинскаго выиграла, если не въ силѣ и глубинѣ, то въ распространенности; сцена несомнѣнно приблизилась къ массѣ и общественное значеніе театра возросло.

Но каково это значеніе? Въ чемъ, главнымъ образомъ, проявляется вліяніе театра? Какъ отражается любовь къ зрѣлищамъ на характерѣ зрителей и на общественной жизни? — это и до сихъ поръ, какъ во времена Д'Аламбера и Руссо, какъ въ далекія эпохи древняго театра, вызываетъ разногласія и споры.

Наиболѣе употребительные афоризмы называютъ театръ ареной, по которой проходитъ жизнь, поучающая и наставляющая, осуждающая порокъ и приучающая любить добро. Театръ „это

мораль, приведенная въ дѣйствіе, это—правила, сведенныя къ примѣрамъ“,—писалъ Д'Аламберъ. Въ сценическихъ представленіяхъ заключается могучее орудіе для укрѣпленія добрыхъ чувствъ и смягченія нравовъ, и наиболѣе разумнымъ народнымъ развлеченіемъ слѣдуетъ считать театръ; его надо приблизить и сдѣлать общедоступнымъ для тѣхъ, кто до сихъ поръ еще не знакомъ или мало знакомъ съ его облагораживающимъ вліяніемъ, кто ищетъ отдыха въ удовлетвореніи грубыхъ наклонностей и низменнаго вкуса. Конечно, такую роль можетъ играть только хорошій театръ, съ пьесами, художественное значеніе которыхъ несомнѣнно и которыя, не навязывая зрителю насильно моральныхъ поученій, незамѣтно для него закладываютъ въ его душу сѣмена любви къ людямъ и состраданія къ ихъ несчастіямъ. Пускай въ пьесѣ порокъ торжествуетъ, но симпатіи зрителя отъ этого не переносятся въ сторону порока: наоборотъ, публика (какъ опять-таки говоритъ Д'Аламберъ) пріучается „цѣнить добродѣтель несчастную и загнанную“.

Но рядомъ съ этимъ безусловнымъ признаніемъ нравственнаго значенія театра, раздаются голоса, повторяющіе и теперь аргументы Руссо противъ спектаклей. Сценическимъ представленіямъ отводится видная роль въ распространеніи пороковъ и преступленій среди современнаго общества; театръ,—говорятъ порицатели сцены,—дѣлаетъ преступника привлекательнымъ, онъ воспитываетъ страсти, которыя безъ него дремали и не выходили изъ обычнаго уровня; онъ побуждаетъ къ насиліямъ и вызываетъ стремленіе эффектно чинить преступленіями. Конечно, это дѣйствіе производитъ дурной репертуаръ, но что называть дурнымъ? Предсѣдатель Ріомскаго апелляціоннаго суда, Проаль, въ обширномъ изслѣдованіи „Le crime et le suicide passionnels“ приводитъ массу примѣровъ изъ своей судебной практики, въ которыхъ театръ игралъ важнѣйшую роль, какъ вдохновитель и руководитель преступленій. И какой театръ! Шекспиръ, Расинъ, Альфіери—корифеи драматической литературы, пьесы, въ теченіе вѣковъ питавшія сцену и, по мнѣнію защитниковъ театра, по-немногу прививавшія челоуѣчеству добрыя чувства къ ближнимъ, и смягчавшія нравы! Макбетъ, леди Макбетъ, Ричардъ III, Отелло—все это, по мнѣнію Проалья, герои скамьи подсудимыхъ, заражающіе своимъ примѣромъ тѣхъ, кто безъ ихъ участія не попалъ бы въ окружный судъ. Талантъ поэта придаетъ такой блескъ изображенію преступной страсти, что отнимаетъ у нея всю ея уродливость, и въ концѣ концовъ зритель проникается сочувствіемъ къ благороднымъ убійцамъ, страстнымъ преступникамъ, геройскимъ похитителямъ чужой жизни или чужого счастья. Но „нельзя организовать общество изъ убійцъ, изъ Орестовъ, Отелло, Герміонъ и Медей; ихъ мѣсто не въ обществѣ, а въ тюрьмѣ“. Точно также нельзя научить цѣломудрію, изображая непреодо-

долимую силу любви; нельзя насадить добрыхъ чувства, заставляя героиню кричать „убей его“, нельзя внушить отвращеніе къ преступленіямъ, приучая къ ихъ виду и т. д., и т. д.

Очевидно, между оцѣнкой нынѣшнихъ порицателей театра и той характеристикой сценическихъ представленій, которую когда-то далъ Руссо, большой разницы нѣтъ. Очевидно, и теперь далеко не всѣ согласны признать за театромъ значеніе, которое приписывается ему людьми, находящими въ немъ одно изъ самыхъ „разумныхъ народныхъ развлеченій“. Руссо признавалъ возможнымъ сохранить театръ только для одной категоріи зрителей, для той, которой нечего терять, которая въ достаточной степени испорчена и не можетъ болѣе развратиться. „Когда народъ развращенъ, спектакли для него хороши; они вредны, когда онъ самъ хорошъ... Комедія не можетъ нанести вреда, если ничто уже не въ состояніи причинить его“. Въ противоположность ему Д'Алемберъ говорилъ, что театральныя представленія болѣе полезны народу, сохранившему свои нравственные устои, чѣмъ потерявшему правила честной жизни. И теперь, черезъ много лѣтъ послѣ этого спора, не смотря на поразительный ростъ театровъ и сильно развитую потребность къ зрѣлищамъ, еще не существуетъ тѣхъ незыблемыхъ аргументовъ, на основаніи которыхъ можно было бы убѣдить противниковъ театра, что распространеніемъ сценическихъ представленій не создается школа для разврата, преступленій, порочныхъ наклонностей и человѣконенавистныхъ поступковъ.

Допустимъ, однако, что всѣ эти споры приведены къ желанному концу, что разногласій о вліяніи той или другой пьесы на чувства зрителя нѣтъ; что репертуаръ, вызывающій „благодатныя слезы“, выработанъ окончательно, и преступные призывы не раздаются болѣе со сцены. Допустимъ, что мы имѣемъ дѣло съ однимъ только „хорошимъ“ репертуаромъ, съ пьесами, дѣйствительно пробуждающими въ зрителяхъ сочувствіе къ добру и отвращеніе къ пороку. Каково будетъ дальнѣйшее вліяніе театра на зрителя? Можно-ли, выражаясь картинно, затушить пролитыми въ театрѣ слезами хотя частицу того пожара страданій и горя, съ которыми знакомить насъ сцена? Въ одномъ наивномъ французскомъ стихотвореніи говорится:

Heureux qui sur le mal se penche, et souffre, et pleure,
Car la compassion refléurit en vertus;
Et sur l'humanité pour la rendre meilleure,
Nos pleurs n'ont qu'à tomber, n'étant jamais perdus.

(т. е. Блаженъ, кто склоняется надъ несчастьемъ и при видѣ его страдаетъ и плачетъ, потому что состраданіе, расцвѣтши, становится добродѣтелью. И, чтобы сдѣлать человѣчество лучшимъ, нашимъ слезамъ достаточно упасть: онѣ не пропадутъ никогда).

Правда ли это? Не то правда ли, что „благодатныя слезы“, вызываемыя театральными представленіями, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ непремѣнно сопровождаются благодатными же практическими послѣдствіями,—за такой результатъ могутъ ручаться только очень наивные люди;—правда ли, что, если я, зритель, присутствуя сегодня въ театрѣ, „надъ вымысломъ слезами обольюсь“ и также поступлю завтра и черезъ мѣсяцъ, и черезъ годъ, то въ моемъ поведеніи произойдутъ такія существенныя измѣненія, что сумма причинъ, вызывающихъ видимыя и невидимыя міру слезы, должна уменьшиться? Правда ли, что, вызывая во мнѣ состраданіе, театръ *этимъ самымъ* воспитываетъ во мнѣ агента добродѣтели и сокрушителя порока? Другими словами, представляетъ ли собой театръ (разумѣется хорошій, по своему репертуару, театръ) всегда орудіе единенія людей между собою и не носитъ ли онъ въ себѣ зародыша обратнаго вліянія на зрителя?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ и составляетъ цѣль настоящей статьи. Только этими рамками и ограничимъ свой предметъ, оставляя въ сторонѣ вопросъ объ эстетикѣ вообще, о театральной эстетикѣ въ частности и объ отношеніяхъ между эстетикой и моралью.

I.

Много лѣтъ тому назадъ Клодъ Бернаръ производилъ опыты надъ вліяніемъ кураре на нервную систему. Сильный ядъ, который, какъ говорятъ, индійцы намазываютъ свои стрѣлы, послужилъ въ рукахъ знаменитаго французскаго изслѣдователя средствомъ къ замѣчательному физиологическому анализу и къ открытію нѣкоторыхъ важныхъ свойствъ периферическихъ нервовъ. К. Бернаръ вводилъ кураре подъ кожу животнаго или впрыскивалъ ядъ въ сосуды и получалъ картину двигательнаго паралича: движенія животнаго были уничтожены, ни одно раздраженіе не вызывало за собой соотвѣтственной реакціи въ мышцахъ, и, если дѣйствіе яда продолжалось, наступала смерть вслѣдствіе паралича дыхательныхъ мускуловъ. Дальнѣйшіе опыты показали К. Бернару, что, хотя животное и кажется парализованнымъ, но кураре вліяетъ не на мышцы, которыя сохраняютъ свою сократительную способность, а на двигательные нервы, проводящіе къ мышцамъ сократительный импульсъ. При этомъ чувствительность сохранена въ полной степени; такъ называемые задніе корешки нервовъ, проводящіе внѣшнее раздраженіе къ центру, нисколько не страдаютъ отъ вліянія яда. Клодъ Бернаръ извлекъ изъ этихъ опытовъ очень важные научные выводы, но насъ въ данный моментъ интересуютъ не дальнѣйшія заключенія, а картина того болѣзненнаго состоянія, которое получается послѣ впрыскиванія

кураре: чувствительность сохранена, мускульная сократительность не уменьшилась, и тѣмъ не менѣе животное лежитъ безъ движенія вслѣдствіе паралича двигательныхъ нервовъ.

Вотъ краткая и приблизительная схема того вліянія, которое оказывать театръ на зрителей. Приблизительной мы считаемъ ее потому, что чувствительность зрителя не остается въ прежнемъ состояніи, а растетъ и повышается. Съ этой повышенной чувствительностью соединяется парализованная двигательная способность, вслѣдствіе кратковременнаго или продолжительнаго паралича двигательныхъ нервовъ. Театръ, какъ кураре, не уничтожаетъ въ зрителѣ сократительную способность мышцъ; зритель могъ бы, если бы захотѣлъ, крикнуть, броситься на сцену, вмѣшаться въ игру актеровъ; но онъ этого не дѣлаетъ и не сдѣлаетъ вслѣдствіе того, что двигательные нервы его не передаютъ мышцамъ импульса къ сокращенію. И это вліяніе на зрителей ставитъ театръ въ совершенно особые условія, придавая ему ту тенденцію, которой другія игры лишены.

Въ самомъ дѣлѣ, что прежде всего и больше всего характеризуетъ всякія игры, изъ какихъ бы мотивовъ онѣ не возникали,—изъ избытка ли энергій, или изъ инстинкта, побуждающаго производить такія движенія, которыя впослѣдствіи будутъ примѣнены съ полезной цѣлью? Несомнѣнно активность участниковъ. Молодая собака не можетъ видѣть игры другой собаки безъ того, чтобы не принять дѣятельнаго участія въ ея прыжкахъ и бѣгахъ. Стремительные скачки одной немедленно передаются другой; ея притворное остервенѣніе противъ того или другого предмета немедленно вызываетъ активную ненависть къ этому предмету со стороны другого животного, и какаянибудь тряпка, мирно покоившаяся на землѣ и не возбуждавшая своимъ видомъ ничьего вниманія, во время игры внезапно становится такой драгоценностью, за обладаніе которой участвующіе въ игрѣ притворно кусаютъ и валяютъ на землю другъ друга. И хотя они играютъ въ злобныя чувства, но нигдѣ, можетъ быть, общественность не проявляется съ такой очевидностью, какъ въ игрѣ; чувства одного животного, заражая другого, вызываютъ съ его стороны дѣятельное сочувствіе, т. е. немедленное активное вмѣшательство *).

Въ дѣтскихъ играхъ можно найти много сходства съ тѣмъ, что наблюдается у животныхъ. То же самое мы найдемъ и въ вѣкоторыхъ играхъ взрослыхъ, но ничего подобного не замѣтимъ мы въ той игрѣ, которая называется театромъ. Здѣсь въ качествѣ необходимаго участника присутствуетъ лицо, которое не попадаетъ въ другихъ играхъ; это лицо—зритель. Нѣкоторыя указанія на его существованіе мы можемъ найти и у животныхъ,

*) Мы говоримъ, конечно, объ играхъ животныхъ одного вида и не беремъ въ примѣръ игры кошки съ мышью.

въ особенности у птицъ. Прежде всего извѣстны примѣры подражанія пѣнію. Дикая канарейка подражаетъ пѣнію другихъ птицъ съ большимъ талантомъ; американскій пересмѣшникъ подражаетъ всему, чему угодно, даже скрипѣнію петель, попугай говорить и т. д. Все это примѣры, показывающіе, что животныя прислушиваются къ звукамъ и, такимъ образомъ, въ теченіе извѣстнаго времени изображаютъ изъ себя слушателей, вся роль которыхъ заключается въ воспріятіи впечатлѣній, даваемыхъ актерами. Доказано въ то же время, что птицы одного вида учатся пѣнію у лучшихъ образцовъ того же вида, т. е. опять-таки обнаруживаютъ умѣнье прислушиваться и, на время лишаясь активности, только воспринимать впечатлѣнія, даваемые другими. Насколько въ данномъ случаѣ играетъ роль сознательный элементъ и насколько дѣйствуетъ инстинктъ, сказать трудно, но, какъ бы то ни было, нѣкоторое сходство съ нашими концертными слушателями мы находимъ въ животномъ царствѣ. Можемъ мы найти и любовь къ зрѣлищамъ. Не приводя большого количества примѣровъ, остановимся на самыхъ характерныхъ. *Rupicola*, птицы Южной Америки, по свидѣтельству Гудсона, выбираютъ для сцены плоское мѣсто, покрытое мхомъ, окруженное кустарниками и сохраняемое въ чистотѣ. Птицы собираются вокругъ этой арены; самецъ съ ярко краснымъ гребешкомъ и опереньемъ выходитъ впередъ и, распустивъ крылья и хвостъ, начинаетъ танцовать нѣчто въ родѣ менуэта. Увлекаемый артистическимъ пыломъ, онъ прыгаетъ, кружится и, наконецъ, оставляетъ арену истощенный. Другія птицы въ это время смотрятъ на него и когда онъ кончаетъ, на его мѣсто становится другой, продѣлывающій то же самое, потомъ третій и т. д. Это, пожалуй, наиболѣе характерный примѣръ зрѣлищъ въ животномъ мірѣ, дѣйствительный театръ, гдѣ на ряду съ актерами присутствуетъ толпа зрителей. Но этотъ зритель особенный: онъ держится въ бездѣйствіи лишь извѣстное время, а затѣмъ самъ становится на мѣсто актера и исполняетъ тѣ же танцы.

Въ книгѣ Гроса объ играхъ животныхъ приводится нѣсколько примѣровъ созерцанія зрѣлищъ болѣе высшими животными. Собака, смотрящая черезъ окно на улицу, представляетъ наиболѣе извѣстный примѣръ. Шрейнеръ имѣлъ прирученную дикую козу, любимымъ занятіемъ которой было созерцаніе того, что дѣлается на улицѣ; она ставила переднія ноги на подставку передъ окномъ и наблюдала за проходившей публикой и проѣзжавшими экипажами. Такая же любовь къ созерцанію отмѣчена многими наблюдателями у обезьянъ, у сорокъ, даже у гусей. Слѣдовательно, нѣкоторой наклонности къ пассивному созерцанію отрицать въ животныхъ нельзя. И тѣмъ не менѣе зрителя, подобнаго нашимъ посѣтителемъ драматическихъ театровъ, среди животныхъ мы не находимъ по той простой причинѣ, что ихъ игры, на которыхъ

присутствуютъ постороннія животныя, рѣзко отличаются отъ нашего театра.

Существуютъ двѣ большихъ группы игръ: однѣ затѣваются для личнаго удовольствія, другія имѣютъ въ виду воздѣйствіе на постороннихъ. Притворная драка молодыхъ собакъ или бѣганье кошки за бумажкой, забавляютъ непосредственныхъ участниковъ игры и болѣе не имѣютъ въ виду никого. Пѣніе птицъ, турниры между ними, зрѣлища, о которыхъ говоритъ Гудсонъ — очевидно рассчитаны на товарищей, не принимающихъ прямого участія въ игрѣ. Въ этомъ существенное различіе между обѣими группами. Въ каждой изъ нихъ можетъ присутствовать или нѣтъ въ качествѣ необходимаго элемента иллюзія, добровольный самообманъ, представление дѣйствительности при сознаніи, что дѣйствительныхъ чувствъ нѣтъ. Иллюзія составляетъ необходимую принадлежность нашего театра, она входитъ обязательнымъ ингредиентомъ въ игры дѣтей, изображающихъ казаковъ и разбойниковъ, ею обусловливается пылъ, съ которымъ валяютъ другъ друга на землю играющіе щенята. Все это актеры, представляющіе вымышленныя чувства и находящіе удовольствіе и смыслъ игры въ притворствѣ и вымыслѣ. Въ противоположность нашему театру, всѣ эти проникнутыя иллюзіей игры не нуждаются въ зрителяхъ. И щенята, и дѣти притворяются для собственнаго удовольствія, а не для развлеченія постороннихъ. Съ другой стороны, тѣ игры животныхъ, гдѣ присутствуютъ зрители, не требуютъ иллюзіи. Птица поетъ, *gipsicola* танцуетъ, не притворяясь, а отдавая дѣйствительнымъ чувствамъ. Если танцы имѣютъ цѣлью довести любовныя чувства присутствующихъ до экстаза, то производится это не изображеніемъ вымышленнаго экстаза со стороны актеровъ, а передачей испытываемыхъ ими чувствъ и вполне искренняго увлеченія.

Однимъ словомъ, игра животныхъ или не сопровождается иллюзіей и въ такомъ случаѣ можетъ имѣть зрителей, или симулируетъ жизнь, но въ такомъ случаѣ въ зрителяхъ не нуждается. Только человѣческій театръ одновременно удовлетворяетъ обоимъ условіямъ: создаетъ иллюзію и имѣетъ зрителей, и это свойство его странно выдѣляетъ положеніе зрителя изъ общей жизни животныхъ и людей.

Существуетъ извѣстная теорія, по которой всякая игра является подготовкой къ дѣйствительной жизни: животное развивается во время игры тѣ мускулы, исполняетъ тѣ движенія, содѣйствіе которыхъ необходимо для успѣха въ жизни. Какъ и всѣ исключительныя теоріи, она не заключаетъ въ себѣ, вѣроятно, всей истины, но часть истины въ ней, конечно, есть. И котенокъ, играющій съ неодушевленными предметами, и щенокъ, таскающій за ухо товарища, приучаютъ себя къ дальнѣйшей серьезной дѣятельности. Къ какого рода дѣятельности приучаетъ

зрителя театр? Прежде всего къ бездѣйствию. Въ бездѣйствиі его функція и всякое проявленіе жизни, кромѣ апплодисментовъ или вызововъ, или шиканья, уничтожило бы весь смыслъ театра.

Фаге въ предисловіи къ „Drame ancien et drame moderne“ приводитъ слѣдующій рассказъ: Въ маленькомъ городкѣ, въ глуши Брабанта, представлялась кровавая драма; убійства слѣдовали одно за другимъ. Мирные буржуа города въ молчаніи взирали на то, какъ передъ ними убили двухъ или трехъ человекъ, но затѣмъ мѣра ихъ терпѣнія истощилась: они взошли толпой на сцену и положили конецъ представленію криками: „довольно кровопролитія!“ Извѣстны также многочисленные рассказы, какъ зрители изъ народа, мало знакомые съ условіями сцены, помогаютъ своими совѣтами дѣйствующимъ лицамъ, указываютъ, гдѣ скрываются разыскиваемые актеры, дѣлаютъ разъясненія относительно того или другого инцидента, повергающаго дѣйствующее лицо въ недоумѣніе и т. д. Все это проявленія дѣятельности, уничтожающія самое понятіе о зрителѣ и театрѣ. Зритель обреченъ на пассивность, онъ долженъ сидѣть, смотрѣть и слушать, и выражать свое удовольствіе или неудовольствіе только по поводу игры или пьесы, но никакъ не изъ-за поступковъ дѣйствующихъ лицъ, дающихъ ему иллюзію жизни. Онъ хлопаетъ негодяю и выражаетъ негодованіе благородному человѣку, когда видитъ дурное исполненіе благородной роли. Онъ можетъ увѣнчать лаврами Яго и осмѣять Дездемону. Критерій нравственности не то чтобы мѣняется, но до такой степени застигается вопросами формы и удовлетвореніемъ эстетической потребности, что вѣнчаніе порока и осмѣяніе добродѣтели, какъ внѣшнія выраженія отношеній, существующихъ между зрителемъ и актеромъ, нерѣдки. „Никогда,—говорится въ воспоминаніяхъ одного актера,—не имѣлъ я такого успѣха, никогда сочувствіе публики не было такъ очевидно для меня и никогда такъ не увлекалъ я ее, какъ въ роляхъ злодѣевъ и негодяевъ“. Само собой понятно, что сочувствіе публики относилось не къ злодѣю, не къ его поступкамъ, а къ артисту, который въ искусной формѣ умѣлъ, можетъ быть, представить отвратительную сторону злодѣйства и, какъ принято говорить, пробудилъ въ зрителяхъ ненависть къ пороку. Не подлежитъ, конечно, никакому сомнѣнію, что, апплодируя Левинскому во Францѣ Моорѣ, публика не выражаетъ своего сочувствія дѣяніямъ Франца, не соглашается съ нимъ, что отцовъ надо заключать въ подземелье, морить ихъ голодомъ и въ то же время клеветать на братьевъ и силой помогать любви ихъ невѣсты; ничего подобнаго, конечно, нѣтъ. Но—и въ этомъ главная особенность театра—публика уже по одному тому, что она изображаетъ изъ себя „зрителей“ и только зрителей, поставлена въ невозможность открыто выразить свое негодованіе пороку или

сочувствіе добродѣтели. Посѣтитель театральной залы болѣе эстетикъ, чѣмъ кто бы то ни было. Читатель, напримѣръ, можетъ про того же Франца Моора громко сказать: „негодяй“; въ зрительной залѣ онъ не имѣетъ на это права; онъ долженъ сдерживать свои моральныя требованія и выражать только эстетическій восторгъ или эстетическое недовольство игрой актера, т. е. формой, въ которой представлено негодяйство или доблесть. По выходѣ изъ залы, онъ можетъ быть и моралистомъ, и гражданиномъ, и проповѣдникомъ прикладного искусства, но въ самой залѣ онъ эстетикъ и только эстетикъ; и если бы онъ пересталъ имъ быть, нарушился бы весь порядокъ представленія, и спектакль былъ бы невозможенъ.

Еще большую преграду ставить театръ для приложенія моральныхъ чувствъ зрителя. Передъ нами совершается ужасное злодѣйство: Яго вноситъ ядъ въ мирную семью Отелло, клеветаетъ на невинную Дездемону, хладнокровно подготавливаетъ убійство, а мы молчимъ и допускаемъ это. Моральное чувство въ насъ не уничтожено, напротивъ мы въ душѣ негодуемъ и возмущаемся злодѣянiami Яго и всѣмъ сердцемъ, можетъ быть, жалѣемъ Отелло и Дездемону, но наружно мы не проявляемъ ни этого негодованія, ни нашей жалости. И чѣмъ сильнѣе наше сочувствіе,—чѣмъ живѣе иллюзія, тѣмъ болѣе велико тормозящее вліяніе театра на нашу активность. Если бы съ злодѣйствами Яго познакомились добрые буржуа Брабанта, то, быть можетъ, они уже въ третьемъ актѣ крикнули бы Отелло, что все вздоръ, что платокъ украла Эмилиа, что подъ личиной привязанности и добраго расположенія Яго скрываетъ черную душу и злодѣйскіе замыслы; и все было бы кончено, и продолженіе драмы стало бы невозможно. Они уничтожили бы спектакль, но исполнили бы свою обязанность нравственнаго человѣка, вмѣшивающагося въ дѣла другихъ, при видѣ попораной справедливости. Немного искусившись въ театральныхъ зрѣлищахъ, они уже не сдѣлали бы ничего подобнаго, они уже привыкли бы сдерживать негодующее чувство и подчинять свои моральныя требованія эстетическому наслажденію. Временами ихъ чувство возмущалось бы, ихъ сочувствіе несчастнымъ достигало бы высокой степени; еще немного и оно выразилось бы въ дѣйствіи, въ дѣятельномъ добрѣ, въ помощи страдающимъ, но этого, немного нѣтъ и не будетъ; они—зрители и, какъ зрители, должны сдерживать себя.

Таковъ неизбѣжный, не подлежащій сомнѣнію результатъ театра. О благотворномъ или развращающемъ вліяніи послѣдняго на добрые нравы можно спорить; можно находить или нѣтъ удовлетвореніе въ томъ, что театръ приближается къ народу и народъ начинаетъ цѣнить театръ, но не можетъ быть споровъ объ этой сторонѣ вліянія театра: онъ приучаетъ къ сдержанности, какъ бы ни было взволновано или возмущено наше моральное

чувство. Можно и это вліяніе разсматривать различно, находя его благодѣтельнымъ или вреднымъ. Но самый фактъ отрицать нельзя: въ психическомъ процессѣ, который сопровождаетъ раздраженіе и который въ конечномъ результатѣ долженъ приводить къ дѣйствію, театръ развиваетъ два первые фазиса и уничтожаетъ или дѣлаетъ незамѣтными два послѣдніе.

Всякій психическій актъ въ простѣйшей формѣ можетъ быть сведенъ къ извѣстнымъ намъ четыремъ моментамъ рефлекса: полученію внѣшняго раздраженія, передачѣ его центру, посылкѣ импульса органамъ движенія и самому движенію. Въ простѣйшемъ видѣ рефлексъ наблюдается у обезглавленной лягушки: къ извѣстному мѣсту ея тѣла прикасаются раздражающимъ веществомъ; это раздраженіе въ мозговомъ центрѣ (которымъ въ данномъ случаѣ является спинной мозгъ) перерабатывается въ импульсъ, посылаемый органамъ движенія. Результатъ: непосредственно вслѣдъ за тѣмъ, какъ вы прикасаетесь къ спинкѣ лягушки, ея лапка уже стираетъ съ больного мѣста раздражающее вещество. Это самое неподраженное и самое быстрое рефлексивное движеніе. Тѣхъ задерживающихъ центровъ, которые залегаютъ въ головномъ мозгу, въ данномъ случаѣ нѣтъ, и передача импульса органамъ движенія совершается съ очень большой быстротой. Въ другихъ случаяхъ такой быстроты мы не видимъ, и на переработку раздраженія въ движеніе нужно большое время. Въ театрѣ этотъ психическій процессъ не полонъ, или во всякомъ случаѣ его части до такой степени непропорціональны, что одной изъ нихъ мы совершенно не замѣчаемъ. Раздраженіе быстро передается центру. Мы чувствуемъ сильно, мы говоримъ въ душѣ, но этимъ и ограничивается или почти ограничивается все. Задерживающіе центры приходятъ въ дѣйствіе, и непосредственного результата психического процесса, т. е. движенія, не получается. Если хотите, то нѣкоторые слѣды этого движенія вы можете найти въ слезахъ, проливаемыхъ зрителями, но это слишкомъ ничтожный эффектъ для такого большого раздраженія.

Театръ развиваетъ задерживающіе центры; плохо или хорошо съ общественной точки зрѣнія,—это, какъ мы увидимъ ниже, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должно быть оцѣнено различно, но этимъ результатомъ театра уничтожается тотъ социальный характеръ, который носила игра у животныхъ и который она сохранила у дѣтей. Зараза дѣйствіемъ исчезла. Зритель видитъ въ другихъ зрителяхъ только оправданіе своей пассивности; его солидарность съ другими выражается въ совмѣстномъ бездѣйствіи, что во всякомъ случаѣ назвать культурой социальныхъ чувствъ нельзя.

Въ этомъ отношеніи театральное представленіе сильно отличается отъ чтенія. Читатель, знакомясь съ содержаніемъ книги, всегда воспринимаетъ ее, какъ прошедшее. Пусть онъ обладаетъ

мыслимъ воображеніемъ или незнаніемъ условій творчества, какъ тѣ слушатели изъ народа, которые по свидѣтельству руководителей народными чтеніями принимали читаемые имъ рассказы за описаніе дѣйствительныхъ событій, происшедшихъ въ ихъ деревнѣ или недалеко отъ нея,—пусть таковы будутъ читатели, и всетаки книга не сможетъ возбудить въ нихъ такое яркое представленіе дѣйствительности, какъ театръ. Читатель не видитъ передъ собой той гнусности или тѣхъ преступленій, о которыхъ повѣствуетъ книга; они уже прошли. И хотя бы его нравственное чувство было возмущено, онъ не въ такой степени привлекается къ дѣйствію, какъ посѣтитель зрительной залы. Въ наиболѣе захватывающихъ случаяхъ онъ относится къ книгѣ, какъ къ письму, полученному отъ близкихъ людей и рассказывающему о происшедшихъ съ ними несчастіяхъ; онъ волнуется, возмущается, негодуетъ, но помочь уже нельзя и въ развитіи задерживающихъ центровъ для вынужденнаго бездѣйствія нѣтъ надобности: сама судьба ставитъ читателя въ положеніе человека, бездѣйствіе котораго оправдывается обстоятельствами.

Въ театрѣ положеніе иное; къ нему вполне подходятъ слова Неппекинъ, сказанныя о произведеніяхъ искусства вообще: „Волненіе, которое доставляетъ произведеніе искусства, не передается въ дѣйствіяхъ немедленно, и этимъ эстетическіи чувства отличаются отъ чувствъ, возбуждаемыхъ реальными представленіями... Частая практика, доставляемая цѣлой группой ощущеній при помощи фиктивныхъ зрѣлищъ, которыя не могутъ доводить эти чувства до активности, вѣроятно, ослабляетъ тенденцію реальныхъ чувствъ измѣняться въ движеніе... человекъ, привыкшій пользоваться ими, не желаетъ болѣе испытывать другихъ: мечта избавляетъ отъ дѣйствія“... Слова Неппекинъ звучатъ, можетъ быть, чрезмѣрной парадоксальностью въ примѣненіи ко всякому произведенію искусства; но по отношенію къ театру они вполне справедливы: привычка не сопровождать дѣйствіемъ возбужденіе чувствъ должна и въ жизни оказывать тормозящее вліяніе на дѣятельность. Въ театрѣ происходитъ то, что встрѣчается въ такъ называемыхъ сквозныхъ атакахъ. Среди учебныхъ приемовъ, употребляющихся для ознакомленія солдатъ съ боевой техникой, существуетъ одинъ, вліяніе котораго на чувствительность и дѣятельность нѣсколько напоминаетъ вліяніе театра. Одна часть войскъ несется на другую съ такою же стремительностью, какъ во время настоящаго боя. Собственное движеніе, видъ непріятеля, топотъ несущихся лошадей, воодушевленіе товарищей—все это доводитъ возбужденіе каждаго до высокой степени, и чѣмъ болѣе нападающіе приближаются къ цѣли, тѣмъ болѣе разгарается стремленіе найти для своей возбужденности выходъ въ энергичной дѣятельности—бѣжать, рубить, топтать, неистовствовать. Но въ учебныхъ атакахъ это невозможно: передъ нападающимъ не

враги, а товарищи, такіе же, какъ онъ, ученики военнаго дѣла. И страсти сдерживаются, возбужденіе падаетъ, нападающіе тихо проѣзжаютъ между рядами воображаемыхъ непріятелей. Это и есть сквозная атака, относительно благотворнаго вліянія которой на духъ солдата мы находимъ въ одномъ изъ руководствъ къ тактикѣ очень скептическій взглядъ знаменитаго полководца. Онъ считаетъ ихъ вредными, потому что солдатъ приучается къ сдержанности какъ разъ въ тотъ моментъ, когда необходимо ничѣмъ несдерживаемое примѣненіе къ дѣятельности: онѣ доводятъ стремительность до максимума и въ то же время развиваютъ тормазъ, который въ будущемъ несомнѣнно сдѣлаетъ атаку менѣе сильной и разрушительной.

Въ военной практикѣ дѣло касается развитія враждебныхъ чувствъ; театръ возбуждаетъ добрыя чувства. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ чрезмѣрное возбужденіе чувствительности при необходимости сдерживаться должно считаться плохой школой для „бойца“; защищаетъ-ли онъ страну или защищаетъ слабого отъ несправедливостей сильнаго.

Таково непосредственное вліяніе театра независимо отъ дурныхъ или хорошихъ свойствъ представляемыхъ пьесъ. Всѣ пьесы, и хорошія и дурныя, своимъ непосредственнымъ результатомъ имѣютъ развитіе пассивности въ зрителѣ. Понятно, что если привычный посѣтитель театровъ увидитъ на улицѣ, какъ реальный Отелло убиваетъ дѣйствительную Дездемону, онъ не останется въ такой мѣрѣ бездѣятельнымъ, какъ въ театрѣ; въ зависимости отъ своихъ индивидуальныхъ свойствъ, онъ приметъ то или иное рѣшеніе: бросится на убійцу, крикнетъ „караулъ“, побѣжитъ за полиціей,— все это очень возможно при такомъ экстраординарномъ событіи. Но, каждый разъ, какъ только обстоятельства будутъ немного содѣйствовать бездѣятельности при видѣ несчастій другого лица, постоянный театралъный посѣтитель (тотъ, который очень много чувствуетъ, но сравнительно мало думаетъ въ зрительной залѣ) отдастся этой бездѣятельности съ такой же легкостью, съ которой сдерживалъ себя въ театрахъ и выражалъ восторги прекрасной формой, когда нравственное чувство было возмущено. Привычка—деспотъ межъ людей; привычка къ театралънымъ зрѣлищамъ, къ быстрому прохожденію первой стадіи рефлекса и къ сведенію послѣдней до микроскопическихъ размѣровъ, поддерживаетъ принципъ невмѣшательства въ чужую жизнь и создаетъ твердое основаніе для проведенія въ жизнь принципа „моя хата съ краю“.

Эта основная тенденція театра, которую нельзя не назвать противосоціальной, можетъ умѣряться или увеличиваться въ зависимости отъ содержанія пьесъ, но она присутствуетъ непременно, совершенно независимо оттого, нравственна или безнравственна представляемая пьеса. За самыми лучшими, самыми

нравственными пьесами, если онѣ имѣютъ въ виду только взволновать добрыя чувства, въ зрительѣ останется та же прерогатива способствовать развитію въ немъ бездѣтельности и пассивности, дѣлать изъ посѣтителя зрительной залы зрителя въ дѣйствительной жизни.

II.

Итакъ театръ, какъ кураре, имѣетъ непосредственнымъ результатомъ парализъ активности. Что изъ этого слѣдуетъ? То, что театръ долженъ быть уничтоженъ? Что ни одна пьеса, нравственная или безнравственная, не можетъ быть допущена къ представленію? что всѣ корифеи драматической литературы, Шекспиры, Гете, Расины, Альфіери должны быть признаны отравителями? Никто не ожидаетъ, конечно, что мы отвѣтимъ положительно на эти вопросы. Нѣтъ, театръ не долженъ быть уничтоженъ; нѣтъ, корифеи драматической литературы принесли много пользы для развитія того самаго активного стремленія къ обществу, противъ котораго, повидимому, направлена основная тенденція театра. И все это по многимъ причинамъ.

Врачебная наука знакома съ массой органическихъ и неорганическихъ ядовъ. Знаетъ она, какими страшными послѣдствіями сопровождается отравленіе мышьякомъ, какъ губительно дѣйствуетъ на организмъ привычка къ морфію, какой сильный сердечный ядъ заключается въ наперстянкѣ, и однако съ лѣчебными цѣлями она обращается и къ мышьяку, и къ морфію, и къ наперстянкѣ. Употребленіе послѣдней особенно демонстративно для нашего случая. Наперстянка парализуетъ сердце, но въ подходящихъ случаяхъ и въ соотвѣствующихъ дозахъ медицина прибѣгаетъ къ ней именно для оживленія сердечной дѣятельности. Врачъ имѣетъ передъ собой пациента, сердце котораго работаетъ неправильно, покровы отечны, губы сини; дыханіе въ высшей степени затруднено, передъ нимъ картина такъ называемой сердечной асистолии. Но онъ примѣняетъ наперстянку, ту самую наперстянку, которая парализуетъ сердце, примѣняетъ ее въ соотвѣствующей дозѣ и въ подходящий моментъ, — и картина быстро мѣняется: дыханіе становится свободнѣе, сердце работаетъ правильнѣе, отечность исчезаетъ, здоровье восстанавливается. Вотъ поразительный примѣръ примѣненія яда для уничтоженія того эффекта, который можетъ быть произведенъ самимъ ядомъ. Не таково-ли можетъ быть и вліяніе театра? Не можетъ-ли его анти-соціальная тенденція при извѣстномъ примѣненіи способствовать развитію общественности?

Обратимся опять-таки къ животному міру. Біологи говорятъ: „Какъ только интеллектъ настолько разовьется, чтобы быть болѣе полезнымъ въ борьбѣ за существованіе, чѣмъ чистые инстинкты,

естественный подборъ будетъ благопріятствовать индивидамъ, обладающимъ менѣе выработанными инстинктами“. Импульсивная стремительность, которую по отсутствію обдуманности можно приравнять къ инстинктивному движенію, можетъ быть вредна не только для самого индивидуума, но и для общества. Если бы всѣ живыя существа такъ же быстро реагировали на раздраженіе, какъ лягушка, лишенная головного мозга, то ни успѣшная борьба за существованіе, ни тѣмъ болѣе социальная жизнь не были бы возможны. Голодь подсказываетъ, напримѣръ, хищнику броситься на свою жертву немедленно и разорвать ее; но прямое нападеніе можетъ кончиться неудачей, и вотъ животное сдерживаетъ первыя побужденія, прячется, крадется или притворяется спящимъ, однимъ словомъ выжидаетъ и утилизируетъ свои задерживательныя центры для собственнаго благополучія. Правильное функционированіе задерживающихъ центровъ такъ же необходимо и для социальнаго благополучія; нельзя, живя въ обществѣ, отдаваться первымъ побужденіямъ безъ вреда для него; для доказательства этого не надо примѣровъ: необходимость выдержки ясна сама собою.

Слѣдовательно то стимулирующее вліяніе, которое оказываетъ театръ на задерживающіе центры, не всегда носитъ антисоціальныя характеръ; оно нерѣдко можетъ совпадать съ интересами общества, принуждая членовъ его, если не къ забвенію, то къ временному укрощенію своихъ инстинктивныхъ побужденій. Представьте себѣ, что передъ вами публика грубая, мало воспримчивая, съ трудомъ реагирующая на впечатлѣнія, выходящія изъ узко ограниченнаго круга низменныхъ потребностей. Въ области этихъ потребностей такая публика непременно импульсивна и несдержанна, и, какъ только она не связывается посторонней, грубой же силой, она отдается импульсамъ, мало заботясь о послѣдствіяхъ, которыми будетъ сопровождаться ея стремительность. Какое дѣйствіе долженъ оказать на такую публику театръ?

Онъ, какъ мы видѣли, имѣетъ свойствомъ развивать первую стадію рефлекса, быстро доводя внѣшнее раздраженіе до центра и повышая чувствительность. Это какъ разъ то, чего не достаетъ взятой нами для примѣра публикѣ. Театръ разовьетъ ея чувствительность, сдѣлаетъ ее болѣе воспримчивой къ впечатлѣніямъ чужого горя, создастъ для нея цѣлый рядъ новыхъ неиспытанныхъ и неизвѣстныхъ ощущеній и въ то же время принудитъ ее воспитать въ себѣ способность сдерживаться. Человѣкъ, не привыкшій останавливаться надъ чужими страданіями, не замѣчающій ихъ, уносится театромъ изъ тѣхъ узкихъ рамокъ, въ которыхъ замыкалась область его чувствительности; онъ привлекается къ страстному сочувствію къ несчастнымъ и къ слезамъ надъ ихъ мученіями. „Испытывая печаль или радость отъ подобій, мы при-

выкаемъ чувствовать то же и въ дѣйствительности“, — говорилъ еще Аристотель.

Этотъ грубый зритель съ другой стороны способенъ немедленно перейти отъ воспріятія къ дѣйствию; вмѣстѣ съ малой раздражительностью онъ обладаетъ большою импульсивностью. Какъ только мозговой центръ его начинаетъ воспринимать внѣшнее раздраженіе, немедленно наступаетъ рефлексивное дѣйствіе. Это не значитъ, конечно, что если такого импульсивнаго субъекта бьютъ, то онъ тотчасъ же отвѣчаетъ обидчику насиліемъ: подобное внѣшнее раздраженіе можетъ перерабатываться въ его мозгу въ чувство страха скорѣе, чѣмъ въ чувство оскорбленной чести. Но каждый разъ, какъ грубая физическая сила не нависаетъ надъ нимъ, его импульсивность проявляется во всей силѣ. А такъ какъ сфера ощущеній, способныхъ довести его чувства до высокой степени напряженія, ограничена по большей части узко-эгоистическими интересами, то и эффектъ его импульсивности не можетъ носить благотѣльнаго соціального оттѣнка. Понятно, что сдерживая эту импульсивность, театръ не можетъ не имѣть благотворнаго общественнаго значенія. Даже театръ „великихъ страстей“, которымъ жили наши дѣды и отцы и въ значительно меньшей мѣрѣ мы сами, даже мелодрамы были полезны и своей чрезмѣрной слезливостью, и своей обязательной для зрителя пассивностью.

Все это мы говоримъ о публикѣ сравнительно грубой, импульсивной, мало чувствительной и неразвитой. Но вотъ передъ нами зрители тонко чувствующіе, интеллигентные, сдержанные. И условія семейнаго воспитанія и, такъ сказать, „культура вѣковъ“ соединились для того, чтобы сдѣлать ихъ существами, далеко отличающимися отъ наивной театральной публики? Какими свойствами своей фizioноміи долженъ на нихъ дѣйствовать театръ? Онъ развиваетъ чувствительность, но мотивная сторона такихъ зрителей и безъ того повышена. Онъ способствуетъ укрѣпленію задерживающихъ центровъ, вліяетъ парализующимъ образомъ на непосредственный переходъ отъ впечатлѣнія къ дѣятельности, но сдержанность культурнаго зрителя и безъ того велика. Театръ развиваетъ тѣ стороны его характера, которыя и безъ того чрезмѣрно развиты, т. е. увеличиваетъ его недостатки. Онъ приучаетъ его довольствоваться ролью зрителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда для уничтоженія человѣческаго несчастья необходимо активное вмѣшательство, и, увеличивая пассивность, воспитываетъ привычки, характеризуемая девизомъ „моя хата съ краю“. Чувствительный, слезливый, быстро успокаивающійся и пассивный — таковъ постоянный посѣтитель нашихъ театровъ, культурный, буржуазный зритель. Не напоминаніями о страданіяхъ другихъ онъ бѣденъ: онъ знаетъ о нихъ и часто умиляется надъ ними, легко реагируя на всякое упоминаніе о несчастьяхъ. Онъ весь

состоить какъ бы изъ системы резонаторовъ, отзывающихся на внѣшніе звуки и быстро доводящихъ ихъ до центра. А тамъ, въ этомъ центрѣ, находится еще болѣе сложный механизмъ, при помощи котораго заглушаются усиленные резонаторами звуки, и наружу не извлекается ничего, что могло бы свидѣтельствовать объ удивительномъ концертѣ, раздающемся въ душѣ цивилизованнаго человѣка. Борьбѣ тѣхъ чувствъ, которая происходитъ на сценѣ, отвѣчаетъ борьба въ душѣ зрителя: задерживающіе центры борются съ непрерывно поднимающейся волной интенсивныхъ чувствъ, глушатъ эти чувства, связываютъ ихъ и прячутъ въ какой то тайникъ, откуда они не могутъ выдти наружу. И это длится въ теченіи цѣлаго спектакля, и въ результатѣ зритель оставляетъ залу, ошеломленный, разбитый, истерзанный, можетъ быть, эстетически удовлетворенный, но умственно придавленный и неспособный къ дѣятельности. Онъ пережилъ много, но это многое не было урокомъ для него, не дало никакихъ выводовъ, не снабдило никакими жизненными указаніями. И если завтра въ дѣйствительной жизни онъ встрѣтитъ такихъ же несчастныхъ, то въ лучшемъ случаѣ онъ переживетъ снова ту же скалу ощущеній, но такъ же останется безсиленъ передъ жизненной напастью. Пускай театръ возбудитъ въ такомъ зрителѣ жалость къ слабымъ и бѣднымъ, онъ всетаки не достигнетъ своихъ гуманитарныхъ цѣлей: польза, которая получится отъ новаго напоминанія о чужомъ несчастіи, будетъ парализована тормозящимъ вліяніемъ театра на дѣятельное вмѣшательство въ чужія дѣла.

И если бы театръ имѣлъ значеніе только какъ средство увеличить чувствительность и парализовать дѣятельность, мы сказали бы: сохраните его для малокультурной и грубой публики и уничтожьте для цивилизованнаго и тонко чувствующаго зрителя. Но сцена дѣйствуетъ не на одни чувства, не на одну волю. Во всемъ, что мы говорили до сихъ поръ, мы игнорировали вліяніе театра на мысль. „Театръ—говоритъ Фаге—эксплуатируетъ существующую намъ тенденцію къ отыскиванію удовольствій въ несчастіи другихъ. Это главное, но это не все. Есть нѣчто болѣе благородное и болѣе возвышенное... Несчастье другого заставляетъ смѣяться или плакать, но, кромѣ того, оно заставляетъ размышлять. Къ злобному удовольствію, даваемому комедіей, къ печальному удовольствію, доставляемому трагедіей, примѣшивается удовольствие думать о несчастіяхъ человѣчества, видѣть въ нихъ матеріалъ для размышленій. Наслажденіе, получаемое зрителемъ въ театрѣ, прежде всего злоба; къ нему прибавляется желаніе истины; затѣмъ желаніе серьезно отнестись къ людскимъ цѣлямъ“... Мы оставляемъ въ сторонѣ слова Фаге о „злобномъ удовольствіи“, получаемомъ при видѣ страданій другого; справедливо или парадоксально это утвержденіе, но въ настоящій моментъ насъ интересуетъ не оно, а замѣчаніе Фаге о размышленіи, какъ о необ-

ходимомъ элементѣ эстетическаго удовольствія, возбуждаемаго театромъ.

Театръ заставляетъ мыслить, и это свойство мѣняетъ многое въ тѣхъ заключеніяхъ, которыя пришлось бы сдѣлать, ограничиваясь однимъ анализомъ вліянія театра на чувствительность. Если изображаемая пьесой страданія не призываютъ меня къ немедленной дѣятельности, а заставляютъ задумываться надъ ихъ причинами, надъ человѣческими отношеніями, надъ вопросами личной и общественной жизни, то въ моей бездѣятельности нѣтъ ничего, что отлагалось бы въ моемъ существѣ, какъ дурная привычка; театръ не окажетъ вліянія на уменьшеніе моей активности. Но для этого онъ долженъ сравнительно мало возбуждать чувствительность и очень много говорить уму.

Представьте себѣ совершенно культурнаго зрителя передъ великолѣпнымъ исполненіемъ Отелло, ну хотя бы передъ исполненіемъ Сальвини-отца, и вообразите того же зрителя передъ одной изъ пьесъ, возбуждающихъ инныя стороны нашей психики; возьмемъ для примѣра „Тиски“ Эрве, „Нору“ Ибсена и „Ткачей“ Гауптмана. (Само собой разумѣется, что не художественное достоинство пьесъ сравнивается нами, а только характеръ ихъ вліянія на зрителя). Слышать, какъ Сальвини-Отелло прощается съ утѣхами жизни или какъ онъ плачетъ, объясняясь съ Дездемоной, или какъ безумствуетъ передъ венеціанскими посланниками, и не быть потрясеннымъ нельзя. Весь спектакль проходитъ въ непрерывно-увеличивающемся гудѣніи нервныхъ резонаторовъ зрителя, терзающемъ его чувства, наполняющемъ его душу жгучей жалостью къ несчастному и безсильной яростью къ его тайному врагу. Какъ много внутренней силы нужно, чтобы заглушить жалость и побороть въ себѣ ненависть! И все для того, чтобы эта борьба сдѣлала культурнаго зрителя еще болѣе безсильнымъ, жалкимъ, слезливымъ и бездѣтельнымъ!.. Читатель находится въ гораздо болѣе благопріятныхъ условіяхъ: онъ не видитъ передъ собой дѣйствующихъ лицъ, и хотя его чувствительность затронута сильно, но его способность придти на помощь страждущему не подвергается испытаніямъ; съ большимъ хладнокровіемъ оставивается онъ на оцѣнкѣ характеровъ и съ большей легкостью дѣлаетъ обобщенія. Можно съ увѣренностью сказать, что если бы человечество могло познакомиться съ трагедіей венеціанскаго мавра только по сценическимъ представленіямъ, оно не нашло бы въ Яго тѣхъ типичныхъ сторонъ, которыя находитъ теперь, благодаря чтенію пьесы, до такой степени эмотивная сторона парализовала бы всѣ другія способности.

Представьте себѣ теперь, что культурный зритель имѣетъ дѣло съ такимъ же безысходнымъ при данномъ положеніи страданіемъ, но при этомъ его гуманное чувство не обязываетъ немедленно вступить за обиженныхъ, и, кромѣ того, его мысль возбуждена

къ дѣятельности. Онъ не видитъ выхода въ томъ положеніи, которое устроили себѣ супруги въ пьесѣ Эрвье; не могутъ урегулировать свои отношенія герои „Норы“; нѣтъ и не можетъ быть мира въ тѣхъ условіяхъ, въ которыя поставлены дѣйствующія лица „Ткачей“. Безысходность такова же, какъ въ „Отелло“, но таково ли положеніе зрителя? Не смотря на все свое желаніе, онъ не могъ бы немедленно помочь ни бѣдной жертвѣ тяжелаго семейнаго положенія въ „Тискахъ“, ни Норѣ въ ея неожиданномъ знакомствѣ съ жизнью, ни ткачамъ въ пьесѣ Гаупмана. Его возбужденное состраданіе не успокаивается въ бездѣйствіи: умъ, призванный къ дѣятельности, ищетъ причинъ безысходнаго несчастія и условій, при какихъ оно могло бы быть измѣнено. Мыслительная работа не ограничивается однимъ театромъ; умственная дѣятельность, начавшаяся въ зрительной залѣ, продолжается и по выходѣ изъ театра, и нѣтъ никакого основанія, чтобы она прекратилась раньше, чѣмъ полученное возбужденіе будетъ вытѣснено посторонними впечатлѣніями. Если театръ часто заставляетъ меня задумываться надъ разрѣшеніемъ опредѣленныхъ вопросовъ, то я приобретаю привычку мыслить о нихъ; если же они близко касаются человѣчества, то этимъ самымъ я поставленъ въ необходимость все время вертѣться въ области человѣческихъ интересовъ и думать о разрѣшеніи человѣческихъ страданій. Разрѣшу ли я эти вопросы, постараюсь ли въ случаѣ разрѣшенія провести мои выводы въ жизнь и такимъ образомъ облегчить общую сумму человѣческихъ страданій, это будетъ зависѣть отъ моихъ личныхъ свойствъ. Но во всякомъ случаѣ возбуждающій мысль (и при этомъ, конечно, удовлетворяющій эстетическую потребность, а не сухо морализирующій) театръ приучитъ зрителя не только сочувствовать несчастнымъ, но и думать о томъ, какъ помочь имъ; а въ этихъ думахъ уже есть тенденція къ дѣятельному вмѣшательству въ человѣческія отношенія.

III.

Если мы обратимся теперь къ исторіи театра, мы увидимъ, какъ свойство сцены сильно вліять на чувствительность зрителя дѣдало изъ послѣдняго своего рода алкоголика или морфиномана, требовавшаго отъ театра все болѣе и болѣе сильныхъ возбужденій, все болѣе концентрированныхъ дозъ яда. Но одновременно съ этимъ въ зрителѣ жило и стремленіе найти противоядіе; и этого противоядія онъ искалъ въ удовлетвореніи своимъ умственнымъ запросамъ.

Привыкшій къ морфію человѣкъ нуждается въ постоянно возрастающихъ дозахъ алкалоида: прежнія количества уже не удовлетворяютъ его, для полученія привычнаго эффекта надо вспры-

скивать нѣсколькими дѣленіями больше или брать болѣе сильный растворъ. Такъ же точно человѣкъ, привыкшій щекотать свои нервы зрѣлищемъ вымышленныхъ страданій, уже не можетъ удовлетвориться той дозой мучительныхъ впечатлѣній, которая прежде производила желаемое дѣйствіе; ему нужны, какъ говорить извѣстное образное выраженіе, скорпіоны тамъ, гдѣ прежде достаточны были бичи. До поры до времени театральныя представленія увеличиваютъ его чувствительность; они воспитываютъ тонкій и нѣжный аппаратъ, быстро реагирующій на внѣшнее раздраженіе и доводящій чувствительность до возможнаго максимума. При извѣстной готовности къ воспріятію, для этого не надо даже большого внѣшняго повода. Представьте себѣ группу кирпичей, поставленныхъ въ рядъ одинъ за другимъ такъ, что, если упадетъ одинъ, то своимъ паденіемъ онъ увлечетъ слѣдующій, который въ свою очередь заставитъ упасть третій и т. д. Этотъ примѣръ, приводимый, кажется, Спенсеромъ въ „Основахъ психологіи“, показываетъ, какъ ничтоженъ долженъ быть первоначальный толчекъ для того, чтобы, заранѣе расположенные въ нужномъ порядкѣ нервныя элементы пришли въ соотвѣтственное колебаніе. Пока неопытный зритель пойметъ въ чемъ дѣло, обычный посѣтитель зрительныхъ залъ уже воспринялъ впечатлѣніе и довелъ свою чувствительность до извѣстнаго максимума.

Но съ теченіемъ времени въ группировкѣ нервныхъ элементовъ уже привыкшаго къ возбужденіямъ зрителя происходитъ измѣненіе, которое, пользуясь прежнимъ примѣромъ, мы можемъ представить себѣ въ видѣ болѣе тѣснаго сближенія нервныхъ элементовъ другъ съ другомъ. Представьте себѣ, что количество кирпичей увеличивается, при чемъ занимаемое ими мѣсто остается неизмѣннымъ, или просто представьте себѣ, что кирпичи по мѣрѣ своего удаленія отъ начала стоятъ все тѣснѣе и тѣснѣе другъ къ другу. Понятно, что для приведенія ихъ въ колебаніе необходима уже значительно болѣе сильная первоначальная толчка, чѣмъ въ предыдущемъ примѣрѣ; если первые нѣсколько кирпичей упадутъ отъ удара пальца, то дальнѣйшіе, находя опору въ близко стоящихъ кирпичахъ, останутся въ покоѣ и не проведутъ дальше полученнаго толчка. Надо увеличить этотъ толчекъ, чтобы эффектъ сказался по всей группѣ кирпичей, чтобы дѣйствіе было одинаково съ тѣмъ, которое въ благопріятно расположенныхъ элементахъ было произведено ничтожнымъ ударомъ. Вмѣстѣ съ привычкой къ театру уровень того максимума, до котораго доходила чувствительность зрителя при извѣстныхъ возбужденіяхъ, понижается; и исторія театра показываетъ, какъ погоня за прежнимъ возбужденіемъ заставляла зрителя предъявлять къ театру требованія, удовлетворяя которымъ драматурги увеличивали интенсивность изображаемыхъ страданій, концентрировали принимаемый публикой ядъ, достигали все болѣе и

большаго совершенства въ способности терзать нервы и доводить наслажденіе муками до желаемыхъ размѣровъ. Возьмемъ два-три примѣра.

Вотъ греческая трагедія. Возникшая изъ дифирамбической поэзіи, изъ прославленія Вакха, она въ началѣ своего развитія оставалась въ области лицъ и чувствъ, поднимавшихся надъ уровнемъ земного человѣка. Полубоги, полулюди, обладавшіе титаническими страстями, изливаютъ свои чувства въ трагедіяхъ Эсхила. Могучія фигуры движутся передъ зрителемъ, терзаясь мученіями подъ грозной властью неумолимаго фатума; чѣмъ то сверхчеловѣческимъ вѣетъ отъ ихъ стоновъ, что-то надземное чувствуется въ ихъ страданіяхъ; маленькимъ и слабымъ видитъ себя зритель въ сравненіи съ ихъ гигантскими фигурами. Ихъ мученія волнуютъ его, но не такъ, какъ волнуютъ страданія и горе близкаго существа, чувствующаго, какъ зритель, слабого, какъ зритель, и, какъ онъ, терзаемаго противоположными влеченіями. Къ той дозѣ возбужденія, которая дается ему эсхиловскимъ театромъ, зритель мало по-малу привыкаетъ и начинаетъ требовать большаго. Въ отвѣтъ на его требованія театръ спускается съ заоблачной высоты на землю; на сценѣ изображаются страданія, болѣе близкія человѣку и потому способныя сильнѣе волновать его. Появляется Софоклъ и первое же произведеніе его одерживаетъ верхъ надъ творчествомъ Эсхила. Зритель видитъ передъ собой болѣе близкую ему игру страстей и въ переживаемыхъ волненіяхъ находитъ удовлетвореніе нарастающей потребности къ большому и большому раздраженію нервовъ.

Проходитъ время и этотъ театръ уже перестаетъ удовлетворять чувствительность зрителя; требуются новыя средства, и трагедія вмѣстѣ съ Эврипидомъ еще болѣе приближается къ человечеству. Реализмъ, въ силу своей способности приближать сцену къ обычнымъ условіямъ жизни зрителя и тѣмъ доводить иллюзію дѣйствительности до высокой степени, служить во всѣ эпохи однимъ изъ могущественнѣйшихъ средствъ воздѣйствія на чувствительность публики. Но и реальная трагедія Эврипида не въ состояніи довольствоваться естественной игрой страстей и событій, чтобы вполне удовлетворить все увеличивающуюся жажду эстетическаго мучительства. Эврипидъ принужденъ повышать дозы находящихся въ его распоряженіи сценическихъ средствъ и прибѣгать къ искусственнымъ способамъ возбужденія чувствительности, оставаясь въ области реализма, давая иллюзію дѣйствительной жизни; его трагедія перестаетъ пользоваться одними, по выраженію извѣстнаго изслѣдователя греческой трагедіи Patin, „чистыми средствами“. „Желаніе волновать зрителя не рѣдко проявляется у него въ употребленіи легкихъ и вульгарныхъ способовъ воздѣйствія на чувствительность публики: тутъ и старички, дошедшіе до послѣдней степени разрушенія, едва волоча-

щіе ноги по сценѣ и готовые испустить послѣдній вздохъ въ lamentаціяхъ; тутъ и несчастные, терзаемые нуждой, болѣзнями, страдающіе бредомъ“; тутъ „грубый патетическій аппаратъ, адресующійся болѣе къ чувствамъ, чѣмъ къ уму, и не смотря на свой постоянный успѣхъ въ театрѣ, недостойный истиннаго искусства“. Какъ бы ни былъ блестящъ и гениаленъ театръ Эврипида, но въ его погонѣ за удовлетвореніемъ ненасытимой жажды отравленнаго зрителя уже замѣтны симптомы упадка, предвѣстники дальнѣйшаго вырожденія трагедіи. Все болѣе и болѣе замѣняя естественную игру чувствъ и стремленій искусственной комбинаціей ужасныхъ положеній и бьющихся по нервамъ страданій, трагедія мало-по-малу приходитъ къ той степени вырожденія, которую мы видимъ, напримѣръ, у Сенеки. „Ничто такъ не характеризуетъ трагедію Сенеки,—говоритъ Patin,—какъ выискиваніе неслыханнаго, какъ погоня за ужасающимъ и отталкивающимъ“. Зритель требуетъ возбужденій; отравленный, съ больными нервами, съ своего рода патологической потребностью въ слезахъ, онъ предъявляетъ къ драматургу растущія требованія, насилуя его творчество и увлекая его вмѣстѣ съ собой по пути искусственнаго душевнаго терзанія и вымученныхъ ужасовъ.

Но, рядомъ съ этой потребностью въ новыхъ дозахъ привычнаго яда, выросло и желаніе избавиться отъ его страшныхъ послѣдствій; вмѣстѣ съ отравой театръ несъ и лѣкарство противъ нея. Зрители (или по крайней мѣрѣ значительная часть зрителей) желали найти средство отъ парализующей дѣятельности и отравляющей чувствительности силы театра. Они требовали, чтобы онъ давалъ пищу ихъ уму. Чѣмъ болѣе театръ приближался къ жизни, тѣмъ легче могъ давать онъ и объясненіе дѣйствительности, тѣмъ сильнѣе могла выразиться въ немъ способность поучать, быть тѣмъ, что Д'Аламберъ называлъ „моралью, приведенною въ дѣйствіе“. Въ лучшихъ образцахъ театра зритель имѣлъ эти правила; онъ получалъ своеобразное объясненіе жизни у Эсхила, знакомился съ новыми комментаріями у Софокла, получалъ уроки отъ Эврипида,—и въ той возбужденности мысли, которая слѣдовала за этими „уроками“, находилъ противоядіе противъ парализующаго дѣятельность вліянія сцены. Но, какъ при удовлетвореніи чувствительности зрителя, театръ принужденъ былъ все болѣе и болѣе усиливать сценическіе эффекты и прибѣгать къ вычурной мучительности и слезливости, такъ и въ поискахъ противоядія онъ далеко не всегда довольствовался „чистыми“ драматическими средствами: драматурги нерѣдко поучали не образами и картинами, а разсужденіями и проповѣдями.

Эта тенденція начинаетъ усиленно проявляться тогда же, когда обнаруживается страсть театра, во что бы то ни стало, взволновать, потрясти, ошеломить зрителя, взвинтить его нервы зрѣлищемъ необыкновенно ужасныхъ страданій. Уже у Эврипида

начинаетъ замѣчаться направленіе, которому на нашемъ современномъ языкѣ всего лучше дать названіе публицистическаго. Его герои изрѣдка морализируютъ, обмѣниваются длинными рѣчами, ставятъ теоретическія положенія и опровергаютъ ихъ. По выраженію Ratin, Эврипидъ дѣлаетъ изъ своихъ персонажей, „иногда вопреки всякимъ приличіямъ, философовъ и софистовъ“. И съ этого момента начинается паденіе трагедіи. Она только въ исключительно счастливыхъ образцахъ не прибѣгаетъ или мало прибѣгаетъ къ морализированію и „публицистикѣ“; по большей части она стремится соединить въ одно двѣ противорѣчивыя тенденціи: потрясти зрителя до полной потери двигательной способности и въ то же время дать пищу „холоднымъ наблюденіямъ“ ума. И для примиренія обѣихъ тенденцій нѣтъ иного выхода, какъ теоретическіе споры и разсужденія дѣйствующихъ лицъ. Театръ деградируется; и вотъ въ какихъ терминахъ оцѣниваетъ тотъ же Ratin различіе первоначальной греческой трагедіи отъ того, во что она превратилась у Сенеки. „Изъ самаго простого основанія греки умѣли извлечь сокровища страстей; Сенека дѣлаетъ бѣднымъ всякій сюжетъ, загромождая его бесплоднымъ обиліемъ всевозможныхъ общихъ мѣстъ, поэтическихъ, мифологическихъ, географическихъ, научныхъ, философскихъ, политическихъ“. И все въ соединеніи съ наклонностью къ странному, необыкновенному, отталкивающему...

Тѣ же эволюціи пережили мистеріи въ теченіе среднихъ вѣковъ и въ началѣ новыхъ. Такъ же, какъ греческая трагедія, мистеріи связаны съ религіознымъ культомъ: онѣ родились въ церквахъ, постепенно вышли на улицу и, слѣдуя той же тенденціи удовлетворяютъ возрастающую требовательность зрителя, вкусившаго сладость эстетическихъ мученій, медленно достигли высшей точки развитія, чтобы потомъ вырождаться и пасть. Въ обширномъ сочиненіи Petit^{de} Julleville „Les Mystères“ приведено содержаніе большого числа тѣхъ пьесъ, которыя подъ названіемъ *ludi, representations, jeux, miracles, mistères* въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ представлялись во Франціи. Если мы будемъ слѣдить за этимъ содержаніемъ, мы увидимъ, — какъ постепенно воспитывалась театромъ страсть къ терзанію нервовъ обнаженной жестокостью зрѣлищъ. Наростаніе этой потребности, кажется, можно было бы констатировать и въ чисто церковныхъ драмахъ, разыгрывавшихся начиная съ X-го столѣтія въ церквахъ, но съ особенной ясностью проскальзываетъ она въ перепитіяхъ того пути, которымъ шла драма, уже вышедшая на улицу. Не останавливаясь на пьесахъ XIII-го столѣтія, изъ которыхъ Petit de Julleville приводитъ только содержаніе двухъ, обратимъ вниманіе на развитіе театра въ XIV и XV вѣкахъ. Огромный циклъ произведеній (не менѣе 40 пьесъ) носитъ названіе *Les Miracles de Notre Dame* „Чудеса Пресвятой Дѣвы“. Всѣ онѣ изображаютъ паденіе

человѣка, спасающагося потомъ отъ мукъ ада и отъ земного страданія силою молитвы, обращенной къ Богородицѣ. Тутъ и монахини, увлекшіяся мужской красотой и преступившія обѣтъ непорочности, и согрѣшившіе отшельники, и уводимые на казнь преступники, и невинноосужденные; всѣ они прибѣгаютъ къ помощи Notre Dame и въ самую критическую минуту получаютъ отпущеніе грѣховъ и спасеніе отъ земныхъ и небесныхъ мукъ. Эффекты, къ которымъ прибѣгаютъ авторы для пораженія чувствительности зрителя, слишкомъ замысловаты, чтобы можно было думать о презмѣрно сильныхъ волненіяхъ публики. Напр., въ одной пьесѣ рассказывается, какъ отшельникъ, Saint Jean le Paulu, совершилъ насиліе надъ заблудившейся дочерью короля и для сокрытія слѣдовъ преступленія бросилъ ее въ колодезь; затѣмъ онъ раскаялся, въ теченіе семи лѣтъ ходилъ на четверенькахъ, какъ животное, просилъ прощенія у короля, дочь котораго обезчестилъ и умертвилъ, и въ послѣдній моментъ обратился съ молитвой къ Богородицѣ. Молитва была услышана, и дочь короля, послѣ семилѣтняго пребыванія въ колодезѣ, была найдена живою. Но на ряду съ чудесными эффектами, слишкомъ далекими отъ всего, къ чему привыкъ зритель въ обыденной жизни, уже въ этомъ циклѣ произведеній замѣтно желаніе растрогать публику картинами болѣе близкихъ ей, иногда просто физическихъ страданій. Въ нѣкоторыхъ пьесахъ изображаются, напримѣръ, родовыя муки; пронзительные крики роженицы, не могущей разрѣшиться отъ бремени, оглашаютъ театръ; „ventrière“ (повитуха) мечется по сценѣ безъ большой пользы для родящей, страданія длятся бесконечно... къ удовольствію или неудовольствію зрителей, теперъ сказать трудно.

Но это только зачатки того, во что должно выродиться стремленіе растрогать зрителей картинами человѣческихъ страданій. Мало-по-малу драматурги рѣшаются затрогивать сюжеты, передъ которыми прежде отступали. Долго воздерживался театръ отъ изображеній мукъ Христа, пока потребность зрителя въ потрясающихъ зрѣлищахъ не потребовала и этого сильнаго возбужденія. И когда „Страсти“ проникли на сцену, онѣ появились во всемъ ужасѣ долгихъ, мучительныхъ, ужасающихъ и отталкивающихъ физическихъ страданій. „Трудно сказать, — говоритъ Gaston Paris, — что болѣе отвратительно въ этихъ зрѣлищахъ: отталкивающія-ли муки, переживаемыя главнымъ лицомъ пьесы на протяженіи семи тысячъ стиховъ, или звѣрскія издѣвательства его палачей“. „Не преувеличивая можно сказать, — утверждаетъ Petit de Julleville, — что страданія на сценѣ длились дольше, чѣмъ въ дѣйствительности“. Авторъ изслѣдованія добавляетъ, что жестокость зрѣлищъ объясняется жестокостью нравовъ того времени. Но предыдущіе вѣка не отличались большей мягкостью нравовъ, чѣмъ XIV и XV-й, и, однако, „Страсти“ не проникали на сцену

до тѣхъ поръ, пока постепенно развившаяся театромъ потребность въ увеличенномъ нервномъ раздраженіи не принудила драматурговъ обратиться къ болѣе сильнымъ средствамъ. Театръ и здѣсь обнаружилъ свойства наркотическихъ алкалоидовъ, которые для производства прежняго эффекта нуждаются въ дозахъ большей концентраціи. И, какъ только драматурги перешагнули извѣстную грань, они понеслись по наклонной плоскости съ неудержимой быстротой. Мистеріи стали знакомить публику съ мучениками, твердо выдержавшими пытки и истязанія. Допросы съ пристрастіемъ, мучительныя казни, предсмертныя страданія заполняютъ сцену. Въ „*Martire de St. Denis*“ Св. Денисъ и его товарищи подвергаются побоямъ, потомъ терзаются орудіями пытки, жарятся на рѣшеткѣ, бросаются въ горящую печь, привязываются къ кресту. Богатство мучительныхъ подробностей еоединяется съ умѣньемъ въ точности передать детали обыкновенной жизни, и реализмъ обстановки, придавая сценамъ страданія жизненность, служитъ вѣрнымъ средствомъ для увеличенія терзаній зрителя. „Мистеріи,—говоритъ *Petit de Julleville*,—удовлетворяли зрителя реализмомъ, даже вульгарностью языка, одежды и всѣхъ подробностей исполненія“.

И въ данномъ случаѣ зритель боролся съ засасывающей силой мучительныхъ зрѣлищъ другими требованіями, предъявлявшимися къ театру. Отвѣчая этимъ требованіямъ, мистерія не боялась касаться политическихъ и моральныхъ вопросовъ: „Общественныя отношенія судились ими безъ снисхожденія, а если и замѣчалось снисхожденіе, то оно направлялось въ пользу народа и слабыхъ; бѣдные люди изображались въ привлекательномъ видѣ, знать и духовенство судились очень строго“. Нѣкоторыя сцены, монологи и протесты бѣднаго люда, выводившіеся, напримѣръ, въ мистеріи Іова, не могли бы и теперь, по мнѣнію *Petit de Julleville* попасть на сцену безъ купюръ. Но съ мистеріями произошло то же, что съ греческой трагедіей; онѣ искусственно морализируютъ, и, идя по этому пути дальше, въ XVI столѣтіи „театральныя представленія становятся аллегорическими, философскими, моральными, политическими“.

И какого бы театрального „жанра“ мы ни коснулись, мы всегда замѣтимъ неудержимое стремленіе драматурговъ усилить по требованію зрителей средства, вліяющія на чувствительность послѣднихъ. Французская трагедія Расина и Корнеля измѣняется въ трагедію Кребиллона, которую Брюнетьеръ характеризуетъ какъ эссенцію „насилій, преступленій, убійствъ, кровавыхъ трагическихъ и патетическихъ проществій“. Мѣщанская драма Дидро, и сама по себѣ сознательно стремившаяся къ повышенію чувствительности зрителя, мало-по-малу даетъ начало мелодрамѣ Пиксерекура и К°. То приближеніе къ жизни, котораго достигла драма Дидро, остается и у „короля мелодрамы“, какъ называли

Пиксерекура. Прочтите, наприимѣръ, у Брюнетьера, реальную обстановку мелодрамы „Христофоръ Колумбъ“. Здѣсь (совершенно какъ въ современной намъ „Миссъ Гоббсъ“) корабль, раздѣленный на двѣ горизонтальныя половины, морская команда, дѣйствительная корабельная жизнь, *couleur locale* въ полной дозѣ. Но, реальная по внѣшности, пьеса далека отъ дѣйствительности вслѣдствіе стремленія автора выбирать самые ужасные сюжеты. По выраженію Брюнетьера, Пиксерекуръ приучаетъ народное воображеніе „къ наиболѣе кровавымъ сторонамъ преступленія“. Дѣло доходитъ до того, что обезпеченныя его успѣхомъ власти пишутъ: „Великій принципъ, заключающійся въ томъ, что не надо заливать кровью сцены, постоянно забывается и сцена не перестаетъ представлять гнусное зрѣлище варварства и убійствъ. Надо опасаться, какъ бы молодежь, привыкшая къ такимъ представленіямъ, не начала ихъ осуществлять къ своей гибели и къ отчаянію родныхъ“.

Перейдемъ къ современному театру. Препжнія средства уже недостаточны; ихъ сила ослаблена; та буря восторговъ, которая сопровождала прежде игру трагическаго артиста, „вулканическую и страстную“, какъ выражался Бѣлинскій, теперь не слышна или раздается по другимъ поводамъ. Нынѣшнюю сцену характеризуетъ главнымъ образомъ, ея реализмъ. Не реализмъ чувствъ, мыслей и положеній (въ нѣкоторыхъ случаяхъ есть и это), но болѣе всего реализмъ внѣшній, правдивость обстановки, ея близость къ дѣйствительному, ежедневному и обычному. Что завоевало главный успѣхъ Мейнингенцамъ? Драматизмъ положеній? Сила талантовъ? Умѣнье познакомить зрителя съ душой изображаемыхъ персонажей, съ человѣческими отношеніями, съ жизненными вопросами или, какъ принято выражаться „съ вѣчными проблемами жизни“? Ничуть не бывало. Мейнингенцы привлекли необыкновеннымъ для своего времени умѣньемъ создать на сценѣ обстановку, очень похожую на то, что мы видимъ въ дѣйствительной жизни. Они уничтожили массу обычныхъ театральныхъ условностей и дали жизнь тому-то, гораздо болѣе живому по внѣшности, чѣмъ препжній театръ. И это умѣнье создать на сценѣ вторую жизнь, искусство едѣлать массу живой толпой, а отдѣльнымъ персонажамъ придать чуждую театральныхъ условностей реальность, повліяло на чувствительность зрителей такъ же, какъ дѣйствовало въ болѣе раннія эпохи всякое приближеніе къ жизни; оно усилило иллюзію и увеличило нервное раздраженіе. Мейнингенцы обманывали или помогали зрителю обманываться съ бѣольшимъ искусствомъ, чѣмъ старые актеры, и они завоевали современнаго зрителя, ищущаго, подобно препжнимъ театральнымъ посѣтителемъ, увеличеннаго раздраженія и утонченныхъ терзаній. И вслѣдъ за Мейнингенцами родился парижскій Théâtre libre, который (какъ видно изъ переписки Антуана съ Сарсе) былъ законнымъ сыномъ своихъ нѣ-

мецких предшественниковъ и который въ свою очередь породилъ на свѣтъ такихъ же законныхъ дѣтей во всѣхъ странахъ Европы. Эти внучата Мейнингенцевъ обновили современную сцену, сдѣлавъ изъ нея возможно точное воспроизведеніе повседневной обстановки, отнявъ у нея ту прямолинейность и искусственность, которая расхолаживала современнаго зрителя и препятствовала его чувствительности достигнуть высшихъ ступеней возбужденія. Теперь въ новой обстановкѣ могла произвести впечатлѣніе и взволновать зрителя та драма, которая при прежнихъ сценическихъ условіяхъ должна была пройти безслѣдно или даже возбудить смѣхъ.

Реальная сцена измѣнила способъ воздѣйствія на чувствительность зрителя. Прежнія пытки, истязанія, убійства и насилія не подходятъ для современной публики; всѣ эти средства слишкомъ сильно возбуждаютъ отвращеніе зрителя, чтобы послѣдній находилъ въ нихъ искомое возбужденіе; нынѣшняя публика отвернется отъ жестокихъ убійствъ, кровавыхъ истязаній, многочисленныхъ смертей. Въ замѣну этихъ устарѣвшихъ мелодраматическихъ приемовъ современный театръ даетъ рядъ новыхъ терзаній, вполне подходящихъ къ требованіямъ зрителей. Физическіе недуги, нервныя болѣзни, психозы, параличи и пороки сердца, представляемые съ клинической точностью, со всѣмъ арсеналомъ научныхъ данныхъ и больничныхъ наблюденій—вотъ тѣ пытки, которыми сцена можетъ взволновать современнаго зрителя. Théâtre libre далъ не мало такихъ картинъ, производившихъ въ реальной игрѣ артистовъ гнетущее впечатлѣніе. Одинъ изъ самыхъ строгихъ хранителей прежнихъ театралныхъ приемовъ, Сарсэ, выходилъ изъ театра Антуана въ состояніи „угрюмой подавленности“ послѣ того, какъ передъ его глазами проходили „самые раздражительные неврозы, приводившіе къ сумашествію и смерти“.

О томъ, какъ слѣдуетъ изображать смерть и болѣзни на современной сценѣ, велась интересная переписка между Сальвини и однимъ изъ самыхъ сильныхъ молодыхъ артистовъ Италіи, Цаккони. Существуетъ извѣстная старая пьеса Джакометти *Morte Civile*. Въ ней главное дѣйствующее лицо послѣ ряда тяжелыхъ разочарованій отравляется. Старинное папское распоряженіе, однако, замѣнило самоубійство смертью отъ разрыва сердца. Съ тѣхъ поръ Сальвини играетъ эту пьесу по измѣненному цензурой варианту и умираетъ отъ сердечной болѣзни. Увидавъ въ пьесѣ Джакометти новаго исполнителя, Цаккони, Сальвини остался недоволенъ его интерпретаціей и въ особенности его смертью отъ яда. Онъ объявилъ о своемъ недовольствѣ въ письмѣ, напечатанномъ въ одной флорентійской газетѣ. „Не смотря ни на что,—писалъ онъ въ заключеніи письма—я буду попрежнему умирать отъ разрыва сердца, отъ аневризмы, отъ сердечнаго паралича (назовите какъ хотите), не вызывая въ зрителяхъ никакого отвращенія и не нарушая смысла пьесы. Поступая такъ, я слѣдую

требованіямъ художественнаго веризма, къ которому молодые актеры хотятъ приблизиться своей расплывчатой дикціей, эксцентрической формой и смѣшнымъ утрированнымъ исполненіемъ. Отвѣтъ Цаккони интересенъ для выясненія цѣлей, которыя ставить передъ собой современный артистъ. Его удивляютъ слова Сатъвини: „смерть отъ разрыва сердца, аневризмы, паралича сердца, назовите какъ хотите“. Мы, современные актеры, не смѣемъ говорить такъ,—пишетъ Цаккони,—не смѣемъ потому, что разрыва сердца не существуетъ, а клиническая картина двухъ другихъ болѣзней не одинакова. Современный актеръ, по мнѣнію Цаккони, долженъ представлять смерть и болѣзнь, хорошо изучивши ихъ въ жизни и передавая съ точностью ихъ клиническую картину. Цѣль, къ которой стремится актеръ, воспроизводящій такую картину, — истина. Цаккони кончаетъ письмо восклицаніемъ: „Лучше пасть въ послѣдней попыткѣ къ завоеванію истины, чѣмъ добиться славы, основанной на томъ, что не кажется правдой!“

Но, пасть, конечно, не придется. Публика оцѣниваетъ клиническое представленіе болѣзней, гонясь не за истинной, а за возбужденіемъ чувствительности, за тѣмъ раздраженіемъ, къ которому она привыкла и котораго жаждетъ. И сколько бы Цаккони ни говорилъ и ни думалъ, что имъ въ данномъ случаѣ властвуетъ только любовь къ правдѣ, онъ обманываетъ себя: внѣшняя сценическая правда ему нужна лишь для завоеванія зрителя, для отвѣта на требованія послѣдняго о болѣе сильныхъ дозахъ привычнаго яда.

И отвѣчая той же потребности зрителя, мнѣняютъ свое творчество и драматурги. Нужны-ли для изображенія повседневной жизни тѣ громы и крики, которыми въ былые времена поражали зрителей „вулканической и страстной“ трагикъ? Обычная жизнь сѣра, тускла; ея страданія не крикливы; ея скорби слышны лишь для тѣхъ, кто въ нихъ непосредственно принимаетъ участіе или кто хочетъ къ нимъ прислушиваться. Обычная жизнь, какъ высшее существо, не имѣетъ ни начала, ни конца: она длится безъ завязокъ и финала, если не считать такимъ смертью отдѣльнаго чловека. И, соотвѣтственно съ этимъ пониманіемъ жизни, драматическое произведеніе теряетъ тѣ свойства, которыя прежде считались необходимой принадлежностью всякой пьесы: „борьба двухъ волей“ уже не неизбѣжно представляется на сценѣ; можно обойтись и безъ дѣйствія, достаточно ограничиться изображеніемъ „тона“ жизни, общимъ воспроизведеніемъ ея настроенія. И какъ только передача настроенія становится задачей драматическаго произведенія, такъ начинается походъ въ этомъ направленіи для возбужденія чувствительности зрителя. Заразить послѣдняго настроеніемъ пьесы, значитъ заставить его пережить сложную или простую, но всегда тягостную гамму тревожныхъ чувствъ, подавляющихъ волненій, „невывплаканныхъ слезъ, невысказанныхъ думъ“.

(О радостныхъ чувствахъ говорить не стоитъ: они не обладаютъ достаточной силой заразительности и мало утилизируются). Стремясь передать настроеніе, драматургъ старается изгнать изъ своего творчества все, что могло бы развлечь зрителя и сдѣлать его способнымъ противостоять заразительности, ради которой написана пьеса. Насколько возможно, драматургъ исключаетъ тѣ элементы, которые могли бы вызвать размышленіе зрителей или хотя бы дать опредѣленное направленіе ихъ сочувствію; онъ рисуетъ смутными тонами, говоритъ недосказанными фразами; онъ создаетъ нѣчто безпокойное въ своей неопредѣленности, нѣчто порождающее неясную, но мучительную тревогу. Вспомните „L'Intruse“ Метерлинка. Если вы видѣли эту пьесу на сценѣ въ хорошемъ исполненіи, вы пережили, конечно, рядъ очень тягостныхъ ощущеній, постепенно нараставшихъ и сложившихся, наконецъ, въ формѣ какого-то мучительнаго безпокойства, остающагося и преслѣдующаго васъ даже послѣ того, какъ замолкли послѣднія слова дѣйствующихъ лицъ, открывшихъ, что въ ихъ домѣ проникла смерть. Ваше ощущеніе по своему характеру (а не по интенсивности) можетъ быть сравнено съ тѣмъ чувствомъ, которое вы испытываете, слушая музыкальныя произведенія, напр., хоть тріо Чайковского: „A la mort d'un grand artiste“. Гдѣ-то близко проходить смерть, что-то невыразимо скорбное слышится въ этихъ нотахъ, какимъ-то торжественнымъ гимномъ несчастья звучитъ послѣдній дуэтъ скрипки съ виолончелью. Но всѣ эти „гдѣ-то“ „что-то“, „какой-то“ до такой степени смутны, что больное настроеніе не вызываетъ въ васъ какой-либо опредѣленной мысли. Драматургъ, какъ музыкантъ, хочетъ дѣйствовать только на настроеніе, на чувствительность, стараясь изгонять другіе элементы драматическаго творчества, вызывающіе въ зрителѣ работу мысли...

Или возьмите очень недавнюю пьесу де-Лорда и Фолэ „У телефона“. Представить современнымъ зрителямъ, какъ разбойники врываются въ домъ, какъ они производятъ безчинства, было бы слишкомъ старо, слишкомъ *vieux jeu*; къ тому же видъ насилій и убійствъ слишкомъ бы шокировалъ публику. И пьеса прибѣгаетъ къ новому средству. Она заставляетъ мужа слышать по телефону и передавать публикѣ, какъ къ его женѣ вламываются разбойники, какъ трещать двери, сбиваются ставни, какъ въ паническомъ ужасѣ кричитъ жена, какъ она дѣлается жертвой разбойниковъ и т. д., и т. д. Отчаяніе мужа, его ужасъ передъ происходящимъ и передъ невозможностью помочь, передаются зрителю, подавленному, измученному, безсильному. Это — тотъ же самый приѣмъ, который Сарду употребляетъ въ „Tosca“. Въ со-сѣдней со сценой комнатѣ пытаются человѣка. Пытокъ нельзя перенести на сцену — это было бы слишкомъ отвратительно для современнаго зрителя; но о результатахъ пытокъ, о страшныхъ мученіяхъ, которыя переносятъ несчастный, можетъ докладывать

другое лицо. И авторъ помѣщаетъ на сценѣ любовницу пытаемаго и заставляетъ ее переживать муки любимаго человѣка и передавать ихъ зрителю. Это называется у французовъ *gêlage du veuf avec du vieux*, повторить старый мелодраматическій приѣмъ въ обновленномъ видѣ для удовлетворенія ненасытимой потребности зрителя къ эстетическому мучительству.

Въ пьесахъ „настроенія“, такъ же какъ въ представленіи физическихъ недуговъ, такъ же какъ въ произведеніяхъ, знакомящихъ съ физическими пытками черезъ посредство свидѣтелей, съ намѣреній драматурга и исполнителей снимается всякая маска возвышенныхъ соображеній: ни о „добрыхъ чувствахъ“, ни о возбужденной мысли не можетъ быть и рѣчи, — и авторъ, и исполнители имѣютъ въ виду только раздраженіе чувствительности, удовлетвореніе той потребности зрителя къ самоотравленію, о которой мы столько говорили. Опять-таки повторяемъ, что мы совершенно не затрагиваемъ вопроса объ эстетическомъ наслажденіи и о его косвенномъ вліяніи на все поведеніе человѣка, — мы имѣемъ въ виду только непосредственное дѣйствіе театра на общественность зрителя и съ этой точки зрѣнія въ пьесахъ „настроенія“, такъ же какъ и въ клиническихъ картинахъ невротизма, видимъ только средство „кураризировать“ интеллигентную публику. (О другомъ зрителѣ въ данномъ случаѣ едва ли можетъ идти рѣчь, такъ какъ пьесы настроенія ему непонятны).

Подводя итоги сказанному... Впрочемъ, нужно-ли подводить итоги? Намъ кажется, что если можно въ чемъ-нибудь упрекнуть насъ, то скорѣе въ банальности, чѣмъ въ парадоксальности сказаннаго.

Театръ, въ особенности сильно волнующій и терзающій нервы театръ, *несомнѣнно* имѣетъ тенденцію къ развитію въ зрителяхъ пассивности какъ разъ въ тотъ моментъ, когда чувства (и очень часто общественныя чувства) возбуждены до крайней степени. Это свойство его можетъ быть полезно въ тѣхъ случаяхъ, когда зритель нуждается въ развитіи задерживающихъ центровъ, и *несомнѣнно* вредно, когда чувствительность его и безъ того сильно повышена, а энергія (въ особенности альтруистическая энергія) понижена. Въ тѣхъ случаяхъ, когда театръ черезъ посредство чувствъ (другими словами, театръ истинно художественный) возбуждаетъ мысль зрителя, это, вредное съ общественной точки зрѣнія, свойство совершенно незамѣтно и сцена пріобрѣтаетъ значеніе распространительницы „добрыхъ чувствъ“ и альтруистическихъ поступковъ. Въ зрителяхъ *несомнѣнно* таится стремленіе къ усиленію дурныхъ свойствъ театра, какъ въ привычныхъ алкоголикахъ скрыта постоянная жажда къ новому принятію разрушительнаго яда. Объ этомъ свидѣтельствуетъ исторія театра,

которая показываетъ въ то же время, что человѣчество старалось бороться съ этой стороной вліянія сцены при помощи развитія другихъ ея свойствъ, имѣющихъ въ виду подѣйствовать на мыслительную способность зрителя. Очень часто, впрочемъ, эта борьба кончалась вторженіемъ на сцену дидактизма, сухого морализированія, совершенно нехудожественныхъ проповѣдей.

И если надо кончить какимъ-нибудь пожеланіемъ современному театру, мы сказали-бы: „да здравствуетъ разумъ“, возбуждаемый художественнымъ зрѣлищемъ; „да скроется тьма“ такъ называемыхъ „настроеій“, клиническихъ картинъ, внѣшнихъ чувствительныхъ эффектовъ, имѣющихъ въ виду только щекотаніе нервовъ зрителя.

И. Н. Игнатовъ.

Памяти Г. И. Успенскаго.

Съ горькой думой въ очахъ,
Съ слѣдомъ мукъ на челѣ,
Онъ прошелъ тяжкій путь,
Крестный путь на землѣ.

Будто горечь и боль
Всѣхъ мученій людскихъ
Въ чуткомъ сердцѣ собравъ,
Онъ твердилъ намъ о нихъ.

Отъ улыбки его,
Полной скорбной вины,
Исчезали, какъ дымъ,
Счастья мирные сны.

Звалъ онъ къ жертвѣ, къ любви,
Весь любовью дыша...
Онъ горѣлъ, какъ маякъ...
И—сгорѣла душа!

Не забудешь его
Ты, родная страна!
Задрожавшая разъ,
Все рыдаетъ струна,—

О великой винѣ
Съ гнѣвомъ, скорбью поетъ
Ина подвигъ святой,
Подвигъ правды зоветъ!..

П. Я.

Нерѣшенныя проблемы біологіи.

Процессъ оплодотворенія и происхожденіе половъ.

Все исподволь природа производитъ.
Великое не сразу происходитъ.

Гете.

1.

Процессъ оплодотворенія, связанный съ цѣлымъ рядомъ другихъ, осложняющихъ и затемняющихъ его процессовъ, и по сіе время еще входитъ въ циклъ нерѣшенныхъ проблемъ біологіи, не смотря на то, что наука на протяженіи двухъ слишкомъ тысячелѣтій пыталась проникнуть въ тайники морфологическихъ и физиологическихъ явленій, которыми сопровождается и обусловливается процессъ оплодотворенія. Вопросу о зарожденіи новыхъ живыхъ существъ удѣляли громадное вниманіе многіе выдающіеся натуралисты и философы, начиная съ Аристотеля и кончая однимъ изъ виднѣйшихъ представителей современной біологіи, Теодоромъ Бовери. Это старѣйшая по времени и наиболѣе захватывающая по содержанію „тайна“; исторія науки можетъ привести добрыхъ три сотни якобы рѣшеній этой тайны, а вѣрнѣе—безплодныхъ попытокъ вскрыть ея содержаніе: подъ сдернутымъ дерзкою рукой покрываломъ Изиды обыкновенно оказывалось далеко не утѣшительное „ничто“, и мы попрежнему, какъ во времена великаго философа бѣломраморной Эллады, ищемъ и ждемъ отвѣта на вопросъ — *въ чемъ сущность оплодотворенія? чѣмъ вызвано оно къ жизни? какую службу несетъ въ исторіи органической природы?*

Въ связи съ проблемой оплодотворенія находится другой вопросъ не менѣе высокой важности, а именно вопросъ о происхожденіи половъ или, какъ выражаются біологи, *полового диморфизма*. Правда, на низшихъ ступеняхъ органической жизни процессъ оплодотворенія совершается при участіи двухъ организмовъ, ничѣмъ по существу между собою не разнящихся: тутъ нѣтъ еще, да и не можетъ быть рѣчи о представителяхъ мужского и женскаго пола, о самцахъ и самкахъ. Но вотъ мы переходимъ

къ животнымъ болѣе высокаго порядка, и половая дифференціація сказывается все опредѣленнѣе и ярче. На сцену выступаютъ такъ называемые *вторичные половые признаки*. Разнообразие и оригинальность этихъ признаковъ приковываетъ къ себѣ вниманіе даже самаго поверхностнаго наблюдателя. Половые особенности вырисовались здѣсь ужъ вполне рѣзко, дифференцировка обозначилась не только во внѣшнихъ формахъ, морфологически, но и въ проявленіяхъ ума, чувства, воли—психологически. Временами разница между самцомъ и самкой сказывается настолько сильно, что вы готовы отнести ихъ къ двумъ различнымъ видамъ и даже родамъ животныхъ. И вотъ опять вполне естественно возникаетъ рядъ неотвязныхъ вопросовъ: *въ чемъ разница по существу между полами? Чѣмъ вызвана она къ жизни? Какую роль играетъ въ судьбахъ органическаго міра?*

Но и это еще не все.

Два могучихъ инстинкта управляютъ жизнью несмѣтнаго числа разнообразнѣйшихъ животныхъ отъ ничтожной, микроскопической инфузоріи до пресловутаго „царя природы“ включительно: инстинктъ самосохраненія и половой инстинктъ. Первый изъ нихъ есть, собственно говоря, *инстинктъ индивидуалистическій*, ибо онъ направленъ на сохраненіе недѣлимаго (индивидуума); второму же больше всего приличествуетъ названіе *родового* или, если хотите, *видового инстинкта*, ибо онъ служитъ дѣлу сохраненія породы. Тысячи драмъ и трагедій, а часто и комедій, которыми такъ богата жизнь, возникаютъ на почвѣ столкновений, борьбы и всевозможныхъ конфликтовъ между этими двумя видами инстинктовъ. Я имѣю въ виду, разумѣется, не только человека, но и вообще всякую тварь земную, имѣющую счастье или несчастье обладать этими инстинктами. Въ жертву половому инстинкту нерѣдко приносится рѣшительно все—вплоть до страха передъ небытіемъ и жажды бытія; это поистинѣ какой-то всепожирающій Молохъ, предъ алтаремъ и грозной мощью котораго склоняется даже всемогущій инстинктъ личнаго самосохраненія. Инстинктъ этотъ на пути своего развитія прошелъ цѣлый рядъ біологическихъ измѣненій, получилъ множество психическихъ осложнений и претворился въ половую любовь—высшее, идеальное и часто самодовлѣющее выраженіе полового инстинкта. Но какъ бы возвышенно и свято ни было чувство половой любви само по себѣ, въ основѣ его коренится половой инстинктъ, ищущій себѣ удовлетворенія въ актѣ оплодотворенія. Последнее есть какъ-бы конечное выраженіе этого инстинкта; это, говоря словами Шопенгауера, одинъ изъ моментовъ „объективации“ полового инстинкта, или, какъ охотнѣе выражается Шопенгауеръ, „воли къ жизни“. Такъ смотреть на дѣло не только метафизики. „Актъ оплодотворенія,—говоритъ одинъ изъ наиболѣе выдающихся біологовъ нашего времени, Максъ Ферворнъ, тѣсно связанъ съ глубокой

тайной, которая объемлетъ собою самое священное чувство чело-
вѣчества. Въ самомъ дѣлѣ,—натуралистъ долженъ это сказать,—
одинъ изъ могущественнѣйшихъ факторовъ, которые господствуютъ
во всей органической жизни, половая любовь въ ея естественной
формѣ, независимо отъ нашего сознанія, ведетъ, какъ къ конечной
цѣли, къ познаваемому лишь при помощи микроскопа акту оплодо-
творенія женской яйцевой клѣтки мужскимъ сперматозоидомъ“ *).
И сейчасъ еще найдется, конечно, не мало людей, которые будутъ
искренно возмущены этимъ сопоставленіемъ „самого священнаго
чувства челоѣчества“ съ познаваемымъ лишь при помощи микро-
скопа актомъ оплодотворенія. Но пусть натуры возвышенныя и
поэтичныя не упускаютъ изъ виду, что біологія разсматриваетъ
подъ микроскопомъ не „святое“ чувство любви, а всего лишь актъ
оплодотворенія, правда органически связанный съ этимъ чувствомъ;
что можно благоговѣнно склоняться предъ силой и нравственною
красотой „любви“ и въ то-же время оставаться при глубокомъ и
совершенно справедливомъ убѣжденіи, что чувство это выросло
изъ полового инстинкта, который является стимуломъ къ акту
оплодотворенія и служитъ при посредствѣ его дѣлу размноженія
живыхъ существъ вообще и челоѣческаго рода въ частности. Въдъ
тайна зарожденія новаго существа кроется въ мужскихъ и жен-
скихъ зародышевыхъ клѣткахъ и въ процессѣ ихъ сліянія; есте-
ственно, стало быть, что сюда именно и направились научная мысль,
стремясь постигнуть эту тайну. Кого-же возмущаетъ „пошлое“
ученіе о рожденіи челоѣка, тому мы совѣтуемъ успокоить нервы
свои на слѣдующей сценкѣ изъ гётевскаго „Фауста“:

Валнеръ.

Тесъ... тише: здѣсь—сомнѣнья больше нѣтъ—
Должно сейчасъ великое свершиться.

Мефистофель (указывая на реторту)
Что тутъ такое?

Валнеръ.

Человѣкъ творится.

Мефистофель.

Вотъ какъ! А гдѣ же спрятались они?
Не слишкомъ-ли здѣсь дымно помѣщенье
Для парочки?

Валнеръ.

Нѣтъ, Боже сохрани!
Къ чему такое пошлое рожденье?..
Пускай гоняется за прежнимъ дикій звѣрь,
Все-жъ долженъ человѣкъ, вѣнецъ всего творенья,
Достойное себя имѣть происхожденье...

**Итакъ, для всякаго, кто „гонится за прежнимъ“, не подлежитъ
никакому сомнѣнію, что рожденіе многочисленнѣйшихъ видовъ жи-**

*) Ферваригъ. Общая фізіологія.

выхъ существъ, а въ томъ числѣ и человѣка, неразрывно связано съ актомъ оплодотворенія, который сводится въ концѣ концовъ къ соединенію мужской зародышевой клѣтки съ женскою; не подлежитъ также сомнѣнію, что сейчасъ-же влѣдъ за оплодотвореніемъ начинается процессъ развитія, формальная сторона котораго выражается въ томъ, что образовавшійся отъ сліянія яйца и сперматозоида *одноклѣтный* зародышъ путемъ цѣлаго ряда послѣдовательныхъ дѣленій превращается въ *многоклѣтный* сложный организмъ; не подлежитъ, наконецъ, сомнѣнію и то, что актъ оплодотворенія вызываетъ къ жизни силою могучаго инстинкта, высшимъ и опозитивированнымъ выраженіемъ котораго и является чувство любви. Все это—цѣпь логически связанныхъ между собою выводовъ положительнаго знанія, которое, разумѣется, не только не имѣетъ ничего противъ поэзіи, но и само со своей стороны всячески способствуетъ распространенію возвышеннаго взгляда на жизнь природы.

Не замѣчаете-ли вы, однако, что, устанавливая тѣсную связь между половымъ инстинктомъ и процессомъ оплодотворенія, мы тѣмъ самымъ приходимъ къ ряду новыхъ и очень важныхъ вопросовъ? А именно: *на какой почвѣ возникъ половой инстинктъ? Какъ и подъ вліяніемъ какихъ условій развивался и осложнялся онъ? Какую роль игралъ онъ въ исторіи возникновенія половъ? Въ чемъ истинная сущность его?*

Я и не дерзаю, разумѣется, отвѣтить здѣсь на всѣ эти и поставленные выше вопросы, не дерзаю уже по одному тому, что во всей извѣстной мнѣ біологической литературѣ нѣтъ вполне удовлетворительнаго и безспорнаго рѣшенія этихъ вопросовъ. Придется поэтому волей неволей ограничиться тѣмъ немногимъ, что даетъ наука,—констатируя, сличая и анализируя имѣющіеся въ ея распоряженіи факты и обобщенія. Но такъ какъ, повторяю, явленія, характеризующія процессъ оплодотворенія, совершаются всецѣло за порогомъ невооруженнаго зрѣнія, то само собою понятно, что знакомство съ ними возможно лишь при помощи микроскопа, дающаго громадныя увеличенія.

Погрузимся же въ этотъ своего рода потусторонній міръ микроскопическихъ структуръ, картинъ и явленій въ надеждѣ, что онъ приблизитъ насъ къ рѣшенію интересующей насъ „тайны“.

II.

Яйцо и сперматозоидъ—вотъ объекты, которые намъ прежде всего предстоитъ подвергнуть микроскопическому изслѣдованію. Это интересно и само по себѣ, и въ виду тѣхъ теоретическихъ соображеній, къ которымъ ведетъ такое изслѣдованіе. Въ спеціальныя каталоги по біологіи внесены за послѣдніе десять—пятнадцать лѣтъ сотни книгъ, брошюръ и статей, трактующихъ

о строеніи зародышевыхъ элементовъ, о значеніи различныхъ частей ихъ въ процессъ оплодотворенія, о происхожденіи и развитіи этихъ элементовъ. Открыты поразительныя подробности въ ихъ структурѣ, отмѣчены едва уловимыя особенности ихъ жизнедѣятельности, точно зарегистрированы отдѣльные моменты тѣхъ превращеній, которымъ подвержены они. Времени, труда, таланта и остроумія было потрачено на это не мало. Мелочи, детали, тонкости, поразительныя даже для этого міра „неизмѣримо-малыхъ“ величинъ, обнаружены силою того генія, имя которому упорный трудъ и ненасытная жажда знанія; словомъ, намъ, профанамъ, остается лишь воспользоваться плодами этой кропотливой работы. Возьмемъ все наиболѣе существенное и интересное, выбросивши за бортъ все второстепенное и „скучное“, а тамъ быть можетъ, удастся и итоги кое-какіе подвести.

Итакъ, у насъ подъ микроскопомъ яйцо и сперматозоидъ человека. Оба они убиты красящими реагентами въ виду того, чтобы можно было лучше рассмотреть ихъ строеніе. Что же мы видимъ?

Прежде всего бросается въ глаза разница въ величинѣ и формѣ обоихъ зародышевыхъ элементовъ. Стройный сперматозоидъ въ нѣсколько разъ меньше относительно неуклюжаго съ виду яйца: въ то время, какъ поперечникъ яйца равняется 0,2 миллиметра, длина сперматозоида едва достигаетъ 0,05 мил. Весьма наглядное представленіе о ничтожныхъ размѣрахъ послѣдняго даетъ слѣдующее вычисленіе проф. Вальдейера. Оказывается, что въ одномъ кубическомъ миллиметрѣ сѣмянной жидкости человека находится свыше 60,000 сперматозоидовъ.

Яйцевая клѣтка шарообразна, покрыта *оболочкой*; сперматозоидъ нѣсколько напоминаетъ съ виду головастика. Подъ оболочкой яйца помѣщается *мелкозернистое протоплазматическое содержимое* его, внутри котораго рельефно выступаетъ компактное тѣльце, одѣтое въ свою очередь въ тоненькую оболочку,—*ядро* клѣтки. Иначе выглядит сперматозоидъ. Впереди выступаетъ слегка приплюснутая грушевидная *головка*; передній, болѣе плотный и нѣсколько заостренный участокъ ея окрестили латинскимъ именемъ *perforatorium*, что значитъ собственно—*буравящій инструментъ*. За головкой лежитъ *шейка*, которая переходитъ въ болѣе тонкій и сравнительно длинный *хвостикъ*. У живого сперматозоида хвостикъ надѣленъ способностью вибрировать и сокращаться—вотъ почему и называютъ его нерѣдко *сократительною нитью*; сократительная нить заканчивается еще болѣе тоненькимъ и подвижнымъ участкомъ, который именуется *кончикомъ хвоста*. Какая сложная, замысловатая структура для такого ничтожнаго по величинѣ элемента, не правда-ли? Однако, не смотря на это, сперматозоидъ такая же клѣтка, какъ и яйцо. Разница тутъ состоитъ лишь въ томъ, что яйцо—клѣтка, такъ

сказать, *титичная*, а сперматозоидъ—сильно видоизмѣненная, специализировавшаяся и приспособленная къ той роли, которая возложена на нее самой природой. Въ ней, какъ и въ яйцѣ, имѣются оба существенныхъ элемента всякой клѣтки—протоплазма и ядро: головка сперматозоида и есть собственно ядро, а хвостикъ—протоплазма. Исторія развитія сѣмянныхъ клѣтокъ подтверждаетъ это какъ нельзя лучше. Генетическій методъ изслѣдованія дѣло вообще хорошее, а въ естествознаніи онъ особенно пригоденъ, ибо приводитъ къ очень любопытнымъ и зачастую совершенно неожиданнымъ выводамъ. Поэтому я предложилъ бы читателю прослѣдить—въ самыхъ общихъ чертахъ, конечно,—процессъ созрѣванія яйцевыхъ клѣтокъ и развитія сперматозоидовъ. Но тутъ прежде всего необходимо остановиться на одной чрезвычайно важной подробности въ архитектурѣ клѣтокъ вообще.

Клѣточное ядро—образованіе далеко не такое простое, какъ это казалось еще сравнительно недавно. Оно, какъ мы уже видѣли, имѣетъ свою собственную, очень нѣжную оболочку; а то, что заключено подъ этой оболочкой, состоитъ изъ различныхъ веществъ, *несходныхъ* между собою не только *химически*, но и *морфологически*. Оставляя въ сторонѣ такіе составные элементы ядра, какъ ядерный сокъ, волокнистый лининъ и т. д., остановимся на его наиболѣе существенной, по мнѣнію біологовъ, части. Это—основное ядерное вещество, такъ называемый *нуклеинъ* или, какъ его теперь охотнѣе величаютъ—*хроматинъ*. Последнее названіе связано со способностью ядернаго вещества легко впитывать въ себя различные красящіе реагенты и, стало быть, интенсивно окрашиваться,—интенсивнѣе, чѣмъ всѣ другія части ядра и клѣтки вообще. Такъ вотъ этотъ самый хроматинъ въ различные періоды жизни клѣтокъ и выглядитъ различно. Когда клѣтка находится въ „покоѣ“, т. е. отираетъ всѣ свои функціи, *за исключеніемъ функціи размноженія*, тогда хроматинъ имѣетъ обыкновенно видъ длинной, свернутой въ клубокъ нити или тесьмы. Но вотъ клѣтка собирается раздѣлиться на двое; при этомъ, какъ извѣстно, сперва дѣлится ядро, а потомъ ужъ и протоплазма. Однако, дѣленіе ядра сопровождается длинной и сложною процедурой, которой, въ свою очередь, предшествуетъ нѣсколько подготовительныхъ моментовъ: необычайная важность этого жизненнаго процесса пашла себѣ выраженіе въ соотвѣтственно многозначительныхъ формахъ. Одинъ изъ этихъ подготовительныхъ моментовъ сказывается такъ: *хроматиновая тесьма разсыпается на нѣсколько отдѣльных и равныхъ частей или ядерныхъ сегментовъ*. Я сказалъ—„на нѣсколько“; слѣдовало бы сказать—„на опредѣленное число“, и вотъ почему. Дѣло въ томъ, что число ядерныхъ сегментовъ въ клѣткахъ бываетъ различно: ихъ можетъ быть и два, и восемь, и пятьдесятъ, и даже больше. Но всѣ извѣстные въ этомъ отношеніи факты показываютъ, что въ клѣт-

какъ организма *даннаго вида* число ядерныхъ сегментовъ *строго определено* и какъ бы разъ навсегда установлено: у морского ежа оно—одно, у ланцетника—другое, у человѣка оно опять иное. Есть, пожалуй, основаніе сказать, что число ядерныхъ сегментовъ въ клѣткахъ организма того или иного вида можетъ служить характернымъ признакомъ для классификаціи.

Существуетъ на бѣломъ свѣтѣ круглый червь, по имени *Ascaris megaloccephala* (лошадиная глиста) — это, между прочимъ, очень подходящій экземпляръ для изученія всевозможныхъ явленій, сопровождающихъ и характеризующихъ процессъ оплодотворенія—есть, повторяю, червь, въ *обыкновенныхъ* клѣткахъ котораго ядерное вещество состоитъ изъ *четырехъ сегментовъ*. Но возьмите зрѣлое, т. е. готовое къ оплодотворенію яйцо, или зрѣлый, вполне сформировавшійся сперматозондъ *Ascaris'a*, и вы увидите, что здѣсь, въ ядерномъ веществѣ *зародышевыхъ* клѣтокъ, имѣется всего лишь по *два* ядерныхъ сегмента, т. е. *вдвое меньше*, чѣмъ въ ядерномъ веществѣ *любой изъ обыкновенныхъ соматическихъ* *) клѣтокъ того же самаго червя. Что означаетъ эта разница? Откуда взялась она? На это даетъ отвѣтъ исторія возникновенія *зародышевыхъ* клѣтокъ.

Итакъ, узнать, какъ развиваются яйцевыя клѣтки и сперматозонды, намъ вдвойнѣ необходимо: во-первыхъ, для того, чтобы понять истинную природу сперматозоида, и во-вторыхъ,—чтобы разобратъся въ занимающей насъ проблемѣ.

Круглый червь, *Ascaris megaloccephala* предоставляетъ въ наше распоряженіе все необходимое для рѣшенія только что поставленныхъ вопросовъ. Половыя железы—мужскія и женскія—этого животнаго имѣютъ видъ длинныхъ трубочекъ; въ различныхъ участкахъ этихъ трубочекъ помѣщаются половые элементы, находящіеся на различныхъ ступеняхъ развитія. Тутъ, стало быть, очень легко прослѣдить какъ процессъ созрѣванія яйцевыхъ клѣтокъ, такъ и развитіе сѣмянныхъ клѣтокъ.

Начнемъ съ сѣмянныхъ клѣтокъ. Вначалѣ это—обыкновенныя съ виду, типичныя клѣтки: почти шарообразныя съ ясно выраженной мелкозернистой протоплазмой и съ ядромъ о *четырехъ сегментахъ*. Назовемъ ихъ *материнскими сѣмянными клѣтками* и остановимъ свое вниманіе на одной изъ нихъ. Вотъ она собирается дѣлиться. Сигналы къ дѣленію подаютъ ядерные сегменты. Каждый изъ нихъ расщепляется вдоль на двѣ равныя половины. Получается, такимъ образомъ, восемь сегментовъ, которые образуютъ двѣ группы, по *четыре сегмента въ каждой*; вслѣдъ за этимъ перетягивается и протоплазма, такъ что изъ одной материнской сѣмянной клѣтки получаютъ двѣ *дочернія*. Но это еще не сперматозонды: ни по формѣ, ни по строенію своему онѣ не

*) Такъ называются всѣ клѣтки организма за исключеніемъ половыхъ.

соотвѣтствуютъ тому, что привыкли мы называть сперматозондомъ — передъ нами попрежнему типичныя клѣтки, только нѣсколько меньшаго размѣра. Однако, не успѣютъ дочернія сѣмянные клѣтки толкомъ завершить свое развитіе, какъ имъ приходится вновь дѣлиться. И здѣсь, какъ въ предыдущемъ случаѣ, сигналъ къ дѣленію подаютъ ядро. Но вмѣсто того, чтобы расщепиться предварительно по линіи, ядерные сегменты расходятся попарно въ противоположныя стороны, образуя двѣ новыя группы, но уже по два сегмента въ каждой. Какъ только это произойдетъ, начинается перетягиваться и протоплазма. Такъ, дочерняя сѣмянная клѣтка производитъ двѣ *внучатныя* клѣтки — оиать-таки типичныя, но съ тою лишь разницей, что теперь въ каждой такой клѣткѣ ядро состоитъ всего лишь изъ *двухъ* сегментовъ. Сперматозоиды-ли это? Нѣтъ пока. Внучатныя сѣмянныя клѣтки еще должны преобразоваться въ настоящихъ сперматозоидовъ. Происходить это такъ: оба ядерныхъ сегмента сближаются и образуютъ кругловатое компактное тѣлце — это и есть, собственно, головка сперматозоида; а протоплазма внучатной сѣмянной клѣтки вытягивается и принимаетъ видъ хвостика. Сперматозоидъ готовъ: теперь онъ можетъ смѣло приступить къ выполненію своего назначенія. Объ этомъ, впрочемъ, дальше.

Итакъ, исторія развитія убѣждаетъ насъ въ томъ, что сперматозоидъ есть дѣйствительно преобразованная, трансформировавшаяся типичная клѣтка; эта-же исторія вполне наглядно показываетъ, какимъ образомъ въ сѣмянныхъ клѣткахъ какого-либо организма получается сокращенное вдвое количество ядерныхъ сегментовъ — сокращенное, по сравненію съ ядернымъ веществомъ соматическихъ клѣтокъ этого-же самаго организма.

Изучая процессъ созрѣванія яицъ, мы найдемъ совершенно аналогичную картину.

Передъ нами материнская *яйцевая* клѣтка или, какъ принято называть ее, незрѣлое яйцо. Въ ядрѣ его *четыре* сегмента. Но вскорѣ сегменты расщепляются вдоль и, такимъ образомъ, удваиваются въ числѣ. Дальше дѣло идетъ съ виду не совсѣмъ такъ, какъ при развитіи сперматозоидовъ, но по существу вполне аналогично, а именно: весь ядерный аппаратъ, который только что занималъ середину клѣтки, подвигается медленно къ ея поверхности; при этомъ изъ восьми сегментовъ получаютъ двѣ группы по четыре сегмента въ каждой; одна группа, окруженная небольшимъ участкомъ протоплазмы, выступаетъ на поверхности яйца въ видѣ почки и вскорѣ вовсе отдѣляется отъ него. Остальные четыре сегмента, оставшіеся въ яйцевой клѣткѣ, сейчасъ-же вслѣдъ за этимъ располагаются другъ противъ друга попарно. Одна изъ этихъ паръ вмѣстѣ съ небольшимъ комочкомъ протоплазмы оиать-таки отдѣляется отъ яйца, въ которомъ теперь остается всего лишь одна пара сегментовъ. Освободившись, такимъ

образомъ, отъ ненужнаго ему балласта, ядерный аппаратъ опять возвращается въ средину яйцевой клѣтки. На этомъ и заканчивается процессъ созрѣванія яйца. Теперь оно въ свою очередь готово исполнить свое природное назначеніе. Но и объ этомъ въ слѣдующей главѣ. Пока же подчеркнемъ вотъ что. Оба отщепенца, отдѣлившіеся отъ яйца въ видѣ маленькихъ почекъ, извѣстны въ наукѣ подъ различными именами: ихъ называютъ то *направительными тѣльцами*, то *полюсными клѣтками*, то, наконецъ, *рудиментарными яйцами*. Последнее названіе наиболѣе содержательно. Это, дѣйствительно, недоразвитыя—рудиментарныя яйца; это—дочерняя и внучатная клѣтки неравно дѣлящагося яйца. Они соответствуютъ дочернимъ и внучатымъ сѣмяннымъ клѣткамъ. Вплоть до послѣдняго момента какъ сѣмянная, такъ и яйцевая клѣтки ни въ чемъ существенно не отличаются другъ отъ друга. Разница сказывается лишь съ той поры, когда внучатная сѣмянная клѣтка мѣняетъ свой обликъ и принимаетъ видъ сперматозоида, между тѣмъ какъ внучатная яйцевая клѣтка (зрѣлое яйцо) удерживаетъ свою первоначальную кругловатую форму.

Не мѣшаетъ отнестись внимательнѣе и терпѣливѣе ко всѣмъ только что изложеннымъ подробностямъ. Многое такое, что въ глазахъ обыкновеннаго наблюдателя представляется мелкимъ, ничтожнымъ, быть можетъ, даже недостойнымъ вниманія серьезныхъ мужей науки, имѣетъ для послѣднихъ глубокій смыслъ въ виду того теоретическаго вывода, который былъ бы немислимъ безъ обстоятельнаго знакомства со всѣми этими „мелочами“: ихъ внутренняя цѣнность часто обратно пропорціональна ихъ внѣшней „ничтожности“. Здѣсь, въ проблемѣ оплодотворенія, намъ почти на каждомъ шагѣ приходится имѣть дѣло съ такого именно рода „мелочами“ и „ничтожностями“. Поэтому мнѣ очень бы хотѣлось, чтобы читатель далъ имъ должную оцѣнку. Отъ переоцѣнки же подлинныхъ мелочей я самъ, насколько это во власти моей, постараюсь удержать его.

III.

Передъ нами прошелъ рядъ фактовъ, съ которыми намъ придется здѣсь еще не разъ считаться: они должны служить какъ-бы введеніемъ къ пониманію *морфологическихъ* явленій, наблюдаемыхъ при оплодотвореніи. Совсѣмъ иное дѣло, конечно, какъ толковать эти факты. Морфологическая сторона процесса оплодотворенія—мы это сейчасъ увидимъ—прослѣжена удивительно обстоятельно. Къ сожалѣнію, далеко не такъ блестяще обстоитъ дѣло съ физиологіей оплодотворенія. Одни и тѣ же конкретныя данныя въ этой области приводятъ различныхъ ученыхъ къ весьма несходнымъ, часто противорѣчивымъ выводамъ. Истинный смыслъ всей

картины оплодотворенія пока еще не выяснены: физиологія этого процесса вводит насъ въ кругъ непровѣренныхъ фактическихъ данныхъ и сомнительныхъ гипотезъ.

Яйца иглокожихъ—собственно морскихъ звѣздъ и ежей—и круглаго червя, *Ascaris megaloccephala*, служатъ классическими объектами для изученія процесса оплодотворенія. Мы остановимся на оплодотвореніи у иглокожихъ. Тутъ процессъ этотъ проходитъ настолько характерно, что его мы можемъ принять за нѣчто типичное.

Крошечныя прозрачныя яйца иглокожихъ откладываются въ морскую воду. Здѣсь встрѣчаются они со сперматозоидами и оплодотворяются. Если забрать на часовое стеклышко морскую воду, въ которой плаваютъ яйца и сперматозоиды иглокожихъ, и разсматривать ее подъ микроскопомъ, то не трудно прослѣдить во всѣхъ подробностяхъ, какъ совершается оплодотвореніе.

Яйцо одѣто въ нѣжную студенистую, удобопроницаемую оболочку. Оно уже отдѣлило отъ себя оба направительныя тѣльца, т. е. созрѣло, готово къ оплодотворенію. Среди мелкозернистой протоплазмы его расположилось небольшое пузыревидное ядро; оно лежитъ не въ центрѣ яйца, а нѣсколько ближе къ одному краю его. Тутъ-же, подъ микроскопомъ, плаваетъ множество сперматозоидовъ. Они—настоящіе лилипуты по сравненію съ яйцомъ: такъ ничтожна ихъ величина. Но не смотря на это, въ каждомъ изъ нихъ можно ясно различить всѣ существенныя части сѣмянного тѣльца: *головку*, похожую на коническую пулю, крошечную, едва замѣтную шаровидную *шейку* и сократительную нить—подвижной *хвостикъ*. Словно влекомые какою-то таинственной силой, цѣлой гурьбой направляются они, усиленно работая своими жгутами, къ поверхности яйца и обступаютъ его со всѣхъ сторонъ. Но вотъ одинъ, наиболее юркій и энергичный, далеко опередилъ всѣхъ остальныхъ. Еще мгновенье, и онъ достигаетъ цѣли, тѣмъ болѣе, что само яйцо какъ бы идетъ на встрѣчу его стремленіямъ: протоплазма яйца образуетъ небольшой бугорокъ (воспринимающій холмикъ), который выступаетъ по направленію къ сперматозоиду. Послѣдній упирается головкой въ студенистую оболочку яйца, работаетъ усиленно своимъ хвостикомъ, достигаетъ до воспринимающаго холмика и, наконецъ, внѣдряется въ яйцо. Какъ разъ въ это самое время на поверхности всего яйца образуется тоненькая *перепонка*—ее не слѣдуетъ смѣшивать съ тою студенистой, легко проникаемой оболочкой, о которой рѣчь была выше. Эта перепонка защищаетъ яйцо отъ вторженія въ него остальныхъ сперматозоидовъ: они остаются за бортомъ, тогда какъ ихъ болѣе счастливый товарищъ продолжаетъ идти все дальше и дальше вглубь яйца. Первое время мы видимъ его еще во всеоружіи двигательнаго аппарата. Но вскорѣ хвостикъ его перестаетъ колебаться и затѣмъ... исчезаетъ. Что дѣлается съ нимъ?—

трудно сказать. Вѣрнѣе всего, что онъ распускается и смѣшивается съ протоплазмой яйца. Такимъ образомъ, внутри послѣдняго остается видимой лишь головка сперматозоида и шейка его; при этомъ часть протоплазмы яйца располагается вкругъ шейки въ видѣ расходящихся во всѣ стороны лучей. Все это пока еще прологъ къ оплодотворенію. Существенный моментъ его еще впереди.

Мужское ядро—какъ можемъ мы теперь назвать головку сперматозоида,—окруженное лучами изъ протоплазмы, словно ореоломъ, продолжаетъ двигаться дальше. Шейка сперматозоида идетъ въ качествѣ чичероне впереди, а за нею ужъ тянется и головка; на пути своемъ она (головка) вбираетъ въ себя изъ окружающей протоплазмы жидкость, разбухаетъ и становится такимъ образомъ крупнѣе, чѣмъ была раньше. Навстрѣчу мужскому ядру направляется въ свою очередь и *женское яйцевое ядро*. Оба они точно притягиваются взаимно, и чѣмъ короче становится раздѣляющее ихъ пространство, тѣмъ быстрѣе пробираются они сквозь строй изъ зеренъ протоплазмы на встрѣчу другъ къ другу. Однако болѣе экспансивное мужское ядро стремится впередъ рѣшительнѣе флегматичнаго женскаго ядра. Вслѣдствіе этого, оба они встрѣчаются обыкновенно въ серединѣ яйца, не смотря на то, что мужское ядро находилось отъ нея дальше, чѣмъ женское. Встрѣтившись, ядра плотно прилегаютъ другъ къ другу, уплощаются на мѣстѣ соприкосновенія и начинаютъ сливаться. Процессъ сліянія длится минутъ 15—20; затѣмъ граница между ядрами исчезаетъ, и изъ нихъ получается одно общее ядро—*ядро одноклѣтнаго зародыша*. Итакъ, теперь свершилось все, что должно было свершиться для того, чтобы яйцо могло развиваться, превращаясь постепенно въ тотъ самый организмъ, которому изъ него надлежитъ возникнуть.

Процессъ развитія, какъ я уже упомянулъ, начинается съ того, что оплодотворенное яйцо дѣлится на двое; при этомъ дробится, разумѣется, и ядро, но дробится такъ, что каждая вновь возникающая дочерняя клѣтка получаетъ *по равному количеству мужскаго и женскаго ядернаго вещества*. Это прекрасно можно прослѣдить на яйцахъ лошадиной глисты (*Ascaris megaloccephala*). Здѣсь, если помните, и зрѣлое яйцо, и сперматозоидъ заключаютъ въ себѣ *по два* ядерныхъ сегмента. Стало быть, когда яйцо *Ascaris*'а оплодотворено, то ядро его состоитъ уже изъ *четырехъ* сегментовъ, изъ которыхъ два мужскіе, а другіе два—женскіе. Когда такое яйцо начинаетъ свое развитіе, то первымъ дѣломъ, какъ мы уже знаемъ, дѣлится ядро: всѣ четыре сегмента расщепляются вдоль, образуя восемь сегментовъ, когорые располагаются въ двѣ группы, по четыре сегмента въ каждой, и при томъ такъ, что *въ каждой группѣ оказываются два мужскихъ и два женскихъ сегмента*. Отсюда ясно, что каждая дочерняя клѣтка, получающаяся при дѣленіи оплодо-

твореннаго яйца *Ascaris'a*, должна заключать въ себѣ *по равному количеству мужского и женскаго ядернаго вещества*.

Принципъ единства жизни, одинъ изъ величайшихъ принциповъ биологiи, находитъ себѣ блестящее оправданіе и въ процессѣ оплодотворенія. Да и было бы странно, если бѣ такой важный жизненный процессъ представлялъ исключеніе изъ этого общаго правила: тогда мы могли бы смѣло усомниться въ справедливости самаго принципа. Но, повторяю, процессъ оплодотворенія во всѣхъ извѣстныхъ случаяхъ проходитъ идентично какъ въ животномъ, такъ и въ растительномъ царствѣ. Доказать это можно было бы, прослѣдивши во всѣхъ подробностяхъ возникновеніе и развитіе сѣмянныхъ и яйцевыхъ клѣтокъ у растений и животныхъ и сравнивши картину оплодотворенія у растений съ таковою у животныхъ. Но чтобы не утомлять читателя повтореніями, я укажу лишь вкратцѣ, какъ проходитъ оплодотвореніе у цвѣтковыхъ растений.

Цвѣтокъ, какъ извѣстно, есть органъ размноженія. Тычинки его соотвѣтствуютъ мужскимъ половымъ железамъ, а пестикъ — женскимъ. Оплодотворенію у растений предшествуетъ *опыленіе*, которое сводится къ тому, что пылинки съ тычинокъ переносятся при помощи вѣтра, наѣкомыхъ или еще какъ-нибудь иначе на рыльце пестика. Упавши на рыльце, цвѣточная пылинка прорастаетъ, т. е. образуетъ длинную трубочку, которая пробивается черезъ столбикъ пестика и достигаетъ завязи, гдѣ помѣщается растительное яйцо (яйцевая клѣтка). Содержимое трубочки состоитъ изъ протоплазмы и двухъ ядеръ: одно изъ нихъ въ оплодотвореніи никакой роли не играетъ; другое же вмѣстѣ съ прилегающей къ нему протоплазмой соотвѣтствуетъ сперматозоиду животного. Оно-то и пробирается въ кончикъ пыльцевой трубки. Когда этотъ кончикъ упрется въ яйцевую клѣтку, то ядро проникаетъ внутрь яйца и, встрѣтившись съ ядромъ послѣдняго, сливается съ нимъ. Такъ завершается оплодотвореніе у растений, вслѣдъ за которымъ идетъ уже процессъ дробленія одноклѣтнаго зародыша.

Въ этой бѣглой характеристикѣ опущены всѣ детали и нюансы. Но намъ они сейчасъ и не нужны: необходимо было отмѣтить лишь наиболѣе яркіе, типичные моменты въ процессѣ оплодотворенія у растений. И вотъ мы видимъ, что это „типичное“ вполне гармонируетъ съ тѣмъ, что наблюдается у животныхъ. Скажу болѣе. И здѣсь, какъ въ царствѣ животныхъ, половые элементы надѣлены сокращеннымъ вдвое количествомъ ядернаго вещества. Такъ, напримѣръ, у одного изъ лилейныхъ растений (*Lilium Martagon*) обыкновенная клѣтка содержитъ въ своемъ ядрѣ 24 сегмента, тогда какъ сливающіяся при оплодотвореніи ядра цвѣточной пылинки и яйца имѣютъ всего лишь по 12 сегментовъ. Только послѣ того, какъ половые элементы этого растения сольются, въ оплодотворенной яйцевой клѣткѣ оказывается нор-

мальное, полное ядро о 24-хъ сегментахъ — 12 мужскихъ и 12 женскихъ. Совершенно то же самое нашли мы у животныхъ: яйцевое ядро, напр., *Ascaris*'а становится полнымъ ядромъ лишь послѣ того, какъ къ нему присоединятся ядерные сегменты сперматозоида. Это—явленіе общее для всѣхъ животныхъ и растеній, размножающихся половымъ способомъ. Отсюда, стало быть, можно сдѣлать такого рода заключеніе, что въ процессъ оплодотворенія яйцевая клѣтка получаетъ обратно то, что потеряла она въ періодъ созрѣванія; часть ядернаго вещества, ушедшая изъ яйца вмѣстѣ съ полюсной клѣткой, вновь восполняется на счетъ ядернаго вещества сперматозоида. Но въ такомъ случаѣ, спрашивается, къ чему было яйцу терять въ процессъ созрѣванія часть ядерныхъ сегментовъ, разъ утерянное вновь должно будетъ восполниться вмѣстѣ съ приходомъ сѣмяннаго тѣльца? Къ чему, наконецъ, и сперматозоиду получать въ процессъ развитія вдвое меньшее противъ нормальнаго число ядерныхъ сегментовъ?

Отвѣчая на эти вопросы, мы должны вспомнить о тѣхъ явленіяхъ, которыя происходятъ при созрѣваніи яйца и развитіи сперматозоида. Созрѣвая, яйцо уменьшаетъ вдвое число своихъ ядерныхъ сегментовъ; развиваясь изъ сѣмянной клѣтки, сперматозоидъ также сокращаетъ вдвое количество своего хроматина. Благодаря этому—и только этому,—оплодотворенное яйцо (или одноклѣтный зародышъ) имѣетъ какъ разъ такое количество ядернаго вещества, которое является нормальнымъ для него; благодаря этому, и всѣ клѣтки того организма, который долженъ будетъ развиваться изъ такого зародыша, будутъ имѣть типичное для этого именно организма число ядерныхъ сегментовъ. Будь въ сперматозондѣ и въ яйцѣ *Ascaris*'а не по два, а по четыре сегмента, тогда въ оплодотворенномъ яйцѣ этого животнаго оказалось бы уже восемь сегментовъ; тогда и во всѣхъ клѣткахъ, развившихся изъ такого яйца, было бы также по восьми сегментовъ вмѣсто нормальныхъ четырехъ; тогда, наконецъ, и въ половыхъ элементахъ каждаго слѣдующаго поколѣнія круглаго червя количество ядернаго вещества все удваивалось бы да удваивалось до безконечности. И вотъ, чтобы предупредить такого рода безпредѣльное суммирование ядернаго вещества, природа вызвала къ жизни чрезвычайно остроумный и цѣлесообразный способъ развитія яйцевыхъ и сѣмянныхъ клѣтокъ...

Формулируя процессъ оплодотворенія въ нѣсколькихъ словахъ, мы должны будемъ сказать слѣдующее: *при всякомъ типичномъ оплодотвореніи соединяются протоплазмы и ядра материнскаго и отцовскаго происхожденія.*

■ Передъ нами развернулась здѣсь лишь виѣшняя, описательная сторона оплодотворенія. Всѣ авторы на этотъ счетъ согласны между собою и толкуютъ морфологию оплодотворенія приблизительно одинаково. Разногласія начинаются лишь при оцѣнкѣ

тѣхъ явленій, которыя имѣютъ мѣсто при оплодотвореніи. Центральнѣйшій пунктъ разногласія сводится къ слѣдующему: какова роль различныхъ частей яйцевой клѣтки и сперматозоида въ процессѣ оплодотворенія? Въ связи съ этимъ вопросомъ ставится рядъ другихъ вопросовъ, пожалуй, еще болѣе существенныхъ, а именно: въ чемъ смыслъ и значеніе этого процесса? Какія цѣли преслѣдуетъ природа, прибѣгая къ оплодотворенію? Въ чемъ „телеологія“ его? Здѣсь начинается наиболѣе интересная въ теоретическомъ отношеніи сторона занимающаго насъ вопроса, его, такъ сказать „философія“.

IV.

Еще въ первой половинѣ прошлаго (XIX) столѣтія многіе натуралисты полагали, что сперматозоиды никакого значенія въ дѣлѣ оплодотворенія не имѣютъ, и что оплодотворяющимъ началомъ въ сѣмени нужно считать жидкія составныя части его. Уже само названіе: „Spermatozoon“ или, какъ писали тогда нѣмцы „Samenthierchen“, т. е. „сѣмянное животное“, показываетъ, что сперматозоидъ дѣйствительно считался за крошечное вполне самостоятельное животное. Его охотно сравнивали съ инфузоріями и думали, что онъ живетъ въ сѣмени въ качествѣ паразита. Даже въ учебникѣ фізіологіи великаго Іог. Мюллера можно было прочесть слѣдующія строки: „Являются-ли сперматозоиды паразитами или живыми основными частицами того животнаго, въ которомъ они встрѣчаются—пока рѣшить еще навѣрняка нельзя“*). Но вотъ наука устанавливаетъ безповоротно тотъ фактъ, что сперматозоидъ принимаетъ въ процессѣ оплодотворенія прямое и непосредственное участіе. Тогда ставится вопросъ: что собственно считать въ немъ оплодотворяющимъ началомъ—головку, шейку, хвостикъ или, быть можетъ, все это вмѣстѣ взятое?

Лѣтъ пятнадцать тому назадъ одинъ видный натуралистъ, указывая на тотъ фактъ, что хвостикъ сперматозоида, очутившись въ яйцѣ, куда-то вскорѣ пропадаетъ, писалъ: „Принять-ли намъ, что бичъ (хвостикъ), въ гордомъ сознаніи исполненнаго долга, бросается въ безграничное море яйцевого вещества и тамъ находитъ себѣ славную смерть, или же нужно думать, что, напротивъ, протоплазма яйца, обрадовавшись прекрасной добычѣ, схватываетъ хвостикъ и немедленно пожираетъ его? Это послѣднее предположеніе не лишено правдоподобія, такъ какъ трудно допустить, чтобы простой *„органъ движенія“*, не играющій другой, болѣе значительной роли, вдругъ сталъ бы искать такой

*) «Ob die Samenthierchen parasitische Thiere oder belebte Urtheilchen des Thieres, in welchem sie vorkommen, sind, lässt sich für jetzt noch nicht mit Sicherheit beantworten».

смерти... Можно, значить, признать, что жгутикъ *переваривается* содержимымъ яйца, уподобляется ему“ *). Въ подчеркнутыхъ мною словахъ приведенъ вполне опредѣленный отвѣтъ на вопросъ о роли жгута, т. е. протоплазматической части сперматозоида въ дѣлѣ оплодотворенія: *протоплазма съмянной клѣтки въ самомъ процессѣ оплодотворенія никакого значенія не имѣетъ*, роль ея преходящая, второстепенная; она связана съ періодомъ, предшествующимъ оплодотворенію, а не съ существеннымъ моментомъ его—вотъ подлинный смыслъ отвѣта Френцеля, и это, собственно говоря, есть типичный отвѣтъ для громаднаго большинства современныхъ біологовъ. Уже на что антиподы во многихъ отношеніяхъ Вейсманъ и Оск. Гертвигъ, но даже и они въ этомъ отношеніи обнаруживаютъ полное согласіе. Такъ, напримѣръ, еще недавно въ первомъ томѣ своей прекрасной книги „Клѣтка и ткани“ Гертвигъ писалъ: „Мы можемъ считать доказаннымъ, что обѣ половыя клѣтки, не смотря на свой чрезвычайно различный внѣшній видъ и неравное содержаніе въ нихъ протоплазмы, заключаютъ въ себѣ совершенно эквивалентное количество ядернаго вещества и поэтому *совершенно равнозначущи*... Къ этому положенію, — продолжаетъ онъ, — я присоединяю слѣдующій тезисъ: *ядерныя вещества, происходящія въ эквивалентныхъ количествахъ отъ двухъ различныхъ индивидовъ, суть единственныя дѣйствующія вещества, соединеніе которыхъ имѣетъ значеніе въ актѣ оплодотворенія. Всѣ прочія вещества—протоплазма, ядерный сокъ и пр. — не имѣютъ прямого отношенія къ оплодотворенію*“ (Курсивъ Гертвига). Совершенно въ такомъ же смыслѣ высказывался и продолжаетъ высказываться Вейсманъ. Мысль его можетъ быть выражена въ двухъ словахъ: нѣтъ никакой разницы между головкой сперматозоида и ядромъ яйца; сущность оплодотворенія сводится къ сліянію этихъ двухъ ядерныхъ веществъ, — словомъ, то же, что у Гертвига, да и у множества другихъ, большихъ и малыхъ, извѣстныхъ и рѣдко кому извѣстныхъ біологовъ.

На чемъ же, спрашивается, покоится это дружное единомысліе ученыхъ при оцѣнкѣ роли различныхъ частей зародышевыхъ клѣтокъ въ актѣ оплодотворенія? Оно въ значительной степени апріорно, потому что факты говорятъ въ пользу этого мнѣнія очень немногое. Мы знаемъ, что сліяніе двухъ ядеръ — съмянного и яйцевого — представляетъ довольно сложную перемонію, и на основаніи этого предполагаемъ, что коли сложно, то, стало быть, и существенно. Другихъ непосредственныхъ данныхъ въ защиту мнѣнія — быть можетъ и вѣрнаго, не спору — будто всеисчерпывающимъ моментомъ при оплодотвореніи нужно считать сліяніе ядеръ, не имѣется. Но за то имѣется цѣлый бу-

*) Frenzel: «Das Idioplasma und die Kernsubstanz».

кетъ остроумныхъ, болѣе или менѣе законченныхъ, красиво отдѣланныхъ гипотезъ и теорій насчетъ значенія ядернаго вещества въ жизни организмовъ вообще. Общую мысль этихъ теорій можно формулировать такъ.

Всѣ главные отправленія клѣтки опредѣляются жизнедѣятельностью ядра: оно здѣсь главенствуетъ, тогда какъ протоплазма исполняетъ второстепенную, подчиненную роль. Въ ядрѣ яйцевой и сѣмянной клѣтки заложены *in potentia* всѣ физическія и психическія особенности будущаго организма: оно—носитель наслѣдственныхъ свойствъ. Развитие многоклѣтнаго организма изъ одноклѣтнаго зародыша совершается подѣ командой ядра: оно какъ бы дирижируетъ тѣми процессами, которые характеризуютъ развитие *). Исходя изъ этихъ общихъ положеній, не трудно, разумѣется, придти и къ такому выводу, что сліяніе мужского и женскаго ядеръ составляетъ центральный моментъ въ процессѣ оплодотворенія, и что ядерныя вещества, выражаясь словами Гертвига, „суть единственные, дѣйствующія вещества, соединеніе которыхъ имѣетъ значеніе въ актѣ оплодотворенія“. Если ядро есть дѣйствительно носитель наслѣдственныхъ свойствъ, если оно и въ самомъ дѣлѣ завѣдуетъ не только процессомъ развитія, но и всѣми жизненными функціями клѣтки, то само собою понятно, что сліяніе ядра яйцевой клѣтки съ головкой (ядромъ) сперматозоида должно отодвинуть на задній планъ всѣ другія явленія, разыгрывающіяся при актѣ оплодотворенія.

Однако не всѣ біологи держатся такого взгляда. Многіе изъ нихъ думаютъ, что ядро и протоплазма для жизни равноцѣнны. Жизнь, говорятъ они, нужно разсматривать, какъ результатъ вѣдмодѣйствія обоихъ существенныхъ элементовъ клѣтки, ядра и протоплазмы; стало быть, и въ явленіяхъ развитія и наслѣдственности протоплазма играетъ не меньшую роль, чѣмъ ядро. Но если это такъ, то нѣтъ никакого основанія видѣть въ актѣ оплодотворенія лишь сліяніе ядеръ и не замѣчать соединенія двухъ различныхъ протоплазмъ—протоплазмы яйцевой клѣтки и протоплазмы сперматозоида. Наиболѣе яркимъ представителемъ такого взгляда на роль различныхъ частей зародышевыхъ элементовъ въ дѣлѣ оплодотворенія является Максъ Ферворнъ; и вотъ какъ выражается онъ по этому поводу въ своей „Общей фізіологіи“: „Оплодотвореніе состоитъ въ соединеніи двухъ клѣтокъ — яйцеклѣтки и сѣмяклѣтки, при чемъ *протоплазма соединяется съ протоплазмой, ядро съ ядромъ* и центрозомъ съ центрозомой“.

Какъ видите, рѣшеніе проблемы оплодотворенія дѣйствительно сопряжено съ большими трудностями. Разногласія возникаютъ уже при отвѣтѣ на такой важный вопросъ, какъ вопросъ о зна-

*) Подробный анализъ этихъ идей былъ мною данъ въ статьяхъ „Развитіе и наслѣдственность“. См. «Русское Богатство», апрѣль—іюнь, 1902 г.

ченіи различных частей зародышевыхъ элементовъ при оплодотвореніи. Разсматривая этотъ актъ въ свѣтѣ общебіологическихъ идей, въ связи съ апріорными соображеніями относительно роли составныхъ элементовъ клѣтки въ жизненномъ процессѣ вообще, ученые приходятъ къ несходнымъ и даже противорѣчивымъ выводамъ. Задача оплодотворенія въ сліяніи ядерныхъ веществъ, говорятъ одни. Нѣтъ, не менѣе важно и соединеніе протоплазмъ, возражаютъ другіе. А не посвященный въ тайны біологической мудрости „профанъ“ стоитъ въ недоумѣніи и не знаетъ, за что ему (уцѣпиться и кому вѣрить, если тутъ вообще можетъ быть рѣчь о вѣрѣ...

Въ послѣднее время проблема оплодотворенія стала толковаться еще иначе, независимо отъ тѣхъ выводовъ, о которыхъ я только что разсказалъ. Въ исторію занимающаго насъ вопроса вторгнулся новый элементъ, роль котораго представляется совсѣмъ не въ томъ свѣтѣ, какъ это думали всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Обратите въ самомъ дѣлѣ вниманіе на только что процитированную выдержку изъ книги Ферворна. Тамъ говорится о какихъ-то „центрозомахъ“, которыя, по мысли Ферворна, участвуютъ въ процесѣ оплодотворенія наравнѣ съ ядрами и протоплазмой обѣихъ сливающихся клѣтокъ. Оплодотвореніе, — говоритъ онъ, — состоитъ въ соединеніи яйцеклѣтки съ сѣмяклѣткой, „при чемъ протоплазма соединяется съ протоплазмой, ядро съ ядромъ и *центрозома съ центрозомой*“. Что же за центрозома такая? Какого они вида и почему такъ названы?

Еще въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ Фанъ Венеденъ и Бовери пришли къ тому заключенію, что въ клѣткѣ, кромѣ ядра и протоплазмы, есть еще одна въ высшей степени важная составная часть; это — крошечное блестящее круглое тѣльце, которое періодически то появляется внутри клѣтки, возлѣ ядра, то исчезаетъ куда-то. О крайне ничтожныхъ размѣрахъ этого тѣльца можно судить хотя-бы потому, что въ одномъ кубическомъ миллиметрѣ — объемъ булавочной головки! — можетъ смѣло умѣститься 100,000,000,000 такихъ тѣлецъ. Вотъ ихъ-то и называютъ центрозомами или *центральноми тѣльцами*. Въ качествѣ непремѣннаго члена клѣтки, центральное тѣльце принимаетъ весьма дѣятельное участіе при ея дѣленіи. Оно собственно и подаетъ сигналъ къ дѣленію, которое начинается съ того, что центрозома расщепляется, образуя двѣ новыя центрозомы. Вслѣдъ за этимъ центрозомы расходятся въ противоположныя стороны и располагаются по обѣимъ сторонамъ ядра другъ противъ друга, точно два полюса; вотъ почему центрозомы именуются часто и *полярными тѣльцами*. Въ этотъ моментъ клѣтка представляетъ подъ микроскопомъ чрезвычайно любопытное зрѣлище. Центрозомы выглядятъ точно два солнца съ расходящимися отъ нихъ во всѣ стороны лучами изъ зернистой протоплазмы, а

между ними—ядерные сегменты, расположенные въ экваторіальной плоскости клѣтки. Вслѣдъ за этимъ, какъ извѣстно, ядерные сегменты расщепляются вдоль, и одна группа ихъ направляется къ одному полярному тѣльцу, а другая—къ другому. Такимъ образомъ полярныя тѣльца или центрозома служатъ какъ бы центрами притяженія для расщепившихся ядерныхъ сегментовъ—отсюда и названіе: центральныя тѣльца (центрозома). Когда, въ концѣ концовъ, вся клѣтка распадается на двѣ новыя клѣтки то въ каждой изъ нихъ, понятно, будетъ своя собственная, дочерняя центрозома.

Въ 1891 году въ женевскомъ „Архивѣ физики и естествознанія“ появилась статья извѣстнаго ученаго Фоль подъ оригинальнымъ и интригующимъ заглавіемъ „Le quadrille des centres, un épisode nouveau dans l'histoire de la fécondation—Кадриль центровъ, новый эпизодъ въ исторіи оплодотворенія“. Въ статьѣ этой очень живо описывалась одна весьма любопытная сценка въ длинной процедурѣ оплодотворенія, при чемъ на этотъ разъ все вниманіе автора сосредоточилось на новыхъ дѣйствующихъ лицахъ—на центральныхъ тѣльцахъ. Фоль утверждалъ слѣдующее.

Въ неоплодотворенной яйцевой клѣткѣ есть свое собственное центральное тѣльце—*женская центрозома*. Однако, во время оплодотворенія въ яйцо вмѣстѣ со сперматозоидомъ проникаетъ еще одна центрозома—*мужская центрозома*. Если остановить вниманіе на томъ моментѣ оплодотворенія, когда оба ядра, яйцевое и сѣмянное, уже соединились, то не трудно замѣтить,—говорить Фоль,—что мужская и женская центрозома лежатъ на противоположныхъ полюсахъ общаго, сливагося ядра. И вотъ тутъ-то и начинается „кадриль центровъ“. Обѣ центрозома вытягиваются, принимаютъ форму крошечныхъ бисквитовъ и, наконецъ, дѣлятся. Теперь внутри яйца уже четыре центрозома: пара мужскихъ и пара женскихъ. Едва успѣвши образоваться, отдѣльные члены каждой пары начинаютъ расходиться въ противоположныя стороны: одна мужская идетъ вправо, другая—влѣво; тоже продѣлываютъ и женскія центрозома. Понятно, что, обходя такимъ образомъ ядро съ двухъ противоположныхъ сторонъ, центрозома со временемъ встрѣчаются и образуютъ смѣшанныя пары; теперь каждая пара состоитъ изъ мужской и женской центрозома, которыя, въ концѣ концовъ, сливаются. Словомъ, здѣсь мы имѣемъ процессъ, вполне аналогичный процессу слиянія ядеръ: какъ яйцевое ядро сливается съ сѣмяннымъ, образуя одно общее ядро одноклѣтнаго зародыша, точно такъ же и каждая мужская центрозома сливается съ лежащей влѣво нея женскою центрозомой, составляя, такимъ образомъ, одну общую двуполою центрозома. Такимъ образомъ, въ концѣ оплодотворенія въ яйцо имѣется столько-же центрозомъ, сколько

ихъ было въ началѣ его, т. е. тогда, когда сперматозоидъ только что пробрался въ яйцевую клѣтку. Разница лишь въ томъ, что сначала одна центрозома была сплошь мужская, другая же сплошь женская; теперь-же каждая изъ нихъ гермафродитка, т. е. наполовину мужская, наполовину женская. Зная все это, мы поймемъ, почему, напримѣръ, Ферворнъ говоритъ, что во время оплодотворенія слияніе всѣхъ составныхъ элементовъ сѣмянной и яйцевой клѣтки совершается такъ, что „при наступающемъ затѣмъ дѣленіи оплодотвореннаго яйца каждая половина, происшедшая путемъ дѣленія, получаетъ отъ обѣихъ слившихся клѣтокъ вещества и протоплазмы, и ядра, и центрозомы“. (Общая физиологія).

Только что описанная картина вплоть до послѣдняго времени считалась чѣмъ-то безспорнымъ и научно обоснованнымъ. „Кадриль центровъ“ Фоля фигурировали, и продолжаетъ еще фигурировать въ лучшихъ сочиненіяхъ по общей физиологіи и эмбриологіи. А между тѣмъ, врядъ-ли мы ошибемся, если скажемъ, что дни сенсационнаго „открытія“, сдѣланнаго Фолемъ, сочтены. Въ высшей степени осторожный О. Гертвигъ выкинулъ изъ послѣдняго изданія (1902 г.) своей „Исторіи развитія человѣка и позвоночныхъ“ тотъ параграфъ, гдѣ трактовалось о „кадриляхъ центровъ“, мотивируя это обстоятельство слѣдующими словами: „Открытая Фолемъ *кадриль центральныхъ тѣлецъ* не нашла себѣ подтвержденія въ изслѣдованіяхъ Бовери, Вильсона и Matthews'a, работавшихъ также надъ яйцами иглокожихъ“ *).

Значить-ли это, что все ученіе о центрозомахъ провалилось? Нисколько, даже совсѣмъ наоборотъ: волею историческихъ судебъ и неутомимыхъ изслѣдованій въ области цитологіи (ученіе о клѣткѣ) „центрозома“ становится центромъ напряженнаго вниманія біологовъ. Ея слава обѣщаетъ затмить собою славу всѣхъ остальныхъ „органовъ“ клѣтки. Пока наука мало что знала о клѣточномъ ядрѣ, протоплазма считалась важнѣйшимъ элементомъ клѣтки: ее всесторонне изучали, въ ея нѣдрахъ искали тайну жизни, ей пѣли дифирамбы. Но вотъ на горизонтѣ объявилось „ядро“. Къ неофиту отнеслись сперва съ недовѣріемъ, потомъ признали, но подчинили его деспотической власти протоплазмы. Однако, новичокъ, по мѣрѣ того, какъ ближе узнавали его, обнаруживалъ такія разностороннія дарованія, такую удивительную способность къ всевозможнымъ „волшебнымъ“ превращеніямъ, что даже самые суровые мужи науки торжественно признали: ты всемогуще, а протоплазма—раба твоя и данница! Культъ ядра съ мужествомъ отстаивается до сей минуты наиболѣе вѣрными рыцарями его. Но менѣе стойкіе ужъ колеблются и, кажется, готовы

* O. Hertwig «Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere».

вручить пальму первенства центрозомам. И во главе этой новой революции идет профессор Вюрцбургского университета, выдающийся, в высшей степени остроумный и талантливый ученый, Теодор Бовери.

V.

То обстоятельство, — говорит Бовери, — что *яйцо есть клетка*, а возникший из него *зрелый организм представляет целый комплекс* безчисленного множества *клеток*, показывает, что эмбриональное развитие сводится по существу к последовательному *размножению клеток*. У организмов, размножающихся половым способом, развитие, т. е. ряд последовательных делений, наступает только с того момента, как две клетки — яйцевая и сперматозоидная — сливаются в одну, которая и служит исходным пунктом для образования нового организма. Этот факт большинством толкуется в том смысле, что сперматозоид каким то образом влияет на яйцо, пробуждая в нем способность к развитию. Но как? Ответов было много, однако, ни один из них, по мнению Бовери, не выдерживает строгой критики. Решая этот вопрос, обыкновенно упускают из виду следующие факты и соображения, с которыми необходимо считаться всякому, кто хочет прийти к правильному выводу. Хорошо известно, что у многих насекомых яйца могут развиваться без предварительного оплодотворения (партеногенез — девственное размножение, напр., у тлей). Далее, существуют яйца — напр., яйца пчелы, — которые обыкновенно оплодотворяются, но если и не оплодотворяются, то все же развиваются. Наконец, опыты Леба над яйцами иглокожих, развивающихся в обычных условиях только после оплодотворения, показывают, что яйца эти, под влиянием искусственной обстановки, могут развиваться и девственно (партеногенетически), т. е. без предварительного оплодотворения. Все эти факты, вместе взятые, наводят на мысль, что в яйце, как таковом, имеются налицо все данные, необходимые для возникновения взрослой формы того или иного вида, и что иногда ему не хватает лишь импульса для того, чтобы приступить к развитию. „Яйцо, — читаем мы у Бовери, — можно уподобить часам с совершенным механизмом. Недостает лишь пружины и вместе с нею побудительного стимула. Но, в виду того, что механизм эмбрионального развития сводится к последовательному делению клеток, и что все совершающееся при этом качественны изменения, ведущие к образованию клеточного государства определенного вида, заложены в свойствах самого яйца, — в виду всего этого окончательная формулировка проблемы оплодотворения может быть выражена так: чего не достает яйцу, раз оно не в состоя-

нѣи дѣлиться, и что приносить сперматозоидъ съ собою новаго, чтобы вызвать сначала первое, а затѣмъ и всѣ послѣдующія дѣленія яйцевой клѣтки?“ *).

Для рѣшенія этого вопроса намъ придется прибѣгнуть къ помощи того, что говорилось въ предыдущей главѣ о центрозомахъ. Вы помните, конечно, что это крошечное тѣльце играетъ при размноженіи клѣтокъ очень важную роль: оно именно, какъ это думаетъ Бовери, а не ядро, подаетъ сигналъ къ дѣленію клѣтки, оно, расщепляясь пополамъ, образуетъ два новыхъ тѣльца, которыя служатъ какъ бы центрами притяженія для дѣлящихся вслѣдъ затѣмъ ядра и протоплазмы. Это даетъ поводъ Бовери разсматривать центрозома какъ самостоятельный органъ клѣтки, какъ *динамическій центръ ея* (ein dynamischer Mittelpunkt der Zelle). „Мы,—говоритъ Бовери,—можемъ считать центрозома *органомъ дѣленія или размноженія клѣтки*“ (ibid).

Намъ уже извѣстно, что въ *оплодотворенномъ* яйцѣ въ тотъ моментъ, когда оно приступаетъ къ дѣленію, имѣются на лицѣ двѣ центрозома. Но, спрашивается, есть ли центрозома у *яйца неоплодотвореннаго*, т. е. въ ту пору, когда сперматозоидъ еще не проникъ внутрь его? Фоль, а вмѣстѣ съ нимъ и другіе изслѣдователи отвѣчаютъ на этотъ вопросъ утвердительно: да, говорятъ они, у неоплодотвореннаго яйца есть своя собственная центрозома, и когда въ него входитъ сперматозоидъ, то вмѣстѣ съ нимъ туда привносится еще одна центрозома, и, такимъ образомъ, ихъ становится двѣ. Бовери же утверждаетъ совершенно обратное, и его взглядъ приобретаетъ все большее и большее число сторонниковъ. Еще раньше категорическихъ заявленій Бовери, изслѣдователи обратили вниманіе на слѣдующее любопытное явленіе. Въ клѣткахъ, изъ которыхъ получаютъ яйца, дѣйствительно видны центральныя тѣльца. Но вотъ яйцо готовится къ оплодотворенію, созрѣваетъ и — странное дѣло! — центрозома его теряется изъ виду, куда-то исчезаетъ, словно ея вовсе не было. Это-то обстоятельство, т. е. отсутствіе центрозома въ яйцѣ зрѣломъ, готовомъ къ принятію сперматозоида, и даетъ поводъ Бовери строить всѣ свои дальнѣйшіе выводы относительно сущности оплодотворенія. Указывая на тотъ фактъ, что въ яйцѣ оплодотворенномъ, собирающемся вотъ-вотъ раздѣлиться, имѣются цѣлыхъ двѣ центрозома, онъ спрашиваетъ: откуда возникаютъ обѣ центрозома дѣлящагося яйца? И сейчасъ же отвѣчаетъ: „Изслѣдованія надъ множествомъ животныхъ формъ, отъ червей до позвоночныхъ, показали, что *онѣ* (центрозома) *возникаютъ благодаря дѣленію на двое одной центрозома, которая появляется у проникшаго въ яйцо сперматозоида въ области его шейки*“. (Курсивъ мой. Ibid). Не есть-ли, однако, центрозома, „по-

*) Theodor Boveri. «Das Problem der Befruchtung». 1902.

являющаяся въ области шейки у сперматозоида“, сама ~~шейка~~? Все, извѣстное на этотъ счетъ, позволяетъ думать, что оно такъ именно и есть. Вспомните хотя бы тотъ моментъ въ картинѣ оплодотворенія, когда головка сперматозоида, *окруженная сіяніемъ изъ лучей протоплазмы*, направляется къ яйцевому ядру. Вѣдь центромъ, распускающимъ вокругъ себя это „сіяніе“, является именно шейка сперматозоида, а головка купается въ лучахъ чужого ореола только потому, что она тянется сейчасъ же вслѣдъ за шейкой. А развѣ вѣнецъ изъ лучей протоплазмы, который наблюдается при дѣленіи *соматической клѣтки*, исходитъ не изъ центрозома? Стало быть остается признать, что шейка сперматозоида дѣйствительно тождественна съ центрозомой соматической клѣтки, и что она именно и составляетъ центрозома сѣмянной клѣтки.

Итакъ, въ яйцѣ до оплодотворенія нѣтъ центрозома и потому оно лишено возможности исполнить свое провиденціальное назначеніе—не въ силахъ дѣлиться, не можетъ развиваться, не способно дать новый организмъ. Эта способность пріобрѣтается имъ лишь послѣ вѣдренія сперматозоида, послѣ того, какъ послѣдній надѣлитъ яйцо своею центрозомой. Ну, а такъ какъ центрозома сперматозоида и шейка его—одно и то же, то значить существенная роль въ актѣ оплодотворенія выпадаетъ на долю не протоплазмы и не ядра, а шейки сперматозоида. Теперь на вопросы (кардинальные въ проблемѣ оплодотворенія!)—чего не достаетъ яйцу, пишущему оплодотворенія, и что получаетъ оно отъ сперматозоида при оплодотвореніи—мы можемъ отвѣтить: ему не хватаетъ центрозома, которую приносить съ собою сперматозоидъ. Такъ ставитъ и рѣшаетъ интересующую насъ сейчасъ проблему оплодотворенія Теодоръ Бовери. „Моя теорія,—говорить этотъ ученый,—гласитъ слѣдующее: зрѣлое яйцо обладаетъ всѣми необходимыми для развитія свойствами и органами, но только его центрозома, которая могла бы дать толчокъ къ дѣленію, подверглась регрессивному метаморфозу или, быть можетъ, впала въ недѣйтельное состояніе. Сперматозоидъ же, напротивъ, снабженъ такого рода образованіемъ, но ему недостаетъ протоплазмы, на которую этотъ органъ (центрозома) могъ бы направить свою дѣтельность. Благодаря сліянію двухъ клѣтокъ при актѣ оплодотворенія, соединяются въ одно всѣ необходимые для развитія органы клѣтки: яйцо получаетъ центрозома, которая теперь, дѣлясь, даетъ толчокъ къ эмбриональному развитію“.

(Ibid).
Еще въ 1887 году Бовери высказалъ въ общихъ чертахъ свой взглядъ на сущность оплодотворенія. Но тогда этотъ взглядъ не нашелъ себѣ поддержки и вызвалъ множество возраженій. И вотъ теперь, послѣ цѣлаго ряда пояснительныхъ, дополнительныхъ и провѣрочныхъ наблюденій, Бовери снова выступаетъ въ ~~защиту~~

своего дѣтища — и на этотъ разъ, кажется, съ несомнѣннымъ успѣхомъ. Сошлюсь для примѣра на того же самого Гертвига, который въ послѣднемъ изданіи своей „Entwicklungsgeschichte“ цѣликомъ принимаетъ и излагаетъ основную мысль Бовери.

Въ нашей публицистической литературѣ, претендующей на философское глубокомысліе, теперь нерѣдко приходится наталкиваться на призывъ: „Назадъ къ Гегелю! Назадъ къ Канту! Назадъ къ Спинозѣ!“ Подобные возгласы за послѣднее время все чаще и чаще раздаются и въ станѣ біологовъ, считающихъ невозможнымъ вести строго-научное изслѣдованіе внѣ теоретико-познавательныхъ рамокъ критической философіи. Насколько успѣшны экскурсіи біологовъ въ головокружительную область гносеологіи—это мы попытаемся разобрать въ другой разъ, когда у насъ рѣчь будетъ идти о „жизненной силѣ“. Теперь же всѣ эти призывы мнѣ вспомнились потому, что теорія оплодотворенія, данная Бовери, тоже приглашаетъ насъ „назадъ... къ Аристотелю!“ Если помните, Аристотель утверждалъ, что женскій организмъ доставляетъ матеріалъ для развитія новаго индивидуума, а мужской—даетъ толчокъ къ такому развитію. Согласно Бовери, роли яйца и сперматозоида въ дѣлѣ возникновенія новаго организма нужно понимать совершенно такъ же, какъ понималъ это Аристотель, который не имѣлъ, разумѣется, никакого представленія не только о центрозомахъ, но и о яйцѣ и сперматозоидѣ. Тѣмъ больше чести, конечно, пророческому дару великаго философа древней Греціи: двадцать четыре вѣка тому назадъ силою одного лишь творческаго вдохновенія онъ далъ такое рѣшеніе, которое, по мысли Бовери, нашло себѣ фактическое оправданіе въ данныхъ современной біологіи. Впрочемъ, ссылка на авторитетъ Аристотеля, какъ увидимъ дальше, не спасаетъ теорію Бовери отъ тѣхъ возраженій, съ которыми ей приходится серьезно считаться. Однако, прежде чѣмъ говорить объ этихъ возраженіяхъ, не мѣшаетъ развить подробнѣе общія положенія Бовери.

Мы уже знаемъ, что, по мнѣнію многихъ біологовъ, въ дѣлѣ оплодотворенія и слѣдующаго за нимъ развитія весьма существеннымъ моментомъ нужно считать сліяніе мужского ядра съ женскимъ. Бовери поворачиваетъ этотъ вопросъ такимъ образомъ: Да,—говоритъ онъ,—ядро необходимо для того, чтобы одноклѣтный зародышъ (оплодотворенное яйцо) могъ развиваться, но что такое ядро должно обязательно состоять изъ двухъ слившихся ядеръ—это вовсе не подтверждается фактами. И вотъ какъ остроумно онъ доказываетъ свою мысль.

Возьмемъ яйца морскихъ ежей. Сильнымъ встряхиваніемъ можно разбить эти яйца на отдѣльные куски. Если теперь помѣстимъ въ часовое стеклышко съ морской водой нѣсколько обломковъ яйца, но такихъ, *которые остались безъ ядра*, и подпу-

стить къ нимъ сперматозоидовъ, то произойдетъ оплодотвореніе; сперматозоиды проберутся въ протоплазматическіе, *лишенные ядеръ*, фрагменты яйца; затѣмъ, нѣсколько времени спустя, фрагменты эти станутъ развиваться, какъ будто они—не обломки, а настоящія, совершенно нормальныя яйца, и, наконецъ, каждый изъ нихъ дастъ *карликовую* личинку морского ежа—личинку, которая будетъ отличаться отъ обыкновенной нормальной личинки лишь величиною своею. Развѣ отсюда не слѣдуетъ, что сѣмянное ядро способно вести впередъ развитіе совершенно самостоятельно и ничуть не хуже, чѣмъ дѣлаетъ оно это тогда, когда сливается предварительно съ яйцевымъ ядромъ? Развѣ не ясно, что личинки въ данномъ случаѣ оказались карликовыми только потому, что въ обломкахъ, изъ которыхъ возникли онѣ, было гораздо меньше строительнаго матеріала, *протоплазмы*, чѣмъ въ яйцахъ полныхъ, не разбитыхъ на части? *).

Ну, а можетъ-ли яйцо развиваться тогда, когда въ немъ нѣтъ сѣмяннаго ядра? Безъ сомнѣнія можетъ, отвѣчаетъ Бовери. Это доказывается прежде всего фактами партеногенеза, когда яйцо развивается во взрослый организмъ безъ предварительнаго оплодотворенія. Однако, существуютъ опыты, которые, какъ полагаетъ Бовери, подтверждаютъ мысль его нагляднѣе. Опыты эти производятся опять-таки надъ яйцами морскихъ ежей. Смѣшавши яйца этихъ животныхъ со сперматозоидами, *которые предварительно пробыли нѣкоторое время въ ненормальныхъ для ихъ жизнедеятельности условіяхъ*, мы увидимъ слѣдующую картину: сѣмянное тѣлце пробралось внутрь яйца, при чемъ только шейка его (центрозома) приблизилась къ яйцевому ядру, тогда какъ головка (сѣмянное ядро) продолжаетъ лежать въ какомъ-то оцѣпенѣніи у поверхности яйца. Тутъ наступаетъ начало развитія: яйцевое ядро, получивши центрозому, дѣлится на двѣ части,—дѣлится не смотря на то, что оно вовсе и не думало сливаться съ мужскимъ ядромъ; вслѣдъ за ядромъ дѣлится и все яйцо, образуя двѣ дочернія клѣтки или первые шары дробленія. Содержимое этихъ шаровъ не одинаково: въ одномъ изъ нихъ помѣщается половинка женскаго ядра, въ другомъ — вторая половинка его да къ тому-же и все мужское ядро, которое только теперь выходитъ изъ состоянія оцѣпенѣнія и сливается съ лежащею возлѣ него половинкою

*) Нѣмецкому ученому Циглеру удалось сдѣлать такого рода опытъ. Дождавшись того момента, когда сперматозондъ проникъ въ яйцевую клѣтку, но не успѣлъ еще слиться съ ея ядромъ, онъ искусственно раздѣлилъ яйцо на двѣ половинки: въ одной находились головка и шейка сперматозоида (ядро и центрозома), а въ другой осталось только яйцевое ядро. При этомъ половинка съ сѣмяннымъ ядромъ обнаружила способность къ цѣлому ряду послѣдовательныхъ дѣленій, а другая половинка, съ яйцевымъ ядромъ, осталась совершенно неспособною. Этотъ опытъ не только дополняетъ, но и подтверждаетъ результаты опытовъ Бовери.

женскаго ядра, образуя, такимъ образомъ, одно смѣшанное ядро. И что-же—отражается это сколько-нибудь на дальнѣйшемъ ходѣ развитія? Ничуть не бывало! Все дальше идетъ своимъ чередомъ, какъ послѣ всякаго обыкновеннаго оплодотворенія, и яйцо превращается въ нормальный зародышъ, такъ какъ оба первыхъ шара дробленія продолжаютъ размножаться совершенно правильно, не смотря на то, что ядра ихъ не сходны: въ одномъ только женское, а въ другомъ смѣшанное. Вотъ почему Бовери полагаетъ, что отсутствіе сѣмяннаго ядра нисколько не препятствуетъ развитію яйца; вотъ почему, подводя итоги своимъ соображеніямъ, онъ говоритъ: „Разумѣется, яйцо въ цѣляхъ развитія должно обладать ядромъ опредѣленнаго качества; но будетъ-ли это ядро яйцевое, или сѣмянное, или-же, наконецъ, скомбинированное изъ нихъ обоихъ—это все равно“ (ibid)...

VI.

Мы знаемъ, что при оплодотвореніи внутрь яйца обыкновенно проникаетъ только одинъ сперматозоидъ *). Представимъ себѣ, однако, что въ яйцо попало какимъ-нибудь образомъ два, три или еще болѣе сперматозоидовъ. Такого рода опыты производились нарочно. Для этого яйца (напримѣръ, иглокожихъ) подвергались дѣйствию низкой температуры или различныхъ наркотическихъ веществъ съ цѣлью понизить ихъ жизнѣдѣтельность и, такимъ образомъ, воспрепятствовать образованію на ихъ поверхности той самой перепонки, которая обыкновенно не даетъ другимъ сперматозоидамъ пробраться внутрь яйца. При этомъ? яйцо оплодотворяется, но процессъ его дробленія идетъ неправильно: вмѣсто нормальнаго зародыша получается либо безформенная куча клѣтокъ, либо совершенно уродливый зародышъ. Сторонники доминирующей роли ядра думаютъ, что ненормальное развитіе и уродство въ такихъ случаяхъ объясняется всецѣло присутствіемъ въ яйцѣ нѣсколькихъ сѣмянныхъ ядеръ. Но Бовери и этотъ фактъ—онъ извѣстенъ въ наукѣ подъ именемъ *полисперміи* или переоплодотворенія—старается истолковать въ пользу своего ученія о центрозомахъ. Разсуждаетъ онъ примѣрно такъ.

Положимъ, что въ яйцо проникло три сперматозоида. Съ ними вмѣстѣ приходятъ, стало быть, и три центрозома. Головки (ядра) всѣхъ трехъ сѣмянныхъ клѣтокъ сливаются съ яйцевымъ ядромъ, образуя одно громадное смѣшанное ядро съ тремя центрозомами.

*) У нѣкоторыхъ насѣкомыхъ, земноводныхъ и пресмыкающихся въ яйцо забирается нѣсколько сѣмянныхъ нитей; при этомъ въ самомъ актѣ оплодотворенія принимаетъ участіе только одна изъ нихъ; другія-же остаются не-дѣтельными.

Всѣ три центрозома дѣлятся; вслѣдъ за ними дѣлится сперва ядро, а потомъ и все яйцо. Но вмѣсто того, чтобы дать нормальныя двѣ дочернія клѣтки, оно образуетъ ихъ цѣлыхъ шесть. Такимъ образомъ, уже съ перваго шага развитіе идетъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Неправильность первой ступени развитія ведетъ за собою все большую и большую неправильность слѣдующихъ стадій его — отсюда въ результатѣ уродство вмѣсто нормального зародыша. Процессомъ дѣленія въ яйцѣ завѣдуетъ центрозома. Въ случаяхъ переоплодотворенія на сцену выступаетъ сразу нѣсколько дирижеровъ. Въ пользу того, что при переоплодотвореніи всему виною центрозома, а не ядра, можно привести и доказательства отъ обратнаго. Можно, напримѣръ, устроить такъ, чтобы *одинъ сперматозоидъ* соединился съ *двумя* предварительно слившимися *яйцами*. Тутъ у насъ будетъ имѣться, слѣдовательно, *три ядра и одна центрозома*. Какъ же идетъ развитіе? Великолѣпно—вполнѣ нормально, какъ бы шло оно при слияніи одного яйца съ однимъ сперматозоидомъ. А почему? спрашиваетъ Бовери. Да только потому, что въ данномъ случаѣ въ оплодотвореніи участвовала всего лишь одна центрозома: „поскольку, говоритъ онъ, нормальное оплодотвореніе есть функція одной центрозомы, постольку и патологическое дѣйствіе переоплодотворенія обуславливается въ конечномъ подсчетѣ присутствіемъ нѣсколькихъ центрозовъ“...

Есть еще одинъ вопросъ, который имѣетъ прямое отношеніе къ теоріи Бовери. Я говорю о фактахъ такъ называемаго дѣйствительнаго размноженія (партеногенезъ). Хорошо извѣстно, что въ животномъ царствѣ многіе виды членистоногихъ, напримѣръ, тли, дафніи, бабочки и т. д., а также нѣкоторые изъ червей—коло-вратокъ (rotatoria) производятъ въ зависимости отъ условій питанія и температуры двоякаго рода яйца: одни изъ этихъ яицъ превращаются во взрослыя формы только послѣ оплодотворенія, тогда какъ другія могутъ развиваться и безъ оплодотворенія. Спрашивается: откуда такая разница? Чѣмъ обуславливается она? Исходя изъ того положенія, что судьба яицъ связана съ присутствіемъ или отсутствіемъ въ нихъ центрозома, Бовери полагаетъ, что партеногенетическія яйца обладаютъ способностью какимъ-то образомъ воссоздавать самостоятельно недостающую имъ центрозома, и что потому, молъ, они и могутъ вполнѣ свободно отказаться отъ помощи сперматозоидовъ. Это, однако же, не объясненіе, а всего лишь предположеніе *), такъ что толкованіе, которое даютъ партеногенезу сторонники доминирующей роли

*) Вильсонъ и Морганъ недавно производили опыты съ искусственнымъ партеногенезомъ и пришли къ выводу, что въ нѣкоторыхъ яйцахъ при извѣстныхъ условіяхъ дѣйствительно образуется центрозома. Но опыты эти еще требуютъ серьезной проверки.

ядра въ актѣ оплодотворенія, пожалуй, правдоподобіе. Въ неоплодотворенномъ яйцѣ, какъ извѣстно, вдвое меньше ядернаго вещества, чѣмъ въ другихъ клѣткахъ того организма, которому принадлежитъ это яйцо. Чтобы начать развиваться, такому яйцу необходимо заполучить отъ сперматозоида недостающее количество ядерныхъ сегментовъ. При оплодотвореніи это именно и происходитъ. Но вотъ яйцо партеногенетическое. Нуждается ли оно въ ядерномъ веществѣ сперматозоида или ему и своего достаточно? Вейсманъ, одинъ изъ наиболѣе горячихъ апологетовъ ядра, констатируетъ, что партеногенетическое яйцо въ противоположность яйцу, нуждающемуся въ оплодотвореніи, образуетъ въ періодъ созрѣванія не двѣ полюсныя клѣтки, а всего лишь одну. Ну, а такъ какъ мы уже знаемъ, что яйцо теряетъ половину своихъ ядерныхъ сегментовъ въ то время, когда оно образуетъ *вторую* полюсную клѣтку, то отсюда слѣдуетъ, что партеногенетическое яйцо, которое второй полюсной клѣтки не отдѣляетъ, имѣетъ полное число ядерныхъ сегментовъ и, стало быть, въ ядрѣ сперматозоида не нуждается. (О полюсныхъ клѣткахъ см. главу II). Это объясненіе нуклеистовъ *)—такъ я позволю себѣ назвать защитниковъ ядра—было бы вполне доказательно, если бы не существовало фактовъ, которые, къ сожалѣнію, ограничиваютъ ихъ выводъ. Оказывается, что иногда, правда очень рѣдко, партеногенетическія яйца отдѣляютъ, подобно обыкновеннымъ яйцамъ, двѣ полюсныя клѣтки и все-же развиваются безъ помощи сперматозоидовъ.

Жизнь порою какъ бы нарочно щеголяетъ своими противорѣчіями даже въ сферѣ видимо однородныхъ явленій, чтобы предостеречь ученыхъ отъ преждевременныхъ обобщеній. Трудности, которыми она загромождаетъ путь, ведущій къ рѣшенію біологическихъ проблемъ, неисчислимы. Но за то, преодолевая шагъ за шагомъ эти трудности, наука идетъ къ примиренію этихъ противорѣчій, постигаетъ гармонію въ многообразіи, вскрываетъ „природы неясное стремленіе“ и добьется, быть можетъ, того, что

«Стройно выразить нестройный жизни ходъ,
Хаосъ разрозненный къ единству призоветъ
И разрѣшить въ аккордъ торжественнаго пѣнья».

А пока что—прямая обязанность науки не затушевывать эти трудности, не обходить ихъ чисто словесными толкованіями, а, наоборотъ, отбѣнять и подчеркивать ихъ возможно ярче и опредѣленнѣе. Прежде, чѣмъ говорить объ этихъ трудностяхъ дальше, присмотримся возможно объективнѣе къ основоположеніямъ остроумной гипотезы Бовери.

Было время и было оно сравнительно недавно, какихъ-ни-

*) Nucleus—ядро.

будь поль-вѣка тому назадъ, когда многіе натуралисты полагали, что яйцевая клѣтка въ пору созрѣванія теряетъ ядро, и что только послѣ оплодотворенія она приобретаетъ его вновь. Идея эта, оказавшаяся въ послѣдствіи несостоятельной въ морфѣ, должна служить предостерегающимъ прецедентомъ для слишкомъ рьяныхъ сторонниковъ гипотезы Бовери. Не покажетъ-ли въ самомъ дѣлѣ дальнѣйшее изслѣдованіе, что слишкомъ категорическое утвержденіе Бовери, будто яйцо, готовое къ оплодотворенію, лишено центрозома и потому нуждается въ помощи сперматозоида, доставляющаго ему центрозома, несостоятельно? Не повторится-ли сейчасъ съ центрозомой та же самая исторія, что разыгралась когда-то по поводу яйцевого ядра? Допустимъ, однако, что опасенія эти лишены основанія. Спрашивается, много-ли наука знаетъ о центрозомахъ — о ея составѣ, происхожденіи, о о тѣхъ таинственныхъ появленіяхъ и исчезновеніяхъ ея, которыя наблюдаются во время дѣленія клѣтокъ вообще и развитія яицъ въ частности? Мнѣнія ученыхъ на этотъ счетъ весьма различны и часто исключаютъ другъ друга. Двое изъ нихъ — Эйсмундъ и Бюргеръ — утверждаютъ, напримѣръ, что центрозома вовсе не есть нѣчто реальное: это, говорятъ они, просто *мертвый оптический центръ*, получающійся отъ скрещиванія протоплазматическихъ лучей того самаго „сіянія“, которое наблюдается въ дѣлящейся клѣткѣ. Но не станемъ считаться и съ этимъ скептическимъ мнѣніемъ; положимъ, что центрозома — реальный органъ клѣтки. Какого онъ происхожденія въ такомъ случаѣ: протоплазматическаго, ядернаго или еще какого иного? Пусть отвѣтитъ на это одинъ изъ несомнѣнныхъ авторитетовъ науки. „Слѣдуетъ-ли, — говоритъ Оск. Гертвигъ, — причислить центральныя тѣльца, въ качествѣ постоянныхъ органовъ клѣтки, къ протоплазмѣ; заключены-ли они въ ней постоянно во время покоя, вступая во взаимную связь съ ядромъ лишь во время дѣленія, или же, наоборотъ, ихъ слѣдуетъ отнести къ особымъ элементарнымъ частямъ ядра наравнѣ съ ядерными сегментами, волокнами линина, ядрышками и т. д. — это остается невыясненнымъ“. (Клѣтка и ткани I т.). А жаль, ибо рѣшеніе этого вопроса могло бы повліять на болѣе определенное рѣшеніе другого, не менѣе важнаго вопроса о роли центрозома въ процессѣ дробленія клѣтокъ. Мы видѣли, что не только Бовери, но и многіе другіе біологи думаютъ, что центрозома служитъ „органомъ размноженія“ клѣтки, что она идетъ во главѣ этого процесса, распоряжается имъ. Было бы, однако, большимъ заблужденіемъ предположить, что всѣ біологи на этотъ счетъ солидарны. Напримѣръ, русскій ученый Митрофановъ, посвятившій не мало труда на выясненіе роли центрозома въ жизни клѣтокъ, рѣшительно заявляетъ, что предварительное дѣленіе центрозома во время размноженія клѣтокъ вовсе не обязательно, и что нѣтъ

положительно никакихъ основаній утверждать, будто центральныя тѣльца „подають сигналъ“ къ начинающемуся дѣленію клѣтки. Къ выводу Митрофанова примыкають и нѣкоторые другіе ученые.

Уже это краткое знакомство съ современнымъ положеніемъ ученія о центрозомахъ показываетъ, насколько правъ извѣстный французскій зоологъ Делажъ, говоря: „Вопросъ не созрѣлъ. Нельзя опредѣлить съ полной увѣренностью, являются-ли центрозома реальными органами или динамическими центрами, постоянны-ли онѣ или нѣтъ, исходятъ-ли онѣ изъ ядра, или принадлежать клѣточной плазмѣ“ *). Но если бъ даже вопросъ вполне „созрѣлъ“, если бъ знакомство наше съ центрозомами было прямо-таки идеальное, то и тогда теорію Бовери нельзя было бы признать за нѣчто безусловно вѣрное уже по одному тому, что она основана на весьма ограниченномъ числѣ фактическихъ данныхъ и не можетъ быть распространена на весь органическій міръ полностью. Бовери не скрываетъ, что теорія его не можетъ быть примѣнена къ громадному большинству растений, размножающихся половымъ способомъ. Мое рѣшеніе,—говоритъ онъ,—далеко не всеобщее: „оно имѣетъ значеніе для царства животныхъ, но и здѣсь, вѣроятно, не всюду; его можно, пожалуй, примѣнить къ извѣстнымъ растеніямъ, но для громаднаго большинства ихъ оно, навѣрное, цѣны не имѣетъ, ибо у нихъ нѣтъ центрозомъ, механизмъ ихъ дѣленія иной и, стало быть, вліяніе мужской половой клѣтки на женскую здѣсь сказывается какъ-то иначе, а какъ—мы этого пока совсѣмъ не знаемъ“. (Das Problem der Befruchtung). Прибавлю, что даже для животнаго царства значеніе теоріи Бовери преувеличено. Хорошо извѣстно, на примѣръ, что у простѣйшихъ животныхъ оплодотвореніе уже имѣетъ мѣсто; но чтобы центрозома здѣсь имѣли не только то значеніе, которое имъ приписываетъ Бовери, но и вообще играли какую бы то ни было роль—этого никто не станетъ утверждать, потому что у большей части такихъ организмовъ и центрозома-то никакой нѣтъ.

Мы уже видѣли, какъ гипотетично рѣшаетъ Бовери вопросъ о партеногенезѣ. Ну, а что скажетъ онъ о такого рода фактахъ. Яйца различныхъ животныхъ, на примѣръ, нѣкоторыхъ червей, иглокожихъ, суставчатоногихъ и даже позвоночныхъ, иногда начинаютъ дробиться безъ участія сперматозоидовъ, не смотря на то, что обычно они развиваются лишь послѣ оплодотворенія, и что партеногенезъ вовсе не свойственъ обладателямъ этихъ яицъ. (Гертвигъ). Правда, дробленіе яйцевой клѣтки въ подобныхъ случаяхъ не идетъ дальше извѣстной ступени, и зародыши, не будучи въ силахъ продолжать свое развитіе, умирають. Но

*) *Yves Delage*: «La structure du protoplasma et les théories sur l'hérédité et les grands problèmes de la Biologie générale».

начало развитія во всякомъ случаѣ на лицо. Рядомъ съ этими наблюденіями слѣдуетъ поставить опыты Лёба съ яйцами иглокожихъ, которыя онъ заставлялъ развиваться безъ помощи сперматозоидовъ, партеногенетически, помѣщая эти яйца въ искусственную среду (различные растворы солей). Въ опытахъ Лёба дѣло шло совершенно такъ же, какъ оно идетъ у яицъ вышеупомянутыхъ червей, суставчатоногихъ и т. д. Въ обоихъ случаяхъ развитіе начинается независимо отъ вліянія сѣмянныхъ клѣтокъ. Никакихъ центровъ тутъ нѣтъ, а между тѣмъ, дробленіе совершается. Какъ понимать это? Не слѣдуетъ-ли усомниться въ справедливости того мнѣнія, будто „толчокъ“, „сигналъ“ къ дѣленію яйца даетъ всегда центрозома? Лёбъ, напримѣръ,—а онъ крупная сила въ біологіи—сомнѣвается, и даже очень, въ этомъ. Онъ думаетъ, что проблема оплодотворенія есть чисто фізіологическая проблема, и что рѣшить ее при помощи однихъ лишь морфологическихъ данныхъ, какъ это надѣется Бовери, никогда не удастся; при этомъ онъ примыкаетъ къ той школѣ фізіологовъ, которые убѣждены, что всякое фізіологическое явленіе должно и можетъ быть сведено цѣликомъ, безъ остатка, на физико-химическіе процессы. На основаніи своихъ опытовъ съ искусственнымъ партеногенезомъ Лёбъ приходитъ къ заключенію, что развитіе яицъ въ такихъ случаяхъ совершается подъ вліяніемъ тѣхъ физическихъ и химическихъ условій, въ которыя попадаютъ онѣ по волѣ экспериментатора; а отсюда ужъ, переходя къ вопросу о сущности оплодотворенія, онъ полагаетъ, что и сперматозоидъ дѣйствуетъ на яйцо, по всей вѣроятности, физико-химически, создавая внутри послѣдняго такую комбинацію молекулярныхъ условій, при которой процессъ дробленія оказывается неизбежнымъ.

Все это, разумѣется, весьма возможно; но, къ сожалѣнію, такое черезчуръ ужъ неопредѣленное и упрощенное рѣшеніе проблемы оплодотворенія врядъ-ли кого можетъ удовлетворить. Вскрыть содержаніе физико-химическихъ явленій, разыгрывающихся въ яйцевой клѣткѣ до оплодотворенія, во время и послѣ него — задача весьма заманчивая. Вопросъ лишь въ томъ, насколько все это доступно современному естествознанію. Исслѣдованія въ этомъ направленіи, въ особенности по вопросу объ оплодотвореніи, только что начались; эксперименты не многочисленны, фактическія данныя отрывочны, разрозненны и pochodятъ на тотъ хаосъ, изъ котораго, по слову имѣющаго еще придти генія, долженъ будетъ возсіять свѣтъ. Поэтому, отдавая должное всѣмъ такимъ исслѣдованіямъ вообще и экспериментамъ Лёба въ частности, признавая что эти послѣдніе являются очень серьезнымъ возраженіемъ противъ слабо обоснованныхъ выводовъ *центрозомистовъ*, приходится все же согласиться, что Бовери принципиально правъ, говоря: „Перенесеніе проблемы оплодотворенія

въ область физико-химіи сводится на возможность объяснить явленія клѣточного дѣленія физико-химическими факторами. Насколько мы далеки еще отъ этой цѣли, знаетъ всякій, кто занимался этими вопросами; и насколько глубоко мы сумѣемъ здѣсь проникнуть — объ этомъ въ настоящее время едва ли возможно судить“.

Итакъ, нельзя сказать, чтобы тѣ рѣшенія проблемы оплодотворенія, съ которыми мы до сихъ познакомились, были удовлетворительны. Какъ нуклеисты, такъ и центрозомисты, говоря по совѣсти, не рѣшаютъ вопроса. Мы видѣли, что утвержденіе первыхъ, будто сущность оплодотворенія сводится къ сліянію яйцевого ядра съ сѣмяннымъ, по существу не выдерживаетъ критики, ибо развитіе оказывается возможнымъ и безъ такого сліянія. Но не болѣе справедливы и увѣренія центрозомистовъ, будто весь смыслъ оплодотворенія исчерпывается проникновеніемъ въ яйцевую клѣтку центрозома, ибо явленія самопроизвольнаго развитія яицъ, а также нормальнаго и искусственнаго партеногенеза не оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что развитіе можетъ начаться и безъ помощи сперматозоида, якобы приносящаго въ яйцо центрозома. Но если даже допустить, что правы обѣ спорящія стороны, что въ дѣлѣ оплодотворенія одинаково важны какъ сліяніе ядеръ, такъ и проникновеніе центрозома въ яйцо, то все же остается совершенно непонятнымъ—почему яйцо *въ періодъ созрѣванія* теряетъ часть ядернаго вещества, разъ оно опять должно получить такое же количество его въ видѣ сѣмяннаго ядра? Почему то же самое яйцо, и опять-таки на пути своего развитія, теряетъ центрозома, чтобы затѣмъ, вмѣстѣ съ оплодотвореніемъ, вновь пріобрѣсти таковую отъ сперматозоида? Неужели все это совершается такъ-таки безъ всякаго смысла? Если же нѣтъ, то въ чемъ этотъ смыслъ? Во имя чего яйцо *замѣняетъ* часть своего ядернаго вещества ядромъ сѣмянной клѣтки и свою собственную центрозома—центрозомой сперматозоида? Отвѣта на этотъ вопросъ все вышеизложенное не даетъ. Посмотримъ, не увѣнчаются-ли наши поиски успѣхомъ, если мы обратимся къ генезису оплодотворенія, т. е. остановимся на исторіи возникновенія и развитія этого процесса въ живой природѣ.

VII.

Говоря объ оплодотвореніи, мы обыкновенно представляемъ себѣ сліяніе двухъ *рѣзко дифференцированныхъ клѣтокъ*—яйцевой и сѣмянной,—происшедшихъ отъ двухъ болѣе или менѣе несходныхъ индивидовъ. А между тѣмъ, міръ растений и животныхъ предоставляетъ въ наше распоряженіе множество фактовъ, которые наглядно показываютъ, что оплодотвореніе, какъ и все

вообще въ природѣ, возникло постепенно, что на низшихъ ступеняхъ органической жизни оно сказывается не такъ рельефно и ярко, какъ на высшихъ. Изучая актъ оплодотворенія у низшихъ растений и животныхъ и переходя постепенно къ организмамъ все болѣе и болѣе сложнымъ, мы можемъ прослѣдить, какъ возникала и совершенствовалась эта жизненная функція на протяженіи многихъ вѣковъ вмѣстѣ съ развитіемъ и усложненіемъ жизни вообще. Генезисъ оплодотворенія, начавшійся едва замѣтными намеками на эту функцію и завершившійся полнымъ расцвѣтомъ ея у высокоорганизованныхъ растений и животныхъ, долженъ дать біологамъ ключъ къ пониманію, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ сторонъ этого загадочнаго, а потому и въ высшей степени любопытнаго процесса. Вотъ почему намъ придется вновь обратиться къ даннымъ морфологій и оставить пока въ сторонѣ физиологію занимающаго насъ вопроса.

Простѣйшіе организмы, всевозможная мелкота, вроде амѣбъ, грегариѣ, корненожекъ, лучистокъ, инфузорій, бактерій, одноклѣтныхъ грибовъ и водорослей, обыкновенно размножаются безполымъ путемъ, при помощи дѣленія. Но уже здѣсь наблюдается иногда слѣдующее. Одноклѣтный организмъ, вмѣсто того, чтобъ раздѣлиться, образуетъ плотное, одѣтое въ прочную оболочку тѣльце, болѣе стойкое по отношенію къ неблагоприятнымъ вліяніямъ внѣшней среды, чѣмъ самъ, создавшій это тѣльце, организмъ. Это—такъ называемая *спора*. При подходящихъ условіяхъ она прорастаетъ, т. е. вновь превращается въ одноклѣтный организмъ, который затѣмъ, послѣдовательно расщепляясь, производитъ многочисленное, часто милліонное потомство. По своему значенію спора соотвѣтствуетъ одноклѣтному зародышу высшихъ животныхъ и растений. Ее можно смѣло сравнить съ яйцомъ, развивающимся безъ оплодотворенія, партеногенетически.

Уже среди одноклѣтныхъ организмовъ, размножающихся, какъ мы только что сказали, дѣленіемъ и при помощи споръ, наблюдается нѣчто вполне сходное съ оплодотвореніемъ. Только здѣсь этотъ актъ именуется *конъюгаціей*, что значитъ собственно сліяніе.

Вотъ, напримѣръ, корненожки—*диффлугии*. Это—микроскопическія созданія, все тѣло которыхъ состоитъ изъ протоплазмы, прикрытой нѣжною раковинкой, и ядра. Въ извѣстную пору жизни корненожки эти сходятся по двѣ или по три, плотно прилегаютъ другъ къ другу и *сливаются*, образуя одну общую массу, изъ которой, нѣсколько времени спустя, путемъ дѣленія возникаетъ вновь цѣлое общество молодыхъ корненожекъ. Это несомнѣнно оплодотвореніе. Но тутъ, разумѣется, нѣтъ еще рѣчи не только о самцахъ и самкахъ, но и о половыхъ элементахъ, если, конечно, не злоупотреблять терминологіей, отождествляя сливающиеся организмы съ половыми клѣтками. То же самое происходитъ у нѣкоторыхъ одноклѣтныхъ водорослей. Во всѣхъ такихъ

случаяхъ организмъ *полностью*, всѣми своими составными частями, *принимаетъ участіе въ актѣ оплодотворенія*. Подымемся, однако, выше по лѣстницѣ живыхъ существъ. Передъ нами инфузоріи — туфельки, существа хотя и одноклѣтныя, но съ довольно сложнымъ строеніемъ; оболочка, одѣвающая ихъ тѣло, покрыта подвижными рѣсничками, на тѣлѣ видно ротовое отверстіе, а среди протоплазмы отчетливо выступаютъ „бьющіеся пузырьки“ и сложный ядерный аппаратъ, состоящій изъ большого — главнаго и придаточнаго или, какъ называютъ его иначе, *полового* ядра. Быстро плодятся туфельки, энергично дѣлясь и производя за недѣлю по 7—8 тысячъ потомковъ каждая. Однако, съ теченіемъ времени ихъ производительная сила слабѣетъ и, наконецъ, прекращается: размножаться дѣленіемъ дальше онѣ уже не могутъ. Но тутъ на помощь приходитъ половое размноженіе, спасая, такимъ образомъ, славный родъ „туфелекъ“ отъ гибели. Въ актѣ оплодотворенія онѣ какъ бы черпаютъ силы для дальнѣйшаго существованія. Взгляните въ микроскопъ, на предметномъ стеклышкѣ котораго расположилось многочисленное общество туфелекъ, взгляните въ ту пору, когда эти крохотныя созданія утѣряли уже способность размножаться дѣленіемъ: почти всюду, вмѣсто отдѣльныхъ инфузорій, только пары. Это по истинѣ *конъюгаціонная эпидемія!* Присмотримся повнимательнѣе къ одной изъ паръ. Двѣ туфельки приложились другъ къ другу „всею брюшной поверхностью такъ, что ротъ одной приходится противъ рта другой“ (Мопа). Затѣмъ инфузоріи краями ротовыхъ отверстій срастаются между собою, а плазмы ихъ какъ разъ въ этомъ мѣстѣ сходятся и образуютъ перемычку, нѣчто вродѣ мостика. Ядра обѣихъ инфузорій — и главныя, и „половыя“ — испытываютъ при этомъ цѣлый рядъ превращеній: главныя ядра раскалываются на множество мелкихъ обломковъ, которые съ теченіемъ времени „растворяются и всасываются, какъ частицы пищи“ (Гертвигъ). Не такова судьба „половыхъ“ ядеръ. Каждое изъ нихъ, дѣлясь дважды, образуетъ четыре новыхъ ядра. Три изъ нихъ смѣшиваются съ обломками большого ядра и такъ же погибаютъ, а оставшееся въ цѣлости, четвертое, еще разъ дѣлится. Теперь, стало быть, въ каждой изъ прильнувшихъ другъ къ другу туфелекъ опять по два ядра. Что же происходитъ дальше? Обозначимъ наши туфельки буквами *A* и *B*. Одно изъ ядеръ туфельки *A* перебирается по протоплазматическому мостику внутрь туфельки *B*; въ то же самое время и тѣмъ же самымъ путемъ одно изъ ядеръ инфузоріи *B* переходитъ въ протоплазму инфузоріи *A*. Такъ спарившіяся туфельки обмѣниваются половинками своего ядернаго аппарата. Когда такой обмѣнъ совершится, то ядро, пришедшее изъ одной клѣтки въ другую, соединяется съ тѣмъ, которое въ ней оставалось, а спарившіяся инфузоріи отдѣляются одна отъ другой и расходятся въ различныя стороны. Теперь онѣ возро-

дились къ новой жизни, теперь онѣ опять могутъ размножаться безполымъ путемъ, дѣленіемъ. Какъ понимать всю эту странную процедуру?

Ihr Weisen, hoch und tief gelahrt,
Die ihr's ersinnt und wisst —
Wie, wo, warum sich Alles paart? *)

Передъ нами, конечно, актъ оплодотворенія. Какъ онъ происходитъ и гдѣ происходитъ — видно изъ вышеизложеннаго; но почему онъ тутъ понадобился — „*varum sich Alles paart*“, и въ чемъ его обновляющая сила, это неизвѣстно. Ясно лишь, что въ данномъ случаѣ актъ оплодотворенія по типу сложнѣе и по степени развитія выше, чѣмъ у тѣхъ организмовъ, о которыхъ рѣчь была въ началѣ главы; это вторая ступень въ генезисѣ оплодотворенія. Здѣсь опять-таки нѣтъ и намека на *дифференцировку половъ*: обѣ спаривающіяся инфузоріи совершенно схожи межъ собой. Нѣтъ тутъ и дифференцировки *половыхъ элементовъ*: ядра, переходящія изъ одной клѣтки въ другую, также совершенно равнозначущи; можно, пожалуй, по аналогіи назвать одно изъ нихъ мужскимъ, а другое женскимъ, но которое изъ нихъ мужское, которое женское — неизвѣстно. И все-таки разница между оплодотвореніемъ у корненожки—дифлугіи и инфузоріи—туфельки есть, и разница большая. Тамъ въ актѣ оплодотворенія участіе принимаютъ два организма *полностью*; здѣсь же лишь отдѣльныя составныя части ихъ, *половыя ядра*, которыя можно сравнить съ половыми элементами высшихъ животныхъ и растений, не смотря на то, что они на самомъ дѣлѣ безполы, т. е. не могутъ быть названы мужскими и женскими въ строгомъ смыслѣ этого слова.

Поднимемся еще выше, въ кругъ организмовъ многоклѣтчныхъ, и остановимся на явленіяхъ конъюгаціи у нитчатыхъ водорослей.

Вотъ двѣ нити, состоящія изъ цѣлаго ряда цилиндрическихъ клѣтокъ, лежатъ одна подлѣ другой. Клѣтки, расположенныя *vis-à-vis*, выпускаютъ навстрѣчу другъ другу отростки. Отростки сходятся и образуютъ протоплазматическій мостикъ, соединяющій двѣ противолежащія клѣтки обѣихъ нитей. Обыкновенно всѣ клѣтки подготавливаются къ размноженію одновременно и, слѣдовательно, выпускаютъ бугорки. Вотъ почему каждая пара нитчатыхъ водорослей въ пору конъюгаціи выглядитъ словно веревочная лѣстница съ перекладинами. Нѣсколько времени спустя, картина мѣняется. Содержимое двухъ, лежащихъ другъ противъ друга, клѣтокъ входитъ въ перекладину и здѣсь сливается, образуя шарообразную клѣтку—*зиготу*, которая окружается своею собственной

*) Вы, мудрецы, глубоко и многоученые, проникшіе во все и знающіе все,—какъ, гдѣ и почему все соединяется въ пары? (Bürger).

оболочкой. Такимъ образомъ вмѣсто двухъ нитей получается группа зиготъ. Если каждая такая нить состояла изъ 20 клѣтокъ, то столько же получится и зиготъ. Зиготы, перезимовавши, проростають и затѣмъ каждая изъ нихъ, дѣлясь поперечно, производить новую многоклѣтную нить водоросли.

И такъ, мы видимъ, что здѣсь въ оплодотвореніи принимаютъ участіе ужъ не цѣлые организмы, а отдѣльныя клѣтки ихъ. Но и тутъ еще нѣтъ пока ни раздѣленія половъ, ни даже специальныхъ половыхъ элементовъ: каждая клѣтка въ известную пору жизни исполняетъ роль полового элемента, при чемъ назвать ее мужской или женской половой клѣткой мы не имѣемъ никакого права. Специфическіе половые элементы обозначаются (всего лишь обозначаются!) у другой водоросли (Pandorina), изъ семейства шаровиковъ. Этотъ микроскопическій организмъ состоитъ изъ 16 клѣтокъ, которыя заключены въ общую студенистую оболочку. Жгутики, торчащіе на переднемъ концѣ каждой клѣтки и выступающіе надъ поверхностью общей оболочки, служатъ органами движенія всей этой, какъ называютъ ее, колоніи. Вмѣстѣ съ наступленіемъ времени размноженія, каждая клѣтка пандорины путемъ послѣдовательнаго дѣленія, производитъ 16 новыхъ клѣтокъ, которыя освобождаются изъ общей оболочки и становятся вполне самостоятельными. Эти новыя клѣтки не похожи на ту, что произвела ихъ: онѣ овальной формы; передній, слегка заостренный конецъ каждой такой клѣтки заключаетъ въ себѣ красное пятнышко и надѣленъ двумя подвижными жгутами. Плавающая свободно въ водѣ, эти подвижныя споры (зооспоры) или, какъ величаютъ ихъ иначе, бродяжки сходятся парами; пары сливаются, образуя шарообразное, одѣтое въ оболочку, тѣлце, которое со временемъ прорастаетъ и, послѣдовательно дѣлясь, производитъ на свѣтъ новую пандорину о 16 клѣткахъ. Сравнивая размноженіе этого организма съ размноженіемъ нитчатыхъ водорослей, мы замѣчаемъ, что здѣсь дѣло идетъ нѣсколько сложнее, а именно: оплодотвореніе совершается не путемъ слиянія отдѣльныхъ соматическихъ клѣтокъ организма, а при посредствѣ особенныхъ элементовъ, несходныхъ съ его соматическими клѣтками и напоминающихъ уже собою половые элементы. Однако, и тутъ дифференцировка ихъ пока еще не сказалась. Не мѣшаетъ обратить вниманіе и на то обстоятельство, что у пандорины всѣ клѣтки превращаются современемъ въ половые элементы. Отмѣтить это очень важно, ибо дальше мы встрѣчаемся съ такими организмами, у которыхъ на ряду съ обыкновенными соматическими клѣтками возникаютъ и специально половыя клѣтки—бродяжки; эти послѣднія уже отличаются отъ первыхъ и величиной, и формой, и строеніемъ. Не останавливаясь въ отдѣльности на какомъ-либо изъ такихъ организмовъ, замѣчу, что здѣсь половыя клѣтки отличаются не только отъ клѣтокъ соматическихъ,

но иногда бывают несходны и между собой; при чемъ несходство это прежде всего сказывается въ величинѣ: въ то время, какъ однѣ изъ бродяжекъ сравнительно велики (макрозооспоры), другія, наоборотъ, значительнаго меньшаго размѣра (микрозооспоры). Согласно этому, и оплодотвореніе происходитъ здѣсь такъ, что макрозооспора сливается съ микрозооспорой. Первая, какъ мы сейчасъ увидимъ, соответствуетъ по своему значенію яйцевой клѣткѣ высшихъ организмовъ, тогда какъ микрозооспора должна быть признана предтечею сѣмянного тѣльца.

Еще одинъ шагъ впередъ—и дифференцировка половыхъ элементовъ выступаетъ вполне отчетливо: они разнятся не только по величинѣ, но и по формѣ, строенію и образу жизни. За примѣромъ ходить далеко не придется. Возьмемъ опять таки водоросль изъ семейства шаровиковъ, только не пандорину, а *Volvox* *)). Это — подвижный шарикъ, состоящій изъ множества клѣтокъ съ жгутиками вродѣ тѣхъ, какіе мы нашли у пандорины. Работая усердно этими рѣсничками, шаровикъ плаваетъ въ водѣ. Но вотъ наступаетъ пора размноженія. Тогда *нѣкоторыя* изъ составляющихъ его клѣтокъ теряютъ свои жгутики, увеличиваются въ объемѣ и принимаютъ шарообразную форму. Это *яйцевыя клѣтки*. Въ то же самое время *часть* другихъ соматическихъ клѣтокъ шаровика производитъ путемъ дѣленія множество чрезвычайно мелкихъ бродяжекъ. Это уже — *живчики, сѣмянные тѣльца*. Какъ происходитъ здѣсь оплодотвореніе — распространяться не стоитъ, ибо оно не представляетъ здѣсь чего-либо особеннаго, намъ еще незнакомаго. Такимъ образомъ, *Volvox globator* даетъ наглядный примѣръ дифференціаціи половыхъ клѣтокъ: здѣсь на ряду со множествомъ обыкновенныхъ строительныхъ элементовъ организма существуютъ и половыя клѣтки двоякаго рола—яйца и живчики.

Намъ нѣтъ необходимости слѣдить подробно за дальнѣйшимъ ходомъ этой дифференцировки. Напомнимъ лишь вотъ что. У животныхъ и растений сравнительно невысокаго развитія половыя элементы обоого рода образуются у однихъ и тѣхъ-же недѣлимыхъ. Такіе организмы называются обоеполыми или гермафродитами. Но по мѣрѣ того, какъ мы будемъ подыматься все выше и выше по лѣстницѣ живыхъ существъ, гермафродитизмъ становится явленіемъ все болѣе и болѣе рѣдкимъ. Тутъ мы встречаемъ сперва такіе организмы, у которыхъ одни индивидуумы вырабатываютъ только яйца, а другіе — только живчиковъ. Оба пола уже народились, но разница между самцами и самками еще почти ничѣмъ не выражена: вторичные половыя признаки едва

*) Это, кстати сказать, одинъ изъ тѣхъ организмовъ, изъ-за которыхъ между ботаниками и зоологами не разъ возникали и продолжаютъ возникать споры: первые считаютъ ихъ растеніями, вторые—животными.

намѣчены. Но дальше они становятся все ярче и ярче, такъ что отличить самцовъ отъ самокъ не представляетъ никакой трудности.

Мы прослѣдили лишь въ самыхъ общихъ чертахъ генезисъ различныхъ формъ полового размноженія и тѣсно связанныхъ съ нимъ явленій оплодотворенія, но, повторяю, на основаніи имѣющихся въ біологіи научныхъ данныхъ можно гораздо полнѣе представить генеалогическое дерево полового размноженія. Изъ этихъ данныхъ можно составить связную цѣпь, въ которой будутъ на лицо и исходныя формы, и переходныя ступени, и связующія звенья, и заключительныя стадіи развитія. Въ настоящемъ отражаются отдѣльные моменты прошлаго, рисуется весь пройденный живыми существами историческій путь, свидѣтельствующій о происхожденіи сложныхъ явленій изъ простыхъ. И если бъ мы вздумали возстановить въ умѣ своемъ картины былого въ строгой послѣдовательности, то передъ нами должна была бы встать такая, примѣрно, схема.

Вначалѣ всѣ организмы размножались безполымъ путемъ, дѣленіемъ. Затѣмъ насталъ такой моментъ, когда нѣкоторые изъ нихъ стали плодиться при помощи споръ, т. е. не нуждающихся въ оплодотвореніи яицъ. Но и эта форма размноженія оказалась недостаточной. Тогда на сцену выдвинулась конъюгація—исходный пунктъ оплодотворенія. Половыхъ клѣтокъ еще не существовало—сами одноклѣтныя организмы исполняли обязанности таковыхъ. Дальше къ оплодотворенію стали прибѣгать и народившіеся многоклѣтныя организмы. Но и у нихъ еще не было специфическихъ половыхъ клѣтокъ: каждая составляющая ихъ тѣло клѣтка могла въ случаѣ надобности взять на себя роль полового элемента. Жизнь шла своимъ чередомъ впередъ. Среда, борьба, наслѣдственность и подборъ сдѣлали свое дѣло: въ строеніи нѣкоторыхъ живыхъ существъ обнаружилась разница между соматическими и половыми клѣтками. Съ теченіемъ вѣковъ это расхожденіе сказалось еще сильнѣе: дифференцировались и половыя клѣтки; однѣ изъ нихъ стали яйцами, другія — сѣмянными тѣльцами. Но пока и тѣ, и другія развивались въ тѣлѣ однихъ и тѣхъ же недѣлимыхъ: самцовъ и самокъ еще не было—существовали лишь гермафродиты. Прошли еще вѣка, и полы обозначились. Недѣлимые одного и того же вида распались на двѣ группы: представители одной стали производить лишь яйца, представители другой—только живчиковъ. Это былъ заключительный творческій актъ природы. Что принесетъ намъ въ этомъ направленіи будущее—трудно сказать. Итакъ: сперва дифференцировка клѣтокъ на соматическія и половыя, затѣмъ дифференцировка послѣднихъ на мужскія и женскія; и, наконецъ, дифференцировка половъ на самцовъ и самокъ.

Какое богатство морфологическихъ данныхъ, какая строй-

ность „исторического матеріала“! А рядомъ—удивительная бѣдность и неудовлетворительность теоретическихъ толкованій. Это поистинѣ волшебный лабиринтъ, но, къ сожалѣнію, безъ спасительнаго клубка Аріадны. Вопросъ о смыслѣ и сущности оплодотворенія и о мотивахъ половой дифференціаціи—это тотъ самый Минотавръ, который безжалостно пожираетъ всѣхъ, вступающихъ въ лабиринтъ даже во всеоружіи „морфологической“ и „исторической“ эрудиціи. „Всевозможныя наблюденія и изысканія,—говоритъ извѣстный ботаникъ Клебсъ,—приводятъ къ побѣдѣ того мнѣнія, что половое размноженіе не есть нѣчто первичное, а произошло отъ безполагаго размноженія. Если же мы захотимъ пойти дальше и станемъ искать отвѣта на вопросъ, какъ произошло оно и почему половое размноженіе приобрѣло, въ концѣ концовъ, господствующее значеніе, то намъ придется покинуть твердую почву и отдаться на волю гипотетическихъ волнъ“ *).

Этотъ пессимистическій, но по существу совершенно правильный взглядъ нѣмецкаго ученаго не устраиваетъ всетаки необходимости разобраться въ тѣхъ данныхъ, что приведены въ этой главѣ, показавши, какое онѣ имѣютъ отношеніе къ интересующей насъ основной темѣ. Прежде всего мы имѣемъ право установить слѣдующее общее положеніе: *процессъ оплодотворенія возникъ въ природѣ раньше, чѣмъ разница между самцами и самками—исторически оплодотвореніе предшествуетъ образованію половъ*. Мысль эта доказывается не только явленіями конъюгаціи (оплодотворенія) у однородныхъ простѣйшихъ животныхъ и растений, но и другими данными. А именно: 1) конъюгаціей сходныхъ клѣтокъ двухъ совершенно сходныхъ нитей у нитчатыхъ водорослей; 2) конъюгаціей бродяжекъ, развивающихся въ тѣлѣ *тождественныхъ недѣлимыхъ*; 3) явленіями гермафродитизма у животныхъ и растений. Во всѣхъ этихъ случаяхъ оплодотвореніе на лицо, а объ половомъ диморфизмѣ нѣтъ и помину. Отсюда слѣдуетъ, что весьма распространенное мнѣніе, будто оплодотвореніе есть результатъ полового диморфизма, совершенно неправильно. Не существованіе половъ вызвало къ жизни оплодотвореніе, а оплодотвореніе создало всѣ тѣ различія, которыя мы обозначаемъ словами „мужской“ и „женскій“: оплодотвореніе есть причина, обособленіе-же половъ—слѣдствіе, а не наоборотъ; въ интересахъ оплодотворенія произошло фیزیологическое раздѣленіе труда между недѣлимыми одного и того же вида, которыя вслѣдствіе этого стали самцами и самками. Всѣ тѣ вторичные половые признаки, которые такъ рѣзко отбѣняютъ разницу между полами, создались постепенно, въ цѣляхъ сближенія

*) Georg Klebs: «Ueber einige Probleme der Physiologie der Fortpflanzung».

двухъ особей одного и того-же вида; это сближеніе необходимо для сліянія половыхъ элементовъ, а сліяніе ихъ и есть оплодотвореніе. Слѣдовательно, не только коренныя половыя различія, но и вторичныя половыя признаки вызваны къ жизни біологическимъ процессомъ въ интересахъ оплодотворенія.

Другой выводъ, который мы смѣло можемъ сдѣлать на основаніи сообщенныхъ въ этой главѣ фактовъ, гласитъ слѣдующее: *процессъ оплодотворенія существовалъ раньше, чѣмъ появились специфическіе половые элементы и возникла разница между ними: исторически онъ предшествуетъ дифференцировкѣ половыхъ элементовъ.* Конъюгація совершенно сходныхъ одноклѣтныхъ животныхъ и растений, конъюгація тождественныхъ клѣтокъ многоклѣтныхъ организмовъ и, наконецъ, конъюгація одинаковыхъ по величинѣ, формѣ и строенію зооспоръ доказываютъ это самымъ неопровержимымъ образомъ. Значитъ, дифференцировка половыхъ элементовъ есть не причина, а слѣдствіе оплодотворенія. Велика часто разница между яйцами и сперматозоидами, богатъ и разнообразенъ формами міръ самихъ сперматозоидовъ, но всѣ эти различія, во-первыхъ, второстепеннаго характера, а во-вторыхъ, и возникли-то они въ интересахъ оплодотворенія. „*При оплодотвореніи конкурируютъ два момента, изъ которыхъ одинъ стремится сдѣлать клѣтку подвижною и активной, а другой—неподвижною и пассивною.* Природа достигаетъ обѣихъ цѣлей, распредѣляя несоединимыя въ одномъ тѣлѣ и противорѣчащія свойства, согласно принципу раздѣленія труда, между двумя клѣтками, соединяющимися въ актѣ оплодотворенія. Она дѣлаетъ одну-клѣтку активной и оплодотворяющею, т. е. мужской, а другую — пассивною и воспринимающею, т. е. женской. Женская клѣтка или яйцо беретъ на себя задачу заботиться о веществахъ, нужныхъ для питанія и, соответственно этому, дѣлается крупною и неподвижною. На долю мужской клѣтки, напротивъ, выпала задача осуществить соединеніе съ покоящеюся яйцевой клѣткой. Поэтому она для передвиженія преобразовалась въ сократительную сѣмянную нить и приняла такую форму, которая всего больше пригодна для прохожденія сквозь оболочки, защищающія яйцо, и для вбуравливанія въ желтокъ“ (Гертвигъ)...

VIII.

Итакъ, и раздѣленіе половъ, и различіе между половыми клѣтками созданы біологическимъ процессомъ въ интересахъ оплодотворенія; „слияніе“ имѣетъ мѣсто въ половой дифференцировки и даже въ дифференцировки половыхъ элементовъ: генетически оно предшествуетъ этимъ обѣимъ важнымъ формамъ расхожденія. Таковъ окончательный итогъ предыдущей главы.

Однако, вотъ въ чемъ дѣло. Чтобы жизнь выдвинула на сцену актъ сліянія, закрѣпила его въ ряду поколѣній силою обычныхъ факторовъ органической эволюціи, наслѣдственности и естественнаго подбора, нужно, чтобы этотъ актъ имѣлъ какое-нибудь значеніе въ судьбахъ живыхъ существъ. Что-же онъ даетъ организмамъ? Во имя чего совершается? Вы видите, что намъ вотъ уже нѣсколько разъ приходится волей-неволей возвращаться къ одному и тому же вопросу. Не показываетъ-ли это, что центръ тяжести проблемы оплодотворенія дѣйствительно долженъ быть перенесенъ изъ области морфологіи въ область „телеологіи“. Это послѣднее выраженіе не должно пугать воображеніе читателей. Здѣсь, разумѣется, рѣчь идетъ не о „предустановленныхъ“ цѣляхъ природы, сознательно стремящейся или-же направляемой какой-то всевластной рукой къ достиженію этихъ цѣлей. Поскольку та или иная особенность въ строеніи и отправленіяхъ организма поддерживаетъ существованіе индивида или цѣлаго вида, постольку она цѣлесообразна. И вотъ о такой-то цѣлесообразности здѣсь идетъ рѣчь. Поэтому, нисколько не ударяясь въ область „непознаваемаго“, мы имѣемъ право спросить: во имя какихъ цѣлей понадобилось оплодотвореніе?

Отвѣтовъ на это имѣется нѣсколько. Разберемъ наиболѣе цѣнные изъ нихъ и прежде всего остановимся на гипотезѣ французскаго ученаго Мопя, которому наука въ значительной степени обязана свѣдѣніями о половомъ размноженіи у инфузорій. Въ предыдущей главѣ уже было сказано, что инфузоріи, размножающіяся обыкновенно дѣленіемъ, съ теченіемъ времени теряютъ эту способность и начинаютъ спариваться. Неспособность инфузорій размножаться безполымъ путемъ Мопя объясняетъ *старческимъ вырожденіемъ* и думаетъ, что въ актѣ сліянія эти организмы *обновляются*, восстанавливаютъ утраченный ими запасъ жизненной энергіи. Отсюда и выдвинутая имъ *теорія обновленія* или *омоложенія*, которая яко-бы и исчерпываетъ весь смыслъ конъюгаціи. Однако, принимая въ соображеніе то обстоятельство, что существуетъ множество животныхъ и растений, которыя могутъ безъ конца размножаться путемъ дѣленія, никакого „старческаго вырожденія“ не обнаруживаютъ и, стало быть, ни въ какомъ „омоложеніи“ не нуждаются,—принимая все это во вниманіе, приходится согласиться, что теорія обновленія ничего собственно не объясняетъ. Почему, въ самомъ дѣлѣ, конъюгація восстанавливаетъ у инфузорій способность къ безполному размноженію? Что происходитъ при сліяніи ихъ? Въ чемъ состоитъ тутъ омоложеніе? Мало произнести магическія слова „старческое вырожденіе“, „обновленіе“; надо еще показать, какимъ дефектомъ характеризуется вырожденіе, какъ, благодаря конъюгаціи, этотъ дефектъ устраняется. Назовемъ-ли мы актъ сліянія у низшихъ организмовъ конъюгаціей или обновленіемъ — дѣло отъ

этого несколько не подвинется впередъ, ибо вся задача здѣсь къ тому и сводится, чтобы показать, что въ подобныхъ случаяхъ обновляется и какъ обновляется. Теорія Мона такихъ указаній не даетъ; но въ ней есть одна подробность, которая представляетъ для насъ нѣкоторый интересъ.

Оказывается, что если доставлять инфузоріямъ обильную пищу, то способность ихъ размножаться дѣленіемъ сказывается гораздо дольше, чѣмъ при обычныхъ для нихъ условіяхъ питанія; и наоборотъ: прекращая притокъ пищи, можно ускорить наступленіе того момента, когда инфузоріи начинаютъ спариваться. „Обильное питаніе,—говоритъ Мона,—усыпляетъ половое стремленіе; постъ, напротивъ, пробуждаетъ и возбуждаетъ“. Не значить-ли это, что слияніемъ двухъ инфузорій достигается то же самое, что и обильнымъ питаніемъ? Отвѣчая утвердительно на этотъ вопросъ, не трудно понять основную мысль гипотезы Фанъ-Рееса (van Rees), о которой упоминаю здѣсь исключительно въ виду ея оригинальности. По мнѣнію этого ученаго, конъюгація—исходный пунктъ оплодотворенія—сводится къ *поданію одного недѣлимаго другимъ недѣлимымъ того-же вида*. Свести оплодотвореніе на питаніе, уподобить половой инстинктъ чувству голода—вещь, конечно, очень остроумная. Но, не говоря уже о томъ, что оплодотвореніе на высшихъ ступеняхъ развитія характеризуется такими явленіями, которыя не имѣютъ ничего общаго съ питаніемъ, нужно признать, что толкованіе Реса не имѣетъ никакого значенія даже для объясненія конъюгаціи у инфузорій, ибо здѣсь, если помните, актъ оплодотворенія ограничивается взаимнымъ обмѣномъ ядеръ между двумя конъюгирующими организмами. А между тѣмъ, всякая теорія оплодотворенія, претендующая на научную цѣнность, должна охватывать всевозможныя формы этого процесса, начиная отъ самыхъ простыхъ и кончая наиболѣе сложными и запутанными. Съ этой точки зрѣнія—хотя не только съ одной этой—должна считаться неудовлетворительной также и гипотеза знаменитаго Фанъ-Бенедена.

Этотъ ученый предполагаетъ, что ядро всякой соматической клѣтки *гермафродитно*. Не тѣ—ядра половыхъ клѣтокъ. Незрѣлое яйцо также надѣлено двуполымъ ядромъ; но въ періодъ созрѣванія, освобождаясь при помощи второй „полюсной клѣтки“ отъ части ядерныхъ сегментовъ, яйцевое ядро становится однополымъ: то, что уходитъ при этомъ изъ него, есть собственно *мужская* половина ядра, а остается *женская* половина. Нѣчто совершенно тождественное наблюдается по Фанъ-Бенедену и при развитіи сперматозоида. Незрѣлая сѣмянная клѣтка, изъ которой еще долженъ будетъ получиться сперматозоидъ, имѣетъ ядро гермафродитное. Но на пути своего развитія она, какъ извѣстно, также теряетъ часть своего ядернаго аппарата и въ

свою очередь дѣлается однополой: *женская* половинка *уходитъ*, а *мужская* *остается*. Слѣдовательно,—говоритъ Фанъ-Бенеденъ,—ядра зрѣлаго яйца и сперматозоида суть собственно *полу-ядра* и при томъ полу-ядра *различнаго-полового характера*: въ противоположность двуполымъ ядрамъ соматическихъ клѣтокъ, *они однополы*. Ну, а если соматическія ядра гермафродитны, а половыя—однополы, то несомнѣнно, что истинный смыслъ оплодотворенія заключается въ томъ, чтобы слить въ одно эти разнополыя половинки и сдѣлать, такимъ образомъ, ядро одноклѣтного зародыша, т. е. оплодотвореннаго яйца, гермафродитнымъ. Такъ думаетъ Фанъ-Бенеденъ, а съ нимъ вмѣстѣ Бальфуръ, Мино и нѣкоторые другіе ученые.

Все это опять-таки чрезвычайно остроумно; но, къ сожалѣнію, остроуміе не всегда служитъ порукою вѣрности. Сравнивая процессъ развитія сперматозондовъ съ процессомъ созрѣванія яицъ, мы нашли, что полюсная клѣтка есть собственно рудиментарное яйцо, и что какъ не зрѣлое яйцо, такъ сѣмянная клѣтка удаляютъ изъ себя въ періодъ созрѣванія часть ядернаго вещества и лишь для того, чтобы предотвратить безконечное удвоеніе количества его при оплодотвореніи. Во-вторыхъ, наши свѣдѣнія о ядрахъ яицъ и сѣмянныхъ тѣлецъ не даютъ намъ никакого права говорить о качественной разницѣ между мужскимъ и женскимъ ядернымъ веществомъ. Ядерныя вещества мужскихъ и женскихъ половыхъ клѣтокъ различны лишь постольку, по сколько они являются продуктами различныхъ недѣлимыхъ—вотъ единственный выводъ, обязательный для всякаго, кто хочетъ оставаться на почвѣ непосредственныхъ данныхъ науки. Въ третьихъ: изъ того, что ядра половыхъ клѣтокъ *количественно* несходны съ ядрами соматическихъ клѣтокъ, еще не слѣдуетъ, что первыя и качественно отличаются отъ послѣднихъ. И, наконецъ, нельзя не замѣтить слѣдующаго страннаго противорѣчія въ гипотезѣ Фанъ-Бенедена. Ядро незрѣлаго яйца, по мнѣнію этого ученаго, гермафродитно. Хорошо, допустимъ, что это и въ самомъ дѣлѣ такъ. Въ такомъ случаѣ совершенно непонятно, почему въ процессѣ созрѣванія оно становится однополымъ, коли значеніе оплодотворенія состоитъ въ томъ, чтобы вновь сдѣлать его двуполымъ. Это была бы непростительная для природы нелогичность, и на такую нелогичность не способенъ „естественный подборъ“, подхватывающій и закрѣпляющій въ ряду поколѣній лишь полезное, цѣлесообразное. Нѣтъ, надо думать, что вся суть дѣла тутъ не въ гермафродитизмѣ, а въ чемъ-то другомъ. Въ чемъ-же? На это пытается отвѣтить Вейсманъ, и вотъ что читаемъ мы въ капитальномъ трудѣ его *Зародышевая плазма*: „Оплодотвореніе есть не что иное, какъ средство сдѣлать возможнымъ смѣшеніе *двухъ различныхъ наследственныхъ тенденцій* (Vererbungstendenzen)“ И затѣмъ дальше: „Только благодаря *амфимиксии* (смѣшенію)

стало возможнымъ предоставлять постоянно въ распоряженіе естественнаго подбора разнообразныя комбинаціи всевозможныхъ характеровъ для того, чтобы могла происходить правильная отборка“ (курсивъ Вейсмана) (*). Это общее положеніе Вейсмана другой нѣмецкій ученый, ботаникъ Клебсъ, развиваетъ слѣдующимъ образомъ: „исходя изъ этой новой точки зрѣнія, мы можемъ сказать, что половое размноженіе состоитъ въ смѣшеніи двухъ одинаковыхъ по роду и значенію, но индивидуально различныхъ наслѣдственныхъ субстанцій; благодаря чему къ жизни вызывается новая своеобразная индивидуальность“... Совершенство наслѣдственное вещество, „оплодотвореніе становится однимъ изъ могущественнѣйшихъ и дѣйствительнѣйшихъ средствъ для дальнѣйшаго развитія организмовъ. Конечно, громадное разнообразіе видовъ можетъ существовать уже при исключительно безполомъ размноженіи, какъ это и показываютъ бактеріи, но это разнообразіе усиливается, повышается, такъ какъ благодаря смѣшенію двухъ индивидуальностей въ видовомъ типѣ вызываются новыя измѣненія и уклоненія, среди которыхъ естественный подборъ съ помощью борьбы за существованіе можетъ производить отборку“ (*). Совершенно въ такомъ-же духѣ высказывается и Бовери о значеніи оплодотворенія. Цѣлый рядъ фактовъ, почерпнутыхъ изъ жизни растений и животныхъ, не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, говоритъ онъ, что „комбинаціи ядерныхъ веществъ, какъ носителей наслѣдственныхъ свойствъ, должна быть цѣлью всякаго спариванія, начиная отъ инфузоріи и кончая человѣкомъ“. Такія рѣчи въ устахъ Бовери могутъ показаться непонятными, ибо мы видѣли, что для него истинное значеніе оплодотворенія сводится къ тому, что мужская половая клѣтка доставляетъ женской клѣткѣ центровому, органъ, завідующій клѣточнымъ дѣленіемъ. Однако, это видимое противорѣчіе само собою отпадетъ, если принять въ соображеніе, что, по мысли Бовери, не слѣдуетъ въ процессѣ оплодотворенія смѣшивать два момента: одинъ изъ нихъ имѣетъ цѣлью сдѣлать клѣтку способною къ развитію, другой ведетъ къ соединенію наслѣдственныхъ веществъ, т. е. ядеръ. „Это соединеніе есть не средство при оплодотвореніи, а его цѣль“. И затѣмъ дальше, пытаюсь объяснить, какую роль играетъ въ органической эволюціи это смѣшеніе ядерныхъ веществъ, онъ обращается къ своимъ слушателямъ—дѣло происходило на сѣздѣ натуралистовъ—со слѣдующимъ остроумнымъ сравненіемъ: „Мы сошлись здѣсь вмѣстѣ, врачи и натуралисты всѣхъ специальностей и направленій, чтобы взаимнымъ обмѣномъ мыслей и наблюденій спо-

*) Weismann. Das Keimplasma. Eine Theorie der Vererbung.

**) Georg Klebs. Ueber das Verhältniss des männlichen und weiblichen Geschlechts in der Natur.

собствовать объединенію нашихъ наукъ. Смѣшеніе свойствъ въ сферѣ мысли—вотъ что можно было-бы назвать цѣлью, объединившею всѣхъ насъ... Видимъ-же мы совершенно ясно, какъ рѣдко рѣшеніе величайшихъ задачъ удается уму какого-нибудь одного склада и развитія: тутъ необходима совмѣстная дѣятельность различныхъ силъ. Въдѣ единеніе уже двухъ умовъ въ общей работѣ ведетъ къ болѣе крупнымъ результатамъ, чѣмъ дѣятельность каждаго изъ нихъ порознь. Нѣчто совершенно аналогичное представляетъ намъ соединеніе свойствъ при сліяніи клѣтокъ...

„Изъ отдѣльныхъ свойствъ, унаслѣдованныхъ двумя недѣлимыми отъ цѣлаго ряда предковъ или-же приобрѣтенныхъ зародышевыми клѣтками въ зависимости отъ тѣхъ условій, подъ вліяніемъ которыхъ эти недѣлимые жили, должно создаться нѣчто новое, иногда и болѣе совершенное, чѣмъ то, что имѣлось въ распоряженіи у предшествующихъ поколѣній. Здѣсь наша тема соприкасается съ величайшей проблемой, занимающей и зоологію, и ботанику—съ вопросомъ о происхожденіи живого міра. Все, до сихъ поръ извѣстное намъ объ органической природѣ, ведетъ къ убѣжденію, что высшія формы жизни произошли изъ низшихъ, путемъ постепенныхъ преобразованій, и что весь органическій міръ, медленно прогрессируя, поднялся отъ первичной ступени развитія до состоянія чрезвычайно высокой сложности. Остается пока нерѣшеннымъ лишь вопросъ—какія силы могли произвести все это. Мнѣ кажется—и тутъ я схожусь во мнѣніи съ Вейсманомъ,—что однимъ изъ двигателей органическаго прогресса является смѣшеніе индивидуумовъ“. (Ibid.).

Сводя въ одно цѣлое все только что изложенное, мы можемъ сказать: оплодотвореніе есть своеобразная форма приспособленія, при помощи котораго въ органическомъ мірѣ создаются тысячи индивидуальныхъ измѣненій; а измѣненія эти представляютъ богатѣйшій матеріалъ, надъ которымъ оперируетъ естественный подборъ, создавая новые виды, разнообразя и совершенствуя жизнь. Къ сожалѣнію, нельзя считать этотъ выводъ общепризнаннымъ въ наукѣ. Такіе авторитеты какъ, напримѣръ, Дарвинъ, Спенсеръ и Гертвигъ, думаютъ, что половое размноженіе, а стало быть и оплодотвореніе вызваны къ жизни во имя совершенно иныхъ цѣлей, цѣлей—діаметрально противоположныхъ тѣмъ, которыя выставляютъ Вейсманъ, Клебсъ и Бовери. Оплодотвореніе, т. е. смѣшеніе двухъ индивидуально различныхъ наслѣдственныхъ веществъ, говорятъ они, ведетъ не къ образованію новыхъ видовъ, а, наоборотъ, къ сохраненію видовъ уже существующихъ и такъ или иначе приспособившихся къ условіямъ даннаго времени и среды. „Посредствомъ полового размноженія, пишетъ, напримѣръ, Спенсеръ, въ видѣ поддерживается постоянная нейтрализація тѣхъ противоположныхъ уклоненій отъ средняго состоянія, которыя

производятся въ отдѣльных частяхъ организма отдѣльными группами дѣйствующихъ на него силъ, и такое ритмическое воспроизведение и устраненіе противоположныхъ уклоненій является ручательствомъ за *сохраненіе жизни вида* *) . Дарвинъ также утверждаетъ, что половое размноженіе „надежно и однообразно *сохраняетъ* свойства особей даннаго вида“. Наконецъ, и О. Гертвигъ настаиваетъ на томъ, что „половое размноженіе дѣйствуетъ на образованіе видовъ въ смыслѣ обратномъ тому, какъ это представляетъ себѣ Вейсманъ. Оно *сглаживаетъ различія*, вызываемыя въ индивидуумахъ одного вида внѣшними факторами, оно прямо стремится къ тому, чтобы сдѣлать видъ *однороднымъ* и *сохранить* его обособленность“ (курсивъ въ трехъ послѣднихъ выдержкахъ мой)...

Да простится мнѣ этотъ длинный рядъ выдержекъ: чтобы возможно точнѣе воспроизвести взгляды наиболѣе видныхъ біологовъ на сущность и цѣль оплодотворенія, лучше всего было, конечно, процитировать ихъ подлинныя слова.

Оставляя совершенно въ сторонѣ вопросъ о томъ, которое изъ приведенныхъ здѣсь противоположныхъ мнѣній болѣе справедливо, посмотримъ лучше, въ какой связи находятся они съ занимающей насъ проблемой. Какъ бы ни понимали мы роль оплодотворенія въ эволюціи органическаго міра, важно во всякомъ случаѣ лишь то, что половое размноженіе, а вмѣстѣ съ нимъ и смѣшеніе наслѣдственныхъ массъ—вещь выгодная. А разъ оно выгодно, то понятно что естественный подборъ долженъ былъ подхватить и развить его. Но „подхватить и развить“ еще не значитъ *создать*. Говоря иначе, естественный подборъ могъ тутъ проявить свое дѣйствіе только тогда, когда самый фактъ полового размноженія, когда оплодотвореніе, смѣшеніе наслѣдственныхъ массъ уже было на лицо: чтобы начать подбирать, надо, чтобы было что подбирать. Если считать такой способъ умозаключеній логичнымъ, то придется признать, что половое размноженіе создано не подборомъ, а чѣмъ-то инымъ, а если и подборомъ, то не во имя „смѣшенія наслѣдственныхъ массъ“, а въ виду какихъ-то другихъ, неизвѣстныхъ пока намъ цѣлей. Разсуждая иначе—и по моему совершенно неправильно,—надо будетъ допустить нѣчто абсурдное, а именно: что естественный подборъ, какъ бы заранѣе предвидя, какой обильный матеріалъ можетъ быть предоставленъ въ его распоряженіе половымъ размноженіемъ, самъ создалъ условія своей будущей дѣятельности. Польза полового размноженія (смѣшеніе наслѣдственныхъ массъ), доставляющаго матеріалъ для работы естественнаго подбора—еще разъ повторяю—должна была обнаружиться лишь *послѣ* того, какъ оплодотвореніе стало *біологи-*

*) Г. Спенсеръ: «Основанія біологіи».

ческимъ фактомъ. Но почему на аренѣ жизни появилось оплодотвореніе, во имя какихъ цѣлей и какъ возникло оно—этого мы не знаемъ. Быть можетъ, естественный подборъ тугъ и приложилъ свою руку; однако, чтобы онъ при этомъ дѣйствовалъ въ интересахъ того, что явилось лишь какъ слѣдствіе оплодотворенія, это положительно немислимо.

IX.

Вернемся къ началу нашей статьи—къ вопросу о половомъ инстинктѣ. Миновать этотъ вопросъ, говоря о проблемѣ оплодотворенія, нѣтъ рѣшительно никакой возможности, ибо половой инстинктъ незамѣтно вплетается въ сферу тѣхъ явленій, которыя составляютъ основной предметъ нашей темы.

Мы уже сказали, что любовь между представителями различныхъ половъ является высшимъ и часто самодовлѣющимъ выраженіемъ полового инстинкта. Изящно задрапированный всевозможными эмоціями высшаго порядка, окутанный туманомъ поэтическихъ грезъ, среди которыхъ на раззолоченномъ фантазіей тронѣ красуется мечта о гармоніи душъ, этотъ инстинктъ остается въ тѣни, забытый и даже преданный проклятію, какъ нѣчто низменное, пошлое, идущее въ разрѣзъ съ чистыми движеніями души. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ, читая нѣчто подобное тому любовному бреду, который такъ поэтично воспроизведенъ, напримѣръ, въ стихотвореніи Гейне „Erklärung“, вы найдете въ себѣ смѣлость копаться въ этомъ бредѣ съ цѣлью найти въ немъ проявленіе полового инстинкта? Зачѣмъ нарушать иллюзію? Пусть все это, какъ думаетъ великій нѣмецкій пессимистъ, одно лишь сплошное надувательство природы, коварныя шутки того таинственнаго генія, который морочитъ людей миражемъ личнаго счастья въ интересахъ продолженія человѣческаго рода. Пусть такъ. Отъ этого счастье, испытываемое влюбленными, нисколько не становится слабѣе, и долго еще будетъ имъ близко и понятенъ порывъ отуманеннаго любовью героя, которому грезится такая картина:

. . . mit starker Hand, aus Norwegs Wäldern,
Reiss'ich die höchste Tanne,
Und tauche sie ein
In des Aetnas glühenden Schlund, und mit solcher
Feuergetränkten Riesenfeder
Schreib'ich an die Himmelsdecke:
«Agnes, ich liebe dich!» *).

*) Я вырываю могучею рукой самую высокую сосну изъ норвежскихъ лѣсовъ, погружаю ее въ kloкоцущее жерло Этны, и такимъ огненнымъ перомъ-всдиканомъ пишу на сводѣ неба: «Агнеса, я люблю тебя!» (Heine «Erklärung»).

Спустимся, однако, съ этой головокружительной высоты въ міръ болѣе прозаичныхъ настроеній. Припомнимъ небольшой, но очень характерный эпизодъ изъ гётевскаго „Фауста“.

Улица. Фаустъ впервые встрѣчаетъ Маргариту и тутъ же сразу приходитъ въ такое неподобающее ученому мужу настроеніе, что даже выдавшій всякіе виды Мефистофель начинаетъ усовѣщевать его. Но почтенный докторъ, постигшій философію и всѣ науки, все знающій и во все проникшій, не унимается и на заявленіе Мефистофеля

Нѣтъ, кромѣ шутокъ: лишь въ просакъ
Попастъ съ горячностью здѣсь можно—

упрямо требуетъ:

Добудь вещьцу отъ безцѣнной,
Сведи въ покой ея священный!
Доставъ платокъ съ ея груди!
Подвязку въ память мнѣ найди!

Здѣсь все понятно и просто—несравненно проще, чѣмъ въ стихотвореніи Гейне—и свидѣтельствуетъ о силѣ того чувства, которое, выражаясь образнымъ стилемъ Шопенгауэра, „производитъ порою путаницу въ самой великой головѣ,—не стыдится со своею болтовнею, нарушая все, вторгаться въ переговоры государственныхъ людей и въ изслѣдованія ученыхъ,—умѣетъ подслушать свои раздушенные записочки и локоны волосъ въ министерскіе портфели и философскіе манускрипты“...³⁾.

Но отойдемъ нѣсколько отъ того міра, гдѣ продѣлки „генія рода“ проявляются въ такихъ сложныхъ формахъ. Спускаясь со ступеньки на ступеньку все ниже и ниже, мы можемъ прослѣдить, какъ любовь бѣднѣетъ содержаніемъ. Мы не найдемъ здѣсь ни огненныхъ сосенъ, пишущихъ по темно-синему небу завѣтные слова, ни даже исканій чего-нибудь вещественнаго на память отъ возлюбленной: расцвѣчивающія половой инстинктъ психическія осложненія постепенно отпадаютъ, обнажая все ярче и ярче тотъ Leitmotiv, который, собственно, и интересуетъ насъ сейчасъ. Это—голый, ничѣмъ неприкрашенный, элементарный половой инстинктъ. Однако—что собственно важно сейчасъ отмѣтить—и онъ не есть то „последнее“, или если угодно, „первое“, съ чего начала природа въ ту пору, когда пустила въ дѣло оплодотвореніе. Разовьемъ нѣсколько подробнѣе эту мысль.

Мы видѣли, что ученые двоякимъ образомъ объясняютъ необходимость соединенія наслѣдственныхъ веществъ при оплодотвореніи. Можетъ быть, однако, и третье объясненіе, которое также имѣетъ своихъ сторонниковъ. Оно сводится къ тому, что путемъ

*) А. Шопенгауэръ. Міръ, какъ воля и представленіе. II т. Метафизика половой любви.

оплодотворенія пополняются недочеты, которые имѣются у соединяющихся клѣтокъ, будь это половые элементы или одноклѣтныя организмы—все равно. Тѣ случаи, когда образованіе новаго поколѣнія оказывается невозможнымъ безъ оплодотворенія или конъюгаціи, показываютъ, что тутъ дѣйствительно есть какой-то дефектъ, который устраняется лишь вмѣстѣ съ актомъ оплодотворенія. Существованіе же дефекта обуславливаетъ собою такъ называемую „*потребность въ оплодотвореніи*“. „Подъ потребностью въ оплодотвореніи, говоритъ Гертвигъ, мы разумѣемъ такое состояніе клѣтки, когда она сама по себѣ потеряла способность продолжать жизненный процессъ, но снова получаетъ эту способность въ еще болѣе высокой степени, если соединится съ другою клѣткою въ актѣ оплодотворенія. Внутренняя сущность этого состоянія остается для насъ все еще совершенно неясной, такъ какъ дѣло идетъ здѣсь о такихъ свойствахъ живыхъ веществъ, которыя лежатъ внѣ области нашего чувственного воспріятія и узнаются только по проявляющимся слѣдствіямъ ихъ. Кромѣ того, эта неясная область еще весьма мало подвергалась систематической обработкѣ со стороны физиологіи“. Намъ, собственно говоря, и нѣтъ сейчасъ никакой надобности опускаться въ тѣ темныя дебри, о которыхъ говоритъ Гертвигъ. Вполнѣ достаточно, если мы признаемъ, что „потребность въ оплодотвореніи“ фактически выражается въ тяготѣніи спаривающихся организмовъ и половыхъ элементовъ другъ къ другу. На низшихъ ступеняхъ жизни, среди всевозможныхъ одноклѣтныхъ животныхъ и растений, это взаимное влеченіе сказывается такъ, что одноклѣтныя существа притягиваются другъ къ другу, сходятся и соединяются подобно химическимъ тѣламъ съ ненасыщеннымъ „химическимъ сродствомъ“. Совершенно также ведутъ себя и зародышевыя клѣтки организмовъ, стоящихъ нѣсколько выше, при чемъ, если онѣ обѣ подвижны, то идутъ другъ другу навстрѣчу, если же подвижностью надѣлена лишь одна изъ нихъ, то она именно и устремляется къ той, что не имѣетъ возможности двигаться. Странно было бы, конечно, такое „сродство“ называть *половымъ инстинктомъ*—странно потому, что у одноклѣтныхъ растений и животныхъ нѣтъ и намека на половой диморфизмъ, а у тѣхъ водорослей, о которыхъ шла рѣчь въ этой статьѣ, хотя дифференцировка половыхъ элементовъ частью уже сказала, но раздѣленія половъ все еще нѣтъ. Какой-же это „половой“ инстинктъ безъ половъ! Однако, надо думать, что половой инстинктъ, т. е. влеченіе половъ, беретъ начало отъ того именно „сродства“, которое наблюдается уже у простѣйшихъ организмовъ. Нѣтъ никакой возможности опредѣлить, хотя бы приблизительно, въ чемъ по существу разница между половымъ инстинктомъ и „сродствомъ“; поэтому намъ остается лишь констатировать, что половой инстинктъ есть влеченіе другъ къ другу *раздѣльнополыхъ* организмовъ, а „сродство“

сказывается тамъ, гдѣ о самцахъ и самкахъ нѣтъ еще и помину. Но какъ бы то ни было, можно допустить, что оба эти вида взаимнаго тяготѣнія организмовъ въ корнѣ сходны межъ собой, ибо и проявляются они одинаково, и цѣлямъ служатъ одинаковымъ. Такое допущеніе само собою приводитъ къ мысли, что тяготѣніе организмовъ одного и того-же вида другъ къ другу есть своего рода *prius*: оно возникло не послѣ образованія половъ и не одновременно съ нимъ, а раньше него. Естественный подборъ подхватилъ и развилъ этотъ инстинктъ въ интересахъ оплодотворенія, т. е. дѣйствовалъ здѣсь во имя тѣхъ-же самыхъ цѣлей, которыя преслѣдовалъ онъ, создавая разницу между половыми клѣтками и различіе между полами.

Нечего и говорить, что указывая на возможность постепеннаго перехода отъ половой любви сперва къ половому инстинкту, а затѣмъ и къ „сродству“, я вовсе не думаю отождествлять любовь съ инстинктомъ и сродствомъ. Это, впрочемъ, должно быть ясно для внимательнаго читателя. Не думаю я также, что слова „сродство“ или „инстинктъ“ объясняютъ суть дѣла въ данномъ случаѣ лучше, чѣмъ слово „любовь“. Упрощеніе задачи не есть еще ея рѣшеніе, перенесеніе неизвѣстнаго изъ одной области въ другую, хотя бы и болѣе простую, не даетъ еще отвѣта на поставленный вопросъ. Истинный смыслъ влеченія организмовъ другъ къ другу не объясняется словами „инстинктъ“ и „сродство“, какъ не объясняется онъ и словомъ „любовь“. Мы знаемъ, что соединеніе двухъ инфузорій необходимо для того, чтобъ родъ инфузорій могъ процвѣтать; почему необходимо—это неизвѣстно. Знаемъ мы также, что продолженіе человѣческаго рода невозможно безъ соединенія сѣманныхъ клѣтокъ съ яйцевыми; чѣмъ вызывается эта немислимость — опять-таки неизвѣстно. Знаемъ мы, наконецъ, и то, что какъ конъюгація въ первомъ случаѣ, такъ и оплодотвореніе во второмъ происходитъ благодаря какому-то, присущему организмамъ одного и того же вида, влеченію другъ къ другу—влеченію, которое примѣнительно къ инфузоріи мы называемъ „сродствомъ“, а примѣнительно къ человѣку „половой любовью“. Вотъ и все, что знаемъ мы. Дальше же начинается рядъ болѣе или менѣе вѣроятныхъ догадокъ и предположеній...

Подведемъ итоги, разбивши ихъ на слѣдующія категоріи.

Извѣстно, что оплодотвореніе существуетъ уже у одноклѣтнихъ организмовъ. Вмѣстѣ съ переходомъ отъ низшихъ къ высшимъ, оно претерпѣваетъ рядъ измѣненій и осложненій, хотя по существу вездѣ остается однимъ и тѣмъ же, т. е. сводится къ соединенію двухъ клѣтокъ. На низшихъ ступеняхъ жизни это—самостоятельные одноклѣтные организмы, а на высшихъ — специализировавшіеся въ интересахъ соединенія половые элементы,

яйцевыя клітки и сперматозоиды. Во время развитія, какъ тѣ, такъ и другіе теряютъ половину своего ядернаго вещества, предупреждая, такимъ образомъ, безконечное увеличеніе его при оплодотвореніи. Оплодотвореніе исторически предшествуетъ и дифференціаціи половыхъ элементовъ, и дифференціаціи половъ. Половой инстинктъ беретъ начало отъ „средства“, наблюдаемаго среди простѣйшихъ организмовъ; осложняясь и развиваясь, онъ преобразуется въ половую любовь.

Возможно, что основною задачею при оплодотвореніи является смѣшеніе двухъ индивидуально различныхъ ядерныхъ веществъ. Такое смѣшеніе, по мнѣнію однихъ, даетъ толчекъ органической эволюціи, вызывая къ жизни новыя формы, а по мнѣнію другихъ, наоборотъ, способствуетъ сохраненію уже существующихъ формъ. Возможно также, но требуетъ серьезной провѣрки, утвержденіе Бовери, будто механизмъ оплодотворенія у *многоклеточныхъ животныхъ* сводится къ тому, что сперматозоидъ доставляетъ яйцу недостающую ему центрозому, и что важнѣйшую роль въ этомъ актѣ играетъ, стало быть, шейка сѣмяннаго тѣльца.

Остается еще вполне нерѣшеннымъ: почему клітки, которыя имѣютъ все необходимое для развитія, становятся на время калѣками, чтобы въ актѣ сліянія вновь возвратить то, что у нихъ раньше было, и что для нихъ вновь становится необходимымъ? Почему половые элементы дифференцировались на мужскіе и женскіе, когда все клонится къ тому, чтобы сгладить путемъ оплодотворенія разницу, созданную дифференцировкой, восстановить нарушенную эволюціоннымъ процессомъ цѣльность? Почему на низшихъ ступеняхъ жизни стало необходимымъ сліяніе двухъ совершенно одинаковыхъ недѣлимыхъ? Въ чемъ недочетъ, создавшій „потребность къ оплодотворенію“? Что представляетъ собою и какъ возникъ половой инстинктъ? Чѣмъ и во имя чего вызвано къ жизни половое размноженіе?

Все, изложенное въ послѣдней рубрикѣ, составляетъ одну сплошную запутанную загадку. Рѣшить ее — значитъ исчерпать полностью проблему оплодотворенія.

В. В. Лункевичъ.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

ВЪ ПАМЯТИ.

(Этюдъ).

I.

— О чемъ призадумались?—спросилъ Петра Дмитріевича проходившій мимо него бухгалтеръ съ кипюю бумагъ въ рукахъ.

— Нездоровится, голова болитъ, — нехотя отвѣтилъ Зоринъ и опустилъ глаза на большой разграфленный листъ, на которомъ пестрѣли черныя и красныя цифры.

Петръ Дмитріевичъ уныло смотрѣлъ, какъ между желтыми лакированными конторками быстро пробѣгали дѣловитой походкою его сослуживцы по банку. Надушенные, съ туго накрахмаленными воротничками и яркими галстухами, они суетились, по нѣскольку разъ беспокоили ненужными вопросами просителей, дѣлали помѣтки на клочкахъ бумаги и, заложивъ карандаши за ухо, съ тѣмъ же дѣловитымъ видомъ продолжали бѣгать отъ одного стола къ другому.

Просители прибывали; тоскливо садились на ясеневыя скамейки, тянувшіяся вдоль стѣнъ, и мѣрно погружались въ легкую дремоту подъ усыпительные звуки щелканья костяжекъ по конторскимъ счетамъ.

Зоринъ съ нетерпѣніемъ ждалъ конца присутствія; изрѣдка онъ бралъ толстыя, тяжелыя, какъ каменныя плиты, конторскія книги, перелистывалъ ихъ и не могъ работать. Въ комнатѣ пахло сыростью, просители носили на себѣ какой-то особый отпечатокъ. Одѣтые въ тяжелыя шубы, съ саквояжами въ рукахъ, они озлобленно ожидали своей очереди и изрѣдка исподлобья взглядывали на кассу, похожую на клѣтку для звѣрей, въ которой виднѣлась лохматая рыжая голова кассира.

— По ссудѣ № 123,565...—поминутно раздавался голосъ мальчика, одѣтаго въ русскую поддевку, опоясанную краснымъ кушакомъ. Въ отвѣтъ ему откликался мрачный голосъ: „здѣсь“.

Время тянулось томительно долго. Сторожа начали разносить подносы съ чаемъ.

— Вамъ письмо!—сказалъ Зорину вахтеръ и передалъ ему запечатанный конвертъ.

— Отъ кого?

— Не можемъ знать. Посыльный принесъ...

Петръ Дмитріевичъ машинально распечаталъ письмо, пробѣжалъ его глазами. Вложенная въ конвертъ записка была написана нетвердою, женскою рукой съ массою грамматическихъ ошибокъ.

„Милостивый Государь, знакомая вамъ Лизавета Владиміровна Ивановская скончалась вчера въ десять часовъ вечера. Передъ смертью она желала васъ видѣть. Панихида сегодня въ семь часовъ, похороны завтра на Волковомъ. Приходите помолиться. Лиговка д. № 00“.

Зоринъ долго не могъ привести въ порядокъ свои мысли. Лиза Ивановская была другомъ его дѣтства, жила со старухою матерью въ деревнѣ, рядомъ съ имѣніемъ его отца и часто посѣщала ихъ домъ.

Петръ Дмитріевичъ сознавалъ, что ему необходимо было ѣхать на панихиду, но какое-то непріятное чувство удерживало его. Ему не хотѣлось быть въ незнакомой квартирѣ, видѣть мертвое тѣло и слышать заунывное чтеніе псалтыря.

Онъ всегда избѣгалъ похоронъ. Погребальная церемонія со своею таинственною силою производила на него тяжелое впечатлѣніе...

Зоринъ посмотрѣлъ на часы — было пять. Присутствіе кончилось. Петръ Дмитріевичъ заперъ конторку на ключъ, положилъ его въ жилетный карманъ и вышелъ изъ банка.

На улицѣ онъ почувствовалъ промозглый воздухъ. Была оттепель. Сначала онъ рѣшилъ отправиться въ ресторанъ, пообѣдать и немного разсѣять свои мрачныя мысли.

II.

Поднявшись по лѣстницѣ, уставленной искусственными тропическими растеніями, миновавъ холодный бассейнъ съ журчащимъ фонтанчикомъ, Зоринъ вошелъ въ полуосвѣщенную бѣлую залу, отдѣланную лѣпною работою и зеркалами.

Посѣтителей въ ней было немного. Въ одномъ углу комнаты обѣдала компанія пріѣзжихъ француженокъ съ двумя офицерами.

Петръ Дмитріевичъ спросилъ карточку кушаній и занялъ мѣсто у окна.

— Петруша, голубчикъ, какими судьбами? — услышалъ онъ вдругъ знакомый голосъ. Зоринъ поднялъ голову и увидѣлъ присяжнаго повѣреннаго Дмитріева, своего товарища по университету. Дмитріевъ стоялъ передъ нимъ во фракѣ, со значкомъ на лѣвомъ борту.

— А ты какъ тутъ?

— Прямо съ засѣданія. Объявленъ перерывъ для обѣда. Не знаю, когда кончится дѣло. Говорятъ, еще дней пять продлится.

— Громкое дѣло?

— Неужели не читалъ? Подожди, все расскажу! Челоекъ! Дмитріевъ положилъ на голубой бархатный диванъ свой портфель и, снявъ перчатки, бросилъ ихъ въ цилиндръ.

— Обѣдъ и бутылку понте-канэ, — сказалъ онъ, обращаясь къ официанту.

— Да, да, — продолжалъ онъ, — дѣло громкое. Здѣсь есть все: кража, подлогъ, вовлеченіе въ невыгодную сдѣлку. Самъ чортъ ногу сломить! Все запутано, туманно, кто кого облапошилъ, неизвѣстно! Обвиняется женщина, красавица. Свидѣтелями фигурируютъ ея тайные и явные поклонники.

Дмитріевъ любилъ говорить о дѣлахъ, въ которыхъ выступалъ защитникомъ. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые любятъ, чтобы ихъ слушали, но сами терпѣть не могутъ слушать другихъ.

— Водочки не выпить ли передъ обѣдомъ? — сказалъ онъ, потерявъ нить разговора.

— Можно.

Зоринъ и Дмитріевъ направились къ буфетной стойкѣ, выпили по рюмкѣ англійской горькой, закусили чѣмъ-то ѣдкимъ и вытерли руки о полотенце, висѣвшее на мѣдномъ стержнѣ.

Возвратившись въ залу, Дмитріевъ продолжалъ трещать; онъ возмущался поведеніемъ прокурора, глумившагося надъ его клиенткой, приводилъ массу анекдотовъ изъ судебной практики и сталъ хвалить себя за тѣ ловкіе удары, которые онъ наносилъ своему противнику во время допроса опасныхъ свидѣтелей.

Зоринъ не слушалъ болтовни своего товарища. Мысль объ умершей дѣвушкѣ, которую онъ долженъ былъ увидать въ скоромъ времени, угнетала его.

Разсказы Дмитріева казались ему вздоромъ и пошлостью.

Раздались звуки органа. Публика прибывала. Залъ освѣтился электрическими лампочками.

Петръ Дмитріевичъ посмотрѣлъ на своего товарища и глухо замѣтилъ:

— Отсюда я на панихиду!

— Вотъ какъ? Родственника хоронишь?

— Нѣтъ, умерла добрая знакомая, другъ дѣтства... Со-сѣдка по имѣнію моего отца, куда я пріѣзжалъ каждое лѣто во время моего студенчества.

— Хорошенькая?—безучастно спросилъ Дмитріевъ, осматривая свои розовые ногти.

— Нѣтъ, худенькая, съ узенькими плечиками; блѣдная, болѣзненная на видъ. Но глаза! глубокіе, вдумчивые, скорбные. Я сдружился съ ней; скучно одному было въ деревнѣ при отцѣ, который зналъ только одно хозяйство. Она много читала, я ей давалъ книги.

— Просвѣщаль?—насмѣшливо замѣтилъ адвокатъ и, улыбаясь глазами, посмотрѣлъ на Зорина.

— Нѣтъ! я никогда не былъ просвѣтителемъ, а такъ, бесѣдовалъ съ ней о прочитанномъ; философію она не любила; слишкомъ была привязана къ жизни и никакъ не могла отрѣшиться отъ тѣхъ чувствъ, которыми надѣлила ее природа; ей было трудно отказаться отъ созданныхъ ею образовъ. Конечно, во всемъ этомъ виновата ея неподготовка къ логическому мышленію.

— Ну, зафилософствовалъ! — замѣтилъ Дмитріевъ и кашлянулъ въ руку,—скажи лучше, что то былъ романъ твоей весенней поры; вскружилъ дѣвочкѣ голову своими бреднями, и она влюбилась въ тебя по уши!

— Влюбиться—это глупое слово, выдуманное писателями, кадетами и гимназистами. Можетъ быть, она любила меня, но никогда не высказывала своихъ чувствъ,—сказалъ Зоринъ и слегка покраснѣлъ.

— Романъ изъ деревенской жизни; вѣрнѣе, буколика. И чѣмъ же все кончилось?

— Ничѣмъ! Мать Лизы, глупая ханжа, думавшая только о странникахъ, была противъ нашей дружбы. Въ одинъ прекрасный день она попросила меня прекратить мои посѣщенія.

— Пришлось покориться?

— Нѣтъ, послѣ этого я часто видѣлъ ее. Впрочемъ, мы скоро разстались, я уѣхалъ въ Петербургъ.

Обѣдъ кончился, подали кофе. Дмитріевъ закурилъ сигару.

— Ты сегодня вечеромъ куда?—спросилъ онъ послѣ небольшого молчанія.

— Не знаю.

— Дернемъ въ маскарадъ! Я думаю туда прямо изъ за-сѣданія: портфель домой отошлю, значокъ отцѣплю и во фракъ въ клубъ!

Дмитріевъ залился звонкимъ смѣхомъ.

— Ну, прощай, голубчикъ, пора! Теперь допросъ важныхъ свидѣтелей. Заходи послѣзавтра послушать рѣчи!

— Можетъ быть, зайду.

Дмитріевъ рассчитался за обѣдъ, переложилъ сигару изъ одного угла рта въ другой и, пожавъ руку Зорину, вышелъ изъ залы торжественной походкой.

Петръ Дмитріевичъ остался одинъ. Въ головѣ у него шумѣло. Сердце сжималось до боли.

Органъ заигралъ веселый вальсъ. Зоринъ не любилъ органа. Въ его звукахъ не было ничего живого; все шло ровно, безъ души, нервовъ — чувствовалась работа колесъ, пружинъ и мѣдныхъ трубъ. То были мертвые звуки.

Петръ Дмитріевичъ всталъ со своего мѣста и направился къ выходу.

На улицѣ стоялъ туманъ.

— Извозчикъ! на Лиговку.

Зоринъ сѣлъ въ сани. Прыгая по ухабамъ талой полупесчаной-полуснѣжной дороги, онъ медленно поѣхалъ по направленію къ Николаевскому вокзалу. Миновавъ рядъ закусовыхъ, трактировъ съ яркими вывѣсками, извозчикій дворъ, Зоринъ остановился у воротъ двухъ-этажнаго домика. Ступая по лужамъ грязнаго узкаго двора, онъ подошелъ къ дверямъ деревяннаго флигеля. Окна его были освѣщены. По спущеннымъ бѣлымъ занавѣскамъ пробѣгали тѣни. Петру Дмитріевичу стало жутко.

III.

Зоринъ вошелъ въ сѣни, освѣщенныя тусклымъ фонаремъ съ закоптѣлой лампой. Обитая рванной клеенкой дверь была полуоткрыта. Петръ Дмитріевичъ свободно вошелъ въ небольшую темную переднюю. За деревянной перегородкой слышалось монотонное чтеніе псалтыря.

— Шубку пожалуйста, — сказала Зорину явившаяся дѣвушка въ черной кофточкѣ. — Вы Петръ Дмитріевичъ будете? Думали, не придете. Взойдите въ горенку, обогрѣйтесь.

Дѣвушка открыла боковую дверь. Зоринъ увидалъ небольшую комнатку, къ стѣнѣ была приставлена узкая кровать съ грудой подушекъ; около нея стоялъ комодъ; на немъ фотографическія карточки, коробки отъ конфетъ и вазочки съ искусственными цвѣтами. Надъ постелью висѣлъ коверъ съ изображеніемъ льва среди пестрыхъ цвѣтовъ.

— Это комнатка Лизаветы Владиміровны, — замѣтила дѣвушка и пригласила Петра Дмитріевича сѣсть на единствен-

ный, стоявшій здѣсь буковый стулъ. Сама она помѣстилась на кровати.

— Дня два передъ смертью все объ васъ вспоминала,—начала дѣвушка полушопотомъ.

— Давно она въ Петербургѣ жила?—спросилъ Зоринъ.

— Не знаю; у мадамы прожила всего два мѣсяца.

— Что она дѣлала? Чѣмъ здѣсь занималась?—спросилъ опять Зоринъ и почувствовалъ, какъ холодъ пробѣжалъ у него по спинѣ.

— Чѣмъ?.. извѣстно—чѣмъ...

Дѣвушка опустила глаза, снова взглянула на Петра Дмитриевича и скривила ротъ въ ту виноватую улыбку, какой могла улыбаться только женщина извѣстной профессіи.

Зоринъ тяжело вздохнулъ.

— Странная такая была; все больше плакала, ни съ кѣмъ не разговаривала.

— Чѣмъ же она болѣла?

— Не знаю... Чахоткой должно быть; изъ горла кровь шла. Больше изъ-за непріятностей. Ванька Косой шибко ее обижалъ, мадамъ также серчала...

— Кто же это Ванька Косой?

— Такъ себѣ, безъ дѣла шатается; деньги у дѣвушекъ обираетъ. Пьяный больше ходитъ. Компанія ихъ тутъ цѣлая!

— Что же она его—любила?

— Ну, любила! Такъ, глупости однѣ. Связалась, чтобы другіе не обижали.

— Соня!—послышался рѣзкій голосъ, и въ пріотворенную дверь высунулось толстое, обрюзглое лицо пожилой женщины съ завитками на лбу.

— Сейчас!—отозвалась дѣвушка и удалилась изъ комнаты. Черезъ нѣсколько минутъ въ каморку ввалилась толстая фигура хозяйки въ ситцевомъ платьѣ безъ корсета. На плечи ея былъ накинутъ шерстяной платокъ.

— Очень рада, что пришли, — сказала она, протянувъ Зорину свою жирную руку въ браслетахъ. Сѣвъ на кровать, она широко разставила ноги, обрисовавъ контуры рыхлаго живота, обтянутаго ситцевой кофтой.

— Курить не желаете-ли?—спросила она.

— Нѣтъ, благодарю.

— Вотъ вѣдь горе-то какое, — замѣтила пожилая женщина и сильно затянулась дымомъ толстой папиросы, — а дѣвушка какая была славная! жаль ее, очень жаль!

Хозяйка покачала головой.

— Долго она страдала?

— Въ постели всего дня два пролежала, никакъ и не

думали, что можетъ такъ случиться. Знала бы, въ больницу отправила.

Старуха замолчала.

— Все изъ-за непріятностей,—сказала она въ раздумьи.— Скандалы у насъ почти каждый день. Пьяный гость на пятачокъ пива выпьетъ, а норовитъ наскандалить на сто цѣлковыхъ. Видно, все это бросить надо. Строгости разныя теперь пошли. Смотрителя да окологородные; житья отъ нихъ нѣтъ. Третьяго дня опять ночью обходъ былъ; застали двухъ дѣвушекъ безъ прописки. Сейчасъ къ мировому потащутъ; да мнѣ наплевать! Отсидки не боюсь. Думаю въ Кіевъ поѣхать, тамъ спокойнѣе и хлопотъ меньше насчетъ этихъ дѣловъ!

Мадамъ вздохнула, плюнула на дымящійся конецъ окурка и бросила его въ уголъ.

— Хотѣла я, мусье, вотъ у васъ о чемъ попросить. Какъ я слышала, вы родственникъ Лизаветы Владиміровны будете. Такъ сами понять должны: не въ дешевую копѣйку она мнѣ стала! Два платья ей сшила, бѣлье и все такое. Теперь похороны. Сами знаете,—денегъ у ней за душой не было ни гроша! Изъ жалости къ себѣ взяла...

Петръ Дмитріевичъ досталъ нѣсколько кредитныхъ бумажекъ и передалъ ихъ старухѣ.

— Спасибо вамъ,—сказала она съ пріятной улыбкой,—никакъ и попы пришли!

Мадамъ съ трудомъ поднялась съ своего мѣста и вышла въ другую комнату. Зоринъ послѣдовалъ за ней. Онъ увидѣлъ гробъ, зажженные три свѣчи, бѣлыя спущенныя шторы въ окнахъ. Священникъ и псаломщикъ приготовлялись къ панихидѣ.

Лицо покойницы было закрыто; впередъ выступали лишь ступни ея ногъ, покрытыя старымъ парчевымъ покровомъ.

Худенькій старичокъ съ небритымъ, щетинистымъ лицомъ, въ длинномъ сюртукѣ, трясущимися руками зажегъ пучекъ восковыхъ свѣчекъ и сталъ раздавать ихъ пришедшимъ на панихиду. Подойдя къ гробу, онъ открылъ лицо покойницы. Зоринъ опустилъ глаза. Раздался тихій, задушевный голосъ священника, трогательно произносившій слова молитвы. Запахло ладаномъ. Комната освѣтилась огоньками. Зорину хотѣлось плакать и молиться; слезы сжимали ему горло и застилали глаза. Заунывное пѣніе псаломщика, подтягивающій ему надтреснутый голосъ старичка „со святыми упокой“, запахъ ладана, мѣрное чтеніе священника—все показалось такимъ печальнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полнымъ значенія, глубокаго смысла, и уносило далеко отъ всего сѣраго, скучнаго, будничнаго.

Раздались послѣднія слова панихиды „Вѣчная память“,

небольшая толпа, стоявшая у гроба, заволновалась и, кашляя, стала выходить изъ комнаты. Петръ Дмитріевичъ остался у гроба и ожидалъ чего-то.

„Можетъ быть, я ошибся, — подумалъ онъ. — Можетъ быть, меня обманули. Это не Лиза, а кто-нибудь другой.“

Онъ пересилилъ себя и съ сильно бьющимся сердцемъ взглянулъ на покойницу.

Да, то была Лиза, знакомая ему Лиза; блѣдная, съ искаженными чертами и скорбнымъ выраженіемъ лица.

Глаза ея были закрыты, голова немного наклонена на бокъ. Сильно посинѣвшія вѣки скрывали взглядъ; въ которомъ можно было прочесть страшную загадку. Черные волосы, раздѣленные прямымъ проборомъ, отгѣняли бѣлизну лица еще сильнѣе.

— Поклониться праху желаете? — спросилъ Петра Дмитріевича старичокъ въ длинномъ сюртукѣ и сталъ тушить свѣчи, стоявшія вокругъ гроба.

— Да, да, — глухо сказалъ онъ и, перекрестившись, сдѣлалъ земной поклонъ.

Въ углу раздался снова заунывный голосъ читальщика. Висѣвшая передъ иконой лампада замигала, и по гробу и лицу умершей потянулись длинные тѣни. Въ комнатѣ стало совсѣмъ тихо.

Зоринъ вышелъ въ переднюю.

— Уходите? — спросила его дѣвушка, встрѣтившая его при входѣ.

— Да, ухожу!

— На похороны придете? Приходите. Мадамъ поминки устраиваетъ; какъ съ Волкова вернемся — всѣмъ блины, кисель и пиво!

— Вы говорили, — сказалъ Зоринъ, — что Лиза передъ смертью вспоминала обо мнѣ.

— Говорила, какъ же. Вспоминала не разъ. Мало я ее поняла. Чудно что-то говорила, что вы ангелъ, что вы одни ее понимали; всего и не припомнить.

— Да, скажите, — спросилъ Петръ Дмитріевичъ, послѣ большого молчанія, — какъ она къ вамъ попала?

— Подруга ея Танька отъ Панкратихи привела. Панкратиха — это тоже барышень держать.

— Не знаете-ли, гдѣ живетъ эта Танька?

— Слышала, что въ больницѣ померши. Вы про эти дѣла меня не спрашивайте! Ничего я не знаю.

Зоринъ вышелъ на улицу и глубоко вздохнулъ. Было совсѣмъ темно. Туманъ сгустился и покрылъ улицы толстою непроницаемою сырою пеленою. Петръ Дмитріевичъ дошелъ до Невскаго проспекта. Высокіе дома терялись въ туманѣ.

Сквозь бѣлесоватую сѣрую мглу кое-гдѣ тусклыми, желтыми пятнами мелькали освѣщенные окна. Огни фонарей окружали яркія кольца, переливавшіяся всѣми цвѣтами радуги. Мокрыя панели отражали свѣтъ, падавшій изъ освѣщенныхъ магазиновъ. Длинные полосы рельсъ конно-жельзной дороги бестѣли своей холодною сталью. Моросилъ дождикъ. Въ темнотѣ раздавались отрывочные звонки конокъ и удары копытъ лошадей о мостовую. Экипажи, теряя свои очертанія, какъ призраки, двигались по безконечному проспекту. Туманъ становился все гуще. Люди, укутанные въ лосняшіяся отъ дождя одежды, спѣша, перегоняли другъ друга. Всѣ эти темныя фігury, безъ видимыхъ лицъ похожія другъ на друга, мелькали передъ глазами Зорина, казались ему бѣжавшими тѣнями. Онѣ исчезали въ сырой мглѣ, на мѣсто ихъ появлялись другія и тоже скрывались въ глубокомъ туманѣ.

Шумъ колесъ громоздскаго экипажа съ ярко блестящими электрическими фонарями, громкій окрикъ: „берегись“ заставилъ Зорина вздрогнуть; онъ увидѣлъ, что незамѣтно дошелъ до набережной Невы. Здѣсь была полная тишина. Изрѣдка лишь слышался плескъ воды о гранитную набережную. Широко раскрывъ глаза, Зоринъ сталъ со страхомъ смотрѣть на раскрывшуюся передъ нимъ черную бездну рѣки; небо свинцовымъ тяжелымъ покровомъ сливалось съ водою.

Издали раздавались мѣрные звуки курантовъ на Петропавловскомъ соборѣ. Эти звуки уныло звенѣли и замирали въ зловѣщей тишинѣ. Нервы Зорина были напряжены. Онъ искалъ поддержки, ему хотѣлось высказаться, передать кому-нибудь все то, что онъ пережилъ въ этотъ день; одиночество казалось ему невыносимымъ. Послѣ недолгаго размышленія, онъ рѣшилъ навѣстить своего знакомаго Василя Гавриловича Дубова, человѣка несообщительнаго, угрюмаго, но относившагося къ нему дружелюбно и всегла готоваго придти на помощь въ трудную минуту.

IV.

Зоринъ засталъ Василя Гавриловича за роялемъ. Увидѣвъ Петра Дмитріевича, Дубовъ болѣзненно улынулся однимъ угломъ рта и, привычнымъ ему движеніемъ, откинулъ прядь волосъ, свисавшую упрямо ему на лобъ.

— Очень радъ тебя видѣть,—сказалъ онъ, положивъ руку на плечо Зорина.

— Я къ тебѣ ночевать, если не прогонишь. Дома одному жутко. Прислуга отпросилась со двора. Квартира пустая, большая, нервы расшатались.

— Да, Петя, видь у тебя неважный. Садись, чаю хочешь?

— Нѣтъ, спасибо.

— Я самъ сегодня,—замѣтилъ Дубовъ,—чувствую себя не хорошо. Скорбь, тоска щемить душу. Хотѣлось бы мнѣ излить ее въ звукахъ, но не въ силахъ выразить эту глубину и злюсь. Сердце ноетъ, болитъ; хотѣлось бы эту скорбь выразить такъ, чтобы она передалась другимъ, чтобы другіе познали эту тоску и поняли то, что я испытываю.

— Зачѣмъ?..—спросилъ Зоринъ и грустно взглянулъ на своего пріятеля.—Чтобы доставить другимъ тяжелыя минуты? Ихъ такъ много въ жизни.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты не понимаешь меня... И въ скорби есть отрада, она возвышаетъ душу, будить въ ней хорошія, внушаетъ свѣтлыя мысли. Послушай, Петя!

Дубовъ взялъ Зорина за руки и посмотрѣлъ на него своими вдумчивыми, добрыми глазами.

— Ты меня поймешь,—сказалъ онъ упавшимъ голосомъ.— Я нахожу наслажденіе въ страданіяхъ. Моя мечта изобразить людскую скорбь, скорбь міровую, такъ, чтобы она стала близка, понятна каждому. Боже, какъ жизнь наша мелка и кругомъ все уныло и пошло! Гдѣ взять силы, чтобы схватить толпу и оторвать отъ пошлости?—Дубовъ схватился руками за голову.—Подумаешь, я въ бреду? схожу съума, говорю бессмыслицу? Можетъ быть. Мозгъ мой не такъ работаетъ, какъ слѣдуетъ, но повѣрь, когда забываешь праздную сутолоку, углубляешься въ свои мысли, находить какая-то истома, начинаешь болѣть душой и вмѣстѣ съ тѣмъ испытывать чувство удовлетворенія. Сознаешь, что „такъ надо“. Я люблю это чувство. Самъ весь надрываешься, сердце ноетъ, щемитъ, а мысли несутся далеко, далеко отъ нашей жизни. Я знаю, что это не хорошо. Надо избѣгать такого настроенія, оно можетъ доводить до полного отреченія отъ реальности, но ничего не подѣлаешь, слишкомъ сильно захватываетъ состояніе печали и грусти...

Зоринъ сидѣлъ рядомъ съ Дубовымъ и смотрѣлъ на чрезмѣрно расширенные зрачки его глазъ.

— Вася,—прервалъ молчаніе Петръ Дмитриевичъ.— Я вижу, въ какомъ ты теперь настроеніи. Скажи мнѣ, вѣришь ли ты, что послѣ смерти наступитъ другая, новая жизнь?

— Да, вѣрю, конечно,—отвѣтилъ Вася, и голосъ его задрожалъ.

— Счастливый! для меня это недоступно. Сегодня мнѣ пришлось быть на одной панихидѣ. Слезы душили меня, я чувствовалъ во всемъ томъ, что происходило вокругъ меня, что-то страшное, таинственное, но, взглянувъ въ лицо покойницы, я понималъ, что для нея все кончено. Мозгъ въ мертвой

головѣ остылъ, пересталъ работать, жизненная энергія изсякла, а съ ней умерла и душа.

Вася схватилъ Зорина за руки и громко закричалъ:

— Замолчи! Не говори такъ, ради Бога. Ты самъ скоро убѣдишься въ своей ошибкѣ и увидишь, что былъ неправъ.

Дубовъ замолчалъ и безпомощно закинулъ голову на спинку дивана.

— Я боленъ, усталъ,—сказалъ онъ, почувствовавъ упадокъ силъ.—Прости, Петя. — И онъ закрылъ глаза.

— Душа —наболѣвшая душа, которая за всѣхъ скорбитъ, молить о пощадѣ, та живетъ и не умираетъ,—проговорилъ Дубовъ.—Мысли и чувства двѣ различныя вещи, которыя нельзя подводить подъ одинъ итогъ.—Ты сегодня былъ на панихидѣ?—спросилъ Дубовъ, обратившись къ Зорину послѣ продолжительнаго молчанія.

— Да, былъ. Лиза Ивановская скончалась. Помнишь, я про нее рассказывалъ. Умерла она въ трущобѣ, одна, въ страшной обстановкѣ. Ужасно!

— Ты давно не видѣлъ ее передъ смертью?

— Года два тому назадъ она написала о томъ, что мать ее хотѣла выдать замужъ за арендатора. Затѣмъ разъ прѣзжала ко мнѣ въ Петербургъ просить денегъ, ей нужно было внести проценты за имѣніе. Я былъ тогда весь поглощенъ азартной игрой; обѣщалъ исполнить ея просьбу, но въ тотъ же день проигралъ все, что у меня было. Она уѣхала опять въ деревню. Я разъ какъ-то получилъ отъ нея письмо, на которое и не обратилъ вниманія. Она писала, что мать ея умерла, имѣніе перешло за долги въ чужія руки. О себѣ же—ни слова...

— Странно, странно.—замѣтилъ Дубовъ и недружелюбно посмотрѣлъ на Петра Дмитриевича.

— Ты отвѣтилъ ей на письмо?

— Нѣтъ...

Вася схватился за голову и точно застоналъ.

— Сколько зла, сколько зла,—проговорилъ онъ хриплымъ голосомъ.—Мы не хотимъ понять, что это ужасно; что причиной этого зла—мы сами! Оно происходитъ отъ того, что мы себя слишкомъ любимъ, дорожимъ своимъ спокойствіемъ, жалѣемъ свои нервы, избѣгаемъ общенія, дружбы, остаемся равнодушными къ горю другихъ. Не хорошо это, Петя, ахъ, какъ плохо!

Вася подошелъ къ окну, приставилъ лобъ къ холодному стеклу и сталъ смотрѣть на улицу. Костлявыя его плечи судорожно вздрагивали.

V.

На слѣдующій день Зоринъ всталъ поздно. Васи уже не было дома.

Въ его комнатѣ чувствовалась давящая тоска. Двѣ бѣлыя мыши въ клѣткѣ, стоявшей на подоконникѣ, грызли орѣховую скорлупу. Какая-то птица неизвѣстной породы съ длинной шеей, висѣвшая высоко надъ окномъ, прыгала съ жердочки на жердочку и чистила свой крѣпкій клювъ о рѣшетку клѣтки.

При видѣ неубранной постели съ помятымъ бѣльемъ, таза съ мыльной водой, ведра отъ умывальника, Зоринъ брезгливо поморщился, поспѣшилъ одѣться и выдти изъ квартиры Дубова.

Взявъ извозчика, онъ поѣхалъ на Волково кладбище. Дорога была вся въ рытвинахъ, ухабахъ.

Несколотый, грязный ледъ, перемѣшанный съ пескомъ, обнаженные булыжники на мостовой визжали подъ полозьями саней.

Лилъ сильный дождь.

Остановившись у воротъ кладбища, Зоринъ вошелъ въ большой соборъ.

Обѣдня тамъ уже кончилась. Знакомыхъ лицъ, видѣнныхъ Зоринымъ на панихидѣ по Лизѣ, никого не было. Посреди церкви стояло три желтыхъ закрытыхъ гроба, и около нихъ небольшая толпа.

Зоринъ машинально перекрестился, поднялъ глаза и увидѣлъ въ куполѣ храма три поблекшія картины: „Воскресенія Лазаря“, „Воскресенія дочери Таира“ и „Воскресенія Христа“.

Образъ Спасителя съ свѣтлымъ ликомъ, хоругвью въ рукахъ эмблемой торжества победы надъ смертью,—подѣйствовалъ на Зорина успокоительно.

Кто-то осторожно дернулъ его за рукавъ. Петръ Дмитриевичъ обернулся и увидалъ Соню—дѣвушку, живущую у „мадамъ“.

— Я думала, вы уже не придете, — сказала она ему. — Ее понесли хоронить. Ступайте скорѣе, а то не застанете.

Соня поспѣшила къ выходу и быстро пошла по мосткамъ кладбища, подобравъ рукой длинное платье; Зоринъ послѣдовалъ за ней. Дождь не переставалъ и падалъ крупными каплями. Холодный вѣтеръ рѣзко свистѣлъ въ оголенныхъ вѣтвяхъ высокихъ березъ и надрывался пригибать ихъ и ломать. Зоринъ быстро шелъ мимо нагроможденныхъ памят-

никовъ, чугунныхъ рѣшетокъ, крестовъ и часовень, не замѣчая, какъ дождикъ хлесталъ его по лицу, мочилъ грудь, спину, забирался за воротникъ.

Дойдя почти до конца кладбища, огороженнаго сѣрымъ заборомъ, онъ услыхалъ пѣніе нѣсколькихъ голосовъ.

У молодой березки съ поломанной верхушкой столпилась кучка народа. Здѣсь Петръ Дмитріевичъ увидалъ хозяйку, старичка, который раздавалъ на панихидѣ свѣчи, двухъ дѣвушекъ въ кофтахъ, отдѣланныхъ поддѣльнымъ барашкомъ, и мужскую бородатую личность въ высокихъ калошахъ. Священникъ въ ризѣ, съ кадиломъ въ рукахъ стоялъ высоко на бугрѣ вырытой могилы. Зоринъ пробрался къ ней. Внизу, среди зеленыхъ вѣтокъ ельника, покоился глазетовый гробъ съ золотымъ крестомъ.

Всѣ присутствовавшіе начали бросать въ него землю. Мерзлые комья съ глухимъ шумомъ падали на крышку гроба, рассыпаясь, покрывали грязью его свѣтлый глазеть. Зоринъ поднималъ комокъ глины и также бросилъ его на гробъ Лизы.

Могильщики взялись за заступы, убрали вѣтки ельника. Вырытая яма стала сразу холодной, черной. Подъ гробомъ показалась вода; липкая грязь ложилась все гуще на глазеть и закрыла его совсѣмъ.

Надъ гробомъ началъ возвышаться небольшой холмикъ земли. Толпа все еще стояла у могилы и не расходилась. Всѣ какъ будто бы ждали чего-то, никто не рѣшался отойти первымъ отъ холмика, похоронившаго человѣка.

— Вы зайдете къ намъ?—спросила Соня Зорина.

— Нѣтъ, — глухо отвѣтилъ онъ, не отрывая глазъ отъ могилы.

— Приходите, вы такой хорошій, добрый.

Она посмотрѣла на него красными отъ слезъ глазами. Зоринъ вздохнулъ; въ этой погибшей женщинѣ онъ увидѣлъ человѣка, и ему стало еще тяжелѣе на душѣ.

— Какъ-нибудь въ другой разъ. Теперь мнѣ надо на службу,—сказалъ онъ.

Пройдя рядъ старухъ, похожихъ на черныхъ воронъ, Зоринъ вышелъ за ограду кладбища.

Дождь все еще лилъ, и вѣтеръ не утихалъ. Петръ Дмитріевичъ не нашелъ ни одного извозчика; ему пришлось идти пѣшкомъ. Улица была грязная, немощеная. На ней стояли лужи и озера съ журчащей мутной водой. По бокамъ тянулись безконечные заборы, огороды съ торчащими на грядахъ прошлогодними кочерыжками и бѣлѣвшимъ между ними талымъ снѣгомъ.

Небольшія будки, лавченки, въ которыхъ продавались

кресты, вѣнки изъ иммортелей, еловыхъ вѣтокъ и стружекъ, едва виднѣлись сквозь дождевую завѣсу. Висѣвшіе на двѣряхъ лавокъ вѣнки и гирлянды раскачивались отъ вѣтра, срываясь со своихъ мѣстъ.

Зоринъ ускорилъ шаги и незамѣтно дошелъ до Обводнаго канала. Каналъ былъ загроможденъ барками, изъ которыхъ выкачивалась мутная, грязная вода; на покатыхъ берегахъ, покрытыхъ талымъ снѣгомъ, двигались тяжелые возы ломовиковъ, оглушительно гремя по мостовой, впереди чернѣли закопченные фабрики и заводы съ высокими трубами, битыми почервѣвшими стеклами въ окнахъ, а инныя краснобагровыми отъ огня, горѣвшаго въ горнахъ адскими кострами. На душѣ Зорина было скверно. Его тянуло скорѣй къ обычной обстановкѣ.

Взявъ перваго попавшагося извозчика, онъ сѣлъ въ закрытую пролетку и вздохнулъ съ облегченіемъ.

Черезъ часъ—усталый, разбитый, онъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ, читалъ газеты и пилъ кофе. Печатные столбцы газеты, пахнувшей еще типографской краской, производили на него успокаивающее дѣйствіе. Пробѣгая ихъ, онъ испытывалъ полное наслажденіе.

— Точно добивался того, чтобы расшатать свои нервы!—подумалъ онъ.—Надо взять себя въ руки и войти въ обычную колею. Для чего добровольно устроилъ я себѣ это зрѣлище?—не понимаю, кому нужно было мое присутствіе на похоронахъ Лизы? Сантиментальность одна, отъ которой до сихъ поръ не могу отрѣшиться. Ничего нѣтъ легче, какъ настроить себя на извѣстный минорный ладъ. Васька Дубовъ это любитъ. Онъ скоро съ ума сойдетъ.

Зоринъ прилегъ на диванъ и, скомкавъ газеты, бросилъ ихъ на полъ.

Весь день онъ провелъ дома и чувствовалъ себя отлично.

Сперва занялся корреспонденціей, потомъ велъ длинныя переговоры съ пріѣхавшимъ изъ деревни управляющимъ, который привезъ ему арендныя деньги. Вмѣстѣ съ нимъ онъ строилъ планы о постройкѣ новаго крахмального завода, писалъ смѣты и высчитывалъ заранѣе доходы съ предполагаемаго предпріятія.

Вечеромъ Петра Дмитріевича навѣстили два сослуживца. Они принесли ему самыя послѣднія новости, сообщивъ о томъ, что одинъ изъ директоровъ банка проигралъ на биржѣ болѣе милліона, а другой сошелся съ балетной корифейкой. Передъ своимъ уходомъ коллеги сильно упрашивали Зорина отправиться съ ними въ оперетку, но тотъ отказался наот-

рѣзъ, такъ какъ не желалъ нарушать блаженное состояніе, въ которомъ находился у себя дома.

Сослуживцы, весело смѣясь и рассказывая на ходу пошлые анекдоты, удалились.

Зоринъ остался одинъ.

Побродивъ взадъ и впередъ по кабинету, Петръ Дмитріевичъ подошелъ къ книжному шкафу, порылся въ немъ и, не найдя ничего подходящаго для чтенія въ эту минуту, взялъ первый попавшійся подъ руку альманахъ Гревэна и сталъ разсматривать въ немъ знакомые ему рисунки. Каррикатуры извѣстнаго художника, похожія на телеграфные значки, недодѣланныя, недосказанныя, хотя и набросанныя съ извѣстнымъ французскимъ шикомъ, успѣли ему надоесть. Подписи подъ картинками показались приторно поплыми. Зоринъ бросилъ альбомы на столъ и сталъ опять ходить по амфиладѣ комнатъ. Гостиная была освѣщена одной лампой съ матовымъ голубымъ абажуромъ, кабинетъ оставался въ полумракѣ, такъ какъ свѣтъ проходилъ въ него черезъ двери и ложился полосой по паркету.

Квартира Зорина не была еще убрана по зимнему. На полахъ недоставало ковровъ, на окнахъ—драпировокъ. Безъ своихъ обычныхъ украшеній они казались открытыми черными пастями. Мебель—вся въ бѣлыхъ чехлахъ—походила на прижавшіеся къ стѣнѣ уродливые призраки, которые можетъ создать одна лишь дѣтская фантазія.

Переходя изъ одной комнаты въ другую, Зоринъ снова предался мрачнымъ мыслямъ, навѣянному одиночествомъ. Часы мѣрно тикали. Въ окна барабанилъ дождикъ. На кухнѣ мяукала кошка, и слышно было, какъ вода монотонно капала изъ крана.

— Тоска!—промолвилъ Зоринъ и легъ на диванъ, желая подремать, забыться. Но это ему не удавалось. Лишь только онъ закрывалъ глаза, какъ ему снова слышалось погребальное пѣніе, и онъ вдыхалъ въ себя ладанъ и запахъ тлѣющихъ восковыхъ свѣчей.

— Опять, опять, все тоже самое, — сказалъ онъ вслухъ, крѣпко сжимая себѣ голову руками. Его преслѣдовали грустный раздражающій душу напѣвъ „со святыми упокой“, глухой шумъ земли, падавшей на крышку гроба, свистъ и завыванье вѣтра въ вѣтвяхъ погнившихъ, костлявыхъ березъ на кладбищѣ.—Ахъ, если бы я могъ забыть, все забыть...—подумалъ Зоринъ съ тоской и беспомощно опустилъ голову на подушку дивана...

VI.

Въ кабинетѣ слышался шорохъ. Зоринъ сразу почувствовалъ присутствіе человѣка и побоялся двинуться съ мѣста.

— Кто тамъ?—спросилъ онъ.

Молчаніе.

— Кто тамъ? — повторилъ онъ болѣе громкимъ голосомъ и, взявъ въ руки свѣчку, направился въ кабинетъ. У стола сидѣла къ нему спиной дѣвушка, одѣтая въ кофту, подпоясанную желтымъ, широкимъ ремнемъ.

— Вамъ что нужно? — спросилъ Петръ Дмитриевичъ. Дѣвушка повернулась къ нему лицомъ и грустно улыбнулась. Въ ней онъ узналъ Лизу; но это была не та Лиза, которую онъ видѣлъ на панихидѣ — блѣдную, съ искаженными чертами лица; это была Лиза, какую онъ помнилъ въ деревнѣ — живая, отзывчивая и любящая.

— Лиза! — едва могъ выговорить Зоринъ и чуть не выронилъ изъ рукъ подсвѣчника. Онъ чувствовалъ, что почва ускользаетъ изъ-подъ его ногъ и съ нимъ происходитъ страшная перемѣна.

— Ты не ждалъ меня? — тихо, едва внятно прошептала дѣвушка, — видишь, я пришла.

Зоринъ закрылъ глаза и думалъ, что, когда ихъ снова откроетъ, то видѣніе сразу исчезнетъ... Но, нѣтъ — Лиза попрежнему сидѣла съ опущенной головой и грустно улыбалась.

— Ты думалъ, я умерла. Нѣтъ, я все еще жива. Теперь мнѣ легко. Я очень страдала... тамъ, на Лиговкѣ.

Свѣча догорѣла, вспыхнула бумага, которой былъ обернутъ конецъ огарка. По стѣнѣ пробѣжали длинныя тѣни. Щеки дѣвушки покрылись легкимъ румянцемъ.

— Хорошо мнѣ теперь, — сказала она едва слышно. — Въ церкви, на кладбищѣ ты молился за меня?

— Да, — отвѣтилъ Зоринъ и почувствовалъ, что что-то стало сжимать ему горло.

— Это хорошо. Ты въ эти дни много думалъ обо мнѣ.

Лиза снова умолкла.

— Ты думаешь, — сказала она, — что передъ тобой сидитъ призракъ. Это видѣніе создалъ твой воспаленный мозгъ. Ты усталъ, разстроилъ себѣ нервы, и воображеніе твое вызвало мой образъ. Нѣтъ, не то, это не такъ!

— Но, Лиза, я былъ сегодня на твоихъ похоронахъ. Я видѣлъ твой гробъ, я своими глазами видѣлъ на панихидѣ твое мертвое лицо...

Лиза тихо простонала, изъ глазъ ея выкатились двѣ крупныя слезы.

— Тебѣ было жаль меня? Да?.. Не надо объ этомъ говорить. Для тебя я все такая же, какою ты зналъ меня раньше въ деревнѣ; а ту Лизку, на Лиговкѣ, въ грязи, которую били, унижали, водили пьяную въ участокъ, оскорбляли, ты не зналъ. Ты ее видѣлъ мертвую. Теперь я для тебя живая Лиза. Она по-прежнему любить тебя. Ты помнишь, какъ хорошо было, когда она приходила къ тебѣ, съ жадностью слушала все, что ты говорилъ. У нея въ то время сердце сильно билось. Она скрывала свои чувства... ты знать этого не хотѣлъ!

Лиза провела рукой по волосамъ Зорина и вытерла набѣжавшія слезы.

— Бѣдный Петя, какъ я тебя любила, и ты меня не хотѣлъ понять!

Петръ Дмитріевичъ чувствовалъ, какъ слезы подступали къ его горлу. Онъ боялся разрыдаться.

— Ты помнишь, Петя, когда я пріѣхала къ тебѣ просить денегъ... Ты отказалъ мнѣ.

— Не вспоминай. Зачѣмъ упреки? Я виноватъ; у меня были деньги; въ тотъ же день я ихъ проигралъ въ карты.

— Не упреки, нѣтъ! Ты самъ теперь думаешь объ этомъ. Я—твоя мысль! Ты самъ вызвалъ эти воспоминанія... Я твоя мысль! Мысль не можетъ умереть; ее нельзя глубоко закопать въ землю и придавить тяжелымъ камнемъ. Пока ты будешь думать обо мнѣ, я буду продолжать жить. Пойми самъ: развѣ можно уничтожить воспоминанія погребальными пѣснями и похороннымъ перезвономъ колоколовъ?

Лиза закинула назадъ голову и задумалась.

— Лиза,—замѣтилъ Зоринъ,—я вижу самъ: ты живой человекъ, скажи мнѣ, откуда ты?

— Этого ты не долженъ знать. До моей личной жизни тебѣ дѣла нѣтъ. Человекъ живетъ для другого постольку, поскольку онъ его любить и помнить его. Личная жизнь человека ничто! Всѣ мы живы, пока мы любимъ и помнимъ, и жалѣемъ другъ друга; нѣтъ заботъ, нѣтъ любви, жизни нѣтъ—все кругомъ мертво и пусто!

Лиза своими скорбными глазами посмотрѣла на Зорина.

— Да,—продолжала она.—Послѣ твоего отъѣзда изъ деревни ты ни разу не вспомнилъ обо мнѣ. Задолго до моей смерти для тебя я не была живымъ человекомъ; только похороны бѣдной Лизки воскресили въ тебѣ воспоминанія о прошломъ, забытомъ, хорошемъ! Я снова стала жить! Помни, забывать легче, чѣмъ вспомнить человека. Сегодня вся эта буря, похороны заставили тебя пережить тяжелыя минуты.

Ты невольно вспомнилъ меня. Теперь этого не будетъ. Я скоро угасну въ твоёмъ воображеніи, какъ эта искра.

Лиза посмотрѣла на тлѣющую искорку потухшей свѣчи. Въ комнатѣ было темно. Въ окнахъ загорался день. На блѣдно-лиловатомъ фонѣ зари обрисовался темный силуэтъ Лизиной фигуры.

— Прощай, Петя,—сказала она.—Ты усталъ сегодня. Спасибо тебѣ,—сказала она и встала со своего мѣста.

— Подожди,—остановилъ ее Зоринъ и схватилъ за руку.— Побудь немного со мной.

— Нельзя, Петя, приду къ тебѣ въ другой разъ. Ты позовешь меня, и я приду. Теперь никто намъ не помѣшаетъ. Прощай!

Зоринъ проснулся...

Въ полутемной комнатѣ, едва освѣщенной окнами, въ которыхъ чуть брезжило утро, никого не было.

Лиза исчезла. Съ тяжелою головой Зоринъ поднялся съ постели, подошелъ къ оконной рамѣ и прислонилъ лобъ къ холодному стеклу.

Воздухъ былъ прозрачный. Небо чисто. На немъ виднѣлись еще потухающія звѣздочки. На горизонтѣ виднѣлась ясная золотая полоска. Выпавшій за ночь снѣгъ покрылъ мостовую и крыши. Улицы стали чисты. Морозъ сковалъ всю грязь и лужи. Издали раздавался благовѣстъ церковнаго колокола.

Небо свѣтлѣло. Звѣзды потухли, яркая желтая полоса ширѣла, расплывалась по всему небу, освѣщая облака ясными пятнами; деревья, стоявшія за заборомъ противоположнаго дома, заблестѣли своими посеребренными верхушками.

— Ей теперь хорошо!—подумалъ Зоринъ и отошелъ отъ окна.

VII.

Прошло два года. Зоринъ забылъ Лизу, и она къ нему ни разу не приходила...

Наступила весна. Петру Дмитріевичу пришлось какъ то присутствовать на похоронахъ одного виднаго общественнаго дѣятеля. Похороны были торжественныя. Передъ открытой могилой читались стихи и произносились слезныя рѣчи представителями адвокатуры и прессы. Зоринъ усталъ стоять въ толпѣ. Банальныя рѣчи, вся эта торжественность вызвали въ немъ непріятное чувство. Вдыхая легкій весенній воздухъ, онъ отошелъ въ сторону и сталъ ходить по мосткамъ между старинными памятниками. Солнце играло на

молодой листвѣ распустившихся деревьевъ. Пахло прѣлымъ листомъ и смолистой почкой. Легкія тѣни скользили по мраморнымъ памятникамъ.

Зоринъ незамѣтно дошелъ до конца кладбища. Около сѣренькаго покривившагося забора, подъ сломанной березкой съ распускающимися свѣжими изумрудными листиками стоялъ почернѣвшій крестъ... Дожди смыли на немъ надпись. На немъ съ трудомъ можно было прочесть имя Елизаветы. Могила, видимо, никѣмъ не посѣщалась. Ее забыли.

Зоринъ остановился передъ небольшимъ холмикомъ и прошепталъ:

— Она умерла теперь.

А въ это время кругомъ него все оживало подъ теплыми лучами весенняго солнца.

Ему не хотѣлось вѣрить въ смерть.

Ал. Худеновъ.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

С Т Ъ Н А.

Передъ окномъ моимъ стѣна,
Она всегда бросаетъ тѣнь...
Лишь рано-рано въ яркій день,
На мигъ одинъ озарена,
Привѣтъ весны мнѣ шлетъ она.

Взошла ли тихая луна,
Сплелись ли звѣзды въ хороводъ,
Иль ночь, скрывая небосводъ,
Какъ глубь могильная черна,—
Молчитъ холодная стѣна.

И грудь моя тоской полна:
Увижу-ль я когда-нибудь
Счастливый день, свободный путь,
Иль будетъ жизнь всегда темна,
Какъ эта мертвая стѣна?!

А. Лукьяновъ.

СТАРЫЙ ПРОФЕССОРЪ.

I.

Утромъ дулъ сильный вѣтеръ. Онъ принесъ съ собою откуда-то много снѣгу, наваливалъ сугробъ за сугробомъ, залѣплялъ окна, метался съ визгомъ по крышамъ, точно хотѣлъ какъ можно скорѣе освободиться отъ снѣжныхъ хлопьевъ и летѣть дальше. Къ вечеру онъ улетѣлъ, и въ мягкихъ сумеркахъ плавно разливался невестревоженный вѣтромъ колокольный звонъ. Звонили къ вечернѣ. Кое-гдѣ зажигали лампы, и въ маленькомъ домикѣ за низкой рѣшетчатой оградой противъ церкви, въ квартирѣ профессора, тоже блеснулъ огонекъ. Старый профессоръ не любилъ сумерекъ, и въ его маленькой квартирѣ зажигали лампы рано, не дожидаясь прихода вечерней темноты. Въ сумерки, когда хоронились по угламъ вечернія тѣни, а потомъ, словно крадучись, расползались по всей квартирѣ, профессору становилось жутко. Унылый вечерній звонъ, огни свѣчей и лампадъ, бросавшихъ на запотѣлыя окна церкви вмѣстѣ съ тѣнями молящихся колыхавшійся отблескъ, наводили его на мысли объ иномъ, близкомъ ему, но невѣдомомъ мірѣ. Онъ торопился тогда запоздавшую прислугу, зажигались лампы, а въ столовой появлялся кипѣвшій самоваръ. Струйки пара весело убѣгали подъ матовый колпакъ большой висячей лампы, и привѣтливый шумъ, доносившійся въ кабинетъ, успокаивалъ профессора, какъ будто въ столовой находилось какое-то близкое ему существо. Въ это время профессоръ садился за работу. Это была, впрочемъ, уже не та кипучая, увлекательная работа, за которой просиживались раньше и ночи, и дни. Профессоръ доставалъ пожелтѣвшіе отъ времени листы бумаги, исписанные еще бодрымъ увѣреннымъ почеркомъ, надѣвалъ очки и принимался читать. Яркій свѣтъ лампы уже давно разогналъ вечернія тѣни, и какъ-то особенно привѣтливо шумѣлъ въ столовой самоваръ, но профессоръ, склонясь надъ листками, хмурился и временами недовольно

качалъ головой, какъ будто сомнѣвался въ томъ, что говорили ему эти пожелтѣвшіе листки. Профессору казалось, что въ нихъ стала сомнѣваться и та небольшая аудитория, которая съ годами замѣтно рѣдѣла у него на глазахъ.

Проходя мимо чужихъ аудиторій, гдѣ толпились студенты въ ожиданіи лекцій, профессоръ слушалъ гулъ молодыхъ голосовъ, и онъ казался ему побѣднымъ гуломъ науки; и что-то грозное, насмѣшливое слышалось профессору въ этомъ гулѣ, и онъ торопливо шагаль мимо раскрытыхъ дверей, словно боялся, что изъ этого гула вдругъ выдѣлится беспощадное слово и ѣдкой насмѣшкой раскатится ему въ догонку подъ сводомъ низкаго корридора... А въ эти двери входили жрецы аудиторіи, молодые, самоувѣренные; для нихъ, казалось, не было ничего труднаго, таинственнаго. Наука послушно сбрасывала передъ ними таинственную завѣсу, и вмѣстѣ съ ними проникали въ это неизвѣстное, блестя жаждой знанія, сотни молодыхъ глазъ. Темно и душно было въ длинномъ низкомъ корридорѣ, а трупный запахъ, доносившійся изъ анатомическаго театра, смѣшанный съ запахомъ карболовой кислоты, вызывалъ въ груди тоскливое ощущеніе, вытѣсняя оттуда остатки свѣжаго воздуха, принесеннаго съ улицы.

Аудитория профессора была въ концѣ корридора. Маленькая и низкая, съ длинными партами и массивнымъ дубовымъ кресломъ на возвышеніи, она была похожа на гимназическій классъ, и профессору иногда казалось, что ему было бы лучше преподавать здѣсь латинскій языкъ. Да, теперь это было бы лучше... И вспомнивъ о томъ, что завтра ему опять нужно проходить мрачнымъ корридоромъ въ свою аудиторию, снова дышать тяжелымъ воздухомъ, профессоръ сложилъ листки и откинулся на спинку кресла. Да, нужно идти и завтра, и послѣзавтра до конца недолгихъ дней. И какъ ни мрачна была аудитория, ему казалось, что эти недолгіе дни живутъ тамъ въ аудиторіи, а не будетъ ея, не будетъ и этихъ дней. Будутъ сумерки, будетъ долгая ночь и страшно было думать объ этой долгой одинокой ночи.

Въ открытую форточку было слышно, какъ гдѣ-то недалеко звонила конка. Отблескъ огней въ церковныхъ окнахъ становился слабѣй, пропали тѣни молящихся. Гулко стукнулъ съ силой вдвинутый желѣзный засовъ, и гдѣ-то внутри церкви среди потухавшихъ огней робко замигала розоватымъ свѣтомъ лампада. Въ столовой пробили торопливо тоненькими ударами часы и тутъ же въ кабинетѣ, словно укоряя ихъ въ легкомысленной поспѣшности, медленно отчеканили свои удары солидные часы въ продолговатомъ футлярѣ, и маятникъ, казалось, одобрительно соглашался съ ними и

говорилъ: „вотъ такъ, вотъ такъ“... Самоваръ пересталъ посылать струйки пара подъ матовый колпакъ, онъ словно къ чему-то прислушивался, можетъ быть, ждалъ отвѣта на свою монотонную пѣсню, такъ нравившуюся профессору. А профессоръ думалъ. Онъ весь отдался воспоминаніямъ. Казалось, что сумеречныя тѣни, таившіяся по угламъ, охватили его и понесли куда-то далеко, и ему было пріятно уйти отъ этого холода одиночества, и хоть издали погрѣться у того огня, избытокъ котораго прежде онъ не зналъ, куда дѣвать. И страннымъ образомъ, ярче всего ему представлялась рѣка, городъ съ блестящими на солнцѣ главами церквей, пароходы, песчаная отмель, лодка и въ лодкѣ молодая дѣвушка въ бѣломъ платьѣ, такая же свѣтлая и радостная, какъ начинавшійся день. Отъ городскихъ пристаней отваливали пароходы. Они плавно двигались мимо нихъ полные народа. И въ это счастливое утро съ одного парохода кто-то долго махалъ имъ платкомъ, словно посылалъ привѣтъ молодому счастью. Какъ тогда было хорошо! Какъ хотѣлось кричать объ этомъ счастьѣ туда, черезъ рѣку, на окраину города, къ маленькому домику, утопавшему въ зелени, гдѣ онъ нашелъ это счастье. Какіе были планы, какъ онъ работалъ, съ какимъ нетерпѣніемъ ждалъ каникулъ. А тамъ опять солнце, лодка, рѣка... А потомъ? Потомъ стали находить тучи, стало тускло, пасмурно, но онъ этихъ тучъ не замѣчалъ, у него тамъ, въ большомъ городѣ было другое солнце, и ему было свѣтло и тепло за столомъ, уставленнымъ разными препаратами, гдѣ царилъ микроскопъ, открывавшій ему, мало-помалу, уголки неизвѣстнаго міра. Тучи сгущались, дѣлалось душно, рядомъ съ нимъ пустѣли рабочіе столики, убирались микроскопы и груды препаратовъ, какъ ненужный хламъ сваливались въ пыльные шкафы. „Работать, когда такъ темно и душно?“ Товарищи не понимали его, онъ не понималъ товарищей и продолжалъ работать. Онъ остался одинъ. Его замѣтили, и на праздникъ онъ ѣхалъ домой съ золотой медалью въ карманѣ. Онъ былъ счастливъ и такъ же сіялъ, какъ медаль, когда онъ вынималъ ее изъ кармана и любовался ею, вытирая надушеннымъ платкомъ замѣченную зоркимъ глазомъ пылинку. Онъ возмужалъ, его находили красивымъ. Молодость, красота, впереди научная карьера, и первый залогъ этой карьеры—золотая медаль... И когда онъ пришелъ къ милой дѣвушкѣ, его сердце стучало сильнѣе, точно и оно чувствовало близость медали, лежавшей въ карманѣ сюртука. Все было ясно. Научная командировка, поѣздка за границу, новыя страны, новые люди и они вдвоемъ среди большого чужого города. Дворцы, музеи, старинныя бібліотеки, все то, о чемъ они мечтали, было близко

къ осуществленію. И онъ увидалъ ее. Опыяненный своими успѣхами, онъ что-то говорилъ ей много и долго, а она съ затаенной грустью молчала, и когда онъ хотѣлъ показать ей медаль, она поглядѣла пристально на него и спросила: „А, тѣ, другіе... товарищи. . Гдѣ же они?“... Товарищи?.. Развѣ онъ сторожъ своимъ товарищамъ,—пробовалъ онъ отшугиться, но шутка вышла плохой. Онъ почувствовалъ, какъ вдругъ потянуло холодомъ, какъ отъ этого холода сжалось сердце и бросило ему въ лицо свою кровь, а когда онъ пришелъ домой, ему показалось, что сердце у него дѣйствительно похолодѣло и сдѣлалось тяжелымъ, какъ будто рядомъ съ нимъ лежала не золотая медаль, а кусокъ льда...

II.

Въ столовой гасла лампа, а ночь была такъ длинна. Профессоръ постучалъ въ полъ—прислуга жила внизу,—но почему-то долго никто не приходилъ. Лампа погасла и на мѣстѣ привѣтливой столовой съ кипѣвшимъ самоваромъ была темнота, ограниченная дверными косяками и было что-то тяжелое, угрожающее въ этой темнотѣ. Профессору вдругъ показалось, что тамъ кто то притаился и ждетъ только удобной минуты, чтобы войти въ кабинетъ. Онъ прибавилъ огня въ высокой лампѣ, освѣщавшей письменный столъ, потомъ что-то вспомнивъ, выдвинулъ боковой ящикъ. Тамъ хранились письма. Одно изъ нихъ онъ вынулъ и положилъ на столъ. Развертывая письмо, онъ выронилъ оттуда маленькій фотографическій снимокъ, пожелтѣвшій отъ времени. Безпредѣльная равнина, покрытая снѣгомъ, тусклое небо да кучка, прижавшихся другъ къ другу, избъ. Кое-гдѣ выбивавшійся изъ трубъ дымокъ говорилъ о томъ, что тутъ жили. Письмо, что лежало рядомъ съ фотографіей, пришло къ профессору черезъ два мѣсяца, наканунѣ его отъѣзда за границу. Онъ узналъ почеркъ, но не обрадовался; поглощенный работой, онъ уже давнымъ давно забылъ о милой дѣвушкѣ. Но его не забыли, въ немъ оказалась нужда. Его просили помочь, нужно было похлопотать перевезти одну большую куда-нибудь на югъ подальше отъ жгучихъ морозовъ. И какъ было нестать это письмо!.. Нужно было ѣхать, его дожидались интересные спутники и особенно спутница изъ богатой семьи, отправлявшейся на воды. Вернулся онъ изъ за границы уже съ женой и, разбирая бумаги, вспомнилъ о письмѣ. А тутъ освобождалась каюдра, пошли хлопоты о своемъ гнѣздѣ. Профессоръ надѣлъ очки и поднесъ ближе къ лампѣ фотографическій снимокъ. Онъ искалъ глазами хотѣ

какой-нибудь подробности, которая бы теперь сказала ему что-нибудь больше, чѣмъ листъ бумаги, полученный такъ давно, давно... Отъ напряженнаго вниманія что-то подвалило къ глазамъ, зазвенѣло въ ушахъ, глаза заслезились, передъ ними запрыгали темныя и свѣтлыя точки.

У профессора начиналось то ужасное состояніе, которое врачи опредѣляли страннымъ, ничего не объяснявшимъ названіемъ. Мелькавшія точки соединялись въ линіи, линіи ломались съ быстротой молніи и принимали самыя фантастическія очертанія. Порой онѣ сталкивались другъ съ другомъ и опять разсыпались въ груды блестящихъ, быстро потухавшихъ точекъ. Все кругомъ тонуло въ какомъ-то ѣдкомъ туманѣ: отъ него было больно глазамъ—и профессоръ долго вглядывался въ окружающіе предметы, какъ человѣкъ, очнувшійся послѣ тяжелаго сна. И когда отхлынулъ этотъ туманъ, профессору показалось, что онѣ спрятался въ темнотѣ столовой, что тамъ сейчасъ же нужно зажечь лампу, и тогда весь этотъ мракъ уйдетъ за окно въ темноту ночи. Онѣ отошелъ къ окну. На улицѣ кое-гдѣ мигали газовые огни. Трепетный свѣтъ и тѣни столбовъ, пересѣкавшія улицу, давали ей жизнь, и пустынная улица казалась живой. Когда начинались такія длинныя безсонныя ночи, профессоръ часто выходилъ изъ дому, бродилъ до разсвѣта по улицамъ и, утомленный ходьбой, потомъ засыпалъ недолгимъ, но крѣпкимъ сномъ. И сегодня мигавшіе огоньки, казалось, звали его къ себѣ. Откуда-то доносился слабый перезвонъ колоколовъ. Это звонили за рѣкой въ женскомъ монастырѣ, и профессоръ вспомнилъ, что завтра тамъ храмовой праздникъ и прислуга отпросилась въ монастырь къ заутрени и придетъ не скоро. Отойдя отъ окна, профессоръ легъ на диванъ. Въ спальню идти не хотѣлось; она выходила на дворъ, ея окно упиралось въ стѣну, а здѣсь за окномъ была всетаки улица, оживленная мерцавшимъ свѣтомъ фонарей. Сонъ не приходилъ къ профессору, и мысли одна за другой, какъ ленты телеграфнаго колеса, проползали въ его головѣ, требуя вниманія; профессоръ читалъ ихъ, и не было никакой возможности остановить это колесо. И только маятникъ, казалось, равнодушно отсчитывалъ эти мысли и готовъ былъ до самаго утра неизмѣнно твердить: „вотъ такъ, вотъ такъ“... Мысли приходили и уходили. Потомъ онѣ вдругъ куда-то пропали, но отъ этого не сдѣлалось легче; профессору казалось, что онѣ ушли ненадолго, какъ судьи въ совѣщательную комнату, чтобы снова вернуться и сказать что-то очень важное. Профессоръ ждалъ этого важнаго, боялся его и не могъ уснуть.

III.

Начиналось утро. Ночныя тѣни медленно, словно нехотя, уступали мѣсто тусклому сѣрому дню. Профессоръ спалъ. Его изжелта блѣдное, морщинистое, давно небритое лицо, казалось, застыло въ какомъ-то тоскливомъ ожиданіи, опухшія вѣки тяжело прикрывали глаза, а подъ ними виднѣлись слѣды недавнихъ, еще невысохшихъ слезъ.

Пришла, мягко шлепая босыми ногами, прислуга профессора, — кухарка, полная баба лѣтъ подь тридцать. Лицо у ней было заспанное, недовольное. Она мелькомъ взглянула на профессора, погасила лампу и ушла, захвативши изъ столовой самоваръ, съ тѣмъ же недовольнымъ выраженіемъ на лицѣ. Потомъ въ кабинетъ стали проникать тѣ же звуки, какими начинался и прошлый день. Звонила конка, стучалъ засовъ у церковныхъ дверей, слышалось недовольное взвизгиванье заржавленныхъ петель, словно тотъ, кто отворялъ, причинялъ имъ боль, и слышалась какая-то тупая покорность въ болѣзненно ноющихъ звукахъ, разносившихся съ колокольни надъ крышами домовъ. А въ той сторонѣ, гдѣ былъ вокзалъ, задорно свистѣлъ паровозъ, готовый умчать пассажировъ далеко отъ этого тусклаго зимняго утра. Бодро и весело прозвенѣли одинъ за другимъ удары часовъ въ столовой, а вслѣдъ за ними раздался меланхолическій, неторопливый звонъ солидныхъ часовъ, казалось, говорившихъ, что незачѣмъ торопиться, когда и сегодня все будетъ такъ же, какъ было вчера. Наступалъ день съ такими же заботами, и эти заботы сразу охватили профессора, какъ только онъ проснулся и увидалъ хмурое утро, глядѣвшее на него въ окно. Надо было вставать, садиться за чай и еще разъ просмотрѣть тетрадку, а потомъ идти... Ити той же улицей къ знакомому зданію, выросшему у него на глазахъ, и, подходя, думать о томъ, соберутся-ли слушатели, сколько ихъ будетъ сегодня, и какъ они будутъ глядѣть на стараго профессора, когда тотъ полѣзаетъ въ карманъ за такой же старой тетрадкой.

За чаемъ приносили газету. Чай показался профессору невкуснымъ, горькимъ, и онъ его пилъ только затѣмъ, чтобы прогнать начинавшуюся тошноту. Потомъ пришла кухарка, ей нужно было знать, что готовить, и кстати сказать, что подорожало мясо:

Съ первой страницы газеты лѣзли въ глаза объявленія въ жирныхъ траурныхъ рамкахъ. Одно изъ нихъ оповѣщало о прибытіи тѣла съ какого-то заграничнаго курорта и невольно являлась мысль, что въ одномъ изъ слѣдующихъ но-

меровъ газеты—черезъ годъ, черезъ два, а можетъ быть и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ—онъ, конечно, не прочтетъ этого номера—будетъ на первой страницѣ такая же рамка и въ этой рамкѣ столько же никому ненужныхъ строкъ. И также равнодушно, какъ онъ сейчасъ прочелъ объявленіе о прибытіи тѣла, прочтутъ другіе эти строчки о кончинѣ тайнаго совѣтника и кавалера. Будетъ сборъ между профессорами на вѣнокъ бывшему учителю, на поминкахъ кто-нибудь скажетъ рѣчь. Такъ ужъ всегда бываетъ, всегда въ такихъ случаяхъ находится ораторъ. Придутъ студенты... Въ ближайшемъ трактирѣ они продолжатъ поминки и будутъ качать кандидата на освободившееся мѣсто, его бывшаго ученика... Поставятъ крестъ, на крестѣ будутъ даты—годъ рожденія, смерти... И кто-нибудь, проходя, скажетъ тоже, что и онъ, случалось, говорилъ, проходя по кладбищу: „ничего—пожилъ... Дай, Богъ, всякому“!..

Со двора черезъ форточку доносилось кудахтанье. Это кухарка ловила курицу, а когда профессоръ выходилъ изъ дому, онъ увидалъ близъ помойной ямы ребятъ съ сѣднѣго двора. Они поймали курицу, перелетѣвшую на чужой дворъ, и сейчасъ стояли около кухарки и съ любопытствомъ глядѣли, какъ сочилась кровь изъ перерѣзаннаго горла курицы и какъ еще вздрагивала она въ предсмертныхъ судорогахъ подъ мышкой у кухарки. Теплая кровь капала на снѣгъ, отъ нея шелъ паръ, и профессору показалось, что сегодня у него не будетъ никакого аппетита, и лучше бы перейти на растительную пищу, если бы кухарка умѣла хорошо ее приготовить.

На углу, у фонарнаго столба профессоръ всегда нанималъ одного и того же извозчика. Извозчикъ зналъ привычку барина и останавливалъ лошадь у воротъ, не доѣзжая до параднаго крыльца подъѣзда. Профессоръ не любилъ подъѣзжать къ самому крыльцу, не любилъ потому, что тогда выбѣгалъ на подъѣздъ швейцаръ, отстегивалъ полость и осторожнымъ движеніемъ руки, словно дѣло шло о драгоценности, которая могла разбиться, помогалъ профессору вылѣзть изъ саней. И особенно непріятно это было еще потому, что и швейцару, такъ же, какъ и профессору, давно перевалило за шестьдесятъ.

Профессоръ входилъ въ прихожую, а изъ низенькой комнаты возлѣ двери навстрѣчу ему уже спѣшилъ швейцаръ и съ заботливостью старой няньки снималъ съ профессора шубу, калоши, отряхивалъ приставшія къ воротнику снѣжинки и, если профессора дожидались слушатели и ихъ было много, онъ съ доброй улыбкой сообщалъ профессору: „пожалуйте, заждались“!..

И по этой привѣтливой улыбкѣ, молодившей старое лицо, профессоръ зналъ, что его дѣйствительно ждуть слушатели, что онъ все еще профессоръ и можетъ быть покоенъ за сегодняшний день. Какъ легко онъ тогда подымался по лѣстницѣ изъ прихожей, какъ торопливо проходилъ корридоромъ, точно эти нѣсколько человѣкъ, ожидавшихъ въ аудиторіи, были его лучшими друзьями. И только у самой двери исчезало хорошее настроеніе и овладѣвала робость, проклятая робость, вплоть до самой каѳедры, до перваго звука этой спасительной фразы: „мы остановились въ прошлый разъ“...

Но сегодня напрасно искалъ профессоръ знакомой улыбки у стараго слуги. Швейцаръ глядѣлъ куда-то въ сторону, говорилъ про погоду, про свой застарѣлый ревматизмъ. И профессоръ стоялъ въ нерѣшительности у лѣстницы, кашлялъ и намѣренно долго свертывалъ кашню. Въ ближайшей къ лѣстницѣ аудиторіи, самой большой, были отворены двери. Оттуда доносился знакомый гулъ молодой толпы, ожидавшей своего властелина. Но вотъ пришелъ и онъ, мелькомъ взглянулъ на профессора, сбросилъ на ходу швейцару великолѣпную шинель и, расправивъ холеную бородку, зачесанные назадъ волосы, направился въ аудиторію. Двери затворились, и въ корридорѣ стало тихо, такъ тихо, что канарейка въ комнатѣ швейцара испугалась этой тишины и, вопросительно пискнувъ, перестала пѣть. И страннымъ образомъ, профессору вспомнилось, что вотъ также, бывало, онъ стоялъ, не зная, куда себя дѣть, въ прихожей передъ дверями театра, опоздавши купить билетъ, а мимо проходили счастливыцы съ ранѣ купленными билетами, и шелестъ платьевъ проходившихъ мимо него женщинъ, и звуки оркестра, доносившіеся заглушенной волной, казалось, насмѣшливо говорили ему: „опоздалъ, опоздалъ“... Да, опоздалъ... А этотъ молодой профессоръ, его ученикъ, когда-то заискивавшій передъ нимъ, даже не захотѣлъ узнать своего учителя. Впрочемъ, онъ такъ торопился, что могъ и не узнать... Мимо профессора прошмыгнули на лѣстницу трое запоздавшихъ студентовъ. Ему они показались знакомыми. Ихъ торопливые шаги замерли гдѣ-то въ глубинѣ корридора возлѣ аудиторіи профессора, и у профессора снова мелькнула надежда, что его, можетъ быть, ждуть, и нужно скорѣе идти. Онъ прошелъ корридоръ и такъ же робко, какъ и всегда, взялся за ручку двери. Аудиторія была пуста и вѣяло какой-то унылой грустью отъ одинокой каѳедры, отъ желтыхъ скамеекъ, напрасно поджидавшихъ слушателей. Возлѣ каѳедры стояла черная доска, также какъ и кафедра освѣщенная зимнимъ солнцемъ. На ней было что-то начерчено

мѣломъ, какая-то надпись, можетъ быть, оставшаяся нестертой отъ прошлой лекціи.

Никогда еще профессору не казалась такой грустной его аудиторія, и ему стало вдругъ жаль того человѣка, который приходилъ сюда, съ трепетомъ брался за ручку двери, садился на кафедру и вынималъ старую тетрадь... Было жаль и слушателей, и профессоръ понялъ ихъ молчаливый протестъ. Да, это былъ протестъ... Профессоръ перевелъ глаза на черную доску, и надпись на доскѣ сказала ему то, въ чемъ онъ не хотѣлъ себѣ признаться. Только это было грубо, очень грубо, и онъ этого не заслужилъ. Правда, онъ старъ, правда и то, что глухота его увеличивается съ каждымъ днемъ, онъ не можетъ изслѣдовать больныхъ. Правда, все правда... Но вѣдь только годъ, одинъ годъ и у него будетъ пенсія, онъ простится со своими слушателями и уступить мѣсто тому, другому, который на его могилѣ скажетъ такую хорошую рѣчь... Профессоръ вышелъ изъ аудиторіи. У него кружилась голова и опять что-то подступило къ глазамъ—такъ трудно было разбирать незнакомую руку на блесѣвшей отъ солнца доскѣ. Гулко стукнула дверь аудиторіи, захлопнувшаяся за профессоромъ, и ему показалось, что онъ уже гдѣ-то слышалъ такой гулкій стукъ, стукъ, говорившій о томъ, что все кончено. Такъ стучали на кладбищѣ комья мерзлой земли о крышку засыпавшагося гроба, когда онъ хоронилъ жену, послѣ долгой разлуки вернувшуюся домой съ моднаго курорта, гдѣ она спускала остатки когда-то большого состоянія... Голова кружилась, въ ушахъ звенѣло, а передъ глазами снова замелькали яркія линіи, корридоръ потонулъ въ какомъ-то зеленоватомъ туманѣ и въ этомъ туманѣ то вспыхивали, то потухали безчисленные огоньки, и профессору казалось, какъ чья-то рука играла этими огоньками и вытягивала ихъ въ такую же надпись, какую онъ только что прочелъ на доскѣ въ покинутой аудиторіи...

IV.

Профессоръ пришелъ въ себя. Онъ лежалъ въ „боковушкѣ“. Передъ нимъ сидѣлъ швейцаръ и отсчитывалъ капли изъ пузырька. У окна подъ потолкомъ чирикала канарейка. Здѣсь уже перебивали всѣ профессора. Они приставляли трубки, выслушивали „коллегу“, удивлялись такому глубокому обмороку. Потомъ они разошлись на лекціи по своимъ аудиторіямъ, когда убѣдились, что опасность миновала. Профессоръ боялся ихъ новаго визита, онъ попросилъ швейцара запереть дверь и говорить всѣмъ, что больной по-

правился и уѣхалъ домой. На столѣ кипѣлъ самоваръ и профессоръ казалось, что еще ни разу онъ не пилъ такого вкуснаго чая, и здѣсь у стараго швейцара въ его боковушкѣ съ канарейкой, пожалуй, было веселѣе, чѣмъ въ квартирѣ профессора. За окномъ на карнизѣ ворковали голуби, а дальше надъ грудой построекъ на фонѣ чистаго зимняго неба, чуть подернутаго голубой дымкой, блестѣлъ крестъ на высокой колокольнѣ. Была оттепель. По водосточной трубѣ журчала вода, по крышамъ ходили люди, сбрасывали снѣгъ, и со двора доносились гулкіе удары падавшихъ съ крыши снѣжныхъ пластовъ. Домой профессоръ пріѣхалъ вечеромъ, а когда вошелъ въ кабинетъ, то нашелъ записку, въ которой его слушатели извинялись за свое отсутствіе и просили продолжать лекціи. Записка не удивила профессора. Теперь эта надпись на доскѣ сдѣлалась извѣстной всѣмъ, рѣшительно всѣмъ. Будутъ сочувствовать, жалѣть, можетъ быть, даже заставить извиниться того, кто написалъ ее, но все это скоро уляжется, аудиторія опять порѣдѣтъ, и, можетъ быть, снова ему придется прочесть или выслушать неизбѣжный приговоръ. Нѣтъ, пора кончать, пора!.. Но завтра онъ явится и прочтетъ обычную лекцію. Онъ поработаетъ надъ ней, даже если бы пришлось просидѣть сегодня цѣлую ночь. Онъ достанетъ книгъ и прежде всего вотъ ту книгу его молодого соперника-ученика. Вѣдь въ ней всетаки должны быть изложены его мысли; онъ легли въ основаніе книги, можетъ быть, молодой гибкій умъ придалъ имъ болѣе интересную форму, и стоитъ только проглядѣть нѣсколько страницъ, онъ вспомнитъ все, и у него будетъ готова блестящая лекція, ему станутъ апплодировать и легче будетъ покинуть свою аудиторію подъ звуки апплодисментовъ. Они заглушаютъ хоть ненадолго мучительную боль разлуки, а тамъ — все равно...

Профессора знобило, болѣла голова. Поданный обѣдъ остался нетронутымъ. Въ мискѣ плавала курица, и профессоръ вспомнилъ почему-то ребятъ, которые стояли у помойной ямы и слѣдили за кровью, вытекавшей изъ порѣзаннаго горла, и снова онъ подумалъ о томъ, что было бы лучше перейти на растительную пищу.

Пришла кухарка и молча убрала обѣдъ. Нужно было идти въ магазинъ, но профессоръ дожидался вечера, когда въ магазинѣ будетъ меньше покупателей. И опять приплыли незамѣтно сумерки, убаюкивающей волной доносился вечерній звонъ и все это вмѣстѣ и звонъ, и робко входившія сумеречныя тѣни, и кипѣвшій въ одинокой столовой самоваръ отогнали своей ласковой музыкой безпокойныя думы профессора о минувшемъ днѣ. Ему стало легче. Все упрощалось, оставалась только одна лекція, а потомъ... потомъ онъ покончить и съ

остальнымъ. На улицѣ горѣли огни, а тамъ, куда нужно было идти профессору, было особенно свѣтло и отъ фонарей, и отъ громадныхъ зеркальныхъ оконъ магазиновъ, залитыхъ яркимъ свѣтомъ электрическихъ лампъ. И когда профессоръ переступилъ порогъ такого магазина, онъ почувствовалъ какую-то чуждость и не зналъ, съ чего начать. Въ магазинѣ была только одна богато одѣтая дама. Она хотѣла купить портретъ пѣвца, самый послѣдній портретъ въ позѣ, которая, говорили, такъ къ нему идетъ. Продавецъ обѣщалъ послать срочный заказъ на портретъ знаменитости въ самой послѣдней позѣ, но дама съ недовольнымъ видомъ вышла изъ магазина, словно ребенокъ, не получившій интересной игрушки. За ней щелкнулъ звонокъ—послѣднее напоминаніе о срочномъ заказѣ на портретъ—и продавецъ подошелъ къ профессору. Онъ понялъ, что профессоръ хочетъ купить новую „ходовую“ книгу восходящей звѣзды и сейчасъ же досталъ одинъ изъ „свѣжихъ“ экземпляровъ. Профессоръ робко заикнулся о цѣнѣ, но продавецъ уже говорилъ ему о необыкновенномъ спросѣ, о новомъ готовящемся изданіи и указалъ на одну изъ полокъ, гдѣ стояли старыя книги по той же специальности. Въ видѣ образца продавецъ досталъ съ полки книгу профессора, надъ которой тотъ провелъ свои лучшіе годы. „Сто экземпляровъ лежитъ... только мѣсто занимаютъ—придется какъ нибудь на вѣсъ продать“!.. Съ улыбкой глядѣлъ продавецъ въ смущенное лицо профессора и тутъ же безразличнымъ движеніемъ руки онъ швырнулъ книгу куда-то въ уголъ, въ грудѣ такихъ же ненужныхъ книгъ. „Старье“!..

Профессоръ шелъ, понурая голову, а мимо него мчались лошади, тянулася длинная вереница саней съ сѣдоками, торопясь въ театръ, манившій къ себѣ издали яркими огнями электрическихъ фонарей. Театръ, мчавшіеся рысаки, окрики кучеровъ, толпа, сновавшая мимо витринъ съ зеркальными окнами, а за этими окнами цѣною безумныхъ денегъ оплачиваемая роскошь, портреты писателей, бросавшихъ этой толпѣ слова, полныя горькаго смысла, группа оголенныхъ красавицъ, святыхъ фотографомъ въ позахъ, наиболѣе способныхъ возбуждать людскія желанія, и тутъ же бюстъ Толстого съ грустнымъ укоризненнымъ взглядомъ изъ-подъ нависшихъ бровей. Иногда въ полосѣ свѣта, падавшаго изъ окна на тротуаръ, показывалась рука, завернутая въ тряпку, и тутъ же гдѣ нибудь у водосточной трубы, сторонясь отъ свѣта, стоялъ ея обладатель, пряча озябшее лицо въ складки лохмотьевъ.

Профессоръ шелъ и думалъ. Думалъ объ этой полкѣ, заставленной никому ненужными книгами, думалъ о „ходовой“ книгѣ, которую несъ подъ мышкой, о лекціи, которую нужно было завтра читать. А въ эти мысли неожиданно врываются

другія. Онѣ были грубы, неуклюжи и трудно было ими управлять.

— Баринъ, прогуляйте пятерочку на рѣзвой!..—надъ самымъ ухомъ, нагнувшись съ козелъ, крикнулъ ему извозчикъ-лихачъ. А другой въ догонку добавилъ:

— Ему на Ваганьково пора, а ты—пятерочку, ха, ха, ха...

V.

Дома, въ кабинетѣ, профессоръ усѣлся въ кресло, чтобы прочесть купленную книгу, но мысли его были далеко, и напрасно онъ напрягалъ вниманіе, вдумываясь въ только что разрѣзанныя страницы. И все это — и новая книга, и завтрашняя лекція, и слушатели, которые проводятъ аплодисментами уходящаго на покой старика, казалось профессору совсѣмъ неважнымъ. И завтра онъ на лекцію не пойдетъ. Онъ призоветъ вотъ этихъ трехъ или четырехъ слушателей, что поставили свои фамиліи на запискѣ, посадить ихъ возлѣ себя и скажетъ имъ на прощанье все, что будетъ у него на душѣ, пожметъ имъ руки, и они уйдутъ, чтобы передать товарищамъ прощальный привѣтъ стараго профессора. Такъ будетъ лучше. Ему не придется увидеть и торжественныхъ, притворно-почтительныхъ фізіономій своихъ „коллегъ“, когда они къ концу лекціи покажутся въ дверяхъ, чтобы принять участіе въ аплодисментахъ. Улица, шумная толпа, нищета, освѣщенная яркими огнями зеркальных витринъ, всколыхнули далекія мысли, гдѣ-то таившіяся въ потемкахъ души. И, можетъ быть, оттого, что профессоръ держалъ эти мысли такъ долго въ потемкахъ, теперь онѣ всколыхнулись тяжелымъ, неуклюжимъ роємъ, онѣ бродили въ головѣ, пугая своей тяжестью, своими острыми, необдѣланными углами, причиняя боль. И профессоръ вспомнилъ, что еще вчера эти мысли приходили къ нему и это онѣ давили и мозгъ, и грудь своей близостью. Тяжелыя, неуклюжія, онѣ были далеки отъ уютнаго кабинета, отъ мягкаго свѣта лампы, отъ нѣжныхъ струекъ пара, убѣгавшихъ подъ матовый абажуръ. Какъ свинцовыя тучи, онѣ бродили въ головѣ профессора, не понимая, зачѣмъ онѣ теперь понадобились тому, кто всю жизнь обходился безъ нихъ. Да, онѣ были неудобны, и профессоръ пряталъ ихъ далеко, далеко. Ему было достаточно другихъ, такъ удобныхъ въ житейскомъ обиходѣ, тѣхъ мыслей, что спокойно подымались и такъ же спокойно укладывались, не мѣшая другъ другу своими гладкими уступчивыми краями. Неуклюжія мысли бродили тяжелой смутной тучей, сходились и расходились,

и терзали усталый мозгъ, словно мстили ему, и не было среди нихъ ни одной, которая бы озарила привѣтливой улыбкой потухавшій закатъ стараго профессора. „Служеніе наукъ?..“ Вотъ тотъ якорь, къ которому онъ прибѣгалъ, тотъ оправдательный документъ, которымъ онъ обѣлялъ себя передъ самимъ собой каждый разъ, какъ подымались изъ глубины тревожныя мысли. Служенье наукъ... Онъ весь отдался этому богу. Этотъ богъ уходилъ отъ него, другой его не зналъ. До него нужно было пройти черезъ длинную вереницу тяжелыхъ мыслей, и чѣмъ глубже уходилъ онъ въ эту вереницу, тѣмъ плотнѣе смыкалась она, и тѣмъ дальше былъ отъ него Тотъ, Кому шептали сейчасъ поблѣднѣвшія губы профессора: „не теперь... Завтра, послѣзавтра... только не теперь...“

Онъ откинулся на спинку кресла. Его знобило, сердце сжималось въ мучительной тревогѣ за каждый неровный ударъ, губы шептали. Глаза блестѣли лихорадочнымъ блескомъ и расширенные зрачки глядѣли вдаль. Лампа гасла. На потолокъ еще оставалось отъ нея круглое пятно свѣта. Оно вздрагивало, точно отбивалось отъ надвигавшихся тѣней. Тѣни убѣгали и снова надвигались на свѣтлое пятно, пока его окончательно не поглотила темнота...

А профессоръ глядѣлъ куда-то вдаль. Ему чудилась безпредѣльная равнина, милая дѣвушка въ бѣлоснѣжномъ платьѣ, и онъ шелъ съ ней, взявшись за руку, и ему было такъ легко, легко...

И. Петровъ.

ВЪ С А Н Я Х Ъ.

Снѣга, снѣга!.. Подъ бѣлой пеленой
Простерлась степь пустыней ледяной.
Кровавый лучъ блеститъ въ морозной мглѣ,—
Ужъ ночь близка... И жутко на землѣ.

Какъ будто міръ оцѣпенѣлъ на вѣкъ...
Лишь я живу, забытый человѣкъ!
И чудится—въ угрюмый этотъ часъ
Заката лучъ горитъ въ послѣдній разъ.

Полозьевъ скрипъ тревожитъ праздный слухъ.
Ямщикъ молчить... Ямщикъ-ли то, иль духъ?!—
И все вокругъ мнѣ кажется порой
Больной мечты причудливой игрой...

Н. Шрейтеръ.

Муза мести и печали.

V.

Какъ мы уже видѣли при разборѣ книжки „Мечты и звуки“, свою литературную дѣятельность Некрасовъ началъ въ тонѣ вполне серьезномъ, далеко отъ шутки и юмора. Исключеніе составляетъ одна только юмористическая пьеса „Пиръ вѣдьмы“:

Скачетъ вѣдьма на ухватѣ,
Ѣдетъ чортъ на помелѣ...

За то съ 1840 г., послѣ фіаско, постигшаго его первый сборникъ, Некрасовъ въ продолженіе цѣлыхъ пяти лѣтъ не напечаталъ, насколько намъ извѣстно, ни одного серьезнаго лирическаго стихотворенія, и хотя стиховъ продолжалъ писать и печатать множество, но все это были—шутки, пародіи, обличительные куплеты. Мы уже пытались объяснить настроеніе поэта, обусловившее подобный характеръ его творчества за указанный періодъ. Нельзя отрицать, что эти сатирическіе опыты юнаго Некрасова отличались временами неподдѣльнымъ остроуміемъ; въ нихъ встрѣчались ѣдкія выходки, самый стихъ былъ легокъ и своеобразенъ. Вотъ, напримѣръ, два маленькихъ отрывка изъ „Портретной Галлерей“, впослѣдствіи забракованной авторомъ и преданной забвенію:

I.

Онъ у насъ осьмое чудо —
У него завидный нравъ.
Неподкупенъ, какъ Іуда,
Храбръ и честенъ, какъ Фальстафъ.
Онъ съ татаринѣмъ — татаринъ,
Онъ съ евреемъ самъ еврей,
Онъ съ лакеемъ — важный баринъ,
Съ важнымъ баринѣмъ — лакей!

II.

Было года мнѣ четыре,
Какъ отецъ сказалъ:
«Вздоръ, дитя мое, все въ мірѣ,
Дѣло — капиталъ».
И совѣтъ его премудрой
Не остался такъ:
У родителя на утро
Я укралъ пятакъ...

Большой фельетонъ въ стихахъ „Говорунъ“,—эта пустыя болтовня пустыяшаго героя обо всемъ, что только взбредетъ въ голову,—читается также безъ скуки, даже, пожалуй, съ нѣкоторымъ

удовольствіемъ; мѣстами невольно думаешь: „сколько труда и искусства потрачено на подобный вздоръ“! Однако, Некрасову случалось уже касаться и болѣе серьезныхъ темъ. Заслуживаетъ, на примѣръ, вниманія сатира „Женщина, какихъ много“.

Она росла среди перинъ, подушекъ,
Дворовыхъ дѣвокъ, мамушекъ, старушекъ,
Подобострастныхъ, битыхъ и босыхъ...
Ее поддерживали съ уваженьемъ,
Ей ножки цѣловали съ восхищеньемъ
Въ избыткѣ чувствъ почтительно-нѣмыхъ...
Сложилась барышня, потомъ созрѣла
И стала на свободѣ жить безъ дѣла,
Невыразимо презирая свѣтъ.
Она слыла дѣвицей идеальной,
Имѣла взглядъ глубокой и печальный,
Сидѣла подъ окошкомъ по ночамъ
И на луну глядѣла неотвязно...
Болтала лихорадочно-несвязно,
Торжественно молчала по часамъ.

И вдругъ пошла за барина простого,
За русака дебелаго, степного!

На мужа негодуя благородно,
Ему дѣтей рожала ежегодно
И двойней разрѣшилась наконецъ.
Печальная, чувствительная Текля
Своихъ людей не безъ отрады сѣкла;
Играла въ дурачки до пѣтуховъ,
Гусями занималась да скотиной, —
И было въ ней передъ ея кончиной
Безъ малаго четырнадцать пудовъ...

Передъ читателемъ — характерный типъ провинціальной барыни крѣпостной эпохи; въ этомъ портретѣ каждый штрихъ дышитъ жизнью и правдой. Одинъ только заключительный, явно утрированный стихъ неприятно рѣжетъ ухо. Къ сожалѣнію, приходится сказать, что такого рода шаржъ не есть случайное явленіе въ юношескихъ сатирахъ Некрасова. и, на примѣръ, въ упомянутомъ выше стихотвореніи „Было года мнѣ четыре“ онъ принимаетъ даже прямо чудовищные размѣры: у героя пьесы умираетъ отецъ...

Я не вынесъ тяжелой раны,
Я на трупъ упалъ
И, обшаривъ всѣ карманы,
Горько зарыдалъ, —

зарыдалъ не объ уtratѣ отца, а о томъ, что карманы его оказались пустыми...

Не этими, однако, частными недостатками обуславливалось ничтожное значеніе некрасовской сатиры ранняго періода. Важнѣе было то, что для читателя все время оставалось неяснымъ,

во имя какой общей идеи она осмѣиваетъ и вышучиваетъ людскія слабости и пороки; это было именно только вышучиванье, а не грозная, бичующая сатира, одушевленная (какъ позже, на примѣръ, въ „Размышленіяхъ у параднаго подѣзда“) чувствомъ гражданскаго негодованія, согрѣтая искренней скорбью о торжествѣ зла и неправды. Такой сатиры мы не видимъ даже и въ столь восхитившемъ въ свое время Бѣлинскаго „Чиновникѣ“ или въ „Современной одѣ“, которою открывается обыкновенно собраніе Некрасовскихъ стихотвореній... Пьесы это несомнѣнно талантливыя; въ общей концепціи ихъ видна уже рука искуснаго мастера; отдѣльные стихи поражаютъ силой, оригинальностью и легко остаются въ памяти, — но, за всѣмъ тѣмъ, „Чиновникъ“ и „Современная ода“ не сатиры въ настоящемъ значеніи слова, а лишь хорошія обличительныя стихотворенія: въ нихъ нѣтъ еще главнаго — поэзіи...

Погоня за насущнымъ кускомъ хлѣба, спѣшность работы, привычка глядѣть на себя, какъ на чернорабочаго отъ литературы, съ котораго и спрашивать много нечего, низводитъ въ эту пору Некрасова, при всемъ его талантѣ, до уровня писателя-ремесленника, который унижался до такихъ, на примѣръ, „пародій“:

И скучно, и грустно!.. И некого въ карты надуть
Въ минуту карманной невзгоды.
Жена?.. Но что пользы жену обмануть —
Вѣдь ей же отдашь на расходы.

Но уже близился глубокій внутренній переломъ. Къ срединѣ 40-хъ годовъ Некрасовъ пересталъ терпѣть острую, доходившую до нищеты, нужду; у него уже составилось нѣкоторое литературное имя, — теперь легче было доставать работу, легче было и бороться съ кулаками-редакторами и издателями. Явился сравнительный досугъ — и съ нимъ возможность серьезно думать и работать. Въ этотъ-то благопріятный моментъ Некрасовъ и сблизился съ Бѣлинскимъ, услышалъ его страстную, полную зажигающаго убѣжденія, проповѣдь... Общая идея, по которой все время тосковала душа будущаго печальника горя народнаго и отсутствіе которой такъ плачевно отзывалось на его произведеніяхъ, была отыскана, формулирована. Какъ горячій солнечный лучъ, упала она въ дремавшую душу поэта, освѣтила и разбудила къ жизни могучія природныя силы. Некрасовъ нашелъ, наконецъ, свое призваніе, свою музу, ту „блѣдную, въ крови, кнутомъ истѣченную музу“, на которую, по его, собственному выраженію, „не русскій взглянетъ безъ любви“... Появилось знаменитое стихотвореніе „Въ дорогѣ“, нѣчто неслыханное до тѣхъ поръ, какъ по формѣ, такъ и по содержанію.

Начало народнической струи въ русской литературѣ принято обыкновенно связывать съ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“

Григоровича, но съ несравненно большимъ правомъ могло бы претендовать на такую роль стихотвореніе Некрасова, раньше напечатанное и, къ тому же, талантливѣе выразившее новую идею. Извѣстный критикъ Аполлонъ Григорьевъ очень долго отрицавшій въ Некрасовѣ всякій поэтический талантъ, признавался въ послѣдствіи, что пьеса „Въ дорогѣ“ *ударила по сердцамъ съ неведомою силой...* По его словамъ, она совмѣстила въ одну поэтическую форму цѣлую эпоху прошедшаго, забросила сѣти и въ будущее; въ ней не поддѣлка подъ народную рѣчь, а рѣчь человѣка изъ народа,—съ народнымъ сердцемъ, закала Кольцова... Даже враждебный Некрасову Эдельсонъ, видѣвшій, наоборотъ, въ этомъ стихотвореніи фальшивую народную рѣчь, признавалъ нарисованное Некрасовымъ положеніе трогательнымъ и вызывающимъ сильное впечатлѣніе, „гуманное по своей сущности“. Мнѣніе Бѣлинскаго мы уже знаемъ. Но если такъ встрѣчено было стихотвореніе Некрасова литературной критикой, то читателями середины сороковыхъ годовъ оно принято было, какъ настоящее откровеніе... И удивительнаго тутъ ничего нѣтъ, если даже и теперь, когда мрачная эпоха рабства отошла въ область преданія, и русскимъ обществомъ такъ много пережито съ тѣхъ поръ, „Въ дорогѣ“ все еще производитъ неотразимо-глубокое впечатлѣніе. Очевидно, поэту удалось затронуть живой, до сихъ поръ еще болѣзненный, нервъ... То новое, чѣмъ было поражено здѣсь воображеніе общества, заключалось не только въ изображеніи новой (крестьянской) среды, не только въ мысли о томъ, что и мужики тѣ же люди съ живой, способной страдать отъ притѣсненій душою: рядомъ съ картиною огромнаго общественнаго зла, передъ читателемъ открывался душевный міръ интеллигентнаго человѣка, который чувствовалъ себя къ этому злу прикосновеннымъ.

— Скучно! Скучно!.. Ямщикъ удалой
Разгони чѣмъ-нибудь мою скуку, —
Пѣсню, что-ли, пріятель запой
Про рекрутскій наборъ и разлуку, —

уже этотъ начальный аккордъ, сразу дававшій почувствовать, что проѣзжаго барина грызетъ не простая скука, а—тоска, ищущая отрады въ сближеніи съ народнымъ горемъ, долженъ былъ электрическимъ токомъ проходить по душѣ современнаго читателя.

— Ну, довольно, ямщикъ, разогнали
Ты мою неотвязную скуку! —

саркастически прерываетъ баринъ грустный рассказъ ямщика, — и какъ много сказано въ этихъ двухъ коротенькихъ жеманныхъ строчкахъ, заканчивающихъ пьесу! Нѣсколько позже, въ стихотвореніи „Въ деревнѣ“ у Некрасова прорывается та же горестная нота:

Плачетъ старуха... *А мнѣ что за дѣло!*
 Что и жалѣть, коли ночѣмъ помочь?

За видимой злостью слышится здѣсь тотъ-же стонъ человѣка, сисящаго заглушить червяка беспокойной совѣсти; это какъ бы первый намекъ на то великое душевное смятеніе, — „больную совѣсть кающагося дворянина“, — которое съ такой яркостью и силой выражено было во многихъ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Некрасова.

Новое настроеніе, охватившее Некрасова, не было чѣмъ-то случайнымъ, мимолетнымъ: почти одновременно съ пьесой „Въ дорогѣ“, въ промежутокъ какихъ-нибудь полутора лѣтъ (1845—1846), имъ было написано болѣе десятка замѣчательныхъ, проникнутыхъ однимъ и тѣмъ же духомъ, стихотвореній, въ которыхъ въ миниатюрѣ отражалась какъ бы вся некрасовская поэзія, намѣчались почти всѣ главные мотивы, подробно развитые и разработанные имъ впослѣдствіи *).

Въ „Тройкѣ“, „Огородникѣ“, „Псовой охотѣ“ и „Родинѣ“ передъ нами проходятъ яркія картины жизни деревенской крѣпостной Россіи. Героиня „Тройки“, въ сущности, та-же Груша (Въ дорогѣ“); въ судьбѣ этихъ двухъ молодыхъ женщинъ, также какъ и въ несчастномъ романѣ огородника, поэтъ раскрываетъ все безобразіе рабскихъ понятій о бѣлой и черной кости, раздѣленныхъ непроходимой пропастью сословныхъ предразсудковъ. Живой человѣческой души, по этимъ понятіямъ, нѣтъ; безъ жалости и безъ пощады приносится она въ жертву интересамъ кастовой выгоды и такъ называемой чести. Мрачное, злобное міровоззрѣніе, отравляющее кругомъ себя атмосферу и развращающее мысль и чувство всѣхъ, кто приходитъ съ нимъ въ соприкосновеніе, — одинаково раба, какъ и рабовладѣльца!

Но уже въ эту раннюю пору, когда Некрасовъ впервые отдался захватившей его волнѣ новыхъ мыслей и чувствъ, вопросъ обновленія „старого міра“ представлялся ему въ очень широкихъ рамкахъ; онъ видѣлъ зло не въ одномъ только крѣпостномъ правѣ и являлся защитникомъ отнюдь не одного крестьянскаго сословія, а всѣхъ оскорбленныхъ, всѣхъ обездоленныхъ.

Сгораешь злобой тайною...
 На скудный твой нарядъ
 Съ насмѣшкой не случайною
 Всѣ, кажется, глядятъ.
 Все, что во снѣ мерещится,
 Какъ-будто бы на зло
 Въ глаза вотъ такъ и мечется,

Роскошно и свѣтло!
 Все поводъ къ искушенію,
 Все дразнить и язвить
 И руку къ преступленію
 Нетвердую манить.
 Ахъ! если бѣ часть ничтожную!
 Старушку погѣчить...

*) «Тройка», «Огородникъ», «Псовая охота», «Родина», «Въ невѣдомой глуши», «Пьяница», «Отрадно видѣть», «Старушкѣ», «Когда изъ мрака заблужденія», «Передъ дождемъ», «Секретъ».

Но мгла отсюду черная
Навстрѣчу бѣдняку...

Одна открыта торная
Дорога къ кабаку!

Такъ рисуетъ поэтъ въ стихотвореніи „Пьяница“ душевное состояніе бѣдняка, озлобленнаго зрѣлищемъ несправедливыхъ общественныхъ контрастовъ. Какъ и въ другомъ стихотвореніи того же періода—„Отрадно видѣть, что находитъ порой хандра и на глуща“, мы впервые встрѣчаемъ здѣсь характерную и оригинальную ноту некрасовской поэзіи, ноту злобы, той „злобы тайной“, которая терзаетъ сердце приниженаго человѣка, составляя мучительную отраду его безпросвѣтнаго существованія.

Обликъ „неласковой и нелюбимой музы“, „печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ, рожденныхъ для труда, страданья и оковъ“, вырисовывается передъ нами уже въ рѣзко опредѣленныхъ, своеобразныхъ очертаніяхъ.

Со всей силой возмущеннаго чувства протестуетъ поэтъ противъ „безсмысленнаго мнѣнія“ толпы, „пустой и лживой“, безсильно стонущей въ тискахъ нужды и горя и въ то же время готовой клеймить презрѣніемъ всякаго, кто въ жизненной борьбѣ является не палачомъ, а жертвой. Стихотвореніе «Когда изъ мрака заблужденія» (даже на взглядъ наиболѣе враждебныхъ Некрасову критиковъ—„просто превосходное“) было чуть-ли не первой въ русской литературѣ реабилитаціей падшей подъ гнетомъ нищеты и несчастія женщины. Приблизительно въ то же время было написано и одобренное Бѣлинскимъ стихотвореніе „Старушкѣ“, направленное вообще противъ „моральнаго вздора“ опутавшихъ общество условій и предрассудковъ, отнимающихъ у него долю возможнаго счастья. Пьеса не была, однако, включена авторомъ ни въ одно изданіе его стихотвореній, да и въ журналъ появилась не за полной подписью. Причина понятна: въ смыслѣ обработки сюжета „Старушка“ оставляетъ желать очень многого *). Объясняется это, быть можетъ, тѣмъ, что тема стихотворенія, хотя и вполне реальная, не была подсказана Некрасову лично

*) Напечатано въ августовской книжкѣ «Отеч. Зап. за 1845 годъ.

Когда еще твой локоть длинный
Вился надъ розовой щекой,
И я былъ юноша невинный,
Чистосердечный и пустой, —
Ты помнишь: кой-о-чемъ мечтали
Съ тобою мы по вечерамъ,
И не забыла ты — давали
Свободу полную глазамъ.
И много высказалось взоромъ
Желаній тайныхъ, тайныхъ думъ;
Но побѣдилъ моральнымъ вздоромъ
Въ насъ сердце искаженный умъ.
И разошлись мы полюбовно,

И страсть разсѣялась, какъ дымъ...
И чрезъ полжизни хладнокровно
Опять сошлись мы — и хранимъ
Молчанье тягостное...

Такъ-то!

Когда-бъ къ избытку силъ младыхъ
Побольше разума и такта (?) —
Не такъ бы вялъ и горько-тихъ
Былъ часъ случайной поздней встрѣчи,
Не такъ бы сжала насъ печаль,
Иной тоской звучали-бъ рѣчи,
Иначе было-бъ жизни жалъ...

15 мая 1845 г.

Н. Н.—въ.

пережитымъ чувствомъ: вѣдь поэту было всего 23 года... Могучій лиризмъ Некрасова — и онъ самъ прекрасно чувствовалъ это — получалъ настоящий размахъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда вдохновлялся живой, конкретной дѣйствительностью.

Таково оригинальное и сложное содержаніе стихотвореній Некрасова, появившихся въ 1845—46 году и несомнѣнно глубоко поразившихъ современнаго читателя. Очевидно, новыя мысли и чувства бурей прошли по душѣ поэта, заставивъ зазвучать сразу всѣ ея струны...

Ощутивъ и сознавъ кровную связь съ роднымъ народомъ, Некрасовъ сразу нашелъ всѣ нужныя краски и для изображенія родной природы. Какъ пейзажистъ, уже въ 1846 году онъ является передъ нами съ своей особенной, ни на кого другого не похожей манерой.

Сторожъ вкругъ дома господскаго ходить,
Злобно зѣваетъ и въ доску колотить.
Мракомъ задернуты небо и даль,
Вѣтеръ осенній наводитъ печаль;
По небу тучи угрюмыя гонить,
По полю листья—и жалобно стонеть...
Стало свѣтать
Чудная даль открывается взору:
Рѣчка внизу, подъ горою, бѣжитъ,
Инеемъ зелень долины блеститъ,
А за долиной, слегка бѣловатой,
Лѣсъ, освѣщенный зарей полосатой...

.
Падаетъ сизый туманъ на долину,
Красное солнце зашло вполосину,
И показался съ другой стороны
Очеркъ безжизненно-блѣдной луны...
Въ полѣ, завидѣвъ табунъ лошадей,
Ржетъ жеребецъ подъ однимъ изъ псарей...

Заунывный вѣтеръ гонить
Стаи тучъ на край небесъ,
Ель надломленная стонетъ,
Глухо шепчетъ темный лѣсъ.
На ручей, рябой и пестрый,
За листкомъ лежитъ листокъ,
И струей сухой и острой
Набѣгаетъ голодокъ.

Полумракъ на все ложится;
Налетѣвъ со всѣхъ сторонъ,
Съ крикомъ въ воздухъ кружится
Стая галокъ и воронъ.
Надъ пропѣжей таратайкой
Спущенъ верхъ, передъ закрытъ;
И «пошелъ!»—привставъ съ наикой,
Ямщику денщикъ кричитъ...

Конечно, такого рода описаній природы нѣтъ ни у Жуковского, ни у Пушкина съ Лермонтовымъ, ни даже у Кольцова. Все это очень мало походить на „Краснымъ полымемъ заря вспыхнула“, или: „Въ небесахъ торжественно и чудно“... Краски Некрасова буднично-сыры, образы удивительно-просты, прозаически реальны; отдѣльные углы рисуемой имъ картины кажутся порой грубыми

и неэстетичными... И, однако, странное дѣло: читатель чувствует себя захваченнымъ, покореннымъ этой сѣрой, но безконечно-милой красотою сѣвернаго пейзажа; родная, природа живетъ и дышетъ передъ его глазами, и невольно хочется воскликнуть: „Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ“!...

VI.

Долго зрѣвшее вдохновеніе вылилось въ могучемъ и широкомъ аккордѣ. Какъ мы только что видѣли, Некрасовъ сразу затронулъ почти всѣ главные мотивы своей поэзіи. Нельзя, однако, сказать, чтобы въ слѣдующіе затѣмъ годы муза его отличалась особенной плодovitостью. Выпадали періоды, когда онъ писалъ по одному, много—по три небольшихъ стихотворенія за цѣлый годъ (счастливымъ исключеніемъ былъ только 1853 годъ, къ которому относится цѣлыхъ двѣнадцать пьесъ). Напавъ на настоящую дорогу, сознавъ свое настоящее призваніе, поэтъ все еще, казалось, не былъ вполне увѣренъ въ своихъ силахъ, и съ крайней осторожностью, почти робостью пользовался своимъ поэтическимъ даромъ. Впрочемъ, слѣдуетъ принять и то въ расчетъ, что для русской литературы это были исключительно тяжелые годы, меньше всего благопріятствовавшіе расцвѣту такой именно музыки, какъ Некрасовская („Музы гордой и несчастной, кипѣвшей злобою безгласной“)...

...Нѣкій образъ посѣщать
 Меня въ часы работы сталъ:
 Съ перомъ, со склянкою чернилъ
 Онъ надъ душой моею стоялъ,
 Воображеніе леденилъ,
 У мысли крылья обрывалъ.

Такимъ образомъ, за первое десятилѣтіе (1845—1857), кромѣ указанныхъ уже нами, можно отмѣтить еще лишь слѣдующія выдающіяся стихотворенія: „Бду-ли ночью“, „Муза“, „Мама“, „Извозчикъ“, „Памяти Бѣлинскаго“, „Буря“, „Несжатая полоса“, „Власть“, „Свадьба“, „Блаженъ незлобивый поэтъ“ и „Внимая ужасамъ войны“. Все это, сравнительно, небольшія по объему вещи. Но за то въ теченіе слѣдующихъ десяти лѣтъ (1855—1864), открывшихъ собою новую эру для жизни всей Россіи, Некрасовъ обнаруживаетъ почти лихорадочную дѣятельность. Онъ приступаетъ къ созданію широкихъ картинъ общественной и народной жизни, и первымъ блестящимъ опытомъ этого рода является поэма „Сама“. Большія вещи чередуются съ множествомъ мелкихъ лирическихъ пьесъ. Рядомъ съ „Несчастными“, „Поэтомъ и гражданиномъ“, „Тишиною“, „Убогой и нарядной“, „Въ больницѣ“, „Размышленіями у параднаго подъѣзда“, „О погодѣ“, „На

Волгѣ“, „Рыцаремъ на часъ“, „Папашей“, „Дешевой покупкой“, „Крестьянскими дѣтьми“, „Деревенскими новостями“, „Коробейниками“, „Морозомъ-Краснымъ Носомъ“, „Ориною“ и „Желѣзной дорогой“ необходимо отмѣтить въ это время: „Праздникъ жизни“, „На родинѣ“, „Замолени, Муза“, „Школьникъ“, „Прости“, „Забитая деревня“, „Тяжелый годъ“, „Въ столицахъ шумъ“, „Ночь“, „Одинокій, потерянный“, „Плачь дѣтей“, „Похороны“, „Свобода“, „Стихи мой“, „Зеленый шумъ“, „Въ полномъ разгарѣ страда деревенская“, „Надрывается сердце“, „Памяти Добролюбова“, „Благодареніе Господу Богу“. Уже изъ этого неполнаго перечня написаннаго Некрасовымъ въ „шестидесятые“ годы видно, что десятилѣтіе это было наиболѣе кипучимъ и плодотворнымъ въ творческой дѣятельности нашего поэта, какъ наиболѣе кипучимъ и плодотворнымъ было оно и въ жизни всей Россіи. Муза Некрасова всегда чутко отражала бѣненіе общественнаго пульса страны.

Съ паденіемъ этого пульса въ срединѣ 60-хъ годовъ, замѣчается временный отливъ и въ поэзіи Некрасова: для него это—печальный періодъ возрожденія фельетона... Онъ пишетъ: „Притчу о киселѣ“, „Крещенскіе морозы“, „Кому холодно, а кому жарко“, „Газетную“, „Пѣсни о свободномъ словѣ“, „Балетъ“, „Судъ“, „Еще тройку“... Огромный талантъ, однако, и въ это время продолжаетъ вспыхивать яркими искрами,—таковы стихотворенія: „Ликуетъ врагъ“, „Неизвѣстному другу“, „Съ работы“, „Стихотворенія для дѣтей“, „Медвѣжья охота“.

За то послѣднее десятилѣтіе жизни Некрасова (1868—1877) отмѣчено новымъ чрезвычайнымъ подъемомъ и ростомъ поэтического творчества. Къ этому періоду относятся „Русскія женщины“, „Кому на Руси жить хорошо“, „На смерть Писарева“, „Душно безъ счастья и воли“, „Страшный годъ“, „Памяти Шиллера“, „Три элегіи“, „Уныніе“ и, наконецъ, несравненные „Послѣднія пѣсни“...

Окидывая мысленнымъ взоромъ эту огромную поэтическую работу, раскинутую на пространствѣ тридцати двухъ лѣтъ, поражаешься прежде всего яркой опредѣленностью, если можно такъ выразиться—безспорностью писательской фізіономіи Некрасова. Передъ нами рѣзко очерченная, удивительно-своеобразная индивидуальность, которую ни съ какой другой на самое даже короткое мгновеніе не смѣшаешь. Лишь очень немногіе изъ самыхъ крупныхъ писателей нашихъ могли бы въ этомъ отношеніи соперничать съ Некрасовымъ. Даже, напримѣръ, Пушкинъ, при всей исключительности его значенія для русской литературы, остается до сихъ поръ предметомъ разногласій для критики, хотя о сущности его „пафоса“ уже исписаны цѣлыя горы бумаги. Съ одинаковымъ, можно сказать, успѣхомъ пытаются перетянуть его на свою сторону представители прямо враждебныхъ

другъ другу литературныхъ партій... То же, или почти то же можно сказать про Лермонтова. Казалось бы, протестующій характеръ его поэзіи не подлежитъ спору. Но противъ чего, собственно, былъ направленъ его протестъ—этотъ вопросъ каждый изъ критиковъ рѣшалъ и рѣшаетъ по своему. Для однихъ „въ поэзіи Лермонтова слышались слезы тяжелой обиды“, вызван- ные тѣмъ, что никогда съ такой безцеремонностью, какъ въ николаевское время, права, честь и достоинство человѣка не приносились въ жертву идеѣ бездушнаго, холоднаго формализма. Лермонтовъ, согласно этому мнѣнію, поистинѣ гениально вырази- лъ всю ту скорбь, какою преисполнены были его современ- ники... Одинъ изъ новѣйшихъ критиковъ Лермонтова, однако, высмѣиваетъ такое толкованіе его поэзіи. „Можно-ли болѣе фаль- шиво,—спрашиваетъ г. Андреевскій,—объяснять источникъ скорби поэта?! Точно и въ самомъ дѣлѣ послѣ николаевской эпохи, въ періодъ реформъ, Лермонтовъ чувствовалъ бы себя, какъ рыба въ водѣ! *) Точно послѣ освобожденія крестьянъ и въ особен- ности въ 60-е годы открылась дѣйствительная возможность „вѣчно любить“ одну и ту же женщину? Или совсѣмъ искорени- лась „месть враговъ и клевета друзей“?.. Современный Лермон- тову формализмъ не вызвалъ у него ни одного звука (?) про- теста. Обида, которую страдалъ поэтъ, была причинена ему свыше, Тѣмъ, Кому онъ адресовалъ свою ядовитую благодар- ность“.

Очевидно, не такъ легко найти опредѣляющую сущность и Лермонтовской поэзіи. Относительно Некрасова такого затрудне- нія какъ будто не существуетъ. Одно имя — и у друзей такъ же, какъ у враговъ, сразу возникаетъ передъ глазами суровый и печальный обликъ писателя, который „лиру посвящаетъ на- роду своему“. Поэтъ самъ далъ своей поэзіи мѣткое и харак- терное опредѣленіе „Музы мести и печали“—и оно стало ходя- чимъ. Одна ослѣпительно-яркая, скорбная, гнѣвно-рыдающая нота, не умолкая на протяженіи тридцати слишкомъ лѣтъ, звучитъ въ его стихахъ, „народному врагу проклятія суля, а другу у не- бесь могущества моля“! На народѣ сосредоточены всѣ чаянія, тревоги, любовь и печаль Некрасова; счастье народа—всѣ его помыслы, народа, какъ совокупности всѣхъ трудящихся и обремененныхъ. Но главную, подавляющую массу русскаго на- рода составляетъ крестьянство, и немудрено, что поэтъ всего чаще и охотнѣе воспѣваетъ мужицкое горе. Съ теченіемъ вре- мени русскій мужикъ становится для Некрасова какъ бы вопло-

*) Мимоходомъ напомнимъ почтенному критику, что вѣдь и Некра- совъ, въ «земномъ» характерѣ протеста котораго не можетъ быть сомнѣнія, не сталъ чувствовать себя, «какъ рыба въ водѣ», съ наступленіемъ «эпохи реформъ»...

щеніемъ, символомъ человѣческаго страданія, живымъ образомъ русскаго Прометея...

О личныхъ своихъ мукахъ Некрасовъ, такъ много выстрадавшій, столько тяжелаго пережившій, говорить удивительно мало по сравненію съ другими поэтами-лириками, да когда и говорить, то большею частью для того только, чтобы заклеить себя, какъ плохого гражданина, рассказать о своихъ ошибкахъ и даже паденіяхъ... И самое большое, чего просить онъ отъ читателя, отъ родины, это — не вѣрить клеветѣ и простить его за дѣйствительныя вины... Много нужно имѣть зложелательства и безстыдства, чтобы Некрасова съ его цѣломудренно-скромной, можно сказать самоотверженной музой обвинять въ желаніи разыгрывать роль „гражданскаго мученика!“

Какъ поэтъ, Некрасовъ—лирикъ по преимуществу, лирикъ, переполненный однимъ сильнымъ и глубокимъ чувствомъ, всегда и всюду одушевленный одной идеей, ни на минуту не выпускающій ея изъ виду. Пишетъ-ли онъ коротенькое лирическое стихотвореніе, большую ли эпическую вещь, смѣется ли, плачетъ ли—онъ все тотъ же; даже когда рисуетъ простую картинку природы, то по проникающему ее грустно-щемящему или умиленно-любовному чувству, по какому-то особенному *некрасовскому* тону вы тотчасъ же понимаете, что поэтъ ни на секунду не разстается съ „сокрушительной думой“.

Поздняя осень. Грачи улетѣли.
Лѣсъ обнажился, поля опустѣли.
Только не сжата полоска одна...

Своеобразный складъ, своеобразная музыка; если бы вы не знали даже наизусть всего стихотворенія, уже этими первыми строчками вы настроены на тонъ грустнаго разсказа. Или, вотъ, отрывокъ изъ „Крестьянскихъ дѣтей“:

Опять я въ деревнѣ. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши. Живется легко.
Вчера, утомленный ходьбой по болоту,
Забрелъ я въ сарай и заснулъ глубоко.
Проснулся: въ широкія щели сарая
Глядятся веселаго солнца лучи.
Воркуетъ голубка; надъ крышей летая,
Кричатъ молодые грачи.
Летить и другая какая-то птица —
По тѣни узналъ я ворону какъ разъ.
Чу! шопотъ какой-то... А вотъ вереница
Вдоль щели внимательныхъ глазъ.
Все сѣрые, каріе, синіе глазки —
Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты..

Въ этой безподобной картинкѣ грусти и слѣда нѣтъ, но все же это не объективно-спокойный, эпическій разсказъ. Развѣ вы

не слышите здѣсь разлитого въ каждой строчкѣ чувства глубокаго умиленія, того умиленія, которое испытываетъ человѣкъ, рассказывая о самомъ дорогомъ для него и завѣтномъ? И таковъ Некрасовъ всегда. Даже въ произведеніяхъ, по вѣншности строго эпическихъ, посвященныхъ изображенію народнаго быта („Коробейники“, „Кому на Руси жить хорошо“), онъ остается въ сущности лирикомъ, разсматривающимъ и природу, и жизнь сквозь призму личнаго чувства. Въ этомъ отношеніи любопытно сравнить Некрасова, напимѣръ, съ Пушкинымъ.

Лира Пушкина—дивный инструментъ, рѣшительно при всякомъ прикосновеніи издающій гармоническіе звуки. Всѣ явленія міра, какъ въ зеркалѣ, отражаются въ чуткой душѣ поэта, и онъ переливаетъ ихъ въ яркіе поэтическіе образы, часто совершенно независимые отъ собственныхъ его настроеній. Такъ картины временъ года въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ никакого видимаго отношенія не имѣютъ къ внутреннему міру героевъ романа: онѣ вполне объективны и безстрастны. Сейчасъ же послѣ трагической смерти Ленскаго на дуэли идетъ такое описаніе весны:

Гонимы вѣшними лучами,
Съ окрестныхъ горъ уже снѣга
Сбѣжали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года;
Синѣя, блещутъ небеса.
Еще прозрачные, лѣса
Какъ-будто пухомъ зеленѣютъ;
Пчела за данью полевой
Летитъ изъ кельи восковой.
Долины сохнутъ и пестрѣютъ,
Стада шумятъ, и соловей
Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей...

По истинѣ „красою вѣчною сіяетъ равнодушная природа“!.. Параллельно съ этимъ прочтите, напимѣръ, картину вырубки лѣса въ некрасовской поэмѣ „Саша“. Тутъ все до того отражаетъ субъективное настроеніе юной героини, что проникаешься даже злобой къ „явившимся съ топорами“ мужикамъ!.. А въ противоположность этому, какъ объективна, напр., пушкинская „Туча“ („Послѣдняя туча разсѣянной бури“): знаменитое стихотвореніе, какъ извѣстно, внушено было поэту счастливо промчавшейся надъ его головой грозой изъ III отдѣленія, а между тѣмъ, въ самой пьесѣ уже не видно этого личнаго чувства. Вотъ это-то умѣнье поэта какъ бы отрѣшаться отъ собственной личности и ея внутреннего міра и есть первое, необходимѣйшее условіе эпическаго творчества. У Некрасова такого умѣнья почти не было; въ его произведеніяхъ все тѣснѣйшимъ образомъ связано съ общимъ душевнымъ его строемъ... Эту сравнительную односторонность, эту

недостаточную широту поэтической восприимчивости, быть может, слѣдуетъ признать крупнымъ недостаткомъ Некрасова, какъ поэта, но въ немъ же, въ этомъ „недостаткѣ“, нужно искать и причину его огромной силы, секретъ необычайной власти надъ чуткими и отзывчивыми сердцами. Поэтъ пушкинскаго типа врядъ-ли могъ бы съ такимъ блестящимъ успѣхомъ выполнить поэтическую миссію эпохи освобожденія...

Подобно миѳическому Антею, который дѣлался неодолимо-сильнымъ, прикасаясь ногами къ матери-землѣ, Некрасовъ поднимается во весь ростъ своего могучаго таланта всякій разъ, какъ поэтъ о горѣ народномъ; напротивъ, удаляясь отъ этого главнаго вдохновляющаго источника, онъ какъ-будто ослабѣваетъ, утрачиваетъ свои чары. „Чиновника“, «Современную оду», „Колыбельную пѣсню“, „Нравственнаго человѣка“, „Прекрасную партію“, всѣ сатиры 65—67 гг., „Недавнее время“, большую сатирическую поэму „Современники“ мы знали бы, можетъ быть, не больше, чѣмъ многія остроумныя стихотворенія Минаева и Курочкина, если бы не подкупающее, гипнотизирующее имя Некрасова... Что голосъ поэта дѣйствительно получаетъ полную свою силу, лишь вдохновляемый впечатлѣніями и идеями извѣстнаго порядка, лучше всего доказывается слѣдующимъ. Въ нѣкоторыхъ изъ только что названныхъ, сравнительно слабыхъ вещей Некрасовъ вдругъ, точно по мановенію волшебнаго жезла, изъ талантливаго юмориста превращается опять въ перворазряднаго лирика и создаетъ свои лучшіе шедевры. Вспомните, читатель, то мѣсто въ „Балетѣ“, вяломъ и фелъетонно болтливомъ, гдѣ на сцену выходитъ въ крестьянской рубахѣ Петипа,—„и театръ застоналъ“:

Все—до ластовицъ бѣлыхъ въ рубахѣ—
 Было вѣрно: на шляпѣ цвѣты,
 Удаля русская въ каждомъ размахѣ,—
 Не артистка—волшебница ты.
 Все слилось въ оглушительномъ «браво»,
 Дань народному чувству платя,
 Только ты, моя муза, лукаво
 Улыбаешься... Полно, дитя!
 Неумѣстна здѣсь строгая дума,
 Неприлична гримаса твоя...
 Но молчишь ты, скучна и угрюма...
 Что-жъ ты думаешь, муза моя?
 На конекъ ты попала обычный,
 На умѣ у тебя мужики,
 За которыхъ на сценѣ столичной
 Петипа пожинаетъ вѣнки.
 И ты думаешь: Гурія рая!
 Ты мила, ты воздушно-легка,
 Такъ танцуй же ты «Дѣву Дуная»,
 Но въ покоѣ оставь мужика!
 Въ мерзлыхъ лапоткахъ, въ пубѣ нагольной,
 Весь заиндѣвѣвъ, самъ за себя,

Въ эту пору онъ пляшетъ довольно...

Прямыкомъ черезъ рѣки, поля
 Ёдутъ путники узкой тропой:
 Въ бѣломъ саванѣ смерти земля,
 Небо хмурое, полное мглой.
 Отъ утра до вечерней поры
 Все однѣ предъ глазами картины:
 Видишь, какъ, обнажая бугры,
 Вѣтеръ снѣгомъ заноситъ лощины,
 Видишь, какъ подъ кустомъ иногда
 Припорхнеть эта милая пташка,
 Что отъ насъ не летитъ никуда
 (Любить скудный нашъ сѣверъ, бѣдняжка!).
 Или, щелкая, стая дроздовъ
 Пролетитъ и посадитъ на ели;
 Слышишь дикіе стоны волковъ
 И визгливое пѣнье мятели...
 Снѣжно, холодно... Мгла и туманъ...
 И по этой унылой равнинѣ
 Шагъ за шагомъ идетъ караванъ
 Съ сѣдоками въ промерзлой овчинѣ.

Это ёдутъ мужики изъ города, гдѣ сдали въ солдаты сыновей, и везутъ домой страшную кладь—крестьянское горе:

Гдѣ до солнца идетъ за порогъ
 Съ топоромъ на работу кручина,
 Гдѣ на бѣлую скатерть дорогъ
 Позднимъ вечеромъ свѣтитъ лучина,
 Тамъ найдется кому эту кладь
 По суровымъ сердцамъ разобрать,
 Тамъ она пріютится, попрчется,
 До другого набора проплачется!..

Эта картина безысходнаго мужицкаго горя на сумрачномъ фонѣ зимней русской природы—даже и у Некрасова одна изъ наиболѣе сильныхъ, а, между тѣмъ, вкраплена она въ одно изъ самыхъ посредственныхъ стихотвореній.

Не менѣ замѣчательна бурлацкая пѣсня „Въ гору“ („Хлѣбушка нѣтъ!“), распѣваемая разбойничьимъ хоромъ „героевъ времени“ въ остроумной мѣстами, но въ общемъ прозаической и растянутой сатирической поэмѣ „Современники“.

Итакъ, мы не отрицаемъ извѣстной односторонности поэтической восприимчивости Некрасова, односторонности, вытекавшей изъ всего душевнаго строя поэта. Съ точки зрѣнія требованій „чистаго искусства“ это конечно, болѣе или менѣ существенный недостатокъ. Но, подобно тому, какъ въ живомъ человѣческомъ лицѣ наибольшую прелесть составляетъ иногда то, что меньше всего отвѣчаетъ отвлеченнымъ требованіямъ эстетики, въ Некрасовѣ,—какъ мы уже сказали,—абстрактный недостатокъ является источникомъ поэтической силы и обаянія. Говоря такъ, мы вовсе не ду-

маемъ, конечно, сказать, что поэзія Некрасова свободна рѣшительно отъ всякихъ изъясновъ и недочетовъ; напротивъ, ихъ очень много... Мы знаемъ это ничуть не хуже его многочисленныхъ враговъ, отыскивающихъ малѣйшій предлогъ, чтобы отнять у своего идейнаго противника самый титулъ поэта. Мы только твердо увѣрены, что Некрасову не страшна критика, и что наши потомки будутъ еще читать и любить его произведенія въ то время, когда не останется уже и слѣда отъ крикливой славы тѣхъ геніевъ, которыхъ намъ ставили и ставятъ въ примѣръ настоящей красоты и величія. Мы даже думаемъ, что, добросовѣстно отмѣтивъ недостатки Некрасова, мы тѣмъ лучше сумѣемъ понять, чѣмъ въ дѣйствительности силенъ Некрасовъ, что есть въ его поэзіи великаго и непреходящаго.

Безъ обиняковъ слѣдуетъ, прежде всего, признать тотъ прискорбный фактъ, что періодъ долгой подневольной работы, писанія фельетоновъ, водевилей, мелодрамъ, пародій и юмористическихъ куплетовъ не прошелъ для нашего поэта безнаказанно, испортивъ до нѣкоторой степени его природное чутье художественной мѣры и такта и отучивъ тщательно работать надъ воплощеніемъ поэтическаго образа въ стихотворную форму. У насъ есть блестящій образчикъ того, чего могъ достичь Некрасовъ, слѣдуя шиллеровскому совѣту:

Стихъ, какъ монету, чекамъ
Строго, отчетливо, честно:
Прявину слѣдуй упорно—
Чтобы словамъ было тѣсно,
Мыслямъ просторно!

Мы имѣемъ въ виду „Бурю“ („Долго не сдавалась Любушка-содѣлка“). Напечатанное первоначально въ „Современникѣ“ 1850 г., стихотвореніе это было длинно и безцвѣтно; въ печати его осмѣяли... Но три года спустя Некрасовъ передѣлалъ пьесу, сокративъ больше, чѣмъ на половину, снабдивъ болѣе пѣвучимъ метромъ и расцвѣтивъ удивительно жизненными красками: „Буря“ стала неузнаваемой! Къ сожалѣнію, такую виртуозность въ обработкѣ формы поэтъ проявлялъ далеко не всегда; обыкновенно онъ почти не дѣлалъ поправокъ въ напечатанномъ разъ текстѣ стихотвореній, оставляя безъ вниманія всѣ указанія и насмѣшки критики.

Примѣровъ не только стилистическихъ, но и поэтическихъ промаховъ Некрасова можно привести не мало. Однимъ изъ самыхъ важныхъ, на нашъ взглядъ, является уже много разъ отмѣченное критикой центральное мѣсто въ стихотвореніи „Ѣду-ли ночью“. Эта превосходная въ общемъ вещь пользовалась и пользуется вполне заслуженной популярностью; чего стоить хотя бы первая строка:

Бду-ли ночью по улицѣ темной,
 Бури-ль заслушаюсь въ пасмурный день,—
Другъ беззащитный, больной и бездомный,
Вдругъ предо мной промелькнетъ твоя тѣнь!

Тутъ опять сказывается уже разъ отмѣченная нами способность Некрасова нѣсколькими словами, сразу создать у читателя извѣстное душевное настроеніе: вы не прочли еще слѣдующаго стиха, а сердце уже стѣснилось „мучительной думой!..“ И вотъ, въ этомъ-то удивительномъ стихотвореніи Некрасовъ допустилъ психологически-невѣроятную мелодраму: молодая, гордая женщина, сейчасъ же послѣ смерти ребенка, въ виду его еще не остывшаго трупа и на глазахъ у больного мужа, „принаряжается, будто къ вѣнцу“ и идетъ на улицу продавать себя... Для чего? Для того только, чтобы купить „гробикъ ребенку и ужинъ отцу“. Но для этого такъ вѣдь немного нужно, что было бы, конечно, достаточно—продать „вѣнчальный“ нарядъ! Если бы моментъ былъ выбранъ поэтомъ нѣсколько иной, если бы, напр., мать отправилась на улицу, видя страданія своего ребенка и надѣясь еще спасти его, то мы бы ее поняли; но то положеніе, которое изображаетъ Некрасовъ, не вызываетъ къ себѣ ни малѣйшаго сочувствія, потому что оно по существу фальшиво. Разумѣется, ни одна въ мірѣ женщина такъ не поступитъ. Той же мелодрамой, немислимой въ живой дѣйствительности, слѣдуетъ называть и ту сцену во II части „Несчастныхъ“, гдѣ каторжники хоромъ отпѣвають „въ бѣшеномъ весельи“ своего *умирающаго* товарища. Совсѣмъ не такъ ведутъ себя въ подобныя минуты русскіе арестанты (вспомнимъ, напримѣръ, сцену смерти Михайлова въ „Зап. изъ Мертваго Дома“ Достоевскаго...) Не говоримъ ужъ о томъ, что нигдѣ въ Россіи каторжныхъ не держатъ въ подземельяхъ (у Некрасова дѣйствіе происходитъ вечеромъ—значитъ, не въ рабочее время). Въ тѣхъ же „Несчастныхъ“ Кротъ заинтересовываетъ арестантовъ разсказами о Петрѣ Великомъ. Казалось бы, достаточно посвятить этимъ разсказамъ два-три, много—пять вечеровъ, у Некрасова же „сто вечеровъ до поздней ночи онъ говорилъ намъ про него!“ Въ цифрахъ нашъ поэтъ вообще, впрочемъ, не знаетъ мѣры. Чиновникъ изъ „Филантропа“ (напечатаннаго въ 53 г.) разсказываетъ про себя: „Минетъ сорокъ лѣтъ зимой, какъ я щѣку сталъ подвязывать, отмороживши хмѣльной“. Дѣйствіе разсказа относится этимъ фактомъ почти къ двѣнадцатому году, а Некрасовъ имѣетъ, конечно, въ виду обличеніе современаго ему эпохи. Помѣщикъ изъ „Кому на Руси жить хорошо“ тоже сорокъ лѣтъ безвыѣздно живетъ въ деревнѣ, а между тѣмъ, не умѣетъ отличить ржаного колоса отъ ячменнаго... Въ лютой крещенскій морозъ въ Петербургѣ Некрасовъ на пространствѣ пяти саженой насчитываетъ „до сотни“ отмороженныхъ щекъ и ушей... У присутственныхъ мѣстъ въ томъ

же Петербургъ стоять *сотни сотенъ* (значить, самое меньшее—сорокъ тысячъ!) крестьянскихъ дровней...

Вычурнымъ и неестественнымъ кажется намъ конецъ прелестнаго стихотворенія „Выборъ“, гдѣ дѣвушка, задумавшая положить на себя руки, ничего лучшаго не находитъ, какъ броситься внизъ головой... съ огромнаго дерева. Въ поэмѣ „Дѣдушка“ сынъ, встрѣчающій возвращеннаго изъ ссылки отца-декабриста, „предъ отцомъ преклонился, *ноги омылъ старику*“... Княгиня Волконская скатывается вмѣстѣ съ кибиткой „съ высокой вершины Алтая“—и ничего, остается жива и здорова (ужъ не подчеркиваемъ, что „вершины Алтая“ стояли далеко въ сторонѣ отъ ея дороги). Фигура Савелія, „богатыря святорусскаго“ (въ „Кому на Руси жить хорошо“) носить явный отпечатокъ гиперболы и шаржа, а сентиментальная исторія съ губернаторшей, точно будто, взята изъ какого-нибудь пасторальнаго романа... Въ главѣ „Счастливые“ (въ той же поэмѣ) бросается въ глаза слѣдующій досадный недосмотръ. Въ пьяную праздничную ночь, расположившись за деревней подъ густой липой, странники „прокликають кличъ“ въ бродящей кругомъ подвыпившей толпѣ мужиковъ: „Нѣтъ-ли гдѣ счастливаго? на славу угостимъ!“ И вотъ, вмѣстѣ съ разными другими счастливцами „пришелъ *съ тяжелымъ молотомъ* каменотесъ-олѣнчанинъ“. Спрашивается: откуда и зачѣмъ взялся у него въ такую пору молотъ? Конечно, онъ явился на сцену единственно для красоты слога. Подобныхъ промаховъ и недосмотровъ у Некрасова не оберешься. Въ первоначально напечатанномъ текстѣ стихотворенія „Въ деревнѣ“ были стихи: „Добрая барыня Марья Романовна на три *молебна* дала“ (вм. „панихиды“)... И еще: „Деньги семнадцать рублей за упокой *его* душеньки подали“ (выходило: за упокой душеньки медвѣдя)... Но эти обмолвки были позже устранены поэтомъ. За то въ „Бурѣ“ такъ и остался навсегда стихъ:

Промочила ножки и хотъ выжми *шубку*,

хотя рѣчь идетъ о лѣтней грозѣ... Но всего досаднѣе недосмотръ въ превосходной картинѣ рубки лѣса въ поэмѣ „Саша“.

Тамъ, изъ-за старой нахмуренной ели,
Красныя грозды калины глядѣли...

Значить, дѣло происходитъ осенью (осенью и производится обыкновенно рубка лѣса); но дальше появляются вдругъ на сцену разбѣгающіе желтые рты галчата, которые выводятся только весною...

Прозаическіе обороты и цѣлыя тирады, къ сожалѣнію, нерѣдко врываются у Некрасова диссонансомъ въ самыя безукоризненныя вещи, написанныя „безсмертной красоты стихами“. Въ „Рыцарѣ на часъ“, напр., читаемъ:

№ 12. Отдѣлъ II.

2

Даль глубоко-прозрачна, чиста,
 Мѣсяцъ полный плыветъ надъ дубровой,
 И *юсподстають* въ небѣ *цѣтта*
 Голубой, бѣловатый, лиловый...

Или, въ замѣчательной по поэтическому, чисто-народному колориту пѣснѣ воеводы-Мороза (въ поэмѣ „Морозъ — Красный Носъ“), обходящаго дозоромъ свои лѣсныя владѣнья, замѣняются какимъ-то образомъ такіе грубые стихи:

Безъ мѣду всю выбѣлю рожу,
 А носъ запылаетъ огнемъ,
 И бороду такъ приморожу
 Къ возжамъ—хоть руби топоромъ!

Наконецъ, въ „Крестьянскихъ дѣтяхъ“ есть такое стихотворное разсужденіе:

Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно
 Растетъ, не учась ничему... и т. д.

Этотъ, какъ видитъ читатель, довольно длинный перечень промаховъ и изъязновъ Некрасова, при желаніи, можно бы значительно увеличить, но зачѣмъ? Что этимъ было бы доказано? По нашему мнѣнію, только то одно, что высокодаровитый поэтъ, превосходно знавшій русскую дѣйствительность и русскую природу, на зарѣ жизни, когда другіе юноши еще учатся, спокойно и безпрепятственно развивая свои способности, прошелъ уже тяжелую школу черной литературной работы, постоянной сѣньки и лихорадочнаго возбужденія. Не получивъ систематическаго образованія, Некрасовъ по всей справедливости можетъ быть названъ гениальнымъ самородкомъ. Указывать на слабости и частные промахи его, какъ на доказательство того, что онъ не былъ поэтомъ,—нелѣпо, дико. Если бы мы захотѣли привести изъ Некрасова—въ качествѣ не аргумента, а лишь примѣра—какое-нибудь стихотвореніе, отрывокъ высокой художественной цѣнности, мы сильно затруднились бы выборомъ: до того много у Некрасова сильныхъ, прекрасныхъ стиховъ, и такъ много каждый изъ насъ знаетъ ихъ наизусть. Но, конечно, читатель съ удовольствіемъ перечитаетъ еще разъ слѣдующія строки, равныхъ которымъ по красотѣ немного въ русской поэзіи.

Все рождь кругомъ, какъ степь живая,	За мною по пятамъ бѣжалъ,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ...	Не небесамъ чужой отчизны—
Спасибо, сторона родная,	Я пѣсни родинѣ слатать!
За твой врачующій просторъ!	И нынѣ жадно повѣрю
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,	Мечту любимую мою
Подъ небомъ ярче твоего,	И въ умиленіи посылаю
Искалъ я примиренья съ горемъ—	Всему привѣтъ...
И не нашелъ я ничего!..	Храмъ Божій на горѣ мелькнулъ
Я твой. Пусть ропотъ укоризны	И дѣтски-чистымъ чувствомъ вѣры

Внезапно на душу пахнуло.
Нѣтъ отрицанья, нѣтъ сомнѣнья,
И шепчетъ голосъ неземной:
Лови минуту умиленья,
Войди съ открытой головой!
Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни красна чужая даль,
Не ей поправить наше горе,
Размыкать русскую печаль!
Храмъ воздыханья, храмъ печали—
Убогій храмъ земли твоей:
Тяжеле стонувъ не слышали
Ни римскій Петръ, ни Колизей!
Сюда народъ, тобой любимый,
Своей тоски neodолжной

Святое бремя приносилъ—
И облегченный уходилъ!
Войди! Христосъ наложить руки
И снятьъ волею святой
Съ души оковы, съ сердца муки
И язвы съ совѣсти больной...
Я внялъ... я дѣтски умилился...
И долго я рыдалъ и бился
О плиты старыя челомъ,
Чтобы простить, чтобы заступился,
Чтобы осѣнилъ меня крестомъ
Богъ угнетенныхъ, Богъ скорбящихъ,
Богъ поколѣній, предстоящихъ
Предъ этимъ скуднымъ алтаремъ!

Напомнимъ еще картину другого возвращенія поэта на родину—въ началѣ поэмы „Саша“; также изображеніе дѣвичьей тоски по миломъ въ „Коробейникахъ“ („Хорошо было дѣти-нушкѣ“), или горя оскорбленной, поруганной женщины-матери въ „Крестьянкѣ“ („Я пошла на рѣчку быструю“). А какія оригинальныя, чисто-народныя картины родной природы находимъ въ главномъ созданіи Некрасова—„Кому на Руси жить хорошо“:

Весной, что внуки малые,
Съ румянымъ солнцемъ-дѣдушкой
Играютъ облака:
Вотъ правая сторонushка
Одною сплошною тучею
Покрылась-затуманилась,
Степнѣла и заплакала!..
Рядами нити сѣрыя
Повисли до земли.
А ближе, надъ крестьянами,
Изъ небольшихъ, разорванныхъ
Веселыхъ облачковъ

Смѣется солнце красное,
Какъ дѣвка изъ сноповъ.
Но туча передвинулась,
Попъ шляпой накрывается—
Быть сильному дождю.
А правая сторонushка
Уже свѣтла и радостна,
Тамъ дождь перестаетъ:
Не дождь—тамъ чудо божіе,
Тамъ съ золотыми нитками
Развѣшаны мотки...

Мы намѣренно не называемъ здѣсь стихотвореній, посвященныхъ памяти мученицы-матери, или такихъ, какъ „Ликуетъ врагъ“, „Душно безъ счастья“, „Баюшки-баю“ и т. п., чтобы намъ не сказали: въ этихъ вещахъ плѣняетъ васъ не поэзія собственно, а глубина человѣческаго страданія, или высота гражданскаго чувства... Никакого отношенія къ этому послѣднему не имѣетъ также, слѣдующее, мало почему-то извѣстное, но удивительно-поэтическое стихотвореніе:

Тяжелый годъ—сломилъ меня недугъ,
Бѣда застигла, счастье измѣнило;
И не щадитъ меня ни врагъ, ни другъ,
И даже ты не пощадила!
Истерзана, озлоблена борьбой
Съ своими кровными врагами,
Страдалица! Стоишь ты предо мной
Прекраснымъ призракомъ съ безумными глазами!

Упали волосы до плечъ,
 Уста горять, румянцемъ рдѣютъ щеки,
 И необузданная рѣчь
 Сливается въ ужасные упреки,
 Жестокіе, неправые... Постой!
 Не я обрекъ твои молодые годы
 На жизнь безъ счастья и свободы,
 Я другъ, я не губитель твой!
 Но ты не слушаешь...

Вѣдь это цѣлая повѣсть разбитой жизни! Видишь во-очію эту женщину, ожесточенную долгими страданіями и обидами жизни, измученную подозрѣніями, утратившую вѣру въ любовь и дружбу!..

Жрецы и поклонники чистаго искусства не любятъ, между прочимъ, Некрасова за его „тенденціозность“. Но прежде всего, что такое тенденціозность? Стремленіе уложить живую жизнь на Прокустово ложе предвзятыхъ мнѣній и выводовъ. Разумѣется, каждый писатель, каждый художникъ изображаетъ жизнь такъ, какъ она *ему* представляется, т. е. до извѣстной степени всегда субъективно. Если уголь его зрѣнія необыченъ, исключителенъ, то мы можемъ получить одностороннее, невѣрное изображеніе жизни; и, однако, тенденціознымъ его можно будетъ назвать лишь въ томъ случаѣ, если художникъ сознательно, намѣренно извратить истину. Такого намѣреннаго, холодно-разсудочнаго извращенія у Некрасова нѣтъ. Это лучше всего можно видѣть на анализѣ его пѣсень „О погодѣ“, чаще всего подвергавшихся нападкамъ критики. Говорятъ: какая сплошная гипербола! Какія кричащія краски! Вотъ—погонщикъ, бьющій полѣномъ заморенную клячу; вотъ—мчащаяся во весь опоръ и задѣвающая за похоронныя дроги коляска: „гробъ упалъ и раскрылся“... Въ немъ, оказывается, трупъ чиновника, погоравшаго четырнадцать разъ...

*Всѣ больны, торжествуетъ аптека
 И варить свои зелья гуртомъ;
 Въ цѣломъ городѣ нѣтъ человѣка,
 Въ комъ бы желчь не кипѣла ключомъ...*

Гипербола, не споримъ, на лицо, сгущенныя, рѣжущія глаза краски также. И, однако, не смотря на это, въ пѣсняхъ „О погодѣ“ мы видимъ сильную, горячую, искреннюю лирику. Все дѣло въ томъ, что авторъ и не имѣлъ вовсе въ этомъ произведеніи въ виду психику и логику здоровыхъ, счастливыхъ людей. Къ ихъ числу не принадлежалъ, конечно, русскій писатель того времени, когда слагались пѣсни о погодѣ (1859 г.), истосковавшійся по идеалу, издерганный жизнью, которая на каждомъ шагѣ съ ожесточеніемъ била по его туго натянутымъ нервамъ. Въ эти томительно-долгіе предразсвѣтныя годы, когда надежды на близкое обновленіе то разгорались яркимъ пламенемъ, то внезапно гасли и исчезали, жилось особенно тяжело, и Некрасовъ, и безъ того

мало отраднаго испытывшій въ жизни, въ пѣсняхъ „О погодѣ“ съ несомнѣнно глубокой искренностью и вѣрностью дѣйствительности выразилъ тогдашнее больное, желчно-озлобленное настроеніе петербургскаго интеллигента, то настроеніе, когда при утреннемъ пробужденіи кажется, что „начинается день безобразный, мутный, вѣтряный, грязный“, когда „злость беретъ, сокрушаетъ хандра, такъ и просятся слезы изъ глазъ“...

Дикій крикъ продавца-мужика,
И шарманка съ провзительнымъ воємъ,
И кондукторъ съ трубой, и войска,
Съ барабаннымъ идущія боемъ,
Понуканье измученныхъ клячь,
Чуть живыхъ, окровавленныхъ, грязныхъ
И дѣтей раздирающій плачь
На рукахъ у старухъ безобразныхъ—
Все сливается, стонетъ, гудетъ,
Какъ-то глухо и грозно рокочетъ,
Словно цѣпи куютъ на несчастный народъ,
Съовно городъ обрушиться хочетъ!

Вѣдь не надо было обладать умомъ Некрасова, чтобы понимать, что „всѣ“ не могутъ быть больны въ Петербургѣ даже и въ самую ужасную осеннюю погоду; и задумай Некрасовъ написать вещь, искусственно и хладнокровно рассчитанную на эффектъ, онъ, конечно, сумѣлъ бы обойтись безъ подобныхъ lapsus'овъ. Но онъ былъ поэтъ искреннаго, могущественно захватывающаго чувства; онъ глубоко переживалъ тѣ настроенія, которыя передавалъ въ своихъ произведеніяхъ, и отсюда, быть можетъ, произошли многіе изъ тѣхъ мелкихъ промаховъ, о которыхъ мы выше говорили и которые, при первомъ взглядѣ, такъ поражаютъ въ этомъ quasi-холодномъ, quasi-практическомъ талантѣ. Почти каждое стихотвореніе Некрасова написано кровью и сокомъ нервовъ. Вотъ почему у него совсѣмъ мало вещей *неинтересныхъ*, которыми такъ богаты жрецы чистаго искусства... Недостатки формы отыщутся у Некрасова въ самыхъ безукоризненныхъ (вродѣ даже „Рыцаря на часъ“) произведеніяхъ, но за то и въ самыхъ слабыхъ вы подмѣтите у него достоинства, которыми онъ головой возвышается надъ своими собратьями. Стихи его всегда вытекаютъ изъ живого человѣческаго сердца, изъ бодрой, дѣятельной мысли...

VII.

„Онъ проповѣдовалъ любовь враждебнымъ словомъ отрицанья“. Съ отрицанія, конечно, и долженъ былъ начать всякій передовой писатель эпохи борьбы за освобожденіе. Но если Некрасовъ и послѣ того, какъ „порвалась цѣпь великая“, вмѣсто ликующихъ гимновъ продолжалъ прежнюю отрицательную работу, буда обще-

ство тревожнымъ вопросовъ: „народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ“?—то и въ этомъ отношеніи онъ не занималъ исключительнаго положенія среди нашихъ лучшихъ писателей. По общимъ условіямъ нашей гражданственности только такая работа и была у насъ возможна: развитіе положительной стороны передового міровоззрѣнія встрѣчало всегда неодолимые препятствія...

„Иныхъ временъ, иныхъ картинъ провижу я начало въ случайной жизни береговъ моей рѣки любимой“,—мечтаетъ поэтъ въ маленькой поэмѣ „Горе стараго Наума:—освобожденный отъ оковъ, народъ неутомимый созрѣетъ; густо заселить прибрежныя пустыни; наука воды углубить... По гладкой ихъ равнинѣ суда-гиганты побѣгутъ несчетною толпою, и будетъ вѣченъ бодрый трудъ надъ вѣчною рѣкою!.. Мечты!.. Я вѣрую въ народъ...“ Если не считать слѣдующихъ затѣмъ строкъ выразительныхъ точекъ, то нарисованную въ приведенныхъ стихахъ картину грядущаго народнаго счастья нельзя не признать довольно-таки смутной... Кого, однако, винить въ этомъ?..

Не разъ упрекали Некрасова въ томъ, что онъ и современную ему дѣйствительность изображалъ однѣми мрачными, отрицательными красками, не видя въ ней рѣшительно ничего свѣтлаго, отраднаго. Но эти упреки, конечно, одно сплошное недоразумѣніе. Некрасовъ видѣлъ и зналъ то положительное, что было въ жизни. Такова хотя бы цѣлая галлерей обаятельныхъ портретовъ народныхъ заступниковъ и печальниковъ, нарисованныхъ Некрасовымъ въ рядѣ его произведеній: Грановскій, Бѣлинскій (непосредственно и въ образѣ Крота въ „Несчастныхъ“), Добролюбовъ, поэтъ-семинаристъ Гриша, Ерилла Гиринъ, Саша (этотъ прелестный степной цвѣтокъ, еще не вполнѣ распустившійся), „Дѣдушка“, герои и героини стихотвореній „Пророкъ“, „Кузнецъ“, „Ты не забыта“, собственная, наконецъ, мать поэта (въ поэмѣ „Мать“). Но главнымъ положительнымъ героемъ Некрасова является, самъ русскій народъ. Мы только что привели признаніе поэта: „Мечты!.. Я вѣрую въ народъ“. Въ устахъ Некрасова это не красивая только фраза, а дѣйствительная „мечта“ изстрадавшагося сердца, его послѣднее убѣжище и святиныя.

Воспѣвать народныя страданія поэтъ началъ, какъ мы видѣли, рано, съ перваго же стихотворенія, создавшаго ему извѣстность, но нота настоящей влюбленности въ народъ зазвучала въ его стихахъ не сразу. Когда, по окончаніи Крымской войны, вѣсмъ стало ясно, что идти дальше по пути мрака и застоя Россія не можетъ, не рискуя своимъ историческимъ существованіемъ, общество русское вдругъ поняло, что есть *нѣкто*, чьи интересы въ тысячу разъ важнѣе для блага и счастья родины, чѣмъ интересы небольшой своекорыстной кучки дворянъ. То былъ великій историческій моментъ... Могучая общественная волна подняла и Некрасова; въ поэзіи его, болѣе свободно звучавшей теперь, чѣмъ въ сороковые годы,

появились новыя—то гнѣбныя, то восторженныя ноты... Одно за другимъ, стали выходить въ свѣтъ наиболѣе сильныя и характерныя его произведенія *). Къ сожалѣнію, размѣры настоящей статьи не позволяютъ намъ распространиться о томъ, какую видную роль сыграли эти произведенія въ возникновеніи и развитіи того замѣчательнаго идеалистическаго движенія въ нашей литературѣ, которое извѣстно подъ именемъ народничества. Не даромъ такъ любилъ Некрасова одинъ изъ главныхъ его представителей—Г. И. Успенскій **).

Но какъ же, собственно, рисовалъ себѣ Некрасовъ выступившаго на историческую сцену „прекраснаго незнакомца“? Не видѣлъ ли онъ въ народѣ, подобно славянофиламъ-почвенникамъ, особую мистическую подоплеку, дѣлающую его народомъ-избранникомъ, образцомъ и поученіемъ для „гнилого“ Запада? Ради великихъ страданій, выпавшихъ на долю народа, не закрывалъ ли Некрасовъ глазъ на его тѣневныя, отрицательныя стороны? Ничего подобнаго. Ни квасного, ни мистическаго элемента нѣтъ и слѣда въ любви Некрасова къ народу, доходящей порою до восторженнаго удивленія, но остающейся всегда здоровой и трезвой.

Въ рабствѣ спасенное

Сердце свободное—

Золото, золото

Сердце народное!—

Вотъ что въ особенности привлекаетъ поэта къ русскому народу: его гуманность, терпимость даже къ врагу, его героическая бодрость въ страданіи.

Его ли горе не скребетъ?

Онъ бодръ, онъ за сохой шагаетъ,

Безъ наслажденія онъ живетъ,

Безъ сожалѣнія умираетъ.

Его примѣромъ укрѣпись,

Сломившійся подъ игомъ горя,

За личнымъ счастьемъ не юнись

И Богу уступай, не споря!

Пресловутое мужицкое терпѣніе, которое въ минуты отчаянія поэтъ самъ клеймитъ не разъ именемъ рабскаго отупѣнія, въ моменты болѣе спокойныя представляется ему свойствомъ того же, спасеннаго въ рабствѣ, „золотого“ сердца. Это—не холопство, не нравственное паденіе, а, напротивъ, результатъ созна-

*) «Тишина», «Размышленія у пар. подѣзда», «Въ столицахъ шумъ», «Ночь», «На Волгѣ», «Дерев. Новости», «Крестьянскія дѣти», «Похороны», «Коробейники», «Свобода», «Зеленый шумъ», «Въ полномъ разгарѣ страда», «Орина», «Морозъ—Красный носъ», «Жел. дорога», «Оъ работы».

**) Быть можетъ, не мѣшаегь оговориться, что концомъ движенія (въ настоящемъ, чистомъ его видѣ) мы считаемъ закрытіе «Отеч. Записокъ» въ апрѣлѣ 1864 г.

нія своей могучей стихійной силы, которую никакое испытаніе сломить не можетъ, беззавѣтной вѣры въ конечное торжество правды, глубокаго чувства общественной солидарности, наконецъ, органическаго отвращенія къ насилию, природнаго добродушія...

Княгиня Волконская, по дорогѣ къ мужу-декабристу оскорбленная офицеромъ-бурбономъ, заходитъ въ убогую сибирскую церковь и проситъ попа отслужить молебенъ.

За что мы обижены столько, Христось,
За что поругаемъ покрыты?
И рѣки давно накопившихся слезъ
Упали на жесткія плиты.

Толпа богомольцевъ-простолюдиновъ остается молиться вмѣстѣ съ нею.

Казалось, народъ мою грусть раздѣлялъ,
Молясь молчаливо и строго,
И голосъ священника скорбью звучалъ,
Проясь объ изгнанникахъ Бога.
Убогій, въ пустынь затерянный храмъ!
Въ немъ плакать мнѣ было не стыдно,
Участье страдальцевъ, молящихся тамъ,
Убитой душѣ не обидно!

И въ другой разъ, при мысли о народѣ, изъ измученной груди княгини вырываются слѣдующія трогательныя слова, несомнѣнно выражающія мысль самого поэта:

Быть можетъ, вамъ хочется дальше читать,
Да просится слово изъ груди:
Помедлимъ немного... Хочу я сказать
Спасибо вамъ, русскіе люди!
Въ дорогѣ, въ изгнаньи, гдѣ я ни была,
Все трудное каторги время —
Народъ! я бодрѣе съ тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебѣ пало на часть,
Ты дѣлишь чужія печали,
И гдѣ мои слезы готовы упасть,
Твоя ужъ давно тамъ упали!..
Ты любишь несчастнаго, русскій народъ...

Превосходными образчиками гуманности этого народа и его способности сочувствовать всему живому и страдающему служатъ два прекрасныя стихотворенія Некрасова: „Похороны“ (отношеніе крестьянина къ захожему челоѣку, который по неизвѣстной причинѣ наложилъ на себя руки) и „Съ работы“ (голодный крестьянинъ прежде всего заботится о томъ, чтобы была накормлена его голодная лошадь). Съ рѣдкимъ добродушіемъ и терпимостью выслушиваютъ некрасовскіе мужики (въ „Кому на Руси ж. х.“) самоозащиту помѣщика и попа, которыхъ не имѣютъ,

повидимому, особенныхъ причинъ любить и жаловать, а выслушавъ, признають въ этой зашитѣ долю правды и рѣшаютъ выключить попа и помѣщика изъ списка предполагаемыхъ счастливыхъ.

Такое пониманіе „сердца народнаго“ не мѣшаетъ Некрасову, какъ мы уже говорили, ясно видѣть всѣ недостатки и даже пороки народа, и прежде всего — его умственную темноту и корутое невѣжество, дѣлающія его способнымъ на поступки, о которыхъ въ лучшемъ случаѣ только и можно сказать: *sancta simplicitas!* какъ о той старухѣ, которая, желая угодить Богу, принесла вязанку дровъ на костеръ Гусса. Достаточно указать на стихотвореніе „Такъ, служба! самъ ты въ той войнѣ дрался — тебѣ и книги въ руки“, гдѣ разсказывается ужасная исторія идиотски-добродушнаго избіенія мужиками цѣлой семьи плѣнныхъ французовъ. Стихотвореніе это подвергалось не разъ ожесточеннымъ нападкамъ „патріотической“ критики, какъ грубая фальшь и чуть-ли даже не злостная выдумка на народѣ, и поэтъ, очевидно внявъ ей, отнесъ въ концѣ концовъ пьесу въ отдѣлъ „Приложеній“. Между тѣмъ, въ доказательство того, что сюжетъ ея не придуманъ, что въ „великомъ“ двѣнадцатомъ году подобныя исторіи случаться могли, можно бы привести аналогичную исторію, разсказанную Тургеневымъ въ „Однودворцѣ Овсянниковѣ“ („Зап. Охотника“). Сравнивъ двѣ эти исторіи, мы видимъ, что у Некрасова есть нѣчто, если не оправдывающее, то, по крайней мѣрѣ, объясняющее ужасный поступокъ крестьянъ: они убиваютъ француза, очевидно, въ порывѣ „патріотическаго“ озлобленія:

Поймали мы одну семью,
Отца да мать съ тремя щенками:
Тотчасъ ухлопали мусью,
Не изъ фуленъ — кулаками!

А дальше въ убійцахъ просыпается человѣческое чувство сожалѣнія, хотя и нашедшее себѣ исходъ въ уродливо-дикомъ, ужасномъ поступкѣ. У Тургенева дѣло происходитъ несравненно проще и, потому, ужаснѣе. Крестьяне Смоленской губерніи, поймавъ „француза“ Леженя, не „тотчасъ ухлопываютъ“ его, а забираютъ на ночь въ пустую сукновальню и лишь на утро приводятъ къ проруби и предлагаютъ „уважить“ ихъ — нырнуть подъ ледъ рѣчки Гнилотерки. Французъ, конечно, упрямится; тогда мужики, не оставляя добродушной насмѣшливости, начинаютъ поощрять его „легкими“ толчками въ шею... Патріотическое озлобленіе до такой степени отсутствуетъ, что когда пріѣзжій помѣщикъ предлагаетъ крестьянамъ въ качествѣ выкупа за Леженя двугривенный на водку, они отвѣчаютъ ему хоромъ: „Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его“.

Но если стихотвореніе „Такъ служба!“ далеко отъ идеализа-

ции русскаго народа, то надо сказать, что оно не единственное у Некрасова. Можно отыскать не мало страницъ въ его произведеніяхъ, гдѣ рисуются даже прямо отталкивающіе нравы и типы народныя: „Тройка“, „Проводы“, „Кумушки“, „Власъ“ (до его перерожденія), „Крестьянскій грѣхъ“ въ „Пирѣ на весь міръ“; отнюдь не могутъ быть названы идеализированными, и такіа лица, какъ Ванька и Тихонычъ, главные герои „Коробейниковъ“ (этой лучшей народной поэмы Некрасова)

За всѣмъ тѣмъ, не подлежитъ, конечно, спору, что достоинства народнаго характера безконечно перевѣшиваютъ въ глазахъ нашего поэта всѣ недостатки и пороки. И въ общемъ поэзія Некрасова можетъ быть рассматриваема именно, какъ сплошной восторженный гимнъ русскому народу. Для иллюстраціи этого положенія намъ пришлось бы выписать чуть не половину его книги... Чѣмъ, напримѣръ, инымъ, какъ не гимномъ крестьянскому труду, слѣдуетъ назвать всю поэму „Морозъ-Красный Носъ“? Какой теплотой и любовью дышетъ каждый штрихъ хотя-бы этой прелестной, изумительной по реальности красокъ, картинки лѣтней крестьянской работы:

Возили снопы мужики,
А Дарья картофель копала
Съ сосѣднихъ полосъ у рѣки.
Свекровь ея тутъ же, старушка,
Трудилась; на полномъ мѣшкѣ
Красивая Маша, рѣзвуха,
Сидѣла съ морковкой въ рукѣ.
Телѣга, скрипя, подѣзжала —
Савраска глядитъ на своихъ,
И Проклушка крупно шагаетъ
За воемъ сноповъ золотыхъ.
— Богъ помощи! А гдѣ же Гришуха?
Отецъ мимоходомъ сказалъ.
«Въ горохахъ» сказала старуха.
— Гришуха! отецъ закричалъ,
На небо взглянулъ. — Чай не рано?
Испить бы... — Хозяйка встаетъ
И Проклу изъ бѣлаго жбана
Напиться кваску подаетъ.
Гришуха межъ тѣмъ отозвался:
Горохомъ опутанъ кругомъ,
Проворный мальчуга казался
Бѣгущимъ зеленымъ кустомъ.
Бѣжить!.. У, бѣжить пострѣленокъ,
Горить подъ ногами трава...
Гришуха черѣнъ, какъ галчонокъ,

Бѣла лишь одна голова...
Машутка отцу закричала:
— Возьми меня, тятка, съ собой! —
Спрыгнула съ мѣшка и упала,
Отецъ ее поднялъ: «Не вой!
Убилась — не важное дѣло.
Дѣвчонокъ не надобно мнѣ,
Еще вотъ такого пострѣла
Рожай мнѣ, хозяйка, къ веснѣ!
Смотри же!..» Жена застыдилась:
— Довольно съ тебя одного!
(А знала — подъ сердцемъ ужъ билось
Дитя)... «Ну, Машукъ, ничего!»
И Проклушка, ставъ на телѣгу,
Машутку съ собой посадилъ;
Вскочилъ и Гришуха съ разбѣгу,
И съ грохотомъ возъ покатилъ.
Воробушковъ стая слетѣла
Съ сноповъ, надъ телѣгой взвилась
И Дарьюшка долго смотрѣла,
Отъ солнца рукой заслонясь,
Какъ дѣти съ отцомъ приближались
Къ дымящейся ригѣ своей,
И ей мазъ сноповъ улыбались
Румяныя лица дѣтей...

Мы говорили уже, что на Некрасова нельзя смотрѣть, какъ на пѣвца исключительно крестьянскаго горя. Русскій крестьянинъ былъ въ его глазахъ лишь главной жертвой, а крѣпостное право — лишь наиболѣе яркимъ проявленіемъ царившаго зла, и

всѣ забитые, всѣ обездоленные одинаково имѣютъ въ немъ своего пѣвца и друга. Но среди жертвъ челоѣческаго насилія, жестокости и невѣжества, быть можетъ, наиболѣе беззащитной является женщина:

Ключи отъ счастья женскаго,
Отъ нашей вольной водюшки
Заброшены, потеряны
У Бога самого!

И русская женщина на всѣхъ ступеняхъ общественной лѣстницы нашла въ лицѣ Некрасова одного изъ самыхъ пламенныхъ своихъ адвокатовъ. Устами любимаго героя (Гриши) Некрасовъ высказываетъ увѣренность, что затерянные ключи отъ счастья женскаго будутъ все же когда-нибудь разысканы. („Еще ты въ семействѣ *покуда* раба, но мать уже вольнаго сына!“).

Нарисованные имъ женскіе образы—одни изъ самыхъ плѣнительныхъ въ русской литературѣ. Прежде всего это—образъ собственной матери поэта, воспѣтой во множествѣ стихотвореній и поэмъ; затѣмъ—Катерина изъ „Коробейниковъ“, Саша изъ поэмы того же названія, Дарья изъ „Мороза“, княгини Трубецкая и Волконская, Матрена Тимофеевна изъ „Кому на Руси жить хорошо“. Далѣе слѣдуютъ героини мелкихъ стихотвореній: „Я постилъ твое кладбище“, „Памяти Асенковой“, „Свобода“, „Въ больницѣ“, „Тяжелый крестъ достался ей на долю“, „Дешевая покупка“, „Въ полномъ разгарѣ страда“, „Пѣсня Любы“..

Рядомъ съ женщиной не мало теплыхъ страницъ посвящено Некрасовымъ и дѣтямъ.

Равнодушно слушая проклятья
Въ битвѣ съ жизнью гибнущихъ людей,
Изъ-за нихъ вы слышите ли, братья,
Тихій плачь и жалобы дѣтей? —

съ болью и ужасомъ спрашивалъ поэтъ, и въ произведеніяхъ его то-и-дѣло встрѣчаются—то глубоко-трогательныя картинки изъ дѣтской жизни, то негодующія обращенія къ обществу, которое недостаточно озабочено охраной этихъ безпомощныхъ, беззащитныхъ существъ („Морозъ-Красный Носъ“, „Плачь дѣтей“, „Несчастные“ I ч., „О погодѣ“, „Крестьянскія дѣти“, „Деревенскія новости“, Демущка и „Волчица“ въ „Кому на Руси жить хорошо“).

Спеціально для дѣтей имъ написанъ и цѣлый рядъ всѣмъ извѣстныхъ и столь любимыхъ дѣтьми стихотвореній.

„Любить *несчастнаго* русскій народъ“, писалъ поэтъ,—и въ его собственной душѣ тоже нашелся уголокъ для несчастныхъ отверженцевъ челоѣческаго общества. Кромѣ стихотвореній „Еще тройка“ и „Благодареніе Господу Богу“, у Некрасова есть цѣлая большая поэма („Несчастные“), посвященная ссылкѣ и каторгѣ.

Къ сожалѣнію, поэма эта, нестройная въ цѣломъ (первая часть чисто-формально связана со второй), страдаетъ крупными частными недостатками. Лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, до конца остается неяснымъ и блѣднымъ; образъ убитой имъ женщины не выдержанъ: въ I ч.—это „ангелъ въ грозѣ и демонъ у пристани желанной“, а во II ч.—„женщина пустая, съ тряпичной дюжинной душой“... Растянутость (особенно первой части) также вредитъ впечатлѣнію. И при всемъ томъ, „Несчастные“, благодаря проникающему ихъ теплomu, гуманному чувству, массѣ поэтическихъ подробностей, а главное — яркой и оригинальной фигурѣ Крота (Бѣлинскаго), до сихъ поръ остаются одной изъ популярнѣйшихъ поэмъ Некрасова. Описывая каторгу задолго до появленія „Записокъ изъ Мертваго Дома“, Некрасовъ, естественно, сдѣлалъ нѣсколько крупныхъ промаховъ въ обрисовкѣ этого совершенно невѣдомаго тогда русскому обществу міра. Замѣчательно, однако, что поэтическимъ чутьемъ онъ сумѣлъ угадать нѣкоторыя чрезвычайно жизненные и правдивыя черты изъ быта „Несчастныхъ“. Таково, напримѣръ, страстное стремленіе арестантовъ къ свѣту знанія, ихъ любовно-внимательное отношеніе къ разсказамъ попавшаго въ ихъ среду образованнаго человѣка:

Забыты буйныя проказы,
Наступить вечеръ—тишина,
И стали намъ его разсказы
Милѣй разгуда и вина...
Никто сомкнуть не думалъ очи
И не промолвилъ ничего.
Онъ говоритъ — ему внимаемъ
И, полны новыхъ думъ, тогда
Свои окопы забываемъ
И тяжесть чернаго труда *).

Изъ многочисленныхъ и разнообразныхъ мотивовъ некрасовской поэзіи отмѣтимъ еще чувство пробуждающагося человѣческаго достоинства у приниженнаго и обезличеннаго раба. Впервые былъ затронутъ Некрасовымъ этотъ мотивъ еще въ 1848 г. въ стихотвореніи „Вино“ („Безъ вины меня баринъ посѣкъ, самъ не знаю — что стало со мной...“), и къ нему не разъ возвращался онъ впослѣдствіи: вспомнимъ, хотя бы, „На постояломъ дворѣ“ („Изъ ночлеговъ“) и своеобразное проявленіе того же чувства въ притчѣ „Про холопа примѣрнаго—Якова вѣрнаго“:

Крѣпко обидѣлъ холопа примѣрнаго,
Якова вѣрнаго
Баринъ — холопъ задурилъ!

*) Не забыты гуманнымъ поэтомъ даже животныя, такъ много страдающія отъ людской жестокости («На улицѣ», «О погодѣ», «Дѣдушка Мазай и зайцы», «Соловьи»).

Полное духовное перерожденіе человѣка, нравственно, казалось, совершенно погибшаго, поэтъ рисуетъ намъ отчасти въ „Горѣ стараго Наума“, особенно же ярко въ знаменитомъ „Власѣ“, который какъ бы символизируетъ таящіяся въ русскомъ народѣ огромныя силы...

Рядомъ съ народною жизнью вниманіе Некрасова часто останавливается и на разныхъ теченіяхъ русской общественной жизни, на нарождающихся типахъ интеллигенціи. Въ лицѣ Агарина передъ нами оригинальная разновидность Рудина; въ „Медвѣжьей охотѣ“—насмѣшливая характеристика русскаго „общественнаго мнѣнія“ и „либерализма“; въ „Современникахъ“—типы всевозможныхъ дѣльцовъ и аферистовъ (еще въ 1846 г. въ стихотвореніи „Секретъ“ Некрасовъ крайне отрицательно отнесся къ зарождавшейся русской „буржуазіи“). Стихотворенія: „Пѣсня Еремюшкѣ“, „Она была исполнена печали“, „Пѣсня Любы“, „Я сбросила мертвящія оковы“ и пр. рисуютъ любопытныя общественныя настроенія иного характера. Гриша („Пиръ на весь міръ“)—представитель поколѣнія 70-хъ годовъ, которое несло въ народъ свои знанія и любовь... Поэтъ вѣритъ, что русская интеллигенція посвѣтитъ добрыя сѣмена на почвѣ богатого, но дремлющаго народнаго духа,—и русскій народъ скажетъ ей „спасибо сердечное“...

Намъ остается отмѣтить рядъ наиболѣе проникновенныхъ и трогательныхъ стихотвореній Некрасова, въ которыхъ онъ высказываетъ свой взглядъ на роль писателя вообще и свое писательское призваніе въ частности. Назначеніе поэта, по его мнѣнію, — „напоминать человѣку высокое призваніе его“, чтобы „человѣкъ не мертвыми очами могъ созерцать добро и красоту“.

Казни корысть, убійство, святотатство,
Сорви вѣнцы съ предательскихъ головъ!

Таковъ идеаль, поэта-гражданина, поэта-бойца, который рисуется Некрасову въ его задушевнѣйшихъ мечтаніяхъ, но который для себя самого онъ считаетъ недостижимымъ.

Мнѣ борьба мѣшала быть поэтомъ,
Пѣсни мнѣ мѣшали быть бойцомъ.

Идея эта съ особенной настойчивостью высказана въ извѣстномъ діалогѣ „Поэтъ и гражданинъ“. Смѣлый призывъ гражданина: „Въ такое время стыдно спать!“—встрѣчаетъ въ душѣ поэта одно отчаяніе. Въ свободномъ словѣ есть отрада,—соглашается онъ,—но дѣло въ томъ, что лира его никогда не была свободной: при первыхъ же звукахъ ей пришлось умолкнуть... А гибнуть—не хватило мужества:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
И ласково любовь сулила

Мнѣ блага лучшія свои,—
 Душа пугливо отступила...

 Склонила муза ликъ печальный
 И, тихо зарыдавъ, ушла.

Потому что „шелъ одинъ вѣнокъ терновый къ ея угрюмой красотѣ“...

Самооцѣнка, несомнѣнно, крайне субъективная и несправедливая, но характерно, что она проходитъ яркою нитью черезъ всю поэзію Некрасова. Самодовольство ей чуждо, противно,—черта, которая дѣлаетъ нравственный обликъ поэта особенно симпатичнымъ и привлекательнымъ. Только въ очень рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ съ лиры его срывается гордый, счастливый звукъ: поэтъ сознаетъ, что по мѣрѣ силъ выполнилъ свою великую миссію служенія народу... Таково предсмертное стихотвореніе:

О, муза! я у двери гроба!
 Пускай я много виновать,
 Пусть увеличитъ во сто кратъ
 Мои вины людская злоба,—
 Не плачь! завиденъ жребій нашъ,
 Не наругаются надъ нами:
 Межъ мной и честными сердцами
 Порваться долго ты не дашь
 Живому, кровному союзу!
 Не русскій взглянетъ безъ любви
 На эту блѣдную, въ крови,
 Кнутомъ изсѣченную музу...

VIII.

Поэтъ не ошибался въ своемъ предсмертномъ провидѣніи. Если отыскивались и, быть можетъ, не разъ еще отыщутся отдѣльные судьи, неправедные и немилостивые, то въ общемъ „живой, кровный союзъ“ межъ нимъ и всѣми „честными сердцами“ установился прочно, и, нужно думать, съ годами онъ будетъ лишь расти и крѣпнуть. Но Некрасову пришлось вести долгую и тяжелую борьбу для того, чтобы завоевать общее признаніе.

„Если бы дать больше мѣста выдержкамъ изъ отзывовъ критики, то каждый наглядно убѣдился бы, какъ долго и упорно печать наша не признавала всей силы поэтического значенія Некрасова, и какъ публика сама поняла и полюбила поэта. Некрасовъ занялъ самъ, съ бою, безъ союзниковъ, свое настоящее положеніе въ русской литературѣ“.

Такъ писалъ въ 1879 г. С. И. Пономаревъ въ послѣсловіи къ первому посмертному изданію стихотвореній поэта, которое онъ редактировалъ. Въ самомъ дѣлѣ, просматривая три части издан-

наго г. Зелинскимъ „Сборника критическихъ статей о Некрасовѣ“ (доведеннаго лишь до 1877 г.), мы видимъ, что въ теченіе почти всѣхъ сороковыхъ годовъ критика наша хранила о поэтѣ глубокое безмолвіе, а за слѣдующее десятилѣтіе появилось всего лишь нѣсколько незначительныхъ отзывовъ, въ одномъ изъ которыхъ Эрастъ Благонравовъ писалъ: „Трудно найти стихотворца, который былъ бы меньше поэтъ, чѣмъ Некрасовъ“. Авторъ другого отзыва—Аполлонъ Григорьевъ заявлялъ (уже въ 1855 г.), что не находитъ поэзіи въ доселѣ напечатанныхъ стихахъ Некрасова, за исключеніемъ лишь стихотворенія къ падшей женщинѣ („Когда изъ мрака заблужденья...“)

Вышедшее въ 1856 г. первое изданіе стихотвореній Некрасова было раскуплено публикой съ изумительной быстротою, но въ печати не вызвало ни одной статьи, ни одной самой коротенькой рецензіи!

Объясняется это, конечно, тѣмъ, что „Современникъ“, отражавшій взгляды и настроеніе молодой Россіи, въ сердцѣ которой этихи Некрасова нашли такой сочувственный откликъ, издавался самимъ поэтомъ, и на страницахъ этого журнала похвала Некрасову не могла найти себѣ мѣста. Одинъ только разъ Добролюбовъ (и то не называя имени Некрасова, хотя имѣя въ виду, очевидно, его) высказалъ мнѣніе, что Пушкинъ, Лермонтовъ и Кольцовъ уже нашли себѣ достойнаго продолжателя... Что касается остальныхъ органовъ печати, то они находились въ рукахъ людей поколѣнія отживающаго, понимавшаго поэзію прежде всего, какъ служеніе „красотѣ“. Само собою разумѣется, что въ такихъ критикахъ поэзія Некрасова въ лучшемъ случаѣ вызывала недоумѣніе...

Только въ началѣ 60-хъ годовъ, когда свѣжая струя общенности широкимъ потокомъ разлилась по всѣмъ уголкамъ обновленной Россіи, отразившись прежде всего на печати, послѣдняя сразу заговорила о Некрасовѣ, какъ о признанномъ уже „власителѣ сердецъ“ молодого поколѣнія. Въ это время, какъ бы поддавшись общему энтузіазму, перемѣнили о немъ къ лучшему мнѣніе и наиболѣе искренніе представители поколѣнія старшаго, вродѣ Ап. Григорьева, который съ восторгомъ отзывался теперь о „народномъ сердцѣ“ Некрасова и о „почвенности“ его поэзіи.

Но, вотъ, схлынула живая волна... „Призванная къ порядку“, русская жизнь опять начала замирать и принимать „благообразный“ видъ. Свѣжіе, молодые голоса замолкли, и это опять не замедлило сказаться на отношеніяхъ критики къ Некрасову. Къ тому же, послѣдній самъ не устоялъ въ этотъ тяжелый періодъ на прежней высотѣ и, поскользнувшись, далъ новую пищу злорадству враговъ; клевета „снѣжнымъ комомъ“ покатила по Руси, по родной... Наиболѣе тяжелымъ и мучительнымъ для Некрасова моментомъ былъ 1869 годъ. Г. г. Антоновичъ и Жуковский

недавніе друзья, поддавшись чувству мелкаго, самолюбиваго озлобленія, выпустили противъ Некрасова цѣлую обличительную брошюру, „Матеріалы для характеристики современной русской литературы“, гдѣ, развѣчивая Некрасова, какъ журналиста и человѣка, пытались подкопаться и подъ его поэзію. „Вамъ такъ же легко перестроить вашу лиру на совершенно новый ладъ,—развязно обращался г. Антоновичъ къ Некрасову,—какъ вашему другу (?) г. Краевскому легко промѣнять прежній образъ мыслей на новый; вы съ одинаковымъ увлеченіемъ и искусствомъ можете и восхвалять, и порицать одинъ и тотъ же предметъ, вамъ ничего не стоитъ метать громы гражданскаго негодованія въ какого-нибудь вельможу, швейцаръ котораго отогналъ отъ его подъѣзда „деревенскихъ русскихъ людей“, а завтра рабски льстить ему и прославлять его доблести восторженнымъ мадригаломъ; вамъ нужна только тема, какова бы она ни была, а вы ужъ работаете ее поэтически...“ Словомъ, отрицалось въ поэтѣ всякая искренность, всякое убѣжденіе.

Нечего и говорить, что, не смотря на искусную и сильную отповѣдь И. А. Рождественскаго, въ томъ же году выпустившаго—безъ вѣдома Некрасова—отвѣтную брошюру „Литературное паденіе г. Антоновича и Жуковскаго“, во враждебномъ Некрасову литературномъ лагерѣ нападки на него встрѣтили самый восторженный приѣмъ. Страховъ писалъ въ „Зарѣ“: „Наиболѣе значительная часть нашей печати (либеральная) живетъ одною фальшью, сознательно и постоянно кривитъ душою. Не раздается ни одного искренняго, прямого голоса; все лукавитъ, іезуитствуетъ, прислуживается (!), все покорно гнетъ передъ чѣмъ-нибудь или передъ кѣмъ-нибудь свою совѣсть и свои помыслы... Книжка гг. Антоновича и Жуковскаго представляетъ, очевидно, реакцію. Лжи накопилось столько, что, наконецъ, сознание ея начинаетъ прорываться наружу... Обличеніе Некрасова важно для тѣхъ, кто видѣлъ въ немъ нѣкоторое свѣтило либерализма; но многіе, и давно уже, смотрѣли иначе. Самые стихи Некрасова, въ которыхъ такъ много говорится о народныхъ страданіяхъ, давно уже, не смотря на ихъ несомнѣнные замѣчательныя достоинства, признаны (?) не выражающими полного сочувствія народу, не проникнутыми его дѣйствительнымъ пониманіемъ. Это—сатиры, карикатуры, изліянія хандры и желчи, и лишь изрѣдка правдивыя и неискаженные картины“ (въ качествѣ примѣра того, „какъ мало сходится Некрасовъ съ народомъ въ своихъ сочувствіяхъ и воззрѣніяхъ“, Страховъ указывалъ на пожеланіе поэта, чтобы русскій народъ понесъ съ базара Бѣлинскаго и Гоголя!).

Въ томъ же 69 г. выступилъ съ своими „разоблаченіями“ Тургеневъ, опубликовавшій въ „Вѣстникѣ Европы“ извѣстныя письма Бѣлинскаго... А велѣдъ затѣмъ тотъ же Тургеневъ, раздраженный недостаточно почтительнымъ, по его мнѣнію, отзывомъ „Отеч.

Записокъ“ о поэзіи Полонскаго, выступилъ въ „С.-Петерб. Вѣдомостяхъ“ съ открытымъ письмомъ, въ которомъ говорилось: „Я убѣжденъ, что любители русской словесности будутъ перечитывать лучшіе стихи Полонскаго, когда самое имя г. Некрасова покроется забвеніемъ. Почему же это? А просто потому, что въ дѣлѣ поэзіи живуча только одна поэзія, и что въ бѣлыми нитками спитыхъ, всякими пряностями приправленныхъ, мучительно высиженныхъ измышленіяхъ „скорбной“ музыки г. Некрасова ея-то, поэзіи-то, и нѣтъ на грошъ“.

И такіе отзывы, къ стыду русской литературы, нигдѣ не вызвали въ свое время рѣзкаго, негодующаго отпора,—опять-таки, быть можетъ, потому, что всѣ наиболѣе свѣжія литературныя силы группировались вокругъ „От. Зап.“, во главѣ которыхъ стоялъ самъ Некрасовъ. Даже въ серединѣ 70-хъ годовъ не въ рѣдкость было встрѣтить на страницахъ журналовъ нелѣпое мнѣніе, будто Некрасовъ приобрѣлъ себѣ значеніе въ родной литературѣ „только оригинальными, новыми мотивами, а отнюдь не силой и глубиной содержанія“; или даже—будто „поэзія Некрасова вырабатывалась въ либеральныхъ редакціяхъ и служила постоянно какъ-бы иллюстраціей направленій, попеременно господствовавшихъ въ извѣстной части журналистики“. О poemъ „Кому на Руси жить хорошо“ одинъ критикъ писалъ (и тоже нигдѣ не встрѣтилъ отпора): „поэма эта принадлежитъ къ такимъ, о которыхъ гораздо пріятнѣе было бы хранить молчаніе“.

Слухи о тяжелой болѣзни поэта и послѣдовавшая затѣмъ, въ концѣ 77 г., смерть его вызвали настоящій взрывъ неприязни скорби въ обществѣ и въ молодежи,—тотчасъ же смолкли и всѣ враждебные голоса въ печати: со страницъ газетъ и журналовъ въ теченіе цѣлаго года не сходили сочувственныя некрологическія статьи и разборы стихотвореній Некрасова; вышли и отдѣльные сборники, посвященные памяти поэта... Но уже въ 78 г. на столбцахъ либерально-буржуазнаго „Голоса“ возобновлено было въ самой рѣзкой формѣ нападеніе: появились, въ пяти огромныхъ фельетонахъ, напумѣвшія въ свое время „Критическія бесѣды“ небезызвѣстнаго г. Евгенія Маркова... Эти широко-вѣщательные бесѣды, якобы безпристрастно отмѣчавшія недостатки и достоинства некрасовской поэзіи, а, въ сущности, стремившіяся доказать ея ничтожество и эфемерность, имѣли большой успѣхъ въ тѣхъ кругахъ общества и литературы, которые и до того съ плохо скрываемой неприязнью относились къ необычайной популярности Некрасова. Г. Марковъ задалъ тонъ и собралъ матеріалъ, можно сказать, для всей послѣдующей отрицательной критики, и отзвуки его „Бесѣды“ явственно слышались даже двадцать лѣтъ спустя, въ двадцати-лѣтнюю годовщину смерти поэта. Мы думаемъ, не мѣшаетъ поэтому (особенно въ виду того, что „Голосъ“ представляетъ теперь библиографическую рѣдкость) из-

ложить съ нѣкоторой подробностью критику г. Евгенія Маркова.

Некрасовъ,—утверждаетъ критикъ „Голоса“,—поэтъ предшествовавшей освобожденію крестьянъ эпохи. Проникнутый сознаниемъ коренного общественнаго зла, онъ видитъ роковую безобразность даже въ сферахъ жизни, повидимому, не имѣющихъ связи съ крѣпостнымъ бытомъ. У читателя получается впечатлѣніе какого-то предвзятаго намѣренія не останавливаться ни на какихъ другихъ явленіяхъ міра, кромѣ излюбленныхъ (?) авторомъ. Преувеличеніе, неестественность, надутость, сентиментальность и риторика—роковыя послѣдствія такой односторонности... Этимъ поэтъ вызываетъ и несочувствіе читателя къ той самой средѣ, которая выставляется жертвою безобразія... Защищая русскій народъ противъ Некрасова, г. Марковъ въ качествѣ примѣра приводитъ стихотвореніе „Родину“, гдѣ, будто бы, чудовищно-невѣрно утвержденіе, что русскіе крѣпостные „завидовали житію послѣднихъ барскихъ псовъ“... „Кто, напримѣръ, узнаетъ,—патетически восклицаетъ критикъ,—ту охоту, которая обыкновенно наполняла радостью удали не только охотника-барина, но и псарей его, и лошадей, и собакъ (какова собачья идиллія! П. Г.) въ невѣрной и мрачной картинѣ „Псовой охоты“ Некрасова? Лира Некрасова—вообще патологическая лира: пѣсни „О погодѣ“, напримѣръ, не столько поэзія, сколько „воркотня досужаго капризника“... Изображенія народнаго быта, народной души и даже народная рѣчь въ его стихахъ полны фальши, неискренности и тенденціозности. Многочисленные примѣры, приводимые г. Евгеніемъ Марковымъ, мы опустимъ, упомянемъ лишь объ одномъ, которымъ критики Некрасова пользуются охотно и донинѣ. Въ стихотвореніи „Тишина“, говоря объ окончаніи Крымской войны, поэтъ прибѣгаетъ къ такому образу: „*Прибитая къ землѣ слезами рекрутскихъ женъ и матерей, пыль не стоитъ уже столбами надъ бѣдной родиной моею*“. Г. Андреевскій, слѣдуя примѣру г. Евгенія Маркова, подсмѣивался: „Этотъ невообразимый дождь, освѣжившій большую дорогу, совершенно нестерпимъ“ („Литер. Чтенія“ 1891 г.). Между тѣмъ, прекрасная и сильная, на нашъ взглядъ, метафора Некрасова становится вполне понятной, если взять ее въ связи съ слѣдующими стихами изъ той же „Тишины“:

. . . . Надъ Русью безмятежной
 Возсталъ немолчный скрипъ тележный,
 Печальный, какъ народный стонъ;
 Русь поднялась со всѣхъ сторонъ,
 Все, что имѣла, отдавала
 И на защиту высылала
 Со всѣхъ проселочныхъ путей
 Своихъ покорныхъ сыновей...

Какъ извѣстно, изъ этихъ „покорныхъ сыновей“ лишь „немногіе вернулись съ поля“, и поэтъ имѣлъ полное основаніе сравнить съ потоками дождя слезы, пролитыя рекрутскими женами и матерями... Казалось бы, надъ чѣмъ тутъ зубоскалить?..

Некрасову по плечу,—продолжаетъ г. Марковъ,—только сказочное геройство, баснословный идиотизмъ, голубиное смиреніе, кровожадность тигра. Онъ не постигаетъ средних типовъ *). Искреннимъ мыслителемъ—поэтомъ и безпристрастнымъ наблюдателемъ—художникомъ онъ бываетъ только одинъ часъ изъ десяти натянутого и выдуманнаго сочинительства. Вина всего этого — жизнь въ кружкахъ, которые дѣйствовали не путемъ поэтического и художественнаго воспитанія общества, а—логическаго убѣжденія, научнаго знанія, практическихъ интересовъ. Подъ вліяніемъ кружковъ, Некрасовъ поднялъ знамя тенденціозной поэзіи, но, какъ все выдуманное, насильственное, какъ всякій ублюдокъ, она осуждена остаться безъ потомства: „лишенная одушевляющаго огня и искренности, какъ можетъ она холодными процедурами своего творчества зажечь божественную искру въ новомъ организмѣ?..“

Некрасовъ, по мнѣнію г. Маркова, до того тенденціозенъ, до того свылся съ необходимостью громить крѣпостное право, что чуть-ли не готовъ отрицать самый фактъ освобожденія (игриная мысль, которую охотно повторяли потомъ гг. Андреевскіе, Брановы и ихъ присные). Некрасовъ былъ поэтомъ исключительно отрицанія, отрицаніе же есть только преходящій моментъ въ творческомъ духѣ поэта были скудны элементы любви (С). Больше любви!“—укоризненно наставляетъ въ заключеніе г. Марковъ Некрасова, а кстати ужъ и „родственнаго ему“ Щедрина, умѣвшихъ только „отрицать“ и совсѣмъ не умѣвшихъ любить.

Тому, кто знаетъ Некрасова и Щедрина, конечно, нечего разъяснять, какъ много самодовольной узости и приторной фальши въ этихъ „либеральныхъ“ назиданіяхъ.

За послѣднія двадцать лѣтъ въ критику появилось мало интереснаго и интереснаго о некрасовской поэзіи. Слѣдуетъ отмѣтить развѣ только упомянутую уже статью г. Андреевскаго, въ которой много злого остроумія и красивыхъ софизмовъ, и конечный

*) Некрасовъ изображается здѣсь, какъ ультра-романтикъ. Но вся поэзія его, глубоко-реальная и правдивая, служитъ краснорѣчивымъ опроверженіемъ такого мнѣнія. Упомянемъ только объ одной сторонѣ некрасовской поэзіи, которой до сихъ поръ намъ не пришлось коснуться. Это—любовная лирика. У поэтовъ предшествовавшихъ, не исключая Пушкина и Лермонтова, любовь изображается всегда въ праздничные ея моменты, является какъ бы принаряженной и приподнятой; Некрасовъ перенесъ любовь съ неба на землю, въ обстановку будничныхъ, реальныхъ человѣческихъ отношеній; онъ рисуетъ чувства людей именно средняго, а не героическаго типа.

выводъ которой таковъ: „Вкладъ Некрасова въ вѣчную сокровищницу поэзіи гораздо меньше его славы, его имени“.

Съ середины 80-хъ годовъ, когда въ литературѣ почувлось замѣтное охлажденіе къ мужику, къ народу, и имя Некрасова все рѣже и рѣже стало мелькать на страницахъ журналовъ. Выплыли на сцену вопросы личнаго совершенствованія, личной морали; шумно прокатилась мишурная волна „эстетическаго идеализма“ и доморощеннаго декадентства... Увлеченіе марксизмомъ обѣщало, казалось, значительное отрезвленіе, — возвратъ искусства къ реализму, къ социальнымъ интересамъ, хотя и съ перенесеніемъ центра вниманія съ мужика на городского пролетарія; но тутъ случилось нѣчто странное и неожиданное: марксизмъ въ собственномъ, непримѣсномъ его видѣ почти нисколько не отразился въ нашей художественной литературѣ и въ художественной критикѣ... Заявляли о себѣ и шумѣли одни только марксисты „не настоящіе“, марксисты - индивидуалисты, марксисты-ничшеанцы, марксисты-символисты... Эти господа, понятно, не могли любить Некрасова и его простую, безхитростную поэзію, чуждую всякихъ современныхъ кривляній и вычуръ!

Къ счастью, движеніе впередъ, въ сторону все большей демократизаціи литературы и искусства, продолжается безостановочно и непрерывно, и видимые зигзаги и отступленія въ нашемъ общественномъ развитіи не имѣютъ въ послѣднемъ счетѣ особеннаго значенія. Литература у насъ не впервые отстаетъ отъ жизни, и судить о вкусахъ и настроеніи наиболѣе бодрыхъ и жизненныхъ круговъ общества по мнѣніямъ гг. Андреевскихъ, Мережковскихъ, Бердяевыхъ, Булгаковыхъ et tutti quanti,—было бы совершенно неосновательно. Некрасовъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ забытымъ и отжившимъ свое время поэтомъ. Стихотворенія его, довольно дорогія по цѣнѣ, раскупаются съ прежней, если не большей быстротою. Но если бы даже на „верхахъ“ нашей много всякихъ видовъ выдавшей интеллигенціи и, дѣйствительно, можно было подмѣтить нѣкоторое охлажденіе къ музѣ мести и печали, то жизнь съ каждымъ днемъ все замѣтнѣе выдвигаетъ впередъ новаго, свѣжаго читателя, могучаго какъ своей численностью, такъ и все побѣждающей вѣрой въ торжество свѣта и правды. Не сегодня—завтра этотъ новый читатель заполнитъ всю жизненную сцену, и никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что для Некрасова онъ явится „читателемъ-другомъ“.

Какъ ночные призраки, разлетятся тогда и растаютъ туманомъ всѣ современные „символизмы“, поиски „новой красоты“ и „новыхъ настроеній“. Жажда правды—вотъ настроеніе, которое одно имѣетъ передъ собой будущее! Свѣтлое и широкое будущее предстоитъ поэтому „Музѣ мести печали“, не устававшей твердить:

Пускай намъ говорить измѣнчивая мода,
 Что тема старая—страданія народа,
 И что поэзія забыть ее должна,—
 Не вѣрьте, юноши: не старѣетъ она!

П. Ф. Гриневичъ.

Дѣтскій трудъ и народная школа въ Германіи.

Въ современной общественной жизни есть не мало фактовъ, мимо которыхъ мы проходимъ почти не задумываясь, даже о существованіи которыхъ мы нерѣдко имѣемъ самое смутное понятіе, тогда какъ имъ суждено играть въ судьбахъ общества большую роль и отражаться, нерѣдко, на цѣлыхъ широкихъ слояхъ населенія самымъ губительнымъ образомъ. Къ числу такихъ фактовъ принадлежитъ, между прочимъ, дѣтскій промысловый трудъ. Правда, мы знаемъ, мы сплошь и рядомъ видимъ дѣтей, совершающихъ тѣ или иные работы, служащихъ „на побѣгушкахъ“, состоящихъ „въ ученіи“ въ различныхъ мастерскихъ и т. п., но все это кажется намъ или исключительнымъ, или не важнымъ, даже естественнымъ. Нѣсколько менѣе уже извѣстенъ намъ тотъ фактъ, что такихъ дѣтей, зарабатывающихъ своими нѣжными руками собственное существованіе, въ современномъ обществѣ—легіонъ, что есть цѣлая отрасль промышленности, покоющіяся преимущественно, если даже не исключительно, на дѣтскихъ спинахъ: что для такихъ лилипутовъ-рабочихъ есть свое „рабочее время“, своя „заработная плата“, даже—что всего курьезнѣе—свое „рабочее законодательство“. Еще менѣе извѣстно намъ существованіе обширной политико-экономической литературы, посвященной труду такихъ крошечныхъ общественныхъ работниковъ; столь же мало извѣстна намъ борьба интересовъ и партій изъ за того или иного рѣшенія великаго „дѣтскаго вопроса“, горячія парламентскія пренія на Западѣ, закулисныя интриги, союзы, конгрессы, съѣзды, рѣшающіе соціальныя судьбы все тѣхъ же маленькихъ существъ, которыя въ прежнія патріархальныя времена служили предметомъ заботъ лишь семьи и школы. Но наименѣе знакомъ намъ, ибо наименѣе разработанъ, вопросъ о педагогическомъ значеніи дѣтскаго промысловаго труда, т. е. о вліяніи его на физическое, умственное и нравственное развитіе подрастающихъ поколѣній, а слѣдовательно, и на духовное и матеріальное состояніе обществъ. О

дѣтскомъ общественномъ трудѣ много говорили до сихъ поръ политики и экономисты, законодатели и филантропы; даже поэты посвящали ему свои лучшія произведенія, проникнутыя священнымъ духомъ протеста и жалости. Генрихъ Гейне, напримѣръ, возмущенный судьбой рабочихъ дѣтей въ Германіи, писалъ свои извѣстныя каждому строки:

«Проклятье тебѣ, о нашъ край лицемерный,
Гдѣ въ мигъ увядаетъ цвѣтокъ полевой»...

Еще болѣе прочувствованныя строки посвятилъ дѣтямъ-работникамъ Викторъ Гюго. „Куда направляются,—спрашиваетъ онъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній,—всѣ эти дѣти, изъ которыхъ ни одно не смѣется, эти нѣжныя существа съ хмурыми лицами, изсушенные лихорадкой, эти восьмилѣтнія дѣвочки, безъ матери и надзора?.. Они идутъ, чтобы изо дня въ день, съ утра и до вечера, совершать одно и то же движеніе въ одной и той же темницѣ... *)“

Что касается педагоговъ, то лишь въ самое послѣднее время они обратили должное вниманіе на дѣтскій промысловый трудъ и стали дарить насъ серьезными изслѣдованіями, являющимися цѣннымъ вкладомъ въ современную педагогическую литературу. До введенія на Западѣ всеобщаго обязательнаго обученія, школа не испытывала на себѣ (по крайней мѣрѣ, непосредственно) всѣхъ неблагоприятныхъ послѣдствій дѣтскаго труда; массы дѣтей оставались внѣ школы, безъ всякаго образованія, и объ ихъ судьбахъ мало заботились народные учителя и педагоги. Лишь съ того самаго момента, когда всѣмъ дѣтямъ стало обязательнымъ посѣщать школы, т. е. когда возникла, такимъ образомъ, фатальная конкуренція между школой и „фабрикой“ (вообще—дѣтскимъ промысловымъ трудомъ), когда въ школы стали появляться изму-

*) Для знакомыхъ съ французскимъ языкомъ мы приводимъ здѣсь это стихотвореніе цѣликомъ:

«Où vont tous ses enfants dont pas un seul ne rit,
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit,
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules?
Ils s'en vont travailler quinze heures, sous des meules
Ils vont de l'aube au soir faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.

.....
Que ce travail, haï des mères, soi maudit!
Maudit comme le vice, où l'on s'abâtardit,
Maudit comme l'opprobre et comme le blasphème!
O Dieu! qu'il soit maudit au nom du travail même,
Au nom du vrai travail, saint, fécond, généreux
Qui fait le peuple libre et qui rend l'homme heureux».

Это стихотвореніе мы нашли цитированнымъ въ интересномъ трудѣ: «La législation de l'enfance 1789—1894», par Jacques Bonzon, Paris. 1894. p. 201.

ченныя и надорванныя маленькія существа, поневолѣ глухія къ наукѣ, лишь съ этого момента педагоги заинтересовались внѣшкольнымъ существованіемъ ребенка, и ихъ кругозоръ сталъ постепенно расширяться. Чѣмъ раньше какая-либо страна выступаетъ на путь всеобщаго обязательнаго обученія, тѣмъ раньше педагогическая мысль проникается сознаніемъ всей необходимости расширенія поля своего изслѣдованія и воздѣйствія. Неудивительно поэтому, если въ такой, напр., странѣ, какъ Германія, уже въ первую половину девятнадцатаго вѣка лучшіе педагоги начинаютъ обращать свое и общественное вниманіе на темныя стороны дѣтской жизни въ современномъ обществѣ и въ особенности на дурныя педагогическія послѣдствія дѣтскаго промысловаго труда. Конечно, все это были лишь первые, робкіе шаги, безъ всякихъ осязательныхъ результатовъ, но начало все же было сдѣлано. Первымъ педагогомъ, выступившимъ въ Германіи противъ дѣтскаго промысловаго труда во имя интересовъ дѣтской личности, былъ министръ народнаго просвѣщенія фонъ-Альтенштейнъ. Войдя въ соглашеніе съ министромъ торговли, Альтенштейнъ въ 1824 году потребовалъ обстоятельныхъ докладовъ изъ рейнской, вестфальской, силезской и саксонской провинцій по вопросу о положеніи дѣтскаго труда въ обрабатывающей промышленности. Анкета совершалась ландратами и другими правительственными лицами, составлявшими свои донесенія на основаніи показаній, данныхъ предпринимателями. Дѣти и родители не допрашивались, и все же картина, получившаяся въ результатѣ, оказалась болѣе, чѣмъ безотрадной. Германія, конечно, не была исключеніемъ въ дѣлѣ эксплуатаціи дѣтей въ эту эпоху быстрого распада натуринаго хозяйства и связаннаго съ этимъ послѣднимъ патріархальнаго строя жизни, вытѣсняемыхъ побѣдоноснымъ ходомъ капитализма. Дешевый женскій трудъ сталъ вытѣснять мужской, за матерями стали слѣдовать дѣти. Дѣтскія руки всюду оказались необходимыми для „развитія отечественной промышленности“, и эти руки стали работать на фабрикахъ и въ мастерскихъ по 14-ти часовъ въ сутки, вдали отъ родного ухода и родительской ласки, при самыхъ нечеловѣчныхъ условіяхъ. Изъ первой германской анкеты обнаружилось, что въ пѣломъ рядѣ промышленныхъ округовъ дѣти начинали работать въ 4-хъ и 5-ти лѣтнемъ возрастѣ, что ночной одиннадцатичасовой трудъ дѣтей не исключеніе, что пища ихъ истощается, главнымъ образомъ, картофелемъ, и, наконецъ, что посѣщеніе школъ совершенно пренебрегается или имѣетъ мѣсто лишь вечеромъ, да и тогда вся продолжительность ученія не превышаетъ двухъ часовъ. Нравственныя условія жизни рабочихъ-дѣтей оказались тоже неудовлетворительными. Въ докладѣ промышленнаго городка Люкенвальда, гдѣ дѣти были заняты преимущественно на хлопчатобумажныхъ фабрикахъ, указывалось на нравственный упадокъ подростающихъ

поколѣній: „молодыя сердца на фабрикахъ развращаются, духовное развитіе подавлено, моральное и религіозное чувство отравлено въ самомъ зародышѣ“. „Промышленныхъ богатствъ,—прибавлялъ докладъ,—создаваемыхъ такимъ путемъ, едва хватитъ на содержаніе необходимыхъ тюремъ и висѣлицъ“... Казалось бы, что всѣ эти данныя, дошедшія до общественнаго сознанія, должны были облегчить гуманному министру-педагогу осуществленіе поставленной имъ себѣ задачи, т. е. ограниченіе дѣтскаго промышленнаго труда; въ дѣйствительности мы видимъ иное. Противъ гуманитарныхъ стремленій фонъ-Альтенштейна министромъ торговли были выдвинуты нѣсколько иныхъ соображенія, а именно интересы прусской крупной промышленности, угрожаемой англійской конкуренціей. Отъ ограниченія дѣтской эксплуатаціи не пострадаютъ-ли интересы національной промышленности, не затормозится ли экономическій расцвѣтъ всей страны? Противъ жалобъ министра фонъ-Альтенштейна на физическое вырожденіе дѣтей, занятыхъ фабричнымъ трудомъ, были выдвинуты жалобы на чрезмѣрное школьное переутомленіе дѣтей простого народа—„истинную“ причину народнаго вырожденія; указывалось на гуманность предпринимателей, дающихъ дѣтямъ „бѣдныхъ вдовъ“ возможность заработать кусокъ насущнаго хлѣба и т. п. Министру фонъ-Альтенштейну пришлось бы окончательно отказаться отъ своихъ плановъ, если бы, спустя нѣкоторое время, ему не явилась неожиданная помощь со стороны военнаго министерства, которое было встревожено вдругъ быстрымъ сокращеніемъ контингента способныхъ носить оружіе въ округахъ съ сильнымъ развитіемъ промышленности. Такимъ образомъ, и военное министерство обратило вниманіе на чрезмѣрную эксплуатацію дѣтскаго труда на фабрикахъ и заводахъ, на быстрое изнуреніе дѣтей отъ бессонныхъ ночей и непосильныхъ задачъ. На помощь гуманности явились болѣе могущественные интересы самого государства, его инстинктъ самосохраненія, заставившій его выступить противъ предпринимательскихъ интересовъ. Благодаря этому, въ 1839 году былъ изданъ въ Германіи первый законъ въ защиту дѣтскаго труда въ промышленности обрабатывающей.

Въ нашу задачу не входитъ историческій обзоръ дѣтскаго соціальнаго законодательства въ Германіи; замѣтимъ лишь еще, что и позднѣе, въ сороковыхъ годахъ, при министрѣ Айхгорнѣ отъ министерства народнаго просвѣщенія исходила инициатива законодательнаго регулированія дѣтскаго труда на фабрикахъ и заводахъ. И мы уже видѣли выше, что такое дѣятельное вмѣшательство этого министерства въ чуждую ему, въ сущности, сферу соціальнаго законодательства и экономической жизни страны объясняется *фатальнымъ антагонизмомъ, существующимъ между всеобщимъ обязательнымъ обученіемъ и дѣтскимъ промысловымъ трудомъ*. Дѣти, допущенныя съ самыхъ раннихъ

лѣтъ на фабрики и заводы, поневолѣ избѣгаютъ обязательную школу, или являются въ нее лишь по крайнему принужденію, измученными, сонными, апатичными. Учительская дѣятельность становится при такихъ условіяхъ крайне тягостной, почти невозможной, результаты ея ничтожны. Не удивительно, если въ послѣднюю четверть истекшаго столѣтія мы замѣчаемъ среди германскихъ народныхъ учителей въ началѣ глухое недовольство, а затѣмъ, во вторую половину девяностыхъ годовъ, цѣлое планомерное движеніе въ защиту дѣтскаго труда. Всѣ прежнія попытки законодательной власти въ данномъ направленіи привели лишь къ устраненію самыхъ вопіющихъ злоупотребленій, и при томъ къ устраненію болѣе номинальному, чѣмъ фактическому. Общее социальное законодательство находилось еще въ зародышѣ, о фабричномъ инспекторатѣ не было еще и рѣчи, и развитіе народной школы продолжало тормозиться тяжелой повинностью, отбываемой дѣтьми въ пользу славы и расцвѣта молодой отечественной индустріи. Во всѣхъ слояхъ общества стало умножаться число сторонниковъ болѣе существенныхъ и энергичныхъ мѣръ въ защиту *отечественной школы* отъ узурпации индустріи. Но рѣшающее значеніе въ этомъ движеніи имѣлъ тотъ знаменательный фактъ, что въ пользу такихъ мѣръ поднялъ свой голосъ германскій учительскій союзъ, насчитывающій 86,000 членовъ. На учительскихъ сѣздахъ, въ педагогической литературѣ началась дѣятельная пропаганда въ защиту народной школы и за отмѣну „дѣтскаго рабства“. Въ 1897 году союзомъ была снаряжена грандіозная анкета, проведенная съ большимъ успѣхомъ и исключительно частными усиліями самихъ учителей. Лишь благодаря своей организованности и солидарности, германскіе народные учителя могли совершить такую небывалую работу. Исслѣдовано было трудовое положеніе 646,000 дѣтей школьнаго возраста на всемъ протяженіи Имперіи, и при томъ какъ въ промышленныхъ, такъ и въ земледѣльческихъ дистриктахъ. Конечно, не всѣ мѣстности оказались исслѣдованными анкетой, а исслѣдованныя не всегда давали полную картину дѣтскаго промысловаго труда, его истинныхъ объемовъ и послѣдствій. Во многихъ мѣстахъ учителямъ пришлось натолкнуться на трудно преодолимые препятствія, какъ, напр., на недоброжелательство предпринимателей и даже, какъ въ Саксоніи и отчасти въ Пруссіи, на враждебное отношеніе къ предпріятію со стороны мѣстныхъ педагогическихъ начальствъ. Вопросные листы, разосланные распорядительнымъ комитетомъ по адресу всѣхъ народныхъ учителей Германіи, сводились къ тремъ основнымъ пунктамъ:

- 1) Какъ велико число занятыхъ промысломъ дѣтей?
- 2) Каковы опасности, которымъ въ особенности подвергнутъ дѣтскій промысловый трудъ?

3) Въ какомъ отношеніи страдаетъ при этомъ воспитаніе какъ занятыхъ промысломъ дѣтей, такъ одновременно и въ связи съ этимъ—воспитаніе всѣхъ вообще учениковъ?

Къ вопроснымъ листкамъ были присоединены важныя разъясненія, опубликованныя также въ педагогической прессѣ (см. напр., „Pädagog Zeitung“ 1897, № 16), въ которыхъ мы находимъ, между прочимъ, необходимое разъясненіе самаго понятія „промысловый трудъ“, крайне важное для умѣлой оріентировки въ многообразіи всевозможныхъ формъ дѣтскаго труда. Подъ это понятіе подходятъ:

1) всѣ работы, исполняемыя у чужого работодателя за известное вознагражденіе (деньгами, платьемъ, харчами);

2) всѣ работы въ родительскомъ домѣ,

а) исполняемыя по чужому заказу,

б) производящія предметы, предназначаемые для продажи (при чемъ такія работы должны носить характеръ не случайный, а систематическій, профессиональный);

в) которыя, въ силу ихъ продолжительности или трудности и т. п., потребовали бы, при нормальныхъ условіяхъ, особой (т. е. чужой) помощи.

Уже изъ этого одного опредѣленія понятія дѣтскаго промысловаго труда читатель видитъ, что германская учительская анкета имѣетъ въ виду не только индустрію, но и земледѣліе, не только ремесленныя заведенія и мастерскія, но и такъ называемую домашнюю промышленность. Принципіальное значеніе такого шага было громадно, ибо до сихъ поръ если и были попытки ограниченія дѣтскаго труда, то исключительно лишь въ сферѣ фабрично-заводской; о земледѣліи, о преслѣдованіи дѣтской эксплуатаціи даже въ самыхъ нѣдрахъ родительскаго дома говорили лишь немногіе. Германскій учительскій союзъ придалъ дѣлу его настоящій, широкій характеръ, и его инициатива произвела на все общество должное впечатлѣніе. Результаты произведенной анкеты оказались во многихъ отношеніяхъ поучительными. Обнаружилось прежде всего, что число дѣтей школьнаго возраста въ Германіи, принужденныхъ непосредственно участвовать въ современной безжалостной борьбѣ за существованіе, простирается приблизительно до одного милліона, и это въ то самое время, когда по даннымъ официальной статистики 1895 г. число всѣхъ взрослыхъ въ Германіи, ненаходящихъ работы, простиралось до 770 тысячъ. Съ тѣхъ поръ безработица для взрослыхъ, вслѣдствіе экономическаго кризиса, еще болѣе усилилась. Далѣе, что касается вопроса о томъ, къ какимъ отраслямъ промышленности дѣтскій трудъ прилагается по преимуществу, то учительская анкета обнаружила, что нигдѣ этотъ трудъ не эксплуатируется въ такой степени, какъ именно въ домашней индустріи, вдали отъ недеклантныхъ взглядовъ и общественнаго

контроля. Затѣмъ слѣдуютъ земледѣльческое хозяйство и, наконецъ, крупныя фабрики и заводы. Въ общемъ, чего только не дѣлаютъ дѣти? Особенно крупныя цифры приходятся на изготовленіе дѣтскихъ игрушекъ—куколъ, мячиковъ, металлическихъ солдатиковъ, вообще, почти всего того, что такъ пестритъ въ глазахъ всякаго посѣтителя игрушечныхъ магазиновъ. Болѣе легкія работы, какъ, на примѣръ, раскрашиваніе солдатиковъ, исполняются нерѣдко 6-ти и 7-ми лѣтними дѣтьми. Много ироніи судьбы кроется въ этихъ занятіяхъ бѣдныхъ дѣтей надъ игрушками, которыми играть будутъ другія, и вполне понятна станетъ намъ тогда горечь германскаго поэта, съ болью въ сердцѣ писавшаго о томъ, что

Tausend Kinder siehst du stehen
Die still an einem Stücke drehen,
Früh alt vor Hunger und Gebrest,
Alle, die hässlich müssen leben,
Damit es Schönheit könne geben...

Кромѣ игрушечнаго дѣла, дѣти въ Германіи плетутъ кружева, носятъ кирпичъ, глазурятъ глину, формуютъ фарфоръ, рѣжутъ стекло, обжигаютъ известь, разбиваютъ гипсъ; тысячи занятій въ желѣзно-плавильномъ дѣлѣ, въ часовомъ производствѣ, въ фабрикаціи музыкальныхъ инструментовъ; десятки и сотни тысячъ на ткацко-прядильныхъ заводахъ, хлопчатобумажныхъ и папиросныхъ фабрикахъ, на кожевенныхъ заводахъ и т. д. Въ сельскомъ хозяйствѣ дѣти стерегутъ скотъ, работаютъ на табачныхъ и свекловичныхъ плантаціяхъ, собираютъ картофель. На югѣ Германіи можно лѣтомъ встрѣтить цѣлыя транспорты дѣтей, перевозимыхъ изъ одной мѣстности въ другую для работъ при собираніи жатвы. Что касается далѣе условій дѣтскаго труда и его вліянія на школу, то по даннымъ, на примѣръ, гамбургской учительской статистики оказывается, что многіе дѣти начинаютъ работать съ 6-ти, 5-ти, 4-хъ и даже (1,5%) съ трехъ часовъ утра. Работаютъ до школы, работаютъ и послѣ школы. Въ среднемъ, дѣтскій рабочій день продолжается отъ 4-хъ до 7 часовъ. Если присоединить сюда 4-хъ—5-ти часовое пребываніе въ школѣ и время, необходимое для домашняго приготовленія уроковъ, то возникаетъ вопросъ: сколько часовъ остается дѣтямъ для отдыха? Не удивительно, если при такихъ условіяхъ здоровье дѣтей оставляетъ желать многого. Процентъ „больныхъ“, „нервныхъ“, „слабыхъ“, „очень блѣдныхъ“, и т. д. въ заявленіяхъ учителей занимаетъ видное мѣсто. И не надо большой фантазіи, чтобы за сухими цифрами и краткими комментаріями учительскихъ докладовъ усмотрѣть картины большого человѣческаго горя и лишеній.

Энергичный починъ германскихъ учителей побудилъ германское правительство произвести самостоятельную анкету во всѣхъ

частяхъ имперіи, при чемъ къ содѣйствію были приглашены, между прочимъ, тѣ же учителя. Результатомъ всего этого явился проектъ закона объ ограниченіи и регламентаціи дѣтскаго труда какъ на фабрикахъ и заводахъ, такъ и въ домашней индустріи. Другими словами, германское социальное законодательство окончательно отказалось отъ индивидуалистической точки зрѣнія традиціонной юриспруденціи, запрещающей вмѣшательство общества въ область частной жизни его членовъ, и выдвинуло противоположный принципъ социальнаго права. И интересно, что ни одна изъ партій рейхстага не нашла возможнымъ протестовать противъ этой части правительственнаго проекта, запрещающей эксплуатацію не только чужихъ, но и собственныхъ дѣтей. Къ такому шагу германское законодательство было вынуждено самой жизнью. Опубликованные нѣсколько лѣтъ тому назадъ „Труды“ общества социальнѣй политики показали, что нигдѣ дѣтскій трудъ не эксплуатируется столь ужаснымъ образомъ, какъ въ обширной сферѣ домашней индустріи, и что никакія мѣры не будутъ дѣйствительными, если и въ эту темную сферу не проникнетъ свѣтъ социальнаго законодательства. Конечно, эксплуатація дѣтей родителями объясняется крайней нуждой послѣднихъ, но не можетъ быть ею оправдана и узаконена. Конечно, также, что вытекающая изъ настоящаго закона необходимость бдительнаго правительственнаго надзора надъ семейной жизнью гражданъ заключаетъ въ себѣ много неудобствъ, въ особенности если органами этого надзора будутъ являться представители полиціи, а не фабричные инспектора. Въ рейхстагѣ было высказано даже мнѣніе о желательности болѣе близкаго участія учителей въ проведеніи настоящаго закона.

Все это движеніе послѣднихъ лѣтъ въ защиту дѣтей школьнаго возраста отъ эксплуатаціи отразилось не только на педагогическихъ газетахъ и журналахъ, но и на педагогической литературѣ Германіи вообще. Возникъ вопросъ о воспитательномъ значеніи дѣтскаго промысловаго труда,—вопросъ сложный и нерѣшаемый еще во всей своей полнотѣ тѣми мѣрами, которыя намѣчаются теперь для защиты этого труда отъ злоупотребленій. До какой степени данный вопросъ сложенъ и требуетъ болѣе глубокаго педагогическаго изученія, показываетъ, напримѣръ, то обстоятельство, что первый пионеръ законодательной защиты дѣтскаго труда, Робертъ Овенъ, былъ въ то же время горячимъ сторонникомъ привлеченія дѣтей къ продуктивной работѣ. Его педагогическій идеалъ состоялъ въ томъ, чтобы воспитаніе дѣтей уже съ 8-ми лѣтняго возраста соединялось съ производительнымъ трудомъ. Съ тринадцатилѣтняго возраста дѣти должны принимать уже серьезное участіе въ обрабатывающей промышленности и земледѣліи, горныхъ промыслахъ и рыболовствѣ, при чемъ, конечно, продолжительность этого труда должна быть та-

кова, чтобы не вредить здоровью подрастающих поколѣній, а также ихъ научному образованію. Подобные же педагогическіе идеалы были также у Фурье. Дѣтскія игры, согласно ему, должны быть соединяемы съ привлекательнымъ трудомъ такимъ образомъ, чтобы дѣти могли уже съ раннихъ лѣтъ являться полезными членами общества. Въ системѣ Вильгельма Вейтлинга отведено также мѣсто такъ наз. „Schulkompanien“, въ которыхъ обученіе дѣтей соединяется съ какимъ-либо общественно-производительнымъ трудомъ, при чемъ Вейтлингъ рекомендуетъ даже приученіе дѣтей къ наиболѣе грязнымъ и отталкивающимъ работамъ. Что касается далѣе вопроса о томъ предѣльномъ возрастѣ, до котораго не должна разрѣшаться дѣтская промысловая работа, то и здѣсь мы встрѣчаемъ, даже среди несомнѣнныхъ друзей дѣтства, самыя противорѣчивыя мнѣнія и взгляды. На международномъ Цюрихскомъ конгрессѣ, созванномъ въ виду дальнѣйшаго развитія рабочаго законодательства, въ 1897 году принята была, между прочимъ, резолюція о необходимости продолжить періодъ обязательнаго посѣщенія школы до 15-ти лѣтняго возраста, съ параллельнымъ воспрещеніемъ всякаго посторонняго труда. На другихъ конгрессахъ предѣльный возрастъ повышали до 16, 18 и даже 20 лѣтъ. Противъ такихъ крайностей выступилъ въ послѣднее время, между прочимъ, извѣстный экономистъ Эдуардъ Бернштейнъ, усматривающій въ подобныхъ проектахъ черезчуръ оптимистическій взглядъ на значеніе школьнаго теоретическаго воспитанія въ духовномъ развитіи подрастающихъ поколѣній *). Существуетъ,—говоритъ онъ,—въ развитіи дѣтей извѣстный „критическій возрастъ“, тринадцать—четырнадцать лѣтъ, когда обнаруживается болѣе или менѣе явно естественная склонность дѣтей къ физическому или умственному труду. Дѣтей, не обнаруживающихъ никакихъ умственныхъ дарованій, было бы безразсудно подвергать исключительной духовной культурѣ; такимъ дѣтямъ слѣдовало бы предоставить возможность постепенно приспособляться къ какому-либо, соотвѣтствующему ихъ способностямъ, ручному труду. При этомъ Бернштейнъ ссылается на авторитетъ другого извѣстнаго германскаго экономиста **), высказавшагося въ принципѣ за соединеніе, съ самаго ранняго возраста, теоретическаго школьнаго образованія съ продуктивнымъ трудомъ на фабрикахъ и въ мастерскихъ. Марсъ ссылался при этомъ на показанія англійскихъ фабричныхъ инспекторовъ и народныхъ учителей, констатировавшихъ болѣе умственное развитіе у фабричныхъ дѣтей, лишь половину своихъ силъ удѣляющихъ школь, сравнительно съ дѣтьми, получающими только школьное

*) См. его статью: Die gewerbliche Arbeit der Jugend, въ журналѣ Die Neue Zeit, 1897—98, I Band.

**) K. Marx: «Kapital», Band I, 2 Aufl. S. 508—509.

образование. „Слишкомъ длинный и односторонній учебный день лишь увеличиваетъ безъ пользы трудъ учителей, поглощая самымъ вреднымъ образомъ время, здѣловье и энергію дѣтей“. Въ педагогическомъ идеалѣ Овена тотъ же писатель усматриваетъ зародышъ будущаго воспитанія (den Keim der Erziehung der Zukunft). Лишь такое воспитаніе, которое соединяетъ образование и гимнастику съ общественно-продуктивнымъ трудомъ, можно признать не только средствомъ усиленія общественнаго производства, но и единственно-разумнымъ методомъ производства разносторонне-развитыхъ личностей. Комментируя эти строки, Бернштейнъ замѣчаетъ еще, между прочимъ, что запрещеніе дѣтскаго труда и обязательное прохожденіе школы вплоть до 16-ти лѣтняго возраста, какъ этого хотѣли бы нѣкоторые филантропы, нельзя было бы назвать „ни разумной педагогикой, ни здравой соціальной политикой“; что же касается будущаго, то у него будутъ другіе педагогическіе идеалы. Въ послѣднее время замѣчается стремленіе ослабить односторонность школьной, чисто-теоретической выучки введеніемъ въ школу всякаго рода ручныхъ работъ. Бернштейнъ усматриваетъ, однако, въ этомъ „соединеніе несоединеннаго“. Школа не можетъ обратиться въ универсальную мастерскую, не въ состояніи вводить дѣтей въ многообразный міръ общественно-продуктивнаго труда. Не фабрики и мастерскія должны идти къ дѣтямъ, а наоборотъ дѣти въ фабрики и мастерскія, въ великій міръ практической дѣятельности, чтобы набираться умныхъ впечатлѣній, постепенно разбираться въ различныхъ отрасляхъ человѣческой промышленности, учиться, чтобы съ опредѣленнаго момента принять самостоятельное участіе въ общественномъ производствѣ.

Уже изъ вышесказаннаго можно заключить о необычайной сложности даннаго вопроса и необходимости его болѣе глубокаго изученія. Особенно важно было бы болѣе серьезное участіе *современныхъ педагоговъ* въ изслѣдованіи даннаго вопроса, такъ какъ ихъ-то онъ касается самымъ близкимъ образомъ. До сихъ поръ мы привели мнѣнія экономистовъ и филантроповъ, чтобы показать, какъ различно можно думать о столь, повидимому, простомъ вопросѣ, и какъ въ пользу дѣтскаго промысловаго труда высказываются люди, въ искренней любви которыхъ къ дѣтству никто не можетъ сомнѣваться. Обратимся теперь къ педагогамъ, или, вѣрнѣе, къ одному изъ нихъ, выпустившему недавно свой капитальный трудъ, всецѣло посвященный нашему вопросу. Педагогъ этотъ германскій народный учитель, Конрадъ Агадъ, воспользовавшійся всѣми имѣющимися данными о дѣтскомъ трудѣ въ Германіи, чтобы на основаніи ихъ разобрать всесторонне вопросъ съ точки зрѣнія педагогической. Этотъ трудъ его, озаглавленный: *Дѣтскій трудъ въ Германіи и законъ противъ*

его эксплуатации *) произвелъ на все германское общество необыкновенное впечатлѣніе. Въ рейхстагъ во время обсужденія новаго законопроекта о дѣтскомъ трудѣ, въ апрѣлѣ сего года, мало извѣстный до того времени риксдорфскій народный учитель былъ на устахъ почти всѣхъ ораторовъ; на трудъ его ссылались, какъ на важнѣйшій авторитетъ. И дѣйствительно, вся книга Конрада Агада богата не только прекрасно разработаннымъ статистическимъ матерьяломъ, но и глубокими мыслями, превосходной оріентировкой въ педагогической сторонѣ вопроса, обширнымъ личнымъ опытомъ, вдумчивымъ отношеніемъ къ народной жизни.

При всемъ томъ, Агадъ избѣгаетъ принципиальной постановки вопроса. Поскольку онъ отвлекается отъ сухихъ статистическихъ данныхъ, онъ мыслить образно, картинно, и изложеніе его принимаетъ нерѣдко беллетристическую форму. Лишь въ двухъ мѣстахъ его книги мы находимъ краткія принципиальныя замѣчанія. Такъ на стр. 89 онъ спрашиваетъ: „Возможно-ли организовать дѣтскій трудъ такимъ образомъ, чтобы сдѣлать изъ него цѣнное средство воспитанія?“ Но отвѣтъ мы получаемъ уклончивый: „Heute ist sie es nicht“, т. е. сегодня онъ не является таковымъ. „Столь много вреда связано съ нимъ,—читаемъ мы далѣе,—столь разнообразнаго, угрожающаго всему народному образованію“... Въ то же время Агадъ ссылается на резолюцію Бреславльскаго съѣзда германскихъ учителей, которая гласитъ слѣдующимъ образомъ: „Какъ ни достоинъ одобренія, самъ по себѣ, дѣтскій трудъ, какъ драгоцѣнное средство воспитанія при условіи цѣлесообразнаго подбора занятій и разумномъ руководствѣ, но какъ средство заработка, съ которымъ почти съ необходимостью связана эксплуатация силъ ребенка, онъ долженъ быть съ педагогической точки зрѣнія отвергнутъ. Необходимо осуществить его полное устраненіе въ періодъ обязательнаго прохожденія школы“. Въ послѣднемъ смыслѣ, т. е. за полное устраненіе дѣтскаго промысловаго труда, Агадъ высказывался еще на стр. 3 своего труда. Наибольшее вниманіе его сконцентрировано на отрицательныхъ явленіяхъ современной школьной жизни въ Германіи, въ связи съ дѣтскимъ трудомъ, или „на страдальческой исторіи германской школы“. Страдаетъ ученикъ, страдаетъ не менѣе учитель, принужденный работать надъ самымъ негоднымъ „человѣческимъ матерьяломъ“, т. е. съ дѣтьми усталыми, надорванными, апатичными. Значительный процентъ дѣтей является въ школу уже переутомлен-

*) *Kinderarbeit und Gesetz gegen die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft in Deutschland. Unter Berücksichtigung der Gesetzgebung des Auslandes und der Beschäftigung der Kinder in der Landwirtschaft.*—Von Konrad Agard. (Iena, 1902.)

ными, нерѣдко къ тому же съ пустымъ желудкомъ. Частыя запаздыванія, неявки, поверхностныя приготовленія уроковъ—все это тормозитъ дѣло, отъ чего страдаютъ даже тѣ школьники, которые не нуждаются въ работѣ ради куска насущнаго хлѣба. Инспекторамъ народныхъ училищъ слѣдовало бы, при оцѣнкѣ учительской дѣятельности, имѣть въ виду тѣ условія, при которыхъ народнымъ учителямъ приходится работать, когда, напримеръ, какъ въ Хемницѣ, 64—87 процентовъ всѣхъ учащихся заняты какой-либо промысловой работой. Лѣнь, сонливость, нервности, безучастность учащихся оказываются, при такихъ условіяхъ, общимъ явленіемъ. Правда, въ весьма многихъ случаяхъ работы, исполняемыя дѣтьми въ видахъ заработка, не отличаются особенной трудностью и, казалось бы, не должны особенно изнурять дѣтей. Но въ такихъ случаяхъ изнуряющимъ моментомъ является крайняя монотонность труда, одуряющая дѣтскіе умы. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ только то и дѣлать, что рѣзать нитки или ссучивать ихъ, пришивать крючки, клеить коробки, сортировать перья, вертѣть колесо,—все это работы убивающія душу и тѣло ребенка. При этомъ научиться чему-либо при такихъ работахъ дѣти не могутъ; когда они подрастаютъ, ихъ замѣняютъ другими *).

Нравственное развитіе дѣтей не менѣе страдаетъ отъ вышеуказанныхъ обстоятельствъ. Существуетъ цѣлый рядъ промысловъ, по самой своей природѣ вредно отражающихся на нравственности участвующихъ въ нихъ дѣтей. Въ скотобойняхъ, напримеръ, не должно быть мѣста дѣтямъ. Ночная уличная продажа, рестораны и распивочныя заведенія могутъ оказывать одно лишь отрицательное вліяніе на дѣтей. Кромѣ того, дѣтскій трудъ еще болѣе расшатываетъ современные и безъ того шаткіе семейные устои. „Рано, чересчуръ рано становятся всѣ эти дѣти большихъ городовъ самостоятельными. Опасный методъ воспитанія“... Нерѣдко приходится слышать, что промысловый трудъ развиваетъ въ дѣтяхъ привычку сбереженія. Конрадъ Агадъ относится къ этому съ большимъ скептицизмомъ. Если бы даже,—говоритъ онъ,—сбереженія и дѣйствительно имѣли мѣсто, то все же они окупались бы дорогой цѣной расточенія дѣтской силы. Въ какой степени дѣтскій промысловый трудъ вреденъ въ нрав-

*) На такое крайнее однообразіе дѣтской работы на фабрикахъ и въ мастерскихъ было еще раньше указано въ русской литературѣ Е. Андреевымъ, въ его книгѣ: *«Работа малолѣтнихъ въ Россіи и Зап. Европѣ»*, (Вып. I, Спб. 1884)... «Подбирать оборванные концы нитокъ и ссучивать ихъ,—читаемъ мы, между прочимъ, въ этой книгѣ,—является на фабрикахъ предѣломъ занятій дѣтей. Они при этомъ ничему не научаются, и когда они выходить изъ того возраста, когда вознагражденіемъ за такое занятіе не могутъ болѣе существовать, тогда ихъ прогоняютъ и замѣняютъ другими малолѣтними».

ственномъ отношеніи, лучше всего показываетъ уголовная статистика. Число дѣтей-преступниковъ съ каждымъ годомъ увеличивается. Агадъ справедливо замѣчаетъ, что лишь преступное легкомысліе можетъ проходить мимо того факта, что въ одной Пруссіи, въ 1899 году, было 10,759 дѣтей, получавшихъ принудительное воспитаніе въ особыхъ государственныхъ заведеніяхъ, или что въ 1897 году было присуждено къ наказанію 45,000 несовершеннолѣтнихъ. Что одной изъ причинъ такого роста числа малолѣтнихъ преступниковъ является дѣтскій промысловый трудъ, показываетъ тотъ фактъ, что, по даннымъ уголовной статистики, большинство осужденныхъ дѣтей и несовершеннолѣтнихъ работали по найму, въ качествѣ разносчиковъ, посыльныхъ, ресторанной прислуги и т. п. Противъ такого развращающаго вліянія дѣтскаго труда должна бороться народная школа, парализуемая и безъ того уже цѣлымъ рядомъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, среди которыхъ ей приходится работать. Однихъ личныхъ усилій даже самаго талантливаго и самоотверженнаго учителя недостаточно, чтобы преодолѣть тлетворное вліяніе на дѣтей всей той ядовитой атмосферы современной экономической жизни, которая пропитана духомъ борьбы и конкуренціи. Ребенокъ, появляющійся на современномъ рынкѣ труда въ поискахъ за заработкомъ, фатально обреченъ на нравственную гибель которую нельзя учитывать одними лишь цифрами уголовной статистики, хотя бы и еще болѣе краснорѣчивыми.

Разсмотримъ, наконецъ, еще вліяніе дѣтскаго труда на физическое развитіе подростающихъ поколѣній. Въ книгѣ Конрада Агада собрано много интереснаго матерьяла по данному вопросу, обнаруживающаго самыя мрачныя картины изъ дѣтской жизни въ современномъ обществѣ. Особенно интересенъ матерьялъ, относящійся къ домашней промышленности. Здѣсь раскрывается передъ нашими глазами чудовищная картина эксплуатаціи дѣтей ихъ собственными же родителями. Дѣти теперь кому не въ тягость, а тѣмъ болѣе бѣднымъ. Не успѣвъ мало-мальски окрѣпнуть ихъ хрупкій организмъ, какъ немедленно они засаживаются родителями за работу, запрягаются въ общее семейное ярмо. Новѣйшія изслѣдованія показали, что въ нѣкоторыхъ промышленныхъ округахъ, какъ, напримѣръ, въ домашней игрушечной индустріи Мейнингена, дѣти начинаютъ помогать родителямъ уже съ 4-хъ лѣтняго возраста. Пяти и шестилѣтніе „работники“ не исключеніе. Такимъ образомъ, не успѣвъ еще дойти до школы, физическіе организмы такихъ дѣтей уже подточены въ самомъ корнѣ. Ночная работа дѣтей въ домашней индустріи самое заурядное явленіе. Дѣтямъ, разносящимъ въ большихъ городахъ газеты или хлѣбъ по частнымъ квартирамъ, приходится вставать раннимъ утромъ, нерѣдко задолго до восхода солнца и подвергаться всѣмъ невзгодамъ ненастья и холода. Конрадъ

Агадъ умѣетъ разсказать по этому поводу не мало занятныхъ „сказокъ жизни“, близко знакомыхъ ему изъ его же собственной дѣятельности. Вотъ, напримѣръ, нѣкоторыя изъ нихъ:

„Въ то утро погода была отвратительная; добрый хозяинъ и собаку не выгналъ бы за порогъ. Дождь лилъ, точно изъ ведра; завывала буря. Эмиль разносилъ хлѣбъ. Тамъ, за городомъ, на разстояніи двадцати минутъ, у подъѣзда дачнаго домика звонить онъ разъ, другой, третій. Наконецъ, показывается горничная. Заспанная, беретъ она изъ рукъ дрожащаго ребенка мѣшечекъ съ хлѣбомъ и—спѣшитъ опять въ теплую еще постель. Ребенокъ бѣжитъ дальше, чтобы вовремя удовлетворить всѣхъ кліентовъ. Вверхъ, внизъ по лѣстницѣ, въ теченіе трехъ-четырехъ часовъ... Ха! забавно такъ, Эмиль?..“

„Это нравится дѣтямъ,—сказалъ мнѣ однажды одинъ господинъ, находившій довольно часто возможность наблюдать такихъ разносчиковъ хлѣба, такъ какъ онъ нерѣдко лишь на зарѣ возвращался домой... Много ли есть такихъ людей, которые не желали бы дѣтямъ сна?“

Вотъ еще картинка, изъ міра домашней индустріи:

— „Живо, дѣти!.. Завтра должно быть доставлено“...—Часы бьютъ полночь...—„Ну, Карлъ, что вытаращилъ очи, живо!“—Карлъ имѣлъ видъ еще такой крошки. И онъ былъ такъ блѣденъ... Съ какимъ наслажденіемъ онъ бы уснулъ теперь! Въмѣсто того, онъ вяжетъ шарфы, узелъ завязываетъ за узломъ... Часы бьютъ разъ. Слава Богу, гаснетъ лампа.—„Хорошо, что мы не забыли запастись керосиномъ. Карлъ, подай сюда!“—говоритъ отецъ. Ахъ, какъ радовался было мой мальчикъ, что надо было идти въ постель...—„Ну, два часа еще, и мы готовы“. И они вяжутъ, вяжутъ... Жгутъ ли глаза, ноютъ ли нѣжные пальцы,—надо вязать, вязать. Завтра должно быть доставлено; чѣмъ больше, тѣмъ лучше... Бимъ-бамъ-бамъ, бьютъ часы, быстро, какъ бы для того, чтобы не слыхалъ Карлъ.—„Ну, еще полъ-часа.. Мать, поставь-ка водку, чтобы мы не уснули. Налей мальчугану тоже рюмку! Та-акъ, Карлъ! опять сонъ прошелъ?..“ Наконецъ, въ три-четверти четвертаго идутъ спать... “

Благо еще тому ребенку, который не достигъ возраста, когда ему необходимо, *обязательно*, отбывать еще школьную повинность. Сонъ его въ противномъ случаѣ не будетъ продолжителенъ: въ семь часовъ надо подыматься и идти въ школу. Въ Германіи законъ *требуетъ идти въ школу*, и благо, что требуетъ, ибо благодаря лишь такому закону, установившему всеобщее обязательное обученіе, обнаружилась вся вопіющая несправедливость дѣтской эксплуатаціи, вызвавшая протестъ всѣхъ педагоговъ Германіи и осужденная, наконецъ, самимъ закономъ къ исчезновенію. Благодаря, главнымъ образомъ, учителямъ, дѣти Германіи будутъ съ 1-го іюля 1903 года освобождены отъ „крѣпостного рабства“ до-

машней индустріи. И дѣти и учителя вздохнуть болѣе свободной грудью, а германская школа очутится въ гораздо болѣе нормальныхъ условіяхъ своей дѣятельности, чѣмъ въ какихъ она была до сихъ поръ.

Но спрашивается: что станутъ дѣлать теперь тѣ тысячи отцовъ и матерей, которые прибѣгали къ дѣтской помощи не изъ эгоизма или жестокосердія, а въ силу крайней необходимости, подъ давленіемъ голода и лишеній? Не уменьшатся ли отъ запрещенія дѣтскаго труда семейные, и безъ того скудные, бюджеты, и не ухудшится ли, въ силу ужъ этого одного, матерьяльное и физическое положеніе тѣхъ самыхъ дѣтей, защиту которыхъ имѣетъ въ виду новый законъ? Какъ ни микроскопиченъ дѣтскій заработокъ (въ среднемъ 2—5 копѣекъ за часъ), но если его умножить на все число рабочихъ часовъ въ году и на число всѣхъ работающихъ дѣтей, то получится въ результатъ все же довольно крупная сумма въ нѣсколько десятковъ милліоновъ марокъ. До сихъ поръ этими деньгами дѣти помогали родителямъ сводить концы съ концами, и спрашивается: въ правѣ ли государство, такъ сказать, экспроприровать родителей, т. е. отымать у нихъ, и при томъ безвозмездно, одинъ изъ источниковъ существованія? Такіе и подобные вопросы слышались въ Германіи изъ устъ многихъ, и несомнѣнно, что есть въ этой странѣ не мало бѣдныхъ отцовъ и матерей, которые относятся къ закону недоброжелательно. Были даже голоса, заявлявшіе, что новый законъ приговариваетъ сотни тысячъ маленькихъ существъ къ голодной смерти, что это прямо-таки „иродово избиеніе младенцевъ“ и т. п. Особенно близко приняли къ сердцу дѣтскіе интересы германскіе предприниматели. Въ одинъ мигъ они преобразовались въ сентиментальнѣйшихъ филантроповъ, оплакивающихъ судьбы „бѣдныхъ вдовъ“, у которыхъ отымаютъ послѣднюю опору, отцовъ, въ „святыхъ“ родительскія права которыхъ произвольно вмѣшивается законодательство. И дѣйствительно, сама жизнь, казалось, говорила ихъ устами, и не только жизнь, но и здравая человѣческая логика. Въ рейхстагъ были подаваемы даже петиціи отъ рабочихъ, просившихъ отклонить законопроектъ, какъ особенно вредный ихъ интересамъ. И все же проектъ былъ принятъ, и все же въ рейхстагъ противъ него не рѣшился выступить ни одинъ голосъ. Отчего это?

Оттого, что на помощь законопроекту пришла *статистика*. Она какъ нельзя лучше показала все лицемѣріе сентиментальныхъ причитаній однихъ, всю безразсудную близорукость опасеній и жалобъ другихъ. Статистика простыми цифрами показала, что въ то время, какъ сотни тысячъ дѣтей изнываютъ надъ непосильной для нихъ работой, сотни тысячъ взрослыхъ рабочихъ, женщинъ и мужчинъ, не могутъ найти труда, увеличивая съ каждымъ го-

домъ все болѣе растущую „резервную рабочую армию“ *). Статистика показала далѣе, что какъ разъ въ тѣхъ отрасляхъ промышленности и въ тѣхъ мѣстностяхъ заработокъ взрослыхъ ниже, въ которыхъ дѣтскій трудъ распространенъ больше, и что такимъ образомъ въ дѣйствительности дѣти не помогаютъ, а лишаютъ родителей заработка, отбиваютъ работу, сбиваютъ заработную плату. Запрещеніе дѣтскаго труда, поэтому, не только не лишитъ отцовъ и „бѣдныхъ вдовъ“ тѣхъ милліоновъ, которые добывались цѣною вырожденія подростовъ поколѣній, но, наоборотъ, прибавитъ къ нимъ много другихъ, благодаря повышенію заработной платы и значительному сокращенію резервной рабочей арміи. Но всѣ эти матеріальныя соображенія, какъ они ни важны сами по себѣ, еще не составляютъ всей сути дѣла. Существованіе въ обществѣ великой дѣтской арміи наемнаго труда является не только факторомъ, ухудшающимъ матеріальныя условія жизни всего взрослого населенія; оно еще подкапывается подъ духовныя и физическія основы всякой соціальной жизни вообще. Тотъ „капиталъ“, который теряетъ общество, вслѣдствіе наличности дѣтской рабочей арміи, выражается не столько въ такой-то суммѣ марокъ, сколько въ неисчислимой суммѣ дѣтскихъ нравственныхъ, умственныхъ и физическихъ силъ, учестъ которыя не возьмется ни одинъ статистикъ. Лишь ставъ на такую точку зрѣнія, можно правильно оцѣнить все великое значеніе такихъ законовъ, какъ тотъ, о которомъ теперь идетъ рѣчь. Его надо оцѣнивать не столько рублями, сколько съ точки зрѣнія здоровой педагогики, съ точки зрѣнія духовной и физической культуры обществъ. Теперь любятъ говорить много о борьбѣ съ вырожденіемъ культурныхъ обществъ, о хилости современныхъ молодыхъ поколѣній, объ увеличеніи преступности малолѣтнихъ, стоящей государству столькохъ денегъ, но спрашивается: съ чего начинать, какъ не съ мѣръ, имѣющихъ въ виду защиту малолѣтнихъ отъ эксплуатаціи, отъ чрезмѣрнаго труда и лишеній? На этомъ настаивалъ въ свое время съ особенной силой извѣстный Жюль Симонъ, который не переставалъ рекомендовать Франціи болѣе внимательный „уходъ“ за подростовыми поколѣніями, угрожая ей въ противномъ случаѣ мрачными перспективами вырожденія. Этому вопросу онъ посвятилъ даже особый трудъ, озаглавленный: „Рабочій восьми лѣтъ“ **), гдѣ мы находимъ между прочимъ слѣдующую сатирическую картину, полную, впрочемъ, самой реальной жизненной правды:

„Представимъ себѣ, что мы приглашены на національное тор-

*) Такъ, въ 1895 году въ одной Пруссіи статистика зарегистрировала 553.000 безработныхъ. По даннымъ, относящимся къ концу 1901 года, въ одномъ Берлинѣ съ пригородами оказалось болѣе 100 тысячъ безработныхъ

**) Jules Simon: L'ouvrier de huit ans; 4-me edition. Paris 1867 p. 57 -59.

жество, въ родѣ тѣхъ, которыя были въ такомъ обычаѣ въ древней Греціи, т. е. на праздникъ французской молодежи. Прекрасный возрастъ въ своемъ расцвѣтѣ, весна отчизны, какъ говорили афиняне, должна распуститься передъ нашими глазами. Всѣ молодые люди, перешедшіе за двадцатилѣтній возрастъ, которыхъ станутъ привѣтствовать именемъ „мужчинъ“, собраны тамъ, въ числѣ 325.000, и церемоніальный маршъ начинается. Вотъ впереди всѣхъ въ качествѣ авангарда, тѣ, которыхъ объемъ груди не отвѣчаетъ требованіямъ военной службы; таковыхъ имѣется 18,106 *). Вторая группа, куда вошли всѣ вообще слабые по тѣлосложенію, а также рахитики и чахоточные, представляетъ сама по себѣ цѣлую армію изъ 30,524 человекъ. За ними слѣдуютъ хромыя и изувѣченные отъ рожденія или отъ несчастнаго случая, къ которымъ присоединили всѣхъ, страдающихъ растяженіемъ венъ, ревматизмомъ, грыжей, всего 15,988 молодыхъ людей. Горбуны, криво- и плосконогіе образуютъ самостоятельную группу въ 9,100 человекъ. Тѣ, у которыхъ повреждены какой-либо органъ чувствъ, зрѣніе, слухъ, обоняніе, являются въ числѣ 6.934. Какой-то странный шумъ, вродѣ жужжанія или пришептыванія, свидѣтельствуетъ о дефилированнѣй заикъ, которыхъ я насчитываю 963, и беззубыхъ 4,108. Далѣе слѣдуетъ цѣлая фаланга въ 5,114 человекъ, все молодыхъ людей, страдающихъ послѣдствіями ранняго разврата. Теперь отведемъ глаза, чтобы не видѣть 2,529 несчастныхъ юношей пораженныхъ болѣзнями кожи. Ихъ смѣняютъ (печальное зрѣлище!) 5,213 страдающихъ зобомъ и золотушныхъ, а также, что не менѣе печально, 2,158 несчастныхъ, у которыхъ поврежденіе нервной системы сказывается въ параличѣ, въ конвульсіяхъ, въ эпилепсін, безуміи или кретинизмѣ. Проходитъ, наконецъ, послѣдняя группа въ 8,236 человекъ, куда вошли всѣ остальные формы болѣзней и патологическихъ аномалій. На этомъ смотрѣ самому прекрасному возрасту жизни мы уже насчитали болѣе 109,000 существъ больныхъ и изувѣченныхъ. Чувствуется, наконецъ, потребность вздохнуть свободно и разсѣяться видомъ здоровой и мужественной молодежи: она представлена здѣсь въ количествѣ 216,000 молодыхъ юношей, вступившихъ въ свой двадцать первый годъ здоровыми какъ тѣломъ, такъ и душой“...

Такова картина человѣческаго вырожденія, созданная не фантазіей, а начертанная въ строгомъ соотвѣтствіи съ детальнымъ военно-медицинскимъ изслѣдованіемъ всѣхъ призываемыхъ ежегодно къ отбыванію воинской повинности во Франціи. Цѣлая

*) Какъ извѣстно, военныя требованія во Франціи (да и въ другихъ странахъ) по отношенію къ груди постоянно понижаются: въ 1701 г. при Людовикѣ XIV миним. требованіе было 1 метръ 624 мм.; въ 1818 г. 1 м. 576 мм. а по декрету 1860 г. всего лишь 1 м. 560 мм.

треть призываемой молодежи, громадная армия въ 109,000 чело-
вѣкъ, оказывается въ физическомъ отношеніи негодной, забра-
кованной. Есть надъ чѣмъ призадуматься...

Конечно, не одинъ лишь дѣтскій трудъ является причиной
такого изуродованія, но изъ всего предыдущаго можно съ увѣ-
ренностью заключить, что онъ играетъ не послѣднюю роль въ
процессѣ вырожденія. Въ Италіи можно среди нищихъ встрѣтить
дѣтей, работавшихъ въ сѣрныхъ копяхъ Сициліи: въ 12—14 лѣтъ
они становятся негодными ни къ какому труду, почти что
калѣками.

Всѣ эти соображенія не менѣе важны, чѣмъ близорукія или
неискреннія жалобы на участь „вдовъ“, живущихъ трудомъ
своихъ дѣтей. Дайте подростки этимъ дѣтямъ, набраться кое-ка-
кихъ знаній и силъ, и тогда вы получите здоровыхъ работни-
ковъ, дѣйствительную опору престарѣлыхъ родителей.

Ну, а „права родительскія“, ограниченіе свободы отцовъ и
матерей въ распоряженіи своимъ ребенкомъ, необходимо связан-
ное съ закономъ? Не подрываетъ ли подобное законодательство
родительскій авторитетъ, а вмѣстѣ съ нимъ и нравственные устои
семейной жизни?

На это можно отвѣтить, что если печальную необходимость,
заставляющую родителей эксплуатировать своихъ дѣтей, называть
„свободой“, то несомнѣнно, *такая* свобода потерпитъ значитель-
ное ограниченіе. Если предполагать, что родители совершенно
свободно заставляютъ своихъ дѣтей не спать по ночамъ и изны-
вать надъ непосильной работой, то да, *такая* свобода исчезнетъ
вскорѣ изъ жизни Германіи. Но кто рѣшится жалѣть объ этомъ?
Кто можетъ думать, что истинная свобода заключается въ лютой
нѣволѣ? Не вѣрнѣе ли усматривать въ новомъ германскомъ за-
конѣ, наоборотъ, освобожденіе отцовъ и матерей отъ печальной
необходимости и освобожденіе дѣтей отъ „бременъ неудобноноси-
мыхъ“? Конечно, есть не мало въ Германіи отцовъ семейства,
которые будутъ чувствовать себя стѣсненными новымъ закономъ,
но по поводу такихъ отцовъ можно сказать словами Геринга:
„если волки требуютъ свободы, то это понятно; но если имъ на-
чинаютъ вторить и овцы, то этимъ онѣ доказываютъ лишь, что
онѣ овцы на самомъ дѣлѣ“. Время умудряетъ, однако, даже и
и овецъ, и можно надѣяться, что благотворные результаты, ко-
торые не замедлятъ обнаружиться вскорѣ послѣ осуществленія
закона въ жизни, убѣдятъ даже самыхъ упорныхъ скептиковъ,
что иного пути къ „свободѣ“, помимо дальнѣйшаго развитія го-
сударственной интервенціи въ сферу современныхъ экономиче-
скихъ отношеній, нѣтъ и быть не можетъ.

Какое важное значеніе имѣетъ такое государственное покрови-
тельство для школы и воспитанія молодежи, показываетъ то
всеобщее ликованіе, съ которымъ германскіе народные учителя

встрѣтили принятіе правительственнаго законопроекта рейхстагомъ. Недавній учительскій конгрессъ въ Хемницѣ единодушно принялъ резолюцію, выражающую имперскому правительству „глубочайшую признательность за внесеніе въ рейхстагъ закона объ ограниченіи промышленнаго труда малолѣтнихъ“. И понятно: учить изможденныхъ, нервныхъ, сонливыхъ и отупѣвшихъ дѣтей куда не радость, въ то время, какъ учить живыхъ, здоровыхъ, впечатлительныхъ дѣтей высокое наслажденіе. Противъ дѣтской лѣни предлагали было не такъ давно бороться гипнотизмомъ; германскіе же учителя, своей гуманной и дальновидной инициативой, стали бороться съ дѣтской „лѣнью“ инымъ, болѣе рациональнымъ способомъ, путемъ защиты дѣтства отъ промышленной эксплуатаціи, и тѣмъ самымъ показали, какой большой шагъ впередъ сдѣлали они по пути пониманія всѣхъ, близко касающихся ихъ, педагогическихъ и общественныхъ феноменовъ.

Но при всемъ своемъ ликованіи по поводу новаго закона, германскіе народные учителя не забыли указать на кое-какіе его существенные недостатки. Дѣло въ томъ, что, согласно этому закону, дѣтскій трудъ подлежитъ исчезновенію и регламентаціи лишь на фабрикахъ и заводахъ, да еще въ обширной области домашняго производства. Земледѣліе, сельское хозяйство остаются на старомъ положеніи, и дѣти крестьянъ станутъ и впредь работать въ имѣніяхъ землевладѣльцевъ и на поляхъ самихъ крестьянъ. Между тѣмъ, по общему мнѣнію учителей, работающих преимущественно въ земледѣльческихъ округахъ, дѣтскій трудъ въ сельскихъ хозяйствахъ отнюдь не менѣе изнурителенъ, чѣмъ въ другихъ отрасляхъ промышленности, и въ силу этого значительно тормозитъ нормальное теченіе школьной жизни въ деревнѣ. Сельскіе учителя прусской провинціи Помераніи работаютъ теперь надъ новой анкетой, имѣющей въ виду изслѣдованіе дѣтскаго труда въ сельскомъ хозяйствѣ съ точки зрѣнія интересовъ школы. Кое-какіе результаты этой анкеты опубликованы уже въ педагогической прессѣ Пруссіи и истолкованы Конрадомъ Агадомъ для своего труда. Изъ нихъ мы узнаемъ много новаго о педагогическихъ условіяхъ развитія молодого деревенскаго населенія, много такого, что способно освободить насъ отъ нѣкоторыхъ легкомысленныхъ иллюзій по части деревенской жизни и сельскаго труда. Читатель помнитъ удивительный по своей художественности рассказъ Тургенева: *Въѣзжінъ лугъ*. Какіе заманчивые образы, какія веселыя картины и идиллическіе эпизоды! Ничего подобнаго мы не находимъ въ тѣхъ картинахъ, которыя живописуютъ намъ германскіе учителя. Ваятъ, хотя бы, напримѣръ, поэтическую фигуру деревенскаго пастушка. Намъ этотъ образъ рисуется обыкновенно въ радужныхъ перспективахъ чисто-аркадской идилліи, среди благоухающихъ полей, на вольномъ воздухѣ, играющимъ на свирѣли, или „сопилкѣ“.

Какъ завидна, повидимому, его доля, какъ благопріятны всѣ условія его „свободнаго“, физическаго и духовнаго развитія... Конрадъ Агадъ ничего объ этомъ не знаетъ. Съ пастухами онъ былъ знакомъ лично, училъ многихъ изъ нихъ, и посвящаетъ даже имъ въ своей книгѣ особую главу, подъ названіемъ: Was ist denn eigentlich ein Hütejunge? Да, *что такое въ сущности пастухъ?* чему онъ учится? каковы гигіеническія и нравственныя условія его жизни? На эти вопросы Агадъ отвѣчаетъ прежде всего „живой картинкой“: онѣ, эти „картинки“ врѣзались, очевидно, глубоко въ его впечатлительную душу:

„Восхитительная это жизнь! Въ половинѣ девятого онъ выходитъ уже изъ школы. Кудекъ наполненъ женой крестьянина. Весело щелкаетъ длинный пастушій кнутъ. Птичка поетъ. Горячіе лучи солнца какъ бы отскакиваютъ отъ головы Франца...“ Наконецъ, поле. Дѣлать нечего. „Францъ штудируетъ въ какой моментъ „пеструха“ должна бросить теленка. Быку онъ посвящаетъ свое особенное вниманіе...

— Каро, возьми! К-ссь, возьми!

Каро не слушается. Францъ взмахиваетъ свой бегемотовскій бичъ,—и вой собаки настоящая музыка въ ушахъ мальчугана. Онъ терзаетъ животное до пресыщенія.

Что ему затѣмъ дѣлать?

Вотъ поперекъ ползетъ лягушка. Бѣдное животное!.. Францъ беретъ соломину и вздуваетъ лягушку.

Вслѣдъ за тѣмъ вниманіе его привлекается пѣніемъ птицъ въ ближайшемъ рву. Не поставитъ-ли силки? И въ самомъ дѣлѣ!.. Вотъ попадается ему мухоклѣвка, но съ раздробленными ножками, горихвостка и краснозобка, но съ разбитыми крыльями. Ну, досада! Наконецъ, поймалъ онъ щегленка, за котораго его другъ обѣщалъ дать ему двадцать пфениговъ, но — не умна птичка. А отъ хромыхъ и разбитыхъ птицъ какая польза? Онъ отпускаетъ ихъ... Но силки ставятся заново.

Ну, что это? Коровы забѣжали на лугъ сосѣда. За такую небрежность наказывается, естественно, не кто другой, какъ все тотъ же Каро.

Проглотивши кубически почти неизмѣримый кусокъ хлѣба съ масломъ, садится нашъ Францъ за духовную пищу. Беретъ въ руки библію и учитъ наизусть тексты для конфирмаціи (т. е. перваго причастія, по протестантскому обычаю. Е. Л.). Занятіе это ему, однако, не особенно нравится, тѣмъ болѣе, что бытъ ему мѣшаетъ... *Въ концѣ концовъ и въ общемъ итогъ: праздность, безчувственность, грубость, терзаніе животныхъ, чрезмѣрное отягощеніе желудка, чувственность.*

И таково мнѣніе не одного Конрада Агада. Въ „Прусской Учительской Газетѣ“ еще въ 1896 году были собраны интересныя данныя о положеніи школьниковъ-пастуховъ въ деревнѣ, под-

тверждающія сказанное Агадомъ. Есть деревни, гдѣ всѣ школьники исполняютъ лѣтомъ пастушьи обязанности и проводятъ въ полѣ дни за днями безъ всякаго руководства и надзора. Изъ Мекленбурга сообщаютъ, что, какъ показываетъ долготѣтній опытъ, „дѣти-пастухи растутъ въ полномъ забросѣ и грубѣютъ; свобода на полѣ и, въ особенности, общеніе съ холостыми батраками и наемниками вліяютъ на нихъ развращающимъ образомъ. Спятъ они почти всегда вмѣстѣ съ челядью, въ однихъ и тѣхъ же помѣщеніяхъ, и бываютъ нерѣдко свидѣтелями самыхъ грязныхъ пороковъ...“ И т. д. Гигіеническія условія жизни такихъ дѣтей не менѣе тяжки. „Лѣтомъ ихъ будятъ вмѣстѣ съ восходомъ солнца, т. е. въ 4 или 5 часовъ утра, и, не давъ ничего поѣсть, заставляютъ гнать скотъ на ближайшій лугъ, гдѣ они остаются до 6½ часовъ. Затѣмъ они спѣшатъ домой, завтракаютъ на скорую руку и бѣгутъ въ школу, при чемъ инымъ приходится пробѣжать разстояніе до 3½ километровъ.“ При такихъ условіяхъ неудивительно, если въ школѣ, во время занятій, то и дѣло засыпаютъ дѣти, нерѣдко по десяти заразъ. Въ виду всего этого, въ нѣкоторыхъ, правда, весьма еще немногихъ, частяхъ Германіи мѣстныя правительства начинаютъ принимать кое-какія частичныя мѣры для регламентаціи пастушьяго труда, des Hütewesens, въ интересахъ дѣтей и школы. Однѣ изъ этихъ мѣръ сводятся къ устраненію отъ пастушескихъ обязанностей всѣхъ дѣвушекъ, проходящихъ школу; другія—къ запрещенію пастушества всѣмъ мальчикамъ, не достигшимъ одиннадцатилѣтняго возраста и т. п. Всего этого, конечно, еще недостаточно. Какъ вредно отражается пастушество на здоровьѣ дѣтей, свидѣтельствуемъ, между прочимъ, одинъ врачъ изъ Грауденца, узнавшій въ общей толпѣ деревенскихъ дѣтей тѣхъ, которые стерегли скотъ, по ихъ общему изможденному и одичавшему виду.

Но пастушествомъ не исчерпывается дѣтскій трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Дѣти нанимаются, нерѣдко цѣлыми партіями, въ имѣнія землевладѣльцевъ для исполненія разныхъ другихъ работъ, какъ наприм., для корчеванія картофеля, собиранія сѣна, ухода за скотомъ, собиранія съ полей камней, затѣмъ для работъ на свекловичныхъ плантаціяхъ. Рабочій день продолжается десять и болѣе часовъ. Какъ все это вліяетъ на здоровье и умственное развитіе дѣтей, можно заключить по такому, наприм., увѣренію „Нѣмецкой Учительской Газеты“: „Когда дѣтямъ, по окончаніи т. наз. свекловичныхъ вакацій, опять приходится посѣщать школу, то они оказываются тупыми, глупыми и совершенно истощенными.“ Отъ чего, опять-таки, страдаютъ учителя, страдаетъ школа, а „общее обязательное обученіе“ дѣлается лишь мертвой буквой.

Конрадъ Агадъ и германскіе народные учителя прекрасно, конечно, знаютъ, что при яныхъ условіяхъ сельско-хозяйствен-

ныя занятія дѣтей могли бы принести большую пользу и служить не тормазомъ народной школы, а, наоборотъ, ея гармоническимъ дополненіемъ. Но для этого они должны потерять, прежде всего, свой наемный характеръ, обращающій дѣтскій трудъ въ настоящую язву народной жизни. Надо прежде всего освободить дѣтей отъ батрачества, а тогда можно уже будетъ подумать о новой ближайшей задачѣ, т. е. о соединеніи, разумномъ и совпадающемъ съ педагогическими идеалами соединеніи дѣтскаго теоретическаго образованія съ практической школой общественно-полезнаго труда.

Такъ, по крайней мѣрѣ, понимаетъ свои общественныя задачи германскій народный учитель.

Евгеній Лозинскій.

НОВЫЯ КНИГИ.

Friedrich Fiedler. Gedichte von Nikolai Alexeiewitsch Nekrasow. Im Versmass des Originals. Leipzig.

Къ двадцатипятилѣтней годовщинѣ смерти Некрасова г. Фидлеръ посвящаетъ памяти поэта одно изъ наиболѣе умістныхъ и желательныхъ приношеній, какія возможны въ этомъ случаѣ: работу надъ его произведеніями.

Некрасова не знаютъ на западѣ, и любимымъ поэтомъ онъ тамъ не будетъ; но лирика его нуждается въ переводахъ. Какъ ни законенъ интересъ къ новой русской литературѣ, вспыхнувшій въ послѣдніе годы на западѣ, его нельзя не признать одностороннимъ и подчасъ случайнымъ. Ближайшіе предшественники и учителя тѣхъ, къ кому зачитывается европейскій читатель, ему неизвѣстны, и онъ невольно то переноситъ на индивидуальность отдѣльнаго писателя черты, свойственныя цѣлому направленію, школѣ, а то и всей литературѣ, то, наоборотъ, принимаетъ за національныя особенности случайныя свойства писательской личности. Людямъ, выросшимъ въ атмосферѣ непрерывной литературной традиціи и сравнительно увѣренно разбирающимся въ ея новыхъ явленіяхъ, даже трудно себѣ представить, какъ глубоко можетъ быть непониманіе даже посвященнаго европейца въ этой области. Да, Европа знаетъ теперь кой что въ русской литературѣ: она читаетъ трехъ классиковъ русскаго романа и трехъ-четырехъ молодыхъ беллетристовъ; но за этимъ ограниченнымъ кругомъ—бездна незнанія. Виновата здѣсь не одно отсутствіе переводовъ. „Господа Головлевы“ переведены давно на нѣмецкій,

а кто говорить и знаетъ о нихъ въ Германіи? Виновата въ значительной степени мода; переводчики жадно набрасываются на Леонида Андреева—съ Успенскимъ и опыта никто не сдѣлаетъ; а можно бы.

Съ этой стороны систематичность и послѣдовательность г. Фидлера заслуживаетъ полного сочувствія. Постепенно, шагъ за шагомъ, онъ передаетъ нѣмецкому читателю всё сокровища нашей лирики, отъ ея классиковъ до *poetae minores*, отъ парнасцевъ до философовъ, отъ безыдейныхъ жрецовъ красоты до страстныхъ печальниковъ народнаго горя, отъ Пушкина до Фофанова, отъ Майкова до Некрасова, отъ Никитина до П. Я. Не все удастся ему въ равной степени и, быть можетъ, лучшей его работой остаются его старые переводы изъ Кольцова, но онъ сохраняетъ формы подлинника и вѣренъ его буквѣ. Было бы пріятно, если бы русская лирика нашла такихъ же внимательныхъ истолкователей и въ другихъ европейскихъ литературахъ.

Переводы изъ Некрасова удовлетворяютъ читателей менѣе, чѣмъ прежнія работы г. Фидлера. Прежде всего ихъ удивитъ выборъ переводчика. Конечно, поэтъ-переводчикъ имѣетъ право и обязанность считаться съ прихотями своего вдохновенія. Но надо, чтобъ это было въ самомъ дѣлѣ вдохновеніе, проявленное въ томъ, что переведено. Затѣмъ, когда иностранному читателю представляютъ собраніе переводовъ изъ Некрасова, гдѣ есть такіа, сравнительно, второстепенныя вещи, какъ „Огородникъ“, „Нравственный человѣкъ“, „Филантропъ“, „Что думаетъ старуха, когда ей не спится“, „Каллистратъ“ и т. п., а взамѣнъ этого нѣтъ ни „Власа“, ни „Школьника“, ни „Крестьянскихъ дѣтей“, ни „Желѣзной дороги“, ни „Орины“, ни „Дядюшки Якова“, ни „Эй Ивана“, то мы вправѣ задать себѣ вопросъ: да вынесетъ ли иностранецъ изъ этого сборника надлежащее и достаточно полное впечатлѣніе о Некрасовѣ? Не желая предъявлять къ переводчику слишкомъ тяжелыя требованія, мы лишь мимоходомъ отмѣтимъ, что ему пришлось оставить въ сторонѣ такіа капитальныя произведенія, какъ „Коробейники“, „Морозъ—Красный носъ“, „Дѣдушка“ (изъ поэмъ переведена одна „Саша“). Но невозможно считать полно представленной лирику Некрасова въ сборникѣ, гдѣ нѣтъ такихъ популярныхъ и первостепенно важныхъ для его характеристики стихотвореній, какъ „Ѣду ли ночью“, „Памяти пріятеля“, „Элегія“ (посв. Еракову) „Праздникъ жизни—молодости годы“, „Горящіа письма“, „...одинокій, потерянный“, „Неизвѣстному другу“, „Что ни годъ уменьшаются силы“, „Не рыдай такъ безумно надъ нимъ“. Конечно, эти пропуски не такъ ужъ значительны, если сопоставить ихъ съ тѣмъ, что переведено; здѣсь есть—упоминаемъ только о самомъ важномъ—и „Рыцарь на часъ“, и „Размышленіе у параднаго подъѣзда“, и „Убогая и нарядная“ и многое другое. Но переведено это, надо сказать правду не по преж-

нему. Если причина этого въ томъ, что поднялись наши требованія, то заслуга этого воспитанія вкуса принадлежит г. Фидлеру; такъ или иначе новая книжка его переводовъ производит не бывшее удивительное впечатлѣніе. Переводчикъ какъ будто усталъ; выборомъ его, очевидно, руководить не столько сочувственное переживаніе настроеній переводимаго поэта, сколько случайности выраженія формы, ритма; такъ онъ охотнѣе всего переводить вещи, написанныя рифмованными двустипшіями, потому что они ему сподручнѣе; иначе онъ, конечно, предпочелъ бы „Сашѣ“ что-нибудь болѣе яркое. По силѣ выраженія онъ ужъ не сравнивается съ подлинникомъ, всегда ослабляя его впечатлѣнія и давая общія мѣста вмѣсто его конкретныхъ образовъ. Онъ остается на уровнѣ добросовѣстности, не подымаясь до вдохновения. Здѣсь былъ бы особенно правъ нѣмецкій критикъ, который недавно—по случаю второго изданія „Русскаго Парнаса“ г. Фидлера,—говорилъ, что всѣ стихотворенія разнообразныхъ русскихъ поэтовъ отъ Ломоносова до Мережковского, переведенныя здѣсь, ослаблены въ своемъ своеобразіи—„haben mehr oder minder Fiedlersches Blut in sich“.

Точность также заставляетъ желать. Не говоря о постоянномъ преклоненіи предъ буквой и формой, которое мы не разъ ужъ должны были ставить въ упрекъ переводчику, о томъ, что онъ слишкомъ часто жертвуетъ тономъ и духомъ подлинника удобству,—онъ измѣняетъ его въ деталяхъ тамъ, гдѣ въ этомъ нѣтъ внутренней потребности. „Какъ женщину, ты родину любишь“ произвольно передано „Die Heimat bot dir für das Weib Ersatz“ (родина замѣняла тебѣ женщину); „Покорись, о ничтожное племя“ переведено „Сдайтесь и отдайте оружіе, знаменосцы позора“ („Ergebt euch und strecket die Waffen, ihr, Bannerträger der Schmach“); къ характеристикѣ матери поэта въ „Рыцарѣ на часъ“ переводчикъ прибавляетъ Ein Engel in Menschengestalt (ангелъ въ образѣ человѣческомъ): образъ избитый, едва-ли умѣстный въ передачѣ Некрасова. Нѣсколько разъ переводчикъ, вводя новые образы, вводитъ съ ними противорѣчія, которыхъ у Некрасова нѣтъ. „Въ „Отрывкѣ“ словамъ „Предаваться мечтамъ и страстямъ“ у него соотвѣтствуетъ „Schlafen auf des Lebens berauschem Fest“ (спать на упоительномъ пиршествѣ жизни); ну, кто-же спитъ на пиршествѣ? Въ стихотвореніи „Замолкни муза мести и печали“ у Некрасова небо омрачаетъ путь ненастьемъ и грозой; въ переводѣ небо также темно, но при этомъ сверкаютъ молніи.

„Нарядная“ у Некрасова „нагло торгуетъ чувствомъ матери“, у переводчика попроще—„mit den heiligen Mutterbrüsten“; ея „бриллианты, цвѣты, кружева“ (въ переводѣ неопредѣленные Putz и Geschmeide), лишь „доводяція умъ до восторга“, могутъ—такъ кажется переводчику—„разбудить мертвыхъ“. Некрасовъ говорить объ „убогой“—„разспросимъ ее“; переводъ прибавляетъ

„просто, съ состраданіемъ“; у Некрасова отъ нея попросту „отхлынули прочь“; у переводчика—„mit Ekelgebärden“. У Некрасова „черноморская волна *уныло* въ берегъ славы плещетъ“; въ переводѣ „so blutig rot, so schwer, so dunkel“. Наконецъ, знаменитая характеристика поэта-обличителя

Онъ проповѣдуетъ любовь
Враждебнымъ словомъ отрицанья—

получила въ переводѣ совсѣмъ превратное истолкованіе:

Und feindliche Verneinung spricht
Aus seiner Liebe reinen Lehren.

Мы привыкли думать, что отрицаніе въ бичующей поэзіи есть форма, въ которой проповѣдуются любовь; въ переводѣ „враждебное отрицаніе говоритъ изъ его чистыхъ ученій любви“; нельзя сказать, чтобъ это было тоже самое. Значеніе этихъ примѣровъ не должно быть преувеличиваемо—многое въ книжкѣ не вызываетъ такихъ замѣчаній; но желательно, чтобы и этого не было: если ужъ жертвовать кой чѣмъ важнымъ буквальной точности, то надо ее соблюдать со всею возможной строгостью.”

А. Л. Мирополюскій. „Лѣствица“. Поэма въ VII главахъ, Книгоиздательство «Скорпионъ». Москва. 1903.

Неотвратимое свершилось: московскіе символисты сдѣлались спиритами. Лѣтопись современной русской жизни едва ли представитъ болѣе разительный примѣръ душевной смуты, порожденной не однимъ недавнимъ прошлымъ, чѣмъ судьба этихъ задорныхъ и забавныхъ, сомнительныхъ и незначительныхъ, наивныхъ и кривляющихся юношей. Они подошли къ сознательной жизни въ тяжелое время „сумерекъ боговъ“; безпомощные и алчущіе вѣры, они немножко пометались и тутъ же наткнулись на чудище, которому предали духъ свой—предали безъ остатка, съ самозабвеніемъ неофитовъ, безъ попытки критики или синтеза. Не поучившись, они стали учить. Всѣ помнятъ—ибо успѣхъ скандала имѣли эти ребячества—первые опыты московскихъ символистовъ: эти стихотворенія въ видѣ ромба, эти „непонятныя вазы“ и „ледяныя аллеи“ и, наконецъ, эту безсмертную пародію на поэзію и здравый смыслъ: напечатанное на отдѣльной страницѣ „О, закрой свои блѣдныя ноги“. Гомерическій хохотъ пронесся по всей русской литературѣ: отъ Буренина до Влад. Соловьева, отъ Розанова до Михайловскаго—всѣ почтили это произведеніе всѣми родами насмѣшки—кромѣ одного: пародіи оно не поддавалось.

Сказать къ слову, оно не такъ нелѣпо, какъ кажется; мы слышали недавно его удовлетворительное поясненіе и надо при-

знать, что необходимый заголовокъ устранилъ бы всё насмѣшливое: стихотвореніе это обращено къ Распятію. Но это осталось тайной кучки посвященныхъ—какъ и смыслъ прочихъ ихъ произведеній. Этого и должно было ожидать: понятое, это „стихотвореніе“ становилось въ рядъ незамѣтныхъ банальностей: его затемнили, чтобы épater le bourgeois и привлечь вниманіе. Такимъ искусственными средствами была достигнута та оригинальность, которой недоставало творчеству. Печать подражательности и надуманности лежала на всемъ — отъ внѣшняго вида книжекъ до сексуально-мистическихъ темъ; все это было чужое, болѣе сознательное, даже болѣе умное, чѣмъ казалось, но лишенное тѣни внутренней самобытности. Было все: туманные стихи и несвязные манифесты, сжиганіе боговъ и разрывъ съ традиціей, была отвага дѣтей, которымъ нечего терять, и категоричность умовъ несложныхъ и несвѣдущихъ; не было одного: творчества.

Нѣтъ его и въ новой ступени, къ которой пришли московскіе искатели на своемъ прямолинейномъ пути къ истинѣ, ни въ произведеніяхъ, сообщающихъ о послѣднихъ формахъ и результатахъ ихъ исканій. Къ спиритизму они должны были придти; здѣсь есть Wahlverwandschaft. Какъ и они, онъ мистиченъ только по оболочкѣ и насквозь рационаленъ по существу. И вступительная статья Валерія Брюсова, съ обычнымъ желаніемъ „проявить свое своеволие“ и ходить вверхъ ногами названная „Ко всемъ, кто ищетъ. Какъ предисловіе“, начинается лапидарнымъ: „Я хочу говорить здѣсь о спиритизмѣ“. И онъ говоритъ — вещи общезвѣстныя или ненужныя. Какъ матеріалъ для его характеристики, какъ человѣческій документъ, это предисловіе занято, но поучительнаго въ немъ мало. Здѣсь выражается сожалѣніе о томъ, что люди, причастные новому искусству, „читаютъ Плотина, прочтутъ записки святой Терезы, можетъ быть, о процессахъ вѣдьмъ, но не станутъ читать ничего изъ бібліотеки по спиритизму ни Аксакова, ни Дю-Преля, ни Ходсона, ни Барадюка“; здѣсь говорится, что господство позитивной науки проходить, что всё мы порываемся за предѣлы, что величайшимъ духовидцемъ послѣ Сведенборга надо признать Андрю Дэвиса, который еще живъ, что „всѣ медиумическіе факты образуютъ строго систематизированное цѣлое, если въ основаніе его положить проявленіе личности умершихъ, и напротивъ, взявъ для объясненія исходной точкой духовныя силы живыхъ людей, мы получаемъ беспорядокъ, хаосъ, не подчиняющійся систематизаціи“. Не говорится лишь ничего о „Лѣствицѣ“, которой предпослано это спиритическое предувѣдомленіе; да и что о ней сказать? У г. Брюсова при всѣхъ его курбетахъ достаточно вкуса, чтобы молчать объ этой поэмѣ. Она ничтожна, какъ дѣтское упражненіе въ поэзи. Содержаніе ея, разсудочно фантастическое, поддается легко передачѣ, но не стоитъ ея. Вся она вѣшняя, поверхностная

вся изъ чужихъ словъ: нѣчто діаметрально противоположное тому исканію, которое характеризуетъ настоящую поэзію; въ ней нѣтъ ни одного дѣйствительно поэтичнаго образа, ни одного свѣжаго и сильнаго движенія; она прозаична, какъ школьная этимологія. Новой поэзіи полагаются новыя ощущенія и за недостаточностью старыхъ—новыя средства выраженія, новыя ритмы: вотъ ихъ образцы. Героя поэмы сожгли:

Клубы дыма въ пространство безгрѣшное
Срываются съ мѣста, грѣхомъ отягченнаго,
За ними спѣшить, поспѣваетъ душа неутѣшная,
Душа неутѣшная князя казненнаго.

.....
Душа въ полоненьѣ—движеніе невѣрное,
Струится вліяніе отъ грузной земли.
Еще тяготѣетъ пространство трехмѣрное—
Учители духи еще не пришли!
Хабсъ надвигается!
Ужась коснѣющій...
Кто-то незримый тамъ улыбается,
Безъ-образный, образъ—имѣющій.

О томъ, что душа переходитъ по мѣрѣ надобности изъ нашего трехмѣрнаго міра въ пространства четырехъ и болѣе измѣреній и обратно, мы слышали много разъ отъ старыхъ спиритовъ. Но то, что она въ пространствѣ трехъ измѣреній подчинена земному тяготѣнію, то, что она, разставшись съ тѣломъ, „мчится смѣло *по воздуху*“ это ужъ, кажется, открытіе поэта „Лѣствицы“. Грубѣе этого матеріализма не зналъ и XVIII вѣкъ. Спиритъ-философъ Ульрици, о которомъ съ почтеніемъ упоминаетъ г. Брюсовъ, считалъ душу „невѣсомой жидкостью“; здѣсь она даже вѣсима! А г. Брюсовъ имѣетъ смѣлость послѣ этого ставить въ упрекъ современной наукѣ „раціонализмъ и механическое міропониманіе“ и ищетъ отъ нея утѣшенія въ многомѣрныхъ пространствахъ. „Намъ стало тѣсно, душно, невыносимо,—говоритъ онъ.—Насъ томятъ условныя формы общежитія, томятъ условныя формы нравственности, самыя условія познанія, все, что наложено извнѣ. Нашей душѣ потребно иное, иначе она умретъ“. И вотъ это иное: эта бѣдная, безтолковая „Лѣствица“. Едва ли она подымается наверхъ; кажется, и самому г. Брюсову видно, что она ведетъ въ яму.

В. В. Селивановъ Сочиненія. Изданы подъ редакціей и съ примѣчаніями. Ал. Вас. Селиванова. Владиміръ. Т. I, 1901 г. Т. II, 1902 г.

Въ литературѣ, какъ и въ области всякаго другого искусства, кромѣ лицъ, посвятившихъ себя всецѣло извѣстной художественной дѣятельности, можно встрѣтить не мало и такихъ добровольцевъ, которые работаютъ не ради призванія, не ради куска на-

сущнаго хлѣба, а просто такъ, „изъ любви къ искусству“. Такимъ добровольцемъ литераторомъ представляется намъ и авторъ лежащихъ передъ нами „сочиненій“. Судя по автобіографическому отдѣлу этихъ сочиненій и по предисловію издателя, В. В. Селивановъ, говоря по-шедрински, „пописывалъ“, мало задаваясь заботой, чтобы его „почитывали“. Значительная часть собственно литературныхъ его произведеній („Дворянскіе выборы“, „Новый бѣсъ“ и др.) и не появлялись въ печати при жизни автора. Наиболѣе извѣстное въ свое время и лучшее произведеніе, „Годъ земледѣльца“, было напечатано въ „Русской Бесѣдѣ“ изд. А. И. Кошелева, а самое большое—„Преданія и воспоминанія“ увидало свѣтъ на страницахъ журнала „Историческая Библіотека“. При взглядѣ на два хорошо (и даже изящно для провинціи) изданныхъ тома „Сочиненій“, украшенныхъ портретомъ и факсимиле автора, невольно является мысль: да стоило ли собирать всѣ эти произведенія для отдѣльнаго изданія, заслуживаютъ ли они на самомъ дѣлѣ такого вниманія по своему содержанію? Прочтя книгу, мы съ полнымъ основаніемъ можемъ отвѣтить на этотъ вопросъ утвердительно. Цѣнность сочиненій Селиванова для нашего времени, главнымъ образомъ, историческая,—историческая не въ смыслѣ сообщенія какихъ-либо новыхъ или важныхъ историческихъ фактовъ, а историческая преимущественно въ бытовомъ смыслѣ. О жизни русскаго крестьянина въ дореформенную эпоху у насъ сохранились больше всего тяжелыя воспоминанія, неразрывно связанныя съ самымъ понятіемъ о крѣпостномъ правѣ. Внѣ отношенія къ „барину“ крестьянская жизнь того времени какъ-то совсѣмъ не рисуется нашему воображенію. Въ „Сочиненіяхъ“ Селиванова, писанныхъ въ послѣдніе годы существованія крѣпостного права, передъ нами развертывается яркая и до мелочей подробная картина крестьянской жизни наканунѣ того дня, „когда порвалась цѣпь великая“. Какъ любовно относящійся къ своей задачѣ, вдумчивый и внимательный наблюдатель, авторъ „Года земледѣльца“ отъ рожденія до могилы изобразилъ всю жизнь мужика-пахаря, отъ Благовѣщенія до Благовѣщенія шагъ за шагомъ прослѣдилъ весь тяжелый, но нелишенный и своеобразной поэзіи (вспомните „поэзію земледѣльческаго труда“ Г. И. Успенскаго) годовой круговоротъ крестьянской жизни. При чтеніи этого произведенія мысль читателя невольно переносится къ „Власти земли“ Г. И. Успенскаго. Эта *власть*, эта неразрывная связь земледѣльца съ его кормилицей—землей отгѣсняютъ на задній планъ и самое существованіе крѣпостного права. Крѣпостное право—„особь статья“, а главная-то сила была въ землѣ, и къ ней-то прежде всего неустанно, денно и ночью стремились всѣ помыслы и мужика, и барина (конечно, барина, сидѣвшаго на землѣ, барина-земледѣльца). Видимо авторъ любилъ мужика и умѣлъ его понимать. Барская, помѣщичья жизнь не нашла въ

его произведеніяхъ такого яркаго отраженія, какъ мужицкая жизнь. Въ очеркѣ „День помѣщика“ есть попытка разобраться въ тѣхъ сложныхъ отношеніяхъ, которыя создавало крѣпостное право между мужикомъ и баринѣмъ. Событія описаннаго дня, не выдѣляющагося изъ ряда такихъ же другихъ дней, приводятъ, въ концѣ концовъ, помѣщика къ заключеніямъ очень неутѣшительнымъ относительно „твердой и близкой къ народу власти“. „Выполнилъ ли онъ,—задаетъ себѣ вопросъ помѣщикъ,—дѣйствительно свою обязанность въ отношеніи къ ближнему въ лицѣ своихъ крестьянъ, и какъ хозяинъ-землепашецъ, приноситъ ли пользу отечеству? Вникнувъ въ оба эти вопроса, онъ съ грустію въ сердцѣ сознался, что нѣтъ, что если и выполнилъ, то очень мало“. Такъ говорилъ себѣ добрый, дѣйствительно пекшійся о благосостояніи своихъ крестьянъ баринъ. А что же могло быть у такихъ дворянъ-помѣщиковъ, „исключительнымъ занятіемъ которыхъ была псовая охота“ (томъ I, стр. 96), или въ тѣхъ имѣніяхъ, гдѣ хозяйничали печальной памяти управители изъ нѣмцевъ или доморощенные палачи-бурмистры?

Весьма интересенъ въ бытовомъ отношеніи очеркъ „Дворянскіе выборы“ (тоже дореформенной эпохи). Не передавая его содержанія, мы позволимъ себѣ сдѣлать изъ него для примѣра слѣдующую выписку:

«Постъ губернскаго предводителя ищутъ по большей части люди честолюбивые, богатые и малочинные. Занявши этотъ постъ—разтаться съ нимъ жаль. Чтобы удержаться на немъ, должно, во-первыхъ, имѣть отличнаго повара, всегда наготовѣ живыхъ стерлядей, льстить самолюбію каждаго изъ дворянъ, потворствовать ихъ страстямъ, выручать ихъ изъ бѣды, если они, вслѣдствіе самоуправства и невѣдѣнія закона, приходили въ столкновеніе съ разнаго рода полиціей,—а главное, какъ можно чаще приглашать къ столу своему всякаго изъ дворянъ, по какимъ бы то ни было случаямъ прѣзжающихъ въ губернскій городъ. Чтобы удержать за собой кресло губернскаго предводителя, ему нужно тонко знать политику выборовъ, и кто удержался въ этой почетной должности нѣсколько трехлѣтій сряду, для того политика Людовика-Наполеона III—мелочь. Такой ветеранъ—губернскій предводитель, когда возвращается подъ старость на покой въ свои помѣстья, нерѣдко теряетъ способность говорить о чемъ либо другомъ, кромѣ выборовъ.

„Преданія и воспоминанія“ во многомъ напомнили намъ „Семейную хронику“ С. Т. Аксакова (такъ же, какъ и картины природы съ описаніемъ деревенскихъ работъ напоминаютъ однородныя мѣста въ „Дѣтскихъ годахъ Багрова внука“). Картины крѣпостного самодурства, деревенскія развлеченія, зимнія и лѣтнія поѣздки на долгихъ, жизнь „грибоѣдовской“ Москвы, военные порядки николаевского времени,—все это пестрымъ калейдоскопомъ проходитъ передъ глазами читателя. Нельзя только не пожалѣть, что личныя воспоминанія автора обрываются на раннемъ періодѣ его жизни (1831 годъ, а скончался онъ въ 1876 году). А разсказать о временахъ послѣдующихъ, судя по другимъ отрывкамъ

его сочинений, В. В. Селиванову можно было бы не мало. Такъ, напримѣръ, въ 1871 году онъ, будучи гласнымъ рязанскаго губернскаго земства, предлагалъ въ губернскомъ собраніи „заявленіе объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній“. Заявленіе это, насколько можно судить по книгѣ гг. Жбанкова и Яковенко „Тѣлесныя наказанія въ Россіи“, было первымъ *земскимъ* голосомъ, раздавшимся за отмѣну этого позорнаго пережитка нашего варварства.

П. Н. Полевой. Историческіе рассказы и повѣсти. Спб. 1902. Ц. 5 руб.

Въ изящно изданной книгѣ, со множествомъ прекрасно исполненныхъ рисунковъ, собраны историческіе рассказы и повѣсти П. Н. Полевого, печатавшіеся по большей части въ „Нивѣ“. Покойный Полевой извѣстенъ какъ авторъ многочисленныхъ работъ по русской исторіи и большой, но неудачной „Исторіи русской литературы“. Поэтому можно быть увѣреннымъ, что его историческіе рассказы и повѣсти удовлетворяютъ первому требованію, которое предъявляется къ литературнымъ произведеніямъ историческаго жанра — требованію исторической достовѣрности. Дѣйствительно, въ рассказахъ Полевого не встрѣтишь историческихъ ошибокъ; основаны они, по большей части, на историческихъ документахъ; историческія подробности выдержаны. На долю фантазіи остается немного: любовная интрига, пейзажи и только. Въ своемъ послѣсловіи Полевой объясняетъ, что къ историческому жанру онъ относитъ лишь тѣ произведенія, которыя изображаютъ, на основаніи достовѣрныхъ данныхъ, характеры историческихъ лицъ или представляютъ намъ, по возможности, полную и живую картину быта извѣстной эпохи. Казалось бы, это опредѣленіе историческаго жанра списано съ повѣстей Полевого: вѣдь въ нихъ и сюжетъ взятъ изъ исторіи и детали исторически вѣрны. Но, даже оставаясь при опредѣленіи Полевого, которое нуждается въ поправкахъ, трудно признать, чтобы его рассказы отвѣчали всѣмъ требованіямъ, которыя можно къ нимъ предъявить. Характеры историческихъ лицъ, хотя и изображенные на основаніи достовѣрныхъ данныхъ, далеки отъ исторической правды: они или современны намъ по складу своего мышленія и по сложности переживаній, или идеализированы въ духѣ школы „Юрія Милославскаго“. Живой и полной картины быта читатель тоже не найдетъ въ повѣстяхъ Полевого: историческая дѣйствительность XVI и XVII вв. рисуется съ точки зрѣнія обыкновеннаго, школьнаго представленія о ней, какъ о добромъ старомъ времени. Тутъ черты русскаго радушія и хлѣбосолюства, русской доброты, отсутствія гордости, тѣ самыя черты, которыми еще славянофилы такъ щедро надѣляли Московскую Русь. Въ послѣсловіи Полевой говоритъ, между прочимъ, что въ основу cadaго

изъ своихъ небольшихъ произведеній онъ положилъ большую и сложную работу надъ сырымъ матеріаломъ. Тогда остается только удивляться, почему большая и сложная работа не внесла ни одной свѣжей черточки въ ходячія представленія о древней Руси. Намъ думается, наоборотъ, что такія повѣсти совсѣмъ легко писать всякому, у кого есть хоть нѣкоторые спеціальныя знанія. И думается такъ потому, что повѣсти и рассказы Полевого лишены еще одного, совершенно необходимаго въ историческомъ жанрѣ достоинства. Мы говоримъ о художественности. Полевой не художникъ и отсутствіе художественнаго воспроизведенія жизни, быть можетъ, и явилось одной изъ причинъ безцвѣтности его повѣстей.

Ю. Н. Карвинъ. Рассказы о пѣсняхъ и пѣвцахъ. Очерки изъ исторіи литературы. Саратовъ. 1902.

Небольшая книжка въ хорошо подобранной легкой формѣ даетъ не глубокія, но разностороннія свѣдѣнія о пѣсенномъ творчествѣ, охватывая значительный матеріалъ и передавая его въ общедоступномъ изложеніи. Она начинается съ антропологическихъ основъ пѣсни и приходитъ къ ея соціальной роли, вводя неподготовленного читателя въ интересную область и наталкивая его на мысли, относящіяся къ иному кругу идей. Рядъ примѣровъ, показывающихъ, какъ велика сила пѣсни надъ людьми, открываетъ книжку. Предъ нами и болгарскіе патріоты, поющіе пѣснь освобожденія предъ турецкимъ боемъ, и „Отлетаетъ мой соколикъ“ Елпатьевского, и Руже де Лиль, и великолѣпный дуэтъ изъ Оомы Гордѣева, и „Пѣвцы“ Тургенева. Авторъ объясняетъ дѣйствіе пѣсни заразительностью передаваемого ею настроенія, а потребность въ ней фізіологическимъ стремленіемъ къ разрѣшенію чувства въ крикъ — сперва неорганизованномъ, затѣмъ упорядоченномъ. По началу мало сознательная, пѣсня становится яснымъ выраженіемъ запросовъ жизни; она жалка и безсодержательна у китаецъ, она полна жизни въ боевомъ творчествѣ болгаръ и итальянцевъ. „Пѣсни болѣе развитыхъ народовъ говорятъ не только о томъ, что есть теперь, но и о желанномъ будущемъ“. „Другъ мой, братъ мой“ Надсона, „Пѣснь Еремушки“ и „Желѣзная дорога“ Нокрасова представляютъ подходящія иллюстраціи; изъ иностранной поэзіи къ нимъ присоединяются пѣсни Гуда, Бернса, Ришпена, Беранже, Ады Негри. Исторія русской лирики, набросанная затѣмъ, поневолѣ поверхностна; но въ ней основательно развитіе народной поэзіи отдѣлено отъ исторіи книжной лирики, „поэзіи города“—отъ духовнаго стиха до литературныхъ „пѣвцовъ изъ народа“—Кольцова, Никитина, Сурикова. Рассказъ о собраніи произведеній народнаго творчества связанъ съ попыткой разбраться въ разнообразіи народной лирики, указать ея мѣстечки, историческіе, бытовые напѣвы. Пѣсня деревни отъ

поверхностнаго вѣдѣнія городской цивилизаціи на первыхъ порахъ портится; вмѣсто правдивыхъ и истовыхъ напѣвовъ старины фабрика горланить:

Меня Ваня гулять манить, да боюсь, что обманетъ;
Буду съ Лешенькой гулять—общался замужъ взять...

Но понемногу очищается и народное пѣснотворчество. Свѣтъ настоящаго знанія, сознательные запросы лучшаго будущаго съ трудомъ, но проникаютъ въ деревню, и она отзывается на нихъ первыми опытами лирики, еще дѣтски-безсиьной, но уже проникнутой новыми стремленіями, новымъ критическимъ взглядомъ на окружающее.

Таковы вопросы, затронутые въ книжкѣ г. Каривина. Все въ ней очень элементарно и въ подробностяхъ не всегда безспорно; но не надо предъявлять къ ней чрезмѣрные требованія. Для тѣхъ, къ кому она обращена, она будетъ полезна.

Ежегодникъ Коллегіи Павла Галагана. Подъ ред. А. І. Степовича. Годъ 7-й Кіевъ, 1902.

Отчеты и ежегодники среднихъ учебныхъ заведеній могли бы представить весьма поучительный и богатый матеріалъ для сужденія о внутренней жизни средней школы. Къ сожалѣнію, такіе отчеты издають далеко не всѣ учебныя заведенія, да и въ издаваемыхъ мы слишкомъ часто не находимъ того, что нужно, и находимъ то, что излишне. Это надо сказать и о лежащемъ предъ нами „Ежегодникѣ“,—быть можетъ, лучшимъ изъ существующихъ. Внутренняя жизнь школы обрисована въ немъ слишкомъ блѣдно и официально, педагогическій опытъ ея преподавателей не получаетъ въ немъ никакого общедоступнаго и общепользнаго выраженія; ихъ разнообразныя статьи могли бы найти иное мѣсто; наконецъ, отзывы о новыхъ книгахъ въ такомъ изданіи совсѣмъ ненужны. Литературная часть Ежегодника совершенно подавляетъ дѣловую, педагогическую область, которая могла представить здѣсь настоящій интересъ.

Это не мѣшаетъ нѣкоторымъ статьямъ и матеріаламъ, напечатаннымъ здѣсь, вносить кой-что новое въ различныя области изслѣдованія.

Полезная Пушкиниана г. Каллаша состоитъ изъ двухъ различныхъ частей; первая представляетъ собою своевременный обзоръ и оцѣнку пушкинской библіографіи, вторая дополняетъ изданный составителемъ ранѣе сборникъ стихотвореній о Пушкинѣ. Онъ насчитываетъ ихъ нѣсколько сотъ и придаетъ имъ большое историко-литературное значеніе. Критикамъ, упрекавшимъ его въ томъ, что онъ внесъ въ свое собраніе множество ничтожныхъ и анти-поэтическихъ произведеній, онъ возражаетъ,

что хотѣлъ дать не хрестоматію художественныхъ стихотвореній о Пушкинѣ, а сборникъ историко-литературныхъ матеріаловъ. Но позволительно спросить: въ такомъ случаѣ не характеризуется-ли такой сборникъ прежде всего случайностью. Почему выдѣлять *стихотворные* отзывы о Пушкинѣ? Развѣ они чѣмъ-нибудь отличаются по существу отъ иныхъ? При той подавляющей массѣ историко-литературныхъ матеріаловъ, которая такъ затрудняетъ уже нынѣ знакомство съ ними, желательна бы большая внутренняя систематичность; дѣлить ихъ по такому случайному признаку, какъ форма, конечно, нѣтъ основанія. Составитель намекаетъ, впрочемъ, на то, что его сборникъ представляетъ какъ бы мнѣнія *поэтовъ* о Пушкинѣ; и это не вѣрно: многіе изъ нихъ выражали свои воззрѣнія на Пушкина въ письмахъ, въ статьяхъ, которыхъ мы здѣсь, конечно, не найдемъ. И неужто бессмысленная пародія неизвѣстнаго поэта на „Черную шаль“ Пушкина, лишенная всякаго отношенія къ поэту, даетъ возможность „опредѣлить, какія стороны его личности и творчества выдвигались поэтами, отражавшими общественное настроеніе или вліявшими на него—какъ бы ни были слабы произведенія этихъ поэтовъ“? Нѣтъ, не возводить надо всякую макулатуру въ званіе историко-литературныхъ матеріаловъ, не громоздить данныя, изъ которыхъ, быть можетъ, никто никогда не добудетъ никакихъ выводовъ, а, наоборотъ,—стараться дѣлать эти выводы, разумно группировать и тѣмъ уменьшать массу этихъ данныхъ.

Г. Александровскій, представляя „Нѣсколько данныхъ изъ психологіи гоголевскаго творчества“, попытался въ этой подготовительной работѣ сгруппировать и объяснить нѣкоторые матеріалы, относящіеся къ этому любопытному предмету. Онъ пользуется по преимуществу письмами Гоголя, которые даютъ ему возможность строить выводы, недостаточно опредѣленные и конкретные, но едва-ли спорные. Прежде всего онъ обращаетъ вниманіе на то, что того стихійнаго прилива творческихъ силъ, при которомъ писатель, охваченный непреодолимой потребностью высказаться, не можетъ не писать, Гоголь совсѣмъ не испытывалъ. Въ связи съ этимъ поражающее значеніе сознательныхъ элементовъ въ его творческой работѣ. Правда, основой этой работы часто служили отрывочные наброски, созданные какъ бы за порогомъ сознанія, набросанные на бумагу подъ наплывомъ вдохновенія, „пока не остыли“; это—сжатые, неясные конспекты или болѣе выработанные эскизы произведеній, извѣстные читателямъ Гоголя, какъ первоначальныя редакціи позднѣйшаго текста. Затѣмъ начиналась кропотливая работа отдѣлки, поправки и урѣзки, столь ясно охарактеризованная Гоголемъ въ разговорѣ съ Бергомъ, и столь добросовѣстно продѣланная имъ много разъ. Тихонравовскія изданія позволяютъ судить всякому о пріемахъ и послѣдовательныхъ результатахъ этого тяжелаго

труда; они же даютъ представленіе о томъ своеобразномъ матеріалѣ, который лежалъ въ основаніи этой детальной отдѣлки того, что въ общихъ чертахъ было уже готово въ его творческой мысли: не полагаясь исключительно на свою наблюдательность, Гоголь, какъ извѣстно, жадно собиралъ бытовыя свѣдѣнія отъ своихъ знакомыхъ. Ему нужны были не только описанія мало-русской свадьбы или сельскаго дьячка; онъ требовалъ отъ Жуковскаго „какихъ-нибудь казусовъ, могущихъ случиться при покупкѣ мертвыхъ душъ“, а отъ Смирновой подробной характеристики провинціального общества: „что такое служащіе ваши, что такое помѣщики и что такое купеческія жены—сначала ихъ духъ вообще, какъ цѣлаго сословія, а потомъ, какія между ними есть исключенія; узнавайте ихъ понемногу, не спѣшите выводить о нихъ заключенія, но сообщайте все, по мѣрѣ того, какъ узнаете, мнѣ“. Онъ давалъ ей темы для бытовыхъ характеристикъ, обращался съ такими же просьбами къ своимъ читателямъ; извѣстны его записныя книжки,—одна изъ нихъ называлась „Книга для всякой всячины“,—полныя безконечно-разнообразныхъ сообщеній о всевозможныхъ сторонахъ народной жизни. „Все это было мнѣ нужно не затѣмъ, чтобы въ головѣ моей не было ни характеровъ, ни героевъ... Но свѣдѣнія эти мнѣ просто нужны были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который пишетъ большую картину своего собственнаго сочиненія. Онъ не переводитъ этихъ рисунковъ къ себѣ на картину, но развѣшиваетъ ихъ вокругъ по стѣнамъ затѣмъ, чтобы держать передъ собой неотлучно, чтобы не погрѣшить ни въ чемъ противъ дѣйствительности, противъ времени или эпохи, какая имъ взята“. Такимъ образомъ, рѣшающаго значенія эти чужія наблюденія не имѣли. Какъ ни велика роль, которую играло въ творествѣ Гоголя соображеніе, она не выше значенія, которое необходимо приписать воображенію. Быть можетъ, этотъ любопытный примѣръ даетъ возможность подкрѣпить выводы болѣе общаго характера: опредѣляющимъ моментомъ художественнаго творчества являются его ирраціональные элементы. Какъ бы ни было значительно все сознательное, поддающееся уясненію и выдѣленію, въ результатѣ анализа всегда получается неразложимый остатокъ, все опредѣляющій, все направляющій въ поэтическомъ произведеніи.

Среди рецензій, — случайность и ненужность которыхъ мы отмѣтили, — выдается своей ненужностью отзывъ о поэзіи г. Ратгауза; только географическій близостью кіевскаго изданія къ кіевскому поэтику можно объяснить это вниманіе. Полонскій и Чайковскій сдѣлали рекламу этому поэтическому недоразумѣнію: Полонскій по своей добротѣ, Чайковскій по своему извѣстному и въ спеціальной литературѣ отмѣченному неумѣнію выбирать текстъ для своихъ романсовъ — вотъ и все. Авторъ отзыва жалѣетъ, что у г. Ратгауза „о такъ называемой гражданской скорби,

темахъ общественнаго характера и значенія нѣтъ и помину“. Зачѣмъ это? Еще чего добраго послушается—и вмѣсто любовныхъ бирюлекъ станетъ ворошить бирюльки гражданскія; нѣтъ ужъ, пусть пьетъ изъ своего маленькаго стакана то, что ему кажется нектаромъ поэзіи, а намъ—влагой менѣе божественной.

Среди историческихъ матеріаловъ, нашедшихъ мѣсто въ „Ежегодникѣ“, нѣсколько небезынтересныхъ писемъ И. С. Аксакова къ покровителю коллегіи Г. П. Галагану. Отмѣтимъ слѣдующій отрывокъ изъ письма 1868 года: „Въ концѣ мѣсяца іюля я думаю возвратиться къ своему посту. Непріятно вести дѣло подъ угрозой третьяго предостереженія. Я надѣялся, что амнистія, объявленная политическимъ преступникамъ, или, по крайней мѣрѣ, смягченіе наказанія будетъ распространено и на редакторовъ (о чемъ и хлопотали даже въ Петербургѣ), но увы—причислиться къ разряду политическихъ преступниковъ намъ не удалось“...

Н. Б. Русскія книжныя рѣдкости. Опытъ библиографическаго описанія рѣдкихъ книгъ съ указаніемъ ихъ цѣнности. Москва. 1902.

Н. И. Пироговъ въ своихъ воспоминаніяхъ рассказываетъ про одного аптекаря, собирателя рѣдкостей, у котораго, между прочими достопримѣчательностями, находился пузырекъ съ водой, взятой изъ Невы во время извѣстнаго наводненія 7 ноября 1824 года. Этотъ „раритетъ“ неизмѣнно возбуждалъ удивленіе у всѣхъ гостей почтеннаго собирателя. Просматривая книгу, составленную г. Н. Б., мы часто вспоминали объ этой замѣчательной рѣдкости, и намъ думается, что многіе библіоманы очень похожи на пироговскаго аптекаря. Внутренняя цѣнность книги стоитъ у библіомана на заднемъ планѣ; прежде всего ему нужна рѣдкость: въ силу тѣхъ или иныхъ условій существуетъ данная книга только въ десяти экземплярахъ, стало быть она рѣдка, стало быть и надо ее пріобрѣсть. А о чемъ трактуется въ книгѣ, не все ли равно? Вотъ, напримѣръ, „Краткое историческое родословіе благородныхъ дворянъ NN“, родъ которыхъ при всей своей почтенной древности не выдвинулъ на пространствѣ вѣковъ ни одного выдающагося представителя на какомъ-либо поприщѣ общественной жизни. Книга была напечатана только въ 40 экземплярахъ и букинистъ проситъ за нее десятки рублей. И по рѣдкости, и по внутренней цѣнности такое сочиненіе смѣло можетъ конкурировать съ водянымъ раритетомъ 1824 года. Собственно говоря, создать „библиографическую рѣдкость“ дѣло вовсе не мудреное: стоитъ только отпечатать какую-нибудь книжонку вродѣ „матеріаловъ къ біографіи“ какого-нибудь немногима, кромѣ автора, извѣстнаго лица, оттиснуть для вящаго задору на обложкѣ „не для продажи“ и—готово дѣло. Остается только удивляться, какъ у насъ до сихъ поръ не возникъ еще изъ этого особый родъ

„промышленности“, рассчитанной на слабости собирателей таких раритетовъ. Другого рода рѣдкости представляютъ собой книги дѣйствительно цѣннаго или важнаго содержанія, которые не потеряли своего значенія и до нашихъ временъ и только въ силу извѣстныхъ условій не могутъ воспрянуть въ новыхъ изданіяхъ. Таковы, напримѣръ, „Путешествіе“ Радищева, сочиненіе Флетчера, „Историческія письма“ Миртова и т. п. Особого рода рѣдкости представляютъ собой роскошныя или дорого стоящія изданія, какъ напримѣръ, „Русскія народныя картинки“ и другія изданія Д. А. Ровинскаго или „Византійскія эмали“ А. В. Звенигородскаго (изданіе 600 экземпляровъ стоило будто бы 130.000 руб.).

Составитель книги „Русскія книжныя рѣдкости“ не беретъ въ расчетъ такого дѣленія книгъ и руководствуется въ своемъ трудѣ единственно указаніемъ на рѣдкость. Въ предисловіи онъ говоритъ, что предназначаетъ свой трудъ какъ справочную книгу для начинающихъ собирателей и букинистовъ. При этомъ условіи къ труду г. Н. Б. нельзя предъявлять широкихъ требованій. Жаль только, что узкое назначеніе книги не отмѣчено надлежащимъ образомъ въ довольно громкомъ заглавіи. Но и въ указанныхъ авторомъ рамкахъ сомнительно, чтобы его „опытъ“ вполнѣ оправдалъ свое назначеніе. Что касается букинистовъ, то они давно уже вышли изъ того зачаточнаго періода развитія, когда любителямъ удавалось достать у нихъ за дешевую цѣну дѣйствительно цѣнную книгу. Трудно разсчитывать, чтобы букинистъ не сумѣлъ теперь „заломить“ хорошую цѣну за какую-нибудь книжную рѣдкость. Для собирателей указаніе цѣны имѣетъ, конечно, значеніе. Но собирателямъ важна также въ справочной книгѣ и полнота сообщаемыхъ въ ней свѣдѣній. А этого то, намъ кажется, и недостаетъ въ составленномъ г. Н. Б. справочникѣ. Многочисленныя ссылки на цѣну извѣстной книги у того или другого букиниста заставляютъ насъ подозрѣвать, что главнымъ источникомъ „библіографическаго опыта“ г. Н. Б. служили каталоги книжныхъ лавокъ, торгующихъ старыми книгами. Такого рода источники нельзя, конечно, назвать ни вполнѣ безупречными съ библіографической точки зрѣнія, ни достаточно полными для составленія „библіографическаго описанія рѣдкихъ книгъ“. Этимъ, вѣроятно, и объясняется отсутствіе въ „Русскихъ книжныхъ рѣдкостяхъ“ такихъ дѣйствительно рѣдкихъ книгъ, которые не попали сюда только въ силу ихъ отсутствія въ продажѣ у букинистовъ. Если бы не рискъ растянуть чрезмѣрно рецензію, мы могли бы въ значительной мѣрѣ пополнить перечень автора. Укажемъ для примѣра хотя бы на то, что, приводя рѣдкія изданія Вольтера, Миртова, Прыжова, Швейцера, авторъ не называетъ такихъ рѣдкостей, какъ „Философія исторіи“ Вольтера (переводъ подъ ред. Зайцева. Спб. 1868), „Опытъ исторіи мысли“ и другія сочиненія Лаврова (Миртова), „Исторію кабаковъ въ

Россіи“ Прыжова, романъ Швейцера „Люцинда“ (Спб. 1872). Русскія книги, напечатанныя за границей, совсѣмъ не вошли въ составъ „Книжныхъ рѣдкостей“. А среди этихъ книгъ много нашлось бы такихъ рѣдкостей, если даже исключить все то, что не могло появиться въ Россіи по цензурнымъ условіямъ и что, можетъ быть, неудобно по тѣмъ же причинамъ и для помѣщенія въ каталогахъ. Въ предисловіи авторъ говоритъ, что книги, напечатанныя до 1820 года, за исключеніемъ самыхъ рѣдкихъ или извѣстныхъ, онъ избѣгалъ описывать, такъ какъ онѣ уже описаны у Сопикова, Губерти, Остроглазова и др. Для справочной книги это большой недостатокъ, такъ какъ библиографическіе труды Сопикова, Остроглазова и др. сами по себѣ представляются книжными рѣдкостями и далеко не всѣмъ доступны. Вслѣдствіе такого ограниченія въ перечень г. Н. Б. вошло очень мало рѣдкихъ изданій Н. И. Новикова, а также сочиненій, изданныхъ массонами и мистиками конца XVIII и начала XIX столѣтій. Такъ въ числѣ рѣдкостей приведены „Творенія“ Лактанція въ переводѣ Е. Карнѣева, Спб. 1848, между тѣмъ, какъ сочиненія этого христіанскаго писателя въ переводѣ новиковскаго изданія (и, замѣтимъ, въ переводѣ болѣе выразительномъ и близкомъ къ сильному языку подлинника) конца XVIII столѣтія встрѣчаются, вѣроятно, рѣже, чѣмъ въ переводѣ 1848 года. Изъ числа книгъ мистическаго содержанія г. Н. Б. не приводитъ ни одного сочиненія г-жи Гіонъ, хотя ихъ врядъ гдѣ можно встрѣтить въ продажѣ. Кромѣ неполноты и недостатка самого выбора книгъ, перечисляемыхъ въ „Русскихъ книжныхъ рѣдкостяхъ“, слѣдуетъ упомянуть также и о недостаткахъ примѣчаній, дѣлаемыхъ составителемъ къ заглавію той или иной книги. Большая часть такихъ примѣчаній ограничивается словами: рѣдка, очень рѣдка, рѣдкость, большая рѣдкость, рѣдчайшая и т. д. Иногда приводится указаніе на число напечатанныхъ экземпляровъ и дѣлается отмѣтка, что книга не поступала въ продажу. При всей краткости этихъ примѣчаній, нѣкоторые изъ нихъ можно было бы свободно выпустить. Къ чему, напримѣръ, такое примѣчаніе къ книгѣ подъ заглавіемъ: „Обозрѣніе южнаго берега Тавриды въ 1815 году“—„въ ней помѣщаются свѣдѣнія о городахъ и мѣстностяхъ, находящихся на южномъ берегу Тавриды“? Въ болѣе обширныхъ примѣчаніяхъ г. Н. Б. высказываетъ иногда взгляды, не лишенные оригинальности. Въ особенности насъ заинтересовало примѣчаніе къ извѣстному роману А. И. Герцена „Кто виноватъ?“. „Вслѣдствіе перехода времени и измѣненія взгляда на вещи — романъ потерялъ значеніе и цѣнится только какъ библиографическая рѣдкость“. Предоставляемъ читателю, хоть немного знакомому съ дѣятельностью Герцена и самымъ романомъ, судить, насколько умѣстенъ такой отзывъ о произведеніи, служащемъ, какъ говорить, „иллюстраціей нравственной философіи Герцена“. Любопы-

тень также отзывъ о „Карманномъ словарѣ иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка“ Н. Кириллова (Спб. 1845—1846): „Первые два выпуска были напечатаны и продавались въ магазинахъ, но потомъ ихъ отбирали и уничтожали за вредное и двухсмысленное (sic!) объясненіе нѣкоторыхъ словъ. Рѣдкость“. О причастности къ этому изданію Петрашевскаго совсѣмъ не упоминается. Не приводя другихъ любопытныхъ мнѣній г. Н. Б. о перечисляемыхъ имъ книгахъ, укажемъ еще, что и „букинистскія“ его свѣдѣнія, кажется, не вполнѣ безупречны. Такъ о „Судебной гинекологіи“ Мержеевского онъ говоритъ: „выдавалась только врачамъ“. Кромѣ того, что по выходѣ эта книга продавалась также и юристамъ, намъ достоверно извѣстно, что въ началѣ 90-хъ годовъ эта книга совершенно свободно продавалась въ московскихъ магазинахъ по номинальной цѣнѣ. (А проросъ: въ „Рѣдкостяхъ“ не показана давно вышедшая изъ продажи „Половая психопатологія“ Крафтъ-Эбинга, дважды не допущенная къ новому переводу въ журналъ „Практическая Медицина“). Въ заключеніе замѣтимъ, что хотя желаніе составителя „увеличить одной книгой небольшую литературу русской библіографіи“ и исполнилось, но русская библіографія отъ такого увеличенія выиграла мало.

Кронштадтскій маякъ (19 октября 1902 г.). Ко дню именинъ о. Іоанна Сергіева (Кронштадтскаго). Нижній-Новгородъ. 1902.

Эта маленькая, въ нѣсколько страничекъ, брошюрка производитъ уже внѣшностью своею странное впечатлѣніе. Она „посвящается пастырямъ и клиру Нижегородской, Олонецкой и Киевской епархій“. На заглавномъ листѣ имени автора нѣтъ, но на послѣдней страницѣ имѣется подпись „Михаилъ С—о“, а затѣмъ такія слова: „Горѣ“ (возъ) „имѣимъ сердца!“ На оборотѣ же брошюрки значится: Нижній-Новгородъ. Михаилу Аркадьевичу. Цѣна 10 коп. Все это очень загадочно, и по прочтеніи брошюрки остается столь же загадочнымъ. Неизвѣстно, что это за „Михаилъ Аркадьевичъ“, которому, повидимому, цѣна 10 коп., и что это за „возъ“ устроившійся какъ будто не на своемъ мѣстѣ. Неизвѣстно, наконецъ, и то, почему брошюра посвящается пастырямъ и клиру только трехъ епархій, когда въ текстѣ авторъ обращается ко „всѣмъ пастырямъ великой російской церкви“. А именно: „Каждый архипастырь въ своей епархіи можетъ сдѣлать съѣздъ всѣхъ пастырей и на съѣздъ этотъ пригласить о. Іоанна“, отъ сослуженія и собесѣдованія съ которымъ пастыри получаютъ новую силу для борьбы съ лжеученіями и ересями.

Мы ничего не имѣемъ сказать объ этомъ проектѣ, но кажется намъ, что г. М. С—о (онъ же и Михаилъ Аркадьевичъ?) въ своихъ восторженныхъ хвалахъ о. Іоанну превышаетъ мѣру, указанную

самимъ кронштадтскимъ пастыремъ. Недавно о. Іоаннъ ѣздилъ въ Костромскую губернію, гдѣ самолично убѣждалъ нѣкоторыхъ своихъ фанатическихъ почитателей, что онъ не святой и не чудотворецъ. Между тѣмъ въ лежащей передъ нами брошюрѣ о. Іоаннъ называется „угодникомъ Божиимъ“, „великимъ праведникомъ“, „побѣдителемъ бѣсовъ“ и т. п. Думаемъ, что такимъ образомъ г. М. С—о способствуетъ распространенію суевѣрія, съ которымъ приходится бороться самому о. Іоанну. Не совсѣмъ умѣстнымъ кажется намъ и слѣдующая параллель: „На портретѣ о. Іоанна видимъ ангельскій ликъ, очи кроткія, чело свѣтлое, уста чистыя; общее выраженіе лица неизъяснимо привлекательное. На портретѣ Льва Толстого видимъ чело хмурое, покрытое какъ бы тучами, взоръ суровый, общую осанку гордыни“.

Усердіе г-на М. С—о было бы, можетъ быть, съ извѣстной точки зрѣнія похвально, если бы не было столь чрезмѣрно.

Отношеніе мозга къ душевной дѣятельности. Проф. Т. Цигена. Пер. съ нѣмец. Спб. 1902.

Настоящая брошюра проф. Цигена написана съ точки зрѣнія имманентной философіи и уже поэтому одному заслуживаетъ вниманія русской публики, ибо у насъ эта имманентная философія очень мало извѣстна (впрочемъ, объ имманентной философіи говорили у насъ П. Б. Струве и г-жа Э. Борецкая), тогда какъ въ Германіи она пользуется заслуженною извѣстностью и имѣетъ такихъ представителей, какъ Шуппе, Шубертъ-Зольдернъ и др.

Нашъ авторъ сначала даетъ бѣглый историческій обзоръ тѣхъ ученій о локализациі душевной дѣятельности, которыя еще не понимали значенія мозга для психической жизни, которыя „сѣдалищемъ души“ считали, напримѣръ, сердце или кровь. Затѣмъ авторъ описываетъ, какимъ образомъ ученые убѣдились въ томъ, что „всѣ наши душевныя отправленія связаны съ корою большого мозга“, послѣ чего опредѣляетъ задачу своей брошюры въ выясненіи того, „какое отношеніе существуетъ между матеріальными процессами въ нашемъ мозгу и нашими *ощущеніями*“ (стр. 29—30).

Опредѣливши, такимъ образомъ, задачу своего изслѣдованія, авторъ даетъ бѣглый историко-критическій обзоръ ученій, пытающихся отвѣтить на вышепоставленный вопросъ. Прежде всего онъ разсматриваетъ дуалистическое ученіе, имѣя въ виду главнымъ образомъ ученія Декарта и Лейбница. Затѣмъ онъ переходитъ къ ученіямъ, которыя называетъ „дже-монистическими“; таковы: ученіе Спинозы, ученіе Фихте и ученіе Спенсеръ-Фехнеръ-Эббингауза. Мы не будемъ останавливаться на этой части брошюры, потому что, если нѣкоторыя изъ его замѣчаній, по нашему мнѣнію, и не вполне основательны, то нужно помнить, что ав-

торъ скорѣе только отбѣняетъ свою точку зрѣнія, а вовсе не думаетъ дать дѣйствительное опроверженіе вышеуказанныхъ ученій. Руководясь тѣми-же соображеніями, мы не будемъ излагать взгляды автора на двухъ представителей „истиннаго монизма“: на матеріализмъ и спиритуализмъ.

Остановимся лишь на міровоззрѣніи самого автора, міровоззрѣніи, которое онъ называетъ „идеалистическимъ“. Для того, чтобы характеризовать это міровоззрѣніе по интересующему насъ въ данномъ случаѣ вопросу, достаточно указать на два положенія автора. Во-первыхъ, это—„основной гносеологическій фактъ, великое положеніе Беркли“, гласящее: „даны только ощущенія и выведенныя изъ этихъ ощущеній представленія“ (стр. 51). Во-вторыхъ,—слѣдующее утвержденіе: „ощущенія, представленія и т. д. зависятъ, правда, въ отношеніи своихъ свойствъ (характера) отъ отдѣльныхъ участковъ мозговой коры, въ смыслѣ ученія о локализаци, но они ни въ коемъ случаѣ не имѣютъ пространственнаго сѣдалища въ мозговой корѣ. Намъ кажется совершенно нелѣпымъ и ошибочнымъ желать еще разъ локализовать ощущенія въ послѣднемъ смыслѣ. Единственное мѣсто нашихъ ощущеній во внѣшнемъ мірѣ. Если я вижу теперь передо мной газовый рожокъ, то это ощущеніе имѣетъ свое опредѣленное мѣсто только тамъ, гдѣ я этотъ рожокъ вижу, подъ ощущеніемъ потолка, надъ ощущеніемъ стола и т. д. Только изъ ложнаго предположенія, будто наши ощущенія не только зависятъ отъ участковъ нашей мозговой коры, но и имѣютъ въ гангліозныхъ клѣткахъ послѣдней таинственное существованіе, возникли многочисленныя затрудненія и ошибки“ (стр. 53).

Вполнѣ присоединяясь къ заявленію автора, что „намъ даны лишь психическіе процессы“ (стр. 50), мы думаемъ, однако, что въ примѣненіи этого основного положенія къ вопросу о локализаци психической дѣятельности у нашего автора можно найти много не достаточно обоснованнаго. Такъ какъ самое понятіе локализаци въ обыденномъ словоупотребленіи имѣетъ отношеніе къ чему-то объективному, то, принимая во вниманіе утвержденіе автора о невозможности для насъ выйти за предѣлы психическихъ процессовъ, мы вправѣ, на примѣръ, прежде всего спросить: приложимо-ли къ психической дѣятельности понятіе локализаци? И если да, то что мы должны понимать подъ словами „выше“ „ниже“ и т. п. въ устахъ философа, который не знаетъ ничего, кромѣ „ощущеній“ и „представленій“?

Мы не отрицаемъ права употреблять термины „выше“ и „ниже“ и для подобнаго рода философовъ, но только настаиваемъ на необходимости точно опредѣлить эти термины и твердо держаться своего опредѣленія. Иначе, на примѣръ, утвержденія нашего автора, что ощущеніе газоваго рожка локализуется не въ мозговой корѣ, а въ томъ самомъ мѣстѣ, въ которомъ мы видимъ

этотъ рожокъ,—подобное утверждение звучитъ слишкомъ объективно для имманентнаго философа.

С. Н. Прокоповичъ. Кооперативное движеніе въ Россіи. Спб. 1903.

Одной изъ наиболѣ сильныхъ сторонъ этой книги слѣдуетъ признать перечень „административно-правовыхъ и политическихъ условий, въ которыхъ поставлено у насъ кооперативное движеніе“. Здѣсь цѣлый мартирологъ столь обычнаго во всякой иной странѣ экономическаго явленія, но у насъ искони почему-то попавшаго подъ подозрѣніе. Этихъ однихъ условий совершенно достаточно, чтобы объяснить въ весьма значительной мѣрѣ подавляющую массу неудачъ, которыя терпѣли благія начинанія многихъ хорошихъ русскихъ людей. Чтобы народилось простое ссудо-сберегательное товарищество, по положенію 1869 г., требовалось для утвержденія его устава соглашеніе двухъ министровъ; земскія ходатайства объ упрощеніи этого порядка долго оставались безъ удовлетворенія, нынѣшній же порядокъ по громоздкости отличается довольно мало отъ прежняго. „Надзоръ“ земскихъ начальниковъ надъ товариществомъ выражался иногда то въ томъ, что они не разрѣшали крестьянамъ вступать въ нихъ членами, то во вмѣшательствѣ во внутренніе порядки товарищества (въ выдачу ссудъ, въ выборъ членовъ правленія и т. п.).хлопоты о разрѣшеніи въ Ростовѣ-на-Дону чугунно-литейно-механической артели начаты были въ 1891 г., открытіе же артели стало возможнымъ лишь въ 1896 г. и т. д. Авторъ справедливо задается вопросомъ: „можетъ-ли вообще существовать здоровое кооперативное движеніе въ странѣ, въ которой административная опека достигла такихъ размѣровъ, что частное дѣло нѣсколькихъ десятковъ человекъ требуетъ разрѣшеніе министра, управляющаго дѣлами 130 миллионнаго государства?“ „Право не предшествуетъ соціально-политической дѣятельности,—продолжаетъ онъ,—а слѣдуетъ за ней“. „Она создаетъ право, а не создается имъ“. А тамъ, гдѣ такая дѣятельность терпитъ существенныя ограниченія, самая выработка кооперативнаго права является почти невозможной. Напримѣръ, обсужденіе, выработка нормъ такого права „У насъ исполнялъ лишь одинъ Комитетъ о сельскихъ etc. товариществахъ. Въ Западной Европѣ въ выработкѣ законопроектовъ дѣятельное участіе принимаютъ представительныя учрежденія и печать. У насъ нѣтъ періодическаго органа, посвященнаго вопросамъ коопераціи“. Статьи В. Ю. Скалона объ артеляхъ въ „Грамотѣ“ 1872 г., выпущенныя отдѣльной книгою 1873 г., подверглись уничтоженію. Книга О. А. Щербины о южныхъ артеляхъ, разрѣшенная къ печатанію 1 сентября 1879 г., могла выйти въ свѣтъ лишь послѣ вторичнаго разрѣшенія цензора

9 декабря 1880 г. Дальнѣйшимъ моментомъ въ развитіи права является санкція или проведеніе законопроекта. „Въ виду наличности въ обществѣ различныхъ элементовъ, интересы которыхъ различны и даже противоположны, санкція эта становится вопросомъ силы, степени давленія извнѣ на законодателя.—Первой формой организованнаго давленія является общественное мнѣніе, самою вышею формою—представительныя учрежденія. Если у насъ плохо организована выработка законопроектовъ по вопросамъ коопераціи, то еще хуже обстоитъ дѣло съ механизмомъ проведенія законопроектовъ. Въ дѣятельности этого механизма наблюдается, во-первыхъ, чрезвычайная медлительность, во-вторыхъ, искаженіе законопроектовъ при ихъ санкціонированіи“. (234—36).—Не менѣе вѣрно и то, что „бюрократическій режимъ находится въ рѣзкомъ антагонизмѣ съ началами коллективнаго самоопредѣленія, частной формой котораго является кооперація“. Гдѣ есть такая опека, „тамъ нѣтъ самостоятельнаго народнаго творчества“. Частныхъ конфликтовъ на этой почвѣ не оберешься. Въ Винницѣ полиція снимаетъ вывѣску ремесленной артели на томъ основаніи, что Винница „не Америка“ (!). Въ Варшавѣ артель разоряется, ибо, исполнивъ нужныя формальности, все-же не получаетъ позволенія въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ приступить къ работѣ. Въ Николаевѣ образующимся товариществамъ ремесленниковъ мѣстная администрація поставила въ обязанность исключать изъ артели членовъ по ея требованію (238—9). Въ началѣ 70-хъ годовъ по распоряженію губернатора въ Вятской губ. были закрыты двѣ артельные сыроварни и т. д. Не даромъ нашелся авторъ (Новосельскій), который хотѣлъ обратить артели въ органъ, удобный для наблюденія за „распространеніемъ соціальной пропаганды“ и предлагавшій вставить въ образцовый уставъ артели параграфъ о томъ, чтобы „о каждомъ лицѣ, вновь вступающемъ въ артель, должно было быть разрѣшеніе надлежащаго правительственнаго органа“ (242—3). Очевидно, словамъ „кооперація“, „ассоціація“, „артель“ долго присвоено было значеніе „жупеловъ“, отъ которыхъ открещивались не одни только замоскворѣцкія купчихи. Въ дѣлѣ развитія коопераціи авторъ возлагаетъ поэтому всѣ надежды лишь на общественную самостоятельность. „Государственную помощь можно получать только путемъ самопомощи“ (223). „Что касается государства, то за его помощью можно обращаться только въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ нѣтъ пропасти между правительствомъ и образованнымъ обществомъ, въ которыхъ правительство считаетъ себя слугою народа и общества, а не самодовлѣющею сущностью“ (111).

Все это совершенно справедливо, но все это познается временемъ и „конъюнктурами“. Утверждать все это теперь такъ же просто, какъ поставить колумбово яйцо послѣ Колумба. Напрасно поэтому авторъ вступаетъ въ запоздалую полемику съ „Отече-

стесненными Записками“, предпочитавшими государственную помощь *всему* населенію (напр., въ дѣлѣ кредита) помощи отдѣльнымъ небольшимъ группамъ населенія, для которыхъ создавалось, такимъ образомъ, привилегированное положеніе.—Самъ авторъ приводитъ же цитату изъ того-же журнала (1870 г. II, 347), указывающую совершенно ясно на тотъ уголъ зрѣнія, который въ данномъ случаѣ имѣлъ мѣсто. „Государство разсматривается въ этомъ случаѣ, говорилъ журналъ, только какъ могущественный капиталистъ, который стоитъ выше своекорыстнаго духа партій и частныхъ лицъ и заинтересованъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь, въ общемъ, равномерномъ благосостояніи народа“. Кто знаетъ, если бы авторъ писалъ свою книгу на другой день „эпохи великихъ реформъ“, сказалъ ли бы онъ такъ рѣшительно, что „дальнѣйшее (послѣ начала 60-хъ гг.) развитіе русской общественности обнаружило необходимость инициативы общественныхъ реформъ въ государственной власти, въ обществѣ“ (223).

Анализъ общественныхъ явленій сегоднешняго дня — дѣло исторіи, а не современности...

Наставная, такимъ образомъ, на первенствующей важности общественной инициативы въ кооперативномъ движеніи, съ чѣмъ нельзя безусловно не согласиться, авторъ утверждаетъ, что „наша интеллигенція можетъ сохранить за собой право поддержки наиболѣе жизнеспособныхъ кооперативныхъ формъ“ (217). Отчего „можетъ“, а не „должна“? Если капиталистъ для устройства промышленнаго предпріятія не можетъ обойтись безъ помощи интеллигентнаго спеціалиста; если каждая фабрика должна имѣть своихъ техниковъ; если однимъ изъ признаковъ пробужденія нашего капитализма служить усиленное насажденіе коммерческихъ учебныхъ заведеній — почему смотрѣть на участіе интеллигента въ кооперативномъ учрежденіи, какъ на явленіе случайное, придающее самому учрежденію нѣсколько оранжерейный характеръ? Развѣ интеллигенты съ агрономической подготовкой не играютъ крупной роли сейчасъ въ кооперативномъ движеніи сѣверной Италіи?

Далѣе, надо условиться о томъ, что называть „наиболѣе жизнеспособными кооперативными формами“. Авторъ говоритъ, что „въ основаніи каждой формы коопераціи лежатъ соотвѣтствующія ей экономическія отношенія“. Эти — „опредѣляютъ экономическую технику хозяйствующихъ лицъ, которая опредѣляетъ ихъ ближайшіе экономическіе интересы; кооперація же является формою защиты, осуществленія этихъ интересовъ“ (214). Жизнеспособными формами коопераціи и являются тѣ, которыя осуществляютъ „принципъ соціальнаго равенства на почвѣ данныхъ экономическихъ отношеній до-капиталистическихъ или капиталистическихъ“ (216).

Не можетъ быть сомнѣнія въ наличности связи между фор-

мами коопераціи и формами экономических отношеній. Но сущность и реальное значеніе этой „экономической психики“, этого фактора, которому авторомъ отводится столь видное мѣсто, понять трудно. Эта психика опредѣляется экономическими отношеніями, а на почвѣ того или иного типа экономических отношеній рѣшается вопросъ о жизнеспособности той или другой формы коопераціи и слѣдовательно вопросъ о томъ, заслуживаетъ-ли она участія интеллигенціи. Повидимому, этимъ неопредѣленнымъ терминомъ авторъ характеризуетъ экономическое воспитаніе, привычки и т. п. населенія при томъ или другомъ хозяйственномъ строѣ — натуральномъ, до-капиталистическомъ — мѣновомъ, капиталистическомъ (при постепенномъ развитіи торгово-предпринимательской дѣятельности, идей денежнаго займа, прибыли на напиткахъ и т. д.). Къ каждой изъ этихъ стадій авторъ приурочиваетъ извѣстный типъ коопераціи (артель, промысловое товарищество, ссудное, потребительное). Каждый типъ и является жизнеспособнымъ *при своей* хозяйственной обстановкѣ. „Развитіе коопераціи есть слѣдствіе развитія лежащихъ въ его основаніи экономических отношеній, а не причина этого развитія“. — „Съ измѣненіемъ хозяйственного строя мѣняются и кооперативныя организаціи“. Но если бы это построеніе соответствовало дѣйствительности въ такой безусловной формѣ, если бы дѣйствительно перечисленные авторомъ формы коопераціи приурочивались къ названнымъ видамъ экономического строя, то и разновидности коопераціи чередовались-бы между собой хронологически. По крайней мѣрѣ, при расцвѣтѣ однихъ другія (предшествующія) носили бы ясный отпечатокъ простыхъ переживаній. Однако, всѣ упоминаемыя авторомъ формы коопераціи существуютъ одновременно. На стр. 8—13 авторъ приводитъ примѣры наличности у насъ артелей до-капиталистическаго типа, при чемъ данныя убѣждающія въ ихъ вымираніи, являются по малой мѣрѣ спорными; а далѣе (до конца главы) слѣдуетъ описаніе артелей не только капитализированныхъ, „но даже пользующихся наемнымъ трудомъ (группы 3-я и 4-я)“. При весьма слабомъ развитіи у насъ идей займа и процента ссудо-сберегательныя товарищества существуютъ съ половины 60-хъ годовъ, а число членовъ ихъ даже растетъ (103). При наличности пережитковъ натурального хозяйства именно въ деревнѣ, а не въ городѣ, потребительныя товарищества сельскія оказываются жизнеспособнѣе городскихъ (182 и 188). Не вдаваясь въ детали, можно ограничиться сказаннымъ, чтобы усомниться въ послѣдовательномъ отмираніи у насъ, при наличныхъ условіяхъ, однихъ изъ указанныхъ авторомъ типовъ и хронологическомъ замѣщеніи ихъ другими. Обращаясь, далѣе, къ причинамъ неудачъ кооперативныхъ предпріятій, автору приходится въ значительной мѣрѣ повторяться.

Безграмотность и бѣдность населенія, непрактичность руко-

водящей интеллигенціи, недостатокъ коммерческой опытности... Чисто трудовая артель принуждается брать капиталъ на сторонѣ, если бѣдность членовъ мѣшаетъ обходиться безъ займа, а если не удастся и это, то идетъ въ наймы къ капиталисту (стр. 10, 13 и слѣд.). Успѣхамъ промысловыхъ товариществъ (которые въ жизни носятъ почти всегда тоже названіе артели) мѣшаютъ „безграмотность, бѣдность и недостатокъ коммерческой опытности кустарей“ (стр. 87). Послѣдовательному проведенію Шульце-Деличевскихъ принциповъ самостоятельности мѣшали „отсутствіе денегъ въ деревнѣ и низкій уровень народнаго образованія“ (стр. 113), да еще—уставъ ссудо-сберегательныхъ товариществъ, пѣликомъ пересаженный изъ нѣмецкихъ городскихъ условій въ русскія деревенскія. Главнѣйшіе дефекты русскихъ потребительныхъ обществъ сводятся къ крайней непрактичности устава (стр. 164 и слѣд.). Уже это одно тождество приведенныхъ причинъ плохого развитія данныхъ явленій само по себѣ служить указаніемъ на то, что и самыя явленія не принадлежатъ уже къ столь различнымъ категоріямъ, къ столь различнымъ экономическимъ эпохамъ, какъ на томъ настаиваетъ авторъ. Если сказанные выводы его справедливы, а съ ними трудно не согласиться, то условіями успѣшнаго развитія у насъ коопераціи должно быть все, что могло бы парализовать указанные явленія—развитіе народнаго образованія, доставленіе необходимаго кредита артелямъ, лучшая подготовка интеллигентовъ, желающихъ служить этому дѣлу, большая практичность предлагаемыхъ кооперативныхъ формъ, вытекающая изъ болѣе тщательнаго изученія хозяйственнаго быта массы и т. п. И если бы наступили *такія* условія, пожалуй, пришлось бы измѣнить и принятую авторомъ классификацію разныхъ формъ коопераціи. Благородныя усилія интеллигенціи терпѣли-бы меньше горькихъ разочарованій, а трудовыя формы коопераціи не пришлось бы объявлять нежизнеспособными и не пришлось бы прогнать ихъ „смертнаго часа“. Изученіе кооперативнаго движенія при весьма сходныхъ съ нашими условіяхъ въ Сѣверной Италіи и въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи могло бы въ данномъ случаѣ придать немало бодрости интеллигенціи и ей, можетъ быть, не пришлось бы выслушивать совѣты въ томъ смыслѣ, чтобы она предоставила трудовыя формы коопераціи въ Россіи ихъ собственной судьбѣ *).

Хотя съ авторомъ трудно согласиться въ приведенной общей схемѣ, однако, его книга представляетъ немалый интересъ. Въ ней собранъ довольно обширный матеріалъ по артелямъ, промысловымъ, кредитнымъ и потребительнымъ товариществамъ и обработанъ этотъ матеріалъ въ нѣкоторыхъ частяхъ остроумно.

*) Уже давно Молькенбургъ сказалъ въ Галле, что «крестьяне не обладаютъ антиколлективистическимъ черепомъ».

Встрѣчаются и утвержденія по меньшей мѣрѣ спорныя. Сказано, на примѣръ, что кредитъ ссудныхъ товариществъ былъ дешевъ (стр. 123). Извѣстно, что онъ стоилъ 12% годовыхъ. Говорится, что „послѣ того, какъ въ 1876 г. энергія земства (въ дѣлѣ насажденія ссудо-сберегательныхъ товариществъ) начала ослабѣвать, ослабѣлъ и чуть не потухъ интересъ къ нимъ и всего русскаго общества“ (95). Вѣрнѣе было бы сказать, что энергія земцевъ, представителей общества, потому именно и начала ослабѣвать, что ослабѣлъ интересъ самаго общества къ паевымъ и дивиденднымъ товариществамъ съ дорогимъ кредитомъ, безъ частичнаго погашенія ссуды, съ краткосрочными займами, дѣлающими необходимою безконечную „переписку векселей“ и т. д., словомъ, съ уставомъ, рѣшительно не приспособленнымъ къ условіямъ крестьянскаго хозяйства и быта.

Однако, размѣры настоящей замѣтки разрослись настолько, что мы не можемъ слѣдить въ этомъ направленіи за авторомъ шагъ за шагомъ и принуждены ограничиться сказаннымъ.

По Манчжуріи. Александра Верещагина. (1900—1901 гг.). Воспоминанія и рассказы. Спб. 1903.

Читая о томъ восторгѣ, съ какимъ рвался г. Верещагинъ на Дальній Востокъ, чтобы „все видѣть, высмотрѣть“, мы въ правѣ были ожидать, что онъ, участникъ одной изъ самыхъ страшныхъ и тяжелыхъ войнъ, дастъ намъ дѣйствительно цѣнный матеріалъ наблюденій и поможетъ разобраться во всемъ этомъ хаосѣ. Но наши надежды не оправдались. Возьмемъ такой кардинальный вопросъ, какъ вопросъ о причинахъ разомъ вспыхнувшаго взрыва ненависти китайцевъ по всему восточному Китаю. Въ южной части винятъ католическихъ миссіонеровъ, но вѣдь въ нашей Манчжуріи ихъ не было. Кто же сыгралъ ихъ роль? Отвѣта на этотъ вопросъ мы не найдемъ въ разбираемой книгѣ. Вотъ дословно все, что говоритъ по этому поводу нашъ авторъ. „Хотя взрывъ китайскаго негодованія противъ русскихъ въ Харбинѣ давно подготовлялся,—чѣмъ онъ вызывался, какими соображеніями, я не могу сказать, но вотъ, между прочимъ, какую курьезную причину слышалъ я отъ лицъ, заслуживающихъ полнаго довѣрія“.

Далѣе идетъ рассказъ, какъ у одного изъ служащихъ на желѣзной дорогѣ жилъ ручной медвѣдь, какъ медвѣдя убили, шкуру сняли, сало вытопили, а лапы пошли на ѣду. „Кто-то изъ недоброжелателей русскихъ, должно быть переводчики (?), распространили слухъ, что-де русскіе убиваютъ китайскихъ рабочихъ, ѣдятъ ихъ, а саломъ смазываютъ паровозы. Въ доказательство же своихъ словъ, они начали показывать ободранную лапу медвѣдя, которая, какъ извѣстно, имѣетъ немалое сходствъ •

съ человѣческой. Тысячи рабочихъ разомъ бросили работу, такъ что администрація дороги очутилась безъ рукъ. Какъ китайцамъ ни объясняли, какъ ни доказывали,—ничѣмъ не могли убѣдить. Въ концѣ концовъ они нѣсколько успокоились, когда имъ зарѣзали другого медвѣдя и показали лапы. Вотъ какіе въ сущности дѣти эти китайскіе рабочіе“ (стр. 71).

Теперь возьмемъ какой-нибудь частный случай. Ну хотя бы знаменитое потопленіе тысячъ мирныхъ китайцевъ подъ Благовѣщенскомъ. Какъ его понимаетъ авторъ, проѣзжавшій по Шилей и Амуру, кажется, всего недѣли черезъ двѣ послѣ событія? Онъ слышалъ ужасающіе рассказы, онъ видѣлъ отмели Амура, покрытыя сотнями труповъ, онъ видѣлъ тысячи этихъ труповъ плывущихъ внизъ по теченію, и носъ его парохода отшвыривалъ эти трупы и они, какъ живые, качаясь на волнахъ парохода, высовывали изъ воды то зачоченѣвшія известково-бѣлыя руки и ноги, то зіяющія зловонныя дыры, оставшіяся вмѣсто выѣденныхъ раками внутренностей. Онъ обонялъ зараженный трупнымъ запахомъ воздухъ... Вы ищите объясненія... И вотъ оно: такъ какъ войска въ городѣ было мало, то „когда началась стрѣльба (изъ Сахалине) всѣ русскіе, понятно, бросились къ начальству за оружіемъ и въ то же время начали умолять выселить китайцевъ на тотъ берегъ. А когда ихъ согнали къ берегу и перевозочныхъ средствъ не оказалось, то очень естественно, что произошла именно та катастрофа, кототорая и должна была произойти“ (16).

Вотъ и все. Далѣе идетъ: „Благовѣщенскъ производитъ прекрасное впечатлѣніе“...

Гораздо интереснѣй тѣ бытовыя черточки, съ которыми знакомитъ насъ, не мудрствуя лукаво, откровенный авторъ. И въ этомъ отношеніи великолѣпенъ рассказъ о походѣ на Гиринъ. Вотъ этотъ рассказъ частью сокращенно, частью же дословно:

Взять Гиринъ пожелалъ самъ генералъ Гродековъ. И вотъ онъ съ цѣлымъ штатомъ плыветъ по Сунгари къ Харбину, чтобы оттуда идти походомъ на Гиринъ. Компанія (и авторъ) мечтаетъ о наградахъ. Но вотъ Харбинъ. Встрѣча. Генералъ Гродековъ разговариваетъ въ каютѣ съ встрѣтившимъ его генераломъ Каульбарсомъ. „Вдругъ ко мнѣ подбѣгаетъ знакомый адъютантъ, добродушнѣйшій и милѣйшій господинъ, и съ искаженнымъ, недовольнымъ лицомъ кричитъ:

— Каковъ скандалъ! Слышали! Гиринъ взять!

— Какъ? можетъ-ли быть? —говорю.

— Да! да! Рененкампфъ безъ боя занялъ! Вотъ вамъ и награды. Вотъ вамъ и чины, и кресты!—Похлопывая себя руками по тучнымъ бедрамъ, онъ быстро направляется сообщить другимъ эту, столь непріятную для всѣхъ насъ, новость.

„Гдѣ это онъ узналъ? Подслушалъ, что-ли? Можетъ быть,

еще и неправда! — думается мнѣ“. Но Гиринъ дѣйствительно оказался занятымъ Рененкампомъ безъ боя.

— Посмотрите-ка,—говорю ему (тому же адъютанту), заглядывая въ окно каюты, гдѣ засѣдало начальство,—какой Каульбарсъ-то грустный!

— Будешь грустный, когда изъ-подъ носа награды выхватили! Вотъ теперь и дожидайся! Второго Гирина не найдешь“.

— А кто же вонъ тотъ полный господинъ? — спрашиваю.

— А это Юговичъ, строитель желѣзной дороги. Его очень хвалятъ. Хорошій господинъ; семьдесятъ тысячъ въ годъ получаетъ. Можно жить. А вотъ тутъ на сто двадцать рублей въ мѣсяцъ немного разгуляешься“ (69 и т. д.)...

Мы очень жалѣемъ, что пришлось сократить нѣсколько эту прелестную, полную наивности сценку... А такихъ сценокъ много. Такъ же наивно рассказываетъ авторъ, какъ коллекционеры-любители, въ томъ числѣ и онъ самъ, „приобрѣтали“ иногда покупали (не всегда) разныя рѣдкія вещи „для музеевъ“.

Всѣмъ-ли понравятся эти сценки и при томъ почти всегда съ полными фамиліями и именами—мы не знаемъ, но мы прочли ихъ съ интересомъ.

По слѣдамъ голода. Изъ воспоминаній. **Василій Якимовъ.** Спбургъ. 1903 г.

Мы живо помнимъ голодъ 91 и 92 годовъ, помнимъ то возбужденіе, которое охватило въ большей или меньшей степени всѣ слои общества. Съ тѣхъ поръ не проходило года, чтобы неурожай со всѣми своими страшными спутниками въ видѣ голода, болѣзней, смертей, разореній не овладѣвалъ болѣшимъ или меньшимъ раіономъ. Эта повторяемость явленія указывала съ одной стороны на то, что его нельзя отнести за счетъ случайности что причины его лежатъ гораздо глубже, а съ другой стороны выяснило истинное значеніе частной благотворительности. Чтобы придти къ этому сознанію понадобилось 12 долгихъ лѣтъ. И здѣсь является лишь то утѣшеніемъ, что люди живого дѣла дѣйствительно и правильно сознали смыслъ этихъ хроническихъ голодовокъ и дружно, почти единогласно по важнѣйшимъ вопросамъ даютъ отвѣты въ сельско хозяйственныхъ „комитетахъ“ на запросы правительства. Кто знаетъ—явись эти „комитеты“ нѣсколько раньше—были-ли бы ихъ отвѣты такъ единодушны.

Но записки г. Якимова относятся еще къ 98 и 99 гг., т. е. къ тому времени, когда серьезность общаго положенія сельскаго хозяйства еще не была признана официально, когда еще провинція не была призвана къ обсужденію мѣръ поднятія сельскаго хозяйства, а напротивъ должна была жить и мыслить по канцелярскимъ инструкціямъ. Понятно, что, не смотря на длинный періодъ,

общее положеніе дѣлъ осталось тоже, что и въ предшествующія голодовки. На массѣ фактовъ г. Якимовъ показываетъ намъ, какъ попрежнему провинціальныя дѣятели дѣлятся на два лагеря: въ одномъ идетъ дружная самоотверженная работа, а въ другомъ раздаётся лишь брань по адресу мужика, упреки въ лѣности, насмѣшки надъ радѣтелями народными и... пользованіе подъ шумокъ, или подъ благовиднымъ предлогомъ тѣми грошами, что собраны были для голодныхъ.

Г. Якимовъ наблюдательный и вдумчивый бытописатель. Онъ не задается цѣлью посредствомъ художественнаго изложенія мрачныхъ явленій произвести впечатлѣніе, разжалобить читателя. Нѣтъ у него и идеализаціи народа. И онъ самъ отъ себя, и устами своихъ товарищей работниковъ рассказываетъ намъ, напримѣръ, о случаяхъ обмана ихъ голодающими. Но у кого повернется языкъ, задается онъ вопросомъ, кто рѣшится бросить камень въ голоднаго, если онъ не вынесъ искушенія хоть обманомъ да добыться лишняго куска хлѣба для своей голодной семьи? Рассказываетъ намъ авторъ также о ворѣ, о поджигателѣ. Но они воруютъ и поджигаютъ съ единственной цѣлью, попасть въ тюрьму: „тамъ кормятъ“. Поэтому они совершаютъ свои преступленія или такъ, чтобы тотчасъ же попасться, или такъ, чтобы причинить какъ можно менѣе убытку своимъ жертвамъ; въ виду этого и горитъ не скотный дворъ, не амбаръ хлѣба, а гнилая, никуда негодная баня. У кого-же хватить совѣсти упрекнуть ихъ за это, тѣмъ болѣе, что рядомъ мы читаемъ о старикѣ, который для внучатъ пошелъ въ „кусочки“ и который падаетъ въ изнеможеніи, но не беретъ себѣ ни одного изъ внуковыхъ кусочковъ. Или еще нѣсколько дальше, читаемъ о другомъ представителѣ сѣрой многомилліонной, безымянной массы, который Христа ради проситъ у помѣщика *для себя и для семьи* той муки, болтушку изъ которой не ѣдятъ *помѣщичьи лошади*.

Здѣсь нѣтъ надобности, да и возможности перечислить всѣ тѣ случаи, встрѣчи и наблюденія, которыми дѣлится съ нами г. Якимовъ. Но впечатлѣніе получается тѣмъ болѣе сильное, что авторъ необыкновенно кратокъ. Передавъ фактъ, онъ, самое большое, въ нѣсколькихъ словахъ сообщить свое впечатлѣніе по этому поводу и даже при видѣ смерти молодой самоотверженной пчальницы народной, онъ разрѣшаетъ себѣ лишь слѣдующія немногія слова: „Въ душѣ невольно шевелились укоры судьбѣ, а въ умѣ вставалъ неотвязный (а, пожалуй, и праздный) вопросъ: за что? За что такъ рано погибла эта молодая жизнь? Къ чему она отцвѣла, не успѣвши расцвѣсть? И, конечно, никакого отвѣта не находилось. И въ эту минуту жизнь казалась мнѣ не разумнымъ проявленіемъ природы, а лишь рядомъ случайностей, безъ связи, безъ цѣли, безъ причины, безъ опредѣленнаго плана...“ (129)

Благодаря такой сдержанности, небольшая книжка г. Якимова

(всего 231 стр.) какъ бы впитала въ себя всю многосложность жизни: отъ глухой татарской деревушки съ курными избами до шумнаго города съ университетомъ, пышными хоромами и казенными канцеляріями.

Мы усиленно рекомендуемъ читателю эту книжку.

Новыя книги, поступившія въ редакцію.

(Значащіяся въ этомъ спискѣ книги присылаются авторами и издателями въ редакцію въ одномъ экземплярѣ и въ конторѣ журнала *не продаются*. Равнымъ образомъ контора не принимаетъ на себя комиссіи по приобретенію этихъ книгъ въ книжныхъ магазинахъ).

Г. Гауптманъ. Собраніе сочиненій. Переводъ подъ ред. К. Бальмонта. Изданіе С. Скирмунта. 2 тома. М. 1902. Ц. 1-го тома 1 р. 50 к., 2-го—2 р.

Собраніе сочиненій **Элизы Ожешко**. Переводъ съ польск. С. С. Зелинскаго. Изданіе Б. К. Фукса. Т. X. Кіевъ. 1902 за все изданіе, 12 т., 4 р., съ перес. и дост. 5 р.

Сочиненія **Джона Рескина**. Переводъ Л. П. Никифорова. Изданіе И. А. Баландина и В. Н. Линдъ. Серія I. Книжка 8. М. 1902. Подписная ц. на 1-ю серію съ дост. и перес. 5 р.

Собраніе сочиненій **Эрнеста Ренана**. Переводъ съ франц. подъ ред. В. Н. Михайлова. Изданіе Б. К. Фукса. Т. VIII. Кіевъ. 1902. Ц. за все изданіе. 12 томовъ, 5 р., съ перес. и дост. 6 р.

Полное собраніе повѣстей и рассказовъ **Вацлава Спрошевскаго**. Т. I. 2-е изданіе магазина «Книжное Дѣло». Спб. Ц. 1 р.

Собраніе сочиненій **Георга Брандеса**. Переводъ съ датскаго подъ редакціей М. В. Лучицкой. Т. IX. Изданіе Б. К. Фукса. Кіевъ. 1902. Ц. за все изданіе, 12 томовъ, 5 р., съ перес. и дост. 6 р.

Собраніе сочиненій **Манса Нордау**. Переводъ съ нѣм. подъ ред. В. Н. Михайлова. Т. IX. Изданіе Б. К. Фукса. Кіевъ. 1902. Ц. за все изданіе, 12 томовъ, 5 р., съ перес. и дост. 6 р.

М. А. Лосвицкая (Жиберъ) Стихотворенія. Т. IV. Спб. 1903. Ц. 2 р.

Ал. Можаровскій. Звѣріада. Сказка-поэма изъ русскаго животнаго эпоса. Тамбовъ. 1902. Ц. 60 к.

П. Н. Евремовъ. Стихотворенія. Одесса. 1903. Ц. 1 р. 50 к.

А. М. Федоровъ. Стихотворенія.

Изданіе О. Н. Поповой. Спб. 1903. Ц. 1 р.

Алексій Кастальскій. Стихотворенія. М. 1902. Ц. 40 к.

Маркъ Бриницкій. Драматическія сочиненія. Сирена. Изданіе Ф. И. Ильинскаго. М. 1903. Ц. 30 к.

А. Бахтіаровъ. Босяки. Очерки съ натуры. Изданіе книгопродавца **Ф. И. Митурникова**. Спб. 1903. Ц. 1 р.

И. И. Курчанскій. Докучная сказка и другіе рассказы. Изданіе кн. магазина С. В. Можаравскаго. Одесса. 1903. Ц. 50 к.

Ольга Шаниръ. Другъ дѣтства. Повѣсть. Спб. 1903. Ц. 1 р.

А. Луговой. Изданія А. Ф. Маркса. Швейцаръ. Ц. 20 к.—За грозой—ведро. Ц. 25 к.

Сергій Поповъ. Изъ царства праздности. М. 1902. Ц. 1 р.

А. О. Эльснеръ-Каранскій. Желѣзный докторъ. Романъ. Изданіе т-ва «Книговѣдъ». Спб. 1903. Ц. 1 р.

Л. А. Чарская. Проблемы любви. Рассказы о женскомъ сердцѣ. Спб. 1903. Ц. 1 р.

Сергій Хатунскій. Около воле-сти. Очерки. Изданіе кн. магазина С. Курнина и Ко. М. 1902. Ц. 50 к.

С. Р. Минцловъ. На зарѣ XVIII вѣка. Историческій романъ. 2-е изданіе кн. магазина Ц. Крайзъ. Спб. 1902. Ц. 1 р.

Кнутъ Гамсунъ. Драма жизни. Книгоиздательство «Скорпионъ». М. 1902. Ц. 50 к.

Г. Сенкевичъ. Камо грядеши? Сокращенный переводъ О. Н. Поповой. Съ 12 рис. Спб. 1902.

Дж. Элиотъ. Даніель Деронда. Романъ. Переводъ съ англ. Изданіе Ш. Буссея. Спб. 1902. Ц. 2 р.

Б. Ауэрбахъ. Поэтъ и купецъ. Повесть. Переводъ Петра Вейнберга. Изданіе Ш. Буссея. Спб. 1902. Ц. 75 к.
Ф. Монгомери. Его не поняли. Повесть. Переводъ съ англ. Спб. 1902. Ц. 45 к.

Радости и горести знаменитой Молль Флендерсъ. Записано по ея мемуарамъ **Даниэльъ Де-Фо.** Переводъ съ англ. П. Канчаловскаго. Съ рис. Yeats'a и статей В. Лесевича. М. 1903. Ц. 1 р.

Впра. Одна изъ многихъ (Изъ дневника дѣвушки). Переводъ съ нѣм. А. Я. Т-зи. Изданіе О. Н. Поповой. Спб. 1903. Ц. 50 к.

Vera. Одна изъ многихъ. Изъ дневника молодой дѣвушки. Перевелъ А. А. Малининъ. М. 1902. Ц. 50 к.

Капитанъ Марриэтъ. Приключенія Якова вѣрнаго. Переработано для юношества. Кларой Рейхнеръ. Переводъ Н. Н. Мазуренко. Изданіе книгопродавца Ѳ. И. Митюрникова. Спб. 1903. Ц. 60 к.

Любовь и истина. Изъ стихотвореній **А. В. Круглова.** 2-е изданіе В. С. Спиридонова. М. 1902. Ц. 20 к.

А. В. Кругловъ. Лѣсные люди. Очерки и впечатлѣнія. 3-е изданіе В. С. Спиридонова. М. 1903. Ц. 1 р.

А. В. Кругловъ. Страшный дядя. Разсказъ. Изданіе В. С. Спиридонова. М. 1902. Ц. 15 к.

М. Юрѣва. Изъ жизни одной дѣвочки. Съ рис. Изданіе В. С. Спиридонова. М. 1902. Ц. 30 к.

М. Юрѣва. Около хорошихъ людей. Съ рис. Изданіе В. С. Спиридонова. М. 1902. Ц. 30 к.

Библиотека для дѣтей и для юношества. Подъ редакціей И. Горбунова-Посадова. М. 1903. Крамбамбулы и другіе разсказы. Съ рис. Ц. 30 к.—Сиротка Герти и др. разсказы. Съ рис. Ц. 1 р.—Безъ вѣсти пропавшій. Съ рис. Ц. 30 к.—Чудный даръ. Сборникъ сказокъ. Съ рис. Ц. 75 к.

Н. Р. Политуръ. Страничка изъ дѣтской жизни. Разсказы для дѣтей. Спб. 1903. Ц. 1 р. 50 к.

Вацлавъ Стршелевскій. Пустынный островъ. Разсказъ изъ жизни польскихъ дѣтсей. Изданіе магазина «Книжное Дѣло». Спб. 1902. Ц. 40 к.

Александръ Верещинъ. По Манчжуріи. Воспоминанія и разсказы. Съ рис. Спб. 1903. Ц. 1 р. 25 к.

А. Энгельмейеръ. По русскому и скандинавскому сѣверу. Путевыя воспоминанія. М. 1902. Ц. 1 р.

Австралія. Иллюстрированный географическій сборникъ, составленный преподавателями географіи **А. Круб-**

ромъ, С. Григорьевымъ, А. Барновымъ и С. Чефрановымъ. Изданіе т-ва И. Н. Кушнеровъ и Ко. М. 1903. Ц. 1 р. 50 к.

Буддійскій катехизисъ. Переводъ съ монгольск. Изданіе Ѳ. И. Митюрникова. Спб. 1902. Ц. 30 к.

Проблемы идеализма. Сборникъ статей подъ ред. П. И. Новгородцева. Изданіе Московскаго психологическаго о-ва. М. Ц. 3 р.

Проф. **А. Л. Погодинъ.** Религія Зороастра. Проф. **Джансонъ.** Жизнь Зороастра. Переводъ А. Л. Погодина. Изданіе О. Н. Поповой. Спб. 1903. Ц. 60 к.

Вѣра. Психологическій этюдъ. **П. Соколовъ.** М. 1902. Ц. 60 к.

Г. Е. Рожицкий. Скелеты характера. Популярный психологическій очеркъ. Житомиръ. 1902. Ц. 50 к.

Ритуальное убійство и присяга. Открытое письмо раввина д-ра **Вильгельма Мюнца** депутату рейхстага Либерманнъ-фонъ-Зонненбергу. Переводъ Г. Генкеля. Изданіе Ш. Буссея. Спб. 1902. Ц. 15 к.

Талмудъ. Авотъ **рабби Навана** въ обѣихъ версіяхъ. Съ прибавленіемъ трактата Авотъ. Критическій переводъ Н. Переферковича. Спб. 1903. Ц. 1 р.

Ученіе гр. Л. Н. Толстого о всеобщемъ мирѣ. **А. Болмонскаго.** Воронежъ. 1902. Ц. 50 к.

Г. Тардъ. Личность и толпа. Очерки по социальной психологіи Перевелъ съ франц. Е. А. Предтеченскій. Изданіе А. Большакова и Д. Голова. Спб. 1903. Ц. 1 р.

Карлъ Каутскій. Противорѣчія классовыхъ интересовъ въ 1789 году. Переводъ І. С. Биска подъ ред. В. Водовозова. Съ портретомъ автора. Кіевъ. 1902. Ц. 35 к.

А. Бансель. Кооператизмъ. Экономическіе очерки. Изданіе «Посредника». М. 1903. Ц. 60 к.

Земледѣліе, фабрично-заводская и кустарная промышленность и ремесла. Съ англ. перевелъ А. Н. Коншинъ. Изданіе «Посредника». М. 1903. Ц. 1 р. 25 к.

Организація и методы статистики труда. **М. Н. Соболева.** Томскъ. 1903. Ц. 1 р. 50 к.

Западная цивилизація съ экономической точки зрѣнія. Соч. **В. Кеннигсма.** Переводъ съ англ. П. Канчаловскаго съ предисловіемъ проф. А. А. Мануилова. М. 1903. Ц. 1 р. 40 к.

М. Туганъ-Барановскій. Очерки изъ новѣйшей исторіи политической

экономии. Съ 10-ю портретами. Издание «Мира Божія». Спб. 1903. Ц. 2 р.

М. Я. Герценштейнъ. Ипотечные банки и ростъ большихъ городовъ въ Германіи. Издание Комитета съѣздовъ представителей учреждений русскаго земельного кредита. Спб. 1902. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Карповъ. Учебная книга древней исторіи. Съ историч. картами. 2-е изданіе. Спб. 1902. Ц. 1 р. 20 к.

Н. Карповъ. Учебная книга исторіи среднихъ вѣковъ. Съ историч. картами. Спб. 1902. Ц. 1 р. 10 к.

Изъ исторіи государства Афинскаго. **А. П.** Изданіе В. И. Раппъ и В. И. Потапова. Харьковъ. 1903. Ц. 7 к.

Н. Н. С. Разказы изъ исторіи грековъ. Для школьнаго и семейнаго чтенія. Съ 32 иллюстраціями. 2-е изданіе. В. С. Спиридонова. М. 1902. Ц. 1 р.

П. Милуковъ. Очерки по исторіи русской культуры. Часть третья. Вып. 2-й. Изданіе ред. «Мира Божія». Спб. 1903. Ц. 1 р.

М. Е. Соколовъ. Пѣсни А. С. Пушкина и крестьянъ Саратовской губ. о Стенькѣ Разинѣ. Саратовъ. 1902. Ц. 20 к. безъ перес.

Сборникъ критическихъ статей о Н. А. Некрасовѣ. Часть вторая. Собралъ В. Зелинский. 2-е изданіе М. 1902. Ц. 1 р.

Ст. Сухановъ. Символизмъ и Леонидъ Андреевъ какъ его представитель. Кіевъ. 1903. Ц. 20 к.

И. Гофштеттеръ. Поэзія вырожденія. Философскіе и психологическіе мотивы декадентства. Спб. 1902. Ц. 50 к.

Н. Коробна. Очерки литературныхъ настроеній. Спб. 1903. Ц. 1 р.

Е. Некрасова. Жизнь студентки. М. 1903. Ц. 40 к.

Отказъ проф. А. И. Введенскаго отъ третейскаго разбирательства. (Документы). Изданіе А. П. Нечаева. Спб. 1902.

А. Степовичъ. Къ столѣтію рожденія словянскаго поэта Франца-Ксаверія Прешерна. Кіевъ. 1902.

«Мечты». Сочиненіе штабсъ-капитана **Александра Афанасьевича Петрова.** Изданіе Марьи Афанасьевны Петровой. Елисаветградъ. 1902. Ц. 20 к.

Проф. **Ө. В. Благовидовъ.** Этюдъ изъ исторіи высшаго образованія въ Россіи за время царствованія императоровъ Александра и Николая I. Казань. 1902. Ц. 50 к.

Труды юридическаго кабинета при Томскомъ университетѣ. Статистико-экономическое отдѣленіе. Вып. II. Эко-

номическое положеніе томскихъ студентовъ. Составилъ **М. Н. Соболевъ** при участіи студентовъ-членовъ статистическаго семинарія. Томскъ. 1902. Ц. 30 к.

Средняя школа новаго типа въ западно-европейскихъ государствахъ. Составила **Е. Джунновская.** Съ 12 рис. Изданіе С. Дороватовскаго и А. Чарушникова. Спб. 1902. Ц. 75 к.

Новый типъ школы въ Россіи. М. 1902. Ц. 20 к.

Примѣрные планы школьныхъ зданій на 40—60 и 60—100 учениковъ. Изданіе 2-е. Московской губернской земской управы. М. 1902.

Отчетъ общества для содѣйствія народному образованію и распространенію полезныиъ знаній въ Ярославской губ. за 1891 годъ. Ярославль. 1902.

Народный домъ Кіевского о-ва грамотности въ г. Кіевѣ. Краткій очеркъ исторіи сооруженія народнаго дома. Кіевъ. 1902. Ц. 20 к.

Отчетъ Пермскаго научно-промышленнаго музея за 1901 г. въ связи съ краткимъ очеркомъ одиннадцатилѣтней (1890—1900) дѣятельности Пермской комиссіи Уральскаго о-ва любителей естествознанія. Пермь. 1902.

Отчетъ драматическаго кружка народнаго театра въ г. Пензѣ съ 1 марта по 1 сентября 1902. Пенза. 1902.

А. I. Степовичъ. XII археологическій съѣздъ въ Харьковѣ. Кіевъ. 1902.

Мелкая земская единица. Сборникъ статей. Изданіе кн. П. Д. Долгорукова и кн. Д. И. Шаховскаго при участіи редакціи газеты «Право». Спб. Ц. 2 р. 50 к.

С. П. Никоновъ и **Е. И. Якушинъ.** Гражданское право по рѣшеніямъ Крестобогородскаго волостнаго суда Ярославской губ. и уѣзда. Ярославль. 1902.

Трудъ душевно-больныхъ Винницкой окружной лѣчебницы и его лѣчебно-воспитательное значеніе. Составилъ ординаторъ лѣчебницы **Л. Ф. Якубовичъ.** Кіевъ. 1902.

Больница св. Николая чудотворца для душевно-больныхъ въ С.-Петербургѣ. Краткая исторія возникновенія больницы, ея настоящее тяжелое положеніе и единственно-возможный выходъ изъ него въ будущемъ. Спб. 1902.

Левъ Морозовъ. Исторія и отношеніе медицинскихъ знаній. Съ 527 рис. въ текстѣ и хромофотографированною таблицей. М. 1903. Ц. 2 р. 50 к.

Проф. **В. А. Богородицкій.** Скло-

чение въ аrio-европейскихъ языкахъ (Изъ чтеній по сравнительной грамматикѣ). Казань. 1502. Ц. 80 к.

А. Вернштейнъ. Химическія силы и электрохимія. Переводъ женщ.-вр. Е. Д. Вургафъ. Изданіе О. И. Митурникова. Спб. 1903. Ц. 60 к.

Систематизація употребительнѣйшихъ ариметическихъ задачъ по типамъ съ объяснительнымъ рѣшеніемъ основныхъ и побочныхъ задачъ каждаго типа и прибавленіемъ задачъ безъ рѣшеній. Составилъ **Савватій Ковнеръ**. Лодзь. 1902. Ц. 60 к.

G. Pellissier. Précis de l'histoire de la littérature française. (85 portraits). Paris.

Quatre ans de politique extérieure. Le nouveau traité franco-siamois. Par ***. Extrait de la «Revue politique et parlementaire», Paris. 1902.

Théorie de l'administration internationale. Par **Pierre Kazansky** Extrait de la «Revue générale de droit international public». Paris. 1902.

Ausgewählte Dichtungen des Grossfürsten Konstantin von Russland. Verdeutschet von Hermann von Zur Mühlen. Berlin. 1903.

Gedichte von Nikolai Alexejewitsch Nekrassow. Im Versmasz des Originals von Friedrich Fiedler. Mit Nekrassows Bildnis. Leipzig.

Къ очередному вопросу АЛЕКСАНДРА И

(О мелкой земской единицѣ).

Вопросъ о мелкой земской единицѣ, какъ извѣстно, имѣетъ уже свою довольно продолжительную и богатую содержаніемъ исторію, начало которой относится еще ко времени выработки редакціонными комиссіями основаній крестьянской реформы. Но никогда еще вопросъ этотъ не привлекалъ къ себѣ въ такой мѣрѣ общественнаго вниманія, и никогда еще неотложность его разрѣшенія такъ настойчиво не стучалась въ двери законодателя, какъ въ настоящее время. Понятно, что въ такой моментъ особенно умістно появленіе труда, который во 1-хъ подвелъ бы итоги тому, что уже сдѣлано, если не для практическаго, то для теоретическаго рѣшенія стоящаго на очереди вопроса, во 2-хъ далъ бы матеріалы и руководящія указанія для его дальнѣйшей всесторонней разработки. Нельзя поэтому не признать въ высшей степени счастливой идею кн. П. Д. Долгорукова и кн. Д. И. Шаховскаго, издавшихъ, при участіи редакціи газеты „Право“, именно такого рода трудъ о мелкой земской единицѣ *). Однако, ни передавать содержаніе этого коллективнаго труда, ни подвергать его критикѣ мы здѣсь не намѣрены. Перваго мы не дѣлаемъ потому, что предпочли бы въ интересахъ читателя, чтобы онъ непосред-

*) Вотъ его титулъ: «Мелкая земская единица», сборникъ статей: К. К. Арсеньева, В. Г. Бажаева, П. Г. Виноградова, I. В. Гессена, Г. Б. Голлоса, М. М. Ковалевскаго, Н. И. Лазаревскаго, М. К. Лемке, бар. А. Ф. Мейендорфа, М. Н. Покровскаго, В. Ю. Скалона, В. Д. Спасовича, И. М. Страховскаго и Г. И. Шрейдера. Спб., 1902.

ственно познакомился со сборникомъ; второе было бы неудобно потому, что пишущій эти строки самъ является однимъ изъ участвующихъ въ немъ авторовъ. Мы воспользуемся сборникомъ только какъ поводомъ для того, чтобы, опираясь частью на заключающіяся въ немъ данныя, отмѣтить одну наиболѣе, по нашему мнѣнію, важную и интересную сторону вопроса о мелкой земской единицѣ. Мы имѣемъ въ виду ту замѣчательную эволюцію, которую вопросъ этотъ претерпѣлъ въ теченіе сорока лѣтъ, отдѣляющихъ насъ отъ крестьянской реформы. Было бы слишкомъ долго, да и нѣтъ необходимости останавливаться на всѣхъ стадіяхъ его развитія *); достаточно отмѣтить діаметрально противоположный характеръ его начальной и конечной стадіи: то, что прежде было предметомъ крѣпостническихъ вожделѣній, нынѣ стало объектомъ горячихъ пожеланій прогрессивныхъ и благожелательныхъ народу элементовъ русскаго общества. Правда, прежде шла рѣчь о безсословной волости, теперь же говорятъ по преимуществу о всесословной или даже безсословной мелкой земской единицѣ; правда также, что въ этой перемѣнѣ терминологіи отразилось нѣкоторое измѣненіе элементовъ, входящихъ въ составъ выражаемыхъ ею понятій, именно, нѣкоторое ограниченіе функций предполагаемаго учрежденія **); но въ существѣ, въ основномъ и главномъ, рѣчь и прежде и теперь идетъ объ одномъ и томъ же: о мелкой территоріальной единицѣ мѣстнаго управленія, къ участию въ которомъ призвано было бы все мѣстное населеніе независимо отъ его сословныхъ подраздѣленій. И если, тѣмъ не менѣе, при неизмѣнности существа дѣла, въ конечномъ итогѣ истекшаго сорокалѣтія отношеніе къ нему прогрессивныхъ и ретроградныхъ элементовъ русскаго общества такъ рѣзко измѣнилось, что они помѣнялись ролями, то это не могло произойти иначе, какъ только въ силу серьезныхъ и глубокихъ причинъ, кореннымъ образомъ измѣнившихъ условія мѣстной русской жизни: очевидно уже а priori, что на мѣстахъ, во 1-хъ, существенно измѣнился характеръ тѣхъ интересовъ, которымъ призванъ служить новый органъ сельскаго управленія, во 2-хъ, произошло серьезное перераспредѣленіе общественныхъ силъ, представляющихъ нынѣ взору наблюдателя въ совершенно иной комбинаціи, чѣмъ оно представлялось ему около двухъ десятилѣтій тому назадъ. Мы въ этомъ легко убѣдимся обратившись къ выясненію тѣхъ причинъ, которыя съ такою силою выдвинули впередъ вопросъ о всесословной мелкой земской единицѣ.

Въ сборникѣ, въ статьѣ И. М. Страховскаго: „Крестьянское

*) Относящаяся сюда подробности читатели найдутъ въ сборникѣ въ статьяхъ В. Г. Бажаева и І. В. Гессена.

**) Прежде рѣчь шла объ административно-хозяйственной, даже съ судебными функциями, теперь же о чисто земской единицѣ.

сословное самоуправленіе“ подробно выясняются тѣ основанія, въ силу которыхъ освобожденные изъ крѣпостной зависимости крестьяне изолированы были въ особой сословной волости, равно какъ и тѣ послѣдствія, къ которымъ такая изоляція привела. Обособленное крестьянское самоуправленіе создано было первоначально исключительно въ огражденіе крестьянъ въ теченіе процесса эмансипаціи отъ тѣхъ патримоніальныхъ вожделѣній, осуществить которыя помѣщики думали и стремились именно при посредствѣ всесословной волости. Редакціонныя коммиссіи настолько боялись вліянія помѣщиковъ на крестьянъ, что „прилагали даже особыя старанія къ такому опредѣленію территориальнаго состава властей, при которомъ волости не совпадали бы съ помѣщичьими вотчинами и стояли бы внѣ возмознаго воздѣйствія со стороны одного помѣщика“ *). „Вообще,—замѣчаетъ далѣе г. Страховскій,—для правильнаго пониманія выработаннаго редакціонными коммиссіями крестьянскаго общественнаго устройства необходимо усвоить себѣ мысль, проходящую, какъ красная нить, черезъ всѣ труды коммиссій, что это общественное устройство направлено было противъ помѣщиковъ и преслѣдовало лишь временныя цѣли эмансипаціи, не разрѣшая и даже не предпрѣшая вопроса о коренныхъ, постоянныхъ формахъ сельскаго общественнаго управленія“. Но временное, какъ это часто у насъ бываетъ, превратилось въ постоянное. И если „первую ближайшую свою задачу—обособить крестьянское управленіе и судъ отъ помѣщичьяго вліянія—волости выполнили вполне (?) удовлетворительно“, то „на вопросъ: нашли-ли крестьяне въ формахъ волостного устройства административное и хозяйственное самоуправленіе?“ приходится отвѣтить вполне и безусловно отрицательно. Отсутствіе у крестьянъ особыхъ отъ другихъ жителей волости сословныхъ интересовъ мѣстнаго благоустройства; опредѣленіе состава волостей въ зависимости не отъ потребностей и нуждъ населенія, а единственно отъ удобствъ полицейскаго управленія и надзора; чрезвычайное обремененіе крестьянъ обязательными повинностями, лишающее ихъ средствъ для удовлетворенія общественныхъ нуждъ, при вообще крайнемъ стѣсненіи свободы распоряженія этими средствами; чрезмѣрная опека надъ крестьянскимъ самоуправленіемъ судебно-административныхъ учреждений, организованныхъ по положенію 12 іюля 1889 года; превращеніе въ связи съ этимъ волостного писаря изъ лица подвластнаго міру, въ его владыку, и волостного старшины—„всецѣло въ волостного начальника, не столько представляющаго передъ лицомъ правительственныхъ властей интересы избравшаго его населенія, сколько представляющаго передъ

*) Сборн., стр. 249—250.

лицомъ этого населенія "власть общаго управленія", наконецъ, превращеніе волостныхъ правленій въ фискально-полицейскія канцеляріи, вниманіе которыхъ поглощено тысячами входящихъ и исходящихъ, и вообще, предметами, никакого отношенія не имѣющими къ волостному общественному хозяйству,— вотъ тѣ коренныя и производныя причины, которыя на основаніи почвъ массовой темноты и юридической безпомощности крестьянства свели почти къ нулю значеніе крестьянской волости. Уже одно то, что на мѣстѣ тѣхъ задачъ, которыя возложены были на волость 40 лѣтъ назадъ, до сихъ поръ остается почти пустое мѣсто, въ достаточной мѣрѣ громко вопіеть о необходимости замѣны ея учрежденіемъ, болѣе приспособленнымъ къ ихъ разрѣшенію, болѣе соответствующимъ характеру этихъ задачъ, въ которыхъ нѣтъ ничего сословнаго. Но еще болѣе громко вопіеть о такой замѣнѣ, еще болѣе неотложной дѣлаетъ ее именно то, что часть этой пустоты сословной крестьянской волостью заполнена, но заполнена единственно путемъ чрезвычайнаго напряженія крестьянской массы, на которую пало удовлетвореніе мѣстныхъ общесословныхъ нуждъ за счетъ все растущихъ и все болѣе угнетающихъ крестьянское населеніе мирскихъ сборовъ. Едва-ли есть необходимость подробно разяснять, какую роль этотъ фактъ сыгралъ въ оскуднѣніи крестьянства. Эта роль настолько велика, что уже ея одной, помимо всего прочаго, было бы достаточно для того, чтобы начавшая ясно понимать свои нужды деревня стала горячо желать такой организациі мѣстнаго управленія, при которомъ общесословныя нужды удовлетворялись бы на общесословныя же средства. Есть основаніе стремиться къ этому и въ сосѣдней частновладѣльческой усадьбѣ. Какъ свидѣлствуютъ данныя о прогрессивномъ сокращеніи дворянскаго землевладѣнія, теперь обитателемъ этой усадьбы оказывается часто какъ разъ крестьянинъ-же сосѣдней деревни. Въ такомъ случаѣ, между деревней и частновладѣльческой усадьбой всякія сословныя перегородки оказываются окончательно разрушенными. Но и въ томъ случаѣ, когда обитателемъ помѣщичьей усадьбы является теперь разночинецъ, купецъ или мѣщанинъ, отдѣляющія ихъ отъ крестьянъ сословныя перегородки получаютъ несущественное, чисто формальное значеніе, ничего общаго не имѣющее съ тѣмъ значеніемъ, какое имѣла сословная перегородка, освященная старой помѣщичьей традиціей. Общій ходъ вещей, въ особенности же все растущая потребность въ улучшеніи и умноженіи условій мѣстнаго благоустройства,—дорогъ, почтовыхъ сношеній, пожарной безопасности, полевой охраны и т. п.,—что въ надлежащей степени достижимо только дружными и солидарными усиліями всего мѣстнаго населенія,—вотъ причины, которыя дѣлаютъ новыхъ владѣльцевъ старыхъ помѣщичьихъ усадебъ весьма чувствитель-

ными въ неудобствахъ той изолированности, въ которую ставятъ ихъ сословная организація дерерни. Неудивительно, если и въ этой средѣ мы получаемъ возможность констатировать наличность движенія въ пользу такого устройства мѣстности, которое дало бы имъ—пришельцамъ—возможность органически связать себя съ нею, принявъ активное участіе въ ея судьбахъ.

Перемѣнились жильцы не только подъ крышей помѣщичьей усадьбы; измѣнился характеръ и составъ населенія также въ предѣлахъ сосѣдней деревенской околицы. Подъ вліяніемъ и въ связи съ той всесторонней эволюціей, которую переживаетъ деревня,—въ нее нахлынула огромная разнородная масса, такъ называемыхъ, „постороннихъ“. Принимая непосредственное активное участіе въ жизни деревни, во всѣхъ совершающихся въ ней процессахъ производства и распредѣленія, словомъ, будучи всѣми фибрами своего существованія связана съ деревней,—эта масса въ то же время состоятъ въ ней на положеніи случайнаго гостя, формально лишена возможности оказывать какое-либо вліяніе на улучшеніе окружающей ея обстановки и даже часто не увѣрена въ завтрашнемъ днѣ, когда ей можетъ быть отказано въ гостепріимствѣ. Понятно почему въ этой многочисленной средѣ идея реорганизаціи мѣстности на всесословныхъ началахъ встрѣчаетъ особенно горячихъ адептовъ.

Однимъ изъ крупныхъ результатовъ земской дѣятельности нужно признать появленіе въ деревнѣ весьма значительныхъ кадровъ безсословной интеллигенціи. Не менѣе, если даже не болѣе многочисленнымъ представляется и народившійся уже въ деревнѣ слой интеллигенціи чисто крестьянской; мы видимъ выдающихся представителей ея въ земскихъ собраніяхъ, въ уѣздныхъ комитетахъ; изъ ея среды вербуются тысячи крестьянъ-корреспондентовъ земской текущей статистики, десятки тысячъ крестьянъ подписчиковъ на газеты и журналы и т. д. Словомъ, только умышленно закрывая глаза на дѣйствительность, можно не замѣтить въ современной деревнѣ, наряду съ темной безпомощной массой, также весьма крупнаго запаса живыхъ и дѣятельныхъ силъ, которыя по самому существу своему не могутъ не искать себѣ широкаго общественнаго приложенія и которыя потому при первой малѣйшей возможности реализируютъ свое стремленіе къ общественной дѣятельности. Въ сборникѣ мы приводимъ сообщеніе Кропотова относительно Ярославской губерніи, гдѣ въ деревняхъ во многихъ мѣстахъ „зарождается правильно организованная благотворительная дѣятельность, выражающаяся въ устройствѣ въ селахъ благотворительныхъ обществъ съ богадѣльнями для престарѣлыхъ увѣчныхъ; на жертвы мѣстнаго населенія и на помощь отъ проживающихъ въ столицахъ отходчиковъ все чаще и чаще устраиваются училища, учреждаются библіотеки и чи-

тальни“ *). Тамъ же мы приводимъ свидѣтельство звенигородскаго уѣзднаго предводителя дворянства гр. П. С. Шереметева, насчитывающаго въ своемъ уѣздѣ 25 устроенныхъ на частныя средства школъ, 12 устроенныхъ частными лицами богадѣленъ, яслей-пріютовъ, затѣмъ цѣлый рядъ добровольныхъ организацій: благотворительныхъ обществъ, братствъ, попечительствъ, пожарныхъ дружинъ и т. д. Но особенно яркое свидѣтельство объ интересующемъ насъ явленіи мы находимъ въ только что вспомнившемся намъ сообщеніи (около 2 лѣтъ назадъ) корреспондента „Спб. Вѣд.“ о селѣ Пречистой Каменкѣ Новоторжскаго уѣзда, Тверской губ. „Это село, представляющее центръ волости,—писалъ онъ,—имѣетъ у себя: волостной банкъ, ссудосберегательное товарищество, складъ сѣмянъ, земледѣльческихъ орудій и машинъ, вольное пожарное общество, бесплатную библіотеку, читальню, попечительство о бѣдныхъ, домъ для разумныхъ развлеченій, въ которомъ будутъ помѣщаться: чайная, читальня, залъ для спектаклей, концертовъ и народныхъ чтеній съ туманными картинами“. И всѣ эти учрежденія „созданы, поддерживаются, организуются *самимъ населеніемъ волости*, и, въ частности, села Пречистой Каменки, по *собственному его почину, его собственными средствами*“. Такъ, домъ для разумныхъ развлеченій возникъ по инициативѣ и желанію самихъ крестьянъ, которые „собрали между собою средства, построили среди села большое зданіе, прилично, хотя и просто обставили его, купили волшебный фонарь, заказали для него картины, даже организовали небольшой хоръ изъ любителей пѣнія для устройства въ теченіе зимы концертовъ“ и кромѣ того еще возбудили ходатайство о разрѣшеніи имъ поставить въ своемъ „домѣ“ сцену и декораціи. Уставъ мѣстнаго попечительства о бѣдныхъ „составленъ самими крестьянами-учредителями его“. Очень характерно для крестьянской интеллигенціи, что уставъ этотъ ставитъ цѣлю попечительства доставленіе средствъ къ улучшенію матеріальнаго и нравственнаго состоянія бѣдныхъ крестьянъ и крестьянокъ волости, а также проживающихъ въ ея предѣлахъ другихъ бѣдныхъ „*безъ различія пола, возраста, званій, состояній и вѣроисповѣданій*“. Мѣстная добровольная пожарная дружина, судя по отзыву корреспондента, представляетъ собою организацію отнюдь не предназначенную только для парадовъ, а серьезно относящуюся къ своей задачѣ, которая ставится даже необычно широко. Такъ, дружина эта не ограничиваетъ своей дѣятельности тушеніемъ пожаровъ, но и принимаетъ на себя заботу о предупрежденіи ихъ, путемъ усиленія огнестойкости мѣстныхъ построекъ, для чего прибѣгло къ довольно радикальному средству: оно выхло-

*) Сборникъ, Г. И. Шрейдеръ: «Мелкая земская един. и мѣстное хозяйство», стр. 416.

потало у губернскаго земства ссуду на устройство кирпичнаго завода въ цѣляхъ продажи населенію кирпича по заготовительной цѣнѣ. Наконецъ, мѣстная бібліотека-читальня, первая по времени открытія въ уѣздѣ, по увѣренію корреспондента, обязана своимъ существованіемъ не земству и не „меценатамъ“, а „такому совершенно необыкновенному обстоятельству, что волостной писарь въ Каменкѣ не только хорошій человекъ и умный организаторъ, но и умѣетъ читать толково и съ „душою“: крестьянамъ такъ нравилось его чтеніе вслухъ, которому онъ охотно посвящалъ свое свободное время, что они сами стали покупать книжки, приносили ихъ ему и просили „почитать“. Отсюда и возникла читальня, получившая затѣмъ формальное бытіе, на основаніи закона 15 мая 1890 года.

Но само собою разумѣется, что культурныя силы деревни не могутъ вполне довольствоваться одной весьма рѣдко открывающейся имъ, притомъ совершенно случайной и чрезвычайно слабой возможностью реализовать свои идеалы въ сферѣ мѣстнаго общественнаго хозяйства. Естественно ихъ желаніе, чтобы мѣстное управленіе получило организацію, которая обезпечила бы имъ не только постоянную и вполне опредѣленную возможность, но и право такой реализаціи. Такое желаніе, понятно, должно быть тѣмъ болѣе сильнымъ и интенсивнымъ, чѣмъ менѣе соотвѣтствуютъ ему валичныя условія сельской жизни. Въ этомъ смыслѣ несомнѣнно крупную роль сыграли земское положеніе 1890 г. и законъ 12 іюля 1889 о преобразованіи мѣстныхъ крестьянскихъ учреждений и судебной части въ Имперіи. Можно думать даже, что вопросъ о мелкой всесословной единицѣ мѣстнаго самоуправленія былъ бы еще надолго отодвинутъ въ грядущее, если бы не подстегивающее вліяніе этихъ двухъ законодательныхъ актовъ. Если бы земское положеніе 1890 года, выбросивъ за бортъ почти все сельское населеніе, тѣмъ самымъ не устранило отъ дѣла массу живыхъ общественныхъ силъ, если бы уѣздныя и губернскія земскія учрежденія были построены на базисѣ широкаго избирательнаго права, то, до поры до времени, лишущіе себя общественнаго приложенія культурные элементы деревни чувствовали бы себя достаточно удовлетворенными. Въ свою очередь, если бы законъ 12 іюля 1889 года не учредилъ „сильной и близкой къ народу власти“ въ лицѣ земскихъ начальниковъ, то въ деревнѣ не возникло бы цѣлой массы условій, которыя съ особенною остротою дали почувствовать населенію всю необходимость въ параллельномъ, столь же сильномъ и близкомъ къ нему органѣ самоуправленія. Такая, если можно такъ выразиться, параллельная необходимость будетъ вполне понятна, если принять въ соображеніе одну основную черту мѣстнаго самоуправления, отмѣченную въ статьѣ Н. И. Лазаревскаго, дающаго въ сборникѣ теоретическое

научное обоснование мелкой земской единицы. Коснувшись вопроса о взаимных отношениях органов самоуправления и органов казенной администрации, автор констатирует явную враждебность отношений последних к первым, в лучшем случае переходящую изъ „доброй ссоры“ въ „худой миръ“, конечно, далеко не прочный. Но именно „въ нетвердости и не-обезпеченности этого мира, — пишетъ г. Лазаревскій, — лежитъ одно изъ главныхъ достоинствъ самоуправления — постоянный и бдительный взаимный контроль центральныхъ и мѣстныхъ учреждений другъ надъ другомъ и невозможность того, чтобы мѣстные и центральныя учреждения систематически являлись одни укрывателями грѣховъ другихъ“ *).

Итакъ, мы видимъ, что всѣ слои, всѣ сословія и классы сельскаго населенія имѣютъ одинаковыя основанія тяготиться сословно-бюрократическимъ строемъ деревни и стремиться къ переустройству мѣстной жизни на прямо противоположныхъ началахъ всесословнаго самоуправления. Только послѣднее оказывается способнымъ обезпечить тотъ minimum общественныхъ условий существованія, который всѣмъ одинаково необходимъ. И сознание этого, сознание все возрастающей солидарности интересовъ на этой почвѣ, сдѣлалось уже въ деревнѣ настолько всеобщимъ и достигло такой силы, что совершенно парализовало то вредное разлагающее вліяніе, какое, казалось бы, должна была оказать наличность антагонизма интересовъ въ другихъ областяхъ. Только тутъ разгадка того единодушія, съ которымъ совершенно разнородные элементы населенія высказывались за мелкую земскую единицу и на сѣздахъ, и въ земскихъ собраніяхъ, и въ уѣздныхъ комитетахъ...

Сказаннымъ, однако, не исчерпываются причины, выясненіе которыхъ составляетъ нашу задачу.

Въ статьѣ нашей въ сборникѣ сдѣлана попытка опредѣлить, въ какой мѣрѣ можно считать потребность въ мелкой земской единицѣ назрѣвшей съ точки зрѣнія интересовъ и нуждъ мѣстнаго хозяйства. Считаясь съ дѣйствительностью, нельзя было не придти къ выводу, что это хозяйство, по крайней мѣрѣ въ его главнѣйшихъ отрасляхъ, достигло той стадіи развитія, когда отсутствіе мелкой земской единицы не только дѣлаетъ немыслимымъ какое бы то ни было дальнѣйшее его движеніе впередъ, но и грозитъ ему серьезнымъ регрессомъ, подрывая въ то же время престижъ земства въ глазахъ населенія. Вотъ отвѣтъ одного изъ царичинскихъ корреспондентовъ саратовской текущей статистики: *„Довѣтріе крестьянъ къ врачамъ, — пишетъ онъ, — съ каждымъ годомъ ослабѣваетъ вслѣдствіе ихъ небрежнаго лѣченія на скорую руку, что въ свою очередь объясняется не-*

*) Сборникъ, Н. И. Лазаревскій: «Самоуправленіе», стр. 52.

достаточностью врачебныхъ пунктовъ, отсутствіемъ при нихъ благоустроенныхъ амбулаторій и достаточнаго количества врачебнаго персонала“. „Если неудовлетворительная постановка народнаго образованія дастъ рецидивы безграмотности, — повторяемъ мы сказанное въ сборникѣ, — то тутъ мы, очевидно, стоимъ наканунѣ развитія рецидива къ... знахарству, — рецидива, весьма естественнаго при наличныхъ условіяхъ, и спасеніемъ отъ котораго можетъ быть только мелкая земская единица! Трагизмъ положенія земской медицины въ томъ, что она падаетъ жертвой своего успѣха. Всѣ ея усилія были направлены на то, чтобы вызвать къ себѣ довѣріе населенія, чтобы приучить его обращаться къ помощи научной медицины. Усилія не остались безплодными. Разъ вызванный въ населеніи спросъ на медицинскую помощь, при условіяхъ жизни современной деревни, гарантирующихъ огромную заболѣваемость, началъ расти съ быстротою катящагося снѣжнаго кома. Быстрота эта не особенно замедлилась даже тамъ, гдѣ земствомъ сдѣланы были попытки задержать ее разными искусственными тормазами, вродѣ такъ называемой „пятачковой“ платы за лѣченіе. Но при настоящихъ условіяхъ развитіе земской медицины не можетъ поспѣть за развитіемъ спроса. Наконецъ, есть предѣлъ, дальше котораго развитіе *уздой* земской медицины по самому существу идти не можетъ. Роковымъ образомъ долженъ былъ наступить моментъ разочарованія въ медицинѣ, а слѣдовательно, и ослабленія довѣрія къ ней. И моментъ этотъ, пожалуй, даже долженъ былъ наступить тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше завоеваній сдѣлала земская медицина, чѣмъ большій спросъ на себя она вызвала въ населеніи, ибо даже тамъ, гдѣ организація земской медицины доведена уже до полнаго совершенства, въ дѣйствительности, какъ въ Царицынскомъ уѣздѣ, имѣется на лицо и недостаточность врачебныхъ пунктовъ, и отсутствіе надлежащаго числа благоустроенныхъ амбулаторій, и недостаточность врачебнаго персонала.

И это понятно, такъ какъ „достаточнымъ“ все это можетъ быть только тогда, когда явится на мѣстѣ въ такомъ количествѣ, что обезпечить всѣмъ, даже самымъ маленькимъ деревушкамъ, своевременную медицинскую помощь. Идеаломъ тутъ является не участковый земскій врачъ, а сельскій *общинный* врачъ, *общинная* амбулаторія, *общинный* родильный пріютъ. Если наша деревня, правда, еще не доросла ни по спросу, ни по средствамъ до осуществимости такого идеала, то *нѣсколько* амбулаторій, *приемныхъ* покоевъ и родильныхъ пріютовъ не *на уѣздѣ*, а *на волостѣ*, является уже вполне реальной и неотложной жизненной потребностью“ *), удовлетвореніе которой, однако, современному земству совершенно не по силамъ.

*) Сборникъ, Г. И. Шрейдеръ: «Мелкая земская единица и мѣстное хозяйство», стр. 411—412.

Прекрасно сознавая недостаточность и неудовлетворительность своей работы, обусловленная отдаленностью его от мѣстности, отлично понимая полнѣйшую необезпеченность и рискованность своего положенія—безъ прочныхъ связей съ населеніемъ, безъ твердой опоры въ его симпатіяхъ,—земство уже изъ чувства само-сохраненія напрягаетъ всѣ свои силы, стараясь хотя какъ нибудь заполнить пустоту, или, вѣрнѣе, пропасть, которая, благодаря отсутствію мелкой земской единицы, отдѣляетъ его отъ деревни. Но всѣ его усилія чаще всего, неизбѣжно, роковымъ образомъ приводятъ къ нулевымъ и даже отрицательнымъ результатамъ. Понятно, почему это происходитъ: „Прежде всего уѣздныя, а частью губернскія земства, направившія свои усилія на работу непосредственно на мѣстахъ, въ селѣ и волости, неизбѣжно отвлекаются отъ своихъ прямыхъ и непосредственныхъ общегубернскихъ и общеуѣздныхъ задачъ... Затѣмъ, при наличныхъ условіяхъ, земская дѣятельность становится чрезмѣрно энциклопедической и разбросанной, что исключаетъ основныя условія хорошей работы: специализацію, сосредоточеніе вниманія и силъ. Наконецъ, земская работа воспринимаетъ всѣ недостатки, неизбѣжно свойственные всякому обслуживанію мѣстности отъ центра. Она становится бюрократически-шаблонной, нивелирующей, пригоняющей все къ одному среднему уровню. Это происходитъ потому, что, обслуживая мѣстность издали, земство не имѣетъ средствъ использовать въ ея интересахъ тѣ избыточные средства и силы, какія могутъ въ ней оказаться. Это-же дѣлаетъ земскую работу нерасчетливой, не экономной: къ данной мѣстности, которая могла бы обойтись безъ труда собственными ресурсами, отвлекаются общеземскія средства, которыя съ большей пользою могли бы быть употреблены въ другой, болѣе нуждающейся въ нихъ мѣстности. Наряду съ тѣмъ, дѣятельность земства получаетъ характеръ бюрократической опеки: земская заботливость часто попадаетъ туда, гдѣ данная потребность еще не созрѣла, и, будучи поэтому какъ бы навязываема населенію, вызываетъ его недовольство, что вредитъ самому принципу земскаго самоуправленія. Само собою разумѣется, что, не встрѣчая на мѣстахъ надлежащей экономической и общественной почвы, земскія начинанія теперь нерѣдко терпятъ серьезныя неудачи: устанавливаетъ оно фондъ для выдачи безпроцентныхъ ссудъ на постройку школъ—ссуды никто не беретъ, устраиваетъ оно кустарную учебно-практическую мастерскую—кустари ея не пользуются и т. п. Бюрократическій характеръ работы земства изъ центра, требуя множество оплачиваемыхъ агентовъ на мѣстахъ, обуславливаетъ непомѣрную дороговизну этой работы. Стремясь къ посильному удешевленію ея, земство поставлено въ необходимость прибѣгать къ такимъ искусственнымъ мѣрамъ, какъ, на примѣръ, продажа сельскохозяйственныхъ орудій при *мѣстныхъ* и т. п. Очень характерно въ этомъ

отношеніи то необыкновенное многообразіе функцій, къ выполненію которыхъ такъ часто предназначается теперь сельскій учитель: онъ долженъ обучать грамотѣ, насаждать садоводство, огородничество и шелководство, прививать оспу, продавать улучшенныя сѣмена, пропагандировать пчеловодство, собирать статистическія свѣдѣнія и т. д.“ *). Словомъ, можно сказать, что усилія земства искусственно восполнить, такъ сказать, органическій недостатокъ, или пробѣлъ, образуемый отсутствіемъ мелкой земской единицы, только усугубляютъ неудобства занимаемой имъ, точно висящей въ воздухѣ, позиціи, часто ставя его въ неестественное и ложное положеніе по отношенію къ населенію и тѣмъ усиливая отчужденность и холодность послѣдняго къ наличному земскому дѣлу.

Итакъ, передъ нами два теченія. Деревня рвется вверхъ изъ тисковъ своего сословно-бюрократическаго строя; земство стремится внизъ, навстрѣчу ей, къ почвѣ, къ мѣстности, не безъ основанія надѣясь обрѣсти въ ней обширный и прочный фундаментъ, который гарантировалъ бы его отъ случайностей и потрясеній. Оба эти сильныя жизненныя теченія, слившись во-едино, и образовали тотъ потокъ, который съ такой силой вынесъ вопросъ о мелкой земской единицѣ на поверхность даннаго историческаго момента. Теперь понятна и та эволюція, которую пережилъ этотъ вопросъ, и та перемѣна, которая произошла въ отношеніяхъ къ нему различныхъ общественныхъ группъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и въ земской средѣ и въ средѣ не только культурной части, но и массы сельскаго населенія, идеаломъ мѣстнаго самоуправленія попрежнему остается всесословная единица, выполняющая не только хозяйственныя, но и административныя функціи. Таковы, напримѣръ, функціи англійскаго мѣстнаго самоуправленія, которое именно въ такомъ соединеніи функцій и черпаетъ свою крѣпость и силу. Тѣ же неудобства, которыя могли бы проистечь отъ такого соединенія функцій, сами собою устраняются благодаря тому, что въ Англии,—какъ говоритъ проф. П. Г. Виноградовъ,—„высшій политическій надзоръ и управление мѣстныхъ дѣлъ находится въ рукахъ парламента, который не вполнѣ передовѣрилъ свои полномочія въ этихъ отношеніяхъ различнымъ министерствамъ и кабинету. Отвѣтственность послѣднихъ передъ парламентомъ во всякомъ случаѣ обезпечиваетъ возможность поднять любой вопросъ, обратить вниманіе на любое злоупотребленіе или упущеніе, подвергнуть критикѣ любую мѣру административныхъ властей. Помимо того, указы и постановленія центральныхъ совѣтовъ проходятъ процедуру утвержденія, которая можетъ въ каждый данный моментъ обра-

*) Ibid. Стр. 417.

тятся въ разсмотрѣніе по существу“ *). Устраняются возможные неудобства и тѣмъ, что „другой не менѣ существенной чертою англійскаго административнаго права является его тѣсная связь съ судебнымъ порядкомъ и подчиненіе всѣхъ административныхъ распоряженій контролю судовъ“ **). Какъ извѣстно, идея административныхъ судовъ не чужда и нашему праву. Роль такихъ судовъ у насъ призваны выполнять губернскія административныя присутствія. „Но нельзя не признать,—говоритъ г. Лазаревскій въ цитированной уже статьѣ сборника ***),—что по составу своему, а главное, по служебному положенію всѣхъ своихъ членовъ, по установленному въ нихъ порядку дѣлопроизводства, эти присутствія являются не судебными установленіями, а органами казенной администраціи. Къ тому же нельзя не замѣтить, что самая возможность существованія сколько-нибудь широко поставленной административной юстиціи—всегда рассматривающей вопросъ о правѣ,—у насъ подлежитъ еще большому сомнѣнію, въ силу какъ невыясненности основныхъ началъ нашего административнаго права, такъ и въ силу того, что „усмотрѣніе“ продолжаетъ играть въ немъ столь сильную роль,—усмотрѣніе, установленное самимъ закономъ или вытекающее изъ общаго характера отношеній власти къ обывателю. Поэтому, въ случаѣ подчиненія самоуправляющихся волостей какимъ либо губернскимъ присутствіямъ, мы будемъ имѣть подчиненіе органовъ самоуправления органамъ не судебнымъ, а органамъ казенной администраціи“.

Вполнѣ естественно поэтому, если хорошо извѣстная и земцамъ, и населенію, „судьба волостного управленія, — говоря словами г. Страховскаго,—представляетъ поучительный примѣръ совершеннаго омертвѣнія общественно-хозяйственныхъ функцій самоуправляющихся учрежденій и окончательнаго вырожденія этихъ учрежденій въ полицейскія канцеляріи исключительно подъ вліяніемъ возложенія на нихъ нѣкоторыхъ административныхъ обязанностей“. Очевидно, что и впредь, при условіи возложенія на всесословныя единицы функцій общаго управленія, самый составъ ихъ „будетъ неизбежно опредѣляться не наличностью общихъ хозяйственныхъ интересовъ у волостного населенія, а удобствами управленія, и волостныя должностныя лица, обязанныя исполнять требованія администраціи, не могутъ быть въ интересахъ управленія освобождены отъ дисциплинарнаго подчиненія органамъ администраціи. Лучшие мѣстные люди будутъ, поэтому, уклоняться отъ волостной общественной службы, а тѣ, которые пойдутъ на эту службу, неизбежно превратятся, мало-по-малу

*) Сборникъ, II. Г. Виноградовъ: «Мѣстное самоуправленіе въ Англіи», стр. 91.

**) Ibid, стр. 92.

***) Стр. 59—60.

въ административныхъ чиновниковъ и храма низшаго мѣстнаго самоуправленія снова запустѣть и разсыплется. Словомъ, стремясь къ переустройству мѣстнаго управленія, нельзя было не принять во вниманіе, что при извѣстныхъ условіяхъ лучше отказаться отъ соединенія въ его органахъ функцій хозяйственныхъ съ административными. А такъ какъ къ тому же, какъ мы видѣли, одной изъ важнѣйшихъ задачъ новаго учрежденія должно быть подведеніе фундамента подъ повиснувшее въ воздухѣ надъ пропастью земство, превращеніе его въ „истинно народное учрежденіе“, которое нельзя будетъ сломить случайностями, „какъ нельзя сломить начала, положенныя въ основаніе освобожденія крестьянъ, потому что начала эти стали народнымъ достояніемъ“,—то на очередь и стала мелкая *земская* единица. Такая единица уже не можетъ представить интересъ для тѣхъ элементовъ, крѣпостническія вождельнія которыхъ долженствовала удовлетворить всесословная волю, снабженная не только хозяйственными, но и административными и даже судебными функциями. При томъ же эти элементы на столько ослабѣли, что не могутъ уже рассчитывать на сколько-нибудь значительную роль въ мелкой земской единицѣ, особенно при возросшемъ самосознаніи массы сельскаго населенія; наоборотъ, у нихъ даже должно было возникнуть опасеніе за свои интересы и за привилегіи въ особенностях. Понятна, поэтому, та вражда, съ которою эти сходящія со сцены русской исторіи общественныя группы и ихъ представители въ печати встрѣчаютъ мелкую земскую единицу. Но противниками ея еще нерѣдко являются также представители совершенно иныхъ группъ, главнымъ образомъ возражающіе противъ нея съ точки зрѣнія несвоевременности, доказывающіе, что мы еще „не созрѣли“ для мелкой единицы, что введеніе ея поведетъ къ поглощенію земской интеллигенціи некультурнымъ большинствомъ, къ пониженію уровня земской работы, въ которой болѣе широкіе горизонты будутъ заслонены „интересами своей колокольни“. Но легко замѣтить, что всѣ такого рода возраженія уже сами собою падаютъ, если считатьъ съ тѣми, изложенными выше, причинами, которые вызвали современное движеніе въ пользу земской единицы. Мы знаемъ уже, что деревня совсѣмъ не такъ некультурна, какъ принято думать, именно благодаря тому, что современный ея бюрократически-сословный строй не даетъ надлежащимъ образомъ проявиться ея культурнымъ элементамъ. Есть всѣ основанія утверждать, что сельская масса не только не поглотитъ, но, наоборотъ, еще сильнѣе выдвинетъ впередъ лучшія интеллигентныя силы, если только получить увѣренность въ ихъ благожелательномъ къ себѣ отношеніи. Мы можемъ опереться на аналогичное явленіе въ исторіи нашихъ го-

*) Цитированная уже статья г. Страховскаго, стр. 279.

родовъ. Здѣсь, при дѣйствіи Городового положенія 1870 года, какъ мы выяснили уже въ другомъ мѣстѣ, какъ разъ, наименѣе культурный третій разрядъ избирателей былъ именно тѣмъ разрядомъ, „который напрягалъ всѣ усилія съ цѣлью сдѣлать ряды муниципаловъ наиболѣе живыми и просвѣщенными и который въ этихъ видахъ отдавалъ въ распоряженіе муниципальных учрежденій все, что было въ его средѣ лучшаго, наиболѣе образованнаго, энергичнаго и жизнѣдѣтельнаго“ *). Произошло это потому, что разрядъ этотъ быстро и прекрасно на опытъ уразумѣлъ, что только такимъ образомъ онъ можетъ наилучшимъ образомъ защитить свои интересы. Укажемъ далѣе на практику гминъ, гдѣ, по свидѣтельству В. Д. Спасовича, „какъ только разсѣченъ былъ аграрный вопросъ, острый антагонизмъ крестьянъ и помѣщиковъ самъ собою прекратился: крестьяне стали охотно избирать въ судьи и лавники помѣщиковъ или такъ называемыхъ пановъ“ **). Наконецъ, въ введеніи къ сборнику К. К. Арсеньевъ кстати напоминаетъ о томъ, что при дѣйствіи земскаго положенія 1864 года сельскіе сходы нерѣдко выбирали въ гласные личныхъ землевладѣльцевъ ***). Есть всѣ основанія полагать, что съ введеніемъ мелкой земской единицы, конечно, надлежаще организованной, кадры земской интеллигенціи не только не уменьшатся, но значительно усилятся и потому темпъ земской жизни не только не ослабнетъ, но сдѣлается гораздо болѣе быстрымъ. Нельзя не противопоставить, кстати, извѣстной рѣчи проф. Кузьмина-Караваева, выдвинувшего впередъ аргументъ объ опасности „интересовъ своей колокольной“, приводимую г. Юлосомъ рѣчь представителя крестьянскихъ обществъ на конгрессѣ общества социальной политики, депутата рейхстага Виссера. Выступая съ требованіемъ отмѣны привиллегій крупнаго землевладѣнія и включенія его въ общую съ крестьянами общинную организацію, Виссеръ высказывался за мелкую земскую единицу въ формѣ *Samtgemeinde*, какъ разъ, именно потому, что „последнія могутъ послужить укрѣпленіемъ мѣстнаго самоуправленія, какъ болѣе жизнеспособныя единицы, обладающія большею платежеспособностью и, что важнѣе всего, большею интеллигентностью и умѣньемъ „смотреть далѣе церковной башни“...****) Привлеченный къ тѣсному общенію съ другими классами населенія, получивъ возможность самостоятельности въ сферѣ заботъ о мѣстныхъ общественныхъ нуждахъ и интересахъ, поставленный не-

*) Г. И. Шрейдеръ: «Наше городское общественное управление». т. I, стр. 24.

**) Сборникъ, В. Д. Спасовичъ: «Гмина въ губерніяхъ Царства Польскаго», стр. 152.

***) Сборн., стр. VIII.

****) Сборн., Г. Б. Юлосъ: «Страница изъ исторіи земскихъ реформъ въ Пруссіи» стр. 722.

избѣжнымъ ходомъ вещей въ необходимость вести борьбу за эти интересы, борьбу, которая по самому существу можетъ облекаться только въ форму спора или борьбы за право, вынужденный, благодаря этому, задумываться надъ вопросомъ о тѣхъ, болѣе широкихъ и общихъ условіяхъ, которыя гарантировали бы ему побѣду права, — словомъ вынужденный смотрѣть гораздо дальше своей колокольни, — селѣскій обыватель, съ введеніемъ мелкой земской единицы, выростетъ въ гражданина...

Гр. Шрейдеръ.

Взаимная борьба и взаимная помощь.

(Письмо изъ Англіи).

I.

Въ первой статьѣ, помѣщенной въ прошлой книжкѣ, читатели познакомились уже отчасти съ остроумнымъ и широкимъ обобщеніемъ, заключающимся въ только что вышедшемъ трудѣ: „Mutual Aid a Factor of Evolution“. Какъ извѣстно уже, авторъ показываетъ, что большинство видовъ живутъ обществами и въ ассоціаціи находятъ лучшее орудіе для борьбы за существованіе. Послѣдній терминъ принимается въ самомъ широкомъ смыслѣ, какой придавалъ ему самъ Дарвинъ, а не въ одностороннемъ толкованіи нѣкоторыхъ крайнихъ дарвинистовъ. Другими словами, терминъ означаетъ борьбу со всѣми естественными условіями, неблагоприятными для вида. Въ первой статьѣ мы видѣли, какъ тѣ виды животныхъ, у которыхъ борьба индивидуумовъ сведена до наименьшихъ размѣровъ, а взаимная помощь стоитъ высоко, — наиболѣе многочисленны теперь и наиболѣе способны эволюционировать дальше. Взаимная защита, осуществляемая такимъ образомъ, обезпечиваетъ индивидууму достиженіе полного возраста и накопленіе опыта. Такимъ образомъ, растутъ общественные инстинкты, что, въ свою очередь, гарантируетъ поддержаніе вида и его дальнѣйшій прогрессъ. Животныя не общественныя, какъ мы видѣли, обречены на гибель.

Отъ низшихъ животныхъ авторъ переходитъ къ высшимъ и, наконецъ, къ человѣку и показываетъ, что уже на зарѣ каменнаго вѣка онъ жилъ кланами и племенами. У дикарей, стоящихъ на низшей ступени развитія, мы наблюдаемъ уже рядъ общественныхъ организацій, являющихся зародышемъ высшихъ учрежденій, развившихся при дальнѣйшемъ прогрессѣ.

Дальнѣйшимъ фазисомъ развитія клана является деревенская община „варваровъ“. На этой почвѣ, какъ показано въ прошлой статьѣ, выросла цѣлая серія обычаевъ, общественныхъ привычекъ и учреждений, слѣды которыхъ можно наблюдать, въ болѣе или менѣе ясно выраженной формѣ, еще и теперь. Основной принципъ „варварской“ деревни это—общинное владѣніе землей, общая защита ея и признаваніе юрисдикціи „folk-mote“ деревенскаго люда.

Варвары не только не были „бѣлокурнымъ животнымъ“, жаждущимъ вѣчно боя, но, наоборотъ, всегда предпочитали миръ войнѣ. Они предоставили военное дѣло всецѣло братствамъ, дружинамъ, составленнымъ изъ буйныхъ людей, сгруппированныхъ вокругъ временнаго вождя. Эти дружины бродили съ мѣста на мѣсто, предлагая населенію свое знаніе военнаго дѣла, оружіе и защиту. Населеніе охотно принимало услуги искателей приключеній, потому что желало жить мирно. „Военныя шайки приходили и уходили, но масса населенія продолжала обрабатывать землю и не обращала на своихъ вождей вниманія до тѣхъ поръ, покуда они не вмѣшивались въ самоуправленіе земельныхъ общинъ. Новые поселенцы Европы выработали свою систему владѣнія землей и ввели пеню за преступленіе, замѣнившую старую кровавую месть, они изучили первыя основы промышленности. Хотя они укрѣпляли свои деревни палисадами, башнями и земляными окопами для защиты отъ новаго вторженія, новые поселенцы вскорѣ всецѣло предоставили дѣло защиты тѣмъ, которые сдѣлали войну своей специальностью. Такимъ образомъ, не воинственные инстинкты варваровъ, а ихъ миролюбивыя наклонности сдѣлались причиной ихъ подчиненія впоследствии вождямъ“. Очевидно, что самый родъ жизни военныхъ дружинъ предоставлялъ имъ большую, чѣмъ земледѣльцамъ, возможность обогащаться. Во время набѣговъ приобрѣтались стада рогатаго скота, косяки лошадей, рабы и желѣзо, стоившее въ то время страшно дорого. Значительная часть добычи тратилась тутъ же на устройство тѣхъ грандіозныхъ пирушекъ, о которыхъ говоритъ эпическая поэзія, но все же оставалась еще добыча, служившая для дальнѣйшаго обогащенія. Въ то время пустующихъ земель было много. Не было также недостатка въ людяхъ, желавшихъ обрабатывать эти земли. Не хватало только скота и орудій. Пустовала не только цѣлина, но и деревни, опустошенныя чумой, пожаромъ или вторженіемъ новыхъ переселенцевъ. Населеніе бродило, въ поискахъ новыхъ жилищъ. И если кто-нибудь изъ дружинниковъ предлагалъ крестьянамъ скотъ, кусокъ желѣза, чтобы выковать соху, и свою защиту отъ дальнѣйшихъ набѣговъ,—они охотно брали землю, въ особенности, если хозяинъ освобождалъ поселенца на нѣсколько лѣтъ отъ всякихъ обязательствъ. Послѣ упорной борьбы съ неурожаями, наводненіями, чумой и пр. бѣдствіями, засель-

щикъ начиналъ выплачивать свой долгъ, но тогда онъ оказывался уже въ крѣпостной зависимости у дружинника. Безъ сомнѣнія, путемъ закрѣпощенія засельщиковъ накапливались богатства. Но чѣмъ больше мы изучаемъ жизнь въ VI и въ VII вѣкахъ нашей эры,—продолжаетъ авторъ,—тѣмъ больше убѣждаемся, что для утвержденія власти немногихъ требовался еще другой элементъ, помимо богатства и военной силы. То былъ элементъ закона и права, желаніе массъ сохранять миръ и установить то, что онѣ считали правосудіемъ. Именно это стремленіе массъ къ справедливости дало начальникамъ дружинъ ту власть, которую они приобрѣли черезъ два-три вѣка. Однимъ изъ главныхъ занятій варварской деревенской общины было стремленіе положить быстрый конецъ враждѣ, возникавшей изъ тогдашнихъ понятій о правосудіи. Когда возникала ссора, община вмѣшивалась немедленно. Сходъ (folk-mote) выслушивалъ дѣло и приказывалъ обидчику уплатить обиженному или семьѣ его денежный штрафъ (wergeld), а также пеню въ пользу общины за нарушеніе мира (fred). Ссоры между родовичами легко улаживались подобнымъ путемъ. Но когда вражда возникала между двумя различными племенами или двумя конфедераціями племенъ, нужно было найти посредника, или судью, рѣшенію котораго подчинились бы обѣ стороны. Нужно было, чтобы обѣ стороны признавали безпристрастность посредника и его знаніе старинныхъ законовъ. Затрудненіе увеличивалась тѣмъ, что обычное право различныхъ племенъ было неодинаково и присуждало не одно и то же въ одинаковыхъ случаяхъ. Поэтому, установился обычай избирать судью изъ такой семьи или такого племени, который славился сохраненіемъ древняго закона въ его неприкосновенной формѣ, т. е. извѣстны были знаніемъ пѣсенъ, изреченій и сагъ, при помощи которыхъ законъ передавался изъ поколѣнія въ поколѣніе. Такимъ образомъ, знаніе законовъ стало своего рода мистеріей, извѣстныя семьи передавали это знаніе наслѣдственно. Въ Исландіи, напримѣръ, на каждомъ вѣчѣ (Allthing) такой знатокъ закона, „lövsögmadr“ рассказывалъ саги, чтобы всѣ могли познакомиться съ правомъ. Такимъ образомъ, по мнѣнію автора, внимательное изученіе исторіи древнихъ учреждений подрываетъ теорію о военномъ происхожденіи власти. Напротивъ, начало ея коренится въ мирныхъ стремленіяхъ массъ.

Fred, или пеня въ пользу общины, поступала въ распоряженіе вѣча и съ незапамятныхъ временъ употреблялась на возведеніе укрѣпленій или же на выполненіе общественныхъ работъ. Это до сихъ поръ практикуется еще кабилами (въ сѣверной Африкѣ). Штрафы, конечно, передавались тому, кто находилъ рѣшенія; онъ обязанъ былъ платить дружинѣ, охранявшей территорію, и приводить въ исполненіе приговоры. Въ восьмомъ и девятомъ вѣкѣ это стало общимъ закономъ даже тогда, когда на-

ходившій приговоры былъ выборнымъ епископомъ. Такимъ образомъ, въ зародышѣ появилось то, что мы теперь называемъ законодательной и исполнительной властью. Этими двумя обязанностями и ограничивалась власть вождя. Онъ не былъ правителемъ племени. Верховная власть все еще принадлежала сходу (folkmete). Когда народъ брался за оружіе, онъ выбиралъ себѣ каждый разъ вождя, который являлся не подчиненнымъ короля, а равнымъ ему *). Король являлся повелителемъ только въ очень узкой и ограниченной сферѣ. Слова konung, koning, cuning, какъ и латинское rex—означали временного вождя отдѣльнаго отряда. Начальникъ флотилии или даже капитанъ отдѣльнаго разбойничьяго короля тоже назывались конунгами. И теперь еще начальникъ рыбацкаго отряда въ Норвегіи называется pot-kong, т. е. „король сѣтей“. Потребовалось долгое и совмѣстное вліяніе церкви и римскаго права, чтобы измѣнить этотъ взглядъ.

Но нашей цѣлью было прослѣдить *творческій* духъ массъ въ ихъ учрежденіяхъ для взаимной помощи.

Въ то время,—говоритъ авторъ,—когда послѣдніе слѣды варварской свободы, казалось, исчезли въ Европѣ, жизнь тамъ приняла новое направленіе. Она отлилась въ тѣ формы, которыя приняла уже разъ въ городахъ древней Греціи. Съ поразительнымъ единодушіемъ города стали освобождаться отъ своихъ свѣтскихъ и духовныхъ повелителей. Укрѣпленные деревни поднялись противъ рыцарскихъ замковъ, осадили ихъ и разрушили. Движеніе распространилось по всей Европѣ, и меньше, чѣмъ въ столѣтъ, возникли вольные города на берегахъ Средиземнаго, Сѣвернаго и Балтійскаго морей, Атлантическаго океана, въ фюрдахъ Скандинавіи, у подножія Апеннинскихъ горъ, Альпъ, въ Шварцвальдѣ, въ Карпатскихъ горахъ, Венгріи, Франціи и Испаніи. Всюду возникало одно и то же возстаніе, проходило одни и тѣ же фазисы и вело къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. И всюду, гдѣ горожане находили защиту за своими крѣпостными стѣнами, учреждались „братства“, „дружества“, объединенныя общей идеей и смѣло идущія въ поискахъ новой жизни, основанной на свободѣ и взаимной поддержкѣ. И они успѣли такъ хорошо, что въ три или четыре вѣка измѣнился совершенно видъ Европы. „Братства“ „дружества“ воздвигли всюду великолѣпныя зданія, въ которыхъ выразился геній вольныхъ союзовъ вольныхъ людей. По красотѣ и выразительности эти зданія до сихъ поръ не имѣютъ себѣ соперниковъ. „Братства“ завѣщали послѣдующимъ поколѣніямъ все искусство, все отрасли промышленности, которыя наша цивилизація теперь только развиваетъ. Розыскивая же силы, которыя выполнили все это, мы находимъ не починъ единичныхъ героевъ, но совмѣстную дѣятельность массъ. Мы открываемъ то

*) *Sohn. Fränkische Rechts-und Gerichtverfassung*, p. 23.

самое теченіе взаимной помощи и поддержки, дѣятельность которой видѣли въ деревенской общинѣ. Въ средніе вѣка оно обновилося новыми формами—гильдіями.

Теперь хорошо извѣстно,—продолжаетъ авторъ,—что феодализмъ не заключалъ въ себѣ разрушенія деревенской общины. Хотя феодалу и удалось закрѣпостить крестьянъ и присвоить себѣ права, которыя прежде принадлежали всей общинѣ,—но крестьянамъ, тѣмъ не менѣе, удалось отстоять два основныхъ права: общинное владѣніе землей и свой собственный судъ. Они приняла представителя короля или барона, потому что не могли поступить иначе; но отстояли сельскій судъ. Крестьяне сами назначали шесть, семь или двѣнадцать судей, которые постановляли приговоры вмѣстѣ съ представителемъ короля или барона. Во многихъ случаяхъ ему оставалось только подтвердить приговоръ и взыскать обычную пеню. Собственный судъ тогда означалъ самоуправленіе. Даже законники, окружавшіе Карла Великаго, не могли уничтожить это право и вынуждены были подтвердить его. Во всемъ, касающемся общиннаго владѣнія землей, „*folkmete*“ отстоялъ всецѣло свое право и даже заставилъ феодала подчиниться ему.

Никакой ростъ феодализма не могъ сломить этого сопротивления. Земельная община устояла. А когда въ девятомъ и десятомъ вѣкѣ набѣги нормановъ, арабовъ и угровъ доказали, что дружины не въ состояніи охранять страну, всюду въ Европѣ началось движеніе, имѣвшее цѣлью укрѣпить деревни каменными стѣнами и башнями. Энергія деревенскихъ общинъ проявилась въ устройствѣ множества укрѣпленныхъ центровъ. И какъ только стѣны были построены, какъ только община почувствовала себя въ безопасности внутри ихъ, она быстро поняла, что отнынѣ можетъ бороться не только съ чужеземцами, но и съ внутренними врагами, т. е. съ герцогами и князьями, стремившимися къ захвату власти. И вотъ за укрѣпленными стѣнами стала развиваться новая свободная жизнь. Народился средневѣковый городъ. Такъ намѣчаютъ эволюцію деревенской общины авторъ „*Mutual Aid*“ и Мауреръ въ своей „*Geschichte der Städteverfassung in Deutschland*“. Въ послѣднее время появилось много классическихъ изслѣдованій, въ которыхъ авторы не примыкаютъ ни къ одному изъ двухъ крайнихъ взглядовъ на происхожденіе и значеніе земельной общины. Въ частности, относительно русской общины мы имѣемъ остроумный взглядъ талантливаго, оригинальнаго и ученаго историка нашего П. Н. Милюкова. Онъ считаетъ общину далеко не столь древняго происхожденія и объясняетъ ея возникновеніе не развитіемъ принципа взаимопомощи, а чисто механическимъ вліяніемъ извнѣ государства, которому нужны были новыя обложенія.

„Составляетъ-ли особенная форма русскаго землевладѣнія наше неотъемлемое національное свойство, какъ думали одни, — гово-

рить уважаемый историкъ,—или она доказываетъ только, что мы еще стоимъ на той ступени развитія, съ которой давно уже двинулась Европа,—какъ думали другіе? Историческій анализъ одинаково разрушаетъ оба предположенія, показывая, что русская община не есть—ни такое неизмѣнное въ исторіи явленіе, какъ это предполагается сторонниками перваго мнѣнія,—ни такое элементарное, примитивное и архаическое, какъ это нужно предположить для доказательства втораго. Не только нѣтъ возможности вывести современную общину изъ какихъ-нибудь первобытныхъ общественныхъ формъ, но даже есть полная возможность показать ея позднее, сравнительно, происхожденіе и раскрыть создавшія ея причины. По существу своему,—продолжаетъ П. Н. Милюковъ,—русская община есть принудительная организація, связывающая своихъ членовъ круговымъ обязательствомъ въ исправности отбыванія лежащихъ на ней платежей и повинностей и обезпечивающая себѣ эту исправность уравниемъ повинностей съ платежными средствами каждаго члена. Тяглая община была предметомъ усиленныхъ государственныхъ нуждъ и русской экономической неразвитости... Впервые болѣе свободное распоряженіе крестьянскими участками,—напоминающее современную общину,—мы встрѣчаемъ на такихъ земляхъ, которыя крестьянамъ въ собственность не принадлежали,—т. е. на земляхъ, частныхъ владѣльцевъ. Распоряжается при этомъ не община, а приказчикъ частнаго владѣльца; если же распоряжается передѣломъ участковъ община, то это по спеціальному разрѣшенію или приказанію владѣльца. Такимъ образомъ, *хозяйственная* община нашего времени впервые появляется въ предѣлахъ частнаго — и при томъ болѣе или менѣе крупнаго хозяйства: на земляхъ монастыря или князя“... „Русская община есть поздній и въ разныхъ мѣстностяхъ разновременный продуктъ владѣльческаго и правительственнаго вліянія. Это нисколько не мѣшаетъ ей отражать на себѣ примитивный характеръ экономического быта, среди котораго она возникла. Но этотъ примитивный характеръ общины не долженъ вводить насъ въ заблужденіе. Нѣтъ надобности искать родственныхъ общинѣ формъ въ далекомъ прошломъ, когда недавнее настоящее представляло всѣ нужные элементы для возникновенія вновь этой формы и для распространенія ея на всѣ разнообразные элементы, изъ которыхъ сложилось современное русское крестьянство“ *).

На автора „Mutual Aid.“ сильное вліяніе имѣлъ знаменитый трудъ Генри Мэна объ индійской общинѣ. Исслѣдователь этотъ признаетъ общинное землевладѣніе типичнымъ для всего полуострова, хотя даже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эта форма находится

*) П. Н. Милюковъ. «Очерки по исторіи русской культуры», часть I, стр. 139 и 204—206.

въ состояніи трансформаци. Генри Мэнъ устанавливаетъ типическую индійскую деревню, характеризуемую общиннымъ земле-
владѣніемъ, древней, по его словамъ, формой, воплощающей универсальную примитивную идею собственности. Затѣмъ, знаменитый изслѣдователь утверждаетъ, что это было созданіе арійскихъ расъ (т. е., въ Индіи, созданіе племенъ веддійскихъ и эпическихъ поэмъ, говорившихъ на санскритскомъ языкѣ). Первоначально группы, владѣвшія землею на общинномъ началѣ, не имѣли опредѣленныхъ участковъ; появленіе послѣднихъ (въ той или иной формѣ) было позднѣйшимъ нововведеніемъ, извѣстною ступенью въ процессъ перехода отъ общинной къ индивидуальной собственности. Эти группы состояли изъ лицъ, первоначально связанныхъ кровнымъ родствомъ или, по крайней мѣрѣ, таковое предполагалось между ними. Съ теченіемъ времени оно было болѣе или менѣе забыто, и въ настоящее время, — по теоріи Мэна, — внутренней связью группъ служитъ только земля, обрабатываемая сообща членами ихъ. Единственною *raison d'être* этихъ общинъ является обработка земли *). Въ послѣднее время Бадень-Пауэлль, основываясь на собственныхъ изслѣдованіяхъ и свѣдѣніяхъ, собранныхъ на мѣстѣ, выставилъ много крайне вѣскихъ возраженій противъ теоріи Мэна. Онъ указываетъ, что общинная деревня далеко не типична для всей Индіи, а только для одной части ея. По теоріи Бадень-Пауэлла существующія общинныя деревни въ Индіи не обязаны своимъ происхожденіемъ арійцамъ въ смыслѣ какой-нибудь доказанной связи ихъ съ древними арійскими расами. Возможно, что нѣкоторыя немногія общины и представляютъ собою подлинныя остатки древняго арійскаго населенія, не уничтоженные старыми войнами; возможно, что въ другихъ общинахъ сохраняется извѣстная примѣсь арійской крови; но и только. Въ общемъ же слѣдуетъ признать, что въ то время, какъ кое-гдѣ населеніе общинныхъ деревень состоитъ изъ представителей древнихъ, мѣстныхъ и трудно опредѣлимыхъ племенъ, возникновеніе такихъ деревень было обязано, главнымъ образомъ, позднѣйшимъ племенамъ: раджупутамъ, джатамъ, гуджарамъ, т. е. представителямъ различныхъ индо-скиескихъ и другихъ вторжений послѣ арійскаго періода **). Общины возникали часто подъ вліяніемъ механическаго давленія извнѣ, а не въ силу стремленій къ взаимопомощи. Многіе факты, относительно которыхъ, — по словамъ Бадень-Пауэлла, — имѣются обильныя свидѣтельства въ настоящее время, были неизвѣстны Генри Мэну. Вотъ почему „свѣдѣнія, находящіяся въ распоряженіи этого выдающагося представителя сравнительной юриспруденціи, казались ему имѣю-

*) См. *Бадень-Пауэлль*. «Происхожденіе и развитіе деревенскихъ общинъ въ Индіи», стр. 109—113.

**) *Бадень-Пауэлль*, стр. 80.

щими такой рѣшающій характеръ, въ то время какъ *на самомъ дѣлѣ* они были столь несовершенными, а вънѣкоторыхъ отношенійхъ прямо обманчивыми“ *).

II.

Ни одинъ періодъ въ исторіи не иллюстрируетъ такъ хорошо творческую силу народныхъ массъ, — говоритъ авторъ „Mutual Aid“, — какъ десятый и одиннадцатый вѣка, когда укрѣпленныя деревни и торговыя поселенія, являвшіяся „оазисами въ феодальномъ лѣсу“, стали освобождаться отъ ярма и начали медленно вырабатывать будущую городскую организацію. Къ несчастью, объ этомъ періодѣ мы очень мало знаемъ еще. Подъ защитой своихъ крѣпостныхъ стѣнъ городскіе сходы (folk-motes) или сами, или подъ руководствомъ выдающихся людей изъ торговыхъ и дворянскихъ родовъ, — отвоевали право выбирать военнаго покровителя, или верховнаго судью. Во всякомъ случаѣ городъ имѣлъ право выбирать такого покровителя изъ претендентовъ на этотъ постъ. Въ Италіи молодыя общины постоянно выгоняли своихъ *domini*, воюя съ тѣми, которые не хотѣли уходить добровольно. Въ Богеміи богатые и бѣдные одинаково принимали участіе въ выборахъ... Во многихъ городахъ въ Западной Европѣ, по обычаю, покровителемъ былъ епископъ, котораго населеніе само выбирало. Отсюда явилось, что многіе города имѣютъ своихъ собственныхъ патроновъ: Аугсбургъ — св. Ульриха, Кельнъ — св. Гериберта, Прага — св. Адальберта, Винчестеръ — св. Утельреда и пр. Точно такимъ же образомъ, многіе аббаты, защищавшіе народныя вольности городовъ, стали впоследствии мѣстными святыми. Подъ защитой свѣтскаго или духовнаго „покровителя“ горожане добились самоуправленія и права выбирать своихъ собственныхъ судей. Весь процессъ освобожденія сопровождался серіей незамѣтныхъ актовъ самопожертвованія ради общаго дѣла со стороны неизвѣстныхъ, вышедшихъ изъ массы героевъ, имена которыхъ даже не сохранились. Удивительное движеніе „Treuga Dei“, при помощи котораго массы пытались положить конецъ безконечной враждѣ благородныхъ родовъ, — зародилось въ молодыхъ городахъ. Въ самое раннее время итальянскіе торговые города, и раньше всѣхъ Amalfi, выработали морскіе законы, ставшіе впоследствии образцомъ для всей Европы. То же самое можно сказать о многихъ французскихъ городахъ, въ которыхъ *Mahl*, или форумъ, сталъ совершенно независимымъ учрежденіемъ. Въ то время начались работы по украшенію городовъ архитектурными произведеніями, которыми мы восторгаемся до сихъ

*) Ibid., стр. 7.

поръ. Они свидѣлствуютъ объ интеллектуальномъ движеніи того времени. Въ сущности, эпоху возрожденія и начало раціонализма XII в., этого предтечи реформации — нужно считать со времени освобожденія городовъ. Такой же взглядъ раздѣляетъ *Rosquain* въ своей статьѣ „*La Renaissance au XII siècle*“.

Необходимъ былъ, однако, еще одинъ элементъ, помимо принциповъ деревенской общины, чтобы пробудить дѣятельность и энергію въ городахъ XII и XIII вѣковъ. Въ виду появленія новыхъ отраслей промышленности и искусства, а также въ виду увеличенія торговыхъ сношеній съ другими центрами,—понадобилась новая форма союзовъ между людьми. И новый элементъ, по мнѣнію автора, былъ внесенъ *гильдіями*. Лишь теперь,—говоритъ онъ,—когда изучены сотни статutowъ различныхъ гильдій и установлена связь ихъ съ римскими *collegiae* и бывшими союзами въ Греціи и Индіи, мы можемъ съ увѣренностью сказать, что „братства“ явились дальнѣйшимъ развитіемъ тѣхъ же самыхъ принциповъ, дѣйствіе которыхъ мы наблюдали въ кланахъ и въ деревенскихъ общинахъ. Ничто такъ не характеризуетъ средневѣковыя братства, какъ временныя гильдіи, возникавшія на корабляхъ во время плаванія. Когда корабль, принадлежавшій Ганзѣ, выходилъ изъ порта и былъ уже нѣсколько часовъ въ пути, капитанъ (*Schiffer*) собиралъ экипажъ и пассажировъ и, по словамъ современника, обращался къ нимъ съ такою рѣчью: „Такъ какъ мы теперь находимся въ волѣ Божьей и моря, то мы должны быть равны другъ другу. И такъ какъ намъ грозятъ бури, волны, морскіе разбойники и другія опасности, мы должны установить строгій порядокъ, дабы довести наше путешествіе до благополучнаго окончанія. Вотъ почему намъ слѣдуетъ помолиться о хорошемъ вѣтрѣ и благополучномъ исходѣ, а потомъ, по морскому закону, избрать людей, которые будутъ занимать судейскія мѣста“ (*Schöffstellen*). Тогда экипажъ выбиралъ *фохта* и четырехъ *scabini*, которые должны были исполнять обязанность судей. Къ концу плаванья *фохтъ* и *scabini* слагали съ себя должности и такъ говорили экипажу: „Что случилось на кораблѣ, мы должны простить другъ другу и считать какъ уже мертвое (*totd und ab sein lassen*). Мы судили въ интересахъ справедливости. И потому просимъ васъ всѣхъ, во имя справедливости, забудьте вражду, если кто питаетъ ее къ другому. Клянитесь хлѣбомъ и солью, что вы худо не будете мыслить о товарищахъ. И если кто считаетъ всетаки себя обиженнымъ, пусть немедленно же, до солнечнаго заката, обратится къ *ландфохту* и попроситъ у него суда“. Когда корабль причаливалъ, взысканная пеня передавалась *фохту* порта для распредѣленія денегъ между бѣдными“ *).

*) I. D. Wunderer's. «Reisebericht» въ «Frankfurter Archiv», Фихарда. (II, 245).

Этотъ разсказъ передаетъ духъ средневѣковыхъ гильдій. Подобныя организаціи возникали каждый разъ, когда группы рыбаковъ, охотниковъ, путешествующихъ купцовъ, строителей или ремесленниковъ собирались для какой-нибудь общей цѣли. Мы видимъ на кораблѣ власть капитана, но для успѣха общаго предпріятія всѣ, богатые и бѣдные, офицеры и матросы согласились быть равными; они соединились для того, чтобы помогать другъ другу. Точно такимъ же образомъ,—продолжаетъ авторъ,—когда группы мастеровъ, напимѣръ, каменщиковъ, плотниковъ и т. д., соединялись вмѣстѣ для постройки собора, то, хотя они всѣ принадлежали къ извѣстному городу, имѣвшему свою политическую организацію и къ извѣстнымъ цехамъ,—но они соединялись во временный союзъ для общаго дѣла. Всѣ мастера, не смотря на разные цехи, образовывали одну гильдію для построения собора. Такъ былъ выстроенъ, между прочимъ, кельнскій соборъ.

Что же касается социальнаго характера средневѣковой гильдіи, то намъ его можетъ выяснить, напимѣръ, *skraa* (статутъ) раннихъ датскихъ союзовъ. Мы читаемъ въ началѣ, что духъ братства долженъ господствовать въ союзѣ. Затѣмъ слѣдуетъ правило относительно разрѣшенія недоразумѣній между членами братства, между собою или между „братомъ“ и посторонними. Если у „брата“ погорѣлъ домъ, погибъ корабль или если онъ ограбленъ во время паломничества,—всѣ братья должны явиться на помощь. Если братъ заболѣлъ тяжело, два брата должны ухаживать за нимъ, покуда онъ не выздоровѣетъ. А если онъ умретъ, то члены братства должны похоронить его (въ тѣ времена, когда такъ свирѣпствовала чума, это была не малая обязанность) и проводить до могилы. Братство принимало на себя заботы о его дѣтяхъ. Очень часто вдова становилась „сестрой“ участниковъ гильдіи. Такъ говоритъ цитируемый авторомъ Кофодъ Анхеръ въ „Om gamle Dauske Gilder og deres Undergangn, трудъ XVIII вѣка. Всюду члены гильдіи были равны между собою и относились другъ къ другу, какъ братья или сестры. Гильдія имѣла свою собственность, скотъ, землю, дома, церкви. Всѣ „братья“ клялись оставить старую вражду. Не налагая обязанности никогда не ссориться, гильдія требовала, однако, чтобы ссора не переходила во вражду и не проявлялась въ судебномъ процессѣ предъ другимъ трибуналомъ, не установленнымъ самимъ братствомъ. Если у „брата“ была тяжба съ постороннимъ, то гильдія обязывалась всячески поддерживать своего сочлена. Гильдія поддерживала своего даже тогда, когда онъ былъ обидчикомъ. И если родственники обиженнаго желали немедленно отомстить обидчику, братство снабжало его конемъ или лодкой для побѣга. Если же обидчикъ оставался въ городѣ, двѣнадцать братьевъ сопровождали его для защиты. Если члена гильдіи приговаривали къ штрафу, то „братья“ не допускали до того, чтобы

товарищъ ихъ разорился или попалъ въ рабство: штрафъ выплачивался изъ общихъ суммъ. Только въ случаѣ измѣны по отношенію къ своимъ или чужимъ, братъ прогонялся изъ гильдіи съ „ошельмованнымъ именемъ“.

Таковы были характерныя черты „братства“, въ которыя мало-по-малу отлилась вся средневѣковая жизнь. Гильдіи были самыя разнообразныя. Существовали гильдіи крѣпостныхъ, которыя играли важную роль въ крестьянскихъ возстаніяхъ. Братства эти запрещались много разъ въ десятомъ вѣкѣ. Были гильдіи вольныхъ людей и смѣшанныя братства крѣпостныхъ и вольныхъ. Были временныя гильдіи, возникавшія специально для извѣстной охоты, рыбной ловли или торговой поѣздки и распадавшіяся, когда намѣреніе выполнялось. Бывали также гильдіи, существовавшія нѣсколько вѣковъ. И по мѣрѣ того, какъ жизнь усложнялась и создавала новыя отрасли труда—возникали и варіировались гильдіи. Поэтому, мы видимъ не только гильдіи купцовъ, ремесленниковъ, охотниковъ и крестьянъ; въ союзы соединялись также священники, художники, преподаватели народныхъ школъ и университетовъ, актеры. Возникали гильдіи для постановки мистерій, для построенія церкви, для развитія „тайнъ“ какого-нибудь ремесла или школы живописи. Были даже гильдіи нищихъ, палачей и проститутокъ. И всѣ союзы возникали съ двойной цѣлью: для взаимной помощи и для проведенія собственнаго правосудія. „Гильдія была ассоціаціей для взаимной помощи совѣтомъ и дѣломъ“, во всѣхъ обстоятельствахъ жизни. Это было также учрежденіе для поддержанія правосудія. Въ данномъ случаѣ правосудіе гильдіи отличалось отъ государственнаго тѣмъ, что, вмѣсто формальнаго элемента, составляющаго характерную особенность государственнаго вмѣшательства, въ разбирательство дѣла вносилось начало братское. „Обвиняемый,—говоритъ авторъ,—являлся предъ своими братьями, знавшими его хорошо, предъ равными ему, а не предъ теоретиками закона и не предъ защитниками чьихъ-либо постороннихъ интересовъ“. Такъ какъ гильдіи охраняли интересы общаго дѣла, не стѣняя личности индивидуума, то онѣ разрастались. Трудно было только найти такую форму, которая дала бы возможность союзамъ гильдій слиться, не мѣшая союзамъ деревенскихъ общинъ; такую форму, которая объединила бы всѣ союзы въ одно гармоничное цѣлое. И когда эта форма была найдена; когда города, благодаря благоприятному стеченію обстоятельствъ отстояли свою независимость,—она достигла поразительнаго развитія. Теперь изучены сотни хартій, въ которыхъ перечислены вольности средневѣковыхъ городовъ. И всюду мы видимъ одни и тѣ же руководящія принципы. Городъ организовался изъ федераціи деревенскихъ общинъ и гильдій. Въ хартіи, данной въ 1118 г. Филиппомъ, графомъ Фландрскимъ, гражданамъ Эра, жители клянутся „по-

могать другъ другу, какъ братья“. То же самое говорится въ партіяхъ Суасона, Компьени и др. „Община, — пишетъ средне-вѣковый хронографъ—это клятва во взаимной помощи (*mutui adjutorii conjuratio*), новое и омерзительное слово. При помощи ея крѣпостной освобождается отъ независимости; вслѣдствіе ея вліянія онъ можетъ быть присужденъ къ штрафу только за нарушеніе закона и пересталъ вносить то, что платилъ всегда“. Одна и та же волна прокатилась въ двѣнадцатомъ вѣкѣ черезъ всю Европу, захвативъ, какъ богатые, такъ и бѣдные города. Города посылали депутатовъ къ сосѣдямъ, чтобы изучить у нихъ хартію, если она была хороша. Грамота, однако, не копировалась буквально, а приспособлялась къ даннымъ обстоятельствамъ. Въ результатъ этого, по выраженію одного историка, хартіи средневѣковыхъ городовъ такъ же варьируются, какъ готическій стиль въ соборахъ того времени; но основная идея остается та же. Соборъ символизировалъ союзъ прихода и гильдіи въ данномъ городѣ.

Городская община не представляла просто автономную часть государства, но была самостоятельнымъ государствомъ. Она имѣла право объявлять войну или заключать миръ и вступать въ федеративный союзъ съ сосѣдями. Въ своихъ собственныхъ дѣлахъ городъ былъ полноправнымъ хозяиномъ, а въ чужія онъ не вмѣшивался. Иногда вся политическая власть принадлежала свободному демократическому форуму (вѣчу), которое принимало и отправляло пословъ, заключало договоры, приглашало и удаляло князей, обходясь, такимъ образомъ, безъ нихъ десять — двѣнадцать лѣтъ. Иногда же верховная власть была довѣрена богатому купеческому или дворянскому роду (или захвачена имъ),— какъ это мы видимъ въ итальянскихъ городахъ. Принципъ, однако, всюду оставался одинъ и тотъ же. Городъ представлялъ государство. Замѣчательнѣе всего то, что даже тамъ, гдѣ верховная власть была захвачена однимъ домомъ, внутренняя жизнь города и демократизмъ повседневной жизни не исчезали.

Явленіе это объясняется,—по мнѣнію автора *Mutual Aid* тѣмъ, что средневѣковый городъ не былъ централизованнымъ государствомъ. Въ теченіе первыхъ вѣковъ своего существованія городъ, въ отношеніи внутренней организаціи, едва-ли могъ быть названъ государствомъ: каждая часть города принимала свое участіе въ управленіи. Городъ обыкновенно дѣлился на четыре „конца“ или на шесть, семь участковъ, расходившихся лучами отъ центра. Каждый „конецъ“ и каждый участокъ соответствовали главному промыслу, которымъ занималось ихъ населеніе. Тѣмъ не менѣе тутъ рядомъ жили представители различныхъ классовъ: дворяне, купцы, ремесленники, а то даже полукрѣпостные. И каждый конецъ составлялъ совершенно независимую единицу. Въ Венеціи, напр., каждый островъ составлялъ полити-

чески независимую общину, которая имѣла свою собственную промышленность или торговлю и свой собственный форумъ. Весь городъ выбиралъ дожа, но это нисколько не мѣняло внутренней независимости отдѣльной единицы. Въ Кельнѣ население группировалось въ *Geburschaften* и *Heimschaften*, т. е. въ сосѣдскія гильдіи, каждая изъ нихъ имѣла своего судью (*Burrichter*), двѣнадцать выборныхъ (*Schöffen*), находившихъ приговоры, своего фохта и *Greve*, или начальника мѣстной милиціи. То же самое представлялъ Лондонъ и др. города.

Главной цѣлью средневѣковаго города было—гарантировать самоуправленіе и миръ. Держался онъ на базисѣ труда. Производство не поглощало всего вниманія средневѣковыхъ экономистовъ. Они заботились также о „распредѣленіи“. А потому основнымъ принципомъ каждаго средневѣковаго города было—„доставить предметы первой необходимости и жилища, какъ для богатыхъ, такъ и для бѣдныхъ“ (*Gemeine nötdurft und gemach armer und richer*). Строго было воспрещено, поэтому, перекупать съѣстные припасы, дрова и уголь, прежде чѣмъ они попадали на рынокъ. Скупщики могли приобретать эти продукты только на рынкѣ, при томъ лишь послѣ того, какъ прозвучитъ сигнальный колоколъ. И тогда даже выговаривалось условіе, чтобы лавочникъ получалъ „честную прибыль, по совѣсти“. Городъ регулировалъ продажу муки и хлѣба, заботясь о томъ, чтобы булочники не эксплуатировали населеніе. Далѣе въ XVI вѣкѣ мы находимъ еще, что городъ закупалъ хлѣбъ для всѣхъ гражданъ. Историки, по мнѣнію автора, покуда еще не обратили достаточнаго вниманія на эту сторону хозяйственной жизни средневѣковаго города.

Почти во всѣхъ средневѣковыхъ городахъ Западной Европы цехи приобретали сообща всѣ сырые продукты... „Короче,—говоритъ авторъ, приведя длинный рядъ примѣровъ,—чѣмъ больше мы знакомимся съ средневѣковымъ городомъ, тѣмъ больше убѣждаемся, что онъ не былъ только политической организаціей для защиты извѣстныхъ политическихъ правъ. Онъ явился попыткой организовать населеніе, въ болѣе широкихъ размѣрахъ, чѣмъ въ деревенской общинѣ, въ тѣсный союзъ для взаимной помощи, поддержки, для производства и потребленія и просто для общественной жизни. Попытка эта имѣла въ виду дать полную свободу творческому генію каждаго индивидуума или отдѣльной группы. На сколько это удалось осуществить, мы видимъ, анализируя организацію труда въ средневѣковомъ городѣ.

III.

Средневѣковые города организовались не по плану, намѣченному волей законодателя. Каждый изъ нихъ явился продуктомъ естественнаго роста. Поэтому, трудно найти два города, внутренняя организація которыхъ была бы вполне тождественна. Характеръ каждого города въ отдѣльности мѣнялся изъ вѣка въ вѣкъ. И все же, если мы окинемъ общимъ взглядомъ всѣ средневѣковые европейскіе города,—мѣстныя и національныя черты, отличавшія одинъ городъ отъ другого, исчезаютъ. Мы находимъ тогда поразительное сходство между всѣми городами, хотя каждый изъ нихъ развивался независимо отъ другихъ и при разныхъ условіяхъ. На первый взглядъ мало общаго между городомъ въ сѣверной Шотландіи, населенномъ грубыми рыбаками, богатымъ фландрскимъ городомъ съ міровой торговлей, итальянскимъ городомъ, обогащеннымъ сношеніями съ Востокомъ, культивирующимъ въ своихъ стѣнахъ высокую цивилизацію, и бѣднымъ, земледѣльческимъ городомъ на сѣверныхъ болотахъ. А между тѣмъ, характерныя особенности ихъ организаціи и духъ, которымъ города были проникнуты, носятъ рѣзко выраженное родовое сходство. Всюду мы наблюдаемъ ту же федерацію небольшихъ общинъ и гильдій, тѣ же пригороды вокругъ главнаго города, тѣ же городскіе сходы и то же проявленіе независимости. „Защитникъ“ города иначе зовется въ различныхъ мѣстахъ, но онъ всюду представляетъ одну и ту же власть и тѣ же интересы. Приобрѣтеніе предметовъ необходимости, затѣмъ торговля и трудъ всюду организованы по одному и тому же образцу. Внутренняя и внѣшняя борьба тождественны. Больше того, тождественны даже записи объ этомъ въ хроникахъ. Архитектурные памятники, будутъ ли они готическаго, романскаго или византійскаго стиля, выражаютъ тѣ же стремленія и тѣ же идеалы. Они задуманы и выполнены одинаковымъ путемъ. Одну и ту же руководящую идею мы можемъ прослѣдить, не смотря на разницу въ климатахъ, географической широтѣ, богатствѣ, языкѣ и вѣрѣ. Поэтому, о средневѣковомъ городѣ, по мнѣнію автора, мы можемъ говорить, какъ о вполне опредѣленномъ фазисѣ цивилизаціи. Какъ же возникъ онъ? Въ освобожденіи средневѣковаго города, безъ сомнѣнія, выдающуюся, хотя не исключительную, роль играло то значеніе, которое у варваровъ придавалось мѣсту, гдѣ собирались для торга. Варвары ранней эпохи не знали никакихъ ремеселъ въ своихъ деревняхъ. Все доставлялось извнѣ, иностранцами, на опредѣленное мѣсто и въ опредѣленные дни. И чтобы купецъ могъ явиться, безъ опасенія быть убитымъ или ограбленнымъ, ярмарочная площадь всегда на-

ходилась подъ спеціальной защитой всѣхъ клановъ и родовичей. Она была неприкосновенна, какъ и церковь, возлѣ стѣнъ которой почти всегда находилась. Родовая вражда не должна была происходить на торговой площади и въ извѣстномъ разстояніи отъ нея. И если возникала ссора въ пестрой толпѣ покупателей и продавцовъ, ее разбирали тѣ, подъ покровительствомъ которыхъ площадь находилась: трибуналъ общины или судья, назначенный епископомъ, барономъ или королемъ. Иностранецъ, прибывшій съ товарами, былъ *торговымъ гостемъ*. Баронъ, грабившій на большой дорогѣ купцовъ, признавалъ такъ называемый *Weichbild*, т. е. шесть, стоявшій на торговой площади и украшенный королевскимъ гербомъ, перчаткой, изображеніемъ мѣстнаго святого или престолъ, соотвѣтственно тому, находилась ли ярмарка подъ покровительствомъ короля, барона, мѣстной церкви или же „folk mote“ (вѣча). Изъ этого права торговой площади легко могло развиться право города, когда послѣдній добился контроля надъ ней. Вслѣдствіе подобнаго происхожденія права, торговая часть населенія пріобрѣла преобладающее вліяніе. Граждане, владѣвшіе въ то время домомъ и городской землей, составляли очень часто купеческую гильдію, которая держала въ своихъ рукахъ громадную торговлю. И хотя сперва каждый гражданинъ, богатый или бѣдный, могъ вступить въ гильдію (самая торговля, повидимому, производилась выборными въ пользу города)—она впослѣдствіи постепенно превращалась въ привилегированную корпорацію. Доступъ въ гильдію прекратился для всѣхъ вновь устремившихся въ вольные города. Немногія богатые семьи, родоначальники которыхъ были гражданами во время освобожденія городовъ,—держали торговлю въ своихъ рукахъ. Явилась опасность возникновенія торговой олигархіи. Но уже въ десятомъ, а еще больше въ одиннадцатомъ вѣкахъ — ремесленники тоже сгруппировались въ гильдіи. И вскорѣ эти гильдіи пріобрѣли такую силу, что могли остановить олигархическія стремленія торговцевъ.

Въ то время цехъ сообща покупалъ сырые продукты и сообща же продавалъ свои издѣлья. Участники цеха были въ одно и то же время и производителями, и продавцами. Поэтому вліяніе, пріобрѣтенное старыми цехами, какъ только началась свободная жизнь городовъ, гарантировало ремесленникамъ то высокое положеніе, которое они заняли. Въ самомъ дѣлѣ, въ средневѣковомъ городѣ занятіе ремеслами отнюдь не означало низшаго общественнаго положенія. Напротивъ, даже. Ремесленный трудъ считался почетнымъ *общественнымъ* дѣломъ. Производство и обмѣнъ были проникнуты идеей „справедливости“ къ общинѣ и „права“ потребителей и производителей. По документамъ того времени, работа кожевника, котельщика или сапожника должна была быть „добросовѣстной“ и „честной“. Производителю рекомендовалось

употреблять только „честные“ матеріалы. Хлѣбъ надлежало выпекать „по совѣсти“. Переведите эти выраженія на современный языкъ,—говоритъ авторъ,—и они покажутся вычурными и неестественными; но въ то время въ этихъ словахъ никто не видѣлъ ничего аффектированнаго. Средневѣковый ремесленникъ изготавлялъ не для неизвѣстнаго рынка, но, прежде всего, для своей гильдіи, для братства, члены котораго знали другъ друга. За тѣмъ продуктъ покупался общиною, а послѣдняя, въ свою очередь, предлагала его братству союзныхъ общинъ. Поэтому, община брала на себя отвѣтственность за качество предлагаемаго продукта. При подобной организаціи вопросомъ чести для каждой гильдіи было выпускать въ свѣтъ только отличныя издѣлія. Технические дефекты или поддѣлка считались дѣломъ, касающимся всей общины. Въ уставѣ, какъ говоритъ Янсень въ своей „Geschichte des deutschen Volks“ значилось, что всякая недобросовѣстность въ производствѣ касается чести всего города, „такъ какъ подрываетъ общественное довѣріе“. Производство, такимъ образомъ, являлось общественнымъ дѣломъ. И покуда существовали вольные города, трудъ находился въ большомъ почетѣ. Различіе между мастеромъ и подмастерьемъ, или между мастеромъ и работникомъ (*compagne, Geselle*) существовало въ средневѣковомъ городѣ съ самаго начала. Но оно основывалось на различіи возраста и искусства, а не на богатствѣ и вліяніи. Послѣ семилѣтней выучки и надлежащаго испытанія въ искусствѣ, каждый подмастерье самъ становился мастеромъ. И только значительно позже, въ шестнадцатомъ вѣкѣ, когда королевская власть уничтожила прежній городъ и старыя цеховыя организаціи,—стало возможнымъ сдѣлаться мастеромъ по наслѣдству и въ силу богатства. Съ этого времени начался также упадокъ средневѣковой промышленности и искусства.

Для наемнаго труда не было мѣста въ раннемъ, цвѣтущемъ періодѣ средневѣковаго города. Работа ткачей, кузнецовъ, хлѣбниковъ и т. д. исполнялась для гильдій и для города. Когда при постройкѣ нужны были работники, они составляли временную корпорацію, которой платили не поденно, а за всю работу *en bloc*. Работа на хозяина стала появляться только впоследствии; но даже и въ такихъ случаяхъ наемный работникъ получалъ больше, чѣмъ теперь. Торольдъ Роджерсъ доказалъ это относительно Англіи.

Относительно положенія труда на континентѣ въ среднихъ вѣкахъ писали Фалке и Шёнбергъ. Въ пятнадцатомъ вѣкѣ, когда средневѣковый городъ приходилъ уже въ упадокъ, работникъ—столяръ, плотникъ или кузнецъ, получали въ Аміени четыре „sols“ въ день, что составляло стоимость сорока восьми фунтовъ хлѣба, или восьмую часть небольшого быка (*bouvard*). Въ грамотѣ Фердинанда Перваго рабочій день въ угольныхъ шахтахъ опредѣляется въ восемь часовъ, „какъ это было въ старину“ (*wie vor*

Alters herkommen). Работа по субботамъ послѣ обѣда тою же грамотой запрещалась. По словамъ Торольда Роджерса, въ Англіи, въ XV вѣкѣ, работникъ былъ занятъ только сорокъ восемь часовъ въ недѣлю („The Economical Interpretations of History“). Рабочіе конгрессы были нормальнымъ явленіемъ средневѣковой жизни. Въ нѣкоторыхъ частяхъ Германіи ремесленники, принадлежавшіе къ однимъ и тѣмъ же цехамъ, имѣли обыкновение собираться ежегодно для обсужденія вопросовъ, интересовавшихъ ихъ всѣхъ. На этихъ сѣздахъ говорили о продолжительности срока выучки, о заработной платѣ и пр. Въ 1572 г. ганзейскіе города формально признали право цеховъ собираться периодически и постановлять общія рѣшенія, если только послѣднія не имѣютъ цѣлю понизить качество издѣлій. На подобные конгрессы, отчасти международнаго характера, какъ была сама Ганза,—собирались булочники, литейщики, кузнецы, кожевники, оружейники и бочары. Подробно объ этихъ средневѣковыхъ рабочихъ сѣздахъ говоритъ *W. Stieda* въ „Hansische Vereinbarungen über städtisches Gewerbe im XIV und XV Jahrhundert“ (Hansische Geschichtsblätter, Jahrgang. 1886, p. 121).

IV.

Организація цеховъ требовала, конечно, извѣстнаго надзора гильдій надъ мастерами. Съ этой цѣлю назначались особые выборные. До тѣхъ поръ, пока города жили своею свободною жизнью, жалобъ по поводу надзора не было никакихъ. Когда же вмѣшалась центральная власть, конфисковала собственность гильдій и разрушила ихъ независимость въ пользу своей бюрократіи—жалобы стали безчисленны. Громадный прогрессъ искусствъ и промышленности, достигнутый средневѣковыми гильдіями, съ другой стороны, доказываетъ, что эта организація не сковывала личной инициативы. Фактъ объясняется тѣмъ, что,—по мнѣнію автора,—средневѣковая гильдія, подобно средневѣковому „концу“ или „улицѣ“, не была группой лицъ, помѣщенной подъ контроль извнѣ, но самостоятельнымъ союзомъ людей съ самостоятельной инициативой, объединившихся для опредѣленной цѣли. Эти отдѣльныя коллективныя общественныя единицы были до такой степени независимы, что когда городъ призывался къ оружію, гильдія являлась, какъ самостоятельный отрядъ (*Schaar*), который имѣлъ собственное оружіе и собственнаго вожда. Словомъ, гильдія въ средневѣковомъ городѣ являлась такою же независимою единицею, какъ Ури или Женева въ Швейцарской конфедераціи пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ.

Средневѣковыя гильдіи были способны отстоять свою независимость. Когда впоследствии, въ особенности же въ XIV вѣкѣ,

старая городская жизнь подверглась глубокому измѣненію, болѣе молодые цехи были настолько сильны, что имъ удалось добиться участія въ городскихъ дѣлахъ. Массы, организованныя въ новые цехи, добились признанія своихъ правъ у растущей олигархіи. Начался опять блестящій періодъ благоденствія. Въ нѣкоторыхъ городахъ, какъ въ Парижѣ въ 1306 г. или въ Кельнѣ въ 1371 г. старымъ цехамъ удалось подавить движеніе и утопить его въ потокахъ крови. За разгромомъ непосредственно послѣдовалъ упадокъ этихъ городовъ и подчиненіе ихъ центральной власти. Большинство же средневѣковыхъ городовъ пережило бурный періодъ. За нимъ послѣдовалъ новый подъемъ и расцвѣтъ общественныхъ силъ вслѣдствіе притока новыхъ, свѣжихъ элементовъ. Новая жизнь проявилась въ великолѣпныхъ архитектурныхъ сооруженіяхъ, въ быстромъ прогрессѣ техники, въ рядѣ изобрѣтеній и въ умственномъ движеніи, которое повело къ Возрожденію и къ Реформаціи.

Средневѣковому городу, какъ мы видѣли, приходилось непрерывно бороться за свою самостоятельность. Въ сущности, онъ являлся тогда укрѣпленнымъ оазисомъ въ странѣ, находившейся въ подчиненіи у феодаловъ. Чтобы удержать свое положеніе, приходилось непрерывно прибѣгать къ оружію. Мы видѣли уже, въ силу какихъ причинъ деревни мало-по-малу попали въ крѣпостную зависимость. Домъ свѣтскаго или духовнаго феодала сталъ замкомъ, его товарищи по оружію всегда были готовы ограбить „засельщину“. Помимо трехъ дней барщины, крѣстьянинъ платилъ еще феодалу за право сѣять и за жатву, за разрѣшеніе вѣнчаться, похороны и т. д. Сосѣдніе феодалы принимали крѣпостныхъ за родъ неотъемлемой собственности ихъ владѣльца и вымещали на нихъ вражду къ ихъ властелину: угоняли скотъ, жгли хлѣбъ и пр. Каждый лугъ, нива и рѣка въ окрестностяхъ города и каждый человѣкъ на нихъ являлся собственностью какого-нибудь барона. Ненависть гражданъ къ баронамъ-феодаламъ выразилась въ характерныхъ редакціяхъ средневѣковыхъ хартій, добытыхъ у нихъ. Чтобы отстоять свою свободу, городамъ приходилось воевать съ феодалами. Граждане посылали эмиссаровъ въ деревни, чтобы подбить крестьянъ на мятежъ. Города принимали въ свои корпораціи деревни. Они начинали, наконецъ, правильныя войны. Въ Италіи, гдѣ страна была усѣяна замками, война приняла героическіе размѣры. Флоренція воевала семьдесятъ семь лѣтъ съ цѣлью освободить свои *contado* отъ феодаловъ. И когда въ 1181 г. цѣль была достигнута,—все пришлось начать сызнова. Феодалы соединились вмѣстѣ; они образовали свои собственныя лиги для борьбы съ городскими лигами. Получивъ поддержку отъ папъ и императоровъ, они продолжали войну еще 130 лѣтъ. То же самое происходило въ Римѣ, въ Ломбардіи и всюду въ Италіи. Во время этихъ войнъ граждане проявляли чудеса храбрости и доблести, но луки и топоры не всегда брали верхъ надъ рыцарскими до-

спѣхами. Многіе замки устояли, не смотря на остроумныя осадныя машины, придуманныя гражданами. Флоренція, Болонья и многіе города во Франціи, Германіи и Богеміи вышли побѣдителями. Имъ удалось освободить окружающія деревни. Въ результатѣ былъ необыкновенный подъемъ промышленности и искусства. Но очень часто купцы и ремесленники, истощенные войной и, не понимая своихъ собственныхъ интересовъ, заключали миръ съ феодалами, выдавъ головой своихъ союзниковъ крестьянъ. Гильдіи брали съ барона клятву на вѣрность городамъ. Замокъ его разрушали. Феодалъ обязывался жить въ городѣ и становился согражданиномъ (*com bourgeois, con-cittadino*). Въ замѣнъ онъ сохранялъ почти все свои права надъ крестьянами, которые получали только нѣкоторое облегченіе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ крестьяне просто перешли отъ одного владѣльца къ другому: городъ покупалъ у барона его права и перепродавалъ ихъ частями согражданамъ. Такъ, напримѣръ, въ Швейцаріи Бернъ купилъ у Туна и Бургдорфа права, пріобрѣтенныя послѣдними городами. Крѣпостное право сохранилось. Только значительно позже, къ концу тринадцатаго вѣка, движеніе ремесленниковъ положило конецъ ему, но, въ то же время, отняло у крѣпостного землю. Такъ было во Флоренціи, Луккѣ, Сіенѣ, Болоньѣ и въ другихъ тосканскихъ городахъ. Результатъ былъ гибеленъ для самихъ городовъ, такъ какъ деревенское населеніе стало врагомъ ихъ. Война противъ замковъ имѣла еще одинъ дурной результатъ. Она втянула города въ долгія взаимныя войны, которыя породили теорію, находившую многихъ сторонниковъ. По упомянутой теоріи, города потеряли свою независимость по причинѣ взаимной зависти и борьбы, проистекшей отъ этого. Между тѣмъ, дѣйствительность не подтверждаетъ эту теорію. Борьба между городами, какъ показали это еще Сисмонди и Феррари, явилась послѣдствіемъ войны съ замками. Многіе города, которые только частью освободились, вынуждены были силой принять сторону епископовъ, бароновъ и т. д.

Противъ теоріи историковъ, отрицательно относившихся къ средневѣковымъ городамъ, говорить, между прочимъ, то, что послѣдніе охотно и часто заключали союзы другъ съ другомъ. Уже въ 1130—1150 гг. мы видимъ возникновеніе могущественныхъ лигъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, когда Фридрихъ Барбаросса вторгся въ Италію и, поддерживаемый баронами и нѣсколькими отсталыми городами, двинулся противъ Милана, въ рядѣ городовъ пробудился взрывъ энтузіазма. На помощь Милану пошли города Кремона, Піаченца, Брешіа, Тортонa и др. Въ лагерь войскъ, двинувшихся противъ Барбароссы, развѣвались рядомъ знамена гильдій Вероны, Падуи, Виченцы и Тревизы. Черезъ годъ возникла ломбардская лига, и черезъ шестьдесятъ лѣтъ она усилилась присоединеніемъ многихъ городовъ. Образовался силь-

ный и продолжительный союзъ. Половина войсковой казны его хранилась въ Генуѣ, а другая половина—въ Венеціи. И эта лига не была единственной. Такимъ образомъ, хотя зависть несомнѣнно существовала, но она не препятствовала городамъ соединяться, когда предстояло защищать независимость. Войны между городами возникли гораздо позже, когда каждый изъ нихъ превратился въ маленькое государство. Тогда началась борьба за главенство и за колоніи. Ничего подобнаго не было тогда, когда средневѣковые города являлись федераціей небольшихъ, самостоятельныхъ, территоріальныхъ единицъ, со своими собственными гильдіями. „Первые пять вѣковъ второй декады нашей эры,—говоритъ, авторъ,—можно, поэтому, назвать громадной попыткой осуществленія взаимной помощи въ широкихъ размѣрахъ черезъ посредство принциповъ ассоціаціи и федераціи, проведенныхъ всюду въ жизнь. Эта попытка, въ значительной степени, удалась. Она объединила людей, которые прежде были разединены, дала имъ значительную степень свободы и удесятирила ихъ силы... Въ концѣ концовъ, средневѣковые города погибли въ борьбѣ съ непріателемъ. Они недостаточно широко поняли принципы взаимной помощи, и свершили фатальныя ошибки. Но причиной гибели городовъ не была зависть ихъ другъ къ другу“.

V.

Движеніе, выразившееся въ возникновеніи средневѣковыхъ городовъ,—имѣло громадное значеніе для человѣчества. Въ началѣ XI вѣка европейскіе города представляли небольшое скопленіе жалкихъ лачугъ и были украшены невысокими, неуклюжими церквями, строители которыхъ едва успѣли вывести сводъ. Промышленность находилась въ зародышѣ. То было умѣнье ткать и ковать. Вся наука сосредоточивалась въ нѣкоторыхъ монастыряхъ. Три съ половиной вѣка спустя, самый видъ Европы сильно измѣнился. Всюду возникли богатые города, окруженные толстыми стѣнами, башни и ворота которыхъ представляли сами по себѣ произведеніе искусства. Смѣло задуманные и великолѣпно украшенные соборы устремлялись къ небу своими стройными колокольнями. Чистота стиля и смѣлость замысла ихъ являются до сихъ поръ недосыгаемымъ идеаломъ. Искусства и ремесла достигли высокаго совершенства. И если прогрессъ производства измѣрять достоинствомъ фабрика-товъ, а не быстротой изготовленія ихъ, то теперь мы врядъ-ли можемъ хвалиться тѣмъ, что опередили средніе вѣка. Корабли вольныхъ городовъ бороздили во всѣхъ направленіяхъ Средиземное море... Выросла и распространилась наука. Выработались

научные методы; положенъ былъ базисъ точныхъ наукъ, и намѣченъ путь къ тѣмъ механическимъ изобрѣтеніямъ, которымъ такъ справедливо гордится XIX вѣкъ. Таковы перемѣны, происшедшія въ Европѣ меньше, чѣмъ за четыре вѣка. Потерю Европы, вслѣдствіе гибели вольныхъ городовъ, можно понять только, если сравнить семнадцатый вѣкъ съ четырнадцатымъ и тринадцатымъ. Процвѣтаніе, характеризовавшее прежде Шотландію, Германію и низменность Италіи—исчезло. Дороги опустѣли. Ихъ никто не поддерживалъ больше. Опустѣли города. Трудъ попалъ въ рабство, искусство исчезло, торговля пришла въ упадокъ. Если бы средневѣковые города, — говоритъ авторъ, — не оставили намъ никакихъ письменныхъ документовъ, а только архитектурныя сооруженія, которыя мы видимъ теперь отъ Шотландіи до Италіи и отъ въ Испаніи до Познани, то и тогда мы могли бы смѣло сказать, что эпоха процвѣтанія вольныхъ городовъ представляеть наибольшій расцвѣтъ умственныхъ силъ человѣчества отъ начала нашей эры до второй половины XVIII вѣка. Знаменателенъ самый фактъ, что изъ всѣхъ искусствъ наибольшаго развитія тогда достигла архитектура, являющаяся, по преимуществу, искусствомъ „общественнымъ“. Она сама уже по себѣ выражаетъ крайне высокую степень соціальной жизни. Соборъ или ратуша символизировали величіе общественнаго организма, каждый индивидуумъ котораго былъ независимой единицей. Каждый каменщикъ вкладывалъ свою индивидуальность. Средневѣковое сооруженіе являлось результатомъ не воли единичнаго лица, отдававашаго приказъ тысячамъ рабовъ безъ воображенія. Въ постройкѣ принималъ участіе весь городъ. „Стройная колокольня поднималась надъ сооруженіемъ, величественнымъ само по себѣ, и въ въ которомъ чувствовалось біеніе жизни всего города... Подобно Акрополю въ Аѣнахъ средневѣковый соборъ долженъ былъ прославлять величіе вольнаго города; онъ символизировалъ союзъ всѣхъ гильдій и говорилъ о свободной личности каждого гражданина“. Новый соборъ начиналъ строиться обыкновенно послѣ успѣшнаго освободительнаго движенія гильдій. Онъ выражалъ тогда мощь и величіе союзовъ. Каждая гильдія выражала въ постройкѣ свои политическія понятія. Въ камнѣ и въ бронзѣ она излагала исторію города, прославляя принципы свободы и братства, восхваляя союзниковъ его и отправляя въ адъ враговъ. Каждая гильдія проявляла свою любовь къ общественному памятнику: одна доставляла разрисованныя окна, другая—отливала изъ бронзы двери, „достойныя украшать рай“, по выраженію Микель-Анджело, третья—оббивала каждый уголъ каменнымъ кружевомъ и пр. Маленькіе города успѣшно конкурировали въ этомъ отношеніи съ большими. Соборъ въ Лаонѣ можетъ сравниться по великолѣпію съ рейнскимъ. Ратуша въ Бременѣ такъ же великолѣпна, какъ колокольня въ Бреславлѣ...

Всѣ искусства и отрасли промышленности прогрессировали въ одинаковой степени въ средневѣковомъ городѣ. Богатство фламандскихъ городов основывалось на фабриковавшихся тамъ тонкихъ сукнахъ. Въ началѣ четырнадцатаго вѣка, до чумы, Флоренція изготовляла отъ 70 до 100 тысячъ *panni* шерстяной матеріи, стоимость которой исчислялась въ 1.200,000 золотыхъ флориновъ. Въ 1336 г. въ низшихъ школахъ Флоренціи учились до 10 тысячъ мальчиковъ и дѣвочекъ, въ семи среднихъ школахъ—1200 мальчиковъ, а въ четырехъ университетахъ—600 студентовъ. Всѣхъ жителей во Флоренціи тогда было 90,000.

Средневѣковыя гильдіи создали искусство чеканить драгоценные металлы, обрабатывать сталь, отливать мѣдь и желѣзо. Авторъ хорошо извѣстнаго у насъ въ Россіи труда „Исторія индуктивныхъ наукъ“ говоритъ: „Пергаментъ и бумагу, печатанье и гравированіе, улучшеніе производства стали и стекла, порохъ, часы, телескопы, морскіе компасы, преобразованный календарь, десятичныя дроби, алгебру, тригонометрію, химію, контрапунктъ (открытіе, пересоздавшее заново музыку)—все это мы получили отъ среднихъ вѣковъ, которые такъ неточно названы періодомъ застоя“ (*Whewell History of Inductive Science*, I, 252). Все это зародилось въ гильдіяхъ. Правда, какъ указываетъ цитируемый авторъ, перечисленными открытіями и пріобрѣтеніями не былъ иллюстрированъ ни одинъ новый принципъ; но средневѣковая наука сдѣлала нѣчто лучшее, чѣмъ открытіе новыхъ принциповъ: она пріучила изслѣдователя наблюдать факты и размышлять по поводу ихъ. То было начало индуктивной науки, хотя все значеніе и сила индукціи не были еще поняты. Френсисъ Бэконъ, Галилей и Коперникъ были прямыми преемниками Роджера Бэкона и Майкеля Скота. Точно такимъ же образомъ паровая машина явилась прямымъ послѣдствіемъ изысканій, производившихся въ итальянскихъ университетахъ надъ тяжестью атмосферы и изученій математики и механики въ Нюрнбергѣ.

Средневѣковые города оказали громадныя услуги европейской цивилизаціи. Они не дали ей отлиться въ теократическія деспотическія формы древняго востока. Они дали ей увѣренность въ себя, силу инициативы и ту громадную умственную и матеріальную мощь, которой отличается теперь европейская цивилизація. И эта мощь является лучшей гарантіей, что Европа въ состояніи выдержать натискъ Востока, если „желтый призракъ“ дѣйствительно явится. Но почему же средневѣковые центры цивилизаціи, пытавшіеся отвѣтить на запросы человѣчества и отличавшіеся такой жизненностью, исчезли? Почему они были поражены старческой дряхлостью въ шестнадцатомъ вѣкѣ? Почему они умерли послѣ того, какъ такъ успѣшно отразили внѣшнихъ враговъ и пріобрѣли только новыя силы послѣ международныхъ войнъ? На всѣ эти вопросы пытается отвѣтить авторъ „Mutual Aid“. „Многія

причины вызвали это явленіе. Нѣкоторыя изъ нихъ коренятся въ далекомъ прошломъ, другія же— порождены ошибками, свершенными городами. Къ концу пятнадцатаго вѣка возникли уже сильныя государства, создавшіяся по римскому образцу. Стоявшіе во главѣ ихъ выбирали своей резиденціей счастливо расположенныя группы деревень и мѣстечекъ, какъ Парижъ или Мадридъ, и укрѣпляли ихъ при помощи труда крѣпостныхъ. Возникали имперскіе и королевскіе города, куда дружинники привлекались даровой раздачей деревень, а купцы покровительствомъ торговлѣ. Такимъ образомъ, возникъ центръ, притягивавшій и поглощавшій другіе города. Въ этомъ новомъ конгломератѣ стали складываться особые общественные идеалы. Населеніе новыхъ городовъ ненавидѣло феодаловъ, но презирало и крестьянъ, считая ихъ учрежденія „варварскими“. Идеаломъ этихъ горожанъ сталъ цезаризмъ, поддерживаемый фикціей народнаго согласія и пропагандируемый при помощи оружія. Мощная организація, относившаяся вначалѣ отрицательно къ Римской имперіи, дала свою санкцію новому цезаризму.

Крестьяне, которыхъ средневѣковыя города забыли или не хотѣли освободить и которые видѣли, что города не могутъ положить конецъ непрерывнымъ войнамъ между феодалами (во время этихъ войнъ страдательными лицами являлись крестьяне),—возложили теперь всѣ надежды на королей, которымъ оказали важную помощь въ борьбѣ съ феодалами. Власть послѣднихъ была сокрушена. Укрѣпленію королевской власти содѣйствовало также вторженіе турокъ въ Европу, священная война противъ мавровъ въ Испаніи, а также жестокая борьба между крѣпнувшими центрами новой власти: между Ильдефрансомъ и Бургундіей, Шотландіей и Англіей, Англіей и Франціей. На аренѣ исторіи появились сильныя государства. Городамъ пришлось теперь бороться не только съ нестройнымъ союзомъ феодаловъ, но съ организованными центрами, имѣвшими въ своемъ распоряженіи солдатъ и крѣпостныхъ. Центры нашли поддержку въ разладѣ, появившемся въ самихъ городахъ вслѣдствіе того, что принципъ взаимной помощи примѣнялся тамъ только въ небольшихъ организаціяхъ. Средневѣковый городъ, говоритъ авторъ,—съ самаго начала совершилъ важную ошибку. Въмѣсто того, чтобы смотрѣть на крестьянъ и ремесленниковъ, явившихся въ городъ искать защиты, какъ на союзниковъ и на равныхъ, родовитые граждане относились къ нимъ, какъ къ чужимъ. Установилось разногласіе между старыми родами и вновь прибывшими. Роковое послѣдствіе борьбы между старыми гражданами и „мѣщанами“ выясняетъ подробно Брентано. Тотъ же самый разладъ установился между собственно городомъ и окружающими деревнями. Городъ освободился отъ феодаловъ, но оставилъ въ ихъ полномъ распоряженіи „виленовъ“. Феодалы поселились въ городѣ, какъ мы видѣли; но не захотѣли

подчиниться обычаямъ простыхъ гражданъ и ссоры между собою разрѣшали боемъ на улицахъ. Въ каждомъ почти средневѣковомъ городѣ были свои Колонны и Орсини. Они сохранили всю свою власть надъ крѣпостными и своими привычками феодализировали городъ. Въ случаѣ возникновенія недоразумѣнія, они всегда совѣтовали гражданамъ взяться за оружіе, вмѣсто того, чтобы искать мирнаго разрѣшенія.

Величайшая и наиболѣе фатальная ошибка городовъ,—продолжаетъ авторъ,—заключалась въ томъ, что они основывали свое богатство на торговлѣ и промышленности, и пренебрегли земледѣліемъ. Такимъ образомъ, средневѣковые города повторили ошибку, свершенную когда-то городами античнаго міра. И, поэтому, впади въ тѣ же преступленія. Итальянскія республики, на примѣръ, вели торговлю невольниками, похищенными на Востокъ, до середины пятнадцатаго вѣка. Послѣдствіемъ отчужденія городовъ отъ земли явилась политика, враждебная крестьянамъ. Она повела къ возстанію Уота Тейлора въ Англіи, къ Жакеріямъ во Франціи, и къ Крестьянской войнѣ въ Германіи. Городамъ нужны были, кромѣ того, колоніи. Итальянцы ихъ нашли на юго-востокѣ, германскіе города—на востокѣ, Новгородъ и Псковъ—на далекомъ сѣверо-востокѣ. Понадобились наемныя войска, чтобы вести колоніальныя войны. Эти же послѣднія имѣли результатомъ войны вообще. Понадобились громадныя займы, которые деморализовали совершенно гражданъ. Возникали споры при каждыхъ выборахъ, во время которыхъ ставкой для немногихъ вліятельныхъ родовъ была колоніальная политика. Имущественная разница становилась все глубже и глубже. Поэтому, въ шестнадцатомъ вѣкѣ королевская власть нашла въ каждомъ городѣ союзниковъ въ бѣдникахъ. Есть еще и другая, болѣе глубокая причина упадка общинъ. Исторія средневѣковыхъ городовъ,—говоритъ авторъ,—является разительнымъ примѣромъ вліянія *идей* и *принциповъ* на судьбы человѣчества. Она показываетъ также, что совершенно противоположные результаты получаются, когда свершается коренная переимѣна въ руководящихъ идеяхъ. Основной идеей одиннадцатаго вѣка было развитіе личности, федерація и своеобразная, поэтому, констракція общественнаго организма. То была эволюція идей, заложенныхъ въ античномъ городѣ. Вслѣдствіи, подъ вліяніемъ ученія римскаго права и догматовъ міровоззрѣнія, относившагося въ моментъ своего народженія отрицательно къ Риму, — стали санкціонироваться діаметрально противоположные общественные идеалы. Представители новаго принципа оправдывали и освящали всякое насиліе, свершенное однимъ лицомъ ради, такъ называемаго, общественнаго спасенія. Личность была раздавлена и принесена въ жертву чему-то коллективному. Во имя новаго принципа считалось не только возможнымъ, но и должнымъ, мучить людей, возводить ихъ на

жестокость и пр. Подъ вліяніемъ новой атмосферы, созданной этимъ положеніемъ вещей, произошла мало-по-малу метаморфоза во взглядахъ гражданъ. Они начали находить всякое насиліе справедливымъ, разъ оно свершено во имя „общественной безопасности“. Римскій взглядъ на общество восторжествовалъ, и города стали жертвой народившейся силы.

И не смотря на все это, потокъ взаимной помощи не изсякъ въ массахъ. Онъ продолжалъ копиться. Онъ течетъ до сихъ поръ и ищетъ найти новое русло. То будетъ, конечно, не кланъ, не земельная община варварскаго періода и не средневѣковъй городъ, хотя явится дальнѣйшимъ и гораздо болѣе совершеннымъ фазисомъ ихъ всѣхъ.

Таково, въ главныхъ чертахъ, содержаніе „Mutual Aid“. Какъ мы видѣли, авторъ, при оцѣнкѣ средневѣковаго города, не смотря на независимость мысли, примыкаетъ, въ значительной степени, къ такъ называемому „историческому романтизму“. Многія серьезныя изслѣдованія послѣдняго времени не вполне подтверждаютъ романтическій взглядъ на средневѣковъй городъ. Они указываютъ на борьбу въ цехахъ между мастерами и подмастерьями. И этотъ разладъ мы открываемъ не только во время упадка гильдій. Мы видѣли также, что новѣйшіе изслѣдователи находятъ, что Мэнъ слишкомъ обобщаетъ свои наблюденія; между тѣмъ, теорія Мэна является одною изъ основъ труда, съ которымъ я познакомилъ теперь читателя. Но, не смотря на всѣ возраженія, которыя можно сдѣлать автору, его книга поражаетъ смѣлостью взгляда и широтой обобщенія. Во всякомъ случаѣ, автору удалось выставить много крайне сильныхъ доводовъ въ пользу того, что въ мірѣ животныхъ взаимная помощь является такимъ же важнымъ факторомъ эволюціи, какъ и взаимная борьба.

Діонео.

Политика.

Историческіе итоги 1902 года.

Международныя европейскія отношенія.—Внутреннія событія главныхъ націй европейской культурной группы.—Итоги.

I.

Еще разъ земля облетѣла вокругъ солнца. Еще разъ своимъ движеніемъ даровала намъ зиму, весну, лѣто, осень и опять зиму. Еще разъ завершила полный циклъ явленій, въ своемъ послѣдовательномъ, всегда немного измѣняющемся повтореніи образующій ту бесконечно длинную цѣпь фактовъ, которую мы называемъ развитіемъ земли, въ томъ числѣ и земного человѣчества. Годъ съ его всегда повторяющимися въ неизмѣнномъ порядкѣ фазами (временами года) отнюдь не есть какой-либо искусственный періодъ, условленный для удобства счисленія. Условно лишь дата, съ которой начинается счисленіе, съ перваго-ли марта, какъ дѣлали римляне, съ перваго-ли сентября, какъ евреи, или съ 1 января, какъ нынѣ принято. Въ этомъ отношеніи существенной разницы нѣтъ между датами. Но для всей земной природы, а слѣдовательно и для человѣка, есть существенная разница между циклами, заключенными въ этихъ датахъ. Эти циклы, какъ бы ни были похожи другъ на друга, составляютъ отдѣльныя звенья, хотя и единой исторической цѣпи. Отсюда и эта вполне естественная и законная потребность для насъ оглянуться въ концѣ каждаго такого цикла и припомнить, что онъ внесъ новаго, что утратилъ изъ стараго, какія надежды и опасенія осуществилъ и какія разстроилъ, въ чемъ, словомъ, значеніе этого новаго звена человѣческой эволюціи?

Провожая на этихъ страницахъ 1901 годъ, мы указали, что въ международныхъ европейскихъ отношеніяхъ онъ былъ продолженіемъ предыдущихъ: союзы, тройственный и двойственный, попрежнему составляли основу международнаго европейскаго равновѣсія; Англія, попрежнему изолированная въ Европѣ, попрежнему искала опоры у Соединенныхъ Штатахъ и у Японіи, что ей было особенно надобно въ виду уменія ея собственной мощи по случаю неудачной южно-африканской войны; Соединенные Штаты и Японія, вообще склонные поддерживать Англію, этимъ самымъ уменіемъ британскаго могущества сдерживались въ болѣе или менѣе рѣшительномъ движеніи по этому направленію; состоявшееся въ 1901 году дипломатическое сближеніе Италіи съ Фран-

цией и таможенная политика Германіи нѣсколько угрожали тройственному союзу, возобновленіе котораго предстояло въ слѣдующемъ году, эта не полная выясненность въ группировкѣ главныхъ силъ всемірной исторіи составляла самую выдающуюся черту международного положенія, переданнаго 1901 годомъ своему преемнику, нынѣ тоже уже истекающему 1902 году.

Годъ 1902 внесъ въ этоѣ отношеніи крупную поправку. Неопредѣленное стало снова опредѣленнымъ. Прежде всего, тройственный союзъ возобновленъ опять на шесть лѣтъ безъ всякихъ существенныхъ перемѣнъ. Это возобновленіе тройственного союза дѣлаетъ настоятельно необходимымъ и сохраненіе двойственного союза, въ которомъ заключившія его державы находятъ гарантіи отъ могущества соединенныхъ Германіи, Австро-Венгрии и Италіи. Эти двѣ взаимно уравновѣшивающія и взаимно другъ друга парализующія комбинаціи останутся, слѣдовательно, еще, по крайней мѣрѣ, на шесть лѣтъ основой европейской международной политики. Такая группировка державъ въ двѣ на сушѣ равносильныя военныя комбинаціи въ извѣстной мѣрѣ именно этою равносильностью является гарантіей мира на европейскомъ континентѣ. Это съ одной стороны, а съ другой—это даруетъ огромное значеніе стоящей вѣдѣ обѣихъ комбинацій британской имперіи.

Распаденіе континентальной Европы на двѣ равносильныя и взаимно непріязненныя комбинаціи тройственного и двойственного союзовъ уже во второй половинѣ девяностыхъ годовъ XIX в. сказалось необыкновеннымъ возвышеніемъ англо-саксонскаго міра, которое въ 1898—99 годахъ достигло апогея, понуждая великія державы европейскаго континента поступаться своими интересами и даже достоинствомъ въ угоду англо-саксамъ. Особенно характерно было грубое выпроваживаніе нѣмцевъ изъ Самоа и французовъ изъ Фашоды. Не надо забывать и разгрома Испаніи заатлантическими англо-саксами. Въ 1899 году, однако, европейскіе англо-саксы, слѣдуя по тому же пути высокомѣрнаго третированія интересовъ и достоинства другихъ народовъ, въвязались въ Южной Африкѣ въ войну съ бурами. Неудачи, огромные расходы и потери, вызванныя этою войною и наполнившіе собою 1900—1901 года, лишили было англо-саксовъ ихъ преобладающаго значенія. Нѣмцамъ пришлось уступить Самоа и ради нихъ же не захватывать Ковейта. Французамъ пришлось предоставить Туатъ. Пришлось терпѣть и распространеніе русской сферы вліянія на Манчжурію. Возможность распаденія тройственного союза и возникновенія другой группировки континентальныхъ державъ, менѣе благопріятной британскому преобладанію, являлась дополнительною опасностью британскому значенію. Тройственный союзъ, однако, возобновленъ и въ это же время окончилась южно-африканская война полнымъ торжествомъ британцевъ. Эти два необыкновенной важности собы-

тя сразу возвратили Англии то положеніе, которое она заняла въ 1898—99 гг. и которое едва не утратила во время своей хищнической авантюры въ Южной Африкѣ. Авантюра удалась, а Европа по старому раздѣлена на два равносильныхъ взаимно-парализующихъ лагеря. Вышедшая изъ огромныхъ затрудненій и опасностей, Англія снова укрѣпила свое международное положеніе и снова идетъ къ преобладанію.

Мы уже указывали, какъ все отступало передъ Англіей во второй половинѣ девяностыхъ годовъ и какъ передъ всѣми отступала Англія въ 1900—1901 гг. Нынѣ она снова начинаетъ преуспѣвать. Внѣшнимъ выраженіемъ этого преуспѣянія явился въ 1902 году прежде всего англо-японскій союзъ, къ которому, хотя и не формально, примкнули Соединенные Штаты. Очищеніе Шанхая французами и нѣмцами, начавшееся очищеніе Россіей Манчжурии, упроченіе англійскаго вліянія въ Пекинѣ, но особенно у вице-королей Нанкина и Хань-Коу, преобладающее вліяніе въ Сіамѣ (сказавшееся въ франко-сіамскомъ конфликтѣ 1902 года), такое же преобладающее вліяніе въ Афганистанѣ (сказавшееся отказомъ кабульскаго правительства отъ всякихъ сношеній съ Россіей), заискиванія императора Вильгельма (выразившіяся въ недавней поѣздкѣ въ Англію), укрѣпленіе руководящей роли въ Португаліи (поѣздка въ Англію португальскаго короля и щедрыя концессіи англичанамъ въ португальскихъ колоніяхъ), полное отступленіе Турціи въ вопросѣ о разграниченіи въ Аравіи, содѣйствіе Италіи въ борьбѣ съ „безумнымъ муллой“, франко-египетскій договоръ, наконецъ, англо-германское соглашеніе для дѣйствій противъ Венесуэлы, таковъ длинный рядъ внѣшнихъ успѣховъ Англіи за истекшій годъ. Это возрождающееся международное значеніе Англіи, прокладывающее ей дорогу къ гегемоніи надъ европейски цивилизованнымъ человѣчествомъ, представляется третьимъ крупнымъ фактомъ международной исторіи и находится въ тѣсной генетической связи съ другими двумя (возобновленіемъ трояственнаго союза и покореніемъ буровъ).

Здѣсь мы только-что перечислили важнѣйшія событія международной исторіи 1902 года. На нѣкоторыхъ остановимся дольше. Въ концѣ 1902 года Франція подписала торговый договоръ съ Египтомъ, тогда какъ до сихъ поръ упорно сохраняла въ силѣ договоръ 1867 года, подписанный за Египетъ еще Турціей, какъ сюзеренной державой. Съ тѣхъ поръ произошли столь крупныя измѣненія въ торгово-промышленныхъ отношеніяхъ странъ міра, что сохраненіе договора 1867 года было убыточно для Франціи, но теперь негосипровать надо было не съ турко-египтянами, а съ англо-египтянами, иначе говоря, надо было признать, что политическое положеніе Египта измѣнилось и что Англія замѣнила собою Турцію. Двадцать лѣтъ Франція не хотѣла этого признавать и терпѣла потери. Теперь, когда успѣшный исходъ бурской

войны, союзъ съ Японіей, дружба съ Соединенными Штатами, заискиванія Германіи и престижъ успѣховъ упрочили положеніе англичанъ и въ Египтѣ, французы рѣшились, хотя косвенно, признать новое положеніе вещей въ Египтѣ. Германія, Италія, Австрія сдѣлали это гораздо раньше. Теперь только одна Россія регулируетъ свои экономическія отношенія къ Египту на основаніи старыхъ договоровъ, заключенныхъ съ турками.

Франко-сіамское соглашеніе, заключенное между Делькассэ и сіамскимъ посланникомъ въ Парижѣ, состоитъ въ улаженіи пограничныхъ споровъ. Переговоры велись все время подъ бдительнымъ контролемъ Англіи, такъ какъ сіамское правительство обязало своего посла сноситься обо всемъ съ лондонскимъ правительствомъ. Въ результатъ вышелъ договоръ объ обмѣнѣ территорій. Договоръ встрѣтилъ самую живую оппозицію и въ палатѣ, и въ сенатѣ, и среди лѣвыхъ, и среди правыхъ парламента вслѣдствіе общаго сомнѣнія, что онъ невыгоденъ для Франціи, но очень выгоденъ для Англіи. Договоръ еще не ратификованъ и возможно, что и не будетъ ратификованъ, но, заручившись покровительствомъ Англіи, Сіамъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, можетъ бравировать французскія притязанія.

Кромѣ перечисленныхъ, международное значеніе имѣютъ еще: возобновленіе австро-румынской конвенціи на случай войны съ Россіей, отдаленіе Сербіи отъ Россіи и приближеніе ея къ Австріи; торжество лѣвыхъ въ Даніи, выводящее эту страну изъ числа активныхъ силъ европейскаго равновѣсія,—все факты, благопріятные тройственному союзу. Въ концѣ этой эволюціи 1902 года является уже упомянутое англо-германское соглашеніе противъ Венесуэлы. Убытки, понесенные англичанами и нѣмцами во время междоусобія, послужили тому поводомъ. Въ высшей степени важно, не есть ли это первый шагъ объединенія въ одномъ планѣ дѣйствія двухъ международныхъ комбинацій, тройственного союза (уже есть извѣстіе, что Италія вступаетъ въ дѣло противъ Венесуэлы) и англо-саксонскаго (Соединенные Штаты воздерживаются отъ вмѣшательства въ защиту доктрины Монроэ)? Случайное ли это совпаденіе русла двухъ отдѣльныхъ международныхъ теченій, или начало ихъ объединенія, призванъ объяснить наступающій 1903 годъ.

Совершенно обособленно отъ изложенныхъ международныхъ событій стоятъ: попытка американскаго правительства заступиться за румынскихъ евреевъ и попытка болгаръ обратить вниманіе народовъ на бѣдственное положеніе македонянъ. Не связанные съ общою эволюціей международныхъ дѣлъ, эти начинанія не могли имѣть успѣха. Заступничество за румынскихъ евреевъ повело только къ усугубленію ихъ угнетенія. Будетъ-ли болѣе того достигнуто въ Македоніи? Впрочемъ, эта забота не завершена въ 1902 году и передается его преемнику.

II.

Международная исторія, глубоко вліяющая и на внутреннюю исторію отдѣльныхъ націй, сама въ свою очередь поконитъ на внутреннемъ состояніи націй, принимающихъ въ ней участіе. Внутренняя исторія націй за послѣднія три десятилѣтія XIX вѣка представляла довольно печальную картину реакціи, выразившейся преимущественно въ развитіи націонализма. Не мудрено, если и внѣшняя международная исторія, отражая это внутреннее развитіе, была націоналистскою, полною недовѣрія и соперничества, угрозы и вражды. Слегка набросанная нами картина международной исторіи 1902 года является прямымъ продолженіемъ послѣднихъ десятилѣтій XIX в., да иначе и не могло быть. Если бы нѣкоторая перемѣна и сказала въ внутреннемъ состояніи руководящихъ націй, она только позднѣе можетъ сказаться и въ международныхъ дѣлахъ. Посмотримъ же теперь на внутреннюю исторію народовъ.

То преобладающее значеніе, которое теперь пріобрѣла Англія, естественно именно на ней останавливаетъ и наше вниманіе прежде всего. Она побѣдила буровъ: это событіе, столь глубоко знаменательное въ международной исторіи, имѣетъ огромное значеніе и въ національной британской исторіи. Оно укрѣпило и дало новую силу „имперіализму“. Успѣхъ всегда, на долго-ли, нѣтъ-ли, укрѣпляетъ положеніе побѣдителя. Въ международной жизни побѣдителемъ явилась Англія, и ея положеніе, значеніе и сила возрасли и укрѣпились. Внутри Англіи побѣдителемъ явился имперіализмъ, и его положеніе, значеніе и сила не могли не получить значительной поддержки и опоры въ фактъ успѣха имперіалистской программы. Совѣщаніе министровъ автономныхъ колоній явилось важнѣйшимъ выраженіемъ этого возросшаго значенія имперіализма. Правда, программа Чемберлена въ ея цѣломъ не была одобрена, но все же многое достигнуто. Такія, сами по себѣ могущественныя колоніи, какъ Австралія и Канада, обязались содержать регулярное войско, милицію и береговой флотъ и предоставили эти силы въ распоряженіе имперіи; на флотъ дальняго плаванія предполагается дать субсидію центральному правительству. Менѣе значительныя колоніи приняли еще болѣе выгодныя для Англіи обязательства. Установлены и нѣкоторыя экономическія соглашенія. Словомъ, „имперія“, включившая въ лицѣ Оранже и Трансваала, новаго члена, становится не миеомъ, а сама Англія растетъ вновь организуемою силою колоній. Повѣзка Чемберлена въ Южную Африку должна продолжить собою начатое въ 1902 году дѣло и подготовитъ возникновеніе новаго, вѣрнаго имперіи, богатаго и могущественнаго сочлена.

Если Англія сумѣетъ рѣшить эту далеко не легкую задачу, то еще укрѣпится извнѣ и еще болѣе укрѣпить у себя даже значеніе и силу имперіалистской партіи.

Имперіалистская Англія, стоящая нынѣ у власти, состоитъ изъ консерваторовъ и такъ называемыхъ либераловъ-уніонистовъ, отдѣлившихся отъ Гладстона въ 1886 году и съ тѣхъ поръ почти позабывшихъ о либерализмѣ. Это забвеніе очень ярко сказалось въ ихъ отношеніи къ биллю о народномъ образованіи, внесенному главою консерваторовъ Бальфуромъ. Билль носитъ яркоклерикальный характеръ и возбудилъ негодованіе всѣхъ просвѣщенныхъ людей Англіи, но это не помѣшало Чемберлену и его единомышленникамъ дружно поддержать реакціонный законопроектъ, который сталъ уже закономъ.

Судьба несчастной Ирландіи была особенно печальна въ отчетномъ 1902 году. Уже восемь лѣтъ власть находится безсмѣнно въ рукахъ враговъ Ирландіи и угнетеніе фермеровъ ландлордами не находило отпора со стороны правителей. Дѣло окончилось аграрнымъ движеніемъ, охватившимъ три четверти несчастной страны и не обошедшимся безъ серьезныхъ столкновеній и безпорядковъ. Это дало основаніе для правительства объявить Ирландію внѣ гарантіи конституціи и ввести исключительные законы, передавшіе судебныя функціи въ руки администраціи и объявившіе чисто-драконовскія взысканія за все, что можетъ не понравиться чиновникамъ или ландлордамъ. Въ нашихъ хроникахъ въ теченіе года мы приводили вопіющие примѣры подобной расправы. Дополненіемъ и увѣнчаніемъ этого угнетенія явился отказъ парламента удѣлить хоть сколько-нибудь времени для обсужденія положенія Ирландіи. Либеральное меньшинство оказалось совершенно безсильнымъ въ этомъ случаѣ, какъ и въ дѣлѣ школьнаго билля. Однако, и безславное отношеніе къ Ирландіи, и особенно клерикальная реакція, выразившаяся въ школьномъ биллѣ Бальфура, производятъ очень серьезное впечатлѣніе на англійскихъ избирателей, слишкомъ культурныхъ, чтобы покорно слѣдовать всякому новому курсу, избранному лидерами. Это уже и начинаетъ сказываться не только въ болѣе и болѣе смѣлыхъ рѣчахъ ораторовъ оппозиціи, но и въ нѣкоторыхъ фактахъ народной жизни, въ постановленіяхъ рабочихъ союзовъ, на частныхъ дополнительныхъ выборахъ и особенно въ состоявшихся въ октябрѣ муниципальных выборахъ. Въ прошлой хроникѣ мы уже отмѣтили, что хотя консерваторы и уніонисты и удержали численное преобладаніе, но все же потеряли много мѣстъ и можно констатировать, что общественное мнѣніе страны сдѣлало нѣкоторое движеніе влѣво.

Улита ѣдетъ, когда-то будетъ. Либералы нѣсколько усиливаются, но когда-то восторжествуютъ. Покуда же имперіалисты и націоналисты владѣютъ судьбами европейскихъ англо-саксовъ.

Тожѣ слѣдуетъ сказать и объ англо-саксахъ американскихъ. ■ тамъ (см. нашу послѣднюю хронику) октябрскіе законодательные выборы обнаружили движеніе избирательнаго корпуса влѣво, но и тамъ покуда власть крѣпко сидитъ въ рукахъ имперіалистовъ. И такъ улита еще ѣдетъ... Въ высшей степени знаменательно констатировать, что и европейская и американская англо-сакская улита, всетаки, ѣдетъ, а не ждетъ гдѣ-то за тридцать земель прибытія тридцати тысячъ курьеровъ. Ни въ чемъ, быть можетъ, не сказывается такъ ярко высокая культурность Англіи и Соединенныхъ Штатовъ, какъ въ этомъ фактѣ, что въ самый разгаръ упоенія успѣхами и торжествами имперіалистской программы ея противники, хотя и медленно, отвоевываютъ общественное мнѣніе и колеблютъ имперіализмъ въ его основаніяхъ. Не невозможно, что и продолженіе внѣшнихъ успѣховъ имперіализма будетъ сопровождаться этимъ ростомъ болѣе высокихъ и гуманныхъ идей его противниковъ. Это была бы прекрасная картина, достойная великой англо-саксонской націи и способная упрочить ея нравственное преобладаніе въ мірѣ.

Эта картина вѣроятное достояніе будущаго, быть можетъ, и не очень далекаго... Пока же приходится сказать, что голосъ не только Англіи, но и Соединенныхъ Штатовъ подается въ международныхъ дѣлахъ не за ослабленіе, а во славу націонализма и всяческихъ отсюда берущихъ свое начало политическихъ программъ насилія, угнетенія, вражды.

III.

Нельзя сказать, чтобы этотъ голосъ звучалъ одиноко. Великая германская нація въ 1902 году работала въ томъ же направленіи. Ея исторія была далеко не такая разносторонняя, какъ англо-саксонская. Сосредоточенная въ 1902 году почти исключительно на огромной экономической борьбѣ вокругъ законопроекта о таможенномъ тарифѣ, германская государственная и общественная жизнь этого года собрала здѣсь, какъ въ фокусѣ, всѣ свои силы и дала очень характерные портреты своей политической фizioноміи.

На этихъ страницахъ мы уже два раза говорили объ этихъ дѣлахъ, и теперь снова укажемъ на ихъ характерныя особенности, потому, во-первыхъ, что безъ этого нельзя обойтись при обзорѣ года, и потому, во-вторыхъ, что окончаніе дѣла, еще нами на этихъ страницахъ не отмѣченное, бросаетъ своеобразный свѣтъ на весь ходъ и исходъ этого кардинальнаго германскаго вопроса, важнаго не для однихъ нѣмцевъ.

Нельзя отрицать факта, что германская сельско-хозяйственная промышленность, какъ она сложилась къ нашему времени, переживаетъ серьезный кризисъ. Причины тому очень глубокія,

широко распространенныя, можно сказать, всемірно-историческія. Въ теченіе приблизительно четверти вѣка мы наблюдаемъ повсемѣстное паденіе цѣнъ на сельско-хозяйственные продукты, на зерновой хлѣбъ и на мясо въ особенности. Если-бы это обуславливалось ростомъ техники сельско-хозяйственной, то это было-бы нормально и никакого кризиса не вызывало бы. Правда, сельско-хозяйственная техника сдѣлала крупныя успѣхи и продолжаетъ дѣлать все новыя и новыя успѣхи. Правда, этотъ сельско-хозяйственный прогрессъ проявился особенно значительно именно въ Германіи. Однако, паденіе цѣнъ на сельско-хозяйственные продукты далеко опередило успѣхи техники, такъ что даже самое усовершенствованное хозяйство приноситъ теперь въ старо-культурныхъ странахъ дохода значительно менѣе, чѣмъ тридцать-сорокъ лѣтъ тому назадъ приносили гораздо болѣе отсталыя хозяйства. Этотъ кризисъ въ странахъ старо-культурныхъ объясняется, прежде всего, широкимъ распространіемъ сельско-хозяйственной культуры въ странахъ, недавно почти не участвовавшихъ во всемірномъ обмѣнѣ. Обширныя дѣйствительныя территоріи Сѣверной и Южной Америки, Австраліи, сѣверной Азии, Южной Африки нынѣ разработаны и продолжаютъ разрабатываться подъ земледѣліе, продолжая вмѣстѣ съ тѣмъ прокармливать безчисленныя стада домашнихъ животныхъ. Повсемѣстное проложеніе усовершенствованныхъ путей сообщенія, широкое, какъ никогда раньше, пользованіе водными путями, прогрессъ техники транспорта продуктовъ сохранными и неиспорченными, все это выбросило и продолжаетъ выбрасывать на всемірный рынокъ все большее и большее количество дешеваго земледѣльческаго и скотоводческаго продукта. Дешевъ этотъ продуктъ и потому, что земля сельскихъ хозяевъ не оплачивается или мало оплачивается (рента отсутствуетъ, или почти отсутствуетъ въ цѣнѣ продукта), и потому, во-вторыхъ, что дѣйствительная почва даетъ отличные урожаи, и потому, въ третьихъ, что эта почва покамѣстъ не требуетъ затратъ въ хозяйство капиталовъ на удобрения и другія меліораціи (прибыль на эти капиталы также отсутствуетъ въ цѣнѣ продукта). Естественно, если страны, въ которыхъ въ цѣну продукта надобно включать и высокую ренту, и прибыль на значительныя капиталы, не могутъ производить по той дешевой цѣнѣ, по которой доставляютъ продукты заморскія страны съ молодою культурою. Чтобы конкурировать, надо отказаться отъ ренты или сильно ее уменьшить, а капиталы затрачивать съ большою осторожностью, съ такимъ расчетомъ, чтобы сбереженія, получаемыя на рабочей силѣ, или доходы, возрастающіе отъ роста урожайности или отъ возвышенія качества продуктовъ, по меньшей мѣрѣ покрывали необходимую минимальную прибыль на затраченный капиталъ. Эти два условія (отказъ отъ ренты и осторожная затрата на меліораціи)

можетъ еще соблюсти мелкое землевладѣніе, гдѣ сами владѣльцы собственноручно воздѣлываютъ свои участки. Что касается крупнаго и средняго землевладѣнія, сдающаго-ли земли въ аренду, или ведущаго на ней капиталистическое хозяйство, то эти два условія являются тяжелымъ ударомъ. Рента составляетъ для этого класса (въ Германіи получившаго названіе аграріевъ) главную составную часть дохода, а меліораціи большею частью уже сдѣланы, для чего помѣстья обременены долгами, требующими ежегодныхъ значительныхъ платежей.

Широкое распространеніе сельско-хозяйственной культуры въ странахъ, только въ послѣднее десятилѣтіе приобщившихся или приобщающихся къ всемірному обмѣну, сопровождалось и другими важными экономическими метаморфозами. Распространеніе культуры и могло получить такое возрастаніе лишь при условіи колонизаціи, во-первыхъ, и вышеупомянутаго развитія путей сообщенія и техники транспорта, во-вторыхъ. Послѣднее нужно было для вывоза продуктовъ, но послужило и для ввоза. Эти рынки закупки сырья стали вмѣстѣ съ тѣмъ и рынками сбыта продуктовъ обрабатывающей промышленности изъ странъ старокультурныхъ. Нигдѣ нельзя произвести дешевле этихъ продуктовъ, какъ въ старокультурныхъ странахъ. Нигдѣ нельзя добыть дешевле сельско-хозяйственные продукты, какъ въ странахъ новокультурныхъ. Установленіе обмѣна въ этомъ направленіи выгодно обѣимъ сторонамъ. Въ старокультурныхъ странахъ оно наноситъ ущербъ крупному сельскому хозяйству. Мелкія-же, теряя на продажной цѣнѣ своихъ продуктовъ, выигрываютъ на покупной цѣнѣ фабрикатовъ, дешевѣющихъ вмѣстѣ съ удешевленіемъ жизненныхъ припасовъ. *При незначительности* государства, эти потери и выгоды должны приблизительно уравнивать другъ друга и *въ такомъ случаѣ*, принимая во вниманіе и вышесказанное о рентѣ и капитальныхъ затратахъ на меліораціи, мелкая сельско-хозяйственная промышленность можетъ и должна избѣжать всякаго кризиса, а освобожденная отъ всегда ее угнетающаго давленія все возрастающей распри, могла и даже должна бы обрѣсти новые ресурсы для развитія. Такимъ образомъ, установленіе всемірнаго обмѣна грозило и грозитъ серьезнымъ кризисомъ лишь крупному сельскому хозяйству и рентьерамъ. Оно благопріятно росту и процвѣтанію обрабатывающей промышленности. Оно по меньшей мѣрѣ не вредитъ мелкому крестьянскому сельскому хозяйству. Оно наноситъ тяжелый ударъ классамъ, живущимъ земельною рентою и крупной капиталистической сельско-хозяйственной промышленностью. Для „аграріевъ“ (въ нѣмецкомъ смыслѣ этого слова) кризисъ, конечно, очень серьезный, но, при прочихъ нормальныхъ условіяхъ, кризисъ этотъ не можетъ распространяться ни на обрабатывающую промышленность, ни на народное сельское хо-

зайство, ни на торговлю, ни на финансы. Это отнюдь не национальный и даже не промышленный кризисъ, а только убытки одного класса, вызванные общимъ экономическимъ прогрессомъ, какъ нѣкогда такіе-же убытки терпѣли рабовладѣльцы, собственники монополій, цеховые мастера, цѣлыя торговыя націи (какъ венеціанцы и генуэзцы послѣ открытія морского пути въ Индію) и какъ терпятъ такіе-же убытки и потери многіе милліоны кустарей.

Остановить экономическій прогрессъ всего міра довольно затруднительно, но сдѣлать попытку остановить экономическій прогрессъ въ собственной странѣ съ цѣлью избавить отъ убытковъ аграріевъ, осужденныхъ всемірнымъ экономическимъ прогрессомъ, это, конечно, возможно. Это и началъ въ Германіи еще Бисмаркъ, тлетворная рука котораго видна въ современной Германіи въ каждомъ недобромъ и антинародномъ дѣлѣ. Императоръ Вильгельмъ II и другіе окружающіе его эпигоны только продолжаютъ дѣло, поставленное на очередь великимъ Бисмаркомъ. Онъ первый въ мірѣ, послѣ отмѣны хлѣбныхъ законовъ въ Англіи, обложилъ жизненные продукты ввозною пошлиною, изъ-за чего вступивъ въ горячую таможенную борьбу съ Россіей, нанесъ и ей, и Германіи немало убытковъ и потерь. Каприви покончилъ съ этою борьбою и, понизивъ нѣкоторыя ставки, заключилъ торговые договоры съ странами, ввозящими въ Германію сельско-хозяйственные продукты (главнымъ образомъ, Россія, Австрія, Италія, балканскія земли). И по тарифу Каприви, сельское хозяйство Германіи получило таможенное покровительство въ размѣрѣ приблизительно 40—45 коп. на пудъ, на такую же сумму поднимая цѣну хлѣба и стоимость пропитанія. Теперь этого не хватаетъ для аграріевъ, и правительство, всегда опиравшееся именно на этотъ классъ, посѣвшило навстрѣчу его желаніямъ. Оно внесло, еще около года тому назадъ, новые законопроекты полного таможенного тарифа, гдѣ защита сельскаго хозяйства отъ иностранной конкуренціи почти удваивалась. Аграріи нашли, однако, это недостаточнымъ и, соединившись съ клерикалами, образовали ультраконсервативное большинство, потребовавшее не удвоенія, а приблизительно утроенія таможенныхъ пошлинъ на продукты сельскаго хозяйства. Вокругъ этихъ-то двухъ проектовъ и кипѣла ожесточенная борьба, завершившаяся компромиссомъ лишь на дняхъ, въ декабрѣ 1902 года.

Въ октябрьской хроникѣ мы подробно изложили ходъ этой борьбы, коалиціи партій, столкновение правительства и реакціоннаго большинства рейхстага, первые вотумы. Этими голосованіями первыя статьи таможенного законопроекта были приняты въ редакціи, предложенной аграріями и оспариваемой правительствомъ. За принятія статьи голосовали — консерваторы, имперская пар-

тія, центръ, антисемиты, поляки, а противъ—національ-либералы, союзъ свободомыслящихъ, свободомыслящая партія, южно-германская народная партія, социаль-демократы и эльзасъ-лотарингцы. Въ томъ же духѣ продолжалось обсужденіе и голосованіе другихъ статей. Было совершенно ясно, что большинство сумѣетъ провести весь свой проектъ, но являлся вопросъ, не оставитъ-ли правительство этотъ оспариваемый имъ проектъ безъ утвержденія и хватитъ-ли времени довести до благополучнаго конца обсужденіе законопроекта въ виду того, что весною истекаетъ срокъ полномочіймъ настоящаго рейхстага, а къ концу октября едва прочли во *второмъ чтеніи* первый десятокъ статей изъ нѣсколькихъ сотъ, предстояло же еще *третье чтеніе*, да многочисленныя очередныя дѣла. При внимательномъ обсужденіи каждой статьи и не забрасывая всѣхъ другихъ очередныхъ дѣлъ, времени для третьяго чтенія могло и не хватить. Правительству не приходило бы входить въ столкновеніе съ большинствомъ парламента, и дѣло перешло бы на судъ избирателей.

Многіе предполагали, что таковъ именно будетъ исходъ этого дѣла и многіе желали его, какъ наиболѣе правильнаго и какъ предоставляющаго самой націи рѣшить этотъ ее столь близко и столь больно касающійся вопросъ. Въ числѣ этихъ многихъ не могло быть прусское правительство. Въ ихъ числѣ не могли быть и аграріи. Прусское правительство могло отъ выборовъ ожидать или побѣды, или пораженія аграріевъ. Побѣда аграріевъ была бы, при тѣхъ обстоятельствахъ, пораженіемъ правительства, а пораженіе аграріевъ было бы побѣдою либераловъ и социалистовъ, т. е. опять-таки пораженіемъ правительства. Аграріи тоже не могли быть увѣрены въ побѣдѣ, потому что ихъ прочное парламентское большинство образовалось, благодаря коалиціи съ католическимъ центромъ въ его полномъ составѣ, при чемъ совершенно неизвѣстно, какъ отнеслись бы къ этой коалиціи католическіе избиратели, въ составѣ которыхъ довольно значительный контингентъ либеральныхъ элементовъ. Все это побуждало и правительство, и реакціонное большинство рейхстага искать компромисса. Ноябрь былъ наполненъ этими закулисными переговорами. Правительство согласилось: принять для ячменя, идущаго на пивовареніе, повышенную ставку, сообразно проекту аграріевъ, сохранивъ для ячменя, негоднаго на пивовареніе, ставку правительственнаго проекта; повысить незначительно нѣкоторые другія ставки; и понизить пошлину на нѣкоторые товары, нужные въ сельскомъ хозяйствѣ. Въ остальномъ уступили аграріи и соглашеніе состоялось.

Тотъ же ноябрь, который за кулисами выработалъ компромиссъ, въ парламентѣ вполнѣ выяснилъ невозможность привести обсужденіе къ желанному концу до истеченія срока полномочій.

Оппозиція, и либералы, и социалисты, не оставляли безъ тщательнаго обсужденія ни одной статьи и затѣмъ требовали поименнаго голосованія. Хотя всѣ остальные очередныя дѣла были заброшены и всѣ засѣданія рейхстага были посвящены исключительно таможенному законопроекту, въ теченіе мѣсяца дѣло мало подвинулось. Къ тому же, утомляемые безконечными засѣданіями, депутаты часто оказывались не въ комплектѣ, и засѣданія ничѣмъ не кончались, время терялось. Правда, законопроектъ касался самыхъ жизненныхъ интересовъ націи, и можно было ему отвести достаточное для тщательнаго обсужденія время. Вѣроятно, не имѣя въ перспективѣ истеченія срока полномочій, большинство и помирилось бы съ такимъ промедленіемъ, но весенніе выборы, необходимость раньше покончить съ этимъ столь лакомымъ для аграріевъ дѣломъ, и невозможность это сдѣлать при нормальномъ законномъ веденіи дѣла, побудили большинство на незаконное ускореніе. По предложенію Кардорфа, внесшаго компромиссныя измѣненія, было принято, что обсужденія *по статьямъ* не будетъ, а только общее. Конституція требуетъ голосованія по статьямъ, а голосованіе всегда и всюду должно происходить послѣ обсужденія, если противное не оговорено въ законѣ. Противное не оговорено въ законѣ, но большинство сочло возможнымъ устранить обсужденіе по статьямъ, и голосовать статьи безъ обсужденія. Это явное беззаконіе вызвало бурю на скамьяхъ оппозиціи, но большинство, усиленное теперь національ-либералами (они были за правительство, и теперь, когда рѣчь шла о компромиссномъ проектѣ, присоединились къ реакціонерамъ), не обратило вниманія на эти законные протесты. При такомъ ускоренномъ производствѣ, второе и третье чтеніе были покончены въ нѣсколько засѣданій (одно продолжалось 14½ часовъ), и раньше начала праздничныхъ вакацій новый таможенный тарифъ былъ принятъ рейхстагомъ, а затѣмъ и союзнымъ совѣтомъ, и, такимъ образомъ, сталъ закономъ. Правительство заявило свое полное удовольствіе, а императоръ осыпалъ наградами и милостями канцлера Булова, министра Посадовскаго и другихъ дѣятельныхъ участниковъ этого событія.

Послѣдствія этого событія въ общихъ чертахъ ясны. Доходы аграріевъ спасены. Крестьяне, исключительно на своихъ собственныхъ земляхъ хозяйничающіе, тоже увеличатъ свои доходы, но пропорціонально увеличатъ и расходы вслѣдствіе вздорожанія продуктовъ собственной промышленности. Крестьяне, ведущіе хозяйство на арендованной землѣ или принаймающіе землю въ дополненіе къ своей, не только увеличатъ расходы, благодаря дорожанію покупаемыхъ ими фабрикатовъ, но приплатятъ еще и на арендной платѣ и, несомнѣнно, окажутся въ убыткѣ. Рабочіе должны будутъ дороже оплачивать всѣ жизненные припасы и,

слѣдовательно, или голодать, или получить высшую заработную плату. Въ дѣйствительности, должно произойти среднее: рабочіе ограничатъ свое потребление, хотя и получать нѣкоторую прибавку. Рабочіе, слѣдовательно, понесутъ значительные убытки (и съ другой еще стороны, какъ увидимъ ниже); понесутъ убытки и предприниматели. Они будутъ сырье покупать дороже, рабочимъ платить больше, а поднять въ такой же мѣрѣ цѣну продуктовъ они смогутъ лишь для внутренняго рынка; для заграничныхъ же тому помѣшаетъ конкуренція другихъ старокультурныхъ странъ. Надо не забывать, что страны, на сельскіе продукты которыхъ теперь везвышается нѣмцами пошлина, могутъ поднять въ свою очередь пошлину на нѣмецкіе фабрикаты и тѣмъ сократить ихъ сбытъ. Сокращеніе сбыта влечетъ сокращеніе производства, сокращеніе числа рабочихъ, пониженіе заработной платы, сокращеніе торговли, сокращеніе транспорта, при общемъ вздорожаніи и жизненныхъ припасовъ, и промышленныхъ издѣлій. Если бы новый таможенный тарифъ дѣйствовалъ изолированно, все это обнаружилось бы очень скоро и въ полной мѣрѣ. Но жизнь современной націи очень сложна. Колоніальныя успѣхи, геній изобрѣтательности, ошибки сосѣдей и пр., и пр. будутъ вліять на нѣмецкую экономическую исторію въ разныя стороны. Однако, вліяніе новаго таможеннаго тарифа будетъ сказываться именно въ только что намѣченномъ направленіи.

Таковы экономическія послѣдствія только что завершившейся политической борьбы, но она будетъ и должна имѣть и очень значительныя политическія послѣдствія. Борьба объединила всю правую (феодаловъ и клерикаловъ, до сихъ поръ ведшихъ свою отдѣльную политику, часто взаимно враждебную). Она объединила и лѣвыхъ (либераловъ и социалистовъ, до сихъ поръ прямо враждовавшихъ). Въ коалиціи остались только національ-либералы, давно уже по морю житейскому носимые парламентскими зефирами безъ руля и безъ опредѣленной цѣли. Объединеніе правыхъ и объединеніе лѣвыхъ, повидимому, сохранится и на выборахъ будущаго года, что, если состоится, очиститъ политическую атмосферу Германіи отъ тѣхъ мелкихъ фракцій, на которыя дробится парламентъ и которыя такъ запутываютъ и затемняютъ парламентскую жизнь. Что въ средѣ лѣвыхъ (либераловъ и социалистовъ) готовится такой избирательный союзъ, обнаружилось послѣднее собраніе союза свободомыслящихъ и особенно воззваніе, обнародованное Моммзеномъ, очень умѣреннымъ либераломъ, не чуждымъ націонализма. Это воззваніе, клеймя въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ коалицію правыхъ, горячо рекомендуетъ союзъ либераловъ и социалистовъ.

Таможенный тарифъ былъ главнымъ вопросомъ германской государственной и общественной жизни въ истекшемъ году. Изъ другихъ вопросовъ слѣдуетъ назвать преслѣдованія поляковъ въ

восточно-пруссских провинційхъ и новые кредиты на увеличеніе флота, факты не изъ отрадныхъ, хотя вышеуказанное сближеніе всѣхъ лѣвыхъ для борьбы съ этимъ режимомъ позволяетъ надѣяться на просвѣтленіе германской политической жизни.

IV.

Въ тѣсной взаимозависимости съ германскою исторіей находится исторія австрійская, которая въ 1902 году была очень небогата фактами, а фактами отрадными и совсѣмъ не порадовала мыслящее человѣчество. Фонъ-Керберъ и фонъ-Селль, стоявшіе во главѣ министерствъ двухъ половинъ монархіи годъ тому назадъ, стоятъ во главѣ этихъ министерствъ и теперь. Годъ тому назадъ они переговаривались о новомъ финансовомъ соглашеніи, „аусглейхъ“, и теперь о томъ же переговариваются. Цѣлый годъ переговоровъ не подвинулъ дѣла. Подробнѣе объ этомъ мы говорили въ октябрьской хроникѣ, а теперь лишь отмѣтимъ, что и два мѣсяца не подвинули дѣла. Принятіе въ Германіи новаго таможеннаго тарифа выдвигаетъ вопросъ о новомъ австро-германскомъ таможенномъ договорѣ, а для этого надо прежде заключить аусглейхъ. Время не терпитъ болѣе, но это уже задача будущаго года. 1902 годъ немного для этого сдѣлалъ.

Такой же застой видимъ мы и въ другихъ дѣлахъ Габсбургской монархіи. Чешско-нѣмецкая распря изъ-за языка въ земляхъ чешской короны тоже, какъ и аусглейхъ, передается 1903 году, въ такомъ же видѣ, въ какомъ 1901 годъ оставилъ ее въ наслѣдство 1902 году. Были переговоры, и очень оживленные. Составлялись конференціи и совѣщанія разныхъ партій, но до сихъ поръ все безъ всякаго результата. Чехи желаютъ, чтобы на протяженіи всей территоріи земель чешской короны (Богемія, Моравія и австрійская Силезія) оба языка, чешскій и нѣмецкій, были признаны равноправными и оба считались бы государственными. Нѣмцы на это не соглашаются. Одни изъ нихъ желаютъ раздѣленія территоріи на округа съ преобладаніемъ чешскаго или съ преобладаніемъ нѣмецкаго языка и въ первыхъ, даровать равныя права нѣмецкому и чешскому языкамъ, а во вторыхъ, только нѣмецкому. Другіе нѣмцы нигдѣ не соглашаются даровать чешскому языку равноправность, требуя нѣмецкому языку всюду права государственнаго языка, а чешскому предоставляя нѣкоторыя права въ школахъ и судахъ. Таково положеніе дѣлъ уже многіе годы. Оно не измѣнилось и въ истекающемъ году.

Задержка съ аусглейхомъ остановила экономическое и финансовое законодательство обѣихъ половинъ монархіи. Задержка съ чешско-нѣмецкимъ соглашеніемъ приостановила всякую законодательную дѣятельность австрійской половины, вслѣдствіе того,

что то нѣмцы, то чехи прибѣгаютъ къ обструкціи (по просту безпорядкамъ), смотря по тому, на чью сторону склоняется правительство. Этотъ разнузданный націонализмъ парализуетъ политическую жизнь страны и ничего, кромѣ горя и бѣдствія, не готовитъ несчастнымъ племенамъ, давно омраченнымъ дикою нетерпимостью и взаимною ненавистью. Это одичаніе ярко сказалось на происходившихъ въ октябрѣ 1902 года выборахъ въ ниже-австрійскій ландстагъ, на которыхъ восторжествовали даже антисемиты.

Такая же дикая взаимная вражда и нетерпимость руководить и исторіей сосѣднихъ Австро-Венгріи племенъ, населяющихъ Балканскій полуостровъ. И здѣсь эти племена, призванные жить вмѣстѣ и вмѣстѣ дѣлать исторію, занимаются только тѣмъ, что стараются другъ другу мѣшать и вредить на горе еще не освобожденнымъ единоплеменникамъ и къ удовольствію крупныхъ хищниковъ, ожидающихъ добычу. По поводу македонскихъ дѣлъ мы этого вопроса подробнѣе коснулись въ прошедшей ноябрьской хроникѣ.

Начавъ наше обозрѣніе съ крайняго сѣверо-запада Европы, мы подвигались постепенно на юго-востокъ и закончили крайнимъ юго-востокомъ. Всюду мы нашли господство реакціи въ формѣ имперіализма, аграризма, націонализма и пр. Формы различныя, но сущность одна и та же: національная исключительность и господство интересовъ богатыхъ классовъ. Формы эти наиболѣе тяжелыя на юго-востокѣ, у балканскихъ племенъ, постепенно смягчаются съ движеніемъ къ сѣверо-западу черезъ Австрію и Германію къ Англіи и вмѣстѣ съ тѣмъ въ этомъ же направленіи растетъ и значеніе антинаціоналистской оппозиціи, совершенно ничтожной въ Австріи, уже поднимающей голову въ Германіи, сильной и сплоченной въ Англіи и Штатахъ. Здѣсь можно разсчитывать на болѣе или менѣе близкое торжество антинаціоналистской оппозиціи. Этого торжества уже достигъ антинаціонализмъ во Франціи, что такъ ярко сказалось на законодательныхъ выборахъ весною 1902 года, а затѣмъ въ энергичекой политикѣ французскаго правительства.

Годъ тому назадъ у власти стояло уже антинаціоналистское, но умѣренное министерство Вальдека Руссо, успѣвшее уже справиться съ попыткой націоналистскаго переворота и приступившее къ борьбѣ съ клерикалами. Это умѣренное министерство опиралось въ палатѣ на колеблющееся большинство 20—40 головъ, такъ называемыхъ тогда „министерскихъ республиканцевъ“, нынѣ принявшихъ имя *демократовъ* и выдѣлившихся въ особую парламентскую группу. То обстоятельство, что тогда они еще не выдѣлились изъ обширной группы „республиканцевъ“, большинство которыхъ было враждебно министерству, и было причиною постоянныхъ колебаній числа голосовъ за министерство.

На выборах пришлось, однако, выдѣлиться. Антиминистерскіе республиканцы назвались прогрессистами, а самые консервативные изъ нихъ либералами. „Министерскіе“ же республиканцы такъ и отмѣтили себя, какъ сторонники министерства. Они вошли въ соглашеніе съ радикалами и социалистами и составили союзъ лѣвыхъ. Союзъ правыхъ составилъ изъ монархистовъ, клерикаловъ и націоналистовъ. „Прогрессисты“ остались внѣ коалицій, хотя одно время и вели переговоры съ правыми о соглашеніи. Извѣстно, что блистательную побѣду одержалъ союзъ лѣвыхъ, послѣ чего колеблющееся министерское большинство превратилось въ прочное и сильное большинство, одобрившее политику Вальдека Руссо и передавшее продолженіе этой антинаціоналистской политики въ болѣе рѣшительныя руки радикальнаго министерства Комба съ широкою реформаторскою программой: свѣтское образованіе, двухлѣтній срокъ военной службы, подоходный налогъ, выкупъ важнѣйшихъ желѣзныхъ дорогъ, энергическое примѣненіе закона о конгрегаціяхъ. Палата одобрила эту программу, поддержала на первыхъ же порахъ министерство въ его антиклерикальной, въ самомъ дѣлѣ энергической политикѣ, и отсрочила засѣданія до осени. Въ это же время сенатъ одобрилъ законопроектъ о двухлѣтнемъ срокѣ военной службы.

Парламентскія вакаціи были наполнены рѣшительною борьбою министерства съ клерикалами и націоналистами. Закрытіе нѣсколькихъ тысячъ школъ, содержимыхъ и управляемыхъ конгрегаціями, вызвало отчаянное сопротивленіе со стороны клерикаловъ и націоналистовъ. Попытка уличной манифестаціи въ Парижѣ не удалась, подавленная контръ-манифестаціей народной массы. Сопротивленіе, оказанное населеніемъ въ Бретани и частью въ Савой, было сломлено. Нѣкоторые факты нарушенія военной дисциплины со стороны воспитанныхъ въ клерикальных школахъ офицеровъ были наказаны и устранены. Между тѣмъ, сессія генеральныхъ совѣтовъ снова обнаружила, что огромное большинство французовъ одобряютъ антиклерикальную и антинаціоналистскую политику радикальнаго министерства. По возобновленіи сессіи парламента (1 окт.), и палата, и сенатъ подтвердили это народное рѣшеніе и выразили одобреніе всѣмъ мѣропріятіямъ правительства, а затѣмъ приняли новый законъ о конгрегаціяхъ, усиливающихъ власть правительства. Нѣкоторые конгрегаціи, уступая требованіямъ закона, обратились теперь къ правительству за разрѣшеніемъ, но всѣ получили отказъ. Правительство изъявило намѣреніе внести законопроектъ, по которому вообще конгрегаціямъ, т. е. черному духовенству, должно быть воспрещено открытіе и содержаніе учебныхъ заведеній и участіе въ преподаваніи и управленіи и всякихъ другихъ училищъ. Отмѣна закона Фаллу (подробнѣе въ прошлой ноябрьской хроникѣ), уже внесенная министромъ народнаго просвѣщенія

Шомье на обсужденіе сената, дополняет собою эту многостороннюю и непреклонную борьбу съ клерикализмомъ, этою главною опорою и націонализма, и роялизма.

Торжество антинаціонализма во Франціи отразилось очень благоприятно въ Италіи, гдѣ еще въ 1901 году парламентскіе лѣвые тоже заключили союзъ и тѣмъ сдѣлали возможнымъ образованіе либеральнаго министерства Дзенарделли-Джолити. Сближеніе съ Франціей, ограниченіе вооруженій, миролюбивая политика, облегченіе налоговъ явились послѣдствіями этого событія. Однако, націонализмъ и клерикализмъ еще достаточно сильны въ Италіи и министерство очень стѣснено въ своихъ дѣйствіяхъ. Сила клерикализма особенно обнаружилась въ судьбѣ законопроекта о разводѣ. При такихъ условіяхъ многого ожидать отъ министерства невозможно, но важно уже то успокоеніе и внутри, и внѣ страны, которое внесло своею политикою министерство. Важно, что въ Италіи націонализмъ уже не торжествуетъ, уже не у власти.

Пораженіе націонализму нанесли и датскіе выборы въ ландетингъ, происходившіе въ октябрѣ 1902 года. Подробнѣе мы говорили о нихъ въ прошлой ноябрьской хроникѣ. Надо отмѣтить еще, какъ въ высокой степени отрадное событіе, соглашеніе между Швеціей и Норвегіей, устранившее многолѣтній конфликтъ, грозившій большими опасностями обоимъ родственнымъ народамъ. Норвегія требовала для себя самостоятельнаго министерства иностранныхъ дѣлъ и отдѣльнаго представительства во внѣшнихъ дѣлахъ. Швеція рѣшительно въ этомъ отказывала, настаивая на сохраненіи дипломатическаго единства. Король былъ на сторонѣ Швеціи, и Норвегія усиленно вооружалась, намѣреваясь, если понадобится, силою защищать свои права.

Въ настоящее время состоялось соглашеніе при взаимныхъ уступкахъ. Чисто дипломатическое представительство рѣшено сохранить общее шведо-норвежское, но корпусъ консуловъ (что наиболѣе важно для норвежцевъ, имѣющихъ по всему міру торговлю, несравненно болѣе значительную, чѣмъ шведы) имѣть отдѣльный шведскій, и отдѣльный норвежскій. Шведскій націонализмъ пошелъ, такимъ образомъ, на уступки, и братскіе народы избѣгнуть ненужной вражды, всегда питающей національную нетерпимость. Такимъ образомъ, Франція, Италія и скандинавскіе народы въ большей или меньшей степени нанесли довольно чувствительные удары клерикализму и націонализму, этимъ двумъ главнымъ тормазамъ прогресса, просвѣщенія и гуманности въ Европѣ.

Такова историческая картина, нарисованная истекающимъ 1902 годомъ: господство клерикализма и націонализма въ Англіи, Германіи, Австріи и на Балканскомъ полуостровѣ; ихъ пораженіе или ослабленіе во Франціи, Италіи и въ скандинавскихъ стра-

нахъ; энергичная борьба съ ними въ Англіи и Германіи; международное возвышеніе Англіи; возобновленіе тройственного союза и упроченіе двойственного. Хотя въ общемъ, эта картина далеко не изъ оградныхъ и свѣтлыхъ, но, окидывая ее однимъ взглядомъ и сравнивая съ тѣмъ, что было тому назадъ только годъ, мы должны сознаться, что 1902 годъ шелъ, быть можетъ, не епѣша, но твердо къ лучшему будущему, и сдѣлалъ въ этомъ направленіи нѣсколько немаловажныхъ шаговъ. Пожелаемъ, чтобы и 1903 годъ такъ же твердо двигалъ человѣчество по тому же пути ослабленія и, гдѣ можно, уничтоженія клерикализма и націонализма.

С. Южановъ.

Литература и жизнь.

Объ исторіи русской живописи г. Александра Бенуа и о современныхъ настроеніяхъ.

Недавно вышелъ въ изданіи товарищества „Знаніе“ второй томъ „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ“ г. Александра Бенуа. Мнѣ неизвѣстенъ первый томъ этого сочиненія, но лежащую передо мной книгу я прочиталъ съ величайшимъ интересомъ.

Прежде всего въ книгѣ меня поразило презрительное и вообще враждебное отношеніе автора къ литературѣ, насколько она влияла и влияетъ на русскую живопись, или даже насколько такъ или иначе русская живопись вообще сближается по своимъ задачамъ съ русской литературой. Можетъ быть, конечно, меня это поразило потому, что я самъ писатель, но думаю, что это должно броситься въ глаза каждому читателю, такъ какъ г. Бенуа ведетъ эту линію съ первыхъ же страницъ своей книги.

Пагинація второго тома „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ“ начинается съ 133 страницы, и уже на 136-й читаемъ: „Достаточно было одного толчка, чтобы Федотовъ съ безусловною ясностью увидалъ, въ чемъ именно его назначеніе. Великій знатокъ русской жизни помогъ ему разобраться въ самомъ себѣ. Крыловъ, первый начинатель всего истинно-русскаго движенія въ литературѣ, былъ такъ пораженъ и восхищенъ жизненностью и характерностью набросковъ и карикатуръ Федотова, что даже преодолѣлъ свою классическую лѣнь и написалъ ему письмо, которое, наконецъ, открыло Федотову глаза“.

Казалось бы, чего лучше? Писатель открылъ живописцу глаза на его настоящее назначеніе, литература оказала услугу живописи... Однако, это не такъ просто, какъ кажется поверхностному взгляду. Дѣло въ томъ, что „совѣтъ данный Крыловымъ Оедотову, исходилъ отъ литератора, весь въѣкъ, съ виду благодушно, но язвительно по существу насмѣхавшагося надъ скверностью русской жизни, и этотъ совѣтъ литератора привилъ и художнику литературную точку зрѣнія на живопись. Оедотовъ, пошедшій по стопамъ милыхъ сердцу его голландцевъ, отступилъ отъ ихъ завѣтовъ, увлекся методическимъ проповѣдничаньемъ Гогарта, оставилъ въ сторонѣ чисто-живописныя задачи и взялъ въ руки не однѣ кисти и палитру, а еще розгу и указку“ (137). Маленькое противорѣчіе между этими двумя цитатами, раздѣленными всего одной страпцей, не смущаетъ г. Бенуа, и въ дальнѣйшемъ обзорѣ произведеній Оедотова онъ уже твердо стоитъ на вредности литературы для живописи. Оедотовъ „былъ сбить съ толку своей литературностью“ (138). „Если по заданію эти картины („Свѣжій кавалеръ“, „Сватовство маіора“ и проч.) и стояли выше прежнихъ сепій и акварелей художника, то и онѣ не менѣе ихъ были пропитаны литературнымъ духомъ“ (140). „Можно предположить, что со временемъ Оедотовъ отдѣлался бы совсѣмъ отъ того литературнаго характера, который вредитъ его картинамъ въ чисто художественномъ отношеніи“ (на той же стр.) Оедотовъ, „безспорно находившійся одно время подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя, въ сущности не любилъ Гоголя. Его простая и нѣжно любящая натура была оскорблена тѣмъ неистовымъ глумленіемъ, тѣмъ безпощаднымъ бичеваніемъ, которыя скрыты подъ веселымъ тономъ „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ (все тамъ же).

Другое дѣло Перовъ. Онъ стоитъ на первомъ мѣстѣ „среди тѣхъ, которые перешли отъ добродушной безобидной насмѣшки Оедотова къ угрюмой бичующей проповѣди въ духѣ „прогрессивной“ печати 60-хъ годовъ“ (157). Картина Перова, „появившаяся въ годъ освобожденія крестьянъ, не имѣла и слѣда сентиментальности, но была дерзкой, вполнѣ „Базаровской“, по рѣзкости, выходкой. „Проповѣдь въ селѣ“ изображена въ окончательно мрачныхъ краскахъ. Нѣтъ ни малѣйшаго просвѣта. И священнослужители, и мужики, и помѣщики представлены въ такомъ непривлекательномъ видѣ, что, глядя на эту картину, зрителю остается только придти въ отчаяніе. Не за что утѣшиться, не на чемъ утѣшиться. Все въ Россіи, судя по этой картинѣ, оказывалось, совершенно такъ же, какъ въ романахъ Писемскаго, нигде не годнымъ, все зданіе культуры требовало ломки и переустройства.. Въ 1862 г., какъ разъ въ самый тревожный для русской жизни годъ, Перовъ выставилъ двѣ картины, которыя по своей отчаянной рѣзкости могли бы вполнѣ выдержать срав-

неніе съ самыми мрачными обличительными сочиненіями русской направленной литературы того времени“ (157—158). Позже, въ „Охотникахъ на привалѣ“ и „Рыболовъ“ Перовъ „отказался отъ указки и гражданскихъ слезъ, но вмѣсто того, чтобы заняться простой дѣйствительностью, простой живописью (курсивъ г. Бенуа), онъ все же остался на чисто-литературной почвѣ и принялся смѣшивать зрителей пустяжными рассказиками“ (161).

„Большинство реалистовъ 60-хъ годовъ перенесло чисто-литературные приемы въ живопись, принялось въ картинахъ, изображающихъ дѣйствительность, рассказывать, учить и смѣшивать. Кто былъ постарше, тѣ пѣли на разные лады грустную пѣсенку Некрасова, кто помоложе, тѣ сочиняли разудало-ядовитые куплеты на злобы дня... Сердце Стасова и ему подобныхъ радовалось, глядя на мрачнаго „Знахаря“ Мясоедова, на грустно-чувствительную сцену „Пасха нищаго“ Якобія, на „Трехъ мужиковъ“ Петрова—первый проблескъ въ живописи грубаго народничества въ духѣ Глѣба Успенскаго“ (164—165).

„Передвижники“ сдѣлали большое и доброе дѣло, освободивъ русскую живопись отъ академической условности, но бѣда и вредъ ихъ въ томъ, что они поддались вліянію литературы: „они хотѣли переобразовать русское общество, пособить старшимъ братьямъ-литераторамъ“ (195). Теперь этотъ гнетъ литературы сброшенъ, живопись стала свободна. Напримѣръ, Левитанъ, „гениальный, широкій, здоровый и сильный поэтъ—родной братъ Кольцову, Тургеневу, Тютчеву. Въ извѣстномъ отношеніи, какъ художникъ, тѣсно сжившійся съ природой, безхитростный и глубокій, онъ, пожалуй, даже превосходитъ ихъ. Но это сравненіе съ литераторами, если и является само собою при взглядѣ на его пейзажи, то вовсе не означаетъ, чтобъ въ немъ была хоть капля литературности“ (229). Точно также „искусство Сѣрова ничего не имѣетъ въ себѣ литературнаго“ (233). И „искусство Сомова ничего не имѣетъ въ себѣ литературнаго“ (273).

Г. Бенуа указываетъ и моментъ, когда совершилась эта эмансипація живописи отъ литературы. „Въ 80-хъ годахъ,—говоритъ онъ,—когда у общества была отнята и послѣдняя надежда на участіе его въ государственномъ переустройствѣ, когда всѣ въ силу того мало-по-малу охладѣли къ суетнымъ вопросамъ политики, когда, послѣ двадцатилѣтней бури, наступило надолго почти полное умиротвореніе, то тутъ въ этомъ затихшѣ все громче стала слышаться рѣчь тѣхъ русскихъ людей, которымъ до сихъ поръ внимали какъ-то разсѣянно и мимоходомъ... Звѣзды Некрасовыхъ, Щедриныхъ, Писаревыхъ и Добролюбовыхъ стали меркнуть одна за другой, и только теперь стали оцѣнивать по должному священныя слова Толстого, Вл. Соловьева, Страхова, Тютчева, Тургенева, Фета, Майкова и величайшаго среди нихъ великаго художника-пророка Достоевскаго... Съ тѣхъ поръ явилась

возможность и для живописи освободиться от указки литературы и искать своих собственных путей“ (194).

Чтобы надлежащимъ образомъ оцѣнить значеніе этой тирады, надо принять во вниманіе нѣкоторыя замѣчанія г-на Бенуа объ отдѣльныхъ художникахъ и картинахъ. Такъ, говоря о покойномъ Ярошенкѣ, къ которому онъ вообще относится довольно презрительно, г. Бенуа отмѣчаетъ извѣстную картину „Всюду жизнь“ слѣдующей аттестаціей: „Единственно Ярошенко изъ своихъ товарищей подошелъ, такимъ образомъ, хоть отчасти, въ намѣреніяхъ, къ автору „Мертваго дома“ (188). Подъ „товарищами“ Ярошенки здѣсь разумѣются только передвижники, такъ какъ изъ позднѣйшихъ художниковъ нѣкоторые очень прислушиваются къ Достоевскому. О г. Суриковѣ читаемъ: „Суриковъ близокъ по духу мистикъ и реалистъ Достоевскому. Лучше всего это сходство замѣтно въ его женскихъ типахъ, какъ-то странно соединяющихъ въ себѣ религіозную экстаичность и глубокую, почти сладострастную чувственность. Это тѣ же „хозяйки“, „Грушеньки“, „Настасы Филиповны“... Достоевскій сказалъ, что нѣтъ ничего фантастичнѣе реальности. Это въ особенности подтверждаютъ картины Сурикова“ (218). И г. Нестеровъ „является, рядомъ съ Суриковымъ, единственнымъ русскимъ художникомъ, хоть отчасти приблизившимся къ высокимъ божественнымъ словамъ „Идіота“ и „Карамазовыхъ“ (242). Если, однако, только гг. Суриковъ и Нестеровъ приблизились собственно къ Достоевскому, то, вообще говоря, „въ наше время... все, что было молодого и свѣжаго, ринулось въ объятія мистики“ (226).

Итакъ, живопись эмансипировалась отъ литературы тогда, когда „звѣзды Некрасовыхъ, Щедриныхъ, Писаревыхъ и Добролюбовыхъ“ померкли и замѣнились „священными словами Толстого, Вл. Соловьева, Страхова, Тютчева, Тургенева, Фета, Майкова и величайшаго среди нихъ великаго художника-пророка Достоевскаго...“ И г. Бенуа серьезно увѣренъ, что замѣна однихъ литературныхъ вліяній другими литературными есть освобожденіе отъ литературы... Мнѣ кажется, что это умозаключеніе свидѣтельствуетъ только объ освобожденіи самого г-на Бенуа отъ логики. Но умозаключеніе это достойно вниманія не только съ чисто логической стороны, а и стороны тѣхъ фактовъ, которые легли въ его основаніе.

Въ предисловіи къ недавно вышедшему второму тому „Исторіи живописи“ Мутера редакторъ перевода, г. Бальмонтъ, выражаетъ благодарность „извѣстному художнику и писателю по художественнымъ вопросамъ Александру Николаевичу Бенуа“ за сдѣланныя имъ указанія относительно перевода и выбора иллюстрацій къ книгѣ Мутера. Я долженъ признаться, что, какъ художникъ, г. Бенуа мнѣ совсѣмъ не извѣстенъ, а какъ съ писателемъ по художественнымъ вопросамъ, я съ нимъ знакомъ

только по второму тому „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ“. Охотно сознаюсь въ своемъ невѣжествѣ и готовъ вѣрить, что въ дѣлѣ живописи г. Бенуа есть судья вполне компетентный, хотя и въ этомъ отношеніи меня берутъ нѣкоторыя сомнѣнія. Но, что касается литературы, то, отнюдь не эманципировавшись отъ ея воздѣйствія,—да и какой смыслъ въ этой эманципаціи?—г. Бенуа представляется въ этой области невиннымъ младенцемъ, развязно болтающимъ на темы, о которыхъ онъ не имѣетъ никакого понятія. Взять хоть бы вышеприведенную его выходку о „грубомъ народничествѣ въ духѣ Глѣба Успенскаго“. Если захватанный и дружескими, и вражескими руками и потому совершенно неопредѣленный терминъ „народничество“ и приложимъ съ необходимыми оговорками къ писаніямъ Успенскаго, то эпитетъ „грубое“ народничество свидѣтельствуетъ именно только о невинности и вмѣстѣ съ тѣмъ развязности г-на Бенуа. Даже въ періодъ усиленной полемики съ народничествомъ (теперь этимъ дѣломъ занимается, кажется, только г. А. Б. въ „Мірѣ Божіемъ“) его противники выдѣляли Глѣба Успенскаго, именно какъ писателя необыкновенно тонкаго. Доказывать г-ну Бенуа совершенную нелѣпость этой его выходки я не буду. Порекомендую только ему, какъ „извѣстному художнику и писателю по художественнымъ вопросамъ“, прочесть статью А. Г. Горнфельда „Эстетика Глѣба Успенскаго“ въ сборникѣ „На славномъ посту“. Остановлюсь нѣсколько подробнѣе на приводимомъ г-номъ Бенуа списокѣ писателей, „священные слова“ которыхъ замѣнили будто бы померкшія звѣзды Некрасова и Щедрина. Какъ помнятъ читатели, это все люди, во-первыхъ, чуждые „суетнымъ вопросамъ политики“, а во-вторыхъ, люди, которымъ „до тѣхъ поръ внимали какъ-то разсѣяннo и мимоходомъ“. Въ списокѣ г-на Бенуа дѣйствительно есть писатели, болѣе или менѣе удовлетворяющіе обоимъ этимъ условіямъ. Таковъ, на примѣръ, Страховъ. Но вѣдь его, можетъ быть, и „священнымъ“ словамъ и теперь внимаютъ такъ же разсѣяннo и такъ же мимоходомъ, какъ и при его жизни. Доказательствомъ можетъ служить хотя бы огромный двутомный трудъ г. Мережковскаго о Достоевскомъ и Толстомъ, въ которомъ ни единого раза не поминается Страховъ, хотя оба названные великіе писатели были предметомъ его постоянного восторженнаго вниманія. Интересно было бы знать, когда именно Достоевскому, Тургеневу, Толстому „внимали разсѣяннo и мимоходомъ“. Какъ извѣстно, первыя же произведенія этихъ писателей—„Бѣдные люди“, „Записки охотника“, „Дѣтство и отрочество“—вызвали настоящій восторгъ. Но, можетъ быть, эта „разсѣянность“ наступила позже, на примѣръ, когда Добролюбовъ писалъ свою знаменитую статью о „Наканунѣ“ или когда Писаревъ съ молодою рьяностью ломалъ копыя за „Отцовъ и Дѣтей“? Это наводитъ на другой рядъ вопросовъ:

былъ ли Тургеневъ чуждъ „суетныхъ вопросовъ политики“, когда давалъ свою „Аннибалову клятву“ борьбы съ крѣпостнымъ правомъ, когда, вплоть до „Нови“ такъ или иначе откликался на волновавшія общество общественные вопросы? Былъ ли иже чуждъ Достоевскій, изображая мракъ „Мертваго дома“, влагая въ уста Раскольникову политическую идею, воспроизводя политическій процессъ въ „Вѣсахъ“, по своему рѣшая восточный и другіе политическіе вопросы въ „Дневникѣ писателя“? Былъ ли чуждъ Толстой въ своихъ статьяхъ о народномъ образованіи, о голодѣ, о непротивленіи злу, о государствѣ, о женскомъ вопросѣ и проч., проч., и проч.? Думаю, отвѣтъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: Тургеневъ, Достоевскій, Толстой вызывали и восторги, и нареканія, но *никогда* имъ не внимали разсѣянню и мимоходомъ, и *никогда* они не были чужды „суетнымъ вопросамъ политики“, хотя всѣ они, каждый по своему, стояли на извѣстной теоретической высотѣ, открывавшей имъ болѣе или менѣе широкіе горизонты.

Особенно курьезно видѣть въ списокѣ г-на Бенуа рядомъ, бокомъ о бокъ имена Тургенева и Фета. Будучи личнымъ пріятелемъ поэта розы и соловья, и вмѣстѣ съ тѣмъ очень взыскательнаго помѣщика, Тургеневъ, однако рѣзко расходился съ нимъ во мнѣніяхъ, какъ насчетъ суетной политики, такъ и насчетъ теоретическихъ вопросовъ, въ томъ числѣ и вопроса о задачахъ искусства. Такъ однажды онъ писалъ Фету: „Я говорю, что художество такое великое дѣло, что цѣлаго человѣка едва на него хватаетъ со всѣми его способностями, между прочимъ, и съ умомъ. Вы поражаете умъ остракизмомъ и видите въ произведеніяхъ художества только бессознательный лепетъ спящаго“. Или въ другой разъ; „вы закоренѣлый и остервенѣлый крѣпостникъ, консерваторъ и поручикъ стариннаго закала“. — Казалось бы, въ виду хотя бы даже только этихъ двухъ отрывковъ изъ переписки, мудро ставить Тургенева и Фета за ту общую скобку, за которую г. Бенуа, точно въ насмѣшку надъ обоими, поставилъ ихъ совсѣмъ рядомъ.

Такова степень основательности сужденій г-на Бенуа о литературѣ. Надѣюсь, что въ области живописи онъ больше у себя дома, хотя, не смотря на пускаемый имъ фейерверкъ изъ именъ старыхъ и новыхъ, русскихъ и иностранныхъ художниковъ и художественныхъ школъ, а также техническихъ или, какъ онъ самъ въ одномъ мѣстѣ выражается, quasi-техническихъ терминовъ,—меня и въ этомъ отношеніи берутъ нѣкоторыя сомнѣнія. Съ приличествующей мнѣ, какъ профану, скромностью, умолчу, однако, о нихъ. Пусть вся эта сторона книги г-на Бенуа безупречна.

Меня занимаютъ здѣсь не достоинства и недостатки того или другого художника, той или другой картины съ точки зрѣнія

г-на Бенуа, а самая эта точка зрѣнія. Что бы онъ ни говорилъ о „сочныхъ мазкахъ“ такого-то живописца или о „вкусныхъ краскахъ“ такого-то или, напримѣръ, о „неподдѣльной ломанности и искреннемъ жеманствѣ“ г. Сомова (273), мы, профаны, посѣщающіе художественныя выставки, руководствуемся при оцѣнкѣ картинъ собственными вкусами: восхищаемся однимъ, смѣемся надъ другимъ, проходимъ мимо третьяго и т. д. И презираетъ же насъ за это г. Бенуа! Мы, по его мнѣнію, „грубая, равнодушная, невѣжественная толпа, занятая низменными будничными интересами и ничего общаго съ высокимъ и свѣтлымъ дѣломъ познанія красоты не имѣющая“ (190); мы пользуемся „глушѣйшей кличкой „декадентство“ (228); мы еще разъ „грубая и пошлая толпа“ (273). И т. д., и т. д. Можетъ быть, это ужъ чересчуръ бранчиво и не свидѣтельствуется даже о дѣйствительномъ великолѣпіи г-на Бенуа. Во всякомъ случаѣ это безцѣльно: какъ бы низменны ни были наши понятія о красотѣ, отказаться отъ нихъ мы не можемъ, пока они не измѣнятся, а фейерверки г-на Бенуа измѣнить ихъ безсильны. И потомъ—почему кличка „декаденты“—„глушѣйшая, когда г. Мережковский только что съ истерической похвалой кричалъ: „мы—декаденты! мы—упадочники!“ и когда самъ г. Бенуа не разъ употребляетъ эту кличку въ своей книгѣ? Или въ устахъ его она умнѣетъ?

Г. Бенуа стоитъ за свободу: художникъ долженъ свободно, безъ чьей бы то ни было сторонней „указки“ выражать свои чувства. Прекрасно, но да позволено будетъ и намъ обходиться безъ указки г-на Бенуа, не подвергаясь за это чуть не площадной ругани. Думаю, что это тѣмъ болѣе намъ позволительно, что указку нашего автора уразумѣть чрезвычайно трудно.

Г. Бенуа—изъ „модерновъ“ и потому жестоко расправляется съ своими предшественниками, какъ съ академизмомъ, такъ и съ тѣмъ, что онъ называетъ „литературнымъ направленствомъ“, „общественнымъ направленствомъ“ и просто „направленствомъ“. Но что касается положительной стороны его книги, то она истинѣ неуловима. Задачу и дѣятельность современныхъ художниковъ, по словамъ г-на Бенуа, „иначе, какъ довольно таки туманнымъ терминомъ: служенія красотѣ, искусству, не назовешь“ (225). Можно порадоваться, что терминъ этотъ—мимоходомъ сказать, отнюдь не современный, не новый, а, напротивъ, очень и очень старый—признанъ, наконецъ, довольно туманнымъ. И, конечно, туманность эта не разсѣется, а можетъ быть, даже еще болѣе сгустится оттого, что г. Бенуа время отъ времени прибавляетъ къ существительному „красота“ прилагательное „мистическая“. Гораздо яснѣе другое, уже вполне категорическое опредѣленіе: „Живописецъ непременно долженъ быть декораторомъ: украсителемъ сценъ,—*все назначеніе его въ этомъ*“ (283). Если къ этому прибавить: „по вкусу или по заказу владѣльцевъ стѣнъ“,—

потому что вѣдь безъ ихъ согласія это невозможно,—то ничего мистическаго тутъ не окажется. Простое житейское дѣло. Не думаю, однако, чтобы это обстоятельство способствовало подъему искусства на ту надзвѣздную высоту, на которой его хочетъ видѣть г. Бенуа. Онъ презираетъ тѣ „соціально-педагогическія идейки“, которыми, по его словамъ, исключительно руководились старые художники, „изъ принципа“ давая плохо написанныя картины. Онъ „тяготится тѣмъ подчиненіемъ суетнымъ интересамъ, которое было въ художествѣ 60-хъ годовъ“. Слова, „содержательныя картины“, „идейныя картины“ онъ ставитъ въ ироническія ковычки, потому что, все это такая суетная мелочь въ сравненіи съ вѣчными задачами искусства, лежащими въ комбинаціяхъ линий, формъ и красокъ, каковыя комбинаціи и образуютъ собою „мистическое начало красоты“. Служители этой красоты парятъ столь высоко, что для нихъ даже не существуетъ наша житейская толкотня, какъ бы ни казалась она намъ, профанамъ, ужасною или возвышенною, и какія бы тысячи и милліоны людей она ни захватывала. „Содержанія,—говоритъ г. Бенуа,—ищутъ и наши времена, и даже самымъ ревностнымъ образомъ, но мы теперь подъ содержаніемъ понимаемъ нѣчто безконечно болѣе широкое, нежели ихъ (старыхъ художниковъ) соціально-педагогическія идейки. Мы видимъ *содержаніе* не въ однихъ только общественныхъ проповѣдяхъ, но и во всякомъ красочномъ и декоративномъ эффектѣ. Мы находимъ его и въ соблазнительной (почему соблазнительной?) округлости греческой вазы, и въ сказочной пестротѣ персидскаго ковра, и въ вѣрахахъ Ватто и Кондера, такъ же, какъ и въ Страшномъ Судѣ Микель-Анджело и въ *Angelus* Милле“ (145). Такимъ образомъ, съ возвышенной точки зрѣнія мистической красоты персидскій коверъ и Страшный Судъ Микель-Анджело нѣкоторымъ образомъ уравниваются. Оно и неудивительно: стѣну можно украсить и тѣмъ, и другимъ, и, какъ украшеніе, какъ „красочный и декоративный эффектъ“, коверъ на взглядъ многихъ владѣльцевъ стѣнъ можетъ оказаться предпочтительнѣе. Но всетаки, нѣтъ-ли въ „Страшномъ Судѣ“ чего-нибудь, кромѣ линий и красокъ? чего-нибудь не эстетически только, а при посредствѣ эстетики способнаго волновать милліоны вѣрующихъ людей? и не вложилъ-ли въ него самъ художникъ своего рода „соціально-педагогической идейки“? Я знаю, какъ отвѣтили бы на эти вопросы Толстой, Тургеневъ, Достоевскій, „священнымъ“ словамъ которыхъ будто бы внимаетъ г. Бенуа, но какъ отвѣтитъ самъ онъ не знаю. То-есть, пожалуй, и знаю, но знаю также, что отвѣтъ этотъ не будетъ уже столь прямолинеенъ, чтобы при посредствѣ его предстояло упереться въ стѣну, украшенную персидскимъ ковромъ. Иронизируя надъ общественнымъ настроеніемъ 60-хъ и 70-хъ годовъ, г. Бенуа пишетъ, между прочимъ: „художникамъ предписывалось приглядываться

исключительно къ земнымъ потребностямъ. Имъ рекомендовалось прочесть собравшемуся народу изъ общедоступныхъ книжекъ что-либо поучительное, стоящее вполнѣ на высотѣ послѣднихъ передовыхъ идей и сдѣлать это яснымъ языкомъ, не мудрствуя лукаво. Вотъ если бы художники могли пробудить въ публикѣ ненависть къ тьмѣ или заставить любить просвѣщеніе (*въ пониманіи позитивной науки*)—это было бы дѣломъ! (144). Поставленные г-мъ Бенуа въ скобки и подчеркнутыя мною слова чрезвычайно для него характерны. Противъ того, чтобы „заставить любить“ *духовное* просвѣщеніе, онъ ничего не имѣетъ. Какъ бы, однако, высоко ни ставили мы духовное или истинное, какъ его называлъ Достоевскій, просвѣщеніе, какъ бы ни предпочитали мы его просвѣщенію свѣтскому („въ пониманіи позитивной науки“),—по отношенію къ „декоративнымъ и красочнымъ эффектамъ“ и то, и другое находятся въ совершенно одинаковомъ положеніи. И для того, чтобы ввести въ задачи искусства „мистическую“ идею, надо нарушить его предѣлы со стороны линій, формъ и красокъ. Въ дѣйствительности, г. Бенуа это и дѣлаетъ, воздавая, напримѣръ, хвалу содержанію картинъ г. Нестерова изъ жизни святыхъ, независимо отъ исполненія, или, опять-таки независимо отъ исполненія, негодуя на нѣкоторые картины старыхъ художниковъ изъ быта духовенства. Такимъ образомъ, столь рѣшительное опредѣленіе художника, какъ „украшителя“ стѣнъ исключительно при помощи декоративныхъ и красочныхъ эффектовъ, въ которыхъ, дескать, и состоитъ все „содержаніе“ искусства,—оказывается невыдержаннымъ.

Но г. Бенуа идетъ и еще дальше въ дѣлѣ измѣны своимъ собственнымъ тезисамъ. Признавая въ г. Рѣпинѣ крупный талантъ, онъ полагаетъ, однако, что это талантъ, покалѣченный литературными вліяніями. „Литературная сторона его картинъ и даже портретовъ,—говоритъ г. Бенуа,—непріятно колетъ глаза; а въ иныхъ случаяхъ представляется просто невыносимой. Со всѣхъ сторонъ до насъ доносятся скучныя *убѣжденія* (курсивъ г-на Бенуа), забытыя, завядшія слова“ (180). Живопись, *все назначеніе* которой исчерпывается украшеніемъ стѣнъ красочными эффектами, естественно не должна пытаться *убѣждать* зрителей въ чемъ бы то ни было. Это уже будетъ не художество, а литературная указка, соціально-педагогическія идеи и тому подобная презрѣнная мелочь и чепуха. Но въ такомъ случаѣ что-же значить такое, напримѣръ, замѣчаніе г-на Бенуа: „Въ „Садкѣ“ (г. Рѣпина) насъ поражала выдержанность колорита, въ „Іоаннѣ“ и „Казакахъ“—сочность и размахъ кисти, славныя, ясныя краски. Во имя всего этого мы готовы были простить, какъ полное отсутствіе сказочности въ первой картинѣ, такъ и случайность, эпизодичность и *неубѣдительность* въ двухъ послѣднихъ“ (178). Или еще объ одной картинѣ все того

же г. Рѣпина: „Картина превзошла самыя грустныя ожиданія своей роковой неудачностью, своей безусловной *неубѣдительностью*“ (184). Можно бы было предположить, что подчеркнутыя слова имѣютъ въ данномъ случаѣ какое-то особенное значеніе, не имѣющее ничего общаго съ тѣмъ „убѣжденіемъ“, противъ котораго только что протестовалъ авторъ. Но вотъ любопытное разсужденіе г-на Бенуа о знаменитомъ „Степкѣ-Растрепкѣ“:

«Степка-Растрепка—безусловно гениальное произведеніе, и въ доказательство можно сослаться на то, что оно, единственное изъ безчисленныхъ дѣтскихъ иллюстрацій, врѣзывается навсегда въ память, оно единственное не перестаетъ быть занимательнымъ и курьезнымъ. Очень примитивно нарисованъ филистеръ, отправляющійся въ зеленомъ сюртукѣ на охоту, но вѣдь превратился же этотъ филистеръ въ вѣчный, неизсякаемо-комичный типъ: очень грубо нарисованъ папенька, укориженно вопрошающій своего сына «Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?», но другого «папеньку» себѣ и вообразить нельзя; очень уродливы цари, царевичи, царевны, странныя пейзажи и зданія на дубкахъ, а между тѣмъ, они остаются въ памяти, мало-по-малу очищаются въ собственной фантазіи отъ грубости и безобразія и превращаются въ настоящія, *топикъ убѣдительные* образы. (Курсивъ, какъ и ниже, принадлежитъ г-ну Бенуа). Какъ же можно говорить о томъ, что здѣсь мы не имѣемъ дѣла съ *художественнымъ* произведеніемъ» (260).

Итакъ, твердыня линій, формъ и красокъ, исчерпывающихъ все назначеніе живописи, разрушается самымъ ея глашатаемъ: очень плохой рисунокъ и очень грубыя краски могутъ дать истинно художественное, даже гениальное произведеніе, если оно „вполнѣ убѣдительно“...

Г. Бенуа—рѣшительный врагъ утилитаризма, какъ начала, унижающаго искусство, ввергающаго его въ болото „земныхъ потребностей“ и „суетныхъ интересовъ“. О томъ, не есть ли и эстетическая потребность—потребность земная, а интересъ къ тлѣнной красотѣ—интересъ суетный, не есть ли, наконецъ, украшеніе стѣны цѣль утилитарная,—обо всемъ этомъ г. Бенуа не задумывается. Онъ просто пишетъ: „Въ сущности такъ называемая „художественная промышленность“ и такъ называемое „чистое искусство“—сестры-близнецы одной матери—красоты, до того похожіе другъ на друга, что и отличить одну отъ другой иногда очень трудно, до того близкія, что и разграничить сферу одной отъ сферы другой невозможно“ (252). Дѣло, однако, въ томъ, что отъ предметовъ художественной промышленности мы естественно требуемъ не только декоративныхъ и красочныхъ эффектовъ, а и удобства, цѣлесообразности, приспособленности къ извѣстному практическому назначенію, а всѣ эти—требованія, если не ошибаюсь, утилитарныя...

Я не исчерпалъ всей принципіальной мѣшанины г-на Бенуа, да и не имѣлъ такого намѣренія. Сказаннаго, полагаю, достаточно, чтобы читатель согласился съ тѣмъ, что общая точка зрѣнія почтеннаго автора „Исторіи русской живописи въ XIX вѣкѣ“ дѣйстви-

тельно неуловима. Ясно только одно: г. Бенуа есть представитель, можетъ быть, вождь и во всякомъ случаѣ теоретикъ нѣкотораго новаго теченія,—новаго, въ которомъ замѣтны, однако, и очень старыя струи. Началомъ этого новаго теченія онъ считаетъ, примѣрно, середину 80-хъ годовъ, когда живопись освободилась отъ „литературы и школьной указки“. Мнѣ кажется, что, независимо отъ того легкомыслія, которое обнаруживаетъ г. Бенуа въ своихъ сужденіяхъ о литературѣ, вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ литературы и живописи вообще освѣщается имъ совершенно неправильно. Связь между этими двумя сферами никогда не порывалась, и не трудно видѣть, что „новое“ искусство группирующееся нынѣ, главнымъ образомъ, около журнала „Міръ искусства“ и на его выставкахъ, имѣетъ въ немъ и въ раздѣляющихъ его взгляды своего выразителя и, пожалуй, руководителя; въ томъ смыслѣ, въ какомъ извѣстная часть литературы 60-хъ, 70-хъ годовъ руководила передвижниками. Вѣрнѣе же сказать, литература и живопись находятся всегда въ нѣкоторомъ взаимодействіи, одна другую наводя, одна другую отражая и имѣя подъ собою одну и ту же почву болѣе или менѣе широко распространеннаго общественнаго настроенія. Въ одномъ мѣстѣ г. Бенуа какъ будто понимаетъ это. Мы видѣли, что онъ говоритъ о 80-хъ годахъ, какъ о времени, „когда у общества была отнята и послѣдняя надежда на участіе его въ государственномъ переустройствѣ, когда всѣ въ силу того мало-по-малу охладѣли къ суетнымъ вопросамъ политики“. Съ этихъ поръ и расчистилась дорога для того искусства, апологетомъ котораго является передъ нами г. Бенуа. Это вѣрно. Но совершенно невѣрно, будто въ это же время и по тѣмъ же обстоятельствамъ стали слышаться дотошъ будто бы не слышныя голоса Тургенева, и проч. Это просто даже до странности вздорная фантазія г-на Бенуа. Въ это время, параллельно тому, что происходило въ живописи, и въ литературѣ пошли „новыя“ теченія, отрицательно суммировавшіяся формулой „отказъ отъ наслѣдства“, а въ положительную сторону выражавшіеся „теоріей свѣтлыхъ явленій“, „реабилитаціей дѣйствительности“, „чистымъ искусствомъ“, декадентствомъ, экономическимъ матеріализмомъ, ничіанствомъ, мистицизмомъ. Словомъ, одна и та же причина произвела одни и тѣ же слѣдствія, какъ въ живописи, такъ и въ литературѣ. Когда г. Бенуа говоритъ, что „въ наше время все, что было молодого и свѣжаго, ринулось въ объятія мистики“ (226), онъ ошибается. Далеко не все молодое и свѣжее ударилося въ мистицизмъ, а съ другой стороны, ударилося въ него, можетъ быть, и молодое годами, но уже усталое, разочарованное, не свѣжее. И это одинаково, какъ въ живописи, такъ и въ литературѣ.

Достойно вниманія, что г. Бенуа самъ указываетъ черты именно усталости, дряхлости, несвѣжести въ современной жи-

вописи, въ которой все такъ, по его же словамъ, свѣжо и молодо. „Доля упадочности,—пишетъ онъ,—доля болѣзненности безъ сомнѣнія находится въ современномъ художественномъ творчествѣ“ (252). Еще опредѣленнѣе выражается онъ, говоря о картинахъ г. Сомова, котораго онъ цѣнитъ необыкновенно высоко: „за нимъ послѣднее слово,—онъ, покажѣтъ, за 10 лѣтъ, самое яркое, отрадное и типичное явленіе въ нашей живописи“ (273). Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ причисляетъ его къ тѣмъ художникамъ, которыхъ „слѣдовало бы назвать истинными декадентами, не въ томъ, разумѣется, смыслѣ,—торопится онъ прибавить,—что ихъ искусство означаетъ упадокъ художественнаго мастерства, но въ томъ, что они въ своемъ до послѣднихъ предѣловъ утонченномъ, болѣзненно-чуткомъ, горячечно-прекрасномъ и загадочномъ творчествѣ полиѣ другихъ отражаютъ самый духъ своего извѣженнаго, душевно растерзаннаго истеричнаго времени“ (271). Проникая сквозь картины г. Сомова до самаго нутра художника, г. Бенуа находимъ тамъ „положеніе души, возможное только въ эпохи старческой дряхлости, близости къ смерти, въ эпохи отчаянія“ (272—273). Итакъ, молодое и свѣжее превращается однимъ почеркомъ пера въ старчески дряхлое... Удивительная легкость мыслей у теоретика новаго искусства! И давно-ли, кажется, искусство освободилось отъ литературы и расправило собственныя мощныя крылья, поднявшія его въ высь эфира чистой красоты, а г. Бенуа уже провидитъ его окончательное паденіе. Сперва онъ говоритъ объ этомъ условно, какъ о возможности: „Очень *можетъ быть*, что со временемъ и на нашъ періодъ будетъ указано, какъ на новый банкротъ русскаго искусства“ (223). Но на послѣдней, 274-й, страницѣ книги возможность уступаетъ мѣсто увѣренности, и часть смерти новаго искусства указывается уже не неопредѣленнымъ выраженіемъ „со временемъ“, а такъ: „*Навтрное за дверью* стоитъ реакція. Послѣ періода разброда (или индивидуализма, какъ иногда выражается г. Бенуа, что не мѣшаетъ представителямъ новаго искусства жаться къ г. Дягилеву съ его журналомъ и выставками) наступитъ новая форма синтеза, хотя бы, одинаково отдаленная отъ тѣхъ двухъ родовъ художественнаго синтеза, которые царили до сихъ поръ въ русскомъ искусствѣ: отъ академизма и общественнаго направленства. Историческая необходимость, историческая послѣдовательность требуетъ, чтобы на смѣну тонкому *эпикурейству* нашего времени, крайней изощренности человѣческой личности, извѣженности, болѣзненности и одиночеству—снова наступилъ періодъ поглощенія человѣческой личности во имя общественной пользы“. И „слѣдующій, вѣроятно, *противоположенный* фазисъ искусства будетъ отличаться яркостью и силой“.

Читатель благоволитъ обратить вниманіе на подчеркнутыя мною въ этой цитатѣ слова. Если рѣчь идетъ объ *эпикурействѣ* въ

настоящемъ и общественной пользѣ въ будущемъ, то при чемъ же пламенный протестъ противъ утилитаризма? Если въ декоративныхъ и красочныхъ эффектахъ найдена вѣчная единственная задача живописи, то какъ возможенъ противоположный фазисъ, который навѣрное за дверью стоитъ?

Когда „молодое и свѣжее“ считаетъ открытое или воспринятое имъ „новое слово“ послѣднимъ, окончательнымъ словомъ,—это естественно. Теоретически молодость знаетъ, конечно, что историческій процессъ не можетъ же остановиться на ея сегодняшнихъ идеалахъ и вѣрованіяхъ, что вѣка и вѣка, которые еще предстоитъ жить человѣчеству, будутъ имѣть свою исторію; но сегодняшняя истина или то, что считается истиной, такъ ослѣпительно ясно и прекрасно, что на практикѣ совершенно заслоняетъ собою болѣе или менѣе отдаленное будущее. И пылкая молодость ликуетъ и, ликуя, несетъ жертвы на алтарь того, что такъ ясно и прекрасно. Повторяю, это естественно, иначе и быть не можетъ. Но молодое и свѣжее г-на Бенуа есть, какъ мы видѣли, старческое и дряхлое, и потому столь же естественно, что оно провидитъ свой близкій конецъ; быть можетъ, усталое, отжившее, не живши,—даже хочетъ близкаго конца, смерти, хотя бы вотъ потому, что слѣдующій, „противоположный фазисъ“ предъявить „яркость и силу“. И если при этомъ оно выступаетъ въ книгѣ г-на Бенуа такимъ побѣдно гордымъ аллюромъ, такъ это потому, что почтенный авторъ не умѣетъ связать свои концы съ концами. Г. Мережковский—тотъ связалъ свой и своихъ единомышленниковъ конецъ съ концомъ мірового процесса, а потому никакой противоположной яркости и силы не ждетъ, и это свидѣтельствуетъ о его непреклонной вѣрѣ въ исповѣдуемую имъ *сейчасъ* истину. У г-на Бенуа такой вѣры, очевидно, нѣтъ, и всѣ его фейерверки ничего не стоятъ...

Въ оцѣнкѣ искренности вѣры, исповѣдываемой г. Мережковскимъ, я подчеркнул слово *сейчасъ*. Дѣло въ томъ, что на памяти даже молодыхъ людей г. Мережковский уже не одинъ разъ радикально измѣнялъ свое міросозерцаніе, и никто—ниже онъ самъ—не поручится за то, что его теперешній декадентскій мистицизмъ или мистическое декадентство продержится въ немъ до завтрашняго дня. И это чрезвычайно характерно не только для г. Мережковского, но и для нашего времени вообще.

„Все течетъ“, какъ сказалъ древній философъ, и задача каждой теоріи, cadaго ученія—всеобъемлющаго или распространяющагося на извѣстный специальный кругъ фактомъ—состоитъ въ томъ, чтобы дать отвѣтъ на выдвигаемые данной исторической минутой вопросы при помощи средствъ, имѣющихся въ распоряженіи этой данной минуты. Пройдетъ она, наступитъ слѣдующая, и отвѣты получатся иные, да и вопросы выдвинутся, можетъ быть, не тѣ, что волновали и мучили людей въ свое время. Смѣна міро-

созерцаній, ломка стараго и возникновеніе „новыхъ словъ“ есть дѣло неизбежное. Но историческая минута можетъ длиться десятки и сотни лѣтъ, и если, напримѣръ, паденіе крѣпостного права, всѣ послѣдствія котораго и доселѣ еще не изжиты нами, было моментомъ, рѣзко раздѣлившимъ „отцовъ“ и „дѣтей“, то въ дальнѣйшей нашей исторіи, безспорно богатой событіями огромной важности, не было, однако, уже ничего, что съ такою же рѣзкостью опредѣлило бы раздоръ сосѣднихъ по времени поколѣній. Это не значитъ, конечно, чтобы за весь этотъ періодъ мы должны были неподвижно стоять на одной и той же точкѣ, или чтобы не было никакой борьбы между различными міросозерцаніями. Но для рѣзкаго раздора между „старымъ“ и „новымъ“, казалось бы, не было причины, по крайней мѣрѣ, такой яркой, какою было паденіе крѣпостного права.

Вотъ что, между прочимъ, читаемъ въ статьѣ г-на П. Г. „Къ характеристикѣ нашего философскаго развитія“, напечатанной въ только что вышедшемъ сборникѣ „Проблемы идеализма“: „Марксизмомъ, народившимъ изъ своихъ вѣдръ метафизику, русскій позитивизмъ закончилъ полный кругъ своего развитія. Контизмъ Вл. Ал. Милютина, матеріализмъ (естественно научный) Герцена, Чернышевскаго и Писарева, соціологическій субъективизмъ Лаврова и Михайловскаго, діалектическій марксизмъ Бельтова и позитивно-критическій марксизмъ Струве—вотъ его различныя выраженія и въ то же время этапы, имѣющіе различное содержаніе и потому различную пѣнность, но, по своему философскому зерну, тождественные“ (87). А между тѣмъ, сколько ожесточеннѣйшихъ, чисто философскихъ битвъ происходило между представителями этихъ тождественныхъ по своему философскому зерну ученій. И замѣчательно: болѣе ранніе, говоря языкомъ г-на П. Г., „этапы“ слѣдовали одинъ за другимъ почти незамѣтно и во всякомъ случаѣ безъ той рѣзкости и стремительности, какая отличаетъ этапы позднѣйшіе. Такъ было, впрочемъ, въ періодъ позитивизма, нынѣ,—по словамъ г-на П. Г.,—окончательно похороненнаго; но и въ наступившемъ періодѣ метафизики „этапы“ будутъ, повидимому, смѣнять другъ друга не съ такою рѣзкостью, но съ не меньшею стремительностью. Открываетъ собою этотъ новый періодъ тотъ самый г. Струве, которымъ закончился послѣдній этапъ предыдущаго періода. Г. Струве стоялъ сначала на точкѣ зрѣнія „позитивно-критическаго марксизма“. „Лишь очень внимательный и чуткій читатель,—говоритъ г. П. Г.,—могъ и тогда уже уловить въ рѣзкихъ рѣшеніяхъ Струве скрывавшуюся за ними внутреннюю неувѣренность въ правильности найденнаго исхода, мучившую автора, но имъ не сознаванную и заглушенную; некритическая насильственность этого исхода должна была, однако, обнаружиться. Пересмотрѣвъ свое рѣшеніе, Струве отъ него отказался и, не признавъ возможнымъ ни критическаго воз-

держанія, ни психологическаго субъективизма, — открыто перешелъ изъ метафизикѣ, т. е., отставъ отъ позитивизма, въ философскомъ (курсивъ г-на П. Г.) отношеніи пересталъ быть и марксистомъ. Выраженіемъ этого поворота явилась книга Бердяева съ предисловіемъ Струве. Бердяевъ обнаруживаетъ въ своей книгѣ еще двойственное отношеніе къ метафизикѣ, Струве рѣшительно отдается ей“ (90).

Я не думаю, что г. Струве пересталъ быть марксистомъ только въ философскомъ отношеніи, да и г. П. Г. говорить да-же о „необходимости дальнѣйшаго пересмотра *всѣхъ* сторонъ *самаго* молодого изъ выступавшихъ у насъ философскихъ міровоззрѣній“. Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ. Въ литературномъ отношеніи г. Струве очень молодъ, но извѣстную долю своего небольшого литературнаго багажа онъ уже принадлежитъ къ „отцамъ“, новымъ, молодымъ отцамъ, конечно. Г. Бердяевъ еще моложе, но и онъ успѣлъ пережить извѣстную внутреннюю ломку и спѣшить въ тѣхъ же „Проблемахъ идеализма“ оговориться: „со времени появленія моей книги я далеко ушелъ впередъ въ томъ направленіи, которое было мною только намѣчено. ...Я признаю, что на моей книгѣ отразились недостатки переходнаго состоянія мысли отъ позитивизма къ метафизическому идеализму и спиритуализму, къ которому я теперь окончательно пришелъ“ (95). И все-таки міросозерцаніе гг. Струве и Бердяева не можетъ считаться „самымъ молодымъ изъ выступившихъ у насъ философскихъ міросозерцаній“. Не говоря о томъ, что самимъ г-ну Струве и въ особенности г. Бердяеву предстоятъ еще новые „этапы“ въ близкомъ будущемъ, недавно въ Одессѣ вышли двѣ книжки, — М. Э. Гуковского „Новыя вѣянія и настроенія“ и Г. Пекатароса „Современныя настроенія“, — въ которыхъ есть нѣчто еще болѣе новое и молодое.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что въ литературѣ появляется заразъ нѣсколько различныхъ мнѣній о практическихъ ли вопросахъ текущаго дня, или о высшихъ проблемахъ философіи и религіи. Но поистинѣ изумительна та стремительность, съ которою у насъ въ настоящее время различные міросозерцанія смѣняются одно другимъ, стараясь при этомъ въ особенности подчеркнуть свою современность, молодость, новизну. Какъ будто и дѣло-то все не въ истинѣ, а въ новости. Самое слово „новый“ пріобрѣтаетъ въ глазахъ нѣкоторыхъ авторовъ какую-то особенную привлекательность, и они прилагаютъ его даже совсѣмъ не къ мѣсту. Вотъ, напримѣръ, г. Булгаковъ радуется, какъ чему-то новому, книжкѣ Carrington'a „Das Gewissen im Lichte der Geschichte, sozialistischer und christlicher Weltanschauung“ (1891 г.). Книжка это не безынтересная, но видѣть въ ней „симптомъ нравственнаго перелома, совершающагося въ настоящее время и въ западно-европейскомъ обществѣ“ („Проблемы идеализма“, 46) — нѣтъ рѣши-

тельно никакого основанія. Проповѣдуемый Каррингомъ христіанскій социализмъ отнюдь не есть новостъ въ Европѣ, гдѣ дѣйствительно послѣднее цовостью является волна—я готовъ сказать—эпидемія ничшеанства, одинаково враждебнаго какъ социализму, такъ и христіанству. А у насъ еще Достоевскій горячо возставалъ противъ объединенія этихъ двухъ элементовъ...

Но здѣсь я вступаю въ область вопросовъ, для обсужденія которыхъ у меня сегодня уже не остается времени.

Ник. Михайловскій.

Хроника внутренней жизни.

I. Свѣдѣнія объ урожаѣ 1902 года и извѣстія изъ неурожайныхъ мѣстностей.—Продовольственные затрудненія и проектируемая переработка продовольственного устава.—Свѣдѣнія о безработицѣ. — II. Проекты объ измѣненіи положенія печати.—Административныя распоряженія по дѣламъ печати.— III. Правительственныя распоряженія и сообщенія.

I.

Не такъ давно въ печати были опубликованы результаты работъ главнаго статистическаго комитета при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и отдѣла сельской экономіи при министерствѣ земледѣлія и государственныхъ имуществъ по опредѣленію урожая 1902 года. Свѣдѣнія обоихъ названныхъ учреждений, будучи основаны главнымъ образомъ на сообщеніяхъ ихъ мѣстныхъ добровольныхъ корреспондентовъ, не обладаютъ безусловною точностью и порою даже находятся въ нѣкоторомъ противорѣчій другъ съ другомъ. Тѣмъ не менѣе въ общемъ эти свѣдѣнія даютъ довольно близкую къ дѣйствительности картину и заключаютъ въ себѣ небезынтересныя данныя для сужденія объ экономическомъ положеніи населенія, поскольку такое положеніе является непосредственно связаннымъ съ результатами урожая. Съ этой точки зрѣнія стоитъ присмотрѣться, по крайней мѣрѣ, къ главнымъ очертаніямъ картины, обрисовываемой работами упомянутыхъ учреждений.

Согласно свѣдѣніямъ главнаго статистическаго комитета, относящимся къ территоріи 72 губерній и областей съ населеніемъ до 125 милліоновъ душъ, истекшій сельско-хозяйственный годъ является въ общемъ очень удовлетворительнымъ, характеризуюсь какъ увеличеніемъ площади посѣвовъ подъ озимые хлѣба, такъ

и повыше́ніемъ урожайности. Въ 44 губерніяхъ и областяхъ съ населеніемъ до 81 милліона душъ сборъ озимыхъ хлѣбовъ оказался хорошимъ, превышающимъ 105 процентовъ средняго сбора за послѣдніе пять лѣтъ. Въ 6 губерніяхъ, съ населеніемъ въ $9\frac{3}{4}$ милліоновъ душъ, сборъ получился удовлетвори́тельный, колеблясь въ предѣлахъ 95—105 процентовъ средняго за послѣднее пятилѣтіе сбора. Наконецъ, въ 22 губерніяхъ, населенныхъ $34\frac{1}{4}$ милліоновъ душъ, сборъ оказался ниже средняго, не достигая 95 процентовъ его. Какъ видно уже изъ этихъ цифръ, распредѣленіе урожая въ настоящемъ году оказалось далеко не равномернымъ и наряду съ обезпеченными хлѣбомъ нынѣшняго сбора мѣстностями имѣется немало и такихъ, которыя должны быть отнесены къ разряду неблагополучныхъ по урожаю. Но къ этому нужно еще прибавить, что и общій избытокъ хлѣба, доставленнаго урожаемъ минувшаго лѣта, представляется не особенно значительнымъ. Согласно произведеннымъ главнымъ статистическимъ комитетомъ вычисленіямъ, чистый остатокъ полученнаго въ 1902 году сбора озимыхъ хлѣбовъ, за исключеніемъ изъ него количества зерна, необходимаго для обсе́мененія полей, равняется въ 72 губерніяхъ и областяхъ 1.481.447.900 п., что составляетъ 11,86 п. на душу населенія. Въ 1901 г. такой остатокъ равнялся 9,57 п. на душу, въ 1900 г. — 11,17 п. Если сопоставить цифру остатка настоящаго года съ двумя послѣдними цифрами, ее придется признать сравнительно благопріятной, но, сама по себѣ взятая, она врядъ-ли можетъ быть названа достаточно высокою. Для правильнаго удовлетворенія однихъ лишь продовольственныхъ потребностей населенія въ теченіе года требуется, по самому скромному разсчету, 13 пудовъ хлѣба на душу. Между тѣмъ изъ имѣющихся въ наличности 11,86 п. земледѣльческому населенію придется еще отчислить извѣстную долю на уплату податей и повинностей и на поддержаніе собственнаго хозяйства, значительно оскудѣвшаго въ послѣдніе тяжелые годы.

Такимъ образомъ уже общія свѣдѣнія о размѣрахъ и распредѣленіи урожая, даваемая главнымъ статистическимъ комитетомъ, въ сущности достаточно убѣдительно свидѣтельствуютъ о томъ, что текущій сельско-хозяйственный годъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названъ безусловно благополучнымъ для всего земледѣльческаго населенія Россіи. Въ свою очередь отдѣлъ сельской экономіи и сельско-хозяйственной статистики при министерствѣ земледѣлія пришелъ, на основаніи полученнаго имъ матеріала, къ тому выводу, что вліяніе урожая 1902 года на благосостояніе населенія оказалось значительно менѣе благопріятнымъ, чѣмъ можно было предполагать первоначально, и что въ общемъ текущій годъ въ этомъ отношеніи можетъ быть причисленъ лишь къ среднимъ. Наиболее благопріятно, по свѣдѣ-

ніямъ упомянутого учрежденія, отразилось вліяніе урожая минувшаго лѣта на экономическомъ положеніи населенія черноземной полосы. Въ центрально-земледѣльческихъ, юго-западныхъ и малороссійскихъ губерніяхъ крестьяне оказались вполнѣ обеспеченными какъ продовольственными хлѣбами, такъ и кормами для скота, и сверхъ того нерѣдко имѣли болѣе или менѣе значительные избытки для продажи. Повышенію уровня благосостоянія крестьянскаго населенія въ этомъ районѣ способствовали и хорошіе лѣтніе заработки, обусловленные обильнымъ урожаемъ хлѣбовъ и спѣшностью ихъ уборки. Благоприятное вліяніе урожая здѣсь сказалось уже къ осени въ болѣе исправномъ поступленіи податей и недоимокъ, въ поднятіи цѣнъ на рабочія руки, увеличеніи числа свадебъ, исправленіи старыхъ и возведеніи новыхъ построекъ, обзаведеніи сельско-хозяйственными орудіями, пополненіи живого инвентаря и въ стремленіи къ расширенію аренды. Почти не наблюдалось въ этомъ районѣ и обычной осенней распродажи скота. Менѣе удачнымъ текущій годъ оказался для многихъ новороссійскихъ и средневолжскихъ губерній, у крестьянскаго населенія которыхъ избытка хлѣба для продажи не имѣлось уже къ ноябрю. Въ наиболѣе же худшихъ условіяхъ въ названномъ районѣ оказалось населеніе Таврическаго полуострова и отдѣльныхъ мѣстностей Саратовской, Казанской и Уфимской губерній, гдѣ, по свѣдѣніямъ отдѣла, крестьянамъ вслѣдствіе недорода хлѣбовъ и плохого сбора кормовъ для скота придется прибѣгнуть къ продовольственнымъ и сѣмяннымъ ссудамъ, равно какъ къ вынужденной продажѣ скота. Недородомъ постигнуты также нижеволжскія губерніи, за исключеніемъ южныхъ уѣздовъ губерніи Самарской. Въ этихъ губерніяхъ уже съ осени ощущался сильный недостатокъ въ продовольствіи и особенно въ кормахъ, вызвавшій, между прочимъ, усиленную продажу скота.

Въ нечерноземной полосѣ положеніе крестьянскаго населенія представляется, по свѣдѣніямъ отдѣла, значительно менѣе благоприятнымъ, чѣмъ въ черноземныхъ губерніяхъ. Особенно тяжелымъ, согласно его сообщенію, текущій годъ долженъ быть признанъ для крестьянскихъ хозяйствъ сѣверныхъ, пріозерныхъ, прибалтійскихъ, Тверской и Ярославской губерній, а также тѣхъ мѣстностей промышленнаго района, населеніе которыхъ живетъ большую часть года покупнымъ хлѣбомъ. Плохой сборъ сѣна и недостаточные запасы яровой соломы въ этихъ мѣстностяхъ вынудили крестьянъ къ продажѣ скота, что будетъ имѣть своимъ послѣдствіемъ обезсиленіе хозяйствъ и недостатокъ удобренія въ слѣдующемъ году. Наконецъ, неудовлетворительнымъ оказался текущій годъ и для населенія пріуральскихъ, бѣлорусскихъ и литовскихъ губерній, гдѣ главнымъ признакомъ неблагополучія въ крестьянскихъ хозяйствахъ явился сильный недостатокъ въ

кормахъ, вызвавшій огромное предложеніе скота въ продажу и обезцѣненіе его. Питаніе населенія здѣсь также значительно ухудшилось, такъ какъ одинъ изъ главнѣйшихъ пищевыхъ продуктовъ крестьянъ западнаго края—картофель—уродился плохо и къ тому же подвергся порчѣ на поляхъ; точно также не уродились гречиха, горохъ и огородные овощи. Въ такихъ же условіяхъ должно оказаться и крестьянство привислинскихъ губерній, гдѣ плохо уродившійся картофель повсемѣстно держится въ высокой цѣнѣ.

Въ приведенныхъ сообщеніяхъ остается еще незатронутымъ положеніе Финляндіи. Для этого края настоящій годъ оказался изъ ряду вонъ тяжелымъ. Минувшее лѣто было въ Финляндіи крайне дождливымъ и необыкновенно холоднымъ и это обстоятельство само по себѣ уже пагубно повліяло на вызрѣваніе хлѣбовъ. Между тѣмъ раннею осенью ударили морозы и выпалъ снѣгъ, во многихъ мѣстностяхъ похоронившій подъ собою овесъ и ячмень, которые такъ и остались неубранными. Къ этому присоединились еще многочисленныя наводненія, въ очень многихъ мѣстахъ помѣшавшія уборкѣ хлѣбовъ и травъ, а въ другихъ уничтожившія либо испортившія хлѣбъ и сѣно уже послѣ ихъ уборки. Въ результатѣ всѣхъ этихъ невзгодъ весьма значительная часть земледѣльческаго населенія Финляндіи уже съ осени испытываетъ бѣдствія тяжелаго голода. Во многихъ мѣстностяхъ края крестьяне вынуждены питаться пушнымъ хлѣбомъ и другими суррогатами пищевыхъ продуктовъ. Мѣстами появились уже и заболѣванія голоднымъ тифомъ. Правительственныя и общественныя учрежденія Финляндіи ведутъ дѣятельную работу по собиранію средствъ для помощи нуждающимся и направленію этой помощи на мѣста бѣдствія, но послѣднее такъ велико, что борьба съ нимъ является крайне затруднительной. Въ серединѣ прошлаго мѣсяца и въ русскихъ газетахъ появилось правительственное сообщеніе, извѣщающее о томъ, что, въ виду постигшаго нѣкоторыя мѣстности Финляндіи неурожая и „заявленій частныхъ лицъ о желаніи жертвовать въ пользу нуждающихся жителей означенныхъ мѣстностей, разрѣшенъ сборъ пожертвованій въ Имперіи въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая въ Финляндіи“. Симпатіи интеллигентныхъ слоевъ русскаго общества въ Финляндіи не подлежатъ сомнѣнію. Позволительно надѣяться, что эти симпатіи не останутся исключительно платоническими въ тотъ моментъ, когда есть на лицо возможность и потребность выразить ихъ активнымъ дѣйствіемъ, и что русское общество внесетъ свою лепту въ дѣло помощи обездоленному судьбой финскому земледѣльцу.

Въ помощи со стороны русскаго общества настоятельно нуждаются, какъ можно видѣть отчасти даже изъ приведенныхъ выше свѣдѣній о распредѣленіи урожая, и нѣкоторыя мѣстности самой Россіи. Къ сожалѣнію, здѣсь такая помощь немало затрудняется уже тѣмъ обстоятельствомъ, что въ печати имѣется слиш-

комъ мало извѣстій о неурожайныхъ мѣстностяхъ и размѣрахъ испытываемой ими нужды. Въ газетахъ встрѣчаются по этому поводу лишь отрывочныя и случайныя сообщенія, до извѣстной степени пополняющія тѣ общія данныя, о которыхъ шла у насъ рѣчь выше, но далеко недостаточныя для составленія сколько-нибудь полной и яркой картины. Во всякомъ случаѣ и изъ этихъ сообщеній нѣкоторыя заслуживаютъ большаго и серьезнаго вниманія. „Результаты этого года—писали, напримѣръ, осенью „Спб. Вѣдомостямъ“ изъ Пскова—таковы, что будетъ голодъ и для населенія, и для скота“. По свѣдѣнiямъ мѣстнаго статистическаго бюро, сѣна въ Псковской губерніи было собрано около двухъ третей нормальнаго количества, а соломы—менѣе четырехъ пятыхъ обычнаго урожая. При этомъ сѣно вслѣдствіе дождливаго лѣта получилось настолько недоброкачественное, что скотъ даже хворалъ отъ него. Благодаря этому цѣны на сѣно уже въ началѣ осени поднялись противъ обычныхъ вдвое, а съ первыхъ чиселъ сентября началась усиленная распродажа крестьянскаго скота, цѣны котораго, сравнительно съ лѣтними, понизились въ полтора и въ два раза, мѣстами же и болѣе *). Въ Варнавинскомъ уѣздѣ Костромской губерніи, по сообщенію корреспондента „Сѣв. Края“, крестьяне уже въ началѣ осени испытывали острую продовольственную нужду, въ силу которой иные изъ нихъ для покупки хлѣба, поднявшагося въ цѣнѣ до 1 р. за пудъ, прибѣгали къ распродажѣ своего скота **). Подобное же обостреніе продовольственной нужды наблюдалось и въ Арзамасскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи. Не менѣе тяжело положеніе крестьянства и на дальнемъ югѣ,—въ степныхъ уѣздахъ Крымскаго полуострова, за исключеніемъ лишь одного Евпаторійскаго. Четвертый годъ уже постигаетъ эти уѣзды неурожай и въ будущемъ году ихъ положеніе грозитъ не улучшиться. Текущій годъ для нихъ, по словамъ корреспондента „Р. Вѣдомостей“, „оказался еще хуже предыдущаго, такъ какъ не только не уродились хлѣба, но и травы совершенно погибли отъ необычайной засухи: населеніе осталось и безъ хлѣба, и безъ кормовъ для скота. Вслѣдствіе безкормицы крестьянскій скотъ и рабочія лошади сбываются за безцѣнокъ. Сѣвъ озимыхъ хлѣбовъ былъ произведенъ при крайне неблагопріятныхъ условіяхъ: сѣмена были брошены въ совершенно сухую, сыпучую почву и во многихъ мѣстахъ были выдуты сильнѣйшими осенними вѣтрами... Масса крестьянскихъ обществъ вынуждены просить о земской ссудѣ, при чемъ многія изъ нихъ,—напримѣръ, татарскія деревни десятищниковъ,—какъ оказывается, не имѣютъ права на эту ссуду, такъ какъ у нихъ нѣтъ продо-

*) «Спб. Вѣд.», 6 окт. 1902 г.

**) Цитируемъ по «Нижег. Листку», 26 окт. 1902 г.

вольственныхъ капиталовъ“ *). Землевладельцы Симферопольскаго уѣзда, согласно переданному на-дняхъ телеграфомъ сообщенію, представили земству свои отзывы о недостаткѣ корма и сѣмянныхъ средствъ у сельскаго населенія и о необходимости оказанія ему скорой помощи **). Въ Феодосійскомъ уѣздѣ, какъ гласитъ позднѣйшая телеграмма той же газеты, изъ которой нами заимствовано только что приведенное сообщеніе, „посѣвы озимыхъ въ большинствѣ случаевъ не произведены вслѣдствіе задержки выдачи крестьянамъ пособій на обѣшеніе полей***). Серьезная нужда констатирована и въ Саратовской губерніи, для которой министерство внутреннихъ дѣлъ, по словамъ мѣстныхъ газетъ, согласно съ представленіями мѣстной губернской администраціи, рѣшило отпустить 1.725.000 р., въ томъ числѣ 840.000 р. на продовольствіе населенія, 600.000 р. на обѣшеніе полей и 325.000 р. на устройство общественныхъ работъ ****).

Какъ ни скупы и отрывочны эти сообщенія, они все же позволяютъ заключить, что населеніе нѣкоторыхъ мѣстностей страны и въ настоящемъ сравнительно благополучномъ году вынуждено считаться съ послѣдствіями неурожая и бороться съ серьезными продовольственными затрудненіями. Но общее количество такихъ мѣстностей и размѣры переносимаго ими бѣдствія остаются, повидимому, еще не выясненными и во всякомъ случаѣ пока неизвѣстны обществу. Правда, та частная и общественная благотворительность, путемъ которой отдѣльныя лица и общественныя учрежденія могли бы придти на помощь бѣдствующему населенію, задерживается не однимъ лишь указаннымъ обстоятельствомъ. Въ настоящемъ году остаются въ силѣ тѣ правила, которыя установлены были для подобной благотворительности въ прошломъ году и которыя, какъ выяснила практика, не только стѣсняютъ сколько-нибудь широкое развитіе этой благотворительности, но и подсѣкаютъ ее въ самомъ корнѣ. Но въ прошломъ году, по крайней мѣрѣ, появлялись уже съ начала осени официальные сообщенія о планѣ продовольственной кампаніи и постепенномъ выполненіи этого плана, а вмѣстѣ съ тѣмъ нѣсколько больше было и частныхъ извѣстій о положеніи пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностей. Въ настоящемъ же году туманъ канцелярской тайны, окутавшій продовольственное дѣло со времени изыятія его изъ рукъ земскихъ учреждений, сгустился еще болѣе и даже официальные сообщенія о ходѣ продовольственной кампаніи признаны, повидимому, пока излиш-

*) Цитируемъ по «Спб. Вѣдомостямъ», 27 окт. 1902 г.

**) «Н. Время», 6 дек. 1902 г.

***) «Н. Время», 8 дек. 1902 г.

****) «Сарат. Дневникъ», 3 окт. 1902 г.

ними *). Едва-ли только такой порядокъ много способствуетъ успѣшности борьбы съ продовольственными затрудненіями. Чѣмъ большею гласностью сопровождается такая борьба, тѣмъ легче могутъ быть обнаружены допущенныя въ ней ошибки и тѣмъ меньшій размѣръ могутъ онѣ принять. И, наоборотъ, эти ошибки, сами по себѣ почти неизбежны при той постановкѣ, какую имѣетъ у насъ продовольственное дѣло, могутъ оказаться тѣмъ болѣе значительными и повлечь за собою тѣмъ болѣе серьезные послѣдствія, чѣмъ меньше будетъ предоставлено мѣста контролируемому вліянію гласности.

Но если принятый для текущаго года планъ борьбы съ продовольственными затрудненіями остается пока неизвѣстнымъ, то съ другой стороны въ настоящее время уже выяснилось намѣреніе правительства произвести нѣкоторыя измѣненія вообще въ постановкѣ продовольственнаго дѣла. Такое намѣреніе засвидѣтельствовано въ опубликованномъ мѣсяца полтора тому назадъ и. датированномъ 15 октября текущаго года всеподданнѣйшемъ докладѣ министра внутреннихъ дѣлъ о правительственныхъ мѣропріятіяхъ по неурожаю 1901 года. Этотъ докладъ, составленный въ очень оптимистическомъ тонѣ, заканчивается однако же признаніемъ, что „неурожай минувшаго года не только крайне тяжко отозвался на благосостояніи сельскихъ обывателей, но и засвидѣтельствовалъ общее пониженіе уровня хозяйственной зажиточности крестьянскаго населенія“. „Пережитое бѣдствіе—говоритъ авторъ доклада—вновь подтвердило нашу коренную нужду—поддержать пошатнувшееся благосостояніе сельскаго населенія, безъ чего не можетъ быть достигнуто и прочное обезпеченіе продовольственныхъ потребностей страны“. Тѣмъ не менѣе авторъ доклада признаетъ и самостоятельное значеніе организациі продовольственнаго дѣла. Въ видахъ надлежащей постановки послѣдняго онъ считаетъ необходимымъ, наряду съ работами особаго совѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности „возобновить въ ближайшемъ времени прерванныя съ введеніемъ въ дѣйствіе правилъ 12-го іюня 1900 года работы по составленію общаго продовольственнаго устава. При разрѣшеніи этой задачи, не устраненной изданіемъ упомянутыхъ правилъ, должны—продолжаетъ докладъ—быть приняты во вниманіе тѣ практическія указанія, которыя доставилъ опытъ примѣненія правилъ 12-го іюня 1900 г. и продовольственной организациі прошлаго года“.

*) Настоящая хроника была уже закончена, когда въ «Прав. Вѣстникѣ» появилось сообщеніе о постигнутыхъ неурожаемъ мѣстностяхъ и оказываемой имъ помощи. Отмѣчая пока лишь фактъ обнаруженія этого сообщенія, мы вынуждены отложить бѣду объ немъ до слѣдующаго мѣсяца.

Въ самомъ докладѣ министра внутреннихъ дѣлъ намѣчаются, далѣе, и тѣ указанія, какія министерство извлекло изъ опыта минувшаго года, и характеръ тѣхъ измѣненій въ постановкѣ продовольственнаго дѣла, какія названное учреждение признаетъ желательными на основаніи этихъ указаній. Прежде всего, по мнѣнію министра внутреннихъ дѣлъ, „опытомъ вполне установлена цѣлесообразность одного изъ основныхъ положеній послѣдняго продовольственного закона—о предоставленіи крестьянскимъ учрежденіямъ ближайшаго попеченія объ удовлетвореніи продовольственныхъ потребностей сельскихъ обывателей“. „Въ то же время—говорится въ докладѣ—въ семь законѣ обнаружались и недостатки“. Въ ряду этихъ недостатковъ докладъ на первое мѣсто ставитъ обусловленный дѣйствующимъ закономъ характеръ продовольственныхъ запасовъ. „Натуральные хлѣбные запасы сельскихъ обществъ, являющіеся, въ виду полного истощенія обще-имперскаго продовольственного капитала и уменьшенія капиталовъ губернскихъ, для пополненія которыхъ способовъ не указано, главнымъ источникомъ обезпеченія народнаго продовольствія на мѣстахъ, не могли, какъ оказалось, удовлетворить продовольственную нужду и потребовались многомилліонные на этотъ предметъ расходы со стороны государственнаго казначейства. Явленіе это объясняется, впрочемъ, не скудостью запасовъ вообще (наличность ихъ въ странѣ была свыше 100 милліоновъ пудовъ), а невозможностью пользоваться ими въ мѣрѣ дѣйствительной надобности, такъ какъ они признаются въ настоящее время собственностью отдѣльныхъ сельскихъ обществъ и хранятся при нихъ сравнительно небольшими партіями“. Къ этому докладъ присоединяетъ и другое указаніе. „Къ числу недочетовъ современнаго положенія продовольственнаго дѣла, по его словамъ, слѣдуетъ отнести и то, что, не смотря на вполне сознannую потребность помогать населенію не одними хлѣбными ссудами, а также путемъ предоставленія ему дополнительныхъ заработковъ, хлѣбныя ссуды попрежнему приходится считать преимущественнымъ способомъ облегченія нужды, такъ какъ широкое развитіе трудовой помощи безъ живого участія земскихъ учрежденій оказывается недостижимымъ“.

Исходя изъ этихъ соображеній, министръ внутреннихъ дѣлъ указываетъ рядъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію при составленіи продовольственнаго устава. Въ числѣ ихъ первое мѣсто занимаетъ вопросъ о томъ, не представляется ли цѣлесообразнымъ для возстановленія обще-имперскаго и для подкрѣпленія губернскихъ капиталовъ установить хотя-бы на извѣстное время продовольственный налогъ, нѣсколько уменьшивъ существующій сборъ хлѣбомъ. Подобный налогъ, по словамъ всеподданнѣйшаго доклада министра, представляя болѣе устойчивое основаніе мѣрамъ по обезпеченію народнаго продовольствія, вмѣстѣ съ тѣмъ при-

далъ бы имъ бѣольшую приспособляемость къ надобностямъ управленія и съ теченіемъ времени освободилъ бы казну отъ ежегодныхъ ассигновокъ на продовольствіе деревни. Другой вопросъ, которымъ задается министерство, сводится къ тому, не слѣдуетъ ли включить общественныя работы въ число предписываемыхъ закономъ постоянныхъ мѣръ по борьбѣ съ продовольственной нуждою. „Широкое устройство этихъ работъ—говоритъ докладъ—потребуетъ, впредь до образованія въ достаточномъ размѣрѣ особыхъ продовольственныхъ капиталовъ, нѣкоторыхъ расходовъ со стороны государства, но затраты на это дѣло при надлежащемъ выборѣ работъ въ послѣдствіи въ значительной мѣрѣ будутъ возмѣщены полезными экономическими результатами; къ тому же этотъ видъ помощи имѣетъ несомнѣнное передъ всѣми прочими преимущество съ точки зрѣнія нравственнаго вліянія на населеніе“. Далѣе министерство ставитъ вопросъ, не требуетъ ли измѣненія порядокъ возмѣщенія продовольственныхъ ссудъ, чтобы съ одной стороны устранить благотворительный порядокъ помощи, который получается въ тѣхъ случаяхъ, когда ссуда не взыскивается, а съ другой—не отягощать быстрымъ взысканіемъ ослабѣвшія отъ неурожая хозяйства. Наконецъ, по словамъ доклада, „заслуживалъ бы всесторонняго выясненія вопросъ объ образованіи центральныхъ складовъ хлѣба въ мѣстностяхъ, куда доставка зерна въ неурожайные годы представляется затруднительной“. Въ связи съ этимъ — прибавляетъ еще докладъ—необходимо будетъ при составленіи общаго продовольственнаго устава „точно выяснить и опредѣлить положеніе и обязанности земства въ области продовольственнаго дѣла. Окончательно намѣтить предѣлы его дѣятельности въ этомъ дѣлѣ въ настоящее время представлялось бы затруднительнымъ, такъ какъ по сложности своей этотъ вопросъ требуетъ тщательнаго разсмотрѣнія и соображенія съ возложенными на крестьянскія учрежденія закономъ 12 іюня 1900 года полномочіями, измѣнять коихъ не предполагается“. Въ видахъ разсмотрѣнія всѣхъ указанныхъ соображеній и подробной разработки вопроса о составленіи общаго продовольственнаго устава министръ внутреннихъ дѣлъ признавалъ желательнымъ „подвергнуть этотъ вопросъ предстоящей зимою обсужденію въ особомъ при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ совѣщаніи при участіи нѣкоторыхъ губернаторовъ и лицъ, близко стоящихъ къ продовольственному дѣлу по службѣ своей въ крестьянскихъ и земскихъ учрежденіяхъ“.

Въ печати пока, если не ошибаемся, не появлялось еще свѣдѣній о дѣятельности такого совѣщанія и даже объ его образованіи. Но это обстоятельство само по себѣ еще не уменьшаетъ интереса изложеннаго доклада, который, не ограничиваясь одною постановкою вопроса, содержитъ въ сущности и цѣлый проектъ кореннаго преобразованія продовольственнаго дѣла. Тѣмъ важ-

нѣе, конечно, попытаться опредѣлить, въ какомъ отношеніи стоитъ этотъ проектъ къ дѣйствительнымъ потребностямъ государственнаго управленія и народнаго хозяйства.

Предположеніе о выработкѣ общаго продовольственнаго устава, возникающее всего черезъ два года послѣ изданія временныхъ правилъ о народномъ продовольствіи, само по себѣ не является какою-либо неожиданностью. Правда, обыкновенно всевозможныя временныя правила живутъ у насъ очень долго, едва-ли не дольше, чѣмъ постоянные законы. Но временныя правила 12 іюня 1900 года слишкомъ быстро и слишкомъ рѣзко обнаружили свою несостоятельность. 1901 годъ, когда для нихъ наступилъ первый моментъ практическаго примѣненія, явился вмѣстѣ съ тѣмъ и моментомъ рѣшительнаго ихъ осужденія. Выработавшее эти правила министерство, встрѣтившись съ первымъ же серьезнымъ неурожаемъ, посѣбило отказаться отъ нихъ, признавъ, что они пригодны лишь для сравнительно благополучнаго времени, и замѣнить созданную ими организацію другою, хотя въ общемъ и образованною по тому же самому типу бюрократически-сословныхъ учреждений. Во всякомъ случаѣ послѣ этого естественно было ожидать, что правила 12 іюня 1900 года просуществуютъ недолго. Тѣмъ любопытнѣе отмѣтить, что осужденіе, постигающее эти правила въ докладѣ нынѣшняго министра внутреннихъ дѣлъ, является лишь условнымъ и не простирается на ту организацію завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ, какая была установлена ими. Напротивъ, этотъ докладъ главную заслугу названныхъ правилъ усматриваетъ въ „предоставленіи ближайшаго попеченія объ удовлетвореніи продовольственныхъ потребностей сельскихъ обывателей крестьянскимъ учреждениямъ“ и завѣряетъ, что измѣненіе полномочій послѣднихъ не входитъ въ настоящее время въ планы министерства.

Указанныя мѣста доклада позволяютъ составить довольно точное представленіе и о тѣхъ правахъ и обязанностяхъ, какимъ предполагается надѣлать при составленіи проектируемаго продовольственнаго устава земскія учрежденія. За ними, очевидно, предположено сохранить то же самое положеніе въ продовольственномъ дѣлѣ, какое они занимаютъ и въ настоящее время. Въ самомъ дѣлѣ, временныя правила 12 іюня 1900 г., изъявъ продовольственное дѣло изъ вѣдѣнія земствъ, передали его цѣликомъ въ руки администраціи, обязанной, согласно этимъ правиламъ, заботиться о составленіи и храненіи продовольственныхъ запасовъ и капиталовъ, опредѣлять размѣры испытываемой населеніемъ нужды въ помощи, равно какъ возможные способы этой помощи, распредѣлять пособія и наблюдать за возвратомъ полученныхъ населеніемъ ссудъ. Разъ всѣ эти полномочія мѣстной администраціи останутся неизмѣнными, то они не оставляютъ мѣста для сколько-нибудь самостоятельной дѣятельности земскихъ учреждений въ

дѣлъ обезпеченія продовольственной помощи пострадавшему отъ неурожаевъ населенію. Возможно, конечно, что при сохраненіи общаго руководства продовольственнымъ дѣломъ за мѣстной администраціей отдѣльныя его отрасли будутъ поручаться земскимъ учрежденіямъ, какъ это отчасти и практиковалось въ прошломъ году, когда земствамъ рекомендовалось заняться устройствомъ общественныхъ работъ и прокормленіемъ крестьянскаго скота въ неурожайныхъ мѣстностяхъ. Но именно опытъ прошлаго года показалъ, что подобное выдѣленіе въ завѣдываніе земства лишь отдѣльныхъ, хотя бы и очень важныхъ, отраслей продовольственного дѣла не приноситъ еще большой пользы и что совмѣстная работа надъ этимъ дѣломъ нынѣшнихъ крестьянскихъ и земскихъ учреждений, въ своей организаціи построенныхъ на совершенно различныхъ принципахъ, на практикѣ едва-ли осуществима. До извѣстной степени такой результатъ можно было предвидѣть и ранѣе указаній, данныхъ опытомъ. Неудивительно поэтому, что земскіе дѣятели не перестаютъ выступать съ ходатайствами о возвращеніи продовольственного дѣла во всемъ его объемѣ въ завѣдываніе земскихъ учреждений. Московское губернское земство возбудило такое ходатайство передъ правительствомъ почти немедленно вслѣдъ за реформою 12 іюня 1900 г. Но, какъ сообщалось въ свое время въ газетахъ, министерство внутреннихъ дѣлъ признало это ходатайство не подлежащимъ удовлетворенію, найдя, что „опасенія московскаго губернскаго земскаго собранія относительно дальнѣйшей судьбы продовольственного дѣла въ рукахъ крестьянскихъ учреждений представляются и преждевременными по краткости срока дѣйствія упомянутаго закона, столь недавно изданнаго, и не отвѣчающими дѣйствительному положенію вещей въ виду усердной и всегда несомнѣнно плодотворной дѣятельности крестьянскихъ учреждений во всѣхъ отрасляхъ мѣстнаго управленія, которыя были возлагаемы на эти учрежденія и нынѣ ввѣряются ихъ вѣдѣнію“. Въ свою очередь комитетъ министровъ, въ который вошло министерство съ этимъ представленіемъ, постановилъ представить министру внутреннихъ дѣлъ отклонить ходатайство московскаго губернскаго земства *). Однако въ текущемъ году подобныя ходатайства опять возобновились. Въ „хроникѣ“ прошлаго мѣсяца намъ случилось уже указывать, что костромская земская управа внесла въ мѣстный сельско-хозяйственный комитетъ, между прочимъ, записку о желательности возвращенія продовольственного дѣла въ компетенцію земства **). На-дняхъ телеграфъ принесть извѣстіе, что и костромское губернское собраніе въ свою очередь единогласно постановило ходатайствовать пе-

*) «Моск. Вѣдомости», 15 сент. 1901 г.

**) «Р. Бог.», 1902, № 11, «Хроника внутренней жизни», с. 214.

редъ правительствомъ о передачѣ продовольственного дѣла въ вѣдѣніе земства *). Но, какъ можно заключить изъ сказаннаго выше, удовлетвореніе подобныхъ ходатайствъ и въ настоящее время не входитъ въ намѣренія министерства внутреннихъ дѣлъ, считающаго лишнимъ измѣнять существующую на мѣстахъ организацію завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ и проектирующаго сохраненіе этой организаціи въ томъ видѣ, въ какомъ она установлена правилами 12 іюня 1900 г.

Признавая, что установленный послѣднимъ закономъ порядокъ завѣдыванія продовольственнымъ дѣломъ на мѣстахъ вполнѣ отвѣчаетъ своему назначенію, докладъ министра внутреннихъ дѣлъ усматриваетъ недочеты дѣйствующей системы обезпеченія народнаго продовольствія не въ этомъ порядкѣ, а въ формахъ и способахъ оказываемой нуждающемуся населенію помощи. Нѣтъ сомнѣнія, что названная система и въ этомъ отношеніи далеко не свободна отъ серьезныхъ недостатковъ. Другой вопросъ, однако, насколько проектированныя для ея исправленія мѣры способны устранить эти недостатки. Такихъ мѣръ, какъ мы видѣли, предполагается три: устройство центральныхъ складовъ хлѣба въ тѣхъ мѣстностяхъ, куда трудно доставлять зерно въ неурожайные годы, включеніе общественныхъ работъ въ число предписываемыхъ закономъ постоянныхъ мѣръ борьбы съ продовольственной нуждою и введеніе особаго продовольственного налога. Что касается первой изъ этихъ мѣръ, то она, очевидно, можетъ имѣть лишь второстепенное значеніе. Болѣе важными, если не по своей практической выполнимости, то по своему принципиальному характеру, представляются двѣ другія изъ проектированныхъ министерствомъ мѣръ, на которыхъ мы и позволимъ себѣ поэтому нѣсколько остановиться.

Мысль о желательности замѣны выдачи продовольственныхъ ссудъ и пособій пострадавшему отъ неурожая населенію организаціей общественныхъ работъ впервые была высказана въ нашихъ административныхъ сферахъ еще въ 1822 году. Съ той поры она неизмѣнно повторяется при каждомъ новомъ голодѣ, при чемъ въ подкрѣпленіе ея столь же неизмѣнно приводится аргументъ, говорящій о предпочтительномъ нравственномъ вліяніи этого вида помощи на населеніе. Но частое повтореніе этой мысли до сихъ поръ не сопровождалось ея практическимъ осуществленіемъ и это обстоятельство само по себѣ уже достаточно краснорѣчиво свидѣтельствуетъ о трудности подобнаго осуществленія. Чрезвычайно поучительнымъ является въ этомъ отношеніи и опытъ минувшаго 1901 года. Приступая къ борьбѣ съ послѣдствіями неурожая 1901 года, министерство внутреннихъ дѣлъ рассчитывало, что организація общественныхъ работъ получить

*) «Н. Время», 6 дек. 1902 г.

въ этой борьбѣ крайне важное значеніе. На дѣлѣ, однако, случилось иначе и оказалось, что путемъ общественныхъ работъ удалось доставить нѣкоторый заработокъ лишь весьма небольшой, чтобъ не сказать, ничтожной, части нуждавшагося въ помощи населенія. Докладъ нынѣшняго министра внутреннихъ дѣлъ, между прочимъ, заключаетъ въ себѣ данныя, хорошо освѣщающія этотъ итогъ продовольственной кампаніи 1901 года. По словамъ названнаго доклада, общественныя работы, организованныя въ теченіе прошлаго года лѣснымъ департаментомъ въ казенныхъ лѣсныхъ дачахъ и министерствомъ путей сообщенія—на рѣкахъ и рѣчныхъ пристаняхъ, дали заработокъ приблизительно 50.000 рабочихъ; мѣстными начальствами было затрaчено на общественныя работы по водоснабженію селеній и улучшенію земельныхъ угодій 770.000 р., при чемъ эти работы получили наибольшее развитіе въ трехъ губерніяхъ; на работы по постройкѣ Сѣверной желѣзной дороги и другихъ желѣзнодорожныхъ линій было перевезено изъ нуждающихся мѣстностей около 11.000 рабочихъ; наконецъ, въ Томской, Тобольской и Енисейской губерніяхъ нѣкоторый заработокъ населенію былъ доставленъ работами, организованными попечительствомъ о домахъ трудолюбія и рабочихъ домахъ. „Тѣмъ не менѣе,—заключаетъ докладъ—въ окончательномъ итогѣ сопоставленіе числа крестьянъ, принятыхъ на работу, съ численностью рабочаго населенія пострадавшихъ мѣстностей, простирающейся приблизительно до 12 миллионѡвъ, и съ числомъ рабочихъ, ходатайствовавшихъ о предоставленіи имъ работы (по одной Казанской губерніи такихъ лицъ насчитывалось 40.000 человекъ), указываетъ, что значительная часть нуждающагося рабочаго населенія не могла быть обезпечена заработкомъ. Сравненіе же общей суммы расходовъ на это дѣло, не превысившей 2½ миллионѡвъ рублей, съ многомиллионными затратами на заготовку зерна для хлѣбныхъ ссудъ, приводитъ къ заключенію, что и при послѣднемъ неурожайѣ выдача этихъ ссудъ явилась, по примѣру предшествующихъ неурожайныхъ лѣтъ, главнѣйшимъ способомъ правительственной помощи населенію“.

Такой исходъ дѣла врядъ-ли представляется сколько-нибудь удивительнымъ и въ сущности подобныхъ же результатовъ можно ожидать и впредь. Само собою разумѣется, что болѣе „живое участіе земскихъ учреждений“, а равно, можно прибавить, и вообще общественныхъ учреждений и частныхъ лицъ, могло бы нѣсколько увеличить успѣхъ общественныхъ работъ, но для приобрѣтенія такого участія потребовалось бы раньше измѣнить общій характеръ положенія; предоставленнаго этимъ учреждениямъ и лицамъ въ продовольственномъ дѣлѣ. И однако, даже при соблюденіи этого условія, трудно было бы ожидать очень быстро и значительнаго увеличенія успѣха общественныхъ работъ. Дѣйствительно, какъ ни проста въ теоріи мысль о помощи пострадавшему отъ

неурожая населенію путем предоставленія ему не непосредственныхъ пособій и ссудъ, а возможности заработка, но на практикѣ проблема нахожденія производительной работы для массы внезапно впадшаго въ нужду и выбитаго изъ обычной колеи населенія принадлежитъ къ числу наиболее трудно разрѣшимыхъ и во всякомъ случаѣ требуетъ для своего рѣшенія многихъ предварительныхъ условій, отсутствующихъ въ современной намъ дѣйствительности. Если бы дѣло стояло иначе, если бы можно было въ каждый данный моментъ найти производительную и достаточно оплачиваемую работу для всѣхъ лицъ, выносящихъ свой трудъ на рынокъ, не только неурожай, но и вообще современные экономическія бѣдствія утратили бы значительную долю своей остроты. Но пока о такомъ положеніи возможно лишь мечтать для болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго и поэтому нетрудно предвидѣть, что даже въ томъ случаѣ, если законъ включить общественныя работы въ число постоянныхъ мѣръ борьбы съ продовольственной нуждой, на практикѣ за этимъ видомъ помощи нуждающемуся населенію въ ближайшіе годы по необходимости останется лишь весьма скромное значеніе.

Несомнѣнно, легче выполнима другая проектированная въ докладѣ министра внутреннихъ дѣлъ мѣра—введеніе особаго продовольственнаго налога. Однако, болѣшая ея выполнимость не предрѣшаетъ еще ея желательности. Прежде всего приходится замѣтить, что уже мотивировка этой мѣры въ названномъ докладѣ способна возбудить нѣкоторые сомнѣнія. Факты, отмѣченные въ этой мотивировкѣ, допускаютъ, какъ уже и указывалось въ нашей печати, не только то толкованіе, какъ придано имъ авторомъ доклада, и въ зависимости отъ этого могутъ значительно измѣнить свой смыслъ. По словамъ доклада, натуральные хлѣбные запасы сельскихъ обществъ являются теперь „главнымъ источникомъ обезпеченія народнаго продовольствія“ въ виду „полнаго истощенія обще-имперскаго продовольственнаго капитала и уменьшенія капиталовъ губернскихъ, для пополненія которыхъ способовъ не указано“. Но, хотя эти запасы имѣютъ значительный размѣръ, достигая 100 милліоновъ пудовъ, въ настоящее время пользоваться ими „въ мѣрѣ дѣйствительной надобности“ неудобно, благодаря тому, что они „признаются собственностью отдѣльныхъ сельскихъ обществъ“. Отсюда и выводится необходимость, въ видахъ освобожденія государственнаго казначейства отъ многомилліонныхъ расходовъ на продовольственное дѣло, „установить продовольственный налогъ, нѣсколько уменьшивъ существующій сборъ хлѣбомъ“. Къ этому выводу мы еще вернемся. Пока же отмѣтимъ, что тѣ утвержденія, на которыхъ онъ основанъ, сами по себѣ уже требуютъ нѣкоторыхъ дополненій и поправокъ.

Статья 53-я временныхъ правилъ 12-го іюня 1900 г. гласитъ: „губернскіе продовольственные капиталы образуются изъ наличныхъ суммъ оныхъ, изъ платежей, поступающихъ на по-

полненіе ссудъ, выданныхъ изъ этихъ капиталовъ, а также изъ суммъ, ассигнуемыхъ изъ средствъ казны въ возмѣщеніе убыли въ упомянутыхъ капиталахъ“... Статья 55-я тѣхъ же правилъ говоритъ: „общій по имперіи продовольственный капиталъ... образуется изъ наличныхъ суммъ онаго, изъ платежей, поступающихъ на пополненіе ссудъ, выданныхъ изъ этого капитала, а также изъ суммъ, ассигнуемыхъ изъ средствъ казны въ возмѣщеніе убыли въ упомянутомъ капиталѣ“. Такимъ образомъ, утвержденіе доклада, будто для пополненія имперскаго и губернскихъ продовольственныхъ капиталовъ „способовъ не указано“, не совсѣмъ точно. Дѣйствующій законъ указываетъ два такіе способа,—возвратъ продовольственныхъ ссудъ и непосредственныя ассигновки изъ казны. Правда, на первый изъ этихъ путей не приходится возлагать особенно большихъ надеждъ. Возвратъ полученныхъ населеніемъ ссудъ при дѣйствующей у насъ продовольственной системѣ, имѣющей своею цѣлью не поддержаніе хозяйственныхъ средствъ земледѣльца, а лишь поддержаніе существованія его семьи, не можетъ идти очень успѣшно и нерѣдко затягивается на долгое время, если даже не становится вовсе безнадежнымъ. Но во всякомъ случаѣ для пополненія убыли въ названныхъ капиталахъ остается еще другой, указанный въ законѣ, путь въ видѣ ассигнованія необходимыхъ средствъ изъ казны.

Воспользоваться для пополненія истощенныхъ продовольственныхъ капиталовъ этимъ путемъ представлялось бы тѣмъ болѣе естественнымъ, что законъ въ сущности вовсе не предвидитъ возможности разсматривать хлѣбные запасы сельскихъ обществъ, какъ „главный источникъ обезпеченія народнаго продовольствія на мѣстахъ“. Согласно закону, эти запасы являются не главнымъ, а лишь первымъ источникомъ такого обезпеченія и, составляя собственность собравшаго ихъ сельскаго общества, должны находиться въ распоряженіи мѣстныхъ властей на случай вызванныхъ неурожаемъ неотложныхъ нуждъ даннаго общества. Такіе запасы, гласитъ ст. 37 правилъ 12 іюня 1900 г., расходуются „лишь на продовольственные и сѣменные нужды сельскихъ обществъ, коимъ они принадлежатъ. Въ исключительныхъ случаяхъ, когда оказывается необходимымъ воспользоваться этими запасами для передвиженія ихъ въ мѣстности, постигнутыя неурожаемъ, на кратковременное позаймствованіе оныхъ для нуждъ пострадавшаго отъ неурожаевъ населенія, министръ внутреннихъ дѣлъ испрашиваетъ чрезъ комитетъ министровъ высочайшее соизволеніе“. Имѣя, такимъ образомъ, чисто мѣстное значеніе, хлѣбные запасы сельскихъ обществъ представляются первымъ и всегда находящимся въ наличности источникомъ удовлетворенія нуждъ застигнутаго неурожаемъ населенія, и въ этомъ заключается ихъ главная роль, которая, согласно дѣйствующему

закону, лишь въ исключительныхъ случаяхъ можетъ быть замѣнена другою, болѣе широкой. Теперь какъ будто предполагается обратить эти исключительные случаи въ правило. Конечно, какъ бы ни была велика полоса неурожая, всегда остаются мѣстности, не захваченныя ею и потому временно сохраняющія въ цѣлости хлѣбные запасы своихъ сельскихъ обществъ. Неудивительно поэтому, что и въ прошломъ неурожайномъ году часть сельскихъ обществъ имперіи сохранила свои запасы въ количествѣ 100 милліоновъ пудовъ хлѣба. Но едва-ли было бы правильно признать эти запасы излишними на мѣстахъ и обратить ихъ въ общеимперскія продовольственные средства. Такая мѣра заключала бы въ себѣ тѣмъ менѣе благоразумной осторожности, что на практикѣ сельскіе общественные хлѣбные магазины получили и такое значеніе, которое не предусмотрено за ними закономъ, но съ которымъ трудно не считаться. „Нельзя забывать,—писали по этому поводу „Р. Вѣдомости“,—что эти магазины въ рядѣ губерній,—напримѣръ, Московской, Тверской, Новгородской и другихъ—давно уже играютъ роль общественныхъ крестьянскихъ складовъ сѣмянъ и частью продовольственного хлѣба. Крестьянинъ вносить зерно въ магазинъ, не безъ основанія полагая, что оно тамъ будетъ цѣлѣе, — ни самъ не изведетъ, ни на подати не возьмутъ; но дѣлается это не для того, чтобы получить хлѣбъ во время неурожая, а для того, чтобы воспользоваться имъ при первомъ же сѣвѣ или обратить его на продовольствіе въ болѣе трудное время зауряднаго года. Такимъ образомъ,—продолжала газета,—замѣна хлѣбнаго сбора въ сельскіе общественные магазины новымъ продовольственнымъ налогомъ лишаетъ деревню весьма существеннаго удобства и тѣмъ, конечно, еще больше понизитъ ея пошатнувшееся благосостояніе“ *).

Но въ сущности цитированный докладъ предлагаетъ не уничтожить, а лишь „нѣсколько уменьшить существующій сборъ хлѣбомъ“, и, слѣдовательно, центръ тяжести проектированнаго преобразования сводится не столько къ уничтоженію и обезличенію сельскихъ запасовъ, сколько къ освобожденію государственнаго казначейства отъ „многомилліонныхъ расходовъ“ на продовольственное дѣло или, вѣрнѣе, къ созданію для этихъ расходовъ особаго налога.

За послѣдніе годы мы были свидѣтелями накопленія такихъ грандіозныхъ бюджетныхъ остатковъ и столько разъ слышали рѣчи о значеніи создающейся такимъ путемъ „свободной наличности“, какъ страхового фонда для населенія, что на первый взглядъ мысль объ отсутствіи у государственнаго казначейства свободныхъ средствъ для обезпеченія народнаго продовольствія въ неурожайные годы можетъ показаться крайне странной. Но для тѣхъ, кто внимательно слѣдилъ за развитіемъ государствен-

*) „Р. Вѣдомости“, 30 окт. 1902 г.

наго хозяйства въ эти годы и помнить, какъ распредѣлялись громадныя суммы свободной наличности, не говоря уже о расходахъ по обыкновенному бюджету,—въ указанномъ явленіи не представится ничего неожиданнаго. Тѣмъ не менѣе созданіе новаго налога врядъ-ли явится правильнымъ выходомъ изъ труднаго положенія и такой налогъ самъ по себѣ едва-ли будетъ способствовать „поддержанію пошатнувшагося благосостоянія сельскаго населенія“. Благосостояніе русской деревни, дѣйствительно, серьезно расшатано, и она съ трудомъ несетъ даже то податное бремя которое лежитъ на ея плечахъ въ настоящую минуту. При такихъ условіяхъ, всякая новая прибавка къ этому бремени, тѣмъ болѣе прибавка сколько-нибудь значительная, рискуетъ отозваться еще болѣе глубокимъ разстройствомъ въ хозяйствѣ крестьянина и повести къ полному истощенію платежныхъ силъ крестьянскаго населенія. Вполнѣ понятно, что въ концѣ концовъ подобный результатъ не могъ бы остаться безразличнымъ и для казны, въ интересахъ которой проектируется созданіе новаго вида обложенія. Въ послѣднее время государственному казначейству приходится уже считаться съ извѣстными послѣдствіями ослабленія платежныхъ средствъ массы населенія. Парализовать значеніе испытываемыхъ при этомъ затрудненій путемъ увеличенія обложенія той же массы довольно трудно и даже въ томъ случаѣ, если эту задачу удастся рѣшить такимъ путемъ, она окажется разрѣшенной лишь на весьма короткий промежутокъ времени, по истеченіи котораго, тѣ же самыя затрудненія неизбѣжно вернутся съ еще болѣею силой и остротой.

Борьба съ продовольственными затрудненіями въ деревнѣ въ послѣдніе годы все чаще и все упорнѣе усложняется неблагоприятными явленіями въ экономической жизни городовъ и промышленныхъ центровъ. Въ началѣ текущаго года намъ пришлось уже приводить нѣкоторыя свѣдѣнія о массовой безработицѣ, охватившей собою многія области промышленнаго труда въ Россіи *). Съ той поры это явленіе, повидимому, не только не ослабло, но даже получило еще болѣе широкое распространеніе и еще болѣею интенсивность. Такъ, по крайней мѣрѣ, позволяютъ думать отдѣльные факты, въ изобиліи сообщаемые періодическою прессой. Позволимъ себѣ напомнить нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Весною съ юга сообщали, между прочимъ, что промышленный кризисъ текущаго года чрезвычайно сильно отразился на положеніи извѣстнаго Юзовскаго завода. Въ былые годы на немъ работало отъ 15 до 20 тысячъ человѣкъ, а къ этому времени число рабочихъ

*) См. «Хронику внутренней жизни» въ № 4 «Р. Богатства».

не превышало 5 тысячъ. Изъ шести доменныхъ печей на заводѣ работало только три. Въ механическихъ мастерскихъ ночная работа была упразднена, а днемъ въ большей ихъ части работали только три раза въ недѣлю. Число рабочихъ на заводѣ уменьшалось съ каждымъ днемъ; въ дни получекъ ихъ разсчитывали сперва тысячами, затѣмъ сотнями. „Естественно,—прибавляла сообщавшая эти свѣдѣнія газета,—что рабочіе послѣ продолжительнаго періода трехдневной работы истратили свои сбереженія и ко времени отказа отъ работы очутились въ безпомощномъ положеніи“ *). Но Юзовскій заводъ представлялъ собою только одинъ примѣръ изъ многихъ подобныхъ. По словамъ „Харьковскихъ Губ. Вѣдомостей“ черезъ Харьковъ весною часто проходили большія партіи рабочихъ, возвращавшихся на родину вслѣдствіе сокращенія дѣятельности заводовъ въ Екатеринославской губерніи и въ Донской области **). Въ приволжскихъ городахъ и открытіе навигаціи на первыхъ порахъ не ослабило безработицы. Въ Царицынѣ, на примѣръ, оно „вызвало лишь приливъ массы нищихъ, которые буквально осаждали обывателей“. „Тяжелое время для безработныхъ,—замѣчала по этому поводу одна изъ нижегородскихъ газетъ,—вѣроятно, продержится до конца мая, когда откроются полевые работы и работы на лѣсныхъ пристаняхъ. Пока же на пристаняхъ очень тихо. Рыбы идетъ очень мало, хлѣба грузится очень немного“ ***).

Не лучше было положеніе дѣлъ весною и въ прибалтійскомъ районѣ. Въ Ревелѣ къ этому времени заработная плата упала до минимума. Рабочіе, которые прежде получали 60—70 р. въ мѣсяцъ, вынуждены были довольствоваться заработкомъ въ 17—18 р. Многіе мелкіе фабриканты или совершенно прекратили свои предпріятія, или же должны были уменьшить ихъ размѣры. На большія фабрики безъ аттестата никого не принимали и у воротъ фабрикъ, по словамъ мѣстныхъ газетъ, всегда можно было видѣть сотни людей, тщетно просившихъ работы. Многіе изъ сѣхавшихся въ Ревель въ поискахъ труда рабочихъ, проживъ здѣсь послѣдніе гроши, возвращались назадъ ****). Приблизительно таково же было положеніе рабочаго люда и въ Ригѣ. Безработица давала себя чувствовать все больнѣе, жизнь между тѣмъ становилась все дороже, и сѣхавшіеся было изъ деревень рабочіе принуждены были возвращаться на дома. Былъ случай, когда одинъ фабрикантъ объявилъ въ газетахъ, что ему нуженъ ночной сторожъ. На другой день у конторы фабрики съ утра собралось до ста кандидатовъ на это мѣсто. По какому-то объявленію на мѣсто

*) «Донская Рѣчь». Цитируемъ по «Нижег. Листку», 17 апр. 1902 г.

**) Цитируемъ по «Спб. Вѣдомостямъ», 13 апр. 1902 г.

***) «Волгарь». Цитируемъ по «Р. Вѣдомостямъ», 14 апр. 1902 г.

****) «Спб. Вѣдомости», 5 мая 1902 г.

служанки въ теченіе полъ-дня явилось до 60 женщинъ. Около экспедицій газетъ толпами стояли люди, ищущіе работы, но работы не было *). Въ Варшавѣ, гдѣ также давала о себѣ знать безработица, техническая секція мѣстнаго отдѣла Общества для содѣйствія русской промышленности и торговли постановила просить президента города открыть побольше городскихъ работъ съ цѣлью предоставленія такимъ путемъ заработка нуждающимся рабочимъ **).

Волна безработицы, созданной промышленнымъ кризисомъ и голодомъ, докатилась весною и до далекой восточной окраины. Въ Челябинскѣ, по сообщенію „Уральской Жизни“, въ это время ежедневно прибывали сотни искавшихъ заработка чернорабочихъ. Большинство этихъ искателей счастья направлялось на строящуюся Манчжурскую желѣзную дорогу, надѣясь найти на ней приложеніе своимъ силамъ. „Въ виду этого,—замѣчала газета,—не трудно предвидѣть наплывъ чернорабочихъ на дорогу, гдѣ далеко не всѣ найдутъ заработокъ, такъ какъ инженеры предпочитаютъ имѣть дѣло съ китайцами“ ***). Масса безработнаго люда наблюдалась и въ Благовѣщенскѣ. При этомъ многіе, не находя себѣ здѣсь работы, голодали,—„явленіе, до послѣдняго времени небывалое въ Благовѣщенскѣ“,—прибавляла газета, передававшая это извѣстіе ****).

Минувшее лѣто съ его сравнительнымъ урожаемъ временно нѣсколько ослабило напряженность безработицы, но осеннія извѣстія рисуютъ картину, врядъ-ли во многомъ уступающую весенней. Въ Ивановѣ-Вознесенскѣ, по словамъ „Сѣвернаго Края“, съ октября „ежедневно ходятъ въ одиночку и десятками кучки рабочихъ, ища заработка на мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ, но такъ какъ послѣдніе переполнены рабочими, то пришлые, въ числѣ которыхъ есть многіе изъ Вятской губерніи, бродятъ уже недѣли изо дня въ день въ поискахъ работы, измученные, голодные, безъ копейки денегъ“ *****). Въ павловскомъ районѣ „сильный застой въ торговлѣ отражается на кустаряхъ, которые начинаютъ бросать работу и уходить на фабрику“. Мѣстное кредитное товарищество завалено залогами, но въ виду недостатка своихъ средствъ вынуждено сокращать выдачу ссудъ *****). Въ Ардамовскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи прекращеніе дѣятельности Шиповскихъ чугунно-литейныхъ заводовъ рѣзко отразилось и на благосостояніи мѣстныхъ крестьянъ, для которыхъ копаніе руды и возка ея на заводы въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ

*) «Прибалтійскій Край». Цитируемъ по «Р. Вѣдомостямъ», 28 апр. 1902 г.

**) «Р. Вѣдомости», 27 апр. 1902 г.

***) Цитируемъ по «Спб. Вѣдомостямъ», 8 мая 1902 г.

****) «Спб. Вѣстникъ». Цитируемъ по «Р. Вѣдомостямъ», 8 мая 1902 г.

*****) Цитируемъ по «Нижег. Листку», 13 ноября 1902 г.

*****) «Спб. Вѣдомости», 29 ноября 1902 г.

служили главнымъ источникомъ заработка. „Лишившись въ настоящее время постоянной, привычной для нихъ работы, крестьяне ожидаютъ въ текущемъ году голодовки“ *). Въ Брянскомъ уѣздѣ за послѣднее время „массами разсчитываютъ рабочихъ на рельсопрокатномъ заводѣ, находящемся въ семи верстахъ отъ города“. Въ районѣ Донецкаго бассейна на Мокѣевскихъ сталелитейныхъ заводахъ „Генеральнаго Общества“ въ силу уменьшенія заказовъ уволено значительное число рабочихъ **). Аналогичныя извѣстія приходятъ и изъ многихъ другихъ мѣстностей, не оставляя сомнѣнія въ широкомъ распространеніи бѣдствія безработицы.

Продовольственныя затрудненія въ деревнѣ и безработица въ промышленныхъ центрахъ въ сущности лишь двѣ стороны одного и того же явленія. Русская деревня въ теченіе долгаго времени приносила слишкомъ большія и слишкомъ тяжелыя жертвы на алтарь развитія отечественной крупной промышленности и эти жертвы въ концѣ концовъ сказались глубокимъ разстройствомъ экономической жизни крестьянства. Теперь обезсиленная деревня съ ея „пошатнувшимся благосостояніемъ“ не можетъ представить собою надежнаго и прочнаго рынка для произведеній промышленности, тѣмъ болѣе, что послѣдняя строитъ свои расчеты не столько на потребностяхъ массы населенія, сколько на фискальномъ хозяйствѣ страны. Въ то же время обнищавшая деревня непрестанно высылаетъ изъ своей среды новыя толпы людей, оторвавшихся отъ земли, ищущихъ работы и громаднымъ предложеніемъ рабочихъ рукъ понижающихъ до послѣдней крайности заработную плату въ самыхъ различныхъ областяхъ промышленнаго труда. Этотъ двухсторонній процессъ, на послѣднихъ этапахъ своего развитія выражающійся въ голодѣ и безработицѣ, представляетъ серьезную опасность для будущаго страны, но наивно было бы мечтать объ его остановкѣ при помощи какихъ-либо палліативовъ. Для своего устраненія онъ требуетъ мѣръ, не менѣе глубокихъ и радикальныхъ, чѣмъ тѣ причины, какія вызвали его появленіе. Къ сожалѣнію, пока не слышно ни о какихъ систематическихъ мѣрахъ борьбы даже съ тѣмъ проявленіемъ этого процесса, какое сказалось въ массовой безработицѣ текущаго года. Изъ лицъ, непосредственно заинтересованныхъ въ данномъ вопросѣ, возможно-стью высказаться по нему обладаетъ лишь одна сторона въ лицѣ промышленныхъ дѣльцовъ. Эти послѣдніе и не замедлили воспользоваться такою возможностью, найдя въ настоящій моментъ болѣе выгоднымъ для себя выступить уже не съ проектами созданія промышленныхъ предпріятій за счетъ казны, а съ планами сокращенія производства при помощи той же казны путемъ

*) «Волгарь». Цитируемъ по «Р. Вѣдомостямъ», 14 октября 1902 г.

**) «Нижег. Листокъ», 7 дек. 1902 г.

установленія покровительствуемой государствомъ нормирован. Нѣтъ надобности разяснять, какую опасность таятъ въ себѣ эти уродливые планы, довольно близкіе, однакоже, къ осуществленію. Населеніе страны нуждается не въ сокращеніи количества продуктовъ обрабатывающей промышленности, а въ удешевленіи ихъ. Съ другой стороны, острая нужда, испытываемая массами рабочаго люда, не находящаго заработка, настоятельно требуетъ вниманія къ себѣ и принятія мѣръ, направленныхъ опять таки не къ сокращенію производства, а къ ослабленію безработицы. Помимо временныхъ и экстренныхъ мѣропріятій, имѣющихъ своею непосредственною цѣлью уменьшеніе числа безработныхъ въ данную минуту, въ томъ же направленіи могутъ дѣйствовать и болѣе прочныя мѣры, преслѣдующія улучшеніе участи рабочаго класса, вроде сокращенія продолжительности рабочаго дня, признанія закономъ за представителями промышленнаго труда права соединяться въ союзы и организаціи для самостоятельнаго отстаиванія своихъ интересовъ и т. п. Во всякомъ случаѣ дѣло борьбы съ осложненіями промышленнаго кризиса не менѣе, чѣмъ борьба съ продовольственными затрудненіями деревни, для своего успѣха требуетъ такой политики, которая, взявъ своимъ исходнымъ пунктомъ интересы народныхъ массъ, стремилась бы на почвѣ служенія именно этимъ интересамъ поднять страну изъ переживаемаго ею хозяйственнаго упадка. Другого пути къ поднятію изъ этого упадка не существуетъ,—и объ этомъ какъ нельзя болѣе краснорѣчиво говорятъ всѣ факты окружающей насъ дѣйствительности.

II.

Въ предъидущей хроникѣ мнѣ пришлось, между прочимъ, говорить о нѣкоторыхъ проектахъ, связанныхъ съ приближающимся 200-лѣтнимъ юбилеемъ русской періодической печати. За мѣсяцъ, прошедшій съ той поры, эти проекты успѣли значительно измѣниться. Проектированное въ Москвѣ „московское общество дѣятелей періодической печати“, поставившее своимъ девизомъ объединеніе писателей самыхъ различныхъ направленій, успѣло, идя путемъ такого объединенія, дойти до крупнаго скандала, обѣщающаго закончиться въ залѣ суда, и теперь, кажется, отцвѣтаетъ, не успѣвши расцвѣсть. Отцвѣли и нѣкоторые проекты, выдвигавшіеся отъ имени петербургской „Кассы взаимопомощи литераторовъ и ученыхъ“. Правда, названная „Касса“ не отказалась пока ни отъ проекта сбора въ свою пользу со всѣхъ изданій пожертвованій за перепечатки, ни отъ сбора „читательскихъ копѣекъ“. Но общее собраніе членовъ „Кассы“ отказалось, по крайней мѣрѣ, отъ устройства въ день юбилея торже-

отвеннаго спектакля въ пользу пенсіоннаго фонда „Кассы взаимопомощи“ и вообще отъ всякаго шумнаго празднества.

Настоящимъ юбилейнымъ днемъ, по словамъ „Вѣстника Европы“, будетъ не тотъ, съ которымъ связано воспоминаіе о петровскихъ „Вѣдомостяхъ“, а тотъ, въ который законъ признаетъ свободу печатнаго слова. Эта же самая мысль въ нѣсколько иныхъ выраженіяхъ высказывается и многими другими органами печати. Въ числѣ другихъ раздѣляетъ, повидимому, эту мысль даже и „Н. Время“. „Главное и единственное, чѣмъ достойнымъ образомъ можетъ быть ознаменованъ предстоящій юбилей,—говоритъ въ этой газетѣ г. И. Р.—заключается въ томъ, чтобы теперь же былъ предпринятъ пересмотръ нашего цензурнаго устава, пересмотръ тѣмъ болѣе необходимый, что существующіе у насъ законы о печати не только устарѣли сами по себѣ, но и совершенно замѣнились временными мѣрами“. Такой пересмотръ, по мнѣнію цитируемаго автора, долженъ быть направленъ къ исполнѣи опредѣленной цѣли. „Когда создавался государственный порядокъ въ завоеванной нами Болгаріи,—странѣ, которая не имѣетъ и малѣйшаго подобія той литературы, какую имѣетъ мы, и которую никто не дерзнетъ считать болѣе культурною, чѣмъ Россія,—то русское правительство, въ качествѣ одного изъ первыхъ условій создававшагося порядка, потребовало установленія свободы печати. Свобода эта была установлена въ 1883 г.... Русская печать, безспорно, заслужила быть поставленной не ниже болгарской печати“. „Печатное слово — заключаетъ авторъ свою статью — есть духъ Божій, который всюду проникаетъ и все освѣщаетъ немеркнущимъ свѣтомъ истины. Но безъ свободы духа и слова не можетъ быть и приближенія къ истинѣ“ *).

Въ горячихъ словахъ г. И. Р., несомнѣнно, много справедливаго. Но въ нашей прессѣ высказываются и другіе проекты измѣненія положенія печати. Одинъ изъ такихъ проектовъ недавно былъ изложенъ въ статьѣ „Гражданина“. У меня нѣтъ сейчасъ подъ руками подлинника этой статьи, но, насколько помню, въ ней шла рѣчь о необходимости воспретить печатаніе анонимныхъ и подписанныхъ псевдонимами статей, запретить писать въ газетахъ и журналахъ лицамъ, не имѣющимъ извѣстнаго диплома, и установить разныя другія ограниченія для писателей. Вполнѣ возможно, что на мысль о такихъ ограниченіяхъ издателя „Гражданина“ навелъ горькій опытъ съ его собственными сотрудниками. По крайней мѣрѣ, вотъ какая телеграмма кн. В. П. Мещерскаго была недавно напечатана въ „Варшавскомъ Дневникѣ“: „Въ № 93 „Гражданина“ по недосмотру помѣщена, подъ рубрикою „Шутки и пародіи“, неприличнаго тона

*) «Н. Время», 5 дек. 1902 г.

шутка о балѣ варшавскаго клуба, мной назначенная къ разбору, но попавшая въ печать вмѣсто другой статьи подѣ тѣмъ же заглавіемъ. Такъ какъ въ Варшавѣ, какъ мнѣ извѣстно, есть только одинъ клубъ, посѣщаемый русскимъ обществомъ и пользующійся всеобщимъ уваженіемъ, а именно Русское Собраніе, то не желая, чтобы мой органъ могъ быть солидарнымъ съ замисломъ автора шутки оскорбить доброе имя сего Собранія, я прошу васъ помѣстить сіе заявленіе съ цѣлью высказать мое порицаніе автору публично и публично же извиниться предѣ тѣми лицами, которые могли бы кабацкимъ тономъ его шутки оскорбиться. Такія же заявленія я помѣщу въ № 94 „Гражданина“ *). Быть можетъ, однако, всего пикантнѣе въ этомъ эпизодѣ оказалось то обстоятельство, что на страницахъ „Гражданина“ обѣщанное заявленіе вовсе не появилось. Такимъ образомъ, извинившись передъ читателями „Варшавскаго Дневника“ въ „кабацкомъ тонѣ шутки“ своего журнала, кн. Мещерскій своихъ собственныхъ читателей предпочелъ оставить въ невѣдѣніи насчетъ факта этого извиненія. Приведенный эпизодъ можетъ, пожалуй, служить недурною иллюстраціей осведомленности „Гражданина“ относительно необходимости ограниченій для писателей.

Другой проектъ, касающійся печати, не совсѣмъ тождественный съ проектомъ „Гражданина“, но въ свою очередь не лишенный интереса, былъ помѣщенъ на страницахъ „Новаго Времени“, того самаго „Новаго Времени“, которое помѣстило и горячую статью г. И. Р. „Намъ слѣдовало бы — писалъ не такъ давно въ этой разносторонней газетѣ г. Сигма — учредить департаментъ очистки общественныхъ мозговъ или хотя бы частную компанію ихъ ассенизаціи. Китай выдумалъ приказъ цензоровъ, ученыхъ классиковъ, которые разсматриваютъ поведеніе высшихъ чиновниковъ и богдыхана. Наша Академія, къ сожалѣнію, не считается съ жизнью, ибо состоитъ изъ чистыхъ ученыхъ, отшельниковъ науки, а почетная академія представляетъ отдѣленіе редакцій „Вѣстника Европы“ и „Русскаго Богатства“. И цѣлыя области общественной мысли оставляются безъ призора и критики, и частному человѣку часто не подѣ силу разобраться въ противорѣчивыхъ сужденіяхъ печати“. Несомнѣнно, что ни почетные, ни дѣйствительные наши академики не примутъ на себя той миссіи созданія „департамента ассенизаціи“, которую имъ такъ любезно хотѣлъ бы предоставить г. Сигма. Въ сознаніи этого газета г. Суворина принимаетъ небезуспѣшныя мѣры къ образованію, по крайней мѣрѣ, „частной компаніи ассенизаціи“.

Вслѣдъ за г. Сигмою на это достославное поприще въ названной газетѣ выступилъ нѣкій г. Ярошъ, прибѣгнувшій къ та-

**) Цитируемъ по «Н. Времени», 5 дек. 1902 г.

кимъ подмигиваніямъ по адресу „Р. Богатства“, которыя, соблюдая полную осторожность выраженій, нельзя назвать иначе, какъ сикофантскими. Г. Ярошъ состоитъ или состоялъ профессоромъ и въ качествѣ такового проявилъ себя трудами, ничего общаго съ наукой не имѣющими. Быть можетъ, поэтому онъ и счелъ нужнымъ отозваться на призывъ, обращенный г. Сигмою къ академикамъ, — не быть лишь „отшельниками науки“. Но все же онъ, повидимому, вспомнилъ, что профессору подмигивать несовсѣмъ пристойно, и потому предпочелъ совершить такое подмигиваніе не отъ своего лица, а отъ лица героя якобы беллетристическаго разсказа. При этомъ г. Ярошъ рекомендуетъ читателямъ своего героя, какъ человѣка, который „пороху не выдумаетъ, но очень исполнительенъ“ *). Дана-ли эта рекомендація въ видахъ еще бѣльшаго прикрытія автора или же съ прямо противоположною цѣлью, — судить не берусь. Во всякомъ случаѣ разбираться въ подмигиваніяхъ человѣка, который „пороху не выдумаетъ“, очевидно, не стоитъ. Можно лишь отмѣтить его подвигъ и спокойно пройти дальше.

Гораздо рѣшительнѣе другой сотрудникъ „Н. Времени“, кн. М. Н. Волконскій. Онъ уже безо всякаго прикрытія, а прямо отъ своего имени, обвиняетъ въ потрясеніи основъ никого иного, какъ автора пресловутыхъ учебниковъ исторіи, г. Иловайскаго. Въ теченіе многихъ лѣтъ учебникъ русской исторіи г. Иловайскаго благополучно одобрялся ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія и употреблялся чуть ли не во всѣхъ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ и никто не видѣлъ въ немъ ничего зловреднаго, кромѣ невѣжества по части исторіи, но пришелъ кн. Волконскій и усмотрѣлъ, что г. Иловаискій потрясаетъ основы. Позволимъ себѣ привести нѣкоторые отрывки изъ этого любопытнаго обвинительнаго акта. „О просвѣтителѣ Россіи Владимірѣ г. Иловаискій, — сѣтуетъ суровый „критикъ“ изъ „Н. Времени“, — говоритъ только какъ о великомъ, нигдѣ не упоминая, что Владиміръ святой **), относясь къ нему съ нѣкоторою, пожалуй, обидною, развязностью“. Въ доказательство этого приводится слѣдующая цитата изъ учебника: „этотъ воинственный и жестокій князь сдѣлался знаменитъ въ исторіи не столько своими побѣдами, сколько принятіемъ христіанской религіи и распространеніемъ ея между восточными славянами“. „Г. Иловаискій — взволнованно восклицаетъ по поводу этого мѣста кн. Волконскій — забываетъ, что онъ пишетъ не біографію „этого жестокаго князя“, а житіе православнаго святого, къ которому въ учебникѣ, какъ и повсюду, слѣдуетъ относиться, по крайней

*) „Н. Время“, 13 ноября 1902 г., «Маленькій фельетонъ».

**) Курсивъ здѣсь, какъ и дальше, принадлежитъ „Н. Времени».

мѣръ, съ уваженіемъ, если не дано тебѣ благоговѣнія“... Суровый обвинитель, очевидно, имѣетъ какія-то оригинальныя представленія и объ учебникѣ исторіи, авторъ котораго будто-бы обязывается писать житія святыхъ, и объ „уваженіи“. О князьяхъ Борисѣ и Глѣбѣ у г. Иловайскаго, между прочимъ, сказано, что они „приобрѣли въ народѣ славу святыхъ мучениковъ“. „Неправда, — строго поправляетъ кн. Волконскій, — во-первыхъ, у святыхъ мучениковъ „славы“ въ этомъ смыслѣ не бываетъ, а существуетъ „память“ ихъ, которую чтитъ народъ, а, во-вторыхъ, Борисъ и Глѣбъ не въ народѣ только святые, а причислены къ *лику святыхъ православною церковью*... Такія недомолвки, — горько жалуется онъ, — не случайны у г. Иловайскаго. Онъ упорно проводитъ ихъ по всему своему учебнику“. По поводу фразы учебника, что Іоанну II помогали въ управленіи „старые отцовскіе бояре, въ особенности митрополитъ Алексій (родомъ изъ черниговскихъ бояръ), который неоднократно ѣздилъ въ орду и умѣлъ заслужить ханское благоволеніе“, кн. Волконскій не менѣе строго замѣчаетъ: „нельзя говорить о святителѣ русскомъ, поминаемомъ въ православныхъ храмахъ за каждой обѣдней, что онъ только тѣмъ и выдѣлился, что ѣздилъ въ орду и умѣлъ заслужить ханское благоволеніе“*). Въ своемъ рвеніи рыцарный обвинитель не стѣсняется даже рѣшительно уклоняться отъ истины, такъ какъ въ учебникѣ г. Иловайскаго вовсе не говорится, будто митр. Алексій „только тѣмъ и выдѣлился, что ѣздилъ въ орду“. Но стѣсняться такими мелочами, какъ отступленіе отъ истины, ревнителямъ „твердаго направленія“ едва-ли стоитъ. Съ другой стороны и намъ едва-ли стоитъ продолжать эти выдержки. Думается, что и приведенныхъ выше вполне достаточно для ознакомленія читателя съ дѣйствіями вновь открытой на столбцахъ „Н. Времени“ „частной компаніи ассенизаціи“...

Такимъ образомъ, выдвигаемые въ настоящее время проекты измѣненія положенія печати довольно разнообразны: наряду съ проектомъ пересмотра цензурнаго устава въ цѣляхъ предоставленія печати большей свободы фигурируютъ и пожеланія разнообразныхъ ограниченій для писателей и своеобразные планы учрежденія „департамента очистки общественныхъ мозговъ или хотя бы частной кампаніи ихъ ассенизаціи“. Какой изъ этихъ, столь различныхъ по своей нравственной цѣнности, проектовъ возьметъ перевѣсъ и получитъ практическое осуществленіе, — рѣшить будущее, создаваемое работою активныхъ общественныхъ силъ.

За мѣсяцъ, прошедшій со времени послѣдней нашей хроники, состоялись слѣдующія административныя распоряженія по дѣламъ печати:

*) „Н. Время“, 13 ноября 1902 г.

1) 23-го ноября: на основаніи ст. 155 уст. о ценз. и печ. (св. зак. т. XIV, изд. 1890 г.) министр внутренних дѣлъ опредѣлилъ: воспретить печатаніе частныхъ объявленій въ газетѣ „Бессарабецъ“ на два мѣсяца“;

2) 23-го ноября: „на основаніи ст. 178 уст. о ценз. и печ. (св. зак., т. XIV, изд. 1890 г.) министр внутренних дѣлъ опредѣлилъ: воспретить розничную продажу нумеровъ газеты „Одескія Новости““;

3) 2-го декабря: „на основаніи ст. 178 уст. о ценз. и печ., св. зак., т. XIV (изд. 1890 г.) министр внутренних дѣлъ опредѣлилъ: воспретить розничную продажу нумеровъ газеты „Виржевыя Вѣдомости““;

4) 7-го декабря: „министръ внутренних дѣлъ опредѣлилъ: вновь разрѣшить печатаніе частныхъ объявленій въ газетѣ „Бессарабецъ“, воспрещенное распоряженіемъ отъ 23-го ноября сего года“;

и 5) 7-го декабря: „министръ внутренних дѣлъ опредѣлилъ: вновь допустить розничную продажу нумеровъ газеты „Одескія Новости“, воспрещенную распоряженіемъ отъ 23-го ноября сего года“.

III.

За послѣдній мѣсяцъ опубликовано нѣсколько правительственныхъ распоряженій и сообщеній. Воспроизводимъ здѣсь важнѣйшія изъ нихъ.

Въ „Правит. Вѣстникѣ“, между прочимъ, опубликованы слѣдующіе именные Высочайшіе указы, данные Правительствующему Сенату:

1) отъ 12-го ноября: „Воронежскаго губернатора, Двора Нашего въ званіи камергера, д. с. с. Слѣпцова—Всемиловѣйше увольняемъ, согласно прошенію, отъ занимаемой имъ должности, съ причисленіемъ его къ министерству внутренних дѣлъ и оставленіемъ въ придворномъ званіи“;

2) отъ 28-го ноября: „Товарища министра финансовъ, завѣдующаго дѣлами торговли и промышленности, т. с. Ковалевскаго—Всемиловѣйше увольняемъ, согласно прошенію, отъ службы, съ мундиромъ, занимаемой имъ должности присвоеннымъ“;

3) отъ 28-го ноября: „Члену совѣта министра финансовъ и агенту министерства финансовъ въ Берлинѣ, т. с. Тимирязеву—Всемиловѣйше повелѣваемъ быть товарищемъ министра финансовъ, завѣдующимъ дѣлами торговли и промышленности“.

Въ этой же газетѣ 19 ноября появилось слѣдующее правительственное сообщеніе:

4-го ноября рабочіе расположенныхъ въ гор. Ростовѣ-на-Дону мастерскихъ Владикавказской желѣзной дороги, въ числѣ около 3,000 человекъ, неожиданно прекратили работу и предъявили управляющему дорогой требованія о сокращеніи рабочаго дня, увеличеніи заработной платы, удаленіи нѣкоторыхъ мастеровъ и др., при чемъ заявили, что до выполненія указанныхъ требованій работать не будутъ. Вслѣдствіе сего желѣзнодорожнымъ начальствомъ было объявлено, что заявленные претензіи будутъ сообщены на усмотрѣніе министра путей сообщенія. Въ теченіе первыхъ дней забастовки рабочіе вели себя сдержанно, въ виду чего никакихъ мѣръ противъ нихъ не принималось. 7-го ноября забастовавшимъ рабочимъ ростовскихъ мастерскихъ было объявлено распоряженіе министра путей сообщенія о томъ, что предъявленные ими требованія оставлены безъ разсмотрѣнія, такъ какъ рабочіе добровольно покинули работы, не обратившись къ законнымъ способамъ для огражденія своихъ правъ; при этомъ рабочіе приглашались получить расчетъ и искать работы въ другомъ мѣстѣ.

„При самомъ возникновеніи забастовки было замѣчено, что среди рабочихъ обращались печатныя прокламаціи за подписью „Донского комитета россійской социаль-демократической рабочей партіи“, въ коихъ были приведены вышеупомянутыя требованія съ призывомъ къ забастовкѣ. Въ послѣдующіе дни распространеніе прокламацій усилилось, и движеніе рабочихъ перешло также на нѣсколько мѣстныхъ фабрикъ и заводовъ, въ виду чего 8-го ноября было задержано 5 человекъ зачинщиковъ и подстрекателей къ забастовкѣ, у которыхъ при задержаніи было отобрано также значительное количество воззваній.

„9-го и 10-го ноября сходки рабочихъ продолжались, при чемъ мѣстомъ ихъ была избрана балка за Гемерницкою частью города Ростова-на-Дону. На 11-е ноября желѣзнодорожнымъ начальствомъ былъ назначенъ окончательный срокъ забастовавшимъ рабочимъ, изъ коихъ желающіе работать должны были приступить къ занятіямъ, а нежелающіе должны были получить расчетъ. Въ тотъ же день было арестовано еще 6 рабочихъ—агитаторовъ, а съ цѣлью воспрепятствовать рабочимъ снова собраться на сходку въ упомянутой балкѣ тамъ была поставлена сотня казаковъ. Тѣмъ не менѣе 11-го ноября рабочіе съ утра стали собираться толпами по сторонамъ балки, не исполняя требованій полиціи и не желая расходиться. Въ теченіе дня конные казаки около 10 разъ пытались разогнать забастовщиковъ нагайками, а пѣшіе прикладами, но рабочіе осыпали ихъ градомъ камней, при чемъ 1 офицеръ получилъ ушибы, 9 казаковъ ранены, въ томъ числѣ 2 тяжело, а околоточному надзирателю толпа разбила голову и сломала палець. Группируясь небольшими толпами, рабочіе позволяли себѣ глумиться надъ

войсками, не смотря на предупрежденія командира части, что онъ вынужденъ будетъ стрѣлять. Когда назойливость рабочихъ, продолжавшихъ бросать въ казаковъ камнями, достигла крайнихъ предѣловъ, полусотнѣ пѣшихъ казаковъ было приказано готовиться къ стрѣльбѣ, послѣ чего было сдѣлано 37 выстрѣловъ. Толпа бросилась бѣжать, оставивъ на мѣстѣ двухъ убитыхъ и 19 раненыхъ, при чемъ изъ числа послѣднихъ двое по доставленіи въ городскую больницу умерли.

„Забастовка въ ростовскихъ мастерскихъ Владикавказской желѣзной дороги отозвалась и на рабочихъ мастерскихъ той же дороги, расположенныхъ при ст. Тихорѣцкой. Здѣсь рабочіе 15-го ноября утромъ прекратили работу, ушли изъ мастерскихъ и собрались на сходку. Затѣмъ толпа, подстрекаемая къ безпорядкамъ прибывшими изъ Ростова вожаками, предъявила требованія, тожественныя съ тѣми, которыя были заявлены рабочими въ Ростовѣ. 16 ноября начальникомъ Кубанской области было лично объявлено толпѣ забастовщиковъ о воспрещеніи всякаго рода сходокъ. Тѣмъ не менѣе на слѣдующій день въ 10 час. утра около 1.000 рабочихъ вновь собрались на сходку и такъ какъ, не смотря на многократныя увѣщанія и приказанія, рабочіе не только не пожелали разойтись, но даже стали бросать въ войска камнями, коими ранили 12 казаковъ, а офицеру топоромъ разрубили кисть руки, то командиръ части, исчерпавъ всѣ средства образумить толпу, вынужденъ былъ употребить въ дѣло сначала холодное, а потомъ и огнестрѣльное оружіе, послѣ чего толпа была разсѣяна, при чемъ съ ея стороны оказалось 2 человѣка убитыхъ, 7 человѣкъ раненыхъ тяжело и 12 легко. Изъ числа оказавшихъ сопротивленіе войскамъ рабочихъ 102 человѣка задержано.

„О причинахъ и обстоятельствахъ движенія рабочихъ въ сказанныхъ мастерскихъ, потребовавшего вмѣшательства войскъ, производится особое разслѣдованіе, къ которому въ качествѣ обвиняемыхъ привлечены подстрекатели и лица, задержанныя на мѣстѣ безпорядковъ“.

Въ октябрьской книжкѣ нашего журнала уже сообщалось, что въ Саратовѣ должно было разбираться судебной палатой дѣло по обвиненію нѣсколькихъ лицъ въ участіи въ безпорядкахъ, происшедшихъ въ этомъ городѣ 5 мая текущаго года. Въ „Курьерѣ“ напечатана по поводу этого дѣла слѣдующая телеграмма изъ Саратова отъ 9 ноября: „Сегодня судебная палата вынесла приговоръ по разсматривавшемуся съ 4-го ноября дѣлу ряда лицъ, обвиняемыхъ въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 2 й ч. 252 ст. улож. о наказ. Палата оправдала подсудимыхъ: Штейнберга, Григорьева, Рылову, Дьяконову и Оминыхъ; приговорила: къ тюремному заключенію: Бударину — на 3 мѣс., Сарапулову — на

6 мѣс. и Воеводина на 2¹/₂ года; къ ссылкѣ на поселеніе въ Сибирь по лишеніи всѣхъ правъ состоянія: Ефимова, Бочкарева, Фофанова, Коссовича, Архангельскую, Чубаровскую и Ашакину“*).

Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ 6 декабря была напечатана слѣдующая телеграмма Государя Императора на имя министра внутреннихъ дѣлъ:

„Возвратите изъ Сибири сосланныхъ за студенческіе безпорядки. Пока имъ жить въ городахъ съ высшими учебными заведеніями не слѣдуетъ, но, всетаки, нужно позаботиться, чтобы возвращенные молодые люди оказались, по возможности, на попеченіи своихъ семей, въ обстановкѣ, приучающей къ порядку“.

„Изложенное Высочайшее повелѣніе—прибавляетъ названная газета—касается 58 лицъ, водворенныхъ въ настоящее время въ Восточной Сибири. На основаніи же Высочайшаго повелѣнія 13 минувшаго сентября, милость сія уже коснулась 62 лицъ, находившихся въ томъ же положеніи“.

В. Мякотинъ.

ОТЧЕТЪ

Конторы редакціи журнала „Русское Богатство“.

На устройство школы имени Гл. И. Успенскаго въ д. Сябринахъ, Новгородской губ., поступило:

Отъ Н. Ю. Татарова	10 р. — к.
„ А. Н. Мойсеенко	3 „ — „
„ массажистки	5 „ — „
„ женщины-врача Р. Л. Маргулисъ	5 „ — „

Итого . . . 23 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 891 р. 15 к.

На пріорѣтеніе въ общественную собственность части усадьбы Некрасовыхъ въ Грешневѣ, Ярославскаго уѣзда, для устройства тамъ школы и библіотеки въ память 25-лѣтія со дня смерти Н. А. Некрасова:

Отъ вологодской интеллигенціи	25 р. — к.
„ сотрудниковъ „Нижегородскаго Листка“	5 „ — „

Итого . . . 30 р. — к.

КОЛЛЕГІЯ
ИМПЕРАТОРА
АЛЕКСАНДРА II

Изданъ по «Рус. Вѣд.», 11 ноября 1902 г.

ГАЗЕТЫ,

ВЫРАЗИВШІЯ СОГЛАСІЕ НА ВЗАИМНЫЙ ОБМѢНЪ ИЗДАНИЯМИ И ОБЪЯВЛЕНИЯМИ

ВЪ 1903 Г.

ВЪ Г. *Астрахани*:

„АСТРАХАНСКИЙ ЛИСТОКЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *В. И. Склабинскій*. На годъ 7 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ года 5 р., на 1 мѣс. 1 р. 25 к.

„АСТРАХАНСКИЙ ВѢСТНИКЪ“ (ежедневно). Редакторъ *А. Н. Штылько*, издательница *А. А. Штылько*. На годъ 7 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ года 5 р., на 1 мѣс. 1 р. 25 к.

ВЪ Г. *Асхабадъ*:

„АСХАБАДЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *З. Д. Джавровъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к. на 1 мѣс. 1 р. 25 к.; за границу 10 р.

ВЪ Г. *Благовъщенскъ*:

„АМУРСКИЙ КРАЙ“ (три раза въ недѣлю). Редакторъ-издатель *Г. И. Клитчоглу*. На годъ 9 р., на $\frac{1}{2}$ года 5 р., на 1 мѣс. 1 руб.

„АМУРСКАЯ ГАЗЕТА“ (три раза въ недѣлю). Редакторъ-издатель *А. В. Кирхнеръ*. На годъ 9 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ года 5 р., на 1 мѣс. 1 руб.

ВЪ Г. *Вильнъ*:

„ВИЛЕНСКИЙ ВѢСТНИКЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *П. Бывалькевичъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.

ВЪ Г. *Владивостокъ*:

„ВЛАДИВОСТОКЪ“ (разъ въ недѣлю). Редакторъ-издатель *Н. В. Ремезовъ*. На годъ 11 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ года 7 р., на 3 мѣс. 4 р.

„ДАЛЬНИЙ ВОСТОКЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издательница *Е. А. Панова*, редакторъ *В. А. Пановъ*. На годъ 10 р., на $\frac{1}{2}$ года 6 р., на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

„ВОСТОЧНЫЙ ВѢСТНИКЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *В. Сущинскій*. На годъ 9 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

ВЪ Г. Владикавказъ:

„КАЗБЕКЪ“ (ежедневно). Издатель *С. I. Казаровъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р. 20 к.

„ТЕРСКІЯ ВѢДОМОСТИ“ (ежедневно). Редакторъ *Г. А. Вертеповъ*. На годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р.

ВЪ Г. Владиміръ:

„ВЛАДИМІРСКАЯ ГАЗЕТА“. (ежедневно). Редакторъ-издатель *М. А. Левитскій*. На годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к.

ВЪ Г. Воронежъ:

„ДОНЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *В. Веселовскій*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.

ВЪ Г. Вяткѣ:

„ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ВЯТСКИМЪ ГУБ. ВѢДОМОСТЯМЪ“. (Три раза въ недѣлю). Редакторъ *Н. Озеровъ*. На годъ 5 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р., на 1 мѣс. 50 к.

ВЪ Г. Екатеринославъ:

„ПРИДНѢПРОВСКИЙ КРАЙ“ (ежедневно). Редакторъ *Ө. А. Душовецкій*. Издатель *М. С. Копыловъ*. На годъ 10 р., на $\frac{1}{2}$ года 6 р., на 1 мѣс. 1 р. 25 к.; за границу на годъ 23 руб., на $\frac{1}{2}$ года 13 руб., на 1 мѣс. 2 р. 50 к.

„ВѢСТНИКЪ ЮГА“. На годъ 9 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к.; на 1 мѣс. 1 р., за границу 14 р.

ВЪ Г. Иркутскъ:

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *И. И. Поповъ*. На годъ 9 р., на $\frac{1}{2}$ года 5 р., на 1 мѣс. 1 р., за границу 13 р. 50 к.

ВЪ Г. Казань:

„ВОЛЖСКИЙ ВѢСТНИКЪ“ (ежедневно). Издательница *Л. П. Рейнгардтъ*. Редакторъ *Н. В. Рейнгардтъ*. На годъ 9 р., на $\frac{1}{2}$ года 5 р., на 1 мѣс. 75 к.

- въ г. Керчи:**
„ЮЖНЫЙ КУРЬЕРЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *Д. Т. Овстенко*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.
- въ г. Кіевъ:**
„КІЕВСКАЯ ГАЗЕТА“ (ежедневно). Редакторъ *А. Ф. Френкель*, издатели *Я. С. Богдановъ*, *А. Ф. Френкель*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 75 к.
- въ г. Красноярскъ:**
„ЕНИСЕЙ“ (три раза въ недѣлю). Редакторъ-издатель *Е. Ф. Кудрявцевъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.
- въ г. Кронштадтъ:**
„КРОНШТАДТСКИЙ ВѢСТНИКЪ“ (три раза въ недѣлю). Редакторъ-издатель *Ф. Тимофѣевскій*. На годъ 7 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 85 к.
- въ г. Курскъ:**
„КУРСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ“. Неофициальная часть (ежедневно). За редактора *С. П. Корниловъ*. На годъ 4 р., на $\frac{1}{2}$ года 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 60 к.
- въ губ. г. Минскъ:**
„СѢВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КРАИ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *М. П. Мысавскій*. На годъ 5 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. на 1 мѣс. 75 к.
- въ г. Николаевъ:**
„ЮЖНАЯ РОССИЯ“. (ежедневно). Редакторъ - издатель *С. П. Юрицынъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р. 20 к.
- въ г. Новороссійскъ:**
„ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ“ (ежедневно). Редакторъ *М. Г. Зильберминъ*. Издатель *Ф. С. Леонтовичъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.
- въ г. Одессъ:**
„ЮЖНОЕ ОБОЗРѢНІЕ“ (ежедневно). Редакторъ *Н. П. Цакни*. Издатель *Г. М. Вейленсонъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.
- въ г. Орлъ:**
„ОРЛОВСКИЙ ВѢСТНИКЪ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *А. И. Аристовъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 90 к.

à Paris:

„LA REVUE“ (Le 1-er et le 15 de chaque mois). Directeur *Jean Finot*. Par an 9 roubles. 12, Avenue de l'Opera.

въ г. *Перми*:

„ПЕРМСКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ“. Неофициальная часть (ежедневно). Редакторъ *Функъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. 60 к., на 1 мѣс. 60 к.

„ПЕРМСКІЙ КРАЙ“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *С. А. Басовъ*. На годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ 3 р., на 1 мѣс. 60 к.

въ г. *Петрозаводскъ*:

„ОЛОНЕЦКІЯ ГУБ. ВѢДОМОСТИ“. Неофициальная часть. Редакторъ *С. А. Левитскій*. На годъ 5 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р.

въ г. *Ригъ*:

„ПРИБАЛТІЙСКІЙ КРАЙ“ (ежедневно). Редакторъ *Н. І. Молоствовъ*. Издатель *А. А. Крюгеръ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к.

въ г. *Ростовъ на Дону*:

„ДОНСКАЯ РѢЧЬ“ (ежедневно). Редакторъ-изд. *А. Шенкаловъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р.

въ г. *Саратовъ*:

„САРАТОВСКІЙ ЛИСТОКЪ“ (ежедневно). Редакторъ *П. О. Лебедевъ*. Издатели: *П. О. Лебедевъ* и *И. П. Горизонтовъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р. 20 к.

въ г. *Смоленскъ*:

„СМОЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ“ (ежедневно). Редакторъ *В. В. Гулевичъ*. Издательница *Ю. П. Азанчевская*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. 75 к., на 1 мѣс. 75 к.

въ г. *Ташкентъ*:

„РУССКІЙ ТУРКЕСТАНЪ“ (ежедневно). Издатели *Н. Н. Касьяновъ*, *И. И. Гейеръ*, *А. Л. Шварцъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 70 к.

въ г. *Тифлисъ*:

„НОВОЕ ОБОЗРѢНІЕ“ (ежедневно). Редакторъ *Кн. І. Тумановъ*. Издатель *Кн. К. Тумановъ*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.

въ г. Тобольскъ:

„**СИБИРСКИЙ ЛИСТОКЪ**“ (два раза въ недѣлю). Редакторъ-издательница *М. Н. Костюрина*. На годъ 5 р., на $\frac{1}{2}$ года 2 р. 75 к., на 3 мѣс. 1 р. 50 к.

въ г. Томскъ:

„**СИБИРСКИЙ ВѢСТНИКЪ**“ (ежедневно). Редакторъ *Н. Н. Соинъ*. Издательница *М. О. Картамышева*. На годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р. 65 к., на 1 мѣс. 65 к.

„**СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ**“ (ежедневно). Издатель *П. И. Макушинъ*. Редакторы *П. И. Макушинъ* и *А. И. Макушинъ*. На годъ 5 р., на $\frac{1}{2}$ года 3 р., на 1 мѣс. 50 к.; за границу на годъ 9 р., на $\frac{1}{2}$ года 5 р.

въ г. Царицынъ:

„**ЦАРИЦЫНСКИЙ ВѢСТНИКЪ**“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *Е. Д. Жигмановскій*. На годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ 4 р., на 1 мѣс. 1 р.

въ г. Ямтъ:

„**КРЫМСКИЙ КУРЬЕРЪ**“ (ежедневно). Ред.-издательница *Н. Р. Лупандина*. На годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 1 мѣс. 1 р.

„**ЯЛТИНСКИЙ ЛИСТОКЪ**“ (ежедневно). Редакторъ-издательница *Ф. К. Татарина*. На годъ 3 р. на $\frac{1}{2}$ года 2 р., на 1 мѣс. 50 к.

въ г. Ярославль:

„**СѢВЕРНЫЙ КРАЙ**“ (ежедневно). Редакторъ-издатель *Э. Г. Фалкъ*. На годъ 8 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 1 мѣс. 75 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1903 ГОДЪ

(XIV-ый годъ изданія)

на общепедагогическій журналъ для школы и семьи

„РУССКАЯ ШКОЛА“

Въ теченіе 1902 года въ «Русской Школѣ» напечатаны были, между прочимъ, слѣдующія статьи: 1) Школьныя воспоминанія, (Изъ воспоминаній о начальной школѣ). Камоса; 2) Изъ воспоминаній сельской учительницы. Е. С.; 3) Изъ недавняго прошлаго нашихъ классическихъ гимназій. Ю. Галабутскаго; 4) Сорокъ лѣтъ просвѣтительной работы (дѣятельность Х. Д. Алчевской). Я. Абрамова; 5) Средняя школа въ Германіи. П. Мижуева; 6) Народный учитель въ Венгріи М. Страховой; 7) Вопросы школьной санитаріи въ деревнѣ. А. Амстердамскаго; 8) Умственное утомленіе учащихся въ нормальномъ и патологическомъ состояніи. А. Виреніуса; 9) Обь организаціи психологическихъ наблюденій. А. Нечаева; 10) Вниманіе и интересъ. Ел. Тихомиръ; 11) Вниманіе и интересъ при обученіи. А. Анастасіева; 12) Педагогическіе парадоксы. П. Зарембы; 13) Кто виноватъ? (Психопатологическій этюдъ). П. Сибирскаго; 14) Къ реформѣ среднихъ школъ. М. Романовскаго; 15) Нуженъ ли намъ восьмой классъ? Я. Гуревича; 16) Нужны-ли древніе языки въ духовныхъ семинаріяхъ? А. Кремлевскаго; 17) Наши коммерческія училища. Е. Гаршина; 18) Замѣтка по сельскохозяйственному образованію. И. Мещерскаго; 19) Обь основныхъ вопросахъ народнаго просвѣщенія. Проф. Ир. Скворцова; 20) Народная школа, какъ образовательно-воспитательное учрежденіе. П. Каптерева; 21) Къ вопросу о реформѣ городскихъ по Положенію 1872 года училищъ П. Богомолова; 22) Городскія по Положенію 1872 года училища. Н. Запанкова; 23) Нѣсколько словъ о высшей школѣ уѣзда. Ел. Тихомиръ; 24) О сѣздахъ учителей городскихъ по Положенію 1872 года училищъ. В. Пашина; 25) О классной системѣ преподаванія въ начальныхъ народныхъ школахъ. П. Голикова; 26) Обзоръ дѣятельности земствъ по народному образованію за 1901 годъ. И. Вѣлюковскаго; 27) О курсовыхъ занятіяхъ съ народомъ. И. Цвѣткова; 28) Народное образованіе въ Тверской губерніи. И. Красноперова; 29) О наглядныхъ и наглядныхъ пособіяхъ, необходимыхъ въ каждой начальной школѣ. Н. Ахутина; 30) Обученіе чтенію. М. Тростникова; 31) Обученіе письму (чистописанію и правописанію). Его-же; 32) Обученіе грамматикѣ. Его-же; 33) Русскій и церковно-славянскій языки и ихъ преподаватели въ духовныхъ училищахъ. А. С.; 34) Что нужно географамъ? Н. Арешева.

Въ каждый книжкѣ «Русской Школы», кромѣ отдѣла критики и библиографіи, печатаются: Хроника народнаго образованія въ Западной Европѣ Е. Р., Хроника народнаго образованія въ Россіи и хроника народныхъ библиотекъ Я. В. Абрамова, Хроника воскресныхъ школъ подъ редакціей Х. Д. Алчевской и М. Н. Салтыковой, Хроника профессиональнаго образованія В. В. Вирюковича и пр.

«Русская Школа» выходитъ ежемѣсячно книжками, не менѣе пятнадцати печ. листовъ каждая. Подписная цѣна: въ Петербургѣ безъ доставки семь руб., съ доставкой 7 руб. 50 коп.; для иногородныхъ съ пересылкою—8 руб.; за границу—9 руб. въ годъ. Сельскіе учителя, выписывающіе журналъ за свой счетъ, могутъ получать журналъ за шесть руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока. Города и земства, выписывающіе не менѣе 10 экз., пользуются уступкою въ 15%.

Журналъ „Р. Ш.“ допущенъ Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. къ выпискѣ для фундаментальныхъ библиотекъ средне-учебныхъ заведеній, и въ учительскія библиотекы низшихъ учебныхъ заведеній.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи (Лиговская ул. 1).

Редакторъ-издатель Я. Г. Гуревичъ.

НОВАЯ КНИГА:

Л. Булыгинъ.

РАЗСКАЗЫ.

Содержаніе: 1) Расплата. 2) Почные тѣни. 3) Любочкино горе. 4) По уставу
Изданіе редакціи журнала „Русское Богатство“.

Цѣна 1 руб. 50 коп.

НОВАЯ КНИГА:

Изданіе редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

Н. Кудринъ. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ.

СОДЕРЖАНІЕ: I. *Народъ и его характеръ*: Психологія француза.—Французское краснорѣчіе.—Цезаризмъ и роль личности во Франціи XIX-го вѣка.—Ренегаты и герои убѣжденій.—II. *Общественные классы*: Французское крестьянство.—Несчастный богатъ и счастливые бѣдняки.—Безработные.—Жизнь и идеалы четвертаго класса во Франціи.—III. *Наука, литература, печать*: Соціологія челоѣка-звѣря.—О марксизмъ вообще, по поводу французскаго марксизма въ частности.—Натурализмъ на службѣ у утопіи.—Французская пресса.—IV. *Борьба реакціи и прогресса въ идейной и политической сферахъ*: Современное «чертобѣсіе». — Шовинистская и клерикальная реакція.—Дѣло Дрейфуса: 1) Торжество повиновения.—2) Идеиное пробужденіе Франціи.—3) Рейнскій процессъ и мировой характеръ процесса.—Еврейскій вопросъ и антисемитизмъ во Франціи.—Французскій парламентаризмъ и его критики.—Эволюція политическихъ партій во Франціи.—Сто лѣтъ взаимныхъ отношеній буржуазіи и пролетаріата.—

Цѣна 2 рубля.

НОВАЯ КНИГА:

В. А. Мякотинъ.

ИЗЪ ИСТОРИИ РУССКАГО ОБЩЕСТВА.

ЭТЮДЫ и ОЧЕРКИ.

Изданіе Л. Ф. Пантелѣва. Спб. 1902 г.

Цѣна 2 рубля.

Обращающіеся за эгой книгой въ контору редакціи журнала „Русское Богатство“, за пересылку не платятъ.

НОВЫЯ КНИГИ:

Вл. Короленко.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.

Книга 3-ья. Цѣна 1 р. 25 к.

Его-же. БЕЗЪ ЯЗЫКА.

Разсказъ. Цѣна 75 коп.

Изданія редакціи журнала „Русское Богатство“.

Съ 1-го января 1903 года въ контору журнала „Русское Богатство“ (Спб., уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9)

ПОСТУПАТЬ ВЪ ПРОДАЖУ

Сочиненія ГЛѢБА УСПЕНСКАГО

въ двухъ томахъ, съ портретомъ автора и вступительной статьей Н. К. Михайловскаго. Изданіе Ф. О. Павленкова 1897 и 1898 гг. Цѣна каждого тома 1 р. 50 к. Уступка 50 %. Пересылка на счетъ покупателей—посылкой или бандеролью.

ТРЕТІЙ ТОМЪ ВЕСЬ РАЗОШЕЛСЯ.

Редакторы-Издатели: { *Вл. Г. Короленко.*
Н. К. Михайловскій.

Дозв. ценз. Спб., 21 декабря 1902 г. Типографія Н. Н. Клубунова, Пряжка, 3.

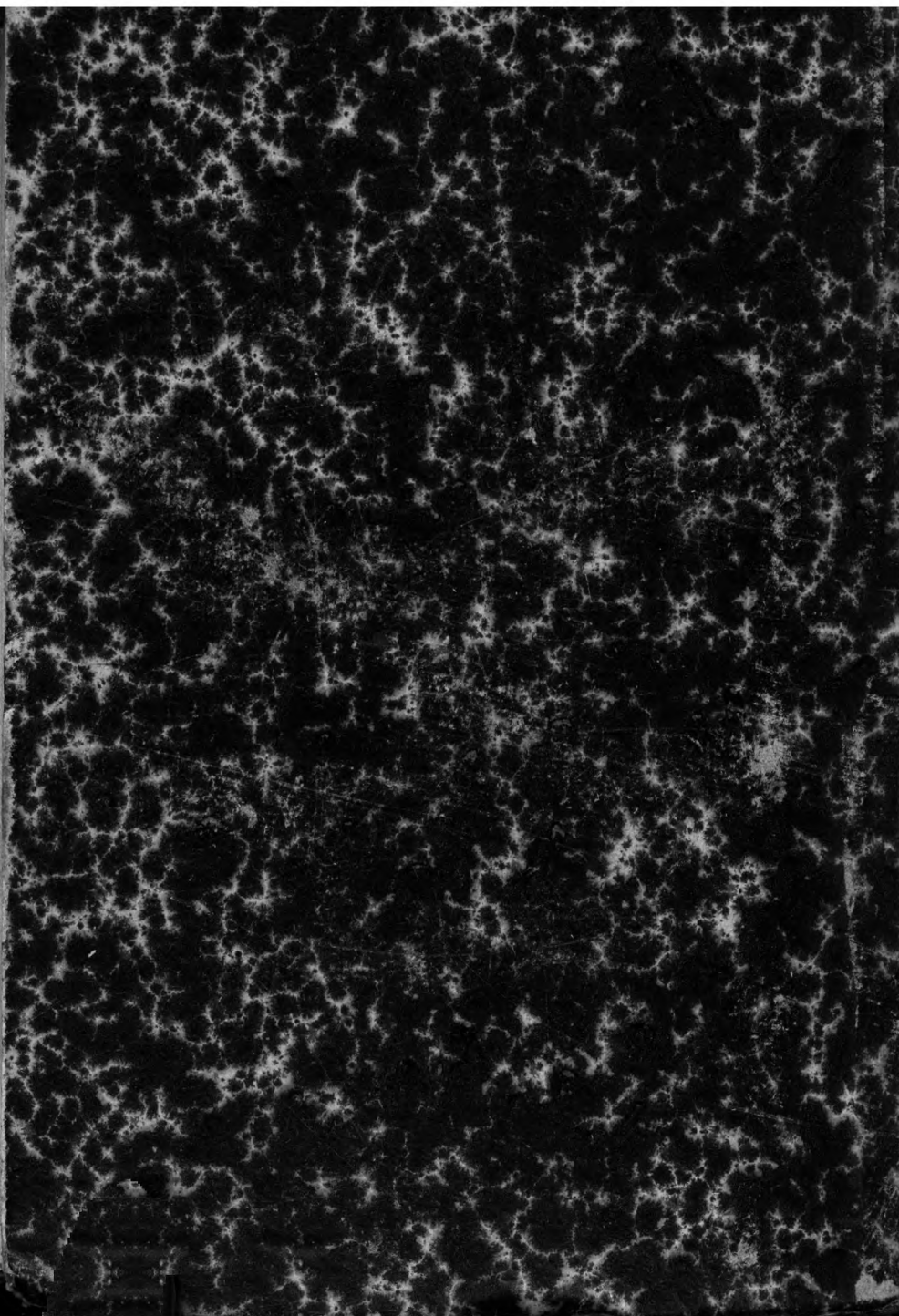
[15p]

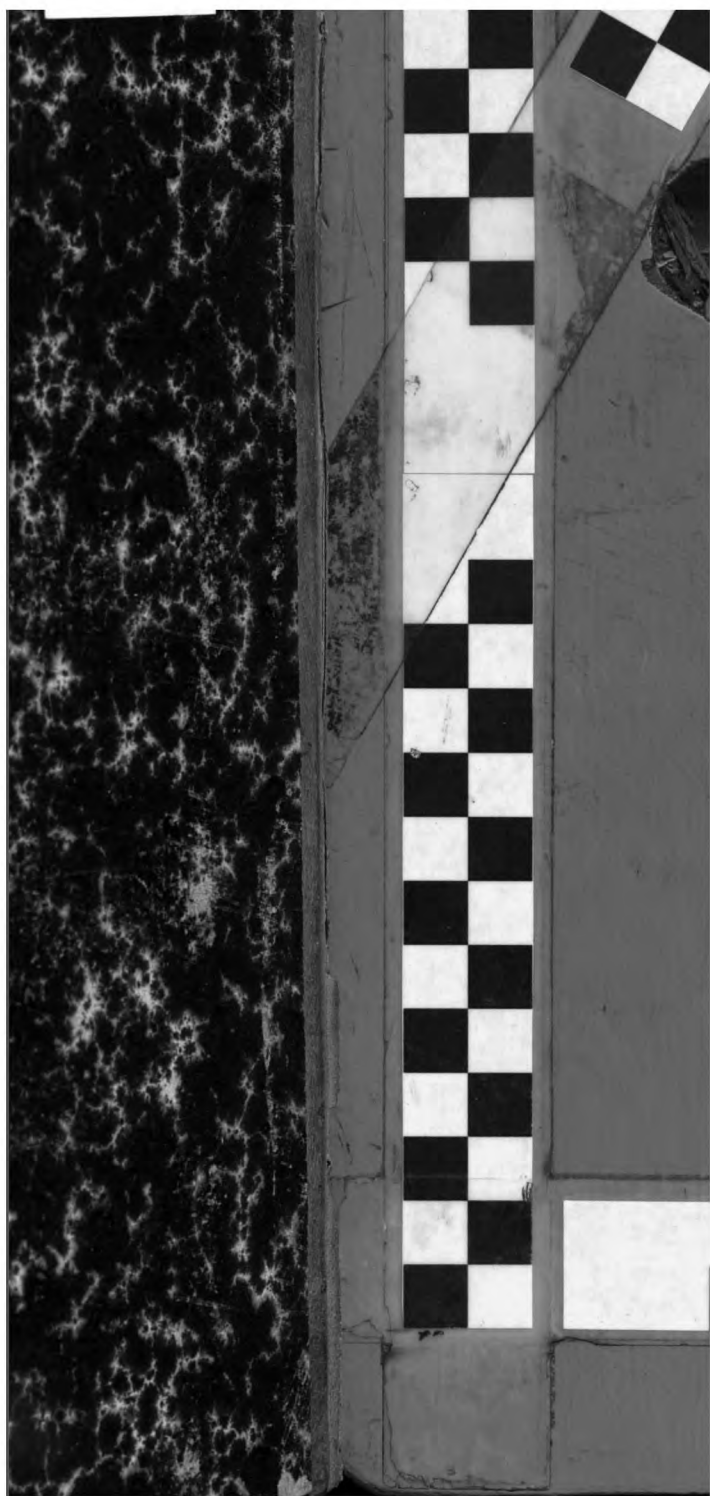
AP
50
.R94

RUSSKOE BOGATSTVO
Dec., 1902

AP
50
.R94

Russkoe bogatstvo.
Dec., 1902





UNIVERSITY OF CHICAGO



78 797 865